



Рецептуализм - искусство третьего тысячелетия - имеет целью возродить идею Большого стиля в ситуации углубляющихся коммуникабельности, взаимосвязанности и единения человечества. Я, Юрий Кувалдин, сам себя всегда ощущал приверженцем большого стиля, поскольку узкие рамки прочих течений меня сковывали. Мне нужен был воздух, мне нужна была свобода. Поэтому я оказался на облаке, над схваткой.

Юрий КУВАЛДИН

Издательство  
"Книжный Сад"  
Москва 2006

Юрий Кувалдин

1

Собрание сочинений в десяти томах

Юрий Кувалдин



Том 1

АКАДЕМИЯ РЕЦЕПТУАЛИЗМА

ЮРИЙ  
КУВАЛДИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ТОМ  
1

Издательство  
*Книжный сад*  
Москва  
2006

**ББК 84 Р7**

**К 88**

Издание осуществляется  
под наблюдением Президента Академии Рецептуализма  
академика Юрия Кувалдина

Общая редакция и составление Юрия Кувалдина

Предисловие Эмиля Сокольского

Послесловие Нины Красновой

Редакционная коллегия:

Ю. А. Кувалдин (главный редактор, академик),  
Н. П. Краснова (академик), Слава Лён (академик),  
Э. А. Сокольский (академик),  
А. Ю. Трифонов (заместитель главного редактора, академик)

Оформление художника  
Александра Трифонова

*На обложке воспроизводится картина художника Александра Трифонова  
"Рог костра крученный", х. м. 90 x 80, 2005 г.*

**ISBN 5-85676-110-3 (Т. 1)**

**ISBN 5-85676-111-1**

**ББК 84 Р7**

© Юрий Кувалдин, 2006

Эмиль Сокольский

## ЗАПРЕДЕЛЬНАЯ ПРОЗА

Юрий Кувалдин вошел в русскую литературу уверенно и просто, без шума, без претензий, без вызова, и устроился в ней так естественно и органично, будто и был всегда ее составной частью, будто занял как бы и полагающуюся ему, спокойно ожидавшую его нишу. Выпустил одну книгу, другую, и оказалось, что, на самом деле, нашу литературу без Кувалдина уже и не представишь, не изыметь его из литературы, не обеднив последнюю, не лишив ее того голоса, той интонации, той особой концентрации мысли и духовной энергии, которых в ней еще не было. Со временем кувалдинская проза перерастала саму себя, становилась все более раскованной, дерзкой, смелой, временами композиционно усложненной и фантазмагоричной; автор, вроде бы и находясь в рамках классических традиций, показывал, какие неисчерпаемые возможности они таят, какие причудливые формы способны принимать, вплоть до использования приемов постмодернизма, которые под пером способных писателей-ремесленников оборачиваются многосюжетными, многостраничными образцами ернического скептицизма, хамоватой мозаики из так называемого “здорового смысла”, а под пером одаренных писателей-творцов - подлинными произведениями искусства, предназначенными не лежать на пестрых книжных лотках рядом с модными пересмешниками, а помещаться на почетной полке между Чеховым и Платоновым.

Это очень важное замечание: Кувалдин не ворвался в литературу как мальчишка, как самовлюбленный, самонадеянный новатор-максималист; он показал себя сложившимся мастером, человеком, который и рожден был для литературы, который благоговел перед мастерами прошлого, следя за их творчеством строчка за строчкой. И только потом, обследовав все углы их мастерских, глубоко постигнув тайны их работы с материалом, из которого они создавали свою вторую - высшую - реальность, писатель стал расширять горизонты возможностей собственных.

Трудно найти другого столь же непредсказуемого, столь по-разному работающего писателя. Кувалдин не укладывается ни в какие схемы. У иного, даже очень достойного прозаика, достаточно бывает прочесть одно-два произведения, чтобы получить представление о его стиле, языке, направлении творческих поисков. Чтобы понять Кувалдина - в его творчестве нужно

учитывать все. Чтение кувалдинских произведений - путешествие долгое, насыщенное, не надоедающее, чреватое постоянными, подчас не сразу постижимыми парадоксальными открытиями.

Однако если пришлось бы себя насильно ограничить каким-либо одним произведением - следовало бы выбрать повесть "Улица Мандельштама" (такое и название первой книги писателя, включающей повести и рассказы). Она многое проясняет в творчестве Кувалдина, она - некий стержень автора, зрелого, умудренного, осмыслившего главное, проникшего в суть, - автора-не вундеркинда, автора-не старика, но - автора вне возраста: автора-мысли, автора-слова; а разве мы задумываемся - молоды ли, стары ли Слово, Литература? Они, как воздух, просто есть. "Нет, никогда ничей я не был современник"...

Кувалдин не случайно тянется к поэту: у них много общего. Читая раннего Мандельштама, ловишь себя на том, что и он будто бы не знал никогда периода ученичества: уже первые его стихи звучат "в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого, как прогорклый, отравленный мед", а густота этого тембра "лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения. Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила". О мандельштамовской "виолончели", о его "царственно-величавом бархате" с восхищением говорил и Георгий Адамович, с досадой отмечая, насколько никчемными потом воспринимаются словесные фейерверки Пастернака. Кувалдину близка эта "виолончельность", он предрасположен к ней, обогащен ею, она - его воздух, его дыхание. Характер прозы москвича Кувалдина - петербургская сдержанность, неторопливость, наблюдательность, мандельштамовская выпуклость картин, физическая ощутимость слова, потребность прислушаться к городу. И по-чеховски трезвое восприятие действительности, ровное освещение событий.

"На Серебрянической набережной дворники сгребали снег; Яуза, промерзшая до дна, отливала в свете фонарей желтыми пятнами; из-за горбатого моста, как готический собор, вырисовывался высотный дом на Котельниках; бывшая типография, где печатал свою книгу "Иверни" Волошин, превратилась в какую-то швейную мастерскую и сейчас спала; со стороны монастыря Андрея Рублева ползли по скользкой мостовой самосвалы, разворачивались у снятого парашюта, вываливали серый снег в Яузу; таксисты, с обязательно погашенными зелеными фонарями, гнали свои машины на предельной скорости, выполняя план"... Какая простая, ясная и вместе с тем образная, высокохудожественная в своей предельной экономии средств проза! Забываются "смысл", "содержание", повод, логика, а видишь только дивную ткань, рассматриваешь ее - и не понимаешь, чему так глубоко, проникновенно радуешься... Потом думаешь: когда испытывал нечто подобное? При чтении Бунина, Чехова, Шмелева, Платонова... И вот - теперь Кувалдин: близкий им по духу и - непохожий. Идущий своим путем. В убеждении, что главное в художественном произведении - форма, которая

и есть содержание; что искусство - прекрасно само по себе; что "цель поэзии - поэзия"; что материал, почерпнутый из жизни, - лишь средство для его "пересоздания", "переоформления", театрализации. Обо всем этом Кувалдин прекрасно высказался позднее в рассказе "Похищение Европы". В "Улице Мандельштама" автор пишет:

"Поэзия создает каноны, чтобы разрушить их. Наверно, поэтому она ищет новые пути к их преодолению.

Меньше учится, больше преодолевает ученичество.

Отходит от пушкинской традиции, чтобы скоро найти другие, не зависящие от него пути... Она ломает побочные пути экспериментаторства.

Она отстаивает эксперимент... оживляет, воскрешает, сдувает пыль, расчищает верхние слои последующих наслоений, чтобы впиться глазами в оригинал, возродить и возродиться самой.

Потом можно искать новые пути, создавать свои каноны. От торжествующего классического камня уйти к булыжникам, по улице - к вокзалам, разрушить сладкозвучие косноязычием, шипением, бормотанием..."

И - "не успеваешь опомниться, как он (Мандельштам) торопит нас далее, далее, далее - по городам и скворешням, по переулкам и дворам..."

Я несколько увлекся мандельштамовской темой в творчестве писателя, но лишь потому, что через Мандельштама, через оценку его творчества Кувалдиным - прямой путь к пониманию творчества самого Кувалдина. Своей книгой он заявил о высокой планке, которую задал себе, не боясь падений и конфузов, от коих не застрахован, наверное, ни один писатель; эта смелость, видно, и позволяет Кувалдину не только оставаться на высоте, но и брать новые высоты. "Без преодоления страха (Кувалдин говорит о будничных страхах, которые сопровождают человека всю жизнь: остаться без денег, не угодить начальнику, перейти улице перед быстро идущей машиной, и т.д.), без его уничтожения произведение писателя обречено на гибель. Постичь бы это и навсегда забыть о страхе". "Свобода игры" - так он сформулировал основополагающий принцип искусства, и следует ему неуклонно - свободный в игре, свободный внутренне. Соответственно, и произведения его свободны сюжетно: читая Кувалдина, часто ловишь себя на том, что писателя занимает не столь сюжет, сколь нечто другое, более важное, - то, что стоит за сюжетом: некий "второй текст", глубинные философские течения, парадоксальный взгляд на привычные вещи, полный отказ от банальностей, подробность и полнота жизни; и по прочтении отдельных его вещей, бывает, вместо сюжета остается "общее впечатление", "общая картина". Так, о повести "Вавилонская башня" однажды высказался критик Андрей Василевский: ее сюжет, мол, постепенно провисает, интрига расплывается. Думаю, здесь критик, как многие другие критики, литературоведы, филологи, применил принципы анализа и оценки произведения правильные - но ошибся с самим произведением, для которого требуется иной, нетрадиционный подход. Едва ли можно, формально рассматривая повести Кувал-

дина, упрекать их в неполноте, недоговоренности, незаконченности. Я думаю, лучше сказать так: его вещи - одновременно и законченные, и - незаконченные, то есть движущиеся, развивающиеся. Развитие - вот постоянно декларируемый Кувалдиным закон литературы - и закон жизни.

“ - Когда за туманом, стелющимся передо мной, я не мог разглядеть горное селение, - обвинить само селение было глупо.

Так же, видимо, обстоит дело и с прочтением поэтов.

Ждите - туман развеется!”

Удивительно: как автору - рассуждающему, размышляющему - удается избежать риторики, пафоса, дидактики, - всего того, что сделало бы повесть “Улице Мандельштама” невыносимо скучной? А ведь удалось. И мыслями наполнена до предела, и читается легко - благодаря блестящему языку, чуждому красотой, изысканным метафор. Так, по-чеховски просто, будет Кувалдин писать и дальше, повесть за повестью, рассказ за рассказом, выявляя неисчерпаемые изобразительные возможности ясного, чистого русского языка. “Писательской” позы автор лишен напрочь. Жизнь и Литература для него - одно (вот снова приходится кстати фраза из повести: для Мандельштама “ничего больше в мире не существует - он сам и есть п о э з и я!”). Так же и о Кувалдине можно сказать: он сам - Литература). Для Кувалдина, по его собственному замечанию, писатель - это Бог, который сидит на облаке и наблюдает бытие человека; это - существо надмирное, стремящееся стать Буквой, Словом, Книгой, и, выполнив, по Боратынскому, свое “поручение”, то есть заложенную в нем Божественную программу, войти в вечность, стать бессмертным.

В “Улице Мандельштама” аукается то, что потом откликнется в позднем Кувалдине: смешение времен, смешение писателей всех поколений. Для Кувалдина не существует прошлого, настоящего и будущего, - только Вечность, у которой нет времени. Писатели у него - живее всех живых, они равноправны, они реальнее, нежели живущие ныне, более того, они - самые интересные из всех живущих (так, Гиппиус с Мережковским говорили о давно ушедших собратях по перу, будто те были живыми).

“Кладбище подчеркивает жизненность. Все мы вместе живем, только в разное время... Мы путешествуем по у л и ц е, где все живут разом. Можем, конечно, не застать дома, к примеру, Чаадаева, но уж Боборыкин на верняк у себя. Возможно, отлучился в Феодосию Волошин, но уж такой домосед, как Вяземский, верно, никуда не ушел. Что уж говорить о Григорьеве, Помяловском - они точно попадутся нам навстречу”.

“Как невозможно пройти вверх по течению на утлой лодке по горной реке - постоянно сносит назад, - так же невозможно достичь будущего, не оказавшись в прошлом.

Настоящее как бы само собой снимается: мы то на три четверти корпуса в будущем, то на целый корпус лодки в прошлом. Никак не удастся попасть в с е й ч а с.

Настоящее бесконечно ничтожно, но, раскладывая себя на будущее и прошлое - огромно”, - подытоживает Кувалдин. И далее приводит мандельштамовские строчки, обращенные к Пушкину и его поэтическому миру. Закрывающий главу абзац-комментарий - заявленная позиция самого Кувалдина: “Эта постоянная переключка, это родство и соседство... это - для скорейшего и точного понимания. Здесь нет поворотности прошлого в будущее, как нет и обратного хода, здесь есть тот самый Евгений, как тот самый Брунетто Латини есть и всегда будет у Данте - в р а з л и т о с т и н а с т о я щ е г о”.

Что это? Признание Мандельштама своим учителем? Или радостное явление родства с великим поэтом?

Скорее - родство. О Мандельштаме можно сказать так: для того, чтобы у него были ученики, последователи, подражатели, - он слишком уникален.

И у Кувалдина мне до сих пор не приходилось видеть учеников, последователей, подражателей. По той же причине.

При всей фантазии Кувалдина, при всей его, как говорилось, сюжетной (и внесюжетной) свободе налицо сдержанность стиля, взвешенность суждений; автор точно знает, что хочет нам сказать. И говорит. Подхватить, домыслить, понять - наше, читательское, дело. Кувалдин - из тех прозаиков, которые тормозят читателя, призывая его к сотворчеству, и читатель обязан соответствовать, ибо проза Кувалдина, по точному замечанию Фазила Искандера, интеллектуальна, а точнее, интеллигентна. Автор чувствует себя как дома не только в мировой литературе; он прекрасно разбирается в искусстве разных времен, разных направлений. У Кувалдина безупречный вкус, и этот вкус многолик; писатель понимает, что выбор любимых поэтов, живописцев, композиторов совместим с широким разновкусием, когда прекрасно уживаются друг с другом Бах и Шнитке, Альддорфер и Саврасов, Булгаков и Веничка Ерофеев, Зоя Рождественская и Аркадий Северный... Кувалдин вплетает в свои произведения знаменитые имена по внутренней необходимости, а не для красного словца. Признаюсь, что когда подобное встречал у глубоко уважаемого Кувалдиным Юрия Нагибина, мне это казалось искусственным стремлением показать свою образованность; Нагибин ссылался на одного, на другого, на третьего, щеголял небезынтересными фактами; и я думал: а можно ли сослаться на Нагибина? И не находил повода... А вот на Кувалдина можно: даже хочется порой едва ли не наугад найденную у него строчку приписать себе...

Первая часть романа “Стань кустом пламенеющих роз” - уютная стилизация неторопливо-гармоничной прозы начала XX века (с дистанцией “тогда” - “сейчас”); нескончаемо длинно предложение, начинающееся словами: “На улице было тихо, стекла домов вызолотились утренним солнцем и весело отражали лучи его, все казалось чистым, умытым, один луч от стекла второго этажа желтого белоколонного особняка, как от серебристого



зеркала, ударил в лицо...” - автор по-газдановски обстоятельно проводит основную мысль, заглядывая по дороге во все ее ответвления, шаря по всем ее закоулкам, не упуская второстепенного, третьестепенного, - ничто не должно остаться не замеченным, не оцененным! - потом, по мере раскрутки сюжета, образы будут выражены напряженнее, лаконичнее: “Вся эта компания в свете лампы отбрасывала каскад теней на пол и на стены, и у Аргунова было такое впечатление, что он не у себя в комнате, а в лесу, где стоят лишь стволы, без крон, без ветвей”; “казалось, что молочно-серое небо совсем притерлось к земле и скрипело, как тот же снег под ногами”; “сугробы лениво уходили вдаль, как стадо белорунных овец”.

Интересная проблема поднимается в романе: с одной стороны - политика, гласность (речь о горбачевском времени), с другой - аполитичность, свобода художественного творчества (без последней, впрочем, Кувалдин немислим). Особенно четко эта проблема прослеживается во второй, “армейской” части романа, в противостоянии политически активного Александра Аргунова и созерцательного, “безыдейного” Яниса Велдре (дед которого, оказывается, был латышским стрелком). Аллегорический мотив “стань кустом пламенеющих роз”, проводимый последним, проходит через всю книгу, этой же фразой роман и оканчивается, что говорит не об упрямстве персонажа, а все о том же: что художник выше всех, он над схваткой “белых” и “красных” во все времена, и даже допросы, которым подвергли Аргунова в армейском штабе из-за пропаганды солженицынской книги “В круге первом”, остались в “том” времени, а искусство - как было, так и есть вне времени, о чем замечательно сказал Велдре Аргунову в свойственном ему книжно-приподнятом духе: “Смотри чистыми глазами ребенка на этот сказочный мир! Твоя душа должна трепетать от солнечного диска на голубом небосводе великого мира таинственной природы!.. Ты творец и создатель этого мира! Ты! Только ты! Твори красоту! А ты лезешь в стаю этих скучных людей, у которых только протокол является мыслью...” (Здесь нельзя не вспомнить Достоевского: “Как это можно видеть дерево и не быть счастливым?” Не могу не вспомнить и Зинаиду Миркину, она говорит о Достоевском: “Вот кто понял, что в каждом закате, в каждом луче и в каждом дереве скрыта Великая Весть. Этот человек знал, что говорил, когда произнес свою такую затрепанную, обесцененную сейчас фразу: “Мир красота спасет”). Предполагаю, что, вкладывая в уста латыша расцвеченные пафосом слова человека “не от мира сего”, сдержанный на эмоции автор помнил замечательный афоризм Ницше: “Кто не живет в возвышенном как дома, тот воспринимает возвышенное как нечто жуткое и фальшивое”.

Автор явно симпатизирует обоим персонажам: и Велдре и Аргунову, который, по оценке Искандера, предвосхитил эпоху гласности и по-своему боролся за нее. Однако считать Аргунова центральной фигурой романа, я полагаю, не следует, ибо это ведет к упрощению сути произведения. Насколько значительна личность Аргунова? Насколько значительна личность Аргу-

нова-отца (первая часть романа)? Петр Аргунов, “смелый” обличитель современного режима, попадает к Сталину и - молчит. “Быть может, причина этого молчания заключалась в том, что теперь, когда Аргунов получил возможность высказать в глаза Сталину все, что он о нем думает, у него не хватало ни смелости для этого, ни собранности. Откуда-то прорезались чувства такта и приличия. И Аргунов подумал о том, что, оказывается, о Сталине нужно говорить не Сталину, а какому-то третьему лицу, некоему объективному арбитру, который рассудит”. Слаб интеллигент в действии, зато остр на язык в рассуждениях. За это и Чехов не любил интеллигенцию, недолюбливает ее, по-моему, и Кувалдин.

“Страсть познания чужих жизней отбивает всякую охоту следить за собственной”, - высказался Кувалдин еще в “Улице Мандельштама”, и отказывается в дальнейшем вести повествования от первого лица, что весьма похвально, ибо современная литература нынче в основном сведена к бесконечной автобиографии, к рефлексии исповеди, которая освобождает писателя от работы над фабулой, драматургией изложения.

Совершенно иначе, нежели “Стань кустом...”, написана небольшая повесть “Трансцендентная любовь”. Стремительный, безостановочный словесный поток, под стать стихотворному темпу Языкова, разворачивает перед нами жизнь во всей ее рельефности, раскручивает события за событиями, перемежающиеся мелочами, и в этой плотной художественной ткани ни одна деталь не остается без внимания; идет постоянная фиксация мельтешащих пустяков, будто взбудораженная “дневниковая” рука спешит, старается поспеть за их течением, рассказать обо всем, - причем выходит не наивная, “сделанная” литературщина, а мастерски сработанное (прошу прощения за несколько механистичный термин), устойчивое сооружение, где кирпичик без зазора подогнан к кирпичику; пошлая бытовуха прореживается просветами мгновенных зорких наблюдений. “Катя вышла из магазина, небо потемнело, а у нее не было с собой зонтика. Казалось, сами дома зашевелились, заскрипели крышами и дверями, форточками и карнизами. Четыре рыхлые тучи сомкнулись, высекли чудодейственную искру, и полетели на землю огненные клиновидные молнии, расцвечивая улицу, как сполохи фейерверка на революционный праздник. Дома из желтых превращались в голубые, лица прохожих озарялись. Воздух затрепетал и через мгновение был пронизан ливневыми струями. Капли отчаянно барабанили по стеклам телефонной будки, где укрылась Катя. Дождь стоял стеной. Гром грохотал так, будто сбрасывали с крыши листовое железо, и справа и слева взвивались молнии, выворачивали себе шею, кривились к земле”.

В центре событий - увлечение сорокалетней Кати, машинистки редакционно-издательского отдела, интеллигентным, образованным, начитанным начальником Игорем Олеговичем, преобразившем ее серую жизнь (работа - дом; Кувалдин вообще любит такие, семейные, сюжеты). Автор старается вывести героиню из бессмысленного круга повседневного существования.

Под воздействием Игоря Олеговича она читает “Войну и мир”, и вот уже “сама внешняя жизнь казалась ей преображенной, лучшей, чем она есть на самом деле”. И с течением времени “Кате вдруг становилась как бы стыдно за саму себя, что прежде она не задумывалась ни о чем, а плыла... по течению жизни, плыла до сорока лет. И тут она догадалась, что есть возраст анкетный, наружный, хронологический, но есть и возраст духовный, и этот, последний, у нее очень мал”. Она поняла, что приобщение к литературе - единственная возможность прожить осмысленную жизнь, удержаться в ней как личность, не утонув в пошлости. Она приобщает к чтению и своих детей, несмотря на раздраженное ворчание мужа Юры, интересы которого заключены лишь в материальной сфере, и продолжает размышлять. Она разглядывает городские особняки, “мысленно рисует их в прошлом и с сожалением видит, что теперь эти дома тоже постарели, выглядят неприглядно, а ведь когда-то в них кипела жизнь! Люди исчезли, дома близки к развалу. Разглядывает вещи, тоже старые, смотрит, какой отпечаток на них наложило время. Смотрит на деревья, прислушивается к шуму листьев... А в голове одна мысль: большая часть жизни позади, и она, Катя, исчезнет так же, как все исчезает. А между тем жить хочется, и притом как-то по-особенному, вроде как бы хочется начать жизнь сначала. Очень большая жажда знаний - так бы и сидела все время за книгами!”

О чем эта повесть? Описан отрезок чужой, “подсмотренной” судьбы. В каком направлении будут дальше развиваться события? Могут так, а могут эдак; пронеслись вихрем события - и исчезли. Героиня задумалась о смысле жизни - и все? Значит, можно сказать, повесть, в сущности, ни о чем. Или, другими словами, - обо всем, о человеческой жизни, о том - как ни крути - нищевском “возвышенном”, которого требует самая “забитая” душа и к которому, к счастью, некоторые души стараются пробиться. И должны ежедневно, ежечасно пробиваться. Литература - самое надежное для этого средство. Таково убеждение Кувалдина.

Тему “Трансцендентной любви” продолжают “Записки корректора”. Пожилой корректор - уже совсем иной типаж, нежели Катя. Он образован, подкован в литературе, философии, искусстве. Его дневник исполнен сухим, деревянным языком; размышления, заметки - набор стертых, ничего не говорящих и самому герою цитат. Мудрость его - не просветляющая, но “оскучняющая” жизнь; он весь завален бытовыми мелочами, которые, собранные в кучу, сливаются в одно целое и этим целым особенно ясно являют беспросветную пошлость и подчеркивают бессмысленность существования героя. Он не только не ждет радости, но даже и не хочет ее. И пишет по инерции - монотонно, равнодушно, просто по физиологической потребности писать. Мозг будто заморожен корректорской работой, и рука самостоятельно, послушно фиксирует увиденное-услышанное; отсюда - тупо проходящие в голове сентенции, и голова корректора - не что иное, как копилка “философских” выкладок, цитат к месту и - чаще - не к месту. “Купил кн.

Булгакова “Христианская этика” (учение Толстого), а зонтик все еще не купил”. “В уборной на полу вода. Думал о трансцендентальном”. А вот образец размышлений: “Гений живет во все времена, но люди, являющиеся его носителями, немые, пока необычайные события не воспламят их душу. Поймал клопа. Жирного. Макароны ел через силу”. Автор дневника по-стариковски жалуется на то, что соседи третий год не возвращают примус, рассказывает о своих болезнях (по Чехову - самое скучное, что есть на свете)... Но вот ему семьдесят, и он задумывается о скоротечности жизни. И приходит к следующему заключению: “в с е ж и в у т, и этого для жизни достаточно... Все движется - и мы движемся, претерпевая разные изменения”. Герой вроде бы все понимает; но преображение его сознания невозможно: он слаб, как слабые герои Чехова.

Корректор становится день ото дня сентиментальнее, записи становятся длиннее. А в жизни - ни малейших изменений. Курить так и не бросил (как собирался). Даже мысли о смерти ничего в нем не меняют; старик лишь приходит к такому глубокомысленному выводу: “В жизни есть высокое и радостное, и этим надо жить”.

“Увидел клопа” - последняя фраза. Записи обрываются. Умер? Неизвестно, да и какая разница; ясно, что и не жил.

Очередная “скучная история”?.. Но, читая ее, уныния не испытываешь. В этом - секрет художника, который, со слов Андрея Вознесенского, так раскрыл Борис Пастернак: “Художник по сути своей оптимистичен. Оптимистична сама сущность творчества. Даже когда пишешь вещи трагические, то должен писать сильно, а уныние и размазня не рождает ощущения силы”.

Говоря о Кувалдине, я все время вспоминаю Чехова, и не случайно: Чехов - один из литературных ориентиров Кувалдина, высокий образец, главный учитель, и Кувалдин, как талантливый ученик, развивает Чехова и старается, в известном смысле, его превзойти. Упомянутый в “Записках корректора” Сергей Булгаков говорил о Чехове: писатель ставил вопрос “не о силе человека, а об его бессилии, не о подвигах героизма, а о могуществе пошлости, не о напряжениях и подъемах человеческого духа, а об его загнивающих низинах и болотинах”. Герои Кувалдина тоже почти с головой погружены в пошлость, они, едва ли не все, идут по “загнивающим низинам и болотинам”, но, вместе с тем, многие из них не безнадежны, - это люди мыслящие, своего рода философы, удивительные чудачки (вплоть до психически нездоровых), часто выпивохи.

Скромный типографский корректор Блинов из повести “Философия печали”, человек с несостоявшейся судьбой, пишет труд, в котором хочет выразить возникший в его сознании образ. К озеру идет философ, вокруг - войны, революции, смены правителей, эпох; а философ об этом и представления не имеет, все идет и идет к озеру по ромашковому лугу, и счастлив - потому что мудр. Преподаватель философии Дубовской (из той же “Философия печали”, и один из моих любимых героев), тайный алкоголик, безо-

бидный “околонаучный” резонер, демонстрирующий устойчивость своего тела в движущихся вагонах метро (специально никогда не садится: ставит враскоряку ноги, выпячивает зад, балансирует, приседает), приходит на загородное кладбище, на могилу своего приятеля и постоянного собеседника Петрова и впервые задумывается о том, что “мир состоит, оказывается, не из законов, а вот из этой глины, этого серого ведра, лопаты, зеркальных луж, цветника и скрюченных семян ноготков. Но все разрозненные части, такие привычные и натуральные, соединившись каким-то образом волею случая, составляют и Петрова, и студентов, и самого Дубовского. И каждый бессмысленный шаг “обретает смысл, ложится в давно задуманную, но еще не законченную картину”. И Дубовской выходит из времени, уходит от житейских мелочей, и ему уже достаточно лишь одного - его! - взгляда, “чтобы все увидеть и понять, что все остальное, увиденное другими людьми, лишь повторение пройденного...”. Врач Георгий Павлович Шевченко (повесть “Вавилонская башня”) свою старую коммунальную комнату до отказа набил книгами и даже составил схему “литературной башни”, в основании ее поместил книги для мало-мальски образованного интеллигента, а на вершине - элитарные, постичь которые могут лишь одиночки вроде него, Шевченко. Книголюб старается проникнуть в “существо таинственной цели”, стоящей перед единой, грандиозной душой: душу эту составляют кровная взаимосвязь книг между собой, людей и вообще всего со всем. От напряженной умственно-душевной работы его отвлекают внучка-наркоманка, квартирные махинаторы и торговля наркотическими препаратами. Шевченко погружается в безумие. Он видит и слышит Победоносцева, Тургенева и Достоевского, присутствует при решении финансовых проблем последнего. Повесть воспринимается сплошным потоком сознания (или бессознательного?), внешние признаки происходящего подсказывают внутреннее состояние Шевченко, мы видим, как сами картины изменяются, двигаются вместе с изменением, движением сознания Шевченко.

Герои Кувалдина один диковинней другого, они запоминаются и они реальны так же, как чеховские ионычи и лаевские, как гоголевские помещики, как персонажи Булгакова, Достоевского, Набокова; иногда думается, что Кувалдин, подобно Куприну, проникал в разные социальные слои, не чуждаясь притонов и подворотен, и отовсюду с удовлетворенной методичностью выносил ворохи бесценных наблюдений, и наблюдения эти на все голоса поют и кричат в его произведениях. Многие типы даны в мировой литературе впервые, например, я не знаю ничего похожего на образ Беляева-отца в романе “Так говорил Заратустра”.

Перед нами снова вдохновенный философ-алкоголик. Тут пьянство - очередной способ аллегорически показать выход из “реальности”, то есть из “земной” жизни в социуме, и быть свободным, отбросив мораль, отбросив авторитеты, которые в основе своей авторитарны и, значит, тоталитарны; опьянение здесь - уход от футлярной серьезности, ибо “нельзя к вещам

сложным, запутанным подходить с видом академика. Будет полный провал... Самый чопорный трактат развалится от пробы юмором". В подчиненности человека авторитетам, одним из каковых является и Бог, Беляев, который называет себя Заратустрой, видит массовый гипноз, стадность, рабство, и сам объявляет себя Богом. "Ты начитался Ницше", - говорит ему сын. "Я начитался жизни!" - восклицает отец. Однако Беляев-сын тоже стоит на позициях отца; только ницшеанская философия не возвышает его внутренне; он проводит ее в жизнь как в "реальность", он воспринимает людей своими конкурентами, которых следует перехитрить, устранить (деньги - самое гениальное изобретение человеческого разума после колеса, думает Беляев); его жизнь в "реальности" - как ни крути, стремление больше к внешней свободе, а не к "душевной погоде", ибо он усвоил, что "самого себя в себе нужно охранять, чтобы посторонний глаз не заглянул в тебя, в душу твою...". И все более закрывался для других, становясь малоразговорчивым, "футлярным". Несамодостаточность Беляева-сына подтверждается его тревожными мыслями о преследовании. И вот "в душе возникло какое-то необычайно острое чувство арестованности жизнью. Куда бы он ни устремлялся, всегда словно ощущал на себе взгляд невидимого конвоира".

Не обходится и без размышлений о творчестве, в которых явственно слышен голос самого автора, максималистски упорно и неустанно утверждающего основное условие настоящей литературы: только тот, кто выходит в бред, в запредельность, в полную свободу, ломая даже логику, - может создавать великие произведения. И не забывает оговориться: на одном вдохновении не уедешь, и "запредельный" сюрреализм - он вовсе и не запределен, поскольку механичен, рассудочен; "никогда нельзя писать иначе, кроме как запойно!"

"Это самое главное - делать искусство бессознательно", - вторит Беляеву-отцу художник и певец-любитель Эвальд Эмильевич в повести "Шиповник у калитки" (запойная, кстати, повесть!). Он убежден, что скука возникает от predeterminedности. "Чтобы выразить свою душу, - говорит в той же повести другой художник, старый Ян, - нужно быть полнейшим идиотом! Только идиоты способны сказать что-то новое в искусстве, в котором все места давным-давно заняты". А певец Якунин - оттуда же - "знал, что гении всегда молотят всякую чепуху. Но, что странно, их чепуха становится аксиомой для смертных ценителей".

Замысел повести "Поле битвы - Достоевский" гениален. "Вечный младший научный сотрудник" Егоров приходит к академику Давидсону, президенту фонда поддержки научных исследований, с робкой, но страстной надеждой получить грант на исследовательскую работу о Достоевском и поправить свое бедственное материальное положение. Оба много рассуждают о Достоевском, о русской литературе, сыплют филологическими терминами, пока вдруг Давидсон не произносит ключевую фразу: "...Сколько можно кормиться на классике! То эти пушкиноведы одолели, то толстоведы,

то гоголеведы... Довольно самого Достоевского. Довольно самого Пушкина. Довольно самого Блока. Хватит марать бумагу! Тут, понимаешь ли, море современной работы. Мы же не вечны. Так почему же мы так не любим себя, свое поколение, свое время, свою единственную и неповторимую жизнь?! Они свое прожили и получили по заслугам". - "Сколько вы мне прожите в месяц за отказ от Достоевского?" - неожиданно для самого себя проговаривается Егоров. И соглашается писать - о самом Давидсоне: "Ну что ж, это будет наиболее правильное использование народной копейки".

Повесть не только пародия на филологов. Она также пародия и на искусствоведов, которые специализируются на великих именах, ездят на бесконечные научные конференции - чтобы быть на виду, общаться, печататься, гулять на банкетах, - прекрасная цель, но при чем тут Достоевский, Пушкин, Лосев, Рахманинов, Мусоргский, Левитан и т. д. и т. п.? Я хотел бы, чтобы повесть эта стала настольной для них, филологов и искусствоведов, о которых, наверное, Кувалдин и сказал так гиперболично зло, приписав эту мысль художнику Яну: "Кто окончил спецшколу с золотой медалью, тот самый бездарный среди живущих".

Писательство для Кувалдина - религия; священнодействию писательства посвящены многие поздние его рассказы; есть даже и целая повесть о художественном творчестве, кувалдинская "Библия" - "День писателя"; сказал бы - ключевая книга для постижения творчества Юрия Кувалдина; но нет - у него каждая вторая книга ключевая; у него вообще нет ничего случайного. Потому что - стремится к запредельному, к бреду, вслед за Гоголем.

Именно на таком "бреде", когда "сама реальность сходит с ума", когда дозволено создавать самую немыслимую - в пределах реалистического стиля - реальность, написана повесть "Станция Энгельгартовская", действие которой происходит в армейской спецчасти, где шагают в столовую под чтение Бодлера, именно на таком "бреде" написан и роман "Родина" (о нем речь впереди).

Некоторая бредовость есть и в основной линии сюжета романа "Избушка на елке". Два московских инженера, Кашкин и Фелицын, едут в командировку на ТЭЦ, поселяются в гостинице, там Кашкин ни с того ни с сего умирает, и его коллеге приходится доставлять тело по адресу покойного, в Старокопюшенный переулок... Но эта линия основной роли в романе не играет; самое в нем главное - картины детства обоих, странички жизни их предков, быт старой Москвы, безвозвратно ушедшей, трогательный и немного сказочный, как избушка-игрушка на новогодней елке. "Избушка на елке" - пожалуй, самое лиричное, самое интимное произведение Кувалдина. Если бы он написал только один этот роман и ничего больше - имя Кувалдина уже бы вошло в литературу прочно. Сказать по правде, сотворенная будто на одном дыхании "Избушка..." мне дороже всех прочих кувалдинских произведений; она вызывает неубывающее восхищение, ее хочется читать и перечитывать. Редкий случай; подобные произведения я смог бы пере-

считать по пальцам. Удивительно тесная, детальная, суховато-трезвая проза, ничего лишнего, ни слова пропустить нельзя, каждое - "держит", не позволяет глазу проскочить мимо; снова напомним о чеховском простом и высокохудожественном языке. Здесь все потрясающе любопытно, даже если и событий-то особых нет, - само чтение доставляет физиологическое наслаждение, само течение авторской мысли, авторской фантазии, и еще - интонация, мелодия... Лирика наполовину перемешана с легкой ироничной насмешливостью, любое предложение будто всегда к услугам приготовившегося выступить юмора, и кажется, что юмор прячется за каждым словом, а за словами автор следит так, что не одно не напишется зря и не на своем месте, - каждая деталь подмечена, каждая играет. И за каждым словом - также легкая грусть, сдержанная взволнованность. За Фелицыным не иначе прячется сам автор, которому все дорого в городе его детства, и он, автор, старается ничего не упустить, сохранить этот старомосковский мир хотя бы здесь, на пространстве книги, объять этот мир, вдохнуть его воздух словно в последний раз, сбережь пусть и в таком виде - как сновидение наяву, - зная, что никто уж его не тронет, может только войти в него всякий - кто захочет - не переделывая, не оскверняя. Конечно, конечно, Фелицын - это сам Кувалдин, ребенок, "росший в центре Москвы, дышавший стоячим воздухом каменного двора", который "похож растению, искривленному, бледному, с зелеными оттенками: такое можно увидеть, отвалив придорожный камень... Виновато ли оно, что судьба назначила ему жизнь под придавившим его камнем, нет ли, но болезненное растение, испытав на себе все невзгоды произрастания, продолжает сражаться за жизнь, смиряется с нею, приобщается..."

Жутковато, душно, убого? Нет! - автор раздвигает, разрушает границы каменного двора, он вырывается на свободу - свободу изогнутых улиц, переулков, тупичков, его Москва преобразуется в щемящие образы Аполинария Васнецова, Поленова, Саврасова, Юона, он беспредельно взволнован: "Пойдем же, пойдем же по улице детства! Свернем в подворотню к Китайской стене: здесь все неправильно, все вкривь и вкось, двор нарушает понятие о законах симметрии, здесь правит дисгармония, здесь каждая часть в отдельности хороша до самостоятельности, хороша до сумбура, который каким-то непостижимым образом рифмуется парно и перекрестно, и скачут строки в метрике камня, и изгиб улицы кажется прямызной, и дом к дому подогнан накрепко, навечно!" А как точно передано волнение Фелицына - будущего первоклассника! "Желтый кленовый лист шелестит по сухому асфальту, в солнечном свете он кажется остроузорным кусочком сусального золота, сорвавшимся с купола церкви. Игорь волнуется, по спине пробегает холодок. Он оглядывается на дедушку и папу, ища их поддержки. И они кивают ему с улыбкой, хотя сами волнуются и лица их бледны". Кувалдин, опытный, незаурядный мастер, пишет холодным умом и горячим сердцем.



Интересно заметить, как в этом прекрасном романе Кувалдин предстает в качестве “деревенщика”. Думаю, что если бы главу, посвященную пребыванию Игоря Фелицына в деревне, прочитали Федор Абрамов, Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Крупин и прочие выходцы из глубинки, то возмутились бы брезгливостью и едкой иронией автора “Избушки...” Да, Кувалдин описывает деревню как горожанин-интеллигент, как москвич, он с ней никоим образом не связан, и она, убогая, пьяная, вызывает у него отвращение, а не горечь. Я не спешил бы воспринимать “деревенскую” главу романа как издевательство, а посоветовал бы прислушаться к сказанному. Писатель горько, беспощадно прав, и не мешало бы иногда взглянуть на деревню его глазами. Мне трудно избежать цитирования, поскольку слово Кувалдина красноречивее любого комментария:

“Щипанцев, высокий, тощий и лысый бригадир, на котором одежда всегда свободно болталась, как на вешалке, живший на краю деревни, купил мотоцикл с коляской и носился по деревне, поднимая пыль, от нечего делать. Приняв дозу с Василием и Быловым, он усадил их на мотоцикл и понесся прямо, разгоняя кур и гусей, никуда не сворачивая. А нужно было свернуть, потому что в конце деревни был глубокий, заросший крапивой овраг...”

“...кроме картошки, в деревне ничего не сажали. Говорили: “У нас ничо не растет”. Дмитрий Павлович построил парник и посадил огурцы. Когда они проклюнулись, бабушка сказала с какой-то ненавистью, что все равно погибнут” (потом, ночью, кто-то этот парник разрушил).

“Коверкали язык в деревне все кому ни лень. Игорь сначала думал, что они притворяются... но потом понял, что по-другому эти люди говорить не умеют и, главное, не хотят уметь... Матрос Василий до того доокался, что говорил “стокан” вместо “стакан”. Игорю казалось, что они... мяли слова во рту для того, чтобы выплюнуть эти слова изуродованными, взятыми не из прекрасного русского языка, а из какого-то тарабарского”.

Единственный положительный персонаж из деревенских - двоюродный брат бабушки Иван Матвеевич, который пропал у себя во дворе “целыми днями, ни с кем не общался и водку не пил. Поэтому все в деревне называли его придурковатым”.

Тема деревни потом разовьется, станет еще более заостренной в повести “Счастье”, где Кувалдин не пощадит даже ложно-глубокомысленного интеллигента-учителя: “Учитель поднял высоко голову и, придерживая шляпу, долго смотрел на небо. Как бы следуя его примеру, все вдруг стали смотреть на небо, не появилось ли там чего интересного. Но интересного там ничего не было”. Пренебрежение к людям, отношение к ним как к ничтожествам, удовольствие от смакования их пороков? Нет, для Кувалдина это было бы слишком мелко. Тут другое: он почти насильно привлекает внимание к низменному, чтобы пробудить наше сознание.

Человек безграмотный, для которого не существует мира высокого - литературы, искусства, - для Кувалдина не просто бесполезен. Для него такой человек - возможный разрушитель, способный на бессмысленное зло. Так, герой повести "Беглецы" Везувий Лизоблюдов, воспитанный в семье рабочих, где тоже "коверкают язык" ("нагинаюсь", "хочете", "куды", "лягайте"), где все интересы ограничиваются ничтожным повседневным бытом, - Лизоблюдов, сам такой же ограниченный, скучный, - разозлившись, по неосторожности убивает соседа-интеллигента Юрика. "Прямолинейным пророчеством" называет такой финал критик Владимир Новиков и тут же замечает, что автор вроде бы и не так уж уверен в своей правоте. Новиков подметил верно, подтверждение тому - язык Кувалдина. С одной стороны - замкнутый круг серой повседневности с ее пьянками, застольными разговорами (мужчин - о карбюраторах, аккумуляторах, коленвалах, женщин - о холодце, заливаемом из трески и о соотношении муки и дрожжей в пирогах), с другой - "Звенели на морозе троллейбусные провода, сладко похрустывал новогодний снежок под ногами, щипало нос, розовели щеки, и покрывались белой глазурью инея шапка, шарф и воротник. Солнце поджигало снег, за прохожими весело бежали длинные тени, в подворотне с холодными мрачными стенами хрустально крошился ледок и позванивал, как рождественские колокольчики". Только художник может подняться над повседневной пошлостью, над ничтожностью бессмысленного существования, и тот, кто художником не является, всегда может воспользоваться его услугами, взглянуть на мир его глазами. И должны взглянуть! Тут Кувалдин категоричен, с ним не поспоришь, поскольку счастье, спасение - именно в умении видеть, - как говорит философская притча, видеть, что золотое ожерелье, о котором мечтал, висит у тебя на шее, а змея, которую боялся - веревка на земле. Счастье, свобода - не то, что имеешь, а то, что ты есть.

"Я приемлю этот мир сию минуту! Я приемлю вишневое цветение заснеженных крыш! Приемлю!" - возвещает персонаж повести "Сплошное Бологое" Зеленков, вся жизнь которого "состояла из поднятия стакана". Почему Кувалдин так любит философствующих алкоголиков? Возможно, пьянство или, лучше сказать, опьяненность выступает в его творчестве и некоей метафорой, противовесом "нормальному", "серьезному" человеку, не понимающему волшебства жизни. Ведь пьяница-отец Везувия и пьяница-Зеленков (так же, как отец-Беляев в "Заратустре") - совершенно разные типажи. Зеленков, после крушения КПСС работавший представителем фирмы, не зная, чем эта фирма занимается (подписывал какие-то бумаги, о содержании которых не имел представления), встречает своего старого приятеля, преуспевающего Мацера, тот приводит Зеленкова в загадочную фирму и предлагает работу. Цель предложения - обратить Зеленкова в трезвость. Мацера, сам в прошлом любитель "ста грамм", мечтает создать на базе своей фирмы лечебно-трудовой профилакторий и с помощью немецких спонсоров заняться отрезвлением России - "перестроить людей", "вдохнуть новое со-

держание в старую форму” (“Сколько же людей на пространствах России, которую Гитлер не проехал, которую Наполеон не прошел... находятся в состоянии опьянения”). Кувалдину нравится свой герой-идеалист (“по сути, только идеализм”, то есть мечтания, “отличает человека от животного”), и, мне кажется, нравится и то, что план Мацеры обречен на провал.

Кстати, о фирмах. Кувалдину интересны все эти коммерческие организации, производственные процессы, рабочие и служащие, он неистощим на выдумки и тут. И всегда чувствуется его отстраненный взгляд на этот мир - как на мир не важный, ненастоящий, где люди встроены в социум и, по выражению писателя, бултыхаются в “реальности” и исчезают безвестными. Для наглядности Кувалдин выбирает вторых, третьих лиц, людей-винтиков, а то и таких никчемных, которые не умеют даже и явной удачей воспользоваться.

Повесть “Замечания”. Пожилого слесаря Сергея Васильевича приглашают в солидную фирму. Его обязанность - сотрудникам делать замечания: клиенты должны знать, что все здесь по строгости. Назначается крупная зарплата. Нарочитая бессмысленность ситуации вполне согласуется с тем, что в жизни Сергея Васильевича ничего не меняется: по-прежнему ненавистна жена-алкоголичка, так же злобна дочь; деньги, которые уходят неизвестно куда, счастья не прибавили; все тот же замкнутый круг (“Надо было продолжать жизнь и выполнять свои обязанности. Вращать колесо”)...

В повести “Титулярный советник” ситуация похуже. Директор производственного предприятия “Цветы России” Марков берет на работу заместителем бывшего однокурсника, безработного Олега Олеговича. Олег Олегович, типичный “маленький человек”, тихий и безответный, весь продукт советского строя, намерен, ничего не делая, получать деньги, и, в конце концов, выражая претензии, садится на шею своему благодетелю, на что Марков преподает ему урок: “Ты что, принимаешь меня за социалистическое предприятие?... Я предприятие собственного интеллекта, собственной воли, собственной смелости. И если я заработал что-то, то это заработал я, а если прогорел, то это я прогорел... И я тебя как бы впустил в себя, а ты меня воспринимаешь как нечто вне тебя стоящее... Ты не переродился, тебе нужно под красными флагами ходить и просить у абстракции, то есть у правительства, средства к существованию, а эти средства эта абстракция ворует у меня через бредовые налоги”. Но у маленького человека прорезаются самоуверенность и наглость. Результат - он снова без работы, с голодной семьей.

Повесть “Месть” - тоже, условно говоря, производственная, она о редакционном быте с его интригами, застольями. Запоминается ирреальный эпизод: засидевшаяся у художника Коли пьяная компания из подвала проникает в коридор с ковровой дорожкой, потом в круглое фойе с черными мраморными колоннами, и входит в приемную за стеклянными дверями, где их застаёт старик-вахтер в черной шинели и соглашается с ними выпить.

Наутро необыкновенное путешествие забывается в череде новых интриг и пьянок. Снова - замкнутый круг... (Более ранняя повестушка-эскиз "Пьеса для погибшей студии" рассказывает о быте на сей раз театральном, там тоже посиделки-выпивки, тоже далеко не безупречные герои, но герои эти собираются не ради пустой болтовни и пьянки - они стараются в интеллектуальных беседах спастись от убогости и безмыслия жизни).

Таким интеллектуалам владеец инвестиционного фонда Абдуллаев говорит: "Вы, русские, хорошие, как дети маленькие, мы вам всем работу найдем... Мы пришли и вас тихо-тихо покорим... Вы хорошие исполнители, но идей у вас нет... Поэтому не любите нас, обзываете нас чурками, черными. А это от бессилия". Впоследствии, правда, оказывается, что Абдуллаев аферист.

В начале повести "Ворона" (перелицованная чеховская "Чайка"; персонажи-москвичи думают, что чайка и ворона одно и то же) Маша с пафосом декларирует: "Все мертво, и только я, ворона, летаю над свалкой человечества... все живое стремится к смерти, что-то еще сопротивляется мне, пытается жить, но я, взмахивая черным крылом рояля моцартовского реквиема, гашу стремление к обмену веществ. Смерть, смерть правит миром". А в конце обращается в чайку: "Я поменяю все жизненные устои ради свободного перемещения в пространстве истории, до истории и после истории, я невольница свободы, выброшенная из небытия биологическим плевком кодирования осмысленной природы... Вот в чем бессмыслица нашего существования - в нашем неволии в плевом деле жизни!" И признается собеседнику: "Утром я проснулась и увидела в трехлитровой стеклянной банке букет свежесломанной сирени. Солнечный свет падал с тыльной стороны, и вода в банке источала золотое сияние. Я смотрела на это чудо и как бы окидывала взором всю свою "плевою" жизнь, и она - жизнь - казалась мне в эти минуты содержательной и даже счастливой". За логикой этой фразы стоит Кувалдин-художник, который, возможно, поднимая вопросы жизни и смерти, старается в "Вороне" соединить Чехова и Достоевского, то есть - "нерассуждающую веру и безнравственный разум".

В одном из интервью писатель весьма показательно высказался о "биологическом плевке": все мы рождены от волшебства любви. В эротическом пласте его прозы нет ничего низкого, постыдного. Есть шокирующее; но шокировать это может только стыдливого читателя-пуританина. Признаюсь, поначалу меня несколько смутила его откровенная повесть "Юбки" (своего рода "донжуанский список"), как в школьные годы смутил "Декамерон". О том, что в нашей жизни существовала половая жизнь и при советской власти, Кувалдин едко написал еще в повести "В садах старости", опубликованной в "Дружбе народов" в 1996 году. И, наконец, в романе "Родина" прямо заявил: начало языка - в русском мате, в котором "содержится и совокупление, и смешение ради новой жизни".

“Родина” - сложный роман, едва ли не самый сложный из всего написанного Кувалдиным; здесь действуют живые Достоевский, Булгаков, Порфирий Петрович, Пилат, Качалов, Чичиков, Саврасов, Юрий Левитан, Исаак Левитан, Воланд, Шукшин, Гоголь, здесь оживают символы России (я ни в коем случае не провожу параллель с примитивно-претенциозной живописной “публицисткой” Ильи Глазунова). Кувалдин, по его собственному признанию, освобождает понятие “родина” от сусальной фальши и сочиняет новую, постмодернистскую религию. Его постмодернизм - не увлечение модной ныне центонностью (хотя и она имеет место), не “прикольная” мешанина из деятелей разных эпох; его постмодернизм - особый, кувалдинский: Время, в котором все люди, на которых держится наша культура, вместе и запросто общаются, общаются и их персонажи, не менее реальные, чем сами сочинители (“А наша жизнь - это жизнь литературных героев?” - спрашивает героиня романа у Раскольникова), Время, в котором литература не делится на эпохи и периоды. И снова Кувалдин говорит о “запойности” в творчестве (“Ни один трезвенник ничего не создал, что может сердце разорвать. Я грачей для разрыва сердца нарисовал. Они мне разорвали сердце. Я плакал, когда рисовал эту картинку”, - говорит Саврасов), снова рассуждает о тех, кто слепо поклоняется идолам... Его героиня - доцент кафедры истории КПСС старуха Щавелева, свихнувшаяся от этой самой истории, - случайно убивает свою мать (Родину-мать) и, похоронив ее на Ваганьковском кладбище, остается фанатично преданной идеалам марксизма-ленинизма. Но прожитая жизнь кажется ей бессмысленной. “Лишь один выдающийся половой акт с секретарем райкома ...на столе был в ее жизни настоящим событием. Но разве расскажешь об этом событии людям?” В магазине “Интим” она покупает огромный фаллос, а потом путем непорочного зачатия рождает от Ленина желанного ею Нового Русского Бога, мальчика, которого по решению Сталина называет Ругором (Русской Гордостью). Весь роман - это бред, запредельность, это, если угодно, шизофрения, которая, как говорит автор, только и двигает мир. Кажется, после “Родины” автору можно бы уже ничего и не писать. Но Кувалдин неистощим, и каждое его очередное крупное произведение - будто дает мощный заряд следующему, рождающемуся.

И Кувалдин пишет, и каждый раз иначе. Это хорошо заметно по его рассказам, - жанр, которым он владеет в совершенстве. Если ранние написаны по-чеховски мягко, лирично, сдержанно, то поздние - размахисто, смело, без оглядки на отглаженность фразы, без заботы об ее изяществе. Они пишутся просто, будто даже и небрежно, уверенно - и тем самым сильно, крепко, добротнo. Эта сила, видимо, у Кувалдина от Достоевского и Толстого (известно, что Толстой “ломал” предложение, если оно казалось ему слишком гладким), которые писали, будто возводили надежное здание, не боящееся никаких стихий. Так - безоглядно - писать дозволено не многим. Только большим мастерам. Кувалдин пишет, рассчитывая на бес-

смертие, он не скрывает, что хочет стоять на полке книгой рядом с Чеховым, с Достоевским, с Платоновым. “Надо быть самозванцем в искусстве, потому что без самозванства никому ты не нужен и под лежащий камень вода не подтекает”, - заявляет Миша, персонаж “Вороны”. И далее провозглашает: “Ни в коем случае не должно проступить лицо в твоих произведениях, ты, по определению, многолик. Тогда тебя ждет посмертная слава, и никому в голову не придет мысль, что ты уже давно умер. И более живым ты становишься после смерти!”

Юрий Александрович Кувалдин, большой русский писатель, проницательный критик, теоретик художественного творчества, трудится без отдыха, день за днем. Много сделано, многое предстоит сделать. У него - огромные планы. А единственный шанс больше успеть - известно, как можно больше на себя взвалить.

Иной жизни у Кувалдина быть не может. Ибо, сказано, Кувалдин и есть сама Литература. Он не ждет от нее материальных благ. Он сам несет в нее деньги. Он выпускает книги одаренных “некоммерческих” авторов и ежемесячный литературно-художественный журнал современной русской литературы “Наша улица”. И, заметно никуда не спеша, успевает все. Кто знает, сколько филологов будет кормиться на его имени, как мечтал кормиться на Достоевском Егоров?..

А может, кто из бескорыстных, истинно влюбленных в литературу, напишет и “Улицу Кувалдина”.

# СТАНЬ КУСТОМ ПЛАМЕНЕЮЩИХ РОЗ

роман

## ГЛАВА 1. ТАЙНА ДОБРА

В 1904 году солнце всходило так же, как и ныне, и когда оно вошло, осветив спальню Анны Сергеевны Аргуновой, первое, что заметила эта пробудившаяся столь рано женщина, был вспыхнувший искорками от солнечного луча, как снег, стеклянный подсвечник, стоявший на туалетном столике у кровати. Рядом с подсвечником лежала раскрытая книга, и страницы ее тоже посветлели, лоснились от яркого света.

Аргунова на ночь долго читала, не могла уснуть, а когда уснула всего лишь на три часа, то ей снились дурные сны. Она села на кровати и приложила холодные пальцы к седеющим вискам. Нехорошее предчувствие мучило ее.

И точно, в начале девятого, когда горничная подала кофе, от которого струйкой поднимался пар, как дымок от папиросы, внизу позвонили, и швейцар с золотыми галунами, усатый Митрич, принес телеграмму. Когда он вошел, сильно шаркая ногами, в столовую, Аргунова вздрогнула и уронила на блюде золотую ложечку.

Выражение лица, сухощавого, с тонким носом и большими глазами, было такое, как будто ей только что объявили, что она приговорена к смертной казни. Дрожащей рукой она приняла телеграмму и, не дожидаясь, пока Митрич покинет столовую, надорвала край ее и развернула: "Вам надлежит срочно прибыть курьерским поездом Петербург сын желает Вас видеть - защитник Логинов".

Кровь с силой ударила в виски, Аргунова порозовела и торопливо стала ощупывать заколки в прическе. В столовую вошла гор-

батенькая няня, воспитавшая в свое время сына Дмитрия, с которым теперь случилось несчастье, и, часто дыша, словно догадываясь, о чем идет речь в телеграмме, сказала:

- Я предчувствовала!

Не глядя на нее, Аргунова побежала к себе, через минуту уже выбегала из дома, чтобы призвать извозчика.

На улице было тихо, стекла домов вызолотились утренним солнцем и весело отражали лучи его, все казалось чистым, умытым, один луч от стекла второго этажа желтого белоколонного особняка, как от серебристого зеркала, ударил в лицо, Анна Сергеевна зажмурилась и, сделав два шага в сторону, увидела какими-то новыми глазами даль улицы и там, в дали, край синего неба над золотыми куполами церковки, выше которой небо из синего переходило в голубое, просветлялось, и, глядя вверх, Анна Сергеевна вдруг почувствовала с волнением, что резко стала уменьшаться, вдавливаясь в землю, и голова немного закружилась, как кружилась в юности от первой веселой мазурки на балу, когда весь трепет молодой жизни фокусировался на чем-то сладостно-неопределенном, предчувствуемом, когда выбегала на балкон и смотрела в ночное небо, испещренное яркими голубо-белыми звездами, смотрела, стараясь унять трепетное сердце, чтобы увидеть падающую звезду и загадать желание, неопределенно-расплывчатое, сходящееся, в общем-то, к одному - к счастью, о котором каждый мечтает и думает, но мало говорит о нем вслух, потому что опасается быть не так понятым, смешным, даже по-детски наивным, и подавляет с течением лет эту неодолимую тягу к счастью, все меньше и меньше заглядываясь на небо, которое в эти утренние часы было чисто и ясно, как взгляд матери на своего любимого ребенка, как взгляд, исполненный нежности и доброты, необъятной, как это голубое утреннее небо над екатеринбургской улицей, в перспективе которой показался извозчик, и Анна Сергеевна взмахнула черной шелковой перчаткой.

До этого утра она не знала, где ее сын. После издания "Капучиниады" с ним стало происходить что-то странное. Он надолго пропал, но потом все-таки писал маме в Екатеринбург. И вот теперь - телеграмма. Коляска миновала дом Расторгуева-Харитонов, выехала к кирпичному зданию мельницы у вокзала. Душой Аргунова была уже там, в Петербурге, с сыном. Она не помнила, как села в вагон, с кем ехала, и, едва пробил третий звонок, слыша-



лись свистки, и поезд натужно тронулся, пред глазами Аргуновой возник образ сына.

На какой-то станции Аргунова подняла окно, чтобы вздохнуть свежим воздухом, потому что голова была тяжелой и недобрые мысли переполняли ее, и на перроне, освещенном весенним солнцем, прямо против окна увидела двух мужчин, о чем-то оживленно переговаривающихся. От стука окна мужчины обернулись, и в одном из них Аргунова, вздрогнув и раскрыв рот, узнала бывшего товарища прокурора палаты по политическим делам Ефимова.

Аргунова по блеснувшему взгляду, который Ефимов на нее бросил, догадалась, что он также узнал ее. Они достаточно хорошо помнили друг друга по делам сына, которого Ефимов энергично преследовал. Арест девятнадцатилетнего Дмитрия Аргунова семь лет назад за речь на сходке, его исключение из университета без права поступления в какое-либо учебное заведение - все это прошло через руки Ефимова.

В памяти Анны Сергеевны Аргуновой еще свежо было последнее свидание с Ефимовым и его шутивно-ироничная фраза: "У юношей - все под углом гражданского протеста!"

И вот теперь этот Ефимов, щекастый, с серебристыми залезшими назад волосами, ехал вместе с нею в одном поезде. Как только раздался звонок к отправлению, Ефимов с тем господином, что стоял с ним на перроне, вошли в вагон.

Весь оставшийся путь Аргунова напряженно думала о судьбе сына.

- Петербург близко! - крикнул кондуктор басовито, и Аргунова от этого возгласа задрожала, но затем заставила себя успокоиться.

На перроне ее ожидал присяжный поверенный Зайцев - ему, по всей видимости, телеграфировали из Москвы. Посопев мясистым носом, Зайцев спросил:

- Вы в курсе дела?

Аргунова, ощущая недомогание, покопалась в сумочке и, найдя телеграмму, протянула Зайцеву. Он скосил на белый лист темные глаза, и добродушное лицо его потемнело.

- Хм, - выдохнул он в смущении и начал притопывать каблуком.

Справляясь с волнением и недомоганием, Анна Сергеевна пристально посмотрела на него.

- Давайте все начистоту! - достаточно громко сказала она своим высоким голосом и сунула телеграмму в сумочку.

Зайцев некоторое время смотрел на нее бессмысленно, затем, словно что-то вспомнив, крикнул, оглядываясь:

- Носильщик? Бери чемодан. - И добавил для Аргуновой: - Я еду с вами.

Не заезжая в отель, Аргунова с Зайцевым направились по указанному в телеграмме адресу к защитнику.

Их ожидали. Быстро открылась дверь, и перед ними предстал довольно молодой, с прямой спиной и сухим лицом военный, капитан.

- Вы господин Логинов? - помедлив, спросила вкрадчиво Аргунова, понимая, что с должностными лицами следует держать себя предупредительно.

Сухощавый, даже поджарый капитан, с густой копной волос, вежливо поклонился и прищелкнул каблуками хромовых сапог.

- Что с моим сыном?! - вырвалось у Аргуновой. - Жив ли он?

- Несомненно! - проговорил приятным голосом Логинов. - Накануне вашего приезда я видел его. Держится он бодро и ждет вас с нетерпением. Дело на несколько дней отложено из-за кое-каких формальностей.

Лицо Аргуновой осветилось сдержанной улыбкой, и тяжесть схлынула.

Ее сын, Дмитрий, жив!

Она вздохнула и опустилась на стул.

В глазах ее, не моргающих, застыл блеск надежды.

Между тем присяжный поверенный Зайцев, трогая пальцами свой большой мясистый нос, расспрашивал капитана о ходе дела.

- Скажите сыну, - произнесла вдруг Аргунова, сжимая в руках платок, - что я тверда и не плачу. Но рассчитывать на милосердие и беспристрастность высоких властей не приходится.

Капитан Логинов заметно покраснел и сказал довольно сдержанно и с достоинством:

- Я вполне понимаю ваше состояние, как матери. Но мне, как человеку военному, такие речи слушать неприятно!

Аргунова догадалась, что сказала бестактность, и даже старалась далее, прежде чем что-либо говорить, подбирать слова.

- Могу ли я видеть сына? - спросила она через некоторое время с волнением.

Капитан обещал со своей стороны полное этому содействие.

Но прежде чем увидеть сына, Аргуновой довелось испытать множество проволочек. Она ездила к следователю, к прокурору, а потом и в штаб крепости.

Однажды, проходя мимо небольшого книжного магазина на Литейном, Анна Сергеевна увидела, что в окнах выставлено несколько книг, давно уже подвергшихся аресту в Екатеринбурге, и у нее возникла надежда, что, может быть, и “Капуциниада” сына, тоже подвергшаяся аресту, есть в этом магазинчике. Она вошла.

У прилавка стоял молодой скуластый околоточный, а перед ним высились целая стопа книг, и он перебирал их хотя с глубокомысленным, но несколько беспомощным видом. От шинели околоточного крепко пахло сукном и пылью. Этот характерный для властей запах, с примесью запаха ваксы сапог, неприятно контрастировал с запахами бумаги, картона, клея, в общем, с теми запахами, которые успокаивают нас в тиши библиотек и хороших книжных магазинов.

Книги отложены были, на взгляд околоточного, все подозрительные: в красных и, в лучшем случае, в розовых обложках. К примеру, в Царском Селе книги и журналы в красных обложках к продаже на улицах не допускались.

Аргунова воздержалась сразу спрашивать у приказчика о “Капуциниаде” и взглянула поближе на книги, откладываемые в стопку молодым околоточным.

Отобраны были: “Преступление и наказание”, “Обломов”, “Война и мир”, какой-то песенник, имеющий значительно меньше касательства к социализму, чем сам господин околоточный, и целый ряд столь же “преступных книг”.

Аргунова улыбнулась.

Выбрав, видно, наудачу, еще несколько брошюр, околоточный кашлянул смущенно и велел завернуть их и отослать к нему.

- Всю ночь придется теперь сидеть... читать... - важно и с некоторым укором произнес он, неизвестно к кому обращаясь. - Рассмотрю. Если ничего не окажется, пришлю завтра.

И власть удалилась, совершив спасение отечества от “Обломова” и совершенно не подозревая предательства серых и белых брошюр на окнах.

- А “Капуциниада” Аргунова у вас есть? - спросила Анна Сергеевна, проводив глазами околоточного. Пожилой приказчик тотчас ответил:

- Из типографии не успели принести. Порезали-с!  
- Печально, - произнесла Аргунова, оглядывая равнодушным взглядом полки.  
- А как же эти остались? - кивнула Аргунова на витрину.  
- Нам списков запрещенных книг не изволили дать, - сухо сказал приказчик и потрогал указательным пальцем кончик носа. - Приносят на прочтение и для расписки в оном. Благодаря такой осторожности, я не помню и не знаю о конфискации тех или других книг...

Надо сказать, что инспектор типографий, чтобы избавиться от справедливых нареканий, напечатал впоследствии, в октябре 1906 года, "Список книг, подлежащих конфискации". Списком этим снабдили сначала только полицию, а затем и книжные магазины, но составитель, надо отдать ему справедливость, сделал все, чтобы список его никуда не годился: он не додумался даже до алфавитного расположения названий, что, разумеется, облегчило бы справки...

Когда Аргунова вошла в первый раз в камеру сына, из груди ее вырвался какой-то вопль.

Дмитрий, высокий, голубоглазый, со щетиной на щеках, быстро подошел к ней и обнял. Солнечный свет падал в зарешеченное окно, и от соединившихся фигур матери и сына падала на стену одна густая тень.

- Не плачь, мама! - сказал Дмитрий, сдерживая волнение, и погладил ее ладонью по щеке. - Не нужно давать волю чувствам в таких случаях.

Аргунова успокоилась и поцеловала его в колючую щеку. Она слишком хорошо знала Дмитрия, знала его принципы, и тайный голос шептал ей, что тут что-то не так.

Загремели засовы, заскрипела ржавая дверь, показалось рыжеусое лицо надзирателя, хмыкнуло и исчезло, так же прогремев засовами.

После первых слов мамы Дмитрий, сутулясь и глядя, не моргая, в окно, положил руку на ее плечо и сказал задумчиво:

- Мама, как жаль, что никто меня не понимает...

Два месяца назад в квартире Дмитрия Аргунова прозвонил ручной звонок, проволока от которого шуршала по стене. Аргунов задумчиво смотрел на шевелящуюся проволоку, но не двигался с

места, потому что все еще находился под впечатлением собрания, с которого только что вернулся.

Было слышно, как горничная сошла вниз со свечой, потом поднялась и быстро шепнула:

- К вам!

Звон шпор и топот многих ног по лестнице вывели Аргунова из забытья, он вздрогнул и обернулся. Только что он повесил шубу на крючок и теперь снимал шапку.

Тени от вошедших скользнули по стене, а огонь в руках горничной затрепетал, как газовый шарф на ветру.

- Господин Аргунов, потрудитесь пройти в комнату! - прозвучал простуженный низкий голос.

Аргунов побледнел и почувствовал холод в поясице. Он положил шапку на полку и растворил дверь в комнату. Засветив огонь, он прошел к столу и в волнении сел на стул. Взору Аргунова представилась хорошо знакомая каждому русскому обывателю картина: у книжного шкафа стоял плечистый полицейский офицер с какою-то бумагой в руках, на сапогах его подтаивал снег, и вода струйками стекала на паркетный пол, а вся комната была наполнена людьми: толпились и дворники, и городовые, и околоточные, и еще какие-то загадочные личности.

Вся эта компания в свете лампы отбрасывала каскад теней на пол и на стены, и у Аргунова было такое впечатление, что он не у себя в комнате, а в лесу, где стоят лишь стволы, без крон, без ветвей.

- Что вам угодно? - спросил наконец Аргунов в растерянности, с подобием страха.

- Я имею предписание градоначальника произвести у вас обыск, а вас взять под стражу независимо от результатов обыска, - сказал офицер простуженным голосом и вскинул густую с проседью бровь.

Аргунов пожал плечами, шумно вздохнул, шевельнул локтем и уронил на пол чашку, которая разбилась.

Бравый полицейский вздрогнул и зажмурился.

Началась обычная процедура обшаривания всего, что попадалось на глаза, и того, что не попадалось на оные. Пристав согнулся у письменного стола, штатский господин и два городских занялись книжным шкафом, городовые же были расставлены у входных дверей внизу, около квартиры и около особы Аргунова, а

дворники, с грубыми мужицкими лицами, стояли, как виноватые, смущенно переминаясь в валяных сапогах с галошами с ноги на ногу, как ломовые лошади в редкую передышку, и испуганно поглядывали на начальство.

Аргунов понял причину появления у него неожиданных гостей по той жадности, с которой они набросились на всякие брошюры, доклады, рукописи и заметки, имевшие отношение к закрытому градоначальником съезду деятелей по техническому и профессиональному образованию, на котором Аргунов читал главы из “Капцуниады”, арестованной цензурным комитетом.

Видя крамолу в каждом сообществе людей, министр внутренних дел В. К. Плеве особенно не любил всякие съезды и собрания. Программа съезда была урезана до такой степени, что казалось, съезд утратит всю свою жизненность и потеряет все свое значение. Съезд все же состоялся, несмотря на все препятствия, и работал он с такой энергией, что был квалифицирован властями как преддверие революции.

Начались аресты. И потянулись долгие дни предварительного заключения...

Едва Дмитрий успел рассказать маме эти подробности, как появившийся караульный офицер заявил, что свидание окончено.

...Падал снег, и на душе было тоскливо. Казалось, что молочно-серое небо совсем притерлось к земле и скрипело, как тот же снег под ногами. Дмитрий Аргунов, конвоируемый двумя жандармами с красными, как мясо, лицами, в длинных шинелях, от которых почему-то пахло дегтем, прибыл к концу ноября в Архангельск.

Сильный пар шел изо рта, прохожие кутались в воротники, морды лошадей были покрыты инеем, северная красавица-Двина ушла под лед, лишь кое-где чернели полыньи, как заплаты на одежде. Сугробы лениво уходили вдаль, как стадо белорунных овец.

Аргунов и жандармы сели в повозку и под мерный топот копыт поехали по направлению к губернаторскому дому. Крыши домов сверкали от лучей проглянувшего солнца ослепительно белым снежным покровом. Аргунов с любопытством разглядывал этот город, его приплюснутые к земле дома, его почти что пустынь-

ные улицы и отвлекался от печальных размышлений о своей судьбе.

У веселого на вид домика, крашенного в бордовые тона, с белыми наличниками, остановились. Здесь размещалась канцелярия губернатора. Сам губернатор, господин с весьма интеллигентной внешностью, с подвигающимися бачками, в контр-адмиральском сюртуке, застегнутом на все пуговицы, принял Аргунова, осунувшегося и мрачного с дороги, весьма корректно.

- Вы господин Аргунов? - мягко, с улыбкой, обратился к нему губернатор, поглаживая пальцами мочку уха.

Аргунов, шумно вздохнув, ответил утвердительно и, опустив голову, стал рассматривать на штучном полу довольно плотную тень от фигуры губернатора. В комнате пахло сухим деревом, приятное тепло шло от голубых изразцов голландской печи. Бронзовая люстра с матовыми плафонами поблескивала в солнечных лучах, проникавших в комнату сквозь голубоватую узорчатую наледь окон.

За спиной Аргунова густо кашлянул старший жандарм и передал губернатору с поклоном засургученный пакет. Расписавшись в его получении и в получении прилагаемой к этому пакету личности Аргунова Дмитрия Николаевича, губернатор отослал жандармов в переднюю комнату и стал задавать вопросы о деле, по коему Аргунов был подвергнут ссылке.

Выслушав ответ, губернатор заложил руки за спину и, поскрипывая поблескивающими сапогами, принялся расхаживать по комнате, затем сел к столу и спросил:

- Судебная ошибка, стало быть? Так-так... Единственно, чем я могу способствовать вам, это не посылать вас на жительство в уезд. Я оставляю вас в Архангельске...

Аргунов несколько приободренно взглянул на контр-адмиральский сюртук и чуть склонил голову, что слабо напоминало поклон. На сем аудиенция окончилась.

Губернатор, барабана тонкими пальцами по столу, вызвал старшего жандарма и с улыбкой на розовеющих щеках сказал, что конвой Аргунову более не надобен, и они могут возвращаться, а Аргунову предложил, опять-таки весьма корректно, пойти в управление Архангельского полицмейстера для регистрации и получения вида на жительство.

Выйдя на улицу, залитую солнцем, с ярко искрящимся снегом, Аргунов, пройдя несколько метров, поскрипывая снегом, вдруг

почувствовал, что ему чего-то очень сильно не хватает. У какого-то небольшого заснеженного домика он остановился в недоумении, торопливо вспоминая, чего же ему не хватает, и со вспышкой улыбки на лице понял, что ему не хватает жандармов, с которыми он свyksя в течение трех суток, пока добирался до этих мест.

Не успев замерзнуть, Аргунов сбил снег у дверей канцелярии полицеймейстера, вошел в дверь и вдруг ощутил в груди ясную, пока еще слабо осознанную, но поистине прекрасную свободу, которая вопреки свободе географической, то есть свободе передвижения, копилась и росла в нем все предшествующие годы. Аргунов даже всхлипнул от восторга при этом открытии, в душе его был праздник, а не уместная в этом случае тоска, когда со страхом глядишь, как дрожит твоя тень.

И несмотря на то, что в канцелярии Аргунову пришлось пройти целый ряд формальностей и подписать кучу всевозможных обязательств, ощущение внутренней свободы не покидало его даже тогда, когда от него потребовали собственноручное описание примет: цвет глаз, рост, нос...

У почтенного обывателя Ивана Гавриловича Аргунов снял за небольшую плату комнату, обзавелся бумагой, написал письмо маме в Екатеринбург и затих, как какой-нибудь Пимен, за письменным столом.

- И что вы все пишете! Пошли бы погуляли! - восклицал Иван Гаврилович, что-то торопливо жуя. Он постоянно что-то жевал, и на его пухлом лице с узкими глазами было такое выражение, словно сейчас к нему кто-нибудь прибежит и отнимет его корку или соленый огурец.

Иногда к Дмитрию Николаевичу Аргунову приходили политические, впрочем, каковым и он сам числился, ссыльные и, жадно поблескивая глазами, говорили с чувством, с напором о полицейском надзоре, под гнетом которого находятся десятки тысяч политических ссыльных, о необходимости введения конституции, о непомерно разросшейся в России бюрократии, о казнокрадстве, о сухом законе, о парламенте, о свободе, равенстве, законе, о республике, о партиях...

Аргунов же сидел с отсутствующим взглядом, не вникая в суть дебатов, потому что знал, что дай этим недовольным свободу, равенство, закон, республику, они все равно, в силу психологии людей, не нашедших в себе себя, будут бороться со свободой, с ра-



венством, с законом, с республикой. Навяжи им свободу печати, они будут бороться с этой печатью, заставь их каждый день есть белые булочки с маслом - они возненавидят их и будут глотать черный хлеб. То есть будут делать в силу уже отмеченного свойства не сформированного для духовной жизни человека все наоборот, из чувства противоречия.

Но чтобы Аргунова не заподозрили в отрицании общих интересов, он старался запоминать последние слова говорившего, дабы не быть застигнутым врасплох каким-нибудь вопросом, например:

- Как вы смотрите на уничтожение института семьи?

Последними словами, которые уловил Аргунов до этого вопроса, были: "...дети угнетены родительским надзором, женщина угнетена надзором мужчины..."

- Надзором мужчины... - повторял Дмитрий Николаевич и развивал собственные мысли: - Следует учиться доказательному знанию бытия, в котором наличное существование может принадлежать только индивидуальному бытию. Ведь очевидно, что в телесных вещах материя характеризуется изначальной неопределенностью, - задумчиво говорил он, и все затихали. - Благодаря чувственному соединению с различными формами она способна принимать различные способы бытия: конечные или бесконечные. То есть, собственно, способы жизни и смерти. Жизнь индивида конечна, жизнь человечества бесконечна, точно так же бесконечно добро и зло. Если говорить о зле, то оно, судя по всему, не имеет никакого реального существования, являясь просто небытием, лишением добра, подобно тому, как мрак является отсутствием света. Исходя из этого легко согласиться с тем, что зло на самом деле не существует, являясь всего-навсего отблеском добра...

- Как это возвышенно, - проговорил чернобородый, в очках ссыльный, подавленный отвлеченными размышлениями Аргунова, - как это нужно для будущего! Простите, сударь, продолжайте...

Аргунов, уже увлеченный размышлением об очередной главе своего труда, не обращая внимания на собравшихся, на звон чашек у пузатого самовара. Аргунов как бы прислушивался к себе, приглядываясь к собственным галактикам, где сосуществовали звезды и планеты, где постепенно из хаоса возникал гармонический спиральный образ мысли, подобный сиянию звезд на темно-лиловом небе полуночи.

Он, кашлянув и глядя перед собой, не моргая, продолжил:

- Таким образом, мы имеем дело с существованием в одном целом света и тени. Но можно пойти и дальше. Ибо все, что относится к области соотношений, верных для неспецифицированных ближе объектов, которые мы, тем не менее, умеем различать и отождествлять, и что поэтому может быть выражено с помощью букв или звуков, коими и я, овладев, сообщаюсь со столь интеллигентным обществом, - Аргунов поклонился, - то, при условии, что с последними мы умеем оперировать по точным правилам, характерным для логики и математических исчислений, мы добьемся поразительного результата в постижении тайны добра. Это является тем более обоснованным, что всякое буквенное исчисление допускает арифметизацию, с помощью которой его операции превращаются в некоторые вычислимые функции. Именно с этой применимостью математики и логики к любым окружающим нас объектам и объясняется исключительная общность этих наук и потрясающая плодотворность их применения в раскрытии механизма тайны добра. Я думаю, господа согласятся со мной, что нет такой мысли, которая не могла бы быть выражена или зашифрована с помощью букв нашего русского алфавита. Зашифрованность добра, его непостижимость приводит подчас пессимистичных людей к совершенно необоснованным выводам, что мир есть лишь наше представление или, наоборот, что никакого представления нет, а есть лишь самодвижущаяся материя. Все эти разрозненные суждения легко снимаются, когда мы приближаемся к пониманию сущности тайны добра, как падающий снег приближается к белому насту реки...

Глаза Аргунова блестели, говорил он с волнением, быстро:

- А тайна эта шифруется в огненном потоке. Именно в огненном потоке наших жизней... Шифр уже дан, и вот в разное время мы вырываемся, чтобы гореть и сгорать... Я, конечно, знаю, передавая вам мои соображения, что до некоторой степени они туманны. Тень моя, все далее удаляясь к новым оживителям огненного пути, окончательно смоется иными солнцами прижизненных откровений. И моя жизнь удалится в ночные купола звенящего неба, подобно звездочке, погасшей миллиарды лет назад, но еще светящейся в незримых проводниках небесных сфер. Все мое наследство в виде этих шифров, одушевленных мною, пусть понесется с вами, в вашей душе, чтобы и вы не были смущены пережива-

ниями о невоплотимости собственных душевных состояний, чтобы вы хотя бы по моим экзерсисам узнали, что уже ходил по земле такой нераспечатанный чудак. Мало, конечно, кого эти отрывки смогут взволновать сильнее, чем меня самого. Разве может волновать чужое острее, чем собственная жизнь? Нет, нет и нет! Иногда покажется, что волнует - на день, на год, постоянно перебиваясь взлетами и падениями собственной души. Мы все - одно, и мы все одиноки. Мы мечтаем вырваться из этого одиночества, сказать миру что-нибудь такое!.. - Аргунов смотрел на слыльных, не видя их, не видя ничего, словно взгляд его опрокинулся. - Мы... Но мы - молчим. Одиночки, нарушившие обет молчания, как выскочки-гимназисты на уроке, перебивающие учителя, мы спешим высказать полную ясность миропонимания, чтобы спустя некоторое время где-нибудь за трактирной стойкой посмеяться над самим собой и над всеми гимназистами, претендующими на окончательную истину. Я несу глухое эхо многомиллиардных шифров жизни, но не претендую ни на окончательную истину, ни на вечное забвение. Я растворяюсь в могучем огненном потоке бытия, счастливый тем, что и меня этот поток не миновал, призвал к жизни, бросил в него, чтобы я понял его силу и непрекращаемость, его бесконечное стремление Бог весть куда из Бог весть откуда. Я иду в Мы, не пытаюсь навязать этому Мы свою волю, мы знаем веру в непрекращаемость жизней, которые, как бы мы этого ни хотели, какие бы им ни подготавливали рецепты, рано или поздно создадут свои, во многом повторяющие наши, но более убеждающие только потому, что сделаны ими. Я это знаю, и мы спокойны. Я спокоен, как маленький капуцин, ушивающий свою одежду, перекраивающий кепочку с маленькой черной пуговкой, готовящийся в неизвестный, но радостный путь растворения себя вовне.

- Извиняюсь, Дмитрий Николаевич, - перебил один из слыльных, - нельзя ли подробнее остановиться на капучине. Я впервые о нем от вас слышу...

- У меня есть книжка "Капучиниада", - сказал Аргунов и тут же поправился: - Была, так сказать, но порезали, но вынося из типографии... Арестовали. К сожалению, рукопись тоже изъяли. Так что я, как автор, ничего теперь из "Капучиниады" не имею на руках...

- Так вы по памяти, - предложил другой слыльный. - Объясните, зачем это капучину одежда и зачем он ее ушивает?

- Ах, вон что, - улыбнулся Аргунов. - Так это проще просто-го. Извольте выслушать. Пошел я однажды в лес. Знаете, такие там сосенки встретил, сосенки, поддерживающие вечное вознесение леса к небу. Казалось, когда был в городе среди нагромождения камней, среди прочности представления о всевластии геометрии, явление леса лишь сказочным далеким эхом могло потревожить душу. А лес стихийен, противоречив... Каждое дерево, каждый куст с явным отличием, с острой чертой своею. И сколько бы мы ни вглядывались в лес, он все более будет раскладываться на отдельные деревья и кустарники. Ибо лес - это только то, что объединяет, как объединяют нас понятия - люди, человеки, человечество. И, блуждая по лесу, сбиваясь с пути и вновь находя его, я радовался пробуждению новой жизни, новой весне, ибо не может не радоваться человек, что он согласен природе, что, вырываясь в жизнь из огненного потока, он так же пробуждается, поддерживаемый весенним оживлением, что он усыновлен землею, что она дает ему новую силу душевной энергии, света и тепла. Лес умиротворяет, но еще более он вечно напоминает, что будет расцвет новой жизни, что вырвутся из небытия иные души, чтобы пройти свой путь, что весной, войдя в лес, поймут, что помнит он о тебе, человек, что готов дружить с тобой, поить тебя воздухом пробуждения, сближать с умершими и не родившимися еще. Мы говорим друг другу о радости и покое весеннего леса, мы помним его, а иногда, и не помня, предполагаем, что помним. Да и может ли человек что-либо помнить так, как это происходит в тайниках памяти добродетельной природы? Я шел по лесу, раздвигая ветви орешника, нагибаясь под пологом елей, снимал с лица липкую паутину. Далеко я углубился в лес, так далеко, что и не заходил в эти места ранее...

Перед Аргуновым открылась широкая, высвеченная солнцем поляна, совсем летняя поляна - трава сочная, высокая, а над нею цветы. Да и тепло стало по-летнему. Аргунов снял пиджак и взял его на руку. Пока Аргунов любовался цветами, на поляне появился капуцин с видом старичка. Как и подобает старичкам, капуцин опирался на маленькую, под стать себе, березовую палочку, хотя больше она была для забавы, чем для опоры. Капуцин ловко подбрасывал ее, покручивал в руке, осторожно раздвигал ею цветы и,

легко нагнувшись, извлекал из-под них очередной крепкий белый гриб с коричневой шляпкой.

Дойдя до Аргунова, капуцин осветил его улыбкой, снял аккуратную кепочку с черной пуговкой и протянул ему свою мохнатую лапку.

- Бог в помощь, добрый человек! - сказал капуцин человеческим голосом.

- И вам также! - пожимая лапку, сказал Аргунов. Капуцин выглядел совершенным ребенком, едва доходил до пояса Аргунову, но все-таки это был не ребенок - что-то неуловимое: то ли глаза, выдающие своим странным светом большую предшествующую жизнь, то ли лапки, маленькие, но натруженные, то ли осанка, говорящая о приспособленности к жизни, - убеждало, что это все-таки капуцин-старичок. Одежка его была со многими швами, будто ее беспрестанно ушивали; там и сям торчали холщовые заплатки, веревочный поясок спадал до самого костреца.

- Не волшебная ли уж эта поляна, что белые грибы весной родит? - спросил Аргунов, разглядывая старичка.

- Поляночка-то, самая что ни на есть обыкновенная, - ответил тот, глядя снизу на Аргунова и по-прежнему улыбаясь. - Только ведь подкармливаю я ее с осени. Вареву изготавливаю из травок разных и поливаю.

- Грибы, должно быть, кушать любите? - вполне одобрив этот метод, спросил Аргунов.

- Ел когда-то... - вздохнул старичок. - Эх-эх... Да давненько уж не ем...

- Впрок, стало быть, запасаете или на семью? - спросил, все более увлекаясь рассказом капуцина, Аргунов.

- И не впрок, и не на семью... Один живу я... Для белочек запасаю. Чего им зря хлопотать-то, коли я сподручен?!

Аргунов поинтересовался у старичка-капуцина, сколько каждая белочка грибов себе запасает, да не остаются ли они к концу зимы голодными, что это за цветы такие диковинные, которые он первый раз видит, вырастают ли они сами или для них капуцин "вареву" какое придумал. Капуцин на все эти вопросы толково отвечал да еще и сверх того рассказывал о лесе-кормильце и о житье-бытье среди трав, цветов и деревьев.

- Что ж мы все на одном месте стоим? Пойдемте. Я и лес покажу, и сторожку свою, - сказал капуцин, а потом, когда они шли, го-

ворил о лесе, о речке помянул: - Щука уж больно костлява - и варево никудышное, и в жарешку не идет. Я, право, не любитель щуки, можно сказать, раз попробовал, более в рот не брал. А вот судак - дело другое. Помню с Емельяном мы его уж очень полюбили, ловили на пару. Емельян-то мне тогда и посоветовал есть ущицу из судачка, хероставна, говорил. И вправду, покойница моя Авдотья хвалила его за ущицу. "В молодости до него я был охотник", - говорил Емельян.

- Трудно ловить судака? - спросил Аргунов.

- Что ж, ловить - дело нехитрое. Мы его аж рубашками с Емельяном брали - кишмя кишел. А Емельян-то кричал: "Всех девок перепортишь!"... Веселый человек был... А я ему: "Мне своей Авдотьи никак не залюбить!"... Справная была Авдотья-то... Эх, стал бы Емельян царем, тогда б мы по лесам не прятались!

Лес, пронизанный нитями света, с парящей паутиной, то обступал со всех сторон, сужая путь для продвижения, так что Аргунову приходилось нырять под низко растущие ветви елей или корявые, изогнутые ветки орешника, а капуцин шел как ни в чем не бывало в полный рост и все время улыбался, то лес расходился в стороны березками и рябинами, и тогда можно было ощутить, как из прохладного теневого воздуха входишь в теплый солнечный. Аргунов подумал, что капуцину, видимо, трудно жить без улыбки, без ясного и открытого взора, полного понимания и доверия, ибо сколько бы раз Аргунов ни взглядывал на него, тот все время встречал его взгляд детской улыбкой. В этой улыбке было столько уверенной, непрекращающейся жизни, что и сам Аргунов приободрялся, глядел веселее, и его глаза начинали излучать радостный свет. Капуцин мальчишеской поступью вышагивал впереди него, без труда нес совсем взрослое лукошко, доверху наполненное грибами, а Аргунов думал, что вот какой заботливый старичок, не себе запасает, а белочкам; вот если бы каждый не себе, а другому запасал.

Капуцин перешагивал через бурые корневища елей.

- Я вот все думаю, чем бы занимался человек, ежели бы ему не требовалась еда? - сказал капуцин. - Испортился бы человек. Ненужный такой человек, какой одними разговорами живет. Эх, порубали мы таких с веселием! Всю кровушку народную выпили, чтоб книжки свои читать. А промеж нас с Емелькой уговор был - как возьмем Россию-матушку, так сразу все книжки на костер, а

тех, кто читал их - в поле: по двое-трое в плуг запрягать, чтоб себе хлебушко растили! Это правильно, по-народному, по-природному... Без питания бы жил человек, аль нет? Не жил бы! Без этой потребности человека бы не было... Самой, можно сказать, земли бы не было - все живое, как я понимаю, от самоедства... Воздух и тот ест. Все на этом свете кушать требует. Вон береза - ест себе земелюку, водичку попивает, да переделывает ее в листочки, древесину, коросту и воздух... Заодно питает комаров, червячков да жуков. Да, это только на первый взгляд кажется, что мы сами по себе, ан нет, не по себе, а во всеобщем самоедстве заключены...

- Как же мне быть? Я ведь хлеб не сею, а размышляю, читаю книги, да пишу, - достаточно мягко, скрывая свое несогласие с некоторыми выкладками капуцина, сказал Аргунов.

Мохнатая мордочка взглянула на него.

- Ну, тебя подправить можно быстро. Главное бы Емельку слушал, а там все как по маслу пошло. Сказал бы Емелька иноземцев всех перебить, ты бы и пошел бить. Вот и все. Чего ж тут хитрого. Мы во всеобщем самоедстве заключены. Ежели они нас пока не съели, то только потому, что мы их поели изрядно!

С разговором они незаметно дошли до сторожки капуцина - маленькой трехоконной избушки, приютившейся меж двух высоких берез. Сруб, хотя и посерел от дождей, выглядел стойко. Торцы бревен растрескались, разомкнув паутинчатой сеткой кольца прошлых годов. Перед сторожкой возвышалась поленница березовых дров, стоял врытый в землю верстак, возле которого валялись щепки и желтая стружка. На верстаке покоился маленький топорик, поблескивала на солнце ручная пила. Поодаль, у березы, на двух толстых столбиках стояла лавочка, на которую сел капуцин и пригласил Аргунова присесть.

Впадая в тон разговора капуцина, Аргунов сказал:

- Оно, конечно, так да не так. Тяжел уж больно пирожок для человека, вот и облегчается за счет ума. Книжки пишет. Читает.

- Э-э, - возразил капуцин. - С умом далеко не уедешь. Да коли и захочешь уехать, черти попутают! Они противу хитрого ума и живут... Не пройдет такая хитрость, чтобы против всех человеков, все одно откроется тайное зло и добрые люди возьмут верх, - он снял кепочку и положил ее на колено возле холщовой заплатки. - Сказывают, придет вот как я, рыжеватый, с красивыми усами, и противу хитрого ума выступит, станет защитником всех капуцинов. А ка-

пуцином-то может только природный человек стать, ежели травку отыщет... А ты брось книжки-то. От дьявола все это. А мы люди простые. Линию Емельяна неуклонно в жизнь проводили.

- Как же это черти у тебя хорошими получаются? Они, однако, и губят, и портят, и убивают? - спросил недоуменно Аргунов.

- Губят-то - погибшего, портят - порченого, убивают - мертвого! - ответил капуцин, приглаживая лапкой рыжую шерсть на мордочке.

- А кто же, по-твоему, погибший?

- Это тот, который шибко о себе понимает и от нас уходит к другим. Мол, братство у них! Знаем мы это братство!

Словно услышав капуцина, из леса вылетали, как птицы, огненно-рыжие белки, парили над полянкой перед сторожкой, и, пусть им не было дано с рождения крыльев, парили они ничуть не хуже птиц. Было видно, как воздух разглаживает их мех, как пушистые хвосты управляют полетом, как капуцин в сдвинутой на затылок кепочке, кормит их грибами...

- Что же, ваш капуцин двести лет живет? - спросил ссыльный в очках и с бородкой.

- О, это целая сложная тема. Жаль "Капуциниаду" порезали, - сказал Аргунов. - С одной стороны - капуцин прекрасен, а с другой... Я где-то сказал, что природа добродетельна. Но это не совсем так, она несет в себе то же, что свет и тень, что добро и зло. Так что она может быть и губительной. Вы посмотрите, как волк душит человека и съедает его. Разве волк плох по нашим нравственным законам? Вовсе нет. У него закон капуцина - всеобщее самоедство. У них есть подобие человеческое: глаза, уши, рот, нос. Они даже могут быть нам симпатичны. Но они столь же равнодушно уничтожат нас и пойдут дальше без всяких сожалений. В этом загадка природы. Поэтому милый природный человек страшен в своем именно природном поведении. Эти мысли я и вкладывал в "Капуциниаду"...

Молча расходились ссыльные, молча смотрели в звездное небо над дремлющим Архангельском, молча вздыхали и думали, что тайна добра велика есть.

...С тех пор, как умерла мама, Анна Сергеевна, Дмитрий Николаевич Аргунов поселился в родном Екатеринбурге, похожем по-



сле столиц на деревню с подобием бульвара на центральной улице: две будки при входе в аллею, с грязными булыжными мостовыми и без таковых на других улицах, где в дождь можно завязнуть по колено, с одноэтажными и двухэтажными в три-четыре окна домиками, с церквями, оглашающими мелодичным звоном колоколов унылую жизнь екатеринбургских обывателей, с завыванием заводских гудков на рассвете, с топотом копыт ломовиков и со скрипом допотопных телег, - с тех пор Аргунов как бы перешел из внешнего мира во внутренний, и атмосфера далекости от шума общественной жизни наполняла сердце Аргунова покоем, если, разумеется, можно назвать покоем его ежедневную "писанину", как говорила жена Аргунова, которая после того, как их уплотнили и внизу поселились жильцы, после того, как у нее родился сын Петр, стала косо смотреть на мужа и в конце концов тихо возненавидела его за "бездеятельность". Когда Петя засыпал, а муж утыкался в свою писанину, она уходила к Федору Сергеевичу, работавшему членом коллегии областного ЧК. Познакомилась с ним случайно, у соседки из дома поблизости, жены военного Павла Медведева. С Федором Сергеевичем бывала в гостях у обаятельного Якова Михайловича Юровского, тоже члена коллегии ЧК. Они восхищенно говорили о Троцком, главнокомандующем Красной Армии, о его железной воле.

А сам Аргунов лишь раза три в неделю в какой-то прострации ходил ради денег на службу, что-то там считал или измерял, и вновь, возвращаясь, бежал в свой угол к "писанине".

- Это свинство! - кричала в слезах жена. - Свинство писать о добре и не делать его! - тут она, разумеется, переигрывала.

- В том-то и тайна добра, - говорил, ничего не замечая в поведении жены, Дмитрий Николаевич, чтобы ее успокоить.

Однажды Аргунова остановил Павел Медведев из соседнего дома, спросил:

- Что, супружница покрикивает?!

- Бывает, - нехотя ответил Аргунов и пошел своим путем.

В другой раз Аргунов встретил Медведева с каким-то красноармейцем и жилищкой с первого этажа Таней, дочкой Викентия Ивановича. Красноармеец оказался латышом, при Аргунове рассказывал Тане кое-что о Риге, где он жил на улице Мелнсила, при этом смешно коверкал русские слова. Звали его Теодор Велдре.

Жена была теперь совершенно расстроена, обвиняла мужа в неспособности вести семейную жизнь. Ее крики выбивали из колеи мысли, подрубали крылья, и у Аргунова постоянно было такое ощущение, что он вот-вот готов взлететь, а жена хватается его за ноги, и он вынужден падать на землю.

Дмитрий Николаевич нервно проводил руками по волосам, морщил лоб, стискивал зубы и тихо скулил, как загнанный в краснофлажии голодный волк. Дмитрий Николаевич видел перед собой искаженное злобой лицо, бывшее когда-то симпатичным, с большими глазами, с тонкими дугами бровей, с маленьким ртом, а теперь казавшееся ему ненавистным. Лишь сын Петя увлекал его внимание и выводил от горестных мыслей. Жена же бесилась потому, что ее ухажер куда-то дня на три отлучился с Войковым.

Чтобы не сказать грубость, Аргунов однажды схватил толстые стопы исписанной бумаги, сунул их в саквояж и выбежал из квартиры, столкнувшись на пороге внизу с Таней и Велд্রে.

- Лабрид! - сказал тот вежливо.

- Лаб! - откликнулся по-латышски Аргунов и прошел мимо.

Из сада слышалось щебетание трясогузок, таких светло-сереньких с длинными хвостами и белой грудкой заменителей соловьев.

А в голове Аргунова стоял крикливый голос жены, ее плач, смешивающийся с плачем ребенка. Аргунов настолько утомился от этой симфонии за последний год, что основательно расстроил нервы. Но все равно не позволял себе ни минуты отдыха, вернее, даже не думал о нем, поскольку жить для него - означало мыслить, а следовательно, заносить эти мысли на бумагу. Он вспомнил почему-то свою "Капуциниаду", этих рыжеволосых капуцинов, бывших природных людей, нашедших траву долголетия в лесу, которая (травка) делает их все меньше и меньше, превращая в самом начале из людей в обезьян, обратный путь по лестнице Дарвина, назад к обезьянам: есть, пить и спать, плодить потомство... А главный капуцинчик в короне поддерживает это в полном смысле безопасное направление деградации, и ограждает капуцинов от всевозможного печатного и устного вольнодумства.

Аргунов, подумав, вернулся в дом, но не к себе наверх, а вниз к Викентию Ивановичу, который несколько раз, зная стремление Аргунова к уединению, предлагал работать у него. У Викентия Ивановича было тихо. Он, невысокий, плотный, служил в облсна-

бе, но был человеком набожным, в церковь, однако, ходить стеснялся - этого новые власти не любили, - более простаивал перед иконостасом в своей комнате, читал молитвы и поглядывал на светло-лиловый огонек лампадки...

Аргунов разложил стопы бумаги на небольшом столе, облегченно вздохнул, как будто ушел от преследований, и посмотрел в окно, которое выходило в зеленый двор.

Успокоившись, он хотел уже садиться писать, но в дверь заглянула Таня.

- Мы вас ждем к ужину, - сказала она звонким голосом.

Давно Аргунова так мило не приглашали. Жена больше кричала: "Готовь себе сам, теперь прислуги нет!"

- Вам не нужно ничего на "ремингтоне" перепечатать? - спросила за ужином Таня, придвигая к Аргунову тарелку с гречневой кашей. - Я могу!

В дверь, постучав, заглянул красноармеец Велдре.

- Танья, я ожидай улица! - весело сказал он и поклонился уживающим.

- Подожди, я скоро! - сказала Таня и покраснела. Когда дверь закрылась, Викентий Иванович недовольно сказал:

- Нашла себе нерусского!

- Он тоже человек, - негромко сказал Аргунов.

Викентий Иванович шумно вздохнул и перекрестился. Когда он ел, то сильно чавкал.

- Думай сама. Но была бы жива мать...

- А почему текут реки? - перебила его вопросом Таня.

- По той же причине, что и кровь в человеке, - задумчиво ответил Аргунов и принялся медленно, без аппетита есть гречку.

Таня уронила на пол нож, а поднимая его, почему-то покраснела. Викентий Иванович обернулся к окну и увидел физиономию Теодора Велдре.

- И когда он службу несет? - спросил Викентий Иванович с раздражением.

- Когда надо, тогда и несет! - бросила Таня.

Физиономия Велдре исчезла.

- Почему этот город называли Екатеринбургом, а не Татищевым? Ведь Татищев его основал, на Исети завод поставил, - проговорила Таня, чтобы никто не обращал внимания на ее покраснелость. Они с отцом приехали из Златоуста.

Викентий Иванович вознес глаза к потолку и, не слыша вопроса дочери, заговорил отстраненно:

- В писании говорится, что мудрый правитель научит народ свой, и правление разумного будет благоустроено. Каков правитель народа, таковы и служащие при нем; и каков начальствующий над городом, таковы и все живущие в нем. Царь ненаученный погубит народ свой... Ныне царь, а завтра умирает...

Викентий Иванович замолк, посопел носом и огладил брюшко, затем вытащил часы на цепочке из карманчика жилетки, взглянул на них и сказал:

- Однако долгий теперь день, - и взглянул в окно, рамы которого были вызолочены заходящим июльским солнцем.

Аргунов не спеша доел кашу и принялся за чай, слабо заваренный, с липовым цветом.

Вообще, с продуктами в Екатеринбурге было неважно.

Мяса, картофеля в округе совсем не было, да и крупа была в дефиците. Продовольственный кризис дошел до того, что перемалывали овес на муку. Однако из-под полы можно было кое-что купить. Председатель облсовета Белобородов обещал наладить снабжение, но так и жили пока его обещаниями. Да еще говорили, что какие-то чехи восстали в Челябинске и шли уже на Екатеринбург...

Аргунов прошелся от окна к двери, задумчиво глядя в пол.

Таня оживилась, потрогала ладонями щеки, сказала:

- Пойду пройдуся. - И встала из-за стола.

Когда она вышла, Викентий Иванович заморгал, сильно чихнул и, утирая рот клетчатым платком, сказал:

- Хорошо живется китайцам...

- Кому? - отозвался Аргунов, думая о чем-то своем.

- Китайцам... У них рису много... Слыхали?

Аргунов ничего не ответил, пошел к себе работать, закрылся и сел к столу. Но ему почему-то не работалось. Аргунов подумал о жене, о сыне, о безалаберности совместной жизни и почему-то пожалел о ней. Ему вдруг стало понятным, что без внешнего раздражителя он уже не может работать, что ему нужен сварливый голос жены, плач ребенка.

Когда стемнело, Аргунов вышел на улицу, дошел, встретив по пути Таню с Велдре, до белоколонного дома Расторгуева-Харитонова, и долго бродил под окнами, наблюдая движение теней за

светлыми занавесками. Повздохав, он сел на скамью у палисадника и задумался.

Когда окна в доме погасли и исчезли тени, Аргунов поднялся и, продолжая о чем-то думать, не разбирая дороги, пошел по улице. Он долго гулял, пока вдруг не очнулся от глухих выстрелов, донесшихся до слуха от дома Ипатьева, из-за забора. Аргунов остановился, как бы соображая, что произошло, затем подошел ближе, увидел у ворот грузовик и бегущих красноармейцев к нему, узнав в одном из них, с револьвером в руке, Теодора Велдре, а в другом, в кожаной фуражке, соседа по дому Павла Медведева. Они открывали задний борт грузовика. Аргунов насторожился, отошел в тень, постоял с минуту, подумал, что это за выстрелы, и пошел к своему дому.

Аргунов лежал в кровати, смотрел в темный потолок и прислушивался к размеренным шагам за окном. Эти шаги то приближались, то затихали вдаль.

Вдруг Аргунов увидел каплю крови на траве, каплю, ало блеснувшую на солнце, как ягодка земляники. Пройдя несколько метров к ельнику, едко пахнущему смолой, страхась почему-то той капли и вздрагивая, Аргунов остановился внезапно, как от удара еловой лапой по лицу, и увидел мужика в грязной синей косоворотке, в валяной, как сапог, шапке, с лицом морщинистым, серым и скуластым, с маленькими глазами, в которых застыло отражение той капли крови.

Мужик торопливо крутил что-то в руках. Когда Аргунов подошел, шелестя травой, то разглядел в черных и скрюченных руках мужика серенькую птицу, должно быть соловья. Что хотел сделать мужик, Аргунов не знал, но недоброе предчувствие охватило душу.

Соловей трепетал в корявых руках, раскрывал клюв, надувал зобик и издавал изредка удивительную трель. Наконец до Аргунова дошло, что хочет сделать мужик, потому что тот упрямо повторял руками одно и то же скручивающее, как при отжимании белья, движение.

Голову он соловью скручивает! Только об этом подумал Аргунов, как мужик резким движением оторвал серенькую с бусинкой глаза головку и зашвырнул ее и тельце с обвисшими лапками в кусты. Аргунов остолбенел, как столбенеет человек от вспышки осознания

противоестественного, необъяснимого зверства. Едва справляясь с волнением, Аргунов бросился на мужика, сбил его с ног, вцепился руками в шею и так сдавил, что маленькие глаза на сером, каком-то земляном лице налились кровью и вспучились, как рыбы.

- Хр-р-ро, - захрипел мужик, вот-вот готовый потерять сознание.

Этот животный хрип остановил Аргунова. Он с трудом разжал онемевшие пальцы, заметив на толстой шее мужика красно-белые следы от них.

- Как ты мог? - спросил Аргунов.

- Где, что? - недоуменно пробормотал мужик, шаря за спиной по траве упавшую с головы валяную шапку.

- Что же ты натворил?! - с отчаянием воскликнул Аргунов. - Бедный ты человек! За что ты тварь божью, безвинную уничтожил?!

- Она не извинная... она, - мужик говорил с трудом, сморкаясь и отхаркиваясь, утирался валяной шапкой, охал и оглаживал поясницу. - Она же господская, ихний лес веселит...

Аргунов с тяжким чувством уставился на мужика и, пожимая плечами, спросил:

- Помилуй, дорогой, да разве соловьи господские? Они же ничьи!

Мужик грубо поскреб пальцами затылок.

- Как ничьи? - спросил он.

- Так и ничьи.

Подумав, мужик удовлетворенно отер руку о штаны и протянул ее Аргунову, но тот от рукопожатия отказался.

- Что взбрело тебе в голову?! - спросил Аргунов. - Зачем сольвю голову крутить?!

- Не мог я вытерпеть, чтоб ихние господские уши... чтоб для этих уш пичуги пели, - пробормотал мужик и принялся ковырять заплатку на колене.

- Да ведь не им одним они пели! Они и мне, и тебе, и всем пели! Птица вольно живет - она, посуди сам, тварь божья, - наставительно сказал Аргунов.

- Как же божья, ежели в господском лесу поет?

Аргунов понял, что убеждать мужика бесполезно.

- И давно надумал такую месть господам? - спросил Аргунов после некоторого молчания.

- Да с тех пор, как высекли меня железным прутом... Не приведи господь, как секли! Слег я тогда...

- За что же секли? - в волнении спросил Аргунов.

- За то, что я в ихнем лясу пяток хворостинок срубил, - просопел мужик, вставая и отряхиваясь.

- Только и всего?! - воскликнул Аргунов.

- Ктой-то рубил, а мне пымали! - с сиротской улыбкой сказал мужик.

- А теперь что делаешь?

- Дорогу мощу, - хмуρο ответил мужик.

Миновали еловый лес и вышли на опушку. Аргунов увидел мужиков, мостящих дорогу. Дорога делала изгиб у опушки, петляющей долгой линией уходила на пологий холм. У самого горизонта хорошо видная лента дороги сужалась в точку, согласуясь с законами перспективы. Вдруг небо потемнело, и из лилово-грязной тучи хлынул дождь. Аргунов укрылся под разлапистой елью. Дождь быстро прошел. Вновь выглянуло солнце.

Мужики, грязные и намокшие, вбивали тяжелыми деревянными бабами влажные серые булыжники в твердую насыпь. Аргунов внимательно пригляделся к этим глянцевым, поблескивающим на солнце булыжникам, и вдруг вздрогнул, заслонился руками, как ребенок от взмаха указки учителя, потому что то были не булыжники, а гладко бритые головы, черепа человеческие, серые, как у солдат-новобранцев.

Он увидел черно-белую, в рамке, картину, на которой изображались голые, тощие, так что даже ребра просматривались, бритые под ноль новобранцы, вышедшие то ли из бани, то ли направляющиеся в нее. На переднем плане - испуганные, бледные лица, за ними другие, дальше - лиц не видно, в глубину картины уходят бесконечные поблескивающие, как яйца, бритые черепа, очень много голов, бессчетное количество черепов, обтянутых тонкой кожей.

Вглядевшись, Аргунов разобрал, что новобранцы не хаотично сгрудились, а выстроились в колонну по три, но ввиду огромности этой колонны и неприученности бритоголовых к держанию ровного строя, колонна извивалась, как змея, до черной точки на горизонте, как дорога.

И тела на солнце поблескивали в тон затылкам, и казалось, что это не люди, остановленные на холсте кистью художника, а сере-

бряные статуэтки, выставленные в таком неимоверном количестве на витрине жизни. В витрину светит солнце, и от поблескивающих статуэток падают влево черные, как от штакетника забора, тени на белый песок плаца.

Вдруг изображение почернело, как будто закопилось печной сажей, напомнило черный бархат, такой большой квадрат на белом фоне снега, и на этом мрачном квадрате, чуть выше центра, стала проявляться чья-то седая голова, край белой рубашки, галстук. Голова удалилась в глубину картины, и от головы начал расти клиновидный стол - там, в перспективе, узкий, а на переднем плане - широкий, от одного до другого угла картины. Черный фон, в глубине картины - белая голова при галстукке, и от нее на зрителя, как поезд, ползет стол, за которым заседают. Но стульев не видно, потому что "заседатели" не нуждались в них, ибо по обеим сторонам стола стали расти прямо из столешницы, как шампиньоны в подвале, головы, с разными прическами и выражениями лиц. Они вырастали до подбородка и замирали, и эти головы казались отрубленными...

Мужик, губитель соловья, подтащил к Аргунову длинное полено, круглое и ошкуренное, с прибитой гвоздями к торцу ручкой, подтащил ту самую деревянную бабу, которой колотили по головам другие мужики...

И вот уже сам Дмитрий Николаевич Аргунов колотит этой бабой по серым головам, и затылки выравниваются один к другому, превращаясь в поблескивающую чешуйчатую рыбью ленту дороги.

- Мостим дорогу головами! - прохрипел мужик.

Удар по черепу, хруст, и на лбу выступает кровь, удар - капля крови, как земляника. Капелька крови под следующим ударом приобретает форму пентаграммы - знака Люцифера, знака, находящегося во лбу идола Бафомета. Чешуйчатая полоса дороги серебрится на солнце, как только что выловленная дьявольская рыба.

Аргунов, разгоряченный и вспотевший, с необычайной силой бьет, хотя понимает, что бить нельзя, бабой по щетинистым серым затылкам. Бьет! И новый солдат, как гвоздь, вырастает перед глазами Аргунова. Удар - и солдат вонзается в полотно насыпи, как гвоздь в доску по самую шляпку. А шляпка выпуклая, поблескивающая на солнце.



- Давай еще! - кричит Аргунов, но его никто не слышит.

Чешуйка к чешуйке - и поблескивают на солнце, и поблескивают! Удар, хруст черепа и кровь на лбу. А в ухо кто-то грубо, обдавая горячим дыханием, шепчет: "То власть грядущего во лбу, власть не от Бога, а от черта! Бей, не жалей!" - И предстает, как гвоздь, перед глазами.

- Давай еще! - кричит в ужасе Аргунов и вколачивает звонким ударом шляпку затылка шептавшего в землю.

Затылок черен и патлат. Но тут подскакивает мужик с острой бритвой и проворно бреет этот затылок. Ветер сдувает сбритые волосы, и затылок блещет, как другие затылки, ничем от них не отличаясь.

Земляничная бусинка крови.

Аргунов щурит глаза от зеркального блеска уходящей в неведомые дали чешуйчатой дороги.

И снова бьет трехпудовой бабой, и кровь стекает в щели меж затылками.

- Сколько же мостить еще? - истошно вопит Аргунов.

- До самого ада! - отвечает эхо, катящееся от далекой точки горизонта, как огромный раскаленный шар, как упавшее на рыбью чешую солнце.

Небо чернеет, потому что солнце катастрофически быстро уменьшается, разбрызгивая огненные капли.

Но Аргунов упрямо продолжает вбивать серые булыжники затылков в землю.

При каждом новом ударе деревянной бабы слышится чей-то возглас: "Лаб, лаб, лабрид!".

И серебристая чешуйчатая дорога от ударов вздрагивает, как живая рыба, когда в нее вонзают кухонный нож.

- Палдиес...

- Лудзу...

Аргунов оглянулся и увидел черный еловый лес, освещенный, как прожектором, заревом измельчавшего солнца.

- Кур ир йела Мелнсила? - спрашивает голос.

Глухо стучат шаги.

- Мелнсила? - пищит другой голос недоуменно.

Аргунов уже понимает эту речь. Теодор Велдре, латышский стрелок, просветил. "Палдиес" - "спасибо", "лудзу" - "пожалуйста", "Кур ир йела Мелнсила?" - "Где улица Черного леса?".

От очередного удара по серому булыжнику затылка деревянная баба, не выдерживая, шумно трескается и распадается на двое.

Яркая вспышка ослепляет Аргунова, он вздрагивает, раскрывает глаза и видит черное дуло нагана, приближающегося к его белому виску. За дулом - юное веснушчатое лицо с острым изогнутым носом, лицо Теодора Велдре, бледное, испуганное. На лбу тень от козырька фуражки, на которой больно светит пентаграмма.

Веснушчатое лицо сжимается, закрываются глаза. В нос Аргунову шибает горелым порохом, уши закладывает от грохота, и, прежде чем о чем-либо подумать, Аргунов получает тяжелый удар деревянной бабой по затылку, в мгновение ока превратившемуся в булыжник.

В эту минуту Аргунов ощущает на губах липкий, сладкий вкус земляники, и все гаснет...

Вдруг стукнула входная дверь, послышались шаги, Аргунов вздрогнул в страхе, вскочил с кровати, выглянул в коридор и увидел бледную Таню.

- Царя убили! - воскликнула она, прижимая испуганно ладонку к щеке. - В доме Ипатьева! С семьей... И детей, говорят...

- Кто говорит? - спросил ошеломленный Аргунов и поморщился.

- Я только что простилась с Теодором, - сказала она.

- А он откуда знает?

- Он был там, - сказала Таня. - И я ухожу с ним.

Аргунов вернулся к себе, потушил свет и, пожившись, вспомнил, что Викентий Иванович за ужином говорил: "И вот, ныне царь, а завтра умирает..."

Красные уши - белые пришли.

На улице Аргунова схватил за плечо какой-то господин в сером костюме возле книжного магазина. Аргунов узнал по пронизательным навывкате глазам бывшего товарища прокурора палаты по политическим делам Ефимова. Ефимов приглаживал серебристую прядь, раздувал ноздри, заговаривая какую-нибудь неотражимую фразу. И он подготовил ее:

- Вы подготавливаете в подготовке убийства государя императора Николая Александровича и его семьи! Установлено, что ис-

полнители приговора - старший разводящий караульной команды Медведев и латыш Теодор Велдре - входили с вами в контакт!

Когда шли по улице, ярко освещенной солнцем, к Ефимову подбежал храбрый капитан и протянул какую-то бумагу. Ефимов пробежал ее глазами и, улыбнувшись, сказал Аргунову:

- Вот, член следственной комиссии Верх-Исетского завода прислал. - Ефимов небрежно ударил по бумаге пальцами. - Сообщает, что комиссар просвещения - большевик Ермаков - расстрелян, что комиссар продовольствия - большевик Абрамов - расстрелян, что комиссар на спичечной фабрике - большевик Нисковских - расстрелян, что и другие, которых, пишет, по фамилии не помнит, и он, член следственной комиссии, не знал, за что они расстреляны, и подпись: "Член следственной комиссии Банных". А вы с кем из комиссаров сотрудничали?

Аргунов взглянул безразлично в выпученные глаза Ефимова, затем перевел взгляд на усатого офицера, в руках у которого был его саквояж с бумагами!

После бестолковой и длительной беседы с Ефимовым Аргунова отвели в тюрьму как большевика. В этой неразберихе он не знал, что предпринять, смирился, подписал послание, составленное тут же инженером-технологом, пятидесятилетним сутулым человеком, который писал на имя временного правительства Урала: "В Екатеринбурге творится что-то кошмарное, ужасное... производятся массовые аресты якобы существующих большевиков по единоличным доносам каждого, даже малолетнего... Для иллюстрации приведу краткое описание некоторых арестованных, содержащихся при коменданте города: безграмотная старуха 60 л., на которую донесено, что она сказала: "Старый порядок лучше"; слепой от рождения музыкант и настройщик, обвиняемый в секретарстве у большевиков по доносу двух мальчишек; мыслитель, который заканчивает фундаментальный труд "Тайна добра", но которому не дают работать власти - ни красные, ни белые; бельгийский подданный, арестованный за какую-то неисправность в документах; офицер, бежавший от большевиков с частью своего эскадрона; я, инженер, прослуживший 20 лет на государственной службе, затем, после двухлетнего заведования снарядным заводом в Златоусте, выгнанный оттуда большевиками... арестованный на почве сведения личных счетов..."

Утром Аргунова, инженера и бельгийца вывели во двор, заросший лопухами, и расстреляли два храбрых солдата из крестьян.

В город пожаловал видный сотрудник “Русских ведомостей” Алексей Станиславович Белоруссов, подтянутый и важный, и купил типографию старой кадетской газеты “Уральский край”, с тем чтобы вместо нее издавать “Отечественные ведомости”. Узнав, что Аргунов, автор бесследно канувшей “Капуциниады”, содержится в тюрьме, потребовал, будучи председателем комиссии по выборам в Учредительное собрание, его освобождения как абсолютно внепартийного человека.

Ефимов вынужден был признать, что Аргунова расстреляли без суда и следствия по законам военного времени.

Тогда Белоруссов потребовал конфискованные бумаги. Взяв потертый саквояж, в котором хотели обнаружить прокламации, но обнаружили “тайну добра изначального, рассыпанного по мировым пространствам в виде духовного поля, не любой материальной силой открывающейся”, Ефимов принес бумаги в редакцию “Отечественных ведомостей”.

В этот момент на улицах началась стрельба. В сумятице поспешного отступления саквояж Аргунова был утерян.

Тело Аргунова было выдано жене. На похоронах она сильно плакала и прижимала к груди голову сына Пети. После похорон Викентий Иванович, к которому зашла жена Аргунова с мальчиком, сидел на низенькой скамеечке перед иконами и накладывал на себя крестные знамена. Голова Викентия Ивановича мелко вздрагивала, и он шептал:

- Опротивела душе моей жизнь моя. Предамся печали моей. Буду говорить в горести души моей. Скажу Богу: не обвиняй меня, объяви мне, за что Ты со мною борешься? Хорошо ли для Тебя, что Ты угнетаешь, что презираешь дело рук Твоих, а на совет нечестивых посылаешь свет?!

Голова Викентия Ивановича светилась серебром. Мальчик Пети заплакал.

## ГЛАВА 2. КОТОРЫЙ БЫЛ ТЕБЕ ПРИ ЖИЗНИ НЕНАВИСТЕН...

Сталин наверняка знал, что это случится. Вроде как бы он прошел мимо того боржома и, вероятно, даже знал, что доберется до буфета, где стоял коньяк, но чувствовал, что завтра утром ему за-

хочется этого боржома, а потом добрался до коньяка, налитого в простой тонкий стакан в подстаканнике, как чай, и понял, что боржома ему хочется именно сейчас, а может, он даже и не ходил к буфету, где стоял стакан с коричневатой жидкостью, он даже оглянулся на стол, где на измятой скатерти среди грязной дорогой посуды стоял этот самый боржом, и вдруг понял, что не хочет возвращаться к столу.

Суть не в выборе, не в том, что придется выбирать между коньяком и боржомом, а в том, что вдруг обнаружил, что ему хочется только этого боржома и больше ничего, и все время боржома только и хотелось, и уже давно страшно его хочется, к тому же он знал, что боржом этот спасительной пузырящейся волной освежит.

Боржом этот предназначен для него.

Не для кого-нибудь, а именно для него. И едва взглянув на боржом, он уже знал, что глоток его будет, как аромат цветка, но если к боржому потянется не его, а чья-нибудь другая рука, окажется, что цветок-то с шипами. А ведь он к этому не привык, поскольку во всех других сосудах, которые охотно и легко шли ему в руки, был не боржом, а коньяк или хотя бы сухое вино. И более того, он знал, что его подозрения могут оправдаться, или, наоборот, не знал, могут они оправдаться или нет. Да и кто скажет, не было ли в этом боржоме подвоха.

Махнув рукой на этот боржом, Сталин, не раздеваясь, упал ничком на диван и тут же блаженно засопел.

В тех краях, где прошло его детство, весной земля и ночи еще прохладные, и на черной ольхе, на иудином дереве, на буке и шелковице наливаются липкие тугие почки, похожие на девичьи соски, и даже от корявых горных сосенок веет чем-то весенним, чего он прежде никогда не замечал. Там растет кизил, цветут фиалки и беленькие ранние цветы, которые почему-то не пахнут.

Самое печальное, самое грустное время дня - утро. Он с трудом разлепил глаза. Он привык утром спать и днем спать. Взгляд его медленно перешел от стола к буфету. Поднявшись, ощущая боль в голове, тошноту в горле, он прошел, легко вздрагивая, к буфету, взял стакан с коричневатой жидкостью и, тяжело дыша, вернулся на диван. Минуты две-три смотрел на стакан, затем волевым усилием заставил себя выпить.

Спустя минут пятнадцать он все еще сидел, засунув руки в карманы штанов, сжавшись и понурился. Он странным образом

казался меньше, чем на самом деле, хотя и был невысок. Его кости и суставы были тонки, но тело его, с годами обрстая легким жирком, делалось как бы плотнее и моложе.

Что было вчера? Сначала их было двое, потом четверо, потом снова стало двое. Огромная с узорным паркетом комната, стены которой от пола до потолка были отделаны деревянными панелями, напоминала склеп, в воздухе чувствовалось что-то застывшее, неподвижное и мертвенное, совсем не похожее на живой бодрящий холод. Сталин даже не надел китель, который лежал на паркете, там, куда свалился со спинки стула, на которую он его повесил. Настроение несколько улучшилось, и Сталин, встав с дивана, погасил верхний свет.

В комнате стало сразу темно. Он чиркнул спичкой, потому что захотелось курить (верный признак, что все идет хорошо, по давно заведенному порядку, что организм исправно знает свое дело), и долго смотрел на ало-голубоватое пламя, которое уже стало лизать желтоватые от табака пальцы, кожа на подушечках которых ороговела и не чувствовала огня. Спичка погасла.

Потом рассвело или почти рассвело. Было холодно. В открытое окно проникал ноябрьский холод, но Сталин его не чувствовал. Некоторый голод, давший о себе приятно знать, пока неспешно выкуривалась трубка, преодолевался уже не усилием воли, а просто пассивной способностью терпеть.

Наконец произошла совершенная перестройка организма, которую он так ожидал: в руках появилась сила, голова стала ясной, и хотелось без причины улыбаться и радоваться новому дню.

- Так, - сказал Сталин сам себе негромко и еще раз сказал: - Так...

В жилах струилась теплая, горячая кровь.

Через час, в девять часов, это уже был другой человек: выбритое лицо, причесанные рыжие густые усы, отутюженные широкие, как матросский клеш, брюки с жирными малиновыми лампасами, генералиссимусский мундир, от которого тонко пахло одеколоном, фуражка с лаковым козырьком.

Сталин вышел на крыльцо, спустился по ступеням. Морской свежестью дунуло на него от вечнозеленой туевой аллеи. Небо на востоке было серое, с легкой желтизной. Позади, словно взрыв, хлопнула дверь, и еще не успел показаться казачок-денщик, как у Сталина от страха задрожало все внутри, и он на секунду застыл

на месте, хотя остатки здравого смысла беззвучно проговорили у него в голове: "Это свои, ничего страшного. Казачок понес корзину с бумагами!". Вновь обретя способность двигаться, Сталин обернулся и увидел перед собой сутулое седовласое существо с корзиной в руках. На дне корзины лежали мелко изорванные клочки бумаги.

Сидя в машине, Сталин лениво посматривал на шоссе, на обнаженный, с редкой желтизной не опавшей листвы лес, бегущий назад.

Сталин пожал руки, но это не имело значения, потому что происходило как и всегда. Имело значение другое: как только стали спускаться в мавзолей, и к Сталину, идущему впереди, приблизился Микоян, Сталин, оглянувшись, тихо и медленно сказал:

- Подождите, я один побуду, - и, не оглядываясь, зная, что остальные, даже не шелохнувшись, будут ждать ровно столько, сколько он захочет, пошел по ступеням к саркофагу того, который был ему при жизни ненавистен...

Микоян сделал шаг назад, столкнувшись с Ворошиловым, и недоуменно пожал плечами.

- Что он сказал? - кивая глазами на удаляющегося Сталина, спросил Ворошилов.

- Сказал, чтобы я вас тут попридержал, - ответил Микоян.

Ворошилов с некоторой подозрительностью смерил взглядом Микояна, но не стал спрашивать, почему именно Микояну сказал это Сталин, а не ему, Ворошилову.

Микоян между тем расставил руки в стороны, как обычно делают, когда загоняют во двор гусей или кур, и, надвигаясь на соратников товарища Сталина, вынудил их выйти на улицу, за кремлевскую стену, во двор закрытого для народа Кремля.

Ворошилов отошел к Молотову и что-то тихо сказал ему, косясь на Микояна. Между тем Анастас Иванович почему-то вспомнил конец мая 1922 года, когда у Ленина произошел первый приступ болезни. Тогда Сталин взял все заботы на себя... Поэтому естественно, что все делегаты XII партконференции с волнением ждали сообщения о здоровье Ленина.

4 августа 1922 года, открывая по поручению ЦК конференцию, Каменев сразу же коснулся этого вопроса. Здоровье Ленина, его силы не только восстанавливаются, но, можно сказать, уже вос-

становились. На следующий день на вечернем заседании с внеочередным заявлением выступил Сталин. Он сказал:

- Я имею заявить, что сегодня был вызван к товарищу Ленину и он в ответ на приветствие конференции уполномочил, - Сталин сделал перед очередным словом паузу, - меня передать вам, что благодарит за приветствие. Он выразил надежду, что не так далек тот день, когда он вернется в наши ряды на работу...

Эти слова он произнес внешне спокойно, но с глубоким внутренним сожалением. Все последние дни Сталин предвосхищал скорую кончину Ильича, постоянно думал об этом, сжимал кольцо изоляции вокруг Ленина. Ленин нависал над ним, точно учитель в семинарии, и становилось не по себе. А Сталину хотелось свободы действий, без всяких ленинских заумностей, философствований...

В ответ на это сообщение Сталина в зале раздалась буря аплодисментов.

Во время конференции у Микояна возникло недоумение, почему Сталин, в ту пору уже генсек ЦК, держался на этой конференции так подчеркнуто в тени. Кроме краткого внеочередного выступления о посещении Ленина, он не сделал ни одного доклада и не выступал ни по одному из обсуждавшихся вопросов. Это не могло не броситься в глаза.

Зиновьев, например, выступал на конференции почему-то даже с двумя докладами - об антисоветских партиях и о предстоящем IV конгрессе Коминтерна.

Наконец, если открыл конференцию вступительной речью Каменев, то было вполне естественно, чтобы с речью о закрытии конференции выступил генсек, а получилось так, что председательствующий на последнем заседании Зиновьев почему-то предоставил слово для закрытия конференции Ярославскому.

Итак, поведение Сталина вызвало недоумение у Микояна, да и не у него одного.

Вначале Микоян подумал, не было ли это проявлением его показной скромности. Но в данном случае такая скромность уже выходила за пределы необходимого.

Тогда Микоян никак не мог понять, почему Коба так себя ведет.

Теперь Микоян не только понимал это, но и знал доподлинно, что Сталин был раздосадован, мягко говоря, выздоровлением Ленина.



Ленин был для Сталина морем, необъятным и необозримым, а нужно было из Ленина сделать реку, может быть, даже речку - обозримую, с изведанным руслом, ручную речку.

Тем временем Сталин стоял у саркофага Ленина и смотрел на его слишком большой лоб (как казалось Сталину в этот момент). Он видел лицо Ильича, исполненное страстного, почти невыносимого непощения, почти как лихорадка, - не горечь и не отчаяние, а просто неукротимое стремление к мести Сталину.

- Но почему, - зашептал Сталин, проводя ладонью по своему узкому, изрезанному морщинами лбу, по изъеденной оспой щеке, - почему ты так смотрел на меня в последний час своей жизни?! Не смотри на меня так! Когда я увидел, что ты очухался после болезни, я понял, что все кончено, что я больше не выдержу твоего присутствия, потому что терпеть тебя было больше невыносимо для меня. Я ничего не понимал из того, что ты писал, что ты говорил, я не успевал за твоею мыслью! Я был ошарашен твоим выздоровлением, хотя и был уверен, что все будет кончено. Но ты выкарабкался! И вновь надел на меня намордник, воткнул мне в рот кляп! При тебе я не мог свободно говорить, потому что всегда чувствовал за спиной твое нетерпеливое дыхание, твои пронзительные глаза! Я что бы ни сказал при тебе, ты всегда меня отчитывал, поправлял и, самое страшное, доказывал мне свою правоту. Ух, как я устал от твоей бегущей мысли! Поэтому я такой убитый пришел на XII партконференцию. А там был такой жареный кусок, мой кусок! И я отдал его Зиновьеву, в то время, как я сам, бесспорно, мог бы подготовить и доложить вопрос об антисоветских партиях ничуть не хуже Зиновьева, потому что материалов и источников информации у меня было не меньше. Зиновьев вообще держался на конференции чрезмерно активно, изображая из себя в твое отсутствие как бы руководителя партии. Глупый человек! Он так ничего и не понял! Пока ты был жив, нужно было молчать и делать то, что ты хотел! Я это понял с первого знакомства с тобой. И поэтому даже радовался, что Зиновьев себя обнажает. Ты делал ставку на нэп, на кооперацию, и я поддерживал тебя, хотя видел, что всеми делами кооператоров заправляли остатки эсеров, а меньшевики орудовали в промысловой и потребительской кооперации. Но не я об этом говорил, а Зиновьев! Чиновничество и интеллигенция, эти мои извечные враги, придерживались тактики саботажа Советской власти в период военного коммунизма. А теперь они

заняли позицию примирения с фактом существования советского строя и начали приспосабливаться к нему, имея тайные надежды, что переход к нэпу постепенно, но неизбежно приведет нас к буржуазному перерождению. И тогда, когда я молчал, а Зиновьев трепался, я возненавидел не только его, я возненавидел тебя и все время думал о том, как ты оказался в нашем стане, как ты вообще стал большевиком. Ведь по сути своей ты же интеллигент, - произнеся это ругательство, Сталин в холодном полумраке мавзолея оглянулся, как бы ища глазами кого-нибудь, кто, возможно, шпионит за ним, - но никого не заметил. Далее Сталин говорил сам с собою и про себя, и губы его не шевелились. - Да, ты интеллигент, и твое место среди мелкобуржуазной стихии, в меньшевиках, с этими разными мудрецами. Но как ты в своих интеллигентских фразах изворачивался, как ты говорил! И я вынужден был терпеть тебя и твоих интеллектуалов! Я не мог понять, почему вы, интеллигенты, называете себя партией рабочего класса. Ты даже гвоздя забить бы не смог, а туда же, в рабочий класс! Вот и молчал я на этой конференции, и еще несколько лет подряд молчал, делал вид, что веду твою линию! На той партконференции в угоду тебе записали, что по отношению к беспартийным элементам из среды представителей техники, науки, учительства, писателей и подобных, которые хотя бы в основных чертах поняли смысл совершившегося великого переворота, необходимы систематическая поддержка и деловое сотрудничество, что партия должна терпеливо, систематически и настойчиво проводить именно эту линию для того, чтобы облегчить указанным элементам переход к сотрудничеству с Советской властью! А я бы сказал тогда, что они начинают шалить и что им нужен поводок, не намордник еще, а просто какой-нибудь тонкий поводок, чтобы они не смогли пролезть туда, где огорожено забором. И как бы я хотел, чтобы ты при всех перед смертью, сидя на поводке, признался, что ты был не прав, раскаялся, сожалел о содеянном и страдал!

А еще лучше - через ОСО: слушали - постановили, и по полной аббревиатуре - КРД (контрреволюционная деятельность), КРА (контрреволюционная агитация), АИР (агент иностранной разведки) и т. д. Или нет. Показательный процесс тебе, грамотей!

Послышались шаги. Сталин как-то весь ссутулился, помрачнел и уставился на рыжеватую клиновидную бородку под стеклом.

- Пора, Иосиф! - сказал Микоян вкрадчиво.

- Ладно, - с показной хмуростью сказал товарищ Сталин, продолжая думать о своем величайшем изобретении ОСО, о своей тройке конвойного времени, о своих шифрах и аббревиатурах.

К освещенному тихим светом саркофагу по одному стали приближаться Молотов, Берия, Каганович, Ворошилов, Суслов...

Итак, Сталин сказал: "Ладно", - и они послушно потянулись к саркофагу. Молчаливо. Скорбно. Более косясь на живого, чем на мертвого вождя. Мертвый был не страшен. Его можно было выравнивать, выправлять, ставить на место, сдувать с него пыль, при нем можно было забывать ошибки друг друга, ошибки, которые каждый из них совершил, молиться на него, просеивая, отбрасывая все ложное и оставляя все, что казалось им верным или соответствовало их представлениям, чтобы перейти к общечеловеческой любви к живому вождю, к любви, в которой коварно поджидали их противоречия и парадоксы, ложь и хитрость, которые в свою очередь приводили к ошибкам, ошибкам, ошибкам.

Сталин их отыскал, вырастил, выхолил и наверняка знал все о всех и о каждом в отдельности, и в отдельности всех, и каждого вместе. В общем, и вдоль, и поперек. Вот склонил лысую голову Лаврентий, склонил так низко, что чуть ли не уперся в стекло саркофага, а Сталин о нем знает все, хотя тот и хитрит: знает, каков он из себя, как проводит время в уединении московского женского мирка, о котором даже самым лучшим его агентам не удавалось слишком много узнавать; чтобы узнавать об этом, Сталину не нужно даже задавать ни одного вопроса. Господи, ведь вокруг него и так все клочкотало и кипело, разумеется, с внешней холодноватостью и сдержанностью. Сколько вечеров провел Берия, перенимая у Сталина искусство прохладиться на диване, облачившись в халат и домашние туфли, курить трубку (которую сам Лаврентий терпеть не мог, но вот в минуту опьянения набивал трубочку и посасывал!)...

Сталин смотрел на огромный ленинский лоб, затем перевел взгляд на синие, с малиновым оттенком тонкие губы, которые словно бы зашевелились, потому что Сталин, вздрогнув, услышал голос того, которого при жизни ненавидел, голос уверенный, с легкой картавостью. Голос Ленина не умолкал, он лишь исчезал. Сталину казалось, что вокруг него сгущается туманная мгла и появляется едва уловимый запах нового соснового гроба. На Сталина смотрело бледное лицо с рыжеватой бородкой, и звучал голос

- он не умолкал, а лишь на время исчезал под темными сводами мавзолея, но после долгих пауз приходил обратно, подобно ручейку или струйке воды, что течет от одной кучки сухого песка к другой, между тем как призрак мертвого, но не погребенного вождя с сумрачной покорностью размышлял о том, что он вселился только в голос, в голос, в голос...

Сталин смотрел на Ленина, а спиной чувствовал, как мимо проходят соратники, затем обернулся и увидел молодого Суслова.

Сталин взглянул, не моргая, в глаза Суслову. Тот от неожиданности застыл, как от удара молнии. Берия, прошедший вперед, увидел этот взгляд. Берия приостановился, пропуская Маленкова, Кагановича, Молотова, Микояна, Косыгина. Сталин что-то очень тихо сказал Суслову. Тощий, с впалыми щеками, очкастый Суслов подобострастно склонился и что-то в свою очередь столь же беззвучно ответил.

Это насторожило Берию. Он поправил указательным и большим пальцами пенсне, едва слышно кашлянул, чтобы обратить на себя внимание Сталина, и сделал шаг навстречу. Сталин это сразу заметил и с некоторым недовольством махнул рукой, как бы говоря: "Иди, иди, иди!". Берия слегка покраснел, со злобой глядя на Суслова, словно никогда раньше его не видел, широко раскрытыми глазами лунатика. Берия побледнел, и в его лице, всегда бледном (в редкие минуты ревности к Сталину слегка краснел), теперь совсем, до ужаса не было ни кровинки.

Берия смотрел на нескладного молодого Суслова в сером плаще, с болтающимися вдоль тела длинными руками, в одной из которых тот сжимал шляпу.

Когда Сталин медленно, переваливаясь с боку на бок, пошел к выходу на трибуну, Берия тут же оказался возле Суслова и спросил негромко:

- Что он тебе сказал?

- Сказал, что никому не повредит надежда, - ответил Суслов.

Берия удивленно посмотрел Суслову в глаза.

- Так и сказал? - переспросил он.

- Так и сказал, - тихо ответил Суслов, устремляя свой взгляд из-под очков вдогонку тому, который только что удостоил его вниманием.

Что имел в виду Сталин? Разумеется, никому не повредит надежда. Поэтому пусть так и будет - надежда на то, что одному до-

станется порицание безусловно заслуженное, а другим сочувствие, которого они страстно желали, хотя бы только потому, что они вот-вот его получат, хотят они того или нет.

Возможно, Берия надеялся получить ответ более существенный, а возможно, просто остановил Суслова для пущего эффекта собственной значимости. Ведь именно об этом Берия все время и заботился, может, с тех самых пор, когда впервые оказался в Кремле. Но одновременно Берия трезво взвешивал и другое, вполне возможное: Сталин что-то замышляет. И хотя Берия знал об известной ограниченности Суслова, тем не менее он мог быть опасным. Чувствуя, что сейчас ухватит ускользающий ответ, Берия быстро пошел к выходу, обгоняя Суслова, Косыгина, Кагановича, Маленкова, Молотова...

Почему Сталин остановил именно Суслова? Отдельные части этой головоломки только и ждут, чтобы Берия их собрал в понятную схему. Эти части, беспорядочно мелькая перед глазами, пока еще зыбкие, непонятные, они вот-вот соединятся в четкий узор, который мгновенно, словно яркая вспышка света, откроет Берии смысл этого короткого разговора Сталина с Сусловым. Но он ни в коем случае не должен ни о чем спрашивать Сталина, он должен догадаться!

Сталин медленно, не глядя по сторонам, поднялся на трибуну мавзолея и лишь только тогда поднял руку и услышал грохот приветствий...

К вечеру все было задумано, подготовлено и разыграно подобно великолепной военной кампании, и Берия лишь ждал вызова Сталина. Во время парада и демонстрации, во время торжественного приема, на котором все много пили и много ели, кроме Сталина, молчаливо созерцавшего происходящее, слушавшего пение подвыпившего Козловского, Берия так его ни о чем и не спросил. И когда Сталин по телефону сказал: "Приезжай, посидим!", - Берия уже знал, что там у него сидит Суслов. Просто видел этого длинноногого Суслова за столом с хозяином. Но Берия также знал, что ему не одному нужно приезжать, что сегодня, в 30-ю годовщину революции, нужно нечто такое, что сделает праздник объемным, в какой-то мере даже исключительным.

По темным улицам он ехал в своей машине и видел, как следом, не отставая и не приближаясь, едет другая черная машина. Когда вырвались на шоссе, та машина поотстала, а у самой дачи и вовсе пропала.

Машина въехала в ворота и двинулась по аллее к дому. Берия знал, что там будет Суслов, которого видел весь день, за которым с трепетом следил, но так и не мог разгадать: что же ему на самом деле сказал Сосо. Уже наступит ночь, и будут розы на столе, и пересмешки с хозяином, и колыхание занавесок на открытом окне, и музыка - патефон, и Берия будет навеселе, и тогда он спросит: "Каковы твои, Сосо, намерения насчет Миши?" - и кивнет на Суслова, который в это время будет плясать, отбрасывая длинные ноги, под пластинку Ляли Черной, сняв очки, чтобы не разбить, отчего лицо его делается еще более вытянутым, и косая челка, прямо-таки пионерская, будет спадать на лоб и вздрагивать в пляске.

Выходя из машины у подъезда, Берия подумал: "Но если Сосо подозревал, то почему бы не сказать об этом мне? Я бы на его месте сказал".

Войдя в просторную комнату, Берия громко рассмеялся: Суслов сидел за столом и держал в руках стакан с вином, а Сталин поддерживал его локоть, что означало: "Ну, выпей же Миша, от души прошу!"

Суслов держал в руках третий стакан вина за полчаса с момента прибытия. Суслов с любовью смотрел на Сталина и думал: "Я постараюсь стать таким, каким Он хочет меня видеть. Он может сделать со мною все, что хочет. Пусть Он мне только скажет, что делать, и я это сделаю, если даже то, о чем он меня попросит, покажется мне бесчестным, я все равно это сделаю!"

Суслов залпом выпил. Сталин склонился к нему, обнял, как сына, за шею и расцеловал.

Машина застолья делала свои первые неуверенные обороты.

Берия подбежал к столу, вскинул руки в сторону, привстал на цыпочки и взвизгнул. Он был слишком изумлен тем, что Суслов был тут, хотя твердо знал, что Суслов здесь и будет. И только у стола хозяина Берия осенило, что никакого особого разговора с Сусловым у Сосо не было и в помине. А что творилось у Берии в душе, когда он ехал сюда!

И вот теперь он смотрел на Суслова как на хорошего парня, с которым приятно посидеть за столом, выпить, закусить. Теперь уж Берия узнал, взглянув на Мишу, что он никогда не потребует ни малейшей частицы из того, чем теперь владеет Сталин и он, Берия, чего добились ценою жертв, долготерпения и унижений, о которых кроме них двоих - Сталина и Берии - никто не знает.

Но почему все же Сталин не сказал сегодня Берия о том, что ему хочется посидеть с Суловым, почему он так поступил, это же обидело Лаврентия, даже отчасти оскорбило, заставило без всякой надобности так долго пребывать в напряженном ожидании, почему?

Сталин с веселостью в рыжих усах кивнул Берии на стул с высокой спинкой и потер сначала ладонь о ладонь, а затем поочередно по правой и левой руке с тыла от локтя до запястья, как бы раскручивая закатанные рукава, хотя был в сером кителе без знаков различия, и в этих движениях было что-то неуклюжее, как будто руки Сталина были деревянными и плохо сгибались, и пальцы казались какими-то корявыми, плохо слушавшимися хозяина. Эти движения Сталин повторял время от времени, пока сидели за столом.

- Пей, ешь, Лаврентий! Ты у нас хороший едок! - сказал Сталин и, подмигивая Берии, добавил: - Не то, что Михаил! Сидит, ничего не ест!

- Я ем, - смущенно возразил Сулов, поспешно беря вилку длинными белыми пальцами.

- Смотри, какой тощий! - продолжил Сталин, глядя на Сулова узкими глазами. Длинный нос с небольшой горбинкой и эти узкие глаза делали его лицо похожим на волчье. - Зачем такой тощий? Почему такой тощий? Неужели власть у нас такой тощий? Ешь, Миша!

И Сулов, хотя и через силу, послушно и быстро тыкал вилкой в большую плоскую тарелку, в которую горками подкладывал Сталин и салат из свежих помидоров и огурцов, и маринованный красный, как пламя, и острый стручковый перец, и заливное из осетрины, и сациви, и зернистую икру, и, ломая руками, горячий лаваш...

Шел второй час ночи.

Хотя Сталин и Берия считали Сулова молодым, ему было уже 45 лет. Сталин его заметил еще в 1935 году, когда тот работал в аппарате Центральной контрольной комиссии ВКП (б), Наркомате Рабоче-крестьянской инспекции и Комиссии советского контроля при СНК СССР. По рекомендации Сталина с 1937 года Сулов - секретарь Ростовского обкома. В 1939-1944 годах работает первым секретарем Ставропольского крайкома, одновременно в 1941-1944 годах является членом Военного совета Северной группы

войск Закавказского фронта и начальником Ставропольского краевого штаба партизанских отрядов. В 1944 году Сталин назначил его председателем Бюро ЦК ВКП (б) по Литовской ССР, а в 1946 году определил на руководящую работу в ЦК КПСС. А в 1947 году Сталин сделал его секретарем ЦК КПСС.

И везде Сулов проводил железную, последовательную волю Сталина.

Поэтому за плечами - и в Ростове, и в Ставрополе, и особенно в Литве - было много такого, о чем Михаилу Андреевичу не хотелось вспоминать. Как в сорок третьем один ползал перед ним на коленях, лизал сапоги - предатель, подонок! - и как спокойно Сулов разрядил в него полбоймы пистолета!

Глаза Сулова весело поблескивали, он уже и коньяку полстакана выпил, и закусьвал за обе щеки, и раскраснелся, и, глядя на Иосифа Виссарионовича, который снял китель и запросто бросил его на диван, снял серый пиджак и ослабил галстук.

- Кто наш главный враг? - вдруг спросил Сталин и сощурил и без того узкие глаза.

Лаврентий сделал вид, что не расслышал вопроса, потому что жевал увлеченно пучок зелени: кинзу, укроп, петрушку и зеленый лук - все вместе, метелкой, обильно брызнув на все это сухим вином и сдобрив аджикой. Лаврентий знал, что Сталин сам ответит на этот вопрос. Такова была манера Сталина: спросит и сделает паузу. Не знающие его люди всегда бросались отвечать, но Берия его знал достаточно хорошо.

Знал это и Сулов. Поэтому молча жадно смотрел Сталину в рот. Смотрел и думал: "Мы все попадем с тобой, отец ты наш, в ад - и, по крайней мере, мы будем все вместе там, где нам и следует быть: ведь даже если бы туда попал только ты один, нам все равно пришлось бы отправиться вслед за тобой, потому что все мы - всего лишь иллюзии (промелькнуло новое слово, которым Сулов овладел недавно, почерпнув его из философского словаря), которые ты породил, а иллюзии каждого человека - это часть его самого, все равно как кости, мясо или память. И мы все вместе будем терпеть адские муки, и потому нам не нужно будет вспоминать наши ошибки, а может быть, в муках человек даже не помнит, за что он попал в ад. А если мы не сможем все ошибки вспомнить, то муки не могут быть уж очень страшны". То ли это хмель натолкнул Сулова на эти размышления, то ли испуг сегодняшнего сближе-



ния со Сталиным, за которым что-то крылось (что?), но Суслов отчетливо слышал слова об аде, причем произносимые не собственным голосом, а каким-то чужим, но знакомым, странным голосом... Тот голос принадлежал учителю Закона Божьего, отцу Волынскому, который учил когда-то маленького Мишу Суслова ум-разуму в приходской школе...

Так сильно врезаются голоса в память!

- Так кто же наш главный враг? - услышал Суслов живой глуховатый голос с сильным грузинским акцентом. - Наш главный враг, - Сталин замолчал, оглядывая стол, как бы что-то ища на нем, наконец, взял короткими негнувшимися пальцами соленый крепкий огурчик и, откусив половину его, продолжил: - Наш главный враг, - Сталин прожевал огурец, погладил тыльной стороной ладони усы, затем быстро поднес крючковатый указательный палец к виску и постучал по этому виску, где в рыжих волосах поблескивала седина. - Вот наш главный враг! - Сталин некоторое время мрачно смотрел то на Суслова, то на Берия, а затем вдруг очень громко, по-мужицки расхохотался.

Когда Сталин хохотал, тряся второй подбородок и колыхался довольно заметный животик под лиловой, даже светло-лиловой рубашкой, прижатой у плеч синими подтяжками. Изредка во время смеха Сталин оттягивал эти подтяжки и щелкал ими.

Хохотал Суслов, хохотал Берия. Оба даже сняли очки, а в уголках глаз показались слезы.

Вот бывает же так: не хочешь смеяться, а хохочешь до боли в груди!

Вдруг Сталин перестал смеяться, а те двое все еще смеялись, не сразу заметив перемену в настроении Сталина. А Сталин думал о том, что жизнь его ушла, просочилась как песок сквозь пальцы, ушла и в то же время осталась. Да он верил, что у него осталась жизнь, но на самом деле у него осталась не жизнь, а всего только старость, и дыхание, и ужас, и презрение, и страх, и гнев, а из всех, кто с неизменным почтением смотрит на него, остался - и это остро почувствовал он там, в мавзолее, у саркофага того, которого при жизни ненавидел, - один только этот Миша Суслов. Только он будет верен ему до конца своей жизни, и не просто верен, а сделает все, чтобы устранить тех, кто осмелится поднять, пусть и по-смертно, руку на вождя народов. Суслов смотрел на него так, как, вероятно, смотрел бы на самого Господа Бога.

## СТАНЬ КУСТОМ ПЛАМЕНЕЮЩИХ РОЗ

В комнате теперь стало совсем холодно - окно все еще было раскрыто, - и Сталин вдруг поежился, а Берия, увидев это, быстро пошел к окну и закрыл его.

Сталин подошел к патефону, выбрал пластинку и поставил ее. Игла едва слышно зашипела по бороздке, затем из патефона грянули голоса Краснознаменного ансамбля песни и пляски:

Где ж вы, где ж вы, очи карие?  
Где ж ты, мой родимый край,  
Впереди - страна Болгария,  
Позади - река Дунай...

Сталин ударил в ладоши и несколько раз полуприсел. Он задорно кивнул Суслову, чтобы тот выходил плясать. И Сулов вышел, упер длинные руки в боки, застучал ногами. И это Берия угадал: будет, будет Сулов плясать! В конце пластинки Сулов громким тенором, сильно окая, подпел:

Хороша страна Болгария,  
А России лучше нет!

Пластинка кончилась. И в это время за окнами раздались крики, слышался скрип тормозов машины, топот бегущих ног.

- Охрану! - крикнул Сталин и поспешил к столику у дивана, там на дощечке находилась кнопка звонка.

Берия бросился к окну, раскрыл его, вскочил на подоконник и выпрыгнул в сад. Сулов подбежал к Сталину и, стараясь заслонить его, усадил на диван. Лицо Сталина было бледно.

Тем временем Берия подбежал к машине, из которой выскочили помощник Берии и шофер и устремились за человеком, свернувшим налево в дали аллеи. За ними погнались охранники Сталина. А Берия, словно некий бесплотный дух, смотрел на все это и улыбался.

Для пущей достоверности вдали раздались выстрелы. Со звуками этих выстрелов Берия, взволнованный и бледный, вернулся в дом. Сталин все еще сидел на диване. Напуганный до смерти Сулов стоял над ним, расставив руки, как насадка над цыплятами.

- Что там, Лаврентий? Нападение? - дрогнувшим голосом спросил Сталин.

- Пока не знаю, - деловым тоном произнес Берия, присаживаясь на диван возле Сталина и давая понять Суслову, что его "охрана" уже не нужна.

Суслов сел поодаль на стул и вытер носовым платком холодный пот со лба.

- Что там, Лаврентий? - повторил вопрос Сталин.

В комнату вошел начальник охраны Сталина.

- Товарищ Сталин, разрешите обратиться? - сказал он.

- Да, - сказал Сталин, вставая.

- К вам ленинец! - выкрикнул из-за плеча начальника охраны Сталина помощник Берия.

Глаза Сталина выражали застывшую ярость. Он знал, что все это дело рук Лаврентия, но, с другой стороны, знал, что, может быть, в этот раз и не дело этих самых рук, потому что верил, что рано или поздно кто-нибудь осмелится взять штурмом его дом. Как он испугался тогда, когда в начале войны, укрывшись здесь, убежав от неожиданности войны, к нему пришли Берия, Молотов, Маленков... и он тогда в первую минуту подумал, что все, вот и пришли брать, даже, может быть, сейчас же на месте расстреляют, и уже мысленно простился с жизнью и сам себе смертный приговор вынес, и наступила жестокая пауза, и он не осмелился, как обычно, первым нарушить ее, а нарушил ее Берия, сказавший, что ждут его... и тогда сразу отлегло от сердца, и кровь с новой силой ударила в виски, и он вновь ощутил себя главным, самым главным, без которого они голы, как нищие...

- Какой еще такой ленинец? - несколько приходя в себя, спросил Сталин вкрадчиво и потянулся за кителем, который лежал в углу кожаного дивана.

Надевая китель, Сталин не спускал глаз с Берия, а тот ничем не показывал своего участия в представлении: был столь же встревожен, бледен, напуган. Или в роль вошел?

Берия, помедлив, как бы собираясь с мыслями, вместе с охранником и своим помощником вышел из комнаты, притворив за собой дверь. В полумраке коридора, где было теплее, чем в комнате, стоял светловолосый человек. Возле него находились два часовых.

- Вы свободны! - громко сказал им Берия, поправляя пенсне.

Двое часовых повернулись и направились к выходу. Берия что-то шепнул своему помощнику и громко спросил у светловолосого человека:

- Кто тут себя за ленинца выдает? Ты, что ли?

- Я! - как можно тверже сказал человек.

Берия мог бы тут же превратить это приведение (от вести) в привидение, то есть самым обыкновенным образом стереть его с лица земли, его имя и его род. Но план был иным: он отталкивался от саркофага того, который был при жизни ненавистен Сталину.

В голове Берии, как в пустом коридоре, гулким эхом отдавались звучные имена побежденных. Берия был не реальным существом, не отдельным организмом, а целым сообществом. Он, как казарма, был наполнен упрямыми призраками со взором, обращенным назад, призраками, которые осознавали одну свободу - свободу бессилия перед ним, Берией. Какое ему дело, что сама земля или что бишь там еще в конце концов от него устала, возмутилась против него? Какое ему дело до всех этих людей, которых он уничтожал, уничтожает и будет уничтожать, их, их близких и их семьи? В один прекрасный день земля так возмутится, что уничтожит всех нас, как бы нас ни звали - Сталины, Берии, Сусловы... или как-нибудь иначе.

На какое-то мгновение всецело ушедший в себя Берия, окутанный собственными адскими миазмами, в атмосфере своей нераскаянности забыл о присутствии светловолосого человека. Берия думал о Сталине: может, надо здорово знать человека, чтобы его любить, но, если ты столько лет кого-то ненавидел, ты будешь его здорово знать, так, может, тогда будет лучше, может, тогда это будет просто замечательно, потому что столько-то лет спустя он уже ничем не сможет тебя удивить или заставить тебя очень сильно обрадоваться или очень сильно разозлиться. Зато меня он не слишком хорошо знает, я еще готов сделать кое-что такое, от чего он не будет знать: радоваться ли ему или самым натуральным образом дрожать за свою шкуру. А взглянув ему как следует в лицо где-нибудь на большой дороге один на один, каждый мог убедиться, что он предпочел бы петлю, чем этот взгляд один на один.

Светловолосый человек смотрел на Берию с таким выражением, какое бывает у детей, слишком поздно явившихся в жизнь своих родителей и обреченных созерцать все человеческие деяния сквозь призму сложных и бессмысленных причуд взрослых, - с выражением сумрачным, глубоко и сурово пророческим, в полном несоответствии с истинным возрастом даже этого ребенка, нико-

да не знавшего детства. Утром его вывели из камеры внутренней тюрьмы НКВД, усадили в темный фургон и долго везли куда-то, потом ссадили у желтого низкого барака с зарешеченными окнами (вдали виднелся глухой забор с колючей проволокой и вышки по углам), ввели в тесную камеру с нарами по обе стены, в ней он пробыл не более получаса, бродя от зарешеченного окна к железной (обитой железом) двери с "волчком", глядя на свои ботинки без шнурков, и потом, к концу вечера, в качестве пышного финала или заранее продуманного дьявольского действия, его вновь привезли в ту же камеру внутренней тюрьмы НКВД, затем, не покормив, вывели во двор (и он думал - все!), где стояла черная машина, и его усадили в эту машину... И это дьявольское действие организовал тот человек в пенсне с одутловатым лицом, с жирными короткими пальцами, организовал для утверждения своей власти и превосходства, он - Берия - сам выходил к одному из тьмы своих беззащитных врагов.

Берия открыл дверь в комнату и глазами, полными холодного презрения, дал понять, чтобы светловолосый человек прошел. Тот вошел в комнату и сразу же увидел того, против кого боролся, и кто, как только он его увидел, вызвал в нем антипатию своими крупными оспинами, придававшими его лицу вместе с рыжим цветом волос свирепое и наглое выражение.

- Так говоришь, ты ленинец? - спросил Сталин глуховато, без нажима и без раздражения.

Светловолосый человек молчал, находясь в состоянии, близком к шоковому. Одно дело бороться с некоей абстракцией, с символом под именем Сталин, и совершенно другое - видеть обыкновенного невысокого обрюзгшего человека в располагающей к добродушной беседе домашней обстановке. А главное - он смотрел на Сталина как бы из потустороннего мира, а его жизнь, что составляло его жизнь прежде, превратилась в груды развалин. Он видел трех человек, имевших облик людей, с именами героев, но для него они были не больше, чем иллюзия, обман, ничего общего не имеющие с отвязленным злодейством.

Сталин стоял у стола и переминался с ноги на ногу. Он никогда не мог стоять на прочно поставленных ногах, всегда переминался, как будто земля у него горела под ногами. Сталин не то что был встревожен, нет, просто озабочен - таким он, наверное, был с того самого дня, когда бросил все, что знал в Гори - лица

и обычаи, - и отправился в мир, о котором не знал ровно ничего даже теоретически, но уже имел в голове вполне определенную цель, какой большинство мужчин даже себе не ставят, покуда кровь не начнет замедлять свой бег у них в жилах эдак в пятьдесят, а то и позже, да и тогда лишь потому, что эта мечта связана в их воображении с праздною властью или, по крайней мере, с удовлетворением собственного тщеславия. Даже тогда в Сталине была та настороженность, какую позже он будет носить день и ночь, не снимая и не меняя, словно одежду, в которой ему приходилось и спать, и бодрствовать в чужом краю, среди людей, самый язык которых ему пришлось выучить. В Сталине жило неусыпное внимание, которое твердо знало: допусти одну-единственную ошибку - и конец. В Сталине жила способность сравнивать и сопоставлять закономерность со случайностью, обстоятельства с человеческой природой, свое собственное ненадежное суждение и смертную плоть не только с человеческими силами, но и с силами природы, способность делать выбор и отказываться, идти на уступки своей мечте и честолюбивым замыслам - подобно тому, как человеку приходится уступать лошади, на которой он скачет по лесам и оврагам и которой управляет, лишь не давая ей понять, что на самом деле управлять ею он не может, что на самом деле она сильнее его. И он оседлал лошадь Государства.

- Ну что ж, - сказал Сталин, - надо познакомиться поближе с... - он сделал обычную для себя паузу и затем dokonчил мысль: - с ленинцем... Кто ж ты?

У светловолосого человека не шевелился в буквальном смысле слова язык, но все же он каким-то слабым и чужим голосом произнес:

- Я историк партии... Аргунов, кажется, Петр Дмитриевич...

Зачем-то въехало во фразу это "кажется". Неуправляемое слово влезло зачем-то, против воли Аргунова, во фразу, и он сильно удивился этому "кажется", как будто не он произносил это слово, а кто-то другой, чужой, забравшийся в него.

- Садись, - сказал Сталин, поглядывая на Берия, - выпей, закуси... У нас такой порядок: пришел, так садись...

Сталин сам не спеша сел за стол. Сел и Берия. А Суслов, подойдя к столу от дивана, сказал:

- Сказано же, садись! - и подвинул стул для Аргунова.

Тот потерял способность не только говорить, но и двигаться. Суслов, видимо, почувствовав это, подошел к нему и, взяв за руку, подвел к столу. Аргунов сел и опустил глаза. Он никак не мог заставить себя смотреть прямо в глаза тому, против кого боролся, никак не мог. На Берию еще кое-как поглядывал, на Суслова тоже, но на Сталина смотреть не мог. Стыдно было смотреть, как стыдно говорить в глаза человеку, что он подлец.

Суслов смотрел на Аргунова и слабо догадывался, что он привезен сюда вовсе не случайно и не по недосмотру. Видимо, об этом позаботился сам Сталин, ибо он, без сомнения, заглядывал вперед много дальше, чем можно было допустить. Но с какой целью Сталин это сделал?

Сталин, как виночерпий, стал разливать коньяк, что называется, с толком: себе немножко - на донышке, Берии побольше, Суслову полстакана, а Аргунову налил полный стакан.

- За товарища Сталина! - произнес Берия.

Аргунов побледнел, но против воли, поднял стакан и медленно, по-европейски, стал отпивать маленькими глотками. Аргунов молчал. Быть может, причина этого молчания заключалась в том, что теперь, когда Аргунов получил возможность высказать в глаза Сталину все, что он о нем думает, у него не хватало ни смелости для этого, ни собранности. Откуда-то прорезались чувства такта и приличия. И Аргунов подумал о том, что, оказывается, о Сталине нужно говорить не Сталину, а какому-то третьему лицу, некоему объективному арбитру, который рассудит. Но где этот арбитр? И может ли он вообще в жизни существовать? За глаза он говорил о Сталине многое, очень многое... Кому говорил? Заведующему кафедрой Волкову? Студентам? Следователю Артемьеву? Ну и что? Какой-то заколдованный круг!

А вот сидит перед ним живой Сталин - говори! Что? Что он узурпировал власть! Глупо. Глупо говорить царю, что он царь, поскольку сам царь знает, что он царь.

Сталин смотрел на растерянное, бледное лицо Аргунова, на лицо неприятеля, сидящего за его же собственным столом, неприятеля, который даже не знал, что находится в состоянии полного поражения.

И Аргунов махнул на все рукой. Он принялся жадно есть все подряд, что попадалось на глаза. Что ж, жизнь повернулась так, что заставила Петра Дмитриевича Аргунова перемениться на-

столько, что он выпивал и закусывал с тем, кого с детства привык считать людоедом. Это не было переломом характера - он у него не изменился. Даже поведение его ничуть не изменилось.

То было состояние после смерти Аргунова.

Не в физическом, а в каком-то ином смысле. В смысле какого-то грандиозного, фундаментального, философского открытия: никто не виноват в его судьбе, кроме самой судьбы, как колеса фортуны.

Аргунов робко оглядывал комнату, просторную, но какую-то нежилую: словно лишь присутствие Сталина могло заставить эту комнату, этот дом принять и сохранить человеческую жизнь, как будто комнаты и дома и в самом деле обладают чувствами, личностью и характером, не столько приобретенными от людей, которые в них дышали или дышат, сколько изначально присущими дереву и кирпичу или сообщенными этому дереву и кирпичу, кто их задумал и построил. Этот же дом бесспорно тяготеет к заброшенности и пустоте, упорно сопротивляясь любым обитателям, если только их не поощрял и не поддерживал жестокий и сильный хозяин.

Выпитый коньяк позволил Аргунову несколько приободриться и смелее, сбросив первый страх и смятение, неверие в реальность происходящего, смотреть на сидящих за столом. Вот они сидят здесь, и все равно чего-то не хватает. Они напоминают символы, формулы, смутные, загадочные, равнодушные на бурном фоне кровавых и страшных их деяний. Как будто не сами эти люди совершали эти деяния, а слепки с них: те самые формулы и символы. А они - эти люди - нормальные существа.

Они совсем люди.

- Ну так в чем же ты ленинец? - спросил Берия, снимая пиджак и вешая его на спинку стула.

После некоторого молчания, прожевав большой кусок острого мяса, Аргунов пьянеющим голосом сказал:

- Извините, товарищ Сталин, за резкость, но вы, вопреки указаниям Ленина, вопреки его завещанию, силой оставили власть в своих руках...

Сулов уронил вилку на тарелку и от испуга забыл закрыть рот. Сталин же был совершенно спокоен.

Он не спеша прожевал кусочек мягкого лаваша и, улыбнувшись, сказал:



- Э-э, дорогой, это заблуждение... Или преднамеренная мелко-буржуазная фальшивка... Именно товарищ Ленин рекомендовал меня на пост генсека. Именно он!

Аргунов несколько смутился, поскольку, действительно, сам Ленин рекомендовал Сталина на пост генсека.

- Да, он рекомендовал, - сказал Аргунов, - но потом, видя, что вы стали закручивать гайки, передумал и написал...

Суслов резко прервал Аргунова:

- Да как ты можешь такое говорить! Страна была в кольце интервенции... Только товарищ Сталин мог привести страну и партию к единству...

- Заткнули всем рты... - начал Аргунов, но не договорил.

Договорил Сталин:

- После октябрьского переворота мы сразу же приняли решительные меры к тому, чтобы обеспечить трудящимся массам реальную свободу печати. - Сталин подумал, налил в стакан боржома и с удовольствием выпил. Затем, промокнув салфеткой усы, продолжил: - Мы национализировали крупнейшие типографии, конфисковали запасы бумаги, предоставили широкие возможности для издательской деятельности Советам, профсоюзам... В их руки были переданы все технические и материальные средства к изданию газет, журналов и книг...

- Но зачем же из-за слова убивать людей, - сказал Аргунов. - Это ваше нетерпение привело к массовым казням за слово.

Суслов схватился за нож на столе, но Сталин положил свою ладонь на его руку. Сталин сказал:

- Я выполнял лишь во всем волю Ильича. Ленин говорил, что мы не можем дать буржуазии возможность клеветать на нас... Если мы хотим довести революцию до победного конца, мы не можем к бомбам Каледина добавлять бомбы лжи... Помню, кажется, в начале 18-го года Ленин подписал декрет об учреждении революционного трибунала печати... В нем Ленин говорил, что ведению трибунала подлежат преступления и поступки против народа, совершаемые путем использования печати... Так что я следовал воле Ленина. Даже Ленин более жесткую линию вел, - Сталин помедлил, что-то вспоминая, и глаза его заблестели. Он продолжил свои размышления: - Вот кто, по-твоему, как ты говоришь, более жесток - я или Ленин? Такой пример. Я не был сначала за вооруженное восстание. Я был за мирную революцию. Я предлагал

ждать съезд Советов. А что Ленин? - Сталин замолчал и уставился на Суслова: - Вот что нам на это товарищ Суслов ответит?

Суслов тонкими длинными пальцами смахнул со лба свою пионерскую челку набок и сказал:

- Ленин был за вооруженное восстание!

- Ну вот, - сказал Сталин, - а ты говоришь: Сталин жестокий. Сталин не добрый и не жестокий. Сталин справедливый. Какой у нас главный лозунг, скажи, товарищ Берия?

Берия быстро ответил:

- Никогда не забывать о классовой борьбе, товарищ Сталин.

- А что такое классовая борьба? - сказал Сталин и дал слово Суслову.

- Буржуазная интеллигенция, мечтавшая о перерождении Советской власти и реставрации капитализма, стала стремиться к легализации своей деятельности, прикрываясь лозунгом "свободы печати" в годы осужденного вами, товарищ Сталин, нэпа.

Сталин удовлетворенно улыбнулся. А Аргунов смотрел на него и понимал, что Сталин добился слишком большого успеха и был одинок из-за презрения и недоверия, которые успех приносит тому, кто добился его благодаря силе, а не просто удаче.

- Нельзя требовать свободы печати, - сказал Сталин, - не разобравшись в том, какую свободу печати, для чего, для какого класса требуют. Мы завоевали, - Сталин еще раз повторил это слово: - завоевали свободу печати для трудящихся масс и требование свободы печати для интеллигентов играет на руку мировой буржуазии. Ленин говорил, что свобода печати в нашей стране, окруженной буржуазными врагами всего мира, есть свобода политической организации буржуазии и ее вернейших слуг, меньшевиков и эсеров.

Вся линия рассуждений Сталина была хорошо знакома Аргунову: между интеллигенцией и буржуазией ставился знак равенства, поэтому интеллигенция причислялась к классовым врагам, а врагов нужно уничтожать.

О чем тут можно спорить?

Берия с некоторым огорчением смотрел на Аргунова. Берия-то предполагал увидеть этакого интеллигентского болтуна, а увидел скромного человека со скромными мыслями. Не получался спектакль, не складывался. Может быть, это и к лучшему. Но тогда, спросит Сталин, зачем ты приволок этого человека?

Суслов смотрел то на Сталина, то на Берия и пытался разгадать загадку присутствия за столом Аргунова.

- Исходя из ваших аргументов, - заговорил Аргунов, - получается, что классовая борьба идет в пользу маломыслящих ленивых людей, которых вы звучно именуєте народом, считая за народ только свинопасов...

- О-о! - воскликнул Берия. - Это что-то!

- Что, Лаврентий? - спросил Сталин. - И вообще объясни, с кем мы разговариваем?

Берия снял пенсне, протер его краем скатерти и, надевая, сказал с тайным удовольствием:

- Я привез показать тебе твоего, извини, Сосо, врага... Я чуть-чуть отсрочил меру пресечения... Теперь я вижу, что он ничего особенного из себя не представляет. Его просто плохо учили. Он даже не знает, что такое классовая борьба!

Сталин встал из-за стола, прошел к патефону и, остановившись, переступая с ноги на ногу, принялся выбирать пластинку. На короткое время в комнате воцарилась тишина, затем тишину эту прервал голос Утесова:

С боем взяли мы Варшаву,  
Город весь прошли...

- Лаврентий, наливай!

И когда Берия налил всем, даже Аргунову, который не представлял, что ему тут говорить, что делать, Сталин сказал:

- Надоела эта политическая трескотня. Нужно поменьше интеллигентских рассуждений. Нужно держаться поближе к жизни. Тот, кто называет народ свинопасами, - Сталин взглянул на Аргунова, - не любит свой народ, не понимает жизнь! Вообще не знает, что такое объективный закон истории и классовая борьба!

Аргунов, несомненно, видел перед собой в лице Сталина счастливого человека. Его заветная мечта к личной власти за счет чужих идей осуществилась так очевидно, что можно было только развести руками и посоветовать на никчемность всяческих человеческих способностей. Сталин достиг цели в жизни, получил то, что хотел и, наверное, был доволен своею судьбой, самим собой. Во всяком случае, никаких мук совести на его лице заметить было нельзя. К мыслям Аргунова о человеческом счастье всегда поче-

му-то примешивалось что-то грустное, теперь же, при виде счастливого человека, Аргуновым овладело тяжелое чувство, близкое к отчаянию.

В этом рыжеусом рябом человеке не было ни государственно-го ума, ни величия. Была лишь удивительная способность ставить на выигрышную карту чужих идей и, благодаря этому, создавать силовые государственные системы, находясь на верху которых, как на лошади, он уже мог ничего и никого не опасаться.

Можно было приводить ему любой довод, любой аргумент, хоть из Христа, хоть из Ленина, он со свойственной ему медлительностью в разговоре все подведет к классовой борьбе, к защите усредненного народа от “философствующих интеллигентов”. И самое страшное, в своих аргументах о классовой борьбе он будет всегда прав, поскольку сама идея классовой борьбы универсальна. Так что все иллюзии насчет того, что Сталин переживает чьи-то казни, переживает вообще за чью-то жизнь, просто несостоятельны. Этих переживаний нет и не могло быть у Сталина, точно так, как не может быть переживаний у хозяйки, покупающей в магазине мясо. Если бы эта хозяйка переживала за коров так сильно, как предполагают, что Сталин переживал за казненных классовых врагов, то хозяйка бы не ела мяса вообще. Все это совершенно из иной плоскости, и Аргунов понял это, глядя на обычного мужичка в сером кителе и в мягких домашних туфлях.

Аргунов как-то смутно догадался, что у этих людей за душой нет ничего святого, и что это их несколько не беспокоит, и жизнь стала казаться Аргунову странною, безумною и беспросветною, как у собаки. И он сам выглядел теперь, как побитая собака.

Он выпил, и слезы потекли из его глаз.

Берия поморщился, а Сталин отвернулся.

Лишь Суслов с нескрываемым презрением смотрел на этого жалкого светловолосого человека, как бы желая отстранить его от себя этим взглядом.

Сталин бесшумно прошелся по комнате и остановился у окна в позе властителя, отставив ногу и заложив руку за борт серого кителя. Время от времени он переступал с ноги на ногу, как бы собираясь двинуться, но оставался все в той же величественной позе.

Берия сидел за столом, положив локти на крахмальную скатерть, словно отлитую из гипса. Взгляд его был устремлен на большую тарелку с крошечными слоеными пирожками с мясом,

такими вкусными, что он не удержался и взял сначала один, затем другой, а потом украдкой вытер промаслившиеся пальцы о край скатерти.

Берия был еще достаточно молод, ему было 48 лет, но он выглядел значительно старше: обрюзгшее тело, двойной подбородок, жиреющее брюшко, лысая голова, мешки под глазами. В 1938 году он стал Генеральным комиссаром госбезопасности и одновременно наркомом внутренних дел. У него под руками был невиданный репрессивный аппарат. Только под руками. Потому что головою, управляющей этими руками, был Сталин. Голова диктовала, а руки делали: разгромили командный состав Красной Армии накануне войны, сорвали антифашистское единство рабочего класса на Западе, предоставили шанс Гитлеру покончить с Францией, Англией, нейтрализовать Америку, прежде чем наброситься на Советский Союз, препятствовали серьезному укреплению советской обороны на путях предстоящего наступления вермахта, дискредитировали западные компартии приказом отказаться от антифашизма в 1939 году, предоставили Гитлеру возможность внезапного ошеломляющего нападения на СССР, несмотря на наличие ряда достовернейших предостережений.

И несмотря на все это - барельеф Сталина на медали в честь Победы советского народа над гитлеровским фашизмом и знаменитая фраза: "Наше дело правое - мы победили!".

Так кто же победил - Сталин или народ? Ни то и ни другое. Победила система, созданная Сталиным. Она оказалась надежнее, мобильнее, крепче, чем система Гитлера. Потому что Гитлер был вторичен, был порождением этой системы, он был лишь пустой оболочкой, полым сосудом для ностальгических идей по сокрушению системы. Поэтому Гитлер и Сталин отлично друг друга знали, взаимно друг друга обольстили, принесли друг друга на заклание - Гитлер пал жертвой собственной силы, Сталин сразил противника своей личной слабостью - он не понукал лошадь системы! Война как бы разрешила личные проблемы Сталина: освободила его от непримиримого противника - Гитлера и позволила считать себя чуть ли не властителем вселенной. Ведь уже не первый раз в истории личность принимает мировую катастрофу за акт Провидения, единственная цель которого - разрешить личные проблемы, которые сама личность разрешить не умеет.

Истории потребен сгусток воль:  
Партийность и программы - безразличны...

...Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови. Голова в терновом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на бамбуковой трости к пересохшим губам спасителя губку, смоченную водою и уксусом...

Аргунов с отчаянием отбрасывал мысль, что все уже свершилось. Десятки способов собственного спасения приходили в его воспаленный мозг, но ни один не подходил, а между тем он чувствовал, что есть какой-то один-единственный, но верный способ, но он ускользал из его сознания подобно забытому слову, выпавшему из памяти, но оставившему неразборчивый след.

И вдруг, как забытое слово, возник перед ним рыжеволосый человек. Но он был человеком лишь отчасти: то, что имело плоть, еще оставалось человеком, остальное же - символ, формула "Сталин" - было функцией системы, пусть и наиглавнейшей, но функцией. А система холодна как к обожанию, так и к покаянию.

И хотя Аргунов был рядом с треугольником - Сталин - Берия - Суслов, он никак не мог вписаться в этот треугольник какой-нибудь биссектрисой.

Хозяин дома подошел к столу, налил всем и сел. Он готовился сказать что-нибудь красивое, но только и сказал:

- Прошу выпить и закусить.

- За все хорошее! - сказал, сильно окая на слове "хорошее", секретарь ЦК КПСС М. А. Суслов.

Красные прожилки на щеках и на носу Лаврентия Павловича просили освежения. Он выпил. Суслов пригубил. Сталин долго озирался и не пил. Но за окном чирикнул воробей, и Сталин подумал, что можно выпить за наступающее утро. И выпил. Об Аргунове и говорить нечего: он оглушал себя.

Стали закусывать. Аргунова вдруг подперла готовая речь, и он встал.

- Дорогой товарищ Сталин! Вы хороший человек, но зачем же всем нам, как скотам, есть из одного корыта пищу? - Аргунов хотел сказать что-то о нравственной самостоятельности человека, о культурных традициях, но сбился: упоминание пищи из корыта прозвучало явно не к месту.

- Эх, - задорно воскликнул Суслов и выпил.

- Уж не быть любимцами России, - затянул какую-то песню Берия, - уж прошла младенчества пора-а... - затем прервал песню и сказал: - Вор совершает кражу не из алчности, а из любви, убийца убивает из жалости, а не из вожделения.

Берия не нуждался в разговоре со Сталиным, точно так же, как Сталин не нуждался в разговоре с ним. Они были слишком похожи друг на друга. Эти два человека настолько хорошо друг друга изучили, что способность и необходимость общаться посредством речи атрофировалась, и, постигая смысл сказанного без помощи слуха и разума, они перестали понимать самые слова. Поэтому Сталин никак не отреагировал на слова Берии. Обреченные на интеллектуальное и духовное сиротство, на прозябание где-то на полдороге между той частью пространства, где побывала их телесная оболочка, и той, куда им хотелось, но куда они не знали, как попасть, потому что вообще не знали, куда им нужно попадать, они вели самый заурядный образ жизни мелких выпивох и добропорядочных распутников. "Нет, нет! Только не это! Подумайте о наших..." - "Ах, вот вы о чем. Нет, нет, этого не бойтесь. Ведь кому-то надо позаботиться о балерине Н."

Сталин задвигался, что-то ища глазами, затем, найдя, взял бумажную салфетку.

- Миша, у тебя есть, чем писать? - спросил он.

Суслов поспешно извлек из кармана пиджака самописку.

Сталин, щурясь, принялся что-то очень медленно выводить на салфетке. Если ты можешь пойти кому-нибудь навстречу, лучше всего к совсем чужому, и дать ему что-нибудь - хотя бы клочок бумаги, не важно, что именно, пусть даже оно само по себе не имеет никакого смысла, а этот человек не станет даже его хранить, читать, не удосужится даже выбросить его и уничтожить, все равно это будет нечто хотя бы только потому, что когда-то случилось и запомнилось пусть даже только тем, что перешло из рук в руки, из одной головы в другую, и пусть это будет хотя бы царапина, хотя бы нечто, оставившее след на чем-то, что когда-то было, - то нужно дать ему это нечто.

Берия задвигался. Сталин встал, подошел к Аргунову и сунул ему в руку салфетку.

Аргунов привстал, покачиваясь, принял эту салфетку, бережно разглядел, словно этот листок, этот иссеченный складками квадратик был не бумагой, а лишь сохранившим прежнюю форму и со-

держание пеплом. Аргунов разобрал крупные неровные буквы: “Выпустить. И. Сталин”.

Сталин заговорил что-то. Аргунов слушал краем уха и не понимал. Он разбирал эти письма на салфетке, бледные, тонкие, как паутина, словно их оставила на бумаге не рука живущего на земле человека, но покойника, а тень, упав на бумагу, рассеялась за секунду до того, как он на нее взглянул, и пока он читает, может в любое мгновение раствориться и окончательно исчезнуть. Эти большие тонкие буквы!

Суслов встал и заглянул в салфетку. “Вот он какой, Сталин, в своем величии и простоте, вот он какой милосердный”, - пронеслось в его голове. Эта записка, данная побежденному, заставит его, хочет он того или не хочет, выжить, включиться в число тех, кто обречен жить.

- Вот и все, - сказал Сталин удовлетворенно, даже с отеческой заботой в голосе. - Вот и все, Лаврентий... Этот человек не такой уж плохой, как ты думаешь. Не совсем конченный этот человек. Он умеет плакать. - Сталин сам едва слышно всхлипнул, и на его узких глазах блеснули слезы. - А раз человек умеет плакать, это еще хороший человек. У нас много хороших людей. Очень много. Нам нужно к каждому человеку подходить внимательно. Нам нужны чуткие кадры, а не бездушные машины. Так должно быть, Лаврентий. Так есть, Лаврентий?

- Я всю душу отдам таким людям, - сказал Лаврентий, снимая пенсне и промокая рукавом сорочки слезы.

Пьяное сознание Аргунова обволакивали какие-то новые мысли: “Я был неправ в своем прямолинейном взгляде на историю, как на нечто поступательное и в высшей степени нравственное. Я это признаю. Я считал, что есть вещи, которые до сих пор имеют значение просто потому, что они имели значение прежде. Но я был не прав. Ничто не имеет значения, кроме дыхания, кроме того, чтобы дышать и знать, и жить”. Он сидел согнувшись, глядя на салфетку, не двигаясь, не шевелясь, руки неподвижно лежали на коленях, он едва дышал, словно был какой-то птицей, ожидающей, когда ее вспугнут.

- У тебя есть отец? - вдруг спросил Сталин у него.

Аргунов очнулся и перевел взгляд с салфетки на изъеденное оспинами лицо вождя. Сосредоточившись, чтобы не сказать чего-нибудь лишнего, Аргунов заплетающимся языком ответил:



- Его расстреляли белые как большевика...  
Берия заинтересованно вскинул брови. Суслов сжал тонкие губы.

- Почему, как? - спросил Сталин.

- Потому что он формально не был большевиком... Но мама говорила, что он был настоящим большевиком, что...

- Где это случилось? - спросил Сталин.

- В Екатеринбурге...

- Да-а?

- Да. Его обвинили в том, что он был причастен к расстрелу царской семьи...

- А он был причастен? - спросил Сталин.

- Мама говорила, что он был знаком с одним из участников расстрела и что...

- С кем? - настороженно спросил Берия.

- Не знаю...

- А чем занимался твой отец? - спросил Сталин.

- Он что-то писал...

- Что?

- Кажется, что-то о добре...

- О добре?!

- Да. О добре. Даже, кажется, работа называлась "Тайна добра" или что-то в этом роде, а...

- Так в чем же заключалась эта "Тайна добра"? - спросил Сталин тоном искренней заинтересованности.

- Я не знаю, что он писал. Рукопись исчезла...

- Жалко отца твоего, - сказал Сталин. - Нам так не хватает дельных работ о добре. А социализм - это общество добра. Нам всем нужно быть добрее. В школе это прививать. Добро нам нужно нормой нашей жизни сделать.

Помимо всех прочих качеств, Сталин был простодушен, вот в чем была его беда. Сталину вдруг открылось - не то, что он хотел сделать всех людей добрыми, а то, что ему непременно нужно, необходимо было говорить о добре, хотел он того или нет, потому что не говори он об этом, ему до конца дней своих не жить в ладу с самим собой и с тем, чем наделили его все люди, которые умерли ради того, чтобы он жил на свете, и хотели, чтобы он передал это добро дальше; не жить, зная, что все умершие ждут и следят, чтобы он сделал это добро как следует, сделал все как следует,

так, чтобы он мог смотреть в глаза не только давно умершим, но и всем живым, что придут после него, когда и он тоже умрет. Он родился там, где в домах кишмя кишели ребятишки. Ребенком он не прислушивался к туманным и путаным рассказам о роскошной жизни в столицах, которые проникали даже к ним в горы. Он тогда не понимал, о чем идет речь. Став подростком, он их не слушал, потому что вокруг не было ничего, с чем эти рассказы можно было бы сравнить или чем-нибудь измерить, чтобы придать словам жизнь и смысл. Сталин никак не мог понять, хотя тогда он не был Сталиным, а был Еськой Джугашвили, о чем идет речь, потому что был слишком занят своими мальчишескими делами. Когда же он стал юношей и любопытство извлекло из памяти те рассказы, о которых он и думать забыл, не помнил даже, что когда-то их слышал или размышлял над ними, они его заинтересовали, и он даже захотел взглянуть на столицы, но без всякой зависти и сожаления, просто он был уверен, что одни люди плодятся в одном месте, а другие - в другом. Одних наплодили богатыми - он мог бы сказать, везучими, - а других нет. Причем от самих людей почти ничего не зависит, а стало быть, им не о чем жалеть - ведь ему никогда не приходило в голову, что кто-нибудь может извлечь из подобного слепого случая право или основание смотреть свысока на других, на любых других. И поэтому он мало что знал о таком мире, пока сам туда не попал. А попав, понял, что все можно изменить, а потом - регулировать. Все можно регулировать.

И Аргунов сидел как бы отрегулированным. Где же все его доводы об императоре, тиране, злодее? И тут дело не в недостатке смелости, не в трусости - дело гораздо сложнее, глубже, в самом фундаменте человека, не конкретного Аргунова, а человека вообще, в самой его первооснове бытия, где таится порча. Эта порча, как скрытая болезнь, есть в каждом человеке, до поры до времени она скрыта за семью печатями, но в наиболее катастрофические моменты дает о себе знать и невольно берет верх над всем сильным и здоровым, что есть в человеке. Точно так человек может умереть от страха, не от самого страха, а от той самой порчи, от комплекса скорпиона, убивающего самого себя, достаточно лишь человеку крепко испугаться, больше того - остолбенеть от внезапного страха, как пригвожденного клиновидной молнией, организм сам позаботится о его успокоении и выпустит лишнюю дозу смертельного адреналина. Другим будет казаться, что чело-

век действительно умер от страха, а на самом-то деле он умер от вещества, содержащегося в его же собственном организме, хотя, разумеется, первопричиной был тот самый эффект страха, возникающий из-за внешнего раздражителя такой силы, какую человек не в состоянии выдержать в ясной памяти и сознании, поэтому механизм защиты организма срабатывает, впрыскивая в самое себя достаточную дозу вещества, которое способно отключить разум и память, и сознание. Но иногда в порыве этой защиты нервной системы, чтобы человек не рехнулся, организм может и переусердствовать. Тогда - вечный покой.

И никаких страхов!

- Выпьем? - спросил Сталин, беря со стола бутылку.

- Да, да, конечно, - сказал Берия и тут же перевел взгляд на Сулова.

Ответ Сулова удивил Аргунова неожиданно компанейским тоном.

- Давай! Давай! - сказал он, потирая тощие руки как заправский пьянчуга.

- Наливай! - с веселостью сказал Сталин, а сам на некоторое время вышел из комнаты.

Когда Сталин вернулся, на лице его было суровое спокойствие. Приблизившись к столу, он сразу переменяет маску: теперь его мимика выражала наивысшую приветливость и радость. Аргунов почувствовал, что сам расплывается до ушей и кивает Сталину в ответ как старому другу. Видно было, что Сталин только что расчесал свои волосы, казалось даже, что он успел вымыть голову и протереть ее насухо полотенцем.

В комнату вошла полная подавальщица в расшитом по-украински фартуке, спросила:

- Не покушаете ли супчику?

Сталин обвел взглядом стол и спросил:

- Как? Будем суп хлебать? А-а?

- Хорошо бы, - сказал Сулов. - Давно я первого не ел.

- Вот и хорошо! - сказал Сталин.

Подавальщица, собрав кое-что на поднос со стола, ушла. Аргунов с трудом поднялся со стула: все тело стало каким-то свинцовым, чужим. Аргунов, сдерживая волнение и глядя то на салфетку в руке, то на Сталина, спросил:

- Так я могу... уйти, да-а?

- А супчику? - удивился Сталин. - Нет, посиди уж с нами, сделай милость. Как же так? Сейчас будем супчик хлебать, а он собрался уходить... Или не веришь, что уйдешь? А? По глазам вижу, что не веришь. Веришь?

- Верю, - пролепетал Аргунов.

- Тогда садись. Сейчас будем харчо кушать! - и, увидев в дверях подавальщицу с подносом, воскликнул: - А вот и супчик!

Когда подавальщица вышла, поставив тарелки с харчо перед Сталиным и Берией (она принесла только пока две тарелки), что-то упало за дверь и разбилось.

Должно быть, подавальщица уронила стакан или грязную тарелку, которые не сразу отнесла на кухню, а поставила на передвижной столик с колесиками.

Сталин вдруг сделал губами звук плевка и проговорил сердито:

- Чистое наказание с этой бабой, прости меня грешного! Не пасешься!

Сталин и Берия не ели, ждали, пока подавальщица принесет две другие тарелки. Наконец она их принесла и удалилась. Сталин налил гостям вина и предложил выпить перед "супчиком".

Выпили. Загремели ложками, засопели. Аргунов, беря ложку, взглянул на рыжие волосы Сталина, которые поднимались надо лбом, как сияние.

Харчо было очень вкусное.

Затем вновь вошла подавальщица, молча принялась убирать тарелки. Она мерно сгибала и разгибала спину, широкозадая, как корова, она равнодушно и тупо выполняла свой великий труд: кормила вождя.

- Как думаете, хороший роман Павленко "Счастье"? - вдруг спросил Сталин, ни к кому конкретно не обращаясь.

Сулов ответил:

- Хороший роман, Иосиф Виссарионыч! Очень хороший!

Подумав, Сталин сказал:

- Надо дать ему мою премию. А что там у нас есть хорошего в музыке?

Сулов ответил:

- "Кантата о Сталине", товарищ Сталин, композитора Кепши.

- А еще? - спросил Сталин, пропуская как бы мимо ушей этот ответ.

- Хорошо поет Александрович, - сказал Берия. - Мне нравится.

- Да-а? - переспросил Сталин и, подумав, сказал: - Надо дать мою премию. Я слышал, что Вознесенский написал дельную книгу о военной экономике СССР в период Отечественной войны...

- Написал... - неуверенно сказал Сулов.

- Так вот, думаю, нужно ему тоже дать мою премию. В области науки.

Когда Сталин говорил это, то тяжело дышал, как будто его мучила астма. Но это продолжалось всего лишь какую-то минуту. Сталин налил себе боржома и выпил. После чего стал дышать ровно.

После съеденной тарелки харчо Аргунов несколько протрезвел, смотрел удивленным взглядом на этих людей, до конца не веря, что перед ним именно эти люди. Ведь это сам Сталин! Ведь это именно он пытается облегчить последние страдания Аргунова. Неужели Сталин, человек, обладающий неслыханной властью, склонен к подобному малодушию? И это после того, как Аргунов скомпрометировал себя опасным выпадом против его власти? Вот Сталин сидит неподвижно на стуле с высокой спинкой, вождь и учитель, и смотрит исподлобья на сидящего с ним за одним столом арестанта, но Аргунову уже не кажется, что этот невзрачный человек всемогущ, пусть его дачу и окружает бдительная стража, пусть за ним исполнительный, дисциплинированный аппарат, пронизывающий пирамиду власти сверху донизу, и по малейшему его зову приходит в действие каждое звено этого аппарата.

И казалось, глаза Сталина говорили: "Я добился всего, чего хотел, и при желании могу теперь остановиться, и никто на свете, даже я сам, не упрекнет меня в лени". Возможно, это и есть та самая минута, которую судьба всегда выбирает, чтобы огреть тебя по башке, да только эта высшая точка кажется такой надежной и прочной, что сразу не заметишь, как покатился под уклон. И это все благодаря простодушию, которого он так никогда и не утратил, ведь после того, как он отстранил свою жену, отстранил от жизни, он сказал сам себе, не ища никаких извинений или сочувствия, ничего не объясняя и не оправдывая: "Я убедился, что она без всякой провинности со своей стороны не может и никогда не сможет споспешествовать и благоприятьствовать выполнению цели, которую я себе поставил, и потому я ее вынудил отстраниться". И потом он, чтобы жёны не мешали проводить время, "споспешествовал" удалению жен Молотова и Калинина... Жены все-

гда пытаются залезать в душу, выпытывать тайные мысли. Без них - свободнее. Нельзя назвать это своеволием или гордостью, это была скорее воспитанная уединением уверенность в себе - ведь многие из его предков-горцев точно так же поступали с женщинами.

Сталин опустил голову под стол, извлек оттуда новую бутылку коньяка и, поглядев, щурясь, на этикетку, подумал и вновь поставил ее на место. Затем Сталин поднялся и просто-напросто сказал: "На сегодня хватит. Нам надо выспаться". Он сказал это глухим, даже чуть-чуть сердитым голосом, и потому Аргунов понял, что это относится только к нему.

Аргунов сжимал в левой, вывихнутой руке, боль в которой как-то затихла, бумажную салфетку и смотрел на Сталина.

- Иди! - сказал Сталин, опираясь на стол кистями рук.

Аргунов растерялся и от страха не мог понять, что хотят от него, и стал быстро засовывать в карман брюк салфетку. А потом вдруг опомнился и опрометью бросился вон из дому. Он выскочил на крыльцо - никого не было, слабо светились низко поставленные к дорожке фонари, небо было серое, начиналось утро. Он добежал по зеленой туевой аллее до поворота, остановился, подозрительно озираясь, затем нырнул в заросли туи, чтобы никого не видеть и чтобы его никто не видел. Он упал на землю и лежал неподвижно, со слезами на глазах, ужасаясь тому, что случилось, чего нельзя забыть и простить себе в течение всей оставшейся жизни. Он лежал и сумбурно думал, что теперь он будет заниматься историей несколько иначе, не как возможным: что бы произошло, если бы... а как тем, что произошло и только, он будет учить студентов, будет делать все, что делают другие люди его круга. И постоянное недовольство собой и людьми, этот ряд грубых ошибок, которые горой выростали перед ним, он будет считать своей настоящей жизнью, которая суждена ему, и не будет ждать лучшей. Ведь другой жизни и не бывает! Самое главное, что он узнал теперь, это то, что правда и справедливость существуют где-то вне жизни... Где-то там, что неподвластно воле человека.

Но, засыпая прямо на осенней земле, сраженный усталостью и муками, как пулей, Аргунов нащупал в отдаленном уголке сознания и такую мысль: Сталину придет пора расплатиться за то, что он возвел здание своей системы не на твердой почве добродетели, а

на болотной трясине приспособления к обстоятельствам и разбойничьей морали.

Почти что погрузившись в первый за последние трое суток сон, Аргунов ощутил на шее приятное дыхание и прикосновение чего-то нежного и прохладного. Не хотелось открывать глаза, сил не было открывать глаза, но это прохладное и нежное все же заставило Аргунова стряхнуть с себя сон: он увидел собаку, черную с ржыми подпалинами, лижущую его шею...

Между тем Сталин сел за стол, взял чистую салфетку и самопиской Сулова принялся что-то рисовать.

Берия и Сулов склонились к нему. Сталин рисовал звезду. В центре ее он поставил жирную точку и из каждого луча звезды подвел к ней линии.

- А теперь смотрите, - сказал Сталин. - Звезда - это наше Советское государство. Вот эта точка в центре звезды - партия, - он ткнул золотым пером в жирную точку. - Партия пронизывает все государство, все его артерии и сосуды. - Сталин провел пером от точки к концам каждого луча звезды-государства. Теперь, смотрите дальше. - На одном из лучей Сталин поставил две буквы: "ГБ", на втором луче тоже две буквы: "СА", на третьем луче опять две буквы: "ВД", на четвертом луче написал: "Исполкомы" и на пятом: "СМ" - Совет Министров. - Вот это наше государство. И если хоть один луч потревожить, то это уже не будет государство. Оно просто не будет звездой. Оно развалится!

- Развалится! - подтвердил Сулов поспешно.

Сталин замолчал, постукивая черенком ручки по столу, затем очень твердо, даже убежденно хмуро сказал Берии:

- Товарищ Сулов у нас секретарь ЦК. Так вот, товарищ Сулов должен быть всегда секретарем ЦК. Я хочу, товарищ Берия, чтобы товарищ Сулов ни в чем не испытывал затруднений в своей работе в качестве секретаря ЦК. - Сталин перевернул ручку золотым пером к низу и ткнул пером в точку. - У товарища Сулова сложная, я бы сказал, тяжелая работа. И я бы хотел, чтобы вы хорошо взаимодействовали, - сказал Сталин и возле жирной точки вывел две маленькие буквы: "ГБ", обвел их кружочком и быстро от этого кружочка провел линии в каждый луч звезды.

Берия просиял и подобострастно взглянул на Сталина.

- На тебе, товарищ Берия, большая ответственность. Ты под ру-

ководством партии пронизываешь все государство. И это хорошо. Но откуда у тебя появляются эти, - Сталин недовольно кивнул на то место, где недавно сидел Аргунов. - Плохо пронизываешь. Партийного подхода мало. Нужно улучшить работу в этом направлении. Товарищ Суслов тоже должен подойти к кадровому вопросу получше. В общем, ясно, я думаю.

- Ясно, товарищ Сталин! - хором сказали Берия и Суслов.

- Улучшить нужно идеологическую работу. А то у нас стали появляться антипатриотические поступки под флагом научной критики. Печатают на Западе, понимаешь ли, разную болтовню, обливают грязью товарища Лысенко. Законное чувство гадливости вызывают в советских людях те интеллигентки, которые все еще находятся в плену пережитков проклятого прошлого царской России. С этим нужно, товарищи, решительно бороться! - Сталин несколько повысил голос: - Вражеская агентура пытается использовать факты притупления бдительности, благодушия и ротозейства отдельных наших работников, пережитки угодничества перед иностранщиной в своих корыстных целях. Я бы даже сказал, во вред коренным интересам социалистического государства! - Сталин ткнул ручкой в звезду. - Что по этому поводу скажет товарищ Суслов?

Суслов машинально поправил челку, приосанился и сказал:

- Я считаю, товарищ Сталин, что в настоящий момент в основу нашей воспитательной работы нужно прежде всего класть патриотизм...

- Советский патриотизм, - поправил Сталин.

- Да, товарищ Сталин, советский патриотизм, - проокал Суслов.

- А что скажет товарищ Берия?

Берия извлек из кармана своего пиджака, висевшего на спинке стула, сложенный вчетверо лист бумаги, развернул, пробежал глазами сквозь пенсне и сказал:

- Тут цифры обезвреженных антисоветчиков за последние сутки.

- Дай-ка взглянуть, товарищ Берия, - начало фамилии Сталин произнес твердо "Бэриа", и конец поэтому утвердился - "риа".

- Кратенькая сводка, - сказал Берия. - С разбивкой по городам.

Суслов хотел подняться, но Берия удержал его на стуле взглядом.

Сталин взял бумагу, но, прежде чем ознакомиться, набил трубку, закурил, прошел к дивану, лег, положив ноги на валик и, вода черенком трубки по бумаге, принялся читать.



- Слабо представлен Ленинград, - сказал Сталин. - Надо усилить работу в Ленинграде. Вообще надо усилить работу среди ученых, преподавателей, деятелей культуры. На преподавательскую работу, особенно в области истории, языка, философии, нужно выдвигать представителей простого народа, надежных и проверенных сторонников нашего дела. Особенно в истории нашей партии. А то имеет место такой подход, - Сталин задержал черенок дымящейся трубки на листе бумаги, а сам посмотрел на Суслова, - сторонники, я бы даже сказал, приверженцы такого подхода рассуждают примерно так: в один период Ленин якобы давал одно решение проблемы, и решение это в точности соответствовало условиям данного периода, в другой период он отбрасывал прежние решения и решал проблему иначе, и новое решение в точности соответствовало новой исторической, понимаешь ли, ситуации. Не было никакого отбрасывания! Мне лучше это знать. Вы не знали Ленина. А я с ним всегда был рядом и помогал вести одну сплошную прямую линию! И это правильно нашло отражение в "Кратком курсе истории ВКП (б)". Я там дал единственно правильную оценку о возможности победы социализма в одной взятой стране. И это была прямая, законченная теория социалистической революции! А интеллигентики никогда не могут идти по прямой. У них мозги засорены всякой метафизикой. Поэтому их нужно устранять с прямого пути, чтобы они не затуманивали ясные головы простых советских людей. Этим интеллигентам нет дела до нашей социалистической Родины. Они готовы плясать под дудку буржуазных мыслителей! А мы-то знаем, к чему эти мыслители приводили. К отрыву от народа, к салонам, к шарканью по паркету. Мы против этого боролись, победили и победим. - Сталин сделал паузу, затем еще тверже сказал: - На повестке дня три основных вопроса: первое - устранить из идеологической сферы этих интеллигентов, второе - организовать примерный процесс, гласный, в полный голос, чтобы все газеты об этом сообщили, над кучкой гнилых остатков интеллигентов царской России, третье - вести ежедневную, неусыпную работу по разъяснению линии партии в трудовых коллективах, главным считая - наша партия есть партия рабочего класса, колхозного крестьянства и... трудовой интеллигенции.

Это говорил уже не простодушный частный человек, это говорил человек государственного ума, включенный в функцию, опре-

деленную ему системой. Именно государственного ума, ибо государство - это то, что он рисовал на звезде, то, что предполагает государя, ибо что это за государство без государя?! В этом смысле Сталин укреплял не свою власть, а укреплял государство, которое гарантировало ему эту всемогущую авторитарную власть. Здесь вступали в силу не законы человеческого, нравственного общежития, здесь скорее действовали законы физики и геометрии, как при постройке пирамиды, или инженерные расчеты, необходимые для создания бульдозера или танка. Для постройки последних нужен был металл и металл, а не доски или фанера. Под последними подразумевались "интеллигентки". Они были деревом, не металлом, они были тем, что хотя и годилось для чего-то, но абсолютно не подходило для государственного строительства.

У Сталина не было республиканского ума. Того ума, о котором бредили, например, пятеро повешенных на кронверке Петропавловской крепости, положивших начало длинному ряду жертв, принесенных интеллигентами на пути к справедливости и истине, как выкуп за медленное и нелегкое их признание. Эти интеллигенты хотели остаться верными себе и своей идее, которая казалась их современникам слишком новой, дерзкой или опасной, и они должны были заплатить за нее своей жизнью и тем обеспечить своему делу посмертную славу. Так в перспективе времени рождается проблема духовного могущества в сравнении с могуществом силы государства.

Государственная диктатура бесчувственна, и, уничтожая человека - физически или духовно, - она делает это только во имя государства же, системы, возведенной по законам сопромата. Лицемерная подтасовка понятий "государственное благо" - "общенародное благо" позволяет наполнять пафосом официальную пропаганду, грубо маскировать своекорыстные интересы функционеров этого государева государства. Такое государство, используя различные методы и почти неограниченные возможности администрирования и вмешательства в экономику, оказывается в состоянии создать тонкую и глубоко замаскированную систему эксплуатации трудящихся. Вмешиваясь в вопросы регулирования сельскохозяйственного производства, государство фактически лишило крестьянские массы свободы действия. Крестьянин в результате потерял свою власть над землей и урожаем. И в итоге вынужден перебиваться с воды на квас и с кваса на воду.

Страна переживала острейший жилищный кризис. Большие города быстро обрастали терновым венком поселков из шалашей и барачков, где обитали сотни тысяч людей. Государство растлевало человеческую личность, стирая индивидуальности, сознательно поощряя самые низменные побуждения и чувства.

На заводах, в учреждениях, в институтах - всюду сталинисты постарались насадить своих осведомителей. Нашлись предатели, провокаторы, трусы, карьеристы, фанатики, глупцы, оболваненные, завистники, прямые агенты, оказавшие немалые услуги государству в создании разветвленного аппарата слежки и контроля над чужими мыслями и настроениями.

В системе диктатуры государства каждый осведомитель и палач мог ощущать себя добропорядочным гражданином.

Сталинские идеологи создали свой "кодекс чести", вернее, бесчестия, в котором на первом месте стояла фанатическая преданность государеву государству.

Жизнь для сталинистов - это борьба, и ее надо прожить, не запятнав духа служения и самопожертвования. В заповедях сталинистов человеческая личность исчезала, и взамен ее культивировались стадность, единство бездумных людей, заранее считавших всякое сомнение предательством. Сталинская диктатура уничтожила старые представительные учреждения и взамен их создала новые, имевшие чисто декоративное значение...

Сталин просматривал бумагу Берии.

- Ага, и этот, - сказал Сталин, остановив черенок трубки на городе Тбилиси.

- И этот, - подтвердил Берия.

Сталин промолчал.

- Я люблю жевать эти пирожки, - сказал Берия, беря слоеный пирожок, давно остывший.

- Из хорошего теста, - сказал с дивана Сталин. - Их все любят.

Они как бы вернулись из государства в простую комнату.

- Да, прекрасные пирожки! - сказал Сулов, борясь со сном.

Сталин это заметил, встал с дивана.

- Сейчас принесу выпить чего-нибудь холодного, - сказал он. - Одну минуту.

- Можно, Иосиф Виссарионович, позвонить от вас по телефону?

- вдруг спросил Сулов, когда Сталин проходил мимо него.

- Зачем тебе, Миша?

- Да я так...

- Тогда сиди.

Посмотрев на стол, Сталин взял с него пустые бутылки, одну сунув под мышку, по-братски помахал рукой Берии, и вышел, закрыв ногой за собой дверь.

Сталин немного постоял за дверью в благословенном одиночестве, прислушиваясь. За дверью послышались шаги, затем полилась музыка из патефона:

Утро красит нежным светом  
Стены древнего Кремля...

Сталин улыбнулся. Первой мыслью было пойти на кухню. Потом ему подумалось, что лучше оставить пустые бутылки здесь же, в коридорчике, и пойти в ванную. Но все разрешилось проще: появился казачок, которому и сунул хозяин бутылки с пожеланием:

- Сдай себе на папиросы.

Сталин зашел в ванную, посмотрел на себя в зеркало, затем сел на край ванны. Открыл холодную воду, подставил под струю ладонь и принялся ссыхающейся рукой смачивать волосы.

Следующим этапом была кухня. Сталин открыл холодильник, на глаза попались апельсины. Взял несколько штук и три бутылки кахетинского. Затем Сталин стал искать поднос, и это оказалось целым делом, и он так завозился, что под конец уже с гневным стоном открывал и закрывал всякие шкафы и шкафчики. На эти звуки появилась толстая подавальщица.

- Что это у тебя тут ничего не найдешь?!

- Что ищешь, родимец?

- Поднос...

- Оставь все, ради Христа! Я сама принесу, что нужно!

- Мне ничего не нужно. Я вот только взял вина и апельсины.

Тем не менее, подавальщица все это властно отобрала у Сталина. Тут же нашелся и поднос, он стоял между шкафами.

Когда Сталин вошел в комнату, он не заметил никаких особых изменений в поведении гостей, кроме ободряющего факта, что Суслов дремал, уронив голову на стол. Он дремал, и ему, наверное, казалось, что в будущем все просто и ясно.

"Я их всех пересажу!" - подумал Сталин. Именно мысль о том, что он на рассвете не закачался, придала ему стойкость.

Берия стоял у патефона и перебирал пластинки. Он придавал своим манерам и речам интеллигентное обличье. Увидев поднос в руках подавальщицы, он что-то воскликнул гостевым голосом.

Некоторое время Сталин, не моргая, смотрел на поблескивающее пенсне Берии, затем медленно подошел к буфету, открыл дверцу, нашел рог с позолоченной цепочкой и налил в него вина.

- Пей, Лаврентий! - сказал Сталин и остановился у патефона, переступая с ноги на ногу, как бы в нетерпении.

Берия взял рог жирными пальцами и послушно выцедил кахетинское, затем смахнул с краев рога капли на паркетный пол.

- Разбудить Мишу? - спросил Берия.

- Пусть отдохнет. Мы с тобой сейчас баню истопим. - Сталин задумался, а затем вдруг сказал: - На посту заснул!

Это замечание вовсе не было дерзким или презрительным. Оно исходило, если у него вообще был какой-либо источник, из той неисправимой несентиментальности, которая принимала жестокую форму, на что, кстати, Сталин никогда не обращал ни малейшего внимания: какой есть, такой есть! Сталин утверждал везде и во всем свой кодекс логики и морали, свой собственный рецепт и формулу соотношения причин и следствий.

Сталин неторопливо налил вина в рог, отдал бутылку Берии, набрал через нос воздуха, резко выдохнул его и поднес рог к губам.

Когда он выпил, Берия уже надел пиджак.

- Э-э, брось его! Я другую одежду нам подберу, пойдем.

Они вышли из комнаты, оставив Сулова дремать за столом, на боевом посту.

В темной кладовке Сталин снял с крючков два желтых армейских бушлата, один протянул Берии, другой надел на себя поверх серого кителя, долго не попадая усыхающей рукой в рукав. Берия помог. Они вышли, переговариваясь, на улицу. В бушлатах не чувствовалось осенней утренней прохлады. В головах земляков приятно гулял хмель, кровь горячо струилась по телу.

К Сталину подошел по его просьбе человек с черными усиками и в кепке.

- Где Митрич? - спросил отрывисто Сталин, не глядя на человека.

- Куда послать? - спросил человек в кепке.

- Скажи, чтобы шел к бане, - сказал Сталин.

Они свернули в дальнюю аллею. У бани под навесом лежали торфяные брикеты, стояли лопаты, ведра.

- Насыпай! - сказал Сталин Берии, поднося ведро к брикетам.

Берия взял лопату и воткнул ее, нагнувшись, в кучу черных брикетов, одни из которых, в ладонь величиной, были целыми, другие раскрошились на половинки и четвертушки, утопали в пыли, напоминающей угольную, но несколько светлее, с бурыми оттенками. Сталин взял ведро и пошел в небольшую котельную, где помещался водяной титан общего отопления бани. Сталин высыпал брикеты из ведра на железный настил возле топки титана, затем взял из-под лавки топор и направился к дровяному складу. Берия шел за ним следом, весело поглядывая по сторонам. Он снял пенсне и положил его в карман бушлата. Лицо Берии стало более округлым и мясистым без этого пенсне.

У сарая стояли три мужика, один из них был тот давешний, в кепке и с черными тонкими усиками.

- Здравствуйте, братцы! - сказал им Сталин, взмахивая топором.

Мужики опустили руки по швам и замолчали.

- Митрич, - обратился Сталин к тому, который держал в руках зимнюю шапку и голова которого была обнажена, - беленького приготовил?

- Так точно, товарищ Сталин, приготовил! - проговорил тот.

- Ну, хорошо, Митрич. Сейчас баню затоплю и займемся, - сказал Сталин, снимая с поленицы сухое еловое поленце.

Он понес его к бане, а Берия прихватил еще пару поленьев.

Сталин нащипал лучин для розжига на деревянной колоде и пошел растапливать титан, а Берия прошел в самую баню и бросил поленья перед печкой-каменкой.

Когда и ее затопили, Сталин сказал:

- Забот много, работаем - конца-краю не видать.

- И не говори, Сосо! Замучились совсем. Каждый из нас имеет свою полосу, каждый из нас трудится и знает, для чего трудится. Все сами делаем, все своими руками.

Пошли к деревянному сараю, где их ждал Митрич. Вместе с ним пошли по тропинке к кирпичному домику, возле которого был огороженный металлической сеткой двор. Сталин снял бушлат, затем китель, оставшись в светло-лиловой рубашке, которую обхватывали синие подтяжки. Сталин закатал рукава на рубашке.

Хотя утро было прохладное, Сталину было тепло. Он помахал руками и взял со стола, который стоял возле врытой в землю побеленной парковой скамейки, за которой рос куст теперь уже почти что обнажившейся сирени, острый и длинный нож, похожий на шпагу, только что заточенный на электрическом точиле Митричем.

Сам Митрич вывел из каменного домика молодого белорунного баранчика. Казалось, баранчик был сконфужен присутствием вождя и смотрел исподлобья, выставив вперед серые бублики рогов.

- Лаврентий, в прошлый раз ты настаивал, что из черного барана шашлык вкуснее. Я тогда согласился, зарезал тебе черного. Но теперь ты попробуешь белого и скажешь, кто был прав: Берия или Сталин?

- Чего тут говорить, - сказал Митрич. - Белый-то много вкуснее будет. Одно слово - белый. Стало быть, нежный!

Сталин подошел к барану, почесал его по загривку, затем где-то возле подбородка. Баран снизу вверх умиленно смотрел на него. Сталин широко расставил ноги и пропустил барана между ними, и тут же, зажав его ногами, взмахнул снизу вверх ножом, опущенным лезвием в это время к самой земле, от земли вверх - под горло, держа в это время другой рукой барана за спиральный рог, и перерезал горному барану гордую шею до самого горла. Кровь едва успела хлынуть, а Митрич уже поставил цинковый таз. Сталин расставил ноги, отошел назад. Баран вздрогнул и упал на землю.

Сталин нагнулся и воткнул с силой нож в землю.

- Митрич, - сказал он деловым тоном, - ты сразу замачивай в вине. Да лука не жалей.

Митрич, принявшийся уже освежевывать тушку, проговорил:

- Нечто мы не знаем, Сарioniч, нечто нам впервой! По высшей категории сделаем. Будь спокоен, Сарioniч. Чего там. Рази нам впервой шашлык готовить. Из свежатинки да с винцом - в раз один будет готов. Нечто мы не ученые...

Сталин и Берия уже подходили к бане, а Митрич, сдирая шкуру с тушки, все бормотал:

- Это нам раз плюнуть. Самое наше натуральное дело. Нечто мы впервой скотину режем. Это завсегда... Наплюйте тому в бесстыжие глаза, кто скажет, что Митрич шашлык не умеет делать...

Сначала Берия тер спину Сталина, заросшую на лопатках и плечах густой рыжей шерстью, затем Сталин тер розовую жирную спи-

ну Берии, покрытую вдоль позвоночника длинными черными волосами. В сравнении с тонкими, волосатыми, от этого казавшимися черными, как у негра, ногами, туловище с солидным животом Берии казалось огромным. Когда помылись и Сталин вытерся насухо широким полотенцем, все тело его от сплошной рыжей растительности как бы золотилось, как золотится на солнце мех рыжей лисицы.

Завернувшись в белые простыни, Сталин и Берия прошли в соседнюю с баней комнату, где было тепло, но не жарко, где на столе уже стояло вино в кувшинах, лежали свежие, горячие еще лепешки лаваша, а в огромной вазе - фрукты: виноград, ананас, сливы и персики.

- Ну, ладно, - сказал Сталин, садясь в плетеное кресло и наливая в фарфоровые пиалы холодную изабеллу: - С легким паром!

- Блаженство! - воскликнул Берия, лениво разваливаясь в другом плетеном кресле, напротив, и принимая из рук Сталина полную пиалу темно-красного вина.

Заглянул лысый маленький человек в белом халате. Сталин позвал его к себе и сказал:

- Лева, погоди со своими щипчиками... Сбегай в дом да приведи помыться товарища Сулова. Он там, бедный, уснул за столом!

Лева, положив свои инструментики на столик у двери, побежал исполнять поручение. Когда в дверях показался заспанный Сулов, Сталин сказал:

- Все на свете проспишь, Миша! Нехорошо!

- Виноват, - сказал Сулов, глядя на стол с приятным удивлением. - Что-то голова разболелась...

- Это дело поправимое, - сказал Сталин и налил Сулову изабеллы в свободную пиалу.

Когда он выпил, Сталин и Берия повели его в баню. После легкого завтрака с фруктами и вином, они еще раз с удовольствием помылись. Причем драили сухое, как полено, дерево тела Сулова на пару, а Сталин еще березовым венчиком по нему прошелся.

Тело Сулова было бледно-белым и безволосым. После же бани оно порозовело, как у поросенка.

Затем опять сидели в плетеных креслах, а маленький парикмахер Лева брил их, поправлял прически, стриг ногти на руках и на ногах, убирал мозоли, массируя ступни, подставляя под ноги очередному пациенту маленькую скамеечку, а сам падал перед ними на колени.



Когда Лева закончил свои операции и вышел, минуты две все сидели молча, погруженные в себя. Скорее всего, давала себя знать усталость. Когда Сталин начал вновь разливать вино из кувшина, Суслов сказал:

- Просматривал на днях “Молодую гвардию”. Из романа выпало самое главное - руководящая, воспитательная роль партии, партийной организации... По роману выходит, что не комсомольцы учились у старых большевиков, а они учились у комсомольцев конспирации, выдержке.

- Да-а? - задумчиво спросил Сталин.

- Да. Плохо, неточно показана в романе Красная Армия.

- Да-а?! - чуть настороженнее спросил Сталин и, подумав, добавил: - А вот мы пригласим Фадеева и скажем ему, как нужно написать...

- Подскажем, - согласился Берия.

- И это будет очень хорошо с нашей стороны, - сказал Сталин, отщипывая янтарные ягоды с кисти винограда.

Он вновь взялся было за кувшин, но он показался ему необычайно тяжелым и неудобным. Несмотря на приятное легкое головокружение, Сталин чувствовал, что даже дальние предметы ничуть не туманятся в глазах. Наоборот, Суслов, сидевший слева, назойливо, словно в фокусе, выделялся из всего окружающего.

- Позовем Фадеева вечером? - спросил Сталин.

- Можно позвать, - сказал Суслов, - только я хотел домой съездить...

- Съездишь, - сказал Сталин.

- Надо съездить, - повторил Суслов несколько отрывисто. Он смотрел на Сталина и удивлялся его стойкости. Столько времени сидят, а у него ни в одном глазу.

- Да-да, конечно, мне тоже нужно заехать домой, - сказал Берия и, не сдержавшись, широко и звучно зевнул. - Спать хочется.

- Да-а?! - словно глухой, спросил Сталин.

Берия ничего не ответил, не шелохнулся, он как бы на одно мгновение заснул с открытыми, смотрящими в одну точку глазами.

- Ну, ладно, - сказал Сталин.

Он закутался в простыню и встал.

При кажущейся бездеятельности, Сталин не тратил попусту ни минуты отпущенного ему времени. Воли и расчетливости он тоже попусту не тратил, хотя наверняка не считал, что именно воля и

расчетливость позволили ему воспользоваться подвернувшейся возможностью стать ровно 25 лет назад генсеком, и, вероятно, меньше всего благодаря смелости он сумел поодиночке расправиться со всеми этими интеллектуалами: Троцкими, Бухариными, Каменевыми, Рыковыми, не благодаря смелости - это они были слишком смелыми в своей интеллигентской болтовне, - а благодаря расчетливости, выдержке, выжиданию разделался даже прежде, чем они успели осознать, что, собственно, произошло. Да, благодаря расчетливости, которую он мучительным трудом пятьдесят лет, с двадцатилетнего возраста, когда кое в чем стал разбираться достаточно взросло, пятьдесят лет капля за каплей добывал, расчетливости, которая то затаится, то вдруг пускает пышные ростки, как зерно, что оставалось бесплодным в пустоте или в единственном окаменелом комке земли.

Берия и Сулов уехали.

Сталин вернулся в дом. Он неверными шагами ходил по комнатам, пытаясь на ходу расстегнуть китель или как-нибудь стянуть его. Затем, войдя в ту комнату, где сидели ночью, Сталин увидел на столе до краев налитый стакан боржома. Можно было подойти к столу и выпить освежающего боржома, только что, видимо, кем-то предусмотрительно налитого. Но Сталин тяжело опустился на диван, и ему наконец удалось расстегнуть китель.

Сталин закрыл глаза и лег на диван, задрав ноги и вытянувшись. Но от этого комната закружилась. Он снова сел, рывком опустив ноги на пол, но от резкого движения чуть не потерял равновесия, поэтому пришлось схватиться за столик, на котором лежала дощечка с кнопкой звонка. Минуту-другую Сталин сидел согнувшись, закрыв глаза. Потом встал и дотянулся до стакана с боржомом. Потянув стакан на себя, Сталин расплескал боржом по полу, но все же большую часть донес до рта и выпил.

Да, при кажущейся бездеятельности, он не тратил попусту времени. И в этот раз он не потратил его напрасно. Он как бы приручал людей, как это делает опытный дрессировщик собак.

Каждый дрессировщик, работающий с собакой и имеющий ее в личном пользовании, в известной степени является руководителем. Дрессировать и успешно использовать на работе собаку может человек терпеливый, наблюдательный, настойчивый, смелый и расчетливый, умеющий хорошо владеть своим голо-

сом, жестами, движениями. Конечная цель дрессировки - выработать у собаки навыки правильно и безотказно выполнять приказания дрессировщика, отданные условными сигналами или словами.

В дрессировке прежде всего используют врожденные особенности и свойства собак.

Каждой из групп и пород собак присущи определенные наследственные задатки, образовавшиеся в итоге многовековых повторных упражнений в выполнении той или иной работы.

Механический метод дрессировки основан на физическом или болевом воздействии - нажиме, рывке поводка, ударе хлыста, плетки, оглаживании. При механическом методе можно добиться безотказного выполнения всех приемов. Главный недостаток этого метода заключается в том, что в результате применения сильных раздражителей, собака нередко боится дрессировщика, покорно выполняет прием, но делает это по принуждению, без заинтересованности в работе.

Вкусопоощрительный метод основан на пищевом раздражителе. Так, обучая собаку приему посадки, дрессировщик показывает ей лакомство, которое держит в руке, поднятой над собакой. Желая получить лакомство, собака охотно выполняет команды. Недостаток этого метода в том, что сытая собака не заинтересована в работе, выполняет ее неточно и без необходимой выдержки.

Контрастный метод объединяет положительные стороны механического и вкусопоощрительного методов, при нем контакт дрессировщика с собакой наиболее прочен.

Поставив стакан на маленький столик, Сталин упал - вернее, повалился на диван. Ему показалось, что он уснул - или потерял сознание - еще раньше, чем коснулся дивана.

В комнату вошла подавальщица, принялась убирать со стола посуду - в который уж раз за эту ночь. Ей очень хотелось спать. Надо бы и ей заснуть, пока спит вождь, но она не могла все бросить так, к тому же - кто-нибудь должен бодрствовать вместе со счастливым человечеством.

ГЛАВА 3. СТАНЬ КУСТОМ ПЛАМЕНЕЮЩИХ РОЗ

В Техасе, на побережье,  
По дороге на Гальвестон,  
Есть огромный сад, утопающий в розах,  
И он окружает со всех сторон  
Виллу, что схожа с огромною розой.

Когда мне случается мимо идти по дороге,  
За оградой я женщину вижу, она  
В саду неизменно гуляет одна,  
И мы глядим друг на друга.

Она менонитка и носит упрямо  
Одежду без пуговиц - таков ритуал.  
Две штуки и я с пиджака потерял...  
Единоверцы мы с этою дамой!

Янис Велдре читал стихи Гийома Аполлинера в подвале клуба, в тесной комнате, сидя у письменного стола, заляпанного и залитого красками и чернилами. Янис Велдре был главным художником гарнизона: по красному сатину писал зубным порошком, смешанным с декстриновым клеем, лозунги типа: "Советская армия бдительно стоит на страже мирного труда советских граждан", оформлял планшеты с выдержками из уставов гарнизонной и караульной служб, рисовал на загрунтованных фанерных щитах краснощеких, с квадратными челюстями воинов в касках и с автоматами... Все это он делал нехотя, лениво, с нескрываемой иронией. Когда раскрашивал огромные фанерные щиты, частенько восклицал:

- Ну я его сейчас, как Сикерка!

Официальной армейской работы было не столь много, и, быть может, поэтому Велдре делал ее с ленцой, чтобы замполит Шлапак, подполковник, изредка для проверки заглядывавший в подвальную мастерскую, убеждался, что Велдре добросовестно трудится.

В мастерскую вела узкая лестница с железными ступеньками, и, как только Велдре слышал, что кто-то по ней спускается, хватал

кисть, макал ее в зубной порошок и застывал над красным лозунгом, над очередной буквой, или брал перо и заносил руку над планшетом, обтянутым ватманом, или бросался к фанерному щиту. В общем, достаточно успешно изображал самоотверженную деятельность.

Все прочее время он работал на себя: делал акварели или графику. Причем делал он это весьма своеобразно. Например, акварели изготавливались совершенно по иной технологии, чем тому обычно учат в художественных школах. Велдре брал один какой-нибудь тон и закрашивал им, без всякой размывки, лист, затем просушивал его над электроплиткой и полировал скомканной писчей бумагой. Закрашенная сухая поверхность листа начинала блестеть, как навощенный паркет. После этого Велдре начинал тонким пером скрести по этой поверхности и выскребал удивительные тончайшие рисунки в стиле старых японцев. Но и это еще не все. Велдре брал сухую тонкую кисточку, облизывал ее и кое-что вымывал возле выскребленных линий.

Велдре мог часами, как какой-нибудь летописец Пимен, сидеть над одним рисунком, как бы уходя в себя, полностью отключаясь от внешнего мира, и бывал ужасно раздосадован, когда его от этого занятия отвлекали. Слышались шаги по железной лестнице, Велдре прятал под стол, где была широкая полка, свою очередную акварель, хватал кисть и подбегал к лежащему на стульях у стены лозунгу, натянутому на длинный и узкий подрамник.

Если входил Саша Аргунов, Велдре сначала облегченно вздыхал, а затем морщился и недовольно говорил:

- У, сволочьонок!

Это был чисто латышский акцент в этом "сволочьонок". Это слово имело обратный эффект: веселило Аргунова. А Велдре было совсем не до веселья.

- Я хочу быть один! - восклицал он. - Мне нужно работать одному.

- Я тихо посижу, - говорил Аргунов, сжимая в руках журнал.

- Как ты посидишь, сволочьонок! Ты же мне на голове посидишь! Моя голова от тебя не отключается, и я волнуюсь. Я тогда плохо делаю акварель. Как ты этого понять не можешь!

- Да что ты разорался! - говорил Аргунов, которому не хотелось сидеть в тусклой казарме, не хотелось слоняться по гарнизону, а хотелось побыть здесь, в мастерской, где приятно пахло кра-

сками, где было почти что все так, как на воле, даже Велдре сидел в белом халате, выпачканном красками, как настоящий художник.

Велдре был высок, плечист, белокур, как некий викинг.

Такие сцены были в первые дни знакомства Аргунова и Велдре. Потом Велдре свылся с визитами Аргунова и как бы не замечал его во время работы.

Аргунов сидел у плитки, варил кофе и читал какой-нибудь толстый журнал. Изредка он не выдерживал и начинал что-нибудь интересное цитировать. Велдре сначала отмахивался, а потом, привыкнув, стал сам просить:

- Сашенция, что ты все молчишь? Читай интересное мне для вдохновения. Читай!

- Пока мало что интересного, - говорил Аргунов, увлеченный чтением.

Наоборот, ему было интересно, но, чтобы от этого интересного не отключаться, он отнекивался. Он как бы сам уходил из внешнего мира и жил уже где-то совсем в ином, созданном воображением мире.

- Вот сволочьонок! - восклицал Велдре, корпя над очередной акварелью, согнувшись и скребя пером по бумаге. - Затих, как мышьонок! - Затем обращался еще раз с наигранно-просительной интонацией: - Сволочьоночек, почитай, любезно прошу, с уважением!

Хорошо было зимой: за окнами смеркалось, до отбоя было время, над Велдре горела лампа, возле Аргунова другая - настольная, черная, которую Велдре спер в штабе, на плитке кипел чайник. Велдре увлеченно скреб пером по бумаге, Аргунов читал, грыз сушки, купленные в гарнизонном магазинчике на последние гроши, шелестел страницами.

- Что, тебе с середины читать?

- Читай, откуда хочешь!

- Ты же не врубишься!

- Врублюсь, читай.

Аргунов читал о том, как лейтенант Зотов заподозрил бывшего артиста Тверитинова в том, что он либо диверсант, либо белогвардейский офицер, заподозрил потому, что Тверитинов не знал, как прежде назывался славный город Сталинград.

Велдре сосредоточенно скрипел в тишине пером по бумаге, и казалось, что это скребется где-то за стенкой мышь.

Аргунов читал дальше, и вдруг на месте резкого поворота событий в рассказе Велдре перестал царапать, оторвался от акварели, выпрямился и застыл в одной позе, с поднятым над бумагой пером.

Его небольшие пухлые губы раскрылись сердечком. Он сидел в одной позе до окончания рассказа. Глаза его смотрели в одну точку и поблескивали.

Конец рассказа был таким: лейтенант Зотов писал в оперативный пункт ТО НКВД о том, что задержанный, назвавшийся окружником Тверитиновым, якобы отставший от эшелона, в разговоре с ним... И увели бывшего артиста. Однажды, когда Зотов поинтересовался о судьбе этого человека, ему ответили, что, мол, у них брака не бывает.

Велдре встал и с волнением прошелся по комнате. Затем сказал с какой-то претензией к Аргунову:

- Здесь мало искусства. Политика так и прет! Тебя так и тянет, сволочьонок, на политику. Ну, зачем они тебе сдались? Не понимаю.

Аргунов молча смотрел на Велдре.

- Все вокруг нас таинственное, - говорил тот, разглядывая свою акварель, - великолепное, возвышенное... И венец этого великого творения - человек! А он часто и не знает об этом... Я задумал написать людей, воплощающих свои великие мысли в полеты! - сказал Велдре. - Знаешь, заварганю такие холсты! Мы же во сне летаем, мы от постылой отрываемся реальности в великие миры идей! Мои герои не будут подчиняться, как эти Зотобы и Тверикины, политике, они легко будут парить из эпохи в эпоху, из страны в страну... Я дам им, сволочьон, крылья! Я воспарю над миром и почувствую радость безмятежности и блаженства бытия великого среди бесконечных пространств мироздания, подвластного великим радостям идей и воплощения человека вселенной, который возвысится духом и станет в этой своей великолепной работе равным богам, которые, сволочьон, еще не ведают о чуде прорастания белых крыл в человеке великого чувства, которое приходит лишь к тем, кто ежедневно отстраняется от всего бренного и наносного, просветляется в своем созерцании сущности неземных стихий, подвластных лишь великим героям духа...

Аргунов загадочно уставился на Велдре, который выпалил всю эту тираду на одном дыхании, чуть не задохнувшись, и теперь, как

рыба, выброшенная на берег, жадно глотал воздух. Аргунов как будто ждал, когда же у Велдре отрастут крылья, зашелестят перья и он взлетит над гарнизоном, но Велдре безвольно опустил руки и начал вновь говорить о “великих полетах”. Аргунов прервал его:

- Солженицын же изобразил людей...

Но Велдре перебил:

- Да твой Соложенкин ничего же не знает о существовании великой философии проникновения в тайны полета духа!

Аргунов раздраженно ударил носком сапога по банке из-под краски, она с лязгом взлетела и ударилась о дверь.

- Надоело! - воскликнул Аргунов. - Потому что я уверен, что у Солженицына больше духовности, чем у нас с тобой, вместе взятых! Просто он не болтает о ней, как ты. От потока слов...

- Я думал о тебе, сволочьон, иначе, - вклинился Велдре. - Молод ты еще, мышьонок! Не понимаешь, что сейчас людям нужны новые формы, им осточертела политика! Не огорчайся. Ты поймешь великие силы созерцателей и покорителей духовного импрессионизма вселенной, населенной великанами звездных полей...

Аргунов не выдержал:

- Не звездных, а луковых! Все равно я знаю, что Солженицын великий писатель. Пошли на вечернюю поверку!

- Да, - вздохнул Велдре, поглядывая на Аргунова с сожалением. - Величие полета мечты не сразу дается ленивым в духовной работе людям, ибо велики...

- Заткнись! - вспылал Аргунов и побежал в казарму.

Старшина быстро провел перекличку, и солдаты побрели к своим койкам. Свет погасили. Аргунов лежал с открытыми глазами, не засыпал, переживая за Солженицына, за которого ему хотелось заступиться, которого... С этой мыслью он уснул.

Не успел он разглядеть сон облачный о Велдре, сон о том, как Велдре стоит на вершине высокой скалы и ждет, когда у него отрастут крылья, но ураганный ветер сдувает его в пропасть, светлые волосы встают дыбом, и Велдре летит кулем вниз, увлекая за собой град камней... Не успел Аргунов досмотреть этот сон, как пронзительный крик дневального поднял роту по тревоге.

Слепые после сна, солдатского мертвого сна, ребята поспешно засовывали ноги в галифе х/б, затем в сапоги и, на ходу надевая гимнастерки, подцепляя ремни, бросились к оружейной комнате.



- Без оружия! - властно остановил их старшина. - Надеть бушлаты!

Застучали фанерные створки шкафчиков, через минуту все стояли в желтых бушлатах в ровном строю в коридоре...

Ослепительный голубой свет дугового прожектора, как кусочек дня среди ночи, выхватывал из тьмы старый железнодорожный вагон с углем. Солдаты ежились от холода, вспыхивали огоньки сигарет.

Аргунов стукнул, разогреваясь, кувалдой по крюку, извлекая короткий колокольный звон, щит нижнего люка откинулся, и на щебенку железнодорожной насыпи с грохотом и пылью посыпался черный с фиолетовыми переливами антрацит.

Солдаты, вооруженные совковыми лопатами, принялись в облаках черной пыли отбрасывать уголь от путей.

После прерванного по тревоге сна работать не очень хотелось. Да еще подвывал, взметая угольную пыль, пронизывающий до костей ветер. Во рту и в носу от угольной пыли делалось тошнотворно сладко.

Аргунов залез в вагон и стал подталкивать лопатой уголь в люк.

Велдре, оказавшийся рядом, лениво постучал своей лопатой возле Аргунова, зычно чихнул и закашлялся. Видно было, что ему не по душе эта черная в прямом смысле работа.

- Помечтай в углу вон! - сказал добродушно Аргунов.

Велдре задумчиво оперся на ручку лопаты, затем сказал:

- погоди, сволочьон, греметь этим углем! Лучше послушай, - он начал читать наизусть какие-то стихи:

Сорвавшись с дальних гор гудящею лавиной,  
Бегут в бреду борьбы, в безумье мятежа.  
Над ними ужасы проносятся, кружа,  
Бичами хлещет смерть, им слышен запах львиный...

Аргунов на мгновение остановился. Велдре продолжил:

Порой один из них задержит бег свой звонкий,  
Вдруг остановится, и ловит запах тонкий,  
И снова мчится вслед родного табуна.

## СТАНЬ КУСТОМ ПЛАМЕНЕЮЩИХ РОЗ

Вдали, по руслу рек, где влага вся иссякла,  
Где тени бросила блестящая луна -  
Гигантским ужасом несется тень Геракла...

- Чье это? - спросил Аргунов.

- "Бегство кентавров" Жозе-Мариа де Эредиа в переводе Макаса Волошина, сволочьон! - выдал полную справку Велдре, прошел по горам угля в угол вагона и сел там.

Он сидел и смотрел на то, как зло и споро работает Аргунов. В свете прожектора мелькало его почерневшее лицо.

Велдре, что-то вспомнив, вновь подошел к Аргунову.

- А вот это послушай, сволочьон! - И с ходу начал:

О, если б в грудь мою проник,  
Сизиф, твой дух, в работе смелый,  
Я б труд свершил рукой умелой!  
Искусство - вечность. Время - миг.

К гробам покинутым, печальным,  
Гробниц великих бросив стан,  
Мой дух, гремя, как барабан,  
Несется с маршем погребальным.

Вдали от лота и лопат...

Но тут Аргунов прервал его, не выдержав:

- Кончай ты это, Янис!

В длинном вагоне работало еще человек пять. Остальные отгребали уголь на насыпи.

- А ты что, нанялся? - сказал Велдре тихо, но твердо, кивая на уголь.

- Нанялся! - зло бросил Аргунов.

- Вон орлы, - указал рукой Велдре в сторону солдат, - без нас справятся...

- А ты что, лучше их, что ли?!

- Конечно! Я же художник, а они - никто!

Аргунов застыл от этой фразы.

- В таком случае я тоже никто! - вскричал он.

Велдре нехотя заскрежетал лопатой по углю...

По воскресеньям ходили на лыжах в заснеженный лес. В солдатских шапках, серых, колючих. Длинные шинели, подпоясанные ремнями. Лыжи надевались прямо на кирзовые сапоги. Лыжи с мягким креплением.

В деревенском магазинчике брали бутылку какой-нибудь рябиновой наливки, засовывали ее в карман широких галифе. Шли через белое поле, оставляя нитку лыжного следа на чистом снегу, к лесу. Там, остановившись у заснеженной ели, отпивали из горлышка наливки. Разрумяненные, шли по лесу. Велдре импровизировал в своем духе:

- Великое белое царство манит нас вечностью прекрасной! Прекрасен мир, заснеженный и чистый, как драгоценный хрусталь! Возликуй, сволочьон! Смотри чистыми глазами ребенка на этот сказочный мир! Твоя душа должна трепетать от солнечного диска на голубом небосводе великого мира таинственной природы! Стань кустом пламенеющих роз на снегу! Ты творец и создатель этого мира! Ты! Только ты! Твори красоту! А ты лезешь в стаю этих скучных людей, у которых только протокол является мыслью...

- Но и ты зависишь от этих протокольных людей, - возражал Аргунов, двигаясь по следу за крупной фигурой Велдре.

- Я им отдаю дань, бросаю малую часть своей жизни. Да, я вынужден служить в армии, но я это не воспринимаю серьезно. Я как бы отключен от этой службы. Я сам в себе. Я делаю свои картинки и счастлив! Но я никогда не буду соваться в их вонючую политику. Только кажется, что ты там, в политике, чего-то от них добьешься. Ты ничего не добьешься, а шею себе ломаешь!

- Я с тобой не согласен. Твои картинки ты все же делаешь за счет тех людей, которые тебе обеспечили эту жизнь. Не сам ты по себе, а кто-то всегда тебе выкладывает твою жизнь.

- Вот сволочьонок! Да никто мне ее не выкладывает!

- Ты и при Сталине так бы рассуждал?

- При чем здесь Сталин? Он сам по себе, я сам по себе! Я вне политики! - восклицал Велдре, втыкая с силой лыжную палку в снег и извлекая из кармана початую бутылку рябиновой, вязкой и сладкой наливки. - За красоту мира!

- За красоту! - поддерживал Аргунов, снимая рукавицы и засовывая их в карман шинели, и добавлял: - За красоту, построенную на крови!

- Ну и сволочьонек же ты! - со смехом восклицал Велдре. - Ты как больной! Ты заболел? Ты болен? Лечись красотой! - И он вскидывал лыжную палку в сторону небольшой деревеньки на взгорке, крыши домов которой серебрились на солнце, а из труб шел голубоватый дымок.

Снег пах яблоками.

Личное время начиналось с пяти часов. Зимой в это время уже темнело. В гарнизоне зажигались фонари, освещая кирпичные казармы, построенные во время оккупации этой территории немцами. Вид однообразный, мрачноватый, навевавший грустные мысли о безысходности рода человеческого, о превращении всего мира в армейские казармы, о постоянном страхе ожидания войны. В такие минуты особенно хорошо было в подвале Велдре, где весь окружающий, подчеркнуто ограниченный милитаризм, воплощенный в тупорылых танках и бронемашинах, спадал, как с гуся вода.

Аргунов читал вслух "Один день Ивана Денисовича". Чтение длилось два вечера, а когда было закончено, Велдре, делая отпечаток с полотна двуручной пилы, на которой рисовал пером и тушью, на бумагу, воскликнул:

- Ну, сволочьон, опять кормил меня политикой!

- Ты ничего не понимаешь, - сказал Аргунов. - Ты даже представить себе не можешь, как Солженицын перевернул весь мир.

- Мир?

- Ну, не мир, а наше сознание, нашу литературу. Когда я, пять лет назад, когда мне было 16 лет, прочитал, как только получили с мамой журнал, эту повесть, я так и понял, что мир перевернулся. Все жили Солженицыным. Ну, конечно, и до него кое-что было. Но не то! А он, как первая весенняя гроза, очистил мир правдой. Мы все в школе только и говорили об "Одном дне Ивана Денисовича". О, это надо пережить, почувствовать! Читал журнал и не верил, что журнал читаю! Как будто сама жизнь ворвалась на эти страницы. Вся текущая литература как бы на мгновение умерла. Да что там умерла! Ее как будто и не было. Она вся, как бумага, брошенная в костер, сморщилась и превратилась в пепел. Потому что...

- Ну, сволочьонек, вы что там, в Москве своей, с ума походите ли? Я от тебя первый раз слышу об этом Соложенкине...

Аргунов вскочил и с негодованием выпалил:

- Не Соложенкин! Не Тверикин! А Александр Исаевич Солженицын! Великий писатель! И герой из рассказа "Случай на стан-

ции Кречетовка” Тверитинов! Уткнулся в свои алые розы на снегу, в свои веточки, в своих бабочек! Я не спорю, красота прекрасна, но ты же живешь в обществе, а не в пчелином улье или в муравьиной куче! А получается, что...

- Что, сволочьон?! - рассмеялся Велдре, принимаясь вновь ка- ркать по пиле пером. На отпечатках с пилы линии расплывались, и эти гравюры напоминали отдаленно рисунки Леонардо да Винчи.

- Получается, что ты живешь либо в пчелином улье, либо в муравейнике, потому что тебя жизнь нашего общества совсем не колышет! Тебе должно быть стыдно, что ты не читал Солженицына! Стыдно! Ты что, с луны свалился? Солженицын - это же величайшее событие не просто литературы, но и общественного сознания! Солженицын сделал даже одной своей повестью “Один день Ивана Денисовича” больше, чем сам Хрущев! Подожди, я еще роман Исаича достану. Маринка в письме написала, что достала. “В круге первом” называется. У Твардовского не пошел. Капитан обещал летом меня в отпуск отпустить. Как ты живешь со своей абстрактной красотой! Не понимаю! Ты можешь понять, что я плакал, когда узнал, что Никиту сняли. Подло сняли! Я шел тогда по бульвару от Кропоткинской, случайно подошел к газетному стенду и вижу: Октябрьский Пленум ЦК! Тра-та-та - Никиту, нашего ангела-хранителя, в зад ногой! И кто? Эти недобитки сталинизма, эти бездарные Сусловы! В этой фамилии-то весь смысл всплывает: сусло! Нет, Ян, ты знаешь, как будто из лесу пришел! Вокруг жизнь кипит, а ты! - Аргунов огорченно взмахнул рукой.

Велдре задумчиво уставился в потолок, затем мечтательно ска- зал:

- Хорошо бы сейчас пухлую булочку с изюмом! Давно не ел булочек.

Велдре поставил на плитку сковородку и бросил на нее не- сколько кусков серого солдатского хлеба, предусмотрительно прихваченного из столовой.

На очередном рисунке Аргунов увидел воздушных бабочек с широкими большими крыльями. Три бабочки парили на чистом поле листа, феерические какие-то бабочки. Аргунов засмотрелся. Велдре перехватил этот взгляд, сказал:

- Ты должен знать, что художник - это творец небывшего! Что толку, что академики рисуют похоже. Никакого толку нет! Фотоап-

парат возьми и... Понимаешь, все дело в том мире, который творит художник. Видимый мир прекрасен тем, что он сам себя творит... Зачем же мне светить отраженным светом, копировать то, что не мною сотворено! Поэтому я о фотоаппарате вспомнил. Точно перенести натуру на бумагу не составляет особого труда. Это ремеслуха... Техминимум! Вот ты попробуй сотворить свой мир, не похожий ни на какую природу! Вот о чем речь идет, сволочьон! Рисовать, как прежде, нельзя, - спокойно уже говорил Велдре, соскребая ногтями шлепки застывшей на столе краски. - Нужно искать свои формы! Форма должна быть присуща только мне... Великие страдания сердца я сам должен испытать, чтобы коснуться вечности духа...

- Интересно, почему Бог избрал раз и навсегда одну и ту же форму - человека? Форма одна, - с улыбкой сказал Аргунов, - а сколько содержаний! Миллиарды, тьмы и тьмы!

Вдруг по железной лестнице послышались шаги. Велдре тут же схватился за кисть и подбежал к красному лозунгу. Вошел подполковник Шлапак, невысокий, плечистый, с густыми седыми бровями.

- Работайте, работайте! - сказал Шлапак, видя, что Велдре и Аргунов вытягиваются по стойке "смирно".

И подполковник Шлапак поставил задачу: нарисовать портреты танкистов-отличников.

Велдре, назначенный замполитом Шлапаком в свое время гарнизонным художником, рисовать портреты похоже не умел. Скажи об этом Шлапаку, тот бы не поверил, поскольку художественное образование Велдре внушало ему полное доверие со всеми, как любят говорить в канцеляриях, вытекающими из этого последствием. Отвлеченных типов Велдре стилизовал, конечно, с выдумкой. Смотришь на рисунок и видишь, что этот тип со своим характером... Но если этот тип живет на картине, вовсе не значит, что он есть в жизни.

Философские размышления пошли побоку, нужна была фотографическая похожесть. Офицеры-танкисты готовы были позировать. Велдре погрузился, а Аргунов предложил:

- Попроси у них фотографии. Мол, рисую очень медленно, вам надоест позировать.

Аргунов это предложил как раз тогда, когда с работы из парка пришел, от ремонтируемых танков. Велдре принялся, завидя его,

переставлять с места на место дюралевые щиты, загрунтованные под масло. Дело было в просторном фойе клуба. Молоденький вихрастый лейтенант брэнчал на пианино и пел:

Дай мне наглядеться, радость, на тебя...

Когда офицеры принесли фотографии, Аргунов вызвался помочь “варганить по фоткам”, как сказал Велдре. Рисовать по “квадратам” Аргунов научился еще в школе и делал эти перерисовки портретно схожими. А Велдре и этого, оказывается, не умел. Поэтому Велдре всячески затягивал работу, краснел и потел. Ему было, наверное, стыдно, что Аргунов узнал, что он не умеет рисовать “похоже”.

Офицеры заглядывали “на подправку”. Это им Аргунов сказал, чтобы заходили “на подправку”, мол, фотография фотографией, а живое лицо всегда вдохновит на последний штрих, на заключительный, так сказать, удар кисти.

Подполковник Шлапак зашел однажды в тот момент, когда перед Велдре сидел офицер, а на щите уже в масле расцвечивалось его лицо. Делал этот щит Аргунов. А Шлапак сказал:

- Талант! - и постучал Велдре по плечу.
- Рядовой Велдре отлично рисует! - поддержал Аргунов.
- А вы что тут всегда крутитесь? - спросил у него Шлапак.
- Он мне краски мешать помогает, товарищ полковник! - выпалил Велдре, повышая в звании Шлапака на одну ступень.

Шлапак не стал поправлять. Ему нравилось, когда его называли полковником, а не подполковником.

Аргунов и остальных танкистов по фотографиям нарисовал за три дня.

- Ну, что с тобой делать, сволочьон, читай свой “Матрешкин двор”! - воскликнул Велдре, ставя на плитку кофе.

Велдре был явно доволен, что “справился” с заданием Шлапака, в противном случае Велдре бы оказался поближе к танкам.

- Не “Матрешкин...”, а “Матренин...” - сказал Аргунов и начал чтение.

Велдре тем временем приготовил кофе, налил в кружки, одну из которых подвинул к Аргунову.

Но тот все читал:

“...ждала, что порция из меня лягушкой выбросится. Ну, не выбросилась...”

Велдре внимательно слушал, попивал кофе, грыз сухарики.

Прищулив один глаз, Велдре думал о водяной прозрачности неба и сушил над плиткой очередную акварель, вернее, только фон будущей акварели. Бумага была набухшей, но по мере высыхания оставляла цветную пыльцу внешнего мира, чтобы можно было долго любоваться запечатленным духом времени. Велдре слушал рассказ и как бы одновременно размышлял об этом духе времени. Лист становился плотным и трепетал в руках, как сусальное золото.

Затем он стал скрести пером по этому листу.

Аргунов читал.

Велдре перестал скрести по бумаге и начал скрести по пиле. Вскоре он сделал последний штрих, взял лист бумаги и приложил - промокнул! - к полотну пилы. Подержав так несколько минут, задочно взглянул на Аргунова и поднял лист.

Получилась какая-то воздушная изба, а возле нее - Матрена.

И когда Аргунов закончил читать рассказ "Матренин двор", где в конце стояли такие слова:

"Все мы жили рядом с ней и не поняли, что есть она тот самый праведник, без которого, по пословице, не стоит село.

Ни город.

Ни вся земля наша".

Велдре, подперев голову кулаком, сказал:

- Хороший рассказ. Хороший, и почему, знаешь? Потому что - без политики! Дай-ка журнал...

Велдре взял из рук Аргунова журнал и, как бы не доверяя Аргунову, еще раз прочитал слова о том, что Матрена была праведницей. Перевернув страницу, Велдре увидел стихи Анны Ахматовой, которые сначала пробежал глазами, а затем медленно прочитал вслух:

Мне с Морозовою класть поклоны,  
С падчерицей Ирода плясать,  
С дымом улетать с костра Дидоны,  
Чтобы с Жанной на костер опять.  
Господи! Ты видишь, я устала  
Воскресать, и умирать, и жить.  
Все возьми, но этой розы алой  
Дай мне свежесть снова ощутить.



После небольшой паузы, как бы переваривая с волнением прочитанное, Велдре воскликнул:

- Ну что, сволочьон! Видал: “Все возьми, но этой розы алой//Дай мне свежесть снова ощутить”! Розы, ты понимаешь, политика твоя сволочьонская! А? Алой розы свежесть ощутить? Нет, ты чувствуешь, сволочьон, а?! Ну, Твардовский молодец! Поставил прямо после Солженицына! Да, прекрасный, прекрасный редактор. И как он почувствовал меня! Как будто со мной советовался тут, чтобы я почувствовал всю красоту и прелесть искусства настоящего! Ты чувствуешь, ты понимаешь? Все забирай со своей гнусной политикой, но оставь мне эту розу алую! Вот это да! Ай да Твардовский! Дал прикурить Соложенкину, дал! Замечательно, ну просто восхищение в моей душе пробудилось! Розу оставь - и все тут! - Велдре расхаживал по комнате, размахивал руками: высокий, плечистый, крепкий и такой нежный! - Великое искусство всегда выше политики! - заключил он и машинально взглянул на часы. - На построение опаздываем!

Снег поблескивал в свете фонарей. По аллее добежали до казармы. Там уже зычно звучал голос старшины: “Ррав-ня-айсь!”

Аргунов и Велдре нырнули в строй.

- За-апе-эвай! - гаркнул старшина. Запевала Ворошило, маленький, с хитрющими глазами, в короткой, по моде подрезанной шинели, сильным тенором повел:

Броня крепка, и танки наши быстры...

Этот Ворошило частенько промышлял на чердаке казармы, среди стропил ловил голубей и варил их.

В огромной тусклой столовой, похожей на конюшню, к Аргунову подсел новенький: Игорь Миронов, черноволосый, с лицом, напоминавшим восточное.

Выяснилось, что Миронов родился в Сталинабаде, отец его был таджик, а мать русская. Миронова вышибли из Москвы, где он служил радистом в штабе, за самоволку, бегал к какой-то женщине и опоздал.

В несколько слов нашли точки соприкосновения. Аргунов сказал, что только сейчас читали в мастерской “Матренин двор”, а Миронов восторженно воскликнул:

- Гениальный писатель!

- Кто? - спросил рядом сидящий комсорг роты Тишков, всегда бледный, худощавый рижанин, но русский. Отец Тишкова служил в Риге в медсанбате, был военным хирургом.

- Исаич! - сказал Миронов.

- Не понял? - сказал Тишков, внимательно разглядывая новенького.

Аргунов шепнул Миронову:

- Не связывайся с ним! - Аргунов остерегался всяческих комсоргов, парторгов, профоргов...

Но Миронов не послушался.

- Солженицын, - сказал он.

- А-а-а, - пропел тонким голосом Тишков и после некоторого молчания, прожевав очередную ложку пшенки, добавил: - Отличный писатель!

Аргунов недоуменно пожал плечами.

После ужина, домаршировав строем до казармы, Миронов увязался за Аргуновым и Велдре. Тишков посмотрел на них и тоже пристроился. Они не спеша пошли по заснеженной темной аллее к клубу. Тишков сказал:

- Я сам пишу немного.

- Да? - удивленно спросил Аргунов.

- Без вашей политики! - вставил Велдре.

- Ну, уж, Ян, скажешь, - смутился Тишков. - Без политики ничего не бывает.

- А розы на снегу? - с подвохом задал вопрос Велдре.

- Если поискать, то тоже политика отыщется, - неопределенно ответил Тишков.

Снег приятно скрипел под сапогами, справа и слева на деревьях тот же снег безмолвствовал, плавно укутывая корявые ветви и повторяя форму этих ветвей.

У Велдре в шкафу лежали с прошлого лета липовые ветки с цветом. За неимением лучшего заварили чай из этого липового цвета.

- А я в Риге учился, - сказал Миронов, причесываясь у маленького зеркала, которое Велдре держал на внутренней створке шкафа, на гвоздике. - В ГВФ... И та же история. Пошли мы, это, значит, по бабам, и меня турнули... Я не жалею. Жаль только времени. Я, наверно, самый старый из вас. Я с 40-го. А вы?

- Я с 43-го, - сказал Велдре.

- Почти что ровесники, - сказал Миронов. - Тоже не со своим годом служишь. А чего?

- Художественное училище кончал, - сказал Велдре.

- А я с 46-го, - сказал Аргунов.

- Я тоже, - сказал Тишков и добавил: - Мы служим со своим. Полтора года уже отмахали. Осталось еще полтора. К лету 68-го дембельнемся.

- Не, я в следующем году, - сказал Миронов. - Смотрите, - он снял с гимнастерки широкий ремень и показал на нем зарубки возле пряжки. - 25 месяцев уже!

- Значит, со мной, - сказал Велдре. - У меня дембель тоже в следующем году...

И пошла, пошла под липовый чай с сухарями романтическая, волнующая каждого солдата беседа о демобилизации. Вот только салага придет в часть, а уж все мечтания его о дембеле.

Дни считает, зарубки на ремне делает...

Миронов увидел на столе журнал с Солженицыным. Спросил:

- Чей?

- Мой, - сказал Аргунов.

- Дай почитать, - сказал Миронов и полистал журнал. - Хотя я все это читал. Но откуда здесь этот журнал? В Москве в штабе давно в библиотеку ни "Новый мир", ни "Юность" не поступают.

- Это мой собственный, - сказал Аргунов. - Вместо всякого барахла я чемодан чтива привез из дому. Тоскливо ведь без чтения.

- Тоскливо, - согласился Миронов. - Я все же возьму этот номер, перечитаю. Отменные рассказы. Как этот там Глотов "Капитал" изучал на станции Кречетовка!

- Зотов, - поправил вдруг Миронова Велдре.

- Запомнил?! - восхитился Аргунов.

- Чего бы было запоминать! - усмехнулся Велдре и покосился на Тишкова: - А ты какого мнения о Солженицыне?

Тишков погладил тонкими пальцами бледную щеку, сказал:

- Я уже ребятам в столовой говорил, что отличный писатель.

Чай пили из жестяных кружек.

- А художник покажет нам свои работы? - спросил Миронов, оглядывая узкими восточными глазами мастерскую и не замечая в ней того, что хотел бы увидеть. Конечно, Миронов сразу же, как вошел сюда, увидел на табуретах лозунг на красном сатине: "Партия - наш ру..." Дальше было недописано.

Велдре полез под стол, к полке, где лежали его акварели и гра-  
вюры.

- У-у, какой колорит! - воскликнул Миронов. - Как это ты дела-  
ешь? Это акварель или гуашь? А может, темпера?

- Акварели, - сказал Велдре.

- Какая утонченность, - сказал Миронов, перебирая листы.

- Надо выставку устроить, - сказал Тишков. - Я на бюро вопрос  
поставлю. На партбюро. Перед командиром.

- Ставь, - сказал весело Велдре. - Только они это не примут.

- Почему не примут? Примут! - сказал Тишков твердо.

Он был прав. Приняли. И позволили к весне Велдре развер-  
нуть выставку своих работ в фойе клуба. Заинтересовался какой-  
то полковник, проверяющий, из Москвы, из штаба, предложил вы-  
ставиться там. Таким образом, Велдре съездил в Москву.

Его снабдили адресами, телефонами, но он никуда не сумел  
выбраться, так как его разместили в казарме, где когда-то стояла  
койка Миронова. Велдре лишь позвонил маме Аргунова и передал  
ей привет.

Миронову из Душанбе, бывшего Сталинабада, мать прислала  
посылку с фруктами. Миронов принес ее с почты в подвал к Вел-  
дре. С утра и до пяти вечера Велдре был один. Остальные несли  
службу по подразделениям. Миронов пригласил Аргунова отве-  
дать фруктов. Когда пришли к Велдре, то посылка была почти что  
пуста. Лишь на дне покоилась оранжевая с зелеными листиками  
хурма.

- Как-то незаметно съел, - развел от смущения руки в стороны  
Велдре. - Ну, рисовал и пробовал. Так это для самого себя неза-  
метно. Забылся совсем.

Миронов молча поглядел на дно посылки, взял хурму, как бы  
пробуя ее вес на ладони, вдруг побледнел и запустил с силой эту  
хурму в Велдре. Тот успел склониться к столу, и хурма, просвистев  
над его ухом, расплущилась на стене со звонким шлепком.

Миронов, ничего не сказав, вышел. Его шаги слышались на же-  
лезной лестнице.

- Да, нехорошо, - сказал Велдре. - Как будто я виноват.

- Конечно, виноват, - сказал Аргунов.

- Он сам утром открыл при мне посылку и предложил попробо-  
вать фруктов, - сказал Велдре.

- Попробовать - не съесть весь ящик! - сказал Аргунов.  
- Нехорошо, - сказал Велдре, глядя на прилипшую к стене хурму.

- Конечно, нехорошо.

За клубом на пустыре стояла круглая кирпичная водонапорная башня, которую Велдре почему-то прозвал "башня тупости". Возле башни была свалка металлолома: из высокой полыни и крапивы торчали какие-то ржавые балки, мотками валялась проволока... На свободном от лома участке в примятой траве Велдре и Аргунов любили лежать в солнечные вечера. Здесь было тихо, никто сюда не приходил.

- У меня бабка - русская, - сказал однажды Велдре, поглядывая на "башню тупости". - Но говорит по-латышски. Ну совсем русский язык забыла. Мой дед был латышским стрелком. Служил в спецотряде. Вот в Екатеринбурге и познакомился с бабой Таней.

- В Екатеринбурге? - удивленно спросил Аргунов, переворачиваясь в траве с живота на спину.

- Да.

- Мой дед был родом из этого города, - сказал Аргунов. - И его там расстреляли.

- Не мой ли уж дед Теодор?! - с долей иронии спросил Велдре.

- Нет. Это исключено, - сказал Аргунов. - Моего деда расстреляли в контрразведке белые.

- Понятно, - грустно сказал Велдре. - Так вот, баба Таня стала совсем латышкой. Ты можешь себе представить? Сначала они с дедом жили с нами, до моего рождения, а потом, когда стало тесно, переселились в Ауце, на мельницу. У прадеда там водяная мельница была. Отец мой не любил деда. Вечно они из-за пустяков ругались. - Велдре задумался, а потом вдруг сказал: - Ты знаешь, мой отец живет в Нью-Йорке.

Аргунов какими-то новыми глазами посмотрел на Велдре и спросил:

- Как он туда попал?

- Очень просто, - сказал Велдре. - Ушел с немцами. Мама развелась с ним, но все равно это не помогло. Нас сослали в Сибирь. Жили до 57-го года в Иркутске, на окраине, в какой-то старой развалюхе. А деда с бабкой не тронули. Тогда дед не носил свои колodки. А как пришли русские, достал из сундука свой пыльный черный пиджак и нацепил на грудь колodки.

- А отец пишет?

- Почти что нет. Какое ему дело до нас! У него там свое дело... бизнес. Своя семья, дети. Прислал как-то письмо. Вот мы и узнали, где он, как живет. Хотя в письме была приписка, мол, если я уже самостоятельный, то могу приехать к нему, погостить. Но я не об этом. Дед с бабкой живут в Ауце, на мельнице. Однажды я с Иваром, мы с ним вместе кончали художественное училище, поехали путешествовать по Латвии и Литве автостопом. Ну, это такое общество у нас придумали: берешь там талоны, на которых написано: "Автостоп" - и указано количество километров. Голосуете на шоссе, останавливаешь попутную машину и едешь. Сколько километров проехал, такой талон и отдаешь водителю. Шоферу это выгодно, он потом эти талоны сдает в гараже, и ему выплачивают премию. Мы с Иваром проголосовали недалеко от моего дома, на Елгавском шоссе. Там конечная остановка 9-го троллейбуса.

- Ты так говоришь, как будто я знаю. Я никогда в Риге не бывал, - сказал Аргунов, растирая в руках пахучую полынь.

- А дом наш не просто дом, а хутор "Валитес". У нас каждый дом называется хутором. Как мы вернулись из Иркутска, мама вышла замуж и построила дом на окраине Риги, у этого Елгавского шоссе. Местечко приятное, тихое. Дом построила большой, из серого кирпича... И знаешь, такое окошко круглое над входом. Полукруглая терраса, застекленная. На ней стоит круглый стол, два огромных мягких кресла. А окна - в сад. Там растет много флоксов, и, когда откроешь окно, аромат от этих цветов такой, что кажется, ты в раю. Я любил работать на террасе. Тихо, никто не мешает. А выход с террасы - в мою комнату. Ты знаешь, сволочьон, - вдруг оживился Велдре, - какая это комната! Ты не можешь знать об этом ничего совсем. Это настоящая комната художника! Я выбросил всю эту добропорядочную мебель. У меня нет мебели. В центре комнаты от пола до потолка стоит сухое дерево, которое я выкрасил черной краской и покрыл лаком. На суку этого дерева сидит филин с вот такими глазами, - Велдре изобразил колыцо указательным и большим пальцами. Время от времени на лице Велдре возникала какая-то детская улыбка. По всему было видно, что воспоминания и этот его рассказ доставляют ему истинное удовольствие. - Конечно, это чучело филина. Все стены увешаны моими плакатами. Ты представить себе, сволочьон, не можешь, ка-

кие я варганил плакаты! Закачаешься. Маленькие девочки так и падали!

- Что еще за маленькие девочки? - спросил удивленно Аргунов.

- Ну, это так, к слову. Я их всех называю маленькими девочками, которых нужно ласкать. Я делал броские плакаты. Знаешь, работал на прямых тонах. Колер что надо! Ты не думай, что это какие-нибудь заунывные плакаты, которыми все улицы обвешаны. Мои плакаты - это настоящее искусство. Знаешь, на зеленом что-то рыжее. Это так бьет! Так вот комната. Вместо стола - огромная бочка, а вокруг вместо стульев - маленькие бочонки. Свечи и все такое. Между прочим, всегда сухое вино. Я не люблю по каждому поводу бегать в магазин. Поднимаешь бочку-стол, и под ней - батарея сухача! Вот мы вечером с Иваром посидели и решили утром ударить по автостопу. Вышли по тропке на шоссе. Знаешь, хорошо еще чем. Например, едешь из центра Риги до конца, и такое впечатление, что в другую жизнь приезжаешь. Только что брусчатка была где-нибудь у Домского собора, а тут, сразу от остановки, - тропинка. Идешь мимо огородов к своему дому и радуешься. Вообще я не люблю города, мне так и хочется жить на природе. Проголосовали мы с Иваром, грузовик тормознул, и мы прямо до Елгавы. Там побродили и дальше. Приехали поздним вечером в Лиепаю. Город какой-то мрачный, хмурый. Плюнули на все, и пошли вон из этого закрытого города. Вышли в поле. Звезды светят, вдали лесок, освещенный луной. На поле - стога сена. Ну, сволочьон, если бы ты знал, как здорово спать в стогу сена. Ивар хотел искать какого-нибудь ночлега в деревне, а я ему: "Какая еще тебе деревня! Мы же в гостинице "Небо"!" Вот так мы ночевали в гостинице "Небо", в ароматном сене. Утром - туман, мы, голодные, побрели на шоссе. Перекусили в столовой и - в Литву. К Паланге. Там ходят в шортах длинноногие красавицы, мы облизнулись и голосовать. Ели только хлеб с молоком. Денег - ни гроша. Какие-то копейки. Далее попали в Каунас. Аллея Свободы, Саломея Нерис, Чюрленис. Его работы в музее темнеют, не тот колорит. На репродукциях он яркий, поэтический, а в натуре - умирает. Надо учиться закреплять краски, чтобы сто лет не умирали! Потом был Вильнюс. Гора Гедимина! И знаешь, все это быстро! Одним словом - автостоп. В Вильнюсе нашли какую-то гостиницу средневековую. Приходим - как наша казарма. Из-под одеял торчат ноги. Одну

кровать нам нашли с Иваром, мы с ним как подкошенные сразу же захрапели. Знаешь, в этой дурацкой поездке была какая-то воля. Ты, как ветер, мчишь, куда хочешь. Конечным пунктом была мельница деда. Приехали на каком-то старом попутном “Москвиче” поздно вечером. Вода шумит на мельнице. Мы помыли ноги и - на сеновал. Не хотелось никого будить. Лезем с Иваром на сеновал, бросаем свои тела на ароматное сено, а там - девушки. Я чуть было одну не придавил. А она хоть бы что - спит. И мы уснули. Утром узнали, что это сестры - Дзинтра и Сарма - приехали с моей сестрой Ирмой. Эта Ирма вечно, на меня глядя, самовольничает. Как узнала, что я автостопом помчался, на другой же день взяла своих подруг и поехала к деду, наверняка зная, что на обратном пути я туда загляну. И ты знаешь, сволочьон, я сразу влюбился в эту Дзинтру. Это чистая мадонна. Черные волосы спадают на плечи. Глаза полны детской наивности. А сестра ее Сарма как пухлая булочка. Невысокая, плотная, полная, с ямочками на щеках и говорит каким-то кукольным голоском. Я Ивара подбиваю за ней ухаживать, а он к моей сестре липнет. Дед своего вина поставил на стол. Выпили, дед захмелел и стал кричать на меня, что я выродок какой-то. Надо, мол, делом заниматься, а я в безделье, мол, рисовальное ударился. Стал отца моего, сына своего, проклинать, что он удрал с немцами. И вообще, всех нас он люто ненавидел. Баба Таня его успокаивает, а он еще пуще разоряется. Кричит, что собственными руками царя-батюшку прикончил, а со своими справиться не может. Голова седая трясется, и пена на губах. Пока дед разорвался, Ивар незаметно у него в сарае из бутылки нацедил три бутылки вина и сунул в свою сумку. Когда мы уж уходили, за мельницей, в овраге, он достал бутылку и говорит: “Давайте как следует выпьем!” - и мою Ирму обнимает. Я говорю, чтобы отошли подальше от мельницы. Ивар, отхлебнув вина из горла, согласился. Пошли к лесочку, а я с Дзинтрой разговорился и поотстал с ней. Ивару выпить хочется, он, как козел, с Ирмой и Сармой впереди к лесу чешет, а я схватил Дзинтру за руку и потащил ее в сторону. Она сразу догадалась, что я хочу отвязаться от компании, и мы спрятались прямо у дороги, в овражке, поросшем кустарником. Долго нас искал Ивар с девицами, но так и не нашел. А мы сидели тихо и целовались. Ты знаешь, сволочьон, что это были за поцелуи! Ивар во всю глотку орет: “Янис!”, сестра моя кричит: “Дзинтра, Янис!”, а мы целуемся и лежим в кустах тихо-тихо. И так нам



хорошо вдвоем. Так они, покричав часа два, ни с чем и ушли. Та-лоны на автостоп были у меня. Мы с Дзинтрой выбрались на шос-се и благополучно добрались до Риги на попутном “рафике”.

- И где же теперь Дзинтра? - спросил Аргунов.

- Ждет меня. Работает в издательстве “Лиесма” и учится заоч-но в полиграфическом.

- Тут Маринка письмо прислала, - сказал Аргунов. - Пишет, что Тарсиса лишили советского гражданства. Он уехал, кажется, в Ан-глию.

- Кто такой Тарсис? - спросил Велдре.

- Ну, ты даешь! Может быть, ты и о процессе над Синявским и Даниэлем не слыхал? Суд приговорил их к 7 и 5 годам заключения за клевету и антисоветскую деятельность. А на самом деле...

- Опять, сволочьон, политика! - перебил Велдре.

- Я теперь понимаю, почему ты так боишься политики, - сказал тихо Аргунов и посмотрел в светло-голубые глаза Велдре.

Тот опустил глаза и ничего не сказал. А после некоторого мол-чания попросил:

- Ты забудь о том, что я тебе рассказал. А то расскажешь кому-нибудь. Официально - мой отец пропал без вести. Понял?

- Неужели ты думаешь, что я кому-нибудь скажу?

- Нет, я так не думаю, но все же. Ляпнешь где-нибудь. И так этот полоумный дед мой всем болтает. Хорошо, что в Ауце его ни-кто не слушает. Считают, что он сбрендил. Ну, представь себе, на-пьется, придет в магазин и кричит, что он сам царя шлепнул! Су-масшедший! Так бы его до царя и допустили. И вообще он злой ка-кой-то. Недоволен, что к нему власти плохо относятся, не носят его на руках. В Риге квартиру не дали, пришлось на мельницу уда-ляться.

- Знаешь, Ян, я подумал о том, что не каждому поколению од-ного рода дано заниматься, как ты говоришь, политикой. И вот почему, - заговорил негромко Аргунов, видя, как на “башне тупо-сти” зажегся красный фонарь. - Мой отец погиб в сталинских за-стенках. Он был историком партии. Настоящим, а не липовым ис-ториком. Лез в самую настоящую гущу политики. А вот дед со-вершенно был далек от политики и все же в циклоне революции погиб.

Аргунов рассказал Велдре, насколько сам знал из рассказов мамы и бабушки, о судьбе своего деда.

- Да-а, - вздохнул Велдре. - Он близок мне, твой дед, по взглядам на мир.

- Вот и получается, что ты - о розах на снегу, а твой дед был в самой настоящей политике, да еще пострелял, как следует. Может быть, даже и в самого Николая Александровича... Но, тем не менее, и на тебе солдатская форма: сапоги, гимнастерка, галифе... И тебя закручивает водоворот политики. Но ты это свое нынешнее состояние как бы всерьез не принимаешь, как будто это вовсе и не ты служишь здесь. Так что, дорогой Янис, это тебе только кажется, что ты вне политики. На самом деле ты в ней.

- Опять ты, сволочьон, со своим политическим умом! Стань кустом пламенеющих роз!

Аргунов понимал, что Велдре только внешне протестует против политики, на самом деле он с глубоким интересом прислушивался ко всему, что говорил и читал ему Аргунов.

Проворный Миронов как-то провел ревизию гарнизонной библиотеки и нашел там книгу Ф. Раскольниковца, кажется, "На боевых постах". Аргунов тут же рассказал Велдре, Тишкову и Миронову об истории Раскольниковца, о письме его Сталину. Больше в библиотеке ничего интересного Миронов не обнаружил: скудость. В основном книги Воениздата, написанные дубовым языком. Хотя, впрочем, книга Раскольниковца была издана тем же издательством.

Тогда Миронов принялся регулярно наведываться в увольнении в небольшой, вечно пустующий магазинчик в городке Полесок и однажды примчался оттуда сразу с тремя замечательными книгами. Он купил по четыре экземпляра избранного Андрея Платонова, рассказов Бабеля и, главное, совершенно потрясающую Сашу Аргунова книгу писателя, о котором он раньше не слышал, Юрия Домбровского "Хранитель древностей".

Наконец самому Аргунову выделили десятисуточный отпуск, не считая дороги, на родину, и он обещал привезти что-нибудь интересное почитать.

В Москве Аргунов тут же окунулся в последние новости. У Марины, кудрявенькой брюнетки, внучки писателя Н., написавшего известную книгу о командире дивизии времен гражданской войны, Аргунов получил свой экземпляр романа Солженицына "В круге первом" и как приложение к нему - письмо Солженицына к IV

писательскому съезду, написанное гневно, на одном дыхании, вопль протеста против возврата к правоверному сталинизму. Аргунова обожгли фразы: “Протрите циферблаты, ваши часы отстают от века”, “Не имея доступа к писательской трибуне...”, вернее, “к съездовской”, “...цензура, под затуманенным названием Главлита...”.

В день возвращения из отпуска, к вечеру, сидели в подвальной мастерской Велдре. Тишков заваривал чай, Аргунов раскладывал сладости, привезенные специально для Велдре, Миронов откупоривал сухое вино, а Велдре, не желая ожидать, уже жевал печенье “Ассорти” и шоколадные конфеты “Кара-Кум”.

Только Аргунов достал из чемодана первый переплетенный машинописный томище романа “В круге первом”, как Миронов вцепился в него и стал буквально глотать абзац за абзацем, восклицая:

- Гениально! Вот это литература!

Выпив за возвращение Аргунова, стали слушать в его взволнованном исполнении письмо Солженицына. Велдре изредка восклицал:

- Вот сволочьонок!

Неизвестно, к кому на сей раз он это относил: к Солженицыну или к Аргунову.

Как только Аргунов закончил чтение, к машинописным страничкам потянулась рука, белая и тонкая, Тишкова.

- Старик, дай мне переписать! Я Верке pošлю! Пусть почитает!

Тишков уже был женат, и эта Вера была, по-видимому, его женой; на безымянном пальце Тишкова светилось золотом обручальное кольцо.

- Да я лучше в штабе отстучу на машинке! - вмешался Миронов, отрываясь от романа.

- Я сам перестучу, - сказал Тишков. - Всем по копии сделаю!

Велдре испуганно уставился на Тишкова и даже перестал жевать.

- Мне не надо, - сказал он.

Тишков с некоторым панибратством постучал Велдре по плечу и сказал:

- Ты у нас - вне политики!

- Конечно, - сказал Велдре, и, взглянув на роман в руках Миронова, добавил: - А вот роман с удовольствием почитаю.

- Пусть он у тебя и лежит, - сказал Аргунов, доставая из чемодана второй том.

- Пусть лежит, - согласился Велдре.

В чемодане Аргунова лежали еще кое-какие интересные книги, но он их сразу доставать не стал. Перед вечерней поверкой поставил чемодан в каптерку, на шкаф, на свое место. Старшине Бабичеву вручил блок сигарет "Ява", тот расплылся в улыбке и покурил с ребятами в курилке после отбоя.

А на следующий день за опоздание на построение объявил Велдре и Аргунову по наряду вне очереди и заставил драить с соляной кислотой казарменный туалет. Велдре и Аргунов в резиновых перчатках добела оттерли примитивную армейскую сантехнику типа нужников, в которых все-таки использовалась в раковине слива между двумя рифлеными чугунными подставками для ног белая эмаль.

- Над моим морем дуют свежие ветры, и по утрам всегда тянет от прибрежных сосен прохладой, - говорил Велдре, работая щеткой, смоченной в кислоте. Дабы не нарушать порядка, они работали после отбоя, когда солдаты в казарме уgomонились. - Воды этого моря, сволочьон, прозрачны, как ручьи, и в них отражается голубое небо, в котором, распластав крылья, чайка парит.

Старшина Бабичев изредка заглядывал в туалет, но Бабичев был забыт, как галоши в прихожей.

- В соснах спрятался древний собор. Он был окутан тьмой. Маленькая, колеблемая ветром лампочка освещала то стены кусок, то портал с немymi каменными львами, неумолимым временем отполированными. Мы с Дзинтрой вошли в собор через маленькую дверку. Темно было и тихо внутри. Поваяло на нас грустью и тоскливым каким-то запустением. Торопливо миновали мы боковой неф. На гладких каменных плитах виднелись полустертые изображения святых. Мы с Дзинтрой дотрагивались до саркофагов и продолжали путь свой. Под ногами мы ощущали каменные плиты, сволочьон, различали какие-то надписи и гербы. - Велдре говорил негромко и возил уже шваброй, на которую намотал мешковину и смочил ее в ведре с водой, по кафелю туалета, а Аргунов тер тряпкой батареи и трубы. - Так, в почти полной тьме, прорезаемой лишь слабым красноватым светом лампад, мы подошли к алтарю. Вдруг впереди мы увидели женскую фигуру, и до нашего слуха донеслись слова молитвы. Жен-

щина говорила: “Забудь политику! Стань кустом пламенеющих роз!”

Аргунов, слушавший до этого внимательно, громко рассмеялся и сказал:

- Болтун же ты, Янис! Я-то уши развесил...

- Это я, сволочьон, как твой Соложенкин, для пользы дела рассказываю. Варганиссимо! Давай варганить побыстрей. Спать хочется.

До этого Аргунов прочитал Велдре рассказ Александра Исаевича “Для пользы дела”. Построили учебный корпус, рассчитанный на техникум, на несколько сотен студентов. Были сооружены в новом корпусе специальные помещения для лабораторий и учебных кабинетов техникума, мастерские с цементным полом для станков, необходимых техникуму, спортзал, студенческая раздевалка... В рассказе весьма подробно об этом говорится. А здание это вдруг “для пользы дела” хотят передать НИИ. Но для того чтобы переделать для НИИ уже построенное для техникума здание, потребовалось бы затратить большие средства, что было бы антигосударственно. Государственная же точка зрения у Солженицына - это прежде всего точка зрения конкретная, экономическая - борьба против сталинской диктатуры во всем: он смотрит и вглубь, и вширь, устанавливает прямую связь вопросов экономики с вопросами политики, говорит о том, что антигосударственная “деятельность” в “области” экономики (в данном конкретном случае - в капитальном строительстве и его использовании) есть прямое прикрытие безответственного отношения к людям, как к марionеткам, к их труду, учебе, к их душевному самочувствию, к их настоящему и будущему.

- “Секретарь Кнорозова Коневский (он держался с таким пошибом и такой у него был письменный стол, что новичок вполне бы его и принял за секретаря обкома) сходил в кабинет и вернулся.

- Виктор Вавилович примет вас одного! - объявил он непреклонно. Грачилов мигнул Федору Михеевичу и пошел...

Кнорозов, даже сидя за столом, выказывал свою статность. Долгая голова еще увывала его. Хотя был он далеко не молод, отсутствие волос не старило его, но даже молодило. Он не делал ни одного лишнего движения, и кожа лица его тоже без надобности не двигалась, отчего лицо казалось отлитым навсегда и не выра-

жало мелких минутных переживаний. Размазанная улыбка расстроила бы это лицо, нарушила бы его законченность.

- Виктор Вавилович! - выговаривая все звуки полностью, сказал Грачиков. Полупевучим говорком своим он как бы наперед склонял к мягкости и собеседника. - Я - ненадолго. Мы тут с директором - насчет здания электронного техникума. Приезжала московская комиссия, заявила, что здание передается НИИ. Это с вашего ведома?

Все так же глядя не на Грачикова, а перед собой вперед, в те дали, которые видны были ему одному, он растворил губы лишь настолько, насколько это было нужно, и отрубисто ответил:

- Да.

И, собственно, разговор был окончен.

- Да?..

- Да.

Кнорозов гордился тем, что он никогда не отступал от сказанного. Как прежде в Москве слово Сталина, так в этой области еще и теперь слово Кнорозова никогда не менялось и не отменялось. И хотя Сталина давно уже не было, Кнорозов - был. Он был один из видных представителей "волевого стиля руководства" и усматривал в этом самую большую свою заслугу. Он не представлял себе, чтобы можно было руководить как-нибудь иначе.

Чувствуя, что начинает волноваться, Грачиков заставлял себя говорить все приветливее и дружелюбнее:

- Виктор Вавилович! А почему бы им не построить себе специальное, для них приспособленное здание? Ведь тут одних внутренних переделок...

- Сроки! - отрубил Кнорозов. - Тематика - на руках. Объект должен открыться немедленно.

- Но окупит ли это переделки, Виктор Вавилович? И... - поспешил он, чтобы Кнорозов не кончил разговора, - и, главное, воспитательная сторона! Студенты техникума совершенно бесплатно и с большим подъемом трудились там год, они...

Кнорозов повернул голову - только голову, не плечи - на Грачикова и, уже отванивая металлом, сказал:

- Я не понимаю. Ты - секретарь горкома. Мне ли тебе объяснять, как бороться за честь города? В нашем городе не бывало и нет ни одного НИИ. Не так легко было нашим людям добиться его. Пока министерство не раздумало - надо пользоваться случаем.

Мы этим сразу переходим в другой класс городов - масштаба Горького, Свердловска.

Он прищурился. То ли видел свой город уже превращенным в Свердловск. То ли внутренне примерял себя к каким-то новым высоким постам.

Но Грачикова не только не убедили и не прибили его фразы, падающие, как стальные балки, а он почувствовал подступ одной из тех решающих минут жизни, когда ноги его сами вросли в землю и он не мог отойти.

Оттого что сталкивались справедливость и несправедливость.

- Виктор Вавилович! - уже не сказал, а отчеканил он тоже, резче, чем бы хотел. - Мы - не бароны средневековые, чтобы подмалевывать себе погуще герб. Честь нашего города в том, что эти ребята строили - и радовались, и мы обязаны их поддержать! А если здание отнять - у них на всю жизнь закоренится, что их обманули. Обманули раз - значит, могут и еще раз!

- Обсуждать нам - нечего! - грохнула швеллерная балка побольше прежних. - Решение - принято!

Оранжевая вспышка разорвалась в глазах Грачикова. Налились и побурели шея его и лицо.

- В конце концов, что нам дороже? Камни или люди? - выкрикнул Грачиков. - Что мы над камнями этими трясемся?

Кнорозов поднялся во всю свою ражующую фигуру, и увиделось, что он - из стали весь, без сочленений.

- Де-ма-го-гия! - прогремел он над головой слушника.

И такая была воля и сила в нем, что, кажется, протяни он длань - и отлетела бы у Грачикова голова. Но уже говорить или молчать - не зависело от Грачикова.

Он уже не мог иначе.

- Не в камнях, а в людях надо коммунизм строить, Виктор Вавилович!! - упоенно крикнул он. - Это - дольше и трудней! А в камнях мы, если завтра даже все достроим, так у нас еще никакого коммунизма не будет!!

И замолчали оба.

И стояли, не шевелясь.

Иван Капитонович заметил, что пальцам его больно. Это впились он в спинку кресла. Отпустил.

- Не дозрел ты до секретаря горкома, - тихо обронил Кнорозов. - Это мы проглядели..."

Горела красная лампочка в казарме, погруженной в сон, над тумбочкой дневального. Утром, в пять пятьдесят, подъем, умывание, построение в коридоре казармы, у стальной решетки оружейной комнаты. От сапог пахнет ваксой. Переключка. Команда: “Вольно! Разойдись! Построение внизу!” В шинелях и в шапках, на морозе, в темноте, в тусклом свете лампочки под козырьком крыльца казармы. Напротив - занесенная снегом беседка. “Шагом арш! Левое плечо вперед!” - кричит старшина Бабичев. В столовой - звон ложек о жестяные миски. Кормежка. Опять построение. Аргунов стоит в строю и смотрит, как Велдре делает два шага вперед и голосом звонким спрашивает у старшины: “Разрешите идти в мастерскую выполнять задание подполковника Шлапака?!” - “Идите”, - говорит Бабичев.

Аргунову грустно, ему строем двигаться в парк, торчать в каптерке у диагностического стенда, а Велдре сейчас разогреет кофе, сядет за стол и будет “варганить” свои акварели.

Колонна роты постепенно делится на взводы и отделения и под командой ефрейторов и сержантов расходится по местам службы. Аргунов провожает взглядом отделение из шести человек, которое направляется в штаб. Миронов машет ему рукой, а Тишков - подмигивает.

В ремонтном ангаре стучат кувалдами, звенят дрели, вспыхивают огоньки сварки. Капитан Милаев варит себе решетку для огорода. Аргунов переодевается в комбинезон, берет чемодан с инструментами и идет к машине проверять свое электрооборудование...

В девять часов прибежал посыльный из штаба, обратился к лысоватому капитану Милаеву:

- Товарищ капитан, разрешите обратиться?

- Обращайтесь, - Милаев взял с верстака свою офицерскую шапку, надел и приложил к ней руку для отдания чести.

- Рядового Аргунова в штаб, к дежурному майору Щеглову!

Аргунов не стал снимать комбинезон, прямо на него надел шинель.

В красном здании штаба у знамени полка стоял рядовой Крестников, крестьянский парень из-под Липецка, который спал рядом с Аргуновым,

Аргунов бросил руку к виску и спросил:

- Давно стоишь?



- Ща сменять! - шепнул Крестников и переступил с ноги на ногу, звякая прикладом карабина с примкнутым штыком.

Широколицый невысокий майор Щеглов сидел за столом при свете настольной лампы на втором этаже, в безоконном широком коридоре с дощатым, надраенным рыжей мастикой полом возле застекленных дверей комнаты боевой славы полка.

Аргунов вновь вскинул правую руку к виску и сказал:

- Рядовой Аргунов по вашему приказанию прибыл! - и щелкнул каблуками кирзовых сапог, новых, которые неделю назад получил. На старых совсем стерлись подошвы и каблуки. Сапоги выдавали на полгода.

- Вольно, - сказал майор. - Ступай, эт-та, к старлею Стешенко. Чевой-то он хотит тебя видеть.

Аргунов недоуменно взглянул в даль темного коридора.

- Третья дверь, эт-та, налево, - сказал майор Щеглов и потянулся. - Ступай. А то он на mine сердчать будить.

Стуча сапогами по дощатому полу, Аргунов почти что строевым шагом направился к указанной двери. Дверь была большая, тяжелая, выкрашенная мрачной коричневой краской. Аргунов постучал. Из-за двери послышался хриплый голос старшего лейтенанта Стешенко:

- Открыто!

Аргунов открыл дверь и вошел в небольшую комнату, в которой за обшарпанным письменным столом сидел худощавый человек с красноватым морщинистым лицом, в поношенном кителе с опавшими плечами, на которых были на живую нитку посаженные, какие-то горбатенькие погоны с одной полосой, тремя маленькими желтыми звездочками и эмблемами таких же желтеньких танков.

Аргунов сразу насторожился.

Желтыми от табака пальцами Стешенко достал сигарету из пачки "Памира", на которой были изображены коричневые горы и коричневый человек с палкой.

- Как идет служба? - прокурренным голосом осведомился Стешенко.

Сказав "нормально", Аргунов еще больше насторожился и как-то внутренне подобрался. Он видел этого Стешенко всего один раз, в начале службы в этом гарнизоне, когда прибыл сюда из учебки. И понял функции этого старлея: тот говорил на собрании

вновь прибывших специалистов о бдительности и о неразглашении армейских сведений.

В голове Аргунова сразу же зажглись, как таблички в самолете, три фамилии: "Велдре", "Тишков", "Мионов". Кто?

- Значит, так, - прохрипел Стешенко и полез в ящик стола. - Вот письмо. - И он достал письмо Солженицына, которое Аргунов дал Тишкову! - Говори быстро, где взял, и будешь свободен.

Множество мыслей промелькнуло в мозгу Аргунова в одно мгновение, но ни на одной он не остановился. Как письмо попало к этому блюстителю бдительности? Неужели Тишков заложил?

- Откуда оно у вас? - сдерживая волнение, спросил Аргунов.

Стешенко долю секунды думал, затем сказал грубовато:

- Здесь вопросы задаю я. Ты понял?

- Нет, не понял, - с легким намеком на чувство собственного достоинства сказал Аргунов.

- Что-о?! - вскричал Стешенко, гася сигарету о ножку стола и швыряя окурок в ведро, которое стояло в углу рядом с серым сейфом. - Как ты разговариваешь с офицером?! Смирно!

Аргунов нехотя опустил руки по швам и сдвинул каблук сапог.

- Откуда ты привез эту мразь! - Стешенко совсем стал малиновым. Он схватил со стола машинописные странички письма и затряс ими на вытянутой руке. - Интеллигентская пропаганда! Гады, сволочи, совсем распустились, глистогоны московские! Разболтались! Стоять! Как стоишь, собака, перед старшим лейтенантом! - Стешенко, самонакачиваясь, вылетел из-за стола и замахнулся на Аргунова.

Аргунов побелел от такого поворота событий, заслонился руками и отпрянул к стене.

- Стоять! Смирно! Где взял письмо, сучонок?! Быстро! У меня нет времени с тобой тут возиться!

Вдруг Аргунов подошел к стулу и сел.

- Я не желаю в таком тоне с вами разговаривать, - сказал он негромко, но достаточно свободолюбиво и твердо.

- Что-о?! - Стешенко бросил письмо на стол, подскочил к Аргунову и схватил его за шиворот.

Аргунов резко встал и дернулся в сторону так, что рука Стешенко разжалась.

- Я не желаю с вами разговаривать! - вскричал Аргунов. - Кто вы такой? На каком основании так со мной говорите?

Стешенко грязно выругался, затем закашлялся и схватился за грудь. Он подошел к ведру у сейфа и, отхаркиваясь, стал звучно плевать в ведро. Придя в себя, сказал чуть спокойнее:

- Ладно. Не обращай внимания! Нервы - ни к черту! Давай говори: откуда письмо? - Он обошел стол и сел на место.

- От Солженицына, - вполне спокойно сказал Аргунов.

Глаза Стешенко округлились, и в них, на белках, вернее желтых, стали отчетливо заметны красные прожилки.

- Сука, ты еще издеваться будешь! - заорал Стешенко и затрясся.

- Я не издеваюсь. Это письмо написал Солженицын. Стало быть, от него письмо.

Стешенко ударил костяным кулаком по столу.

- Мразь! - хриплый крик достиг апогея. - Сука, опоздал ты родиться! А то бы пристрелил тебя тут же, на месте!

Он вновь вылетел из-за стола и, хлопнув дверью, исчез из кабинета.

У Аргунова дрожь прошла по всему телу: засыпался. Расчитался. Сколько раз твердил себе, что нужно одному читать! Никого не посвящать! Пропагандист несчастный! А что, если и роман "В круге первом" уже у них?! Отчаяние нахлынуло на Аргунова, и похолодели руки и ноги.

В кабинет вошел высокий майор и плотно притворил за собой дверь.

- Добрый день! - с улыбкой сказал майор. Густые черные волосы были причесаны назад. Над карими глазами кустились черные брови. Форма на майоре была с иголки. Погоны как два крыла. - Не обращайтесь внимания на Стешенко. Он уж очень горячий человек. Но в целом человек справедливый. Я - майор Ефимов, из штаба округа. Только что прибыл. Да-да. Старший лейтенант Стешенко мне вчера сообщил о находке в вашей части. Странно, как вы, умный человек, могли привезти это письмо! Вчитайтесь в него: это же мелкобуржуазная пропаганда. Вы же комсомолец. Должны были сразу дать этому письму оценку и выбросить его в помойку. А вы привезли его сюда и читали. А это несерьезно! Кому вы читали письмо? - проникновенным голосом спросил Ефимов.

Здесь хитрить уже было бесполезно, наверняка Тишков заложил всех. И Аргунов назвал:

- Миронову, Тишкову и Велдре.

- Больше никому?!

- Нет, товарищ майор, больше никому не читал. Да и кому в этой дыре можно читать! - вдруг разговорился Аргунов. - Вы посмотрите на офицерский контингент, не говоря уже о рядовом составе. Никто ничего не читает. Такая серость, что выть хочется. Русским, родным языком плохо владеют. В библиотеке книг нет... Вернее, есть, но такие, от которых скулы сводит!

- Это вы верно подметили, - задумчиво подхватил Ефимов. - Низок культурный уровень. Очень низок. И что обидно, низок среди офицерского состава. Но их можно понять. Служба вдали от родных мест. Диктат устава... Знаете, я вам больше скажу: ведь в военные училища идут люди из простых семей или из офицерских, из армейских. Но, с другой стороны, иначе и быть не может. Вы же умный человек, умнее этих самых офицеров. Вы должны понимать, что человек, у которого, мягко скажем, не особенно развиты интеллектуальные способности, безболезненнее для себя выполняет приказы. Приказ не подлежит обсуждению. А мыслящему человеку в армии трудно. Он к каждому приказу пытается подходить с позиции мысли, с позиции целесообразности, логики, обстоятельств. А это не нужно для исполнения приказа. Вы понимаете меня?

- Так точно! - по-солдатски ответил Аргунов.

- Ну, не надо только со мной этого солдафонства. Не люблю. Я сам в армии - белая ворона. Но ситуация сейчас такова, что берут верх силы, которые ближе именно к армейской жилке. А письмо Солженицына идет этой жилке вразрез. А так как наша страна еще не слишком культурна и в ней преобладает население именно с психологией единоначалия, то письмо может нанести большой ущерб нашей обороноспособности. Так что нам необходимо знать, откуда это письмо, как оно попало вам в руки, кто его вам дал. Дело не в том, что мы кого-то хотим обидеть или, пущее того, покарать. Это время минуло безвозвратно. Сталинский культ разоблачен. Но не вечно же поднимать эту тему. А уж мне, казалось бы, как никому, нужно было бы кричать об этом, потому что мой отец пострадал в период культа личности.

- Мой тоже, - грустно сказал Аргунов.

- Да-а? - удивленно спросил Ефимов. - Значит, мы - друзья по несчастью. Тем более вы должны сказать нам, откуда у вас это письмо. Мы просто хотим проверить, не пошло ли гулять оно дальше. А если пошло - найти и изъять. Только и всего. Поймите, не все можно говорить народу! Тем более в армии! Народ в основной своей массе еще не готов к демократии. Вы-то, как человек умный, должны это понимать.

- Отчасти я это понимаю и вижу. Но не совсем согласен с вами. Получается так, что мы оберегаем народ именно от демократии, от культуры, от мышления. Вся страна была в лагерях, гибли интеллигенты, крестьяне, рабочие, а вы говорите, что это не должны знать люди. Странно.

- Да нет. Вы меня не так поняли. Был XX съезд, и народу об этом сказано прямо, честно, открыто. Но сейчас другая установка! Вы-то должны это понимать. Солженицын ведет себя неправильно. Он зациклился на лагерной теме. И думает, что все ею только и живут. Но, простите, кто тогда строил города, железные дороги, театры, дворцы культуры?! Нужно объективно к этим вопросам подходить и с позиций оценки политического момента. А сейчас момент таков, что активизировались антисоциалистические элементы. В Чехословакии вообще хотят свергнуть социализм и вернуться к капитализму. Вы понимаете, к чему это приведет. Ладно, допускаю, что вы, как человек незаурядных интеллектуальных способностей, могли бы ознакомиться с письмом Солженицына. Ознакомились бы, даже экземпляр свой имели, но спрятали бы его в свой архив, и все! Но вы же теперь, получается, вели пропаганду. Если бы это письмо было официально признано, опубликовано - читайте на здоровье. Вы никак не поймете, что жить нужно в русле жизни.

Аргунову стала надоедать эта “убедительная болтовня”. Он смотрел на майора и пытался понять: знает ли тот о романе или нет? Затем придумал ход и спросил:

- Простите, а вы знаете, что Твардовский готовил еще к печати Солженицына?

Майор Ефимов с некоторой растерянностью воззрился на Аргунова. После небольшой паузы сказал:

- Какую-то повесть, кажется. Я сам только “Денисовича” читал. И знаете, мне не понравилось. Тоска, однообразие, нет светлых пятен.

Аргунов шевельнулся на стуле, сказал:

- Понятно. Но ведь вы же говорили, что ваш отец пострадал. И мне кажется, читая эту вещь, вы должны бы были проникнуться уважением к страдальцам. Уважение к страдальцам - наша типично русская черта. И никакой тут мелкобуржуазной стихии нет.

Ефимов щелкнул пальцами, улыбнулся:

- Вообще-то это так. Мой отец пострадал еще горше. Его расстреляли. Вообще, отец трудно шел к революции. Служил в контрразведке белых..

- Белых?

- Да, вы не ослышались. Затем перешел на сторону красных. Служил в ЧК Дальневосточной республики. Потом в ОГПУ. Несколько раз бывал на приеме у любимого сталинского наркома Ежова и... пропал вместе с Ежовым.

- Почему же вы так твердо говорите, что вашего отца расстреляли?

Ефимов улыбнулся:

- Какой же вы еще неполитичный. Какой маленький, наивный. Это же ясно, как белым днем! Но мало того, мать мою посадили. Я сначала попал в детдом, а потом отыскалась тетка, взяла меня. А вы говорите! Жить в обществе в такие революционные эпохи, как наша, очень трудно... Так откуда же это письмо у вас?! - без перехода спросил Ефимов.

Аргунов сразу же дал себе слово не говорить о настоящем источнике письма: о Марине Н. И он стал искать варианты. Разумеется, этому майору не скажешь, что взял у Солженицына. Тут нужно придумать что-нибудь более подходящее. Но майор вдруг не стал дожидаться ответа, а сказал:

- Вы пока идите. Я вас вызову.

В дверях Аргунов столкнулся со старшим лейтенантом Стешенко.

- Ну, чего, заговорил?! - было накинулся он на Аргунова, но майор его охладил каким-то несущественным вопросом, и Аргунов вышел.

Вместо того, чтобы идти в парк, Аргунов, оглядываясь и нико-го не замечая, понесся в клуб к Велдре. Тот как ни в чем не бывало "варганил" очередную акварель. Аргунов застал Велдре в тот момент, когда он просушивал покрашенный краской лист ватмана, четвертушку, над раскаленной спиралью электроплитки. Аргунов

с порога рассказал обо всем. Велдре сделался блее ватмана и долго сидел молча. Затем вскочил и, ходя по комнате, закричал:

- Сволочьон! Я же тебе делал много предупреждений! А ты, как маньяк, все лезешь и лезешь в свою политику. Теперь и меня затаскают! Господи, ты боже мой, зачем глупые кругом меня люди живут. Ну, зачем тебе этот Соложенкин сдался! Что ты, без него, что ли, жить не можешь? В библиотеке читать нечего? А я видел там, между прочим, Бальзака.

- Я читал. Я всего Бальзака еще в школе прочитал. У меня дома - полное собрание.

- Сволочьон! Говорил, говорил я тебе!

- Ладно митинговать-то! - остановил его Аргунов. - Я пришел по делу, забрать "В круге первом".

- Забирай, Сволочьон, все к чертовой матери! Иди отсюда, а то подумают, что мы с тобой совещаемся!

Аргунов скинул шинель и сунул за брючный ремень - первый том на живот, второй том на спину. Надел шинель, перепоясался широким ремнем и, ни слова не говоря Велдре, вышел. По пути в парк, подумав, заглянул в казарму, взял в каптерке саперную лопатку под видом, что в парке не нашел дела! и направился к "башне тупости". Затем, еще раз подумав, оглядываясь, свернул к медсанчасти, где видел целлофановую пленку, когда распаковывали новый станок для стоматологического кабинета. Прихватив пленку, Аргунов продолжил путь к "башне тупости".

Припав к земле, разгреб снег, продолбил верхний ледяной наст и выкопал яму под размер самиздатовских томов. Завернул их в пленку и закопал. Сверху припорошил снегом, чтобы было незаметно. Отдышался, но затем, что-то вспомнив, схватился за голову и побежал в казарму. В каптерке (хорошо Бабичева не было, ушел домой) извлек из своего чемодана еще несколько книг: все, что так или иначе могло заинтересовать "добродушного" майора, и вновь побежал к "башне тупости". Раскопал, дополнил целлофановый сверток Гроссманом, Бердяевым и "Котлованом" Платонова, закопал.

Затем уж не спеша направился на работу. Капитан Миляев спросил:

- Ну, чего тебя кликали?

- Хотят, чтобы я был общественным распространителем печати в библиотеке.

- Да-а?! - Миляев почесал лысый затылок.
- Так точно! - отчеканил Аргунов, не моргнув глазом.
- А кто работать будет?! - поставил вопрос Миляев.
- Конечно, трактор! - усмехнулся Аргунов, беря свой чемодан.

В открытые широкие ворота вкатил, лягая и грохоча железом, танк, из трубы глушителя которого вырывался синий дым выхлопа с едким запахом солярки.

Перед ужином Велдре подошел к Аргунову и каким-то злым шепотом сказал:

- Ну, сволочон, из-за тебя ко мне приходили. Выпытывал целый час, замучил меня чернобровый! Чтоб ты провалился со своим Соложенкиным! - И резко отошел в сторону.

Аргунов побледнел, развел руки в стороны и пожал плечами. Оказалось, что и с Мироновым уже говорил майор Ефимов. К Тишкову же Аргунов подошел сам.

- Где письмо?! - спросил с приглушенным гневом. Глаза Тишкова забегали.

- Старик, я не виноват... Дал машинистке в штабе... А к ней зашел этот Стешенко... Ты понимаешь, взял и зашел как раз в тот момент, когда у нее в каретке стояла первая страница...

Аргунов, не дослушав, повернулся и пошел прочь. Может быть, Тишков это сделал действительно неумышленно? Нет. Тут явный замысел. Как он тогда в мастерской сразу потянулся к письму. Никто не потянулся, а он сразу же сказал: "Дай переписать". Почему? Почему? Неужели прирожденный стукач? Аргунов думал об этом, стоя в одиночестве, и никто к нему не подходил. Странно? Быть может. Миронов собирался в наряд под знамя. К Велдре после его слов подходить не хотелось. А Тишков, как мышонок, сам улизнул в какую-то норку.

Утром, сразу после подъема, Бабичев сказал, отводя глаза в сторону, сказал так, словно Аргунов был инфекционным больным:

- Ты сразу после завтрака иди... в штаб... На работу тебе ходить не надо...

Дневальный Соколов, владимирский крестьянин, в линялой гимнастерке, в шапке и со штыком в ножнах на ремне, громко зевнул, поспел носом и, когда Бабичев ушел к себе в каптерку, сказал:

- Ночью тут в твоём чемодане рылси какой-то литер...

Во время завтрака Велдре даже не пожелал взглянуть в сторону Аргунова. "Ну и черт с вами!" - подумал Аргунов, без всякого



аппетита заталкивая в себя ложкой мятую картошку, к которой было положено пару кусков жирной селедки.

Вместо того, чтобы сразу идти в штаб, Аргунов пошел по дорожке к стадиону, по пути прикладывая в знак приветствия руку к своей серой шапке при виде офицеров. Сержантов и старшин он совсем перестал замечать. За стадионом начинался лес. Гарнизон был огорожен лишь с фасада, от шоссе, ведущего к городку офицерского состава Полесок. Причем вправо и влево от синих железных ворот со звездами на каждой створке забор тянулся метров на пятьдесят и там обрывался в зарослях бузины и орешника... Да и от кого было отгораживаться? Кругом поля и леса, одна деревенька да худосочный, с однообразными двухэтажными желтыми домиками городок Полесок.

С полигона слышались глуховатые залпы, доносился рокошущий гул дизелей танков. В лесу этот гул стал тише, а затем и совсем пропал. Аргунов уже прислушивался к крахмальному звуку оседающего под сапогами снега, смотрел на чуть почерневшие у корней березовые стволы, поднимал голову и видел как бы развешанные высоко над головой сети ветвей, сквозь которые безоблачное утреннее небо казалось еще более синим. Где-то каркнула ворона. Затем послышался стук дятла. Хрустнула и упала под тяжестью снега ветка.

Аргунов подумал о том, что теперь ему долго придется пребывать в напряженном ожидании расплаты за собственную неосмотрительность, за доверчивость к людям, мало ему знакомым. Ведь сам он, выясняется, для них ничего не значил. Стало быть, о себе нужно думать самому. Итак, где он взял письмо? Какого именно дурака свалить? А то, что с этим хитроумным майором, чьи вопросы и разглагольствования казались Аргунову уж очень прозрачными, нужно валять дурака, было совершенно очевидно. Обдумав все как следует, Аргунов пошел в штаб.

Внизу на деревянном постаменте у стеклянной витрины, за которой виднелось темно-малиновое знамя полка, стоял с карабином у ноги Миронов. Его узкие восточные глаза смотрели куда-то на кромку стены над парадной дверью, и, когда Аргунов вскинул руку к виску, Миронов даже не пошевелился.

- А я вас, Александр Петрович, с нетерпением ожидаю, - сказал майор Ефимов вкрадчиво и елеино. - Что ж вы мне вчера не сказали о романе? Нехорошо. Привезли роман Солженицына, а сами

меня спрашивали, какую вещь собирался опубликовать Твардовский. Нехорошо. - Ефимов заглянул в лист бумаги на столе и до-  
бавил: - "В круге первом", значит.

Аргунов вздрогнул, но быстро взял себя в руки: и этот вариант он проигрывал под стук дятла.

- Как, как? - переспросил Аргунов. - "В первом классе"? - го-  
лос его прозвучал очень ровно и естественно.

Ефимов был явно недоволен этим вопросом, даже раздосадо-  
ван, но не показал виду. Он думал, что уже все нити находятся у  
него в руках.

- Ну, зачем вы так, Александр Петрович?! Я встречался с Миро-  
новым, и он мне сказал, что вы привезли роман Солженицына, -  
майор еще раз заглянул в бумажку на столе, - "В круге первом".

Внешне Аргунов старался сохранять спокойствие, но внутрен-  
не весь сжался: неужели Миронов мог об этом сказать. А почему  
бы и нет. Разве его предупредил Аргунов? Нужно было бы сразу  
предупредить его.

- Не знаю, это он, наверно, что-то путает, - сказал Аргунов. -  
Ничего я не привозил, и вы... - Аргунов сделал паузу, - убедились  
в этом, покопавшись в моем чемодане!

Майор смотрел на Аргунова с любопытством.

- Так где же роман? - спросил он.

- Да нет никакого романа! Откуда мне его взять... Письмо по-  
пало ко мне совершенно случайно, - начал, опережая вопросы  
майора, излагать версию (дурака валять!) Аргунов. - Во время  
битв словесных так сходишься с людьми! - воскликнул он с улыб-  
кой.

- Не понял?!

- Ну, что тут понимать, - продолжил Аргунов, свободно разва-  
ляясь на стуле, даже ощущая некоторое вдохновение во лжи во  
спасение. - Тут нечего и понимать. Вы же знаете, что я без книг  
жить не могу. Если бы я не срезался на истфак МГУ, то меня бы  
здесь, в вашей компании, не было. Так вот, во время отпуска я па-  
ру раз заходил в Ленинку. Шел я в Пушкинский музей на Волхон-  
ку... От Охотного пешком. Приятно по родной Москве после этого  
мрачного гарнизона погулять. Шел, стало быть, я в Музей изящных  
искусств и, проходя Ленинку, решил заглянуть. Читательский би-  
лет всегда при мне. Я даже в зал не пошел, а сразу свернул в ку-  
рилку. Вы никогда в курилке там не бывали?

Майор Ефимов несколько смутился, поскольку он в Ленинской библиотеке не только не был записан, он там ни разу не бывал.

- Нет, - кратко ответил майор.

- Ну, вы многое потеряли! - воскликнул Аргунов и широко улыбнулся. - Это типичный гайд-парк, дискуссионный клуб!

- Да-а?! - заискивающе протянул Ефимов.

- Конечно! Доктора наук, профессора, математики, философы, искусствоведы - и все дебатируют, да так интересно, что нет сил уйти.

- А фамилии этих докторов знаете? - вырвалось у майора.

- Какие фамилии?! - удивленно воскликнул Аргунов. - Разве на стадионе, или в театре, или в очереди вы спрашиваете фамилии?! Вот как раз один с бородкой и заговорил о IV писательском съезде, и письмо достал, и стал его читать...

- И вам дал?

- И мне дал.

- Смешно. Это просто смешно! Незнакомому дает письмо.

- Ничего смешного нет. Я ему объяснил, что я из армии, нахожусь в отпуске... Он вошел в мое положение и дал, сказав, что у него копии еще есть дома.

Кровь прилила к лицу майора, щеки стали багровыми, глаза грозно сверкнули.

- Не ври! - заорал он. - Кому ты это говоришь! Да ты понимаешь, с кем ты имеешь дело! Так я тебе разъясню...

Посыпались угрозы. Наконец-то майор скинул маску и предстал таким, каким был на самом деле: грубым, властным, плохо воспитанным.

Аргунов перестал его слушать. Его болтовня больше Аргунова не интересовала. А майор, ничего не замечая, продолжал говорить и говорить, и казалось, конца не будет его устрашающей болтовне. А Аргунов был спокоен. Он как бы переступил черту неизвестности. Он знал, что будет расплата. Знать - быть спокойным. Мучает неизвестность.

- Как выглядел тот человек? - послушался вопрос майора.

- Я же сказал, что с бородой.

- Борода - не примета! Особые приметы какие-нибудь запомнил?

Быстро же перешел майор на "ты". Аргунов даже улыбнулся, и его вдруг осенило: он стал обрисовывать самого Александра Иса-

евича Солженицына. Дома у Аргунова была его фотография. Один знакомый фотограф ездил на дачу к Чуковскому, в Переделкино, где останавливался Солженицын во время наездов в Москву из Рязани.

- И особая примета есть, - сказал Аргунов. - Шрам, старый, как мятина, на лбу, у брови, над носом.

- Так, ладно, - сказал майор. - А где же роман?

Аргунов вздохнул:

- Романа не было.

Майор раздраженно махнул рукой и сказал:

- Иди. Когда понадобится, вызову!

Внизу, под знаменем, стоял другой часовой. Аргунов пошел к караулке. Миронов дремал на жестком топчане. Аргунов с силой растолкал его.

- Ты говорил этому сталинисту о романе?!

Миронов протирал глаза и зевал.

- А что мне было делать? - сказал он. - Я не знал, что говорить. Ты даже не предупредил меня. А этот, черноволосый, подваливает ко мне и спрашивает: что это вы там в подвале читали? Я ему и ляпнул про роман...

- А про письмо?

- Вот это, Сашк, гадам буду, не говорил... Только про роман сказал. Он даже записал название...

- Ну и дурак же ты! Ну и везет же мне на дураков! - воскликнул Аргунов.

- А что мне было делать? Он говорил, что знает, что мы читали, что ему уже все известно, и, когда я ему сказал о романе, он меня больше ни о чем не стал спрашивать. Даже поблагодарил меня.

- Эх ты, балбес! И что ты только читаешь. Все же мимо сознания пролетает! Читал "В круге...", а ничего не понял. Читал Домбровского, где все приемы стукачей и следователей показаны, и - мимо дома с песней! Потрясающе. Инфантилизм какой-то немислимый! Теперь как хочешь, так и выкручивайся, потому что я никакой роман не привозил, не читал и знать о нем не знаю. Так я и сказал этому органисту. Понял?

Миронов в глубочайшей задумчивости почесал затылок, свесил ноги в сапогах с топчана и спросил:

- Как выкручиваться?

- Надо думать.

После непродолжительного молчания Аргунов сказал:

- Слушай единственно приемлемый вариант. Иди в библиотеку и ищи книгу со сходным названием. Понял? Янис о романе ничего не сказал, потому что к нему я успел забежать и роман... сжег.

Теперь уже Аргунов был более чем осторожен.

- Как сжег? Такая вещь! - даже проскулил от сожаления Миронов. - Как этот там лейтенант Наделашин по учебнику физики для шестого класса подтягивается, чтобы командовать в шарашке учеными. Потрясающе. А в конце журналист газеты "Либерасьон" пишет, что Москва хорошо снабжается мясом. Он увидел фургоны с надписями на борту: "Мясо". А в этом "Мясе" - зэки!

- Ты что, весь роман прочитал?!

- Как чувствовал! Глотал по диагонали...

- А знаешь, кто нас заложил? - спросил Аргунов.

- Конечно, Тишков?

- Тишков, - грустно сказал Аргунов. - Но в разговоре со мной не сознался. Сказал, что у машинистки в штабе Стешенко, этот недобиток сталинский, перехватил. Черт с ними со всеми. Главное, Тишков не сказал, что роман читали... видели, что я привез! Твоя задача - дать понять Тишкову, что, кроме письма, мы ничего не читали. Ты понял, Игорь? Мы читали только письмо!

- Понял. Только нам теперь нужно держаться друг от друга подалше. На всякий случай. - Миронов зевнул и встал. - Они теперь просто так не отстанут.

Аргунов с улыбкой посмотрел на Миронова и сказал:

- Мы теперь тоже в круге первом. Минимальные муки, если сверять с кругами ада Данте Алигьери!

- Они наверняка откуда-нибудь за нами следят, - сказал Миронов. - Я это чувствую.

- Чувствуй, а я пошел.

Заснеженная аллея от караулки до клуба казалась бесконечной. Вскоре Аргунов поймал себя на мысли, что Велдре опасается его и ходить к нему не стоит.

Пошел снег.

Наяву, как во сне, все было то же и будет то же вечно, до тех пор, пока он жив. XX съезд был ошибкой, Хрущев сиянием молнии осветил детей подземелья, надсмотрщики зажгли фонарики и пошли по следу. Так будет всегда, никаких перспектив. Снег сгустился как бы в ожидании мертвых ночных мгновений, длящихся веч-

но. Застывший на месте Аргунов широко раскрытыми глазами смотрел на крупные хлопья снега.

Вечером в казарме Велдре демонстративно не замечал Аргунова, сидел в бытовой комнате с латышами Калнынем, Лабренцисом и Белявским и громко трепался о чем-то с ними по-латышски. Аргунов улавливал отдельные слова: “мазайс”, “лудзу”, “палдиес”...

- Че разорались, латышские стрелки! - прикрикнул на них Крестников, стоявший у гладильной доски в кальсонах и в нательной рубахе. Он гладил галифе.

Тишков в Ленинской комнате играл в шашки с Соколовым. Аргунов сказал ему, что читали только письмо. Тишков, не отвываясь от игры, согласно кивнул.

Утром по команде “подъем!” Аргунов быстро поднялся вместе со всеми, но старшина Бабичев, подошедший к его койке, сказал:

- Спи, Аргунов, тебя не велено выпускать из казармы!

Недостаточно глубоко проникнув в суть сказанного, Аргуновсел на кровать. Он находился еще в полусонном состоянии. Но затем спросил у старшины:

- Что, совсем из казармы нельзя выходить?

- Нельзя! - твердо сказал Бабичев.

За окнами было темно, и в черном небе еще светила луна. Аргунов и на это махнул рукой, как бы отдаваясь полностью в руки судьбы и превращаясь как бы в простого зрителя текущих событий - бездеятельного, слегка ироничного и в высшей степени загадочного. Аргунову казалось, что он почти бесплотной тенью витает где-то выше всех этих прямолинейных и логичных следователей, которые, дабы пополнить свое незначительное образование, выпытывают у интеллигентных подследственных сведения из области литературы и искусства. Хотя, впрочем, сведения эти им ни к чему, поскольку состояние природной девственности их вполне устраивает, даже состояние варварства, и, по-видимому, в ближайшие века они все еще будут с удовольствием сбрасывать с себя, как необъезженные скакуны всадников, ярмо культуры и интеллекта, никогда, впрочем, особенно им не угрожавшее.

Проснувшись часов в девять, Аргунов обнаружил на тумбочке миску, накрытую другой миской, и кружку с чаем, еще горячим.

В казарме стояла удивительная тишина, и светило в окна солнце. Навощенный рыжей мастикой пол сиял зеркально. В кальсонах и в сапогах, хлюпающих на босых ногах, Аргунов походил по

казарме. Дневальный молча смотрел на него и не вступал в разговоры. Аргунов умылся, оделся, съел завтрак и пошел в Ленинскую комнату читать Ленина, тома собрания сочинений которого стояли в желтом застекленном шкафу.

Аргунов взял том с работой Ленина “Что делать?”, но только принялся читать, как вбежал дневальный и сказал:

- Тебя в штаб, к майору Ефимову!

Аргунов пошел туда с ленинским томом под мышкой. Навстречу попался Миронов, тоже с книгой под мышкой.

- Смотри, нашел! - воскликнул Миронов и показал обложку книги Аргунову. На ней по красному фону золотыми буквами было начертано “В кругу семьи”. - Годится?

Аргунов полистал книгу, чтобы вникнуть в содержание. Это был какой-то сборник Воениздата для жен и детей офицерского состава, вплоть до рецептов домашней кухни.

- Замечательно! - похвалил Аргунов. - Эту книжку мы и читали запоем каждый вечер! Понял? Не наедались в столовой и сами готовили себе на плитке разные вкусняшки! Ознакомь Тишкова и Велдре, а то меня опять этот околоток кличет!

В кабинете вместе с майором Ефимовым был старший лейтенант Стешенко, и, странно, на нем был новый мундир с новыми, поблескивающими погонами. Надо полагать, майор дал понять Стешенко, что нужно следить за внешним видом. Как только Аргунов вошел, Стешенко тут же удалился.

- Какой прекрасный денек! - порадовался вслух Ефимов, кивая за окно, и сразу же поставил вопрос: - Ну-с, вспомнили о романе?

Аргунов без позволения, уже привычно, снял шинель и шапку, сел на стул.

- Я бы хотел кое-что вам прочитать из Ленина, - сказал он.

Майор удивленно вскинул черные брови, глядя на книгу в руках Аргунова, и разрешил прочитать.

Аргунов нашел нужное, бросившееся ему в глаза еще в казарме:

- “Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем. Мы соединились, по свободно принятому решению, именно для того, чтобы бороться с врагами и не оступаться в соседнее болото, обитатели которого с самого начала порицали нас за то, что мы выделились в

особую группу и выбрали путь борьбы, а не путь примирения. И вот некоторые из нас принимаются кричать: пойдете в это болото! - а когда их начинают стыдить, они возражают: какие вы отсталые люди! и как вам не совестно отрицать за нами свободу звать вас на лучшую дорогу! - о да, господа, вы свободны не только звать, но и идти, куда вам угодно, хотя бы в болото; мы находим даже, что ваше настоящее место именно в болоте, и мы готовы оказать вам посильное содействие к вашему переселению туда. Но только оставьте тогда наши руки, не хватайтесь за нас и не пачкайте великого слова "свобода", потому что мы ведь тоже "свободны" идти, куда мы хотим, свободны бороться не только с болотом, но и с теми, кто поворачивает к болоту!" - Аргунов взглянул на майора, лицо которого не выражало ничего особенного.

- Ну и что? - спросил майор.

- Как? Вы ничего не поняли? Вы же - болото! И тянете нас в болото!

- Это уж слишком! - повысил голос майор.

- Да ничего не слишком, а в самый раз! В истории все повторяется! Вы, вообще-то, читали "Что делать?"?

- Разумеется.

- А мне кажется, что не разумеется. О чем там идет речь? - как преподаватель нерадивого студента, спросил Аргунов твердо.

- Уже не помню, - проговорил майор и отвернулся к окну.

- В этой именно работе Ленин рассказывает об идейных исканиях своей юности... О деятельности "Союза борьбы за освобождение рабочего класса"... О своих первых литературных трудах и диспутах с "легальными марксистами" и "экономистами", - Аргунов говорил страстно, уверенно. - О своих статьях для отредактированного и подготовленного к печати первого номера газеты "Рабочее дело"...

- Ну что ж, это даже очень похвально, что вы, - майор внезапно, незаметно для себя перешел на "вы", - так знаете работы Ленина. Я же вам говорил, что вы самый умный в гарнизоне человек. Так и скажите, где этот роман "В круге первом"?

Аргунов усмехнулся и захлопнул книгу.

- А что, если бы перед вами сидел Ленин, - вдруг сказал он, - ну, арестовали бы вы его?..

- Вас никто не арестовывал! Мы просто ведем дружескую беседу...



- Ну, предположим, вы бы арестовали Ленина, но не знали бы еще, конечно, что он будет главой партии, что он возглавит переворот...

- Какой переворот?! Великую Октябрьскую социалисти...

- Да нет. Ленин сам называл это переворотом. Это уж потом мудрейший Сталин все начнет железобетонно возвеличивать... Так вот, сидел бы перед вами Ленин... А уж через его руки прошел такой самиздат...

- Вы признаете, что "В круге первом" самиздатовская литература?! - схватился за соломинку последнего слова майор.

- Воениздатовская, может быть... И вы бы дознавались у Ленина, откуда он взял, допустим, "Капитал" Карла Маркса...

Майор Ефимов резко подошел к столу, сел, стукнул ладонью по столу и прикрикнул:

- Не сравнивайте себя с вождем! Прекратите де-ма-гогию!

- Слушаюсь! - Аргунов наигранно вскочил по стойке "смирно".

- Где находится "В круге первом"?

Молчание длилось недолго.

- У рядового Миронова, товарищ майор! - выпалил Аргунов.

От неожиданности Ефимов переменялся в лице. И Аргунов понял, что в случае необходимости этот человек может сделать и сделает что угодно.

Вечером Миронов рассказывал, как его мучил вопросами майор и как сам Миронов непоколебимо стоял на своем: "Читали книгу "В кругу семьи".

Сначала Аргунов думал, что все эти вызовы в штаб продлятся неделю, ну две, ну месяц, но, когда наступила весна, а дознания все не кончались, Аргунов понял, что конца им не будет никогда, потому что вся жизнь, по мысли таких, как Ефимов, должна состоять из постоянных дознаний.

Вопреки требованиям устава Аргунов спал до завтрака, который ему приносили на тумбочку дневальные, слонялся по казарме и даже лежал на койке поверх одеяла, что было для старшины Бабичева невиданным преступлением.

Майор Ефимов на время куда-то пропадал, тогда Аргунова вызывал старший лейтенант Стешенко, грубо кричал на него, называл глистогином и ни с чем отпускал.

Аргунов ходил по гарнизону одетым не по форме, пилотку засовывал под ремень, верхние пуговицы на гимнастерке не засте-

гивал. Некоторые офицеры указывали на него пальцем и между собой говорили, что вот, мол, идет враг.

У “башни тупости” то место, где Аргунов закопал книги, поросло травой. И это радовало Аргунова.

В холодный день он простудился, сильно разболелось горло, которое и прежде часто побаливало, и время от времени вспухали миндалины. Аргунов пошел в медсанчасть, сказал военврачу, что больше мучиться с этими миндалинами не желает, и попросил направить его в госпиталь.

В госпитале его завели в небольшую комнату, усадили на стул, врач засунул ему в горло “пистолет” с металлической петлей и вырвал гланды, сначала слева, потом справа. Неделю Аргунов не мог раскрыть рот, и в эту неделю, как тень отца Гамлета, возникал перед ним неугомонный майор Ефимов.

Аргунов понимал, что они ищут, быть может, даже в курилке Ленинки своих людей посадили...

Летом были учения, но Аргунова на них не взяли. Он проводил время попеременно то в обществе Ефимова, то Стешенко.

К ноябрьским праздникам Миронов и Велдре демобилизовались. Велдре даже не попрощался. Миронов же сказал:

- Держись! - и укатил в свой город Душанбе.

К следствию еще подключился полковник с общевоинскими петлицами.

Но Аргунов стоял на своем.

Полковник был седой, полнолицый, здоровый и сытый. Когда он ходил по комнате, то у него дрожали щеки и второй подбородок. Говорил он грубо и громко, смягчая на украинский манер звук “г”. У него была лысина во все темя и голубые навывкате глаза.

- Как стоишь, негодяй! - начинал он обычно.

Майор Ефимов и старший лейтенант Стешенко смотрели на полковника с подчеркнутым подобострастием.

- Что у тебя, как юбка у бабы, гимнастерка топорщится! - сказал полковник и захохотал.

Заметив, что никто больше не смеется, полковник стал серьезен и сказал:

- Учти, парень, жизни тебе больше не будет. Мы сделаем так, что тебя нигде и никогда на работу, а тем более в институт не возьмут! Где роман про круги?!

- Да надоело мне с вами разговаривать! - вспыхнул Аргунов.

Полковник весь покраснел и вдруг схватил стакан с подоконника, на котором стоял и графин с водой, поднял стакан выше головы и изо всей силы ударил оземь, так что полетели осколки.

- Да я тебя!..

Даже майор Ефимов побледнел.

А Аргунов в страхе стоял у стены и думал о том, что он беззащитен, что ему не к кому обратиться за помощью, что в стране нет тех сил, которые могли бы на равных противостоять этим малообразованным людям...

У Аргунова уже было полное отсутствие интереса ко всему, какое-то невиданное безразличие к этим старлеям, майорам и полковникам. Эти люди только и отличаются друг от друга знаками различия на погонах, и, по всей видимости, они все общество хотели бы видеть со знаками различия, некую военизированную пирамиду, работающую, как часовой механизм.

После Нового года в клубе гарнизона состоялось комсомольское собрание, на котором Аргунова клеймили позором как антисоветчика рядовой Крестников, не прочитавший в своей жизни ни одной книги, замполит подполковник Шлапак, капитан Миляев - непосредственный начальник Аргунова, старшина Бабичев и рядовой Тишков - комсорг полка.

Под продолжительные аплодисменты Аргунова исключили из комсомола.

Единогласно.

Через месяц в газете "Красный воин" появилась статья капитана энской части Миляева, в которой была такая фраза: "Рядовой Аргунов действовал на руку чехословацким контрреволюционерам".

В августе 1968 года полк Аргунова в срочном порядке был погружен в эшелон и, как впоследствии узнал Аргунов, направлен в Чехословакию для защиты "революционных завоеваний друзей по социалистическому лагерю". Аргунову в выполнении этой миссии было отказано.

Вышел приказ о демобилизации. После некоторых проволочек, отговорок, когда уже все, выслужившие положенный срок, уехали, получил свои документы в строевом отделе и Аргунов.

Он взял свой чемодан и, ни с кем не прощаясь, пошел к "башне тупости". По пути прихватил металлический стержень на свал-

## СТАНЬ КУСТОМ ПЛАМЕНЕЮЩИХ РОЗ

ке. У башни стояла тишина. На одном из кирпичей Аргунов нацарапал: “В круге первом - 1965-68”.

Оглядевшись, принялся стержнем ковырять землю. Раскопал целлофановый сверток. Все было на месте...

Когда проходил мимо казармы, его окликнули. И Аргунов вздрогнул. В голове пронеслось: “Засекли!”

- Тебе телеграмма! - крикнул дневальный.

Аргунов взял из его рук сложенную бумажку и, не читая, сунул ее в карман.

Быстрым шагом он пошел к станции. Купил билет в воинской кассе. И только когда сел в поезд, развернул телеграмму. Она была из Риги от Яниса Велдре.

По белому полю - черная строчка:

“Стань кустом пламенеющих роз!”

*Глава 1 - в книге “Философия печали”,  
Москва, издательство “Новелла”, 1990.*

*Главы 2 и 3 - в книге “Улица Мандельштама”,  
Москва, издательство “Московский рабочий”, 1989.*

# ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

## повесть

Слышно, как вдали стучат топором по дереву.

А. П. Чехов. Вишневый сад

- Есть другая реальность: воспоминаний, картин, обобщений, духа! - крикнул, встал и заходил долговязый Волович. - Подробности...

- Парийский может по этому поводу речь толкнуть, - предложила Инна, укладывая ногу на ногу.

Парийский, в очках, в белой рубашке с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу, откинулся к спинке стула.

Он, подумав, сказал:

- Читал Ницше. Настолько самоуверенно, бессвязно, с той самой "поэзией", с которой я в контре, что, кроме иронии, ничего не вызывает. - Он на мгновение остановился, глядя на расхаживающего Воловича, и продолжил: - Хотя очень недурно написано. Захватывает... Все это дионисийство давно выродилось в хамство, пьянство, проституцию... Лирой воспевал желудок! Если Ницше сравнить с Аввакумом, то Ницше кажется просто фигляром рядом с глубоко серьезной и трагичной фигурой первого русского писателя. Как можно бороться с идеализмом, если идеализм - единственное, что отличает человека от животного!

Алик Петросов, пошатываясь, появился из правой кулисы с огромным телевизором "Темп" в руках, подошел к рампе и остановился, часто шмыгая своим внушительным крючковатым носом. Он стоял на краю сцены, как над пропастью. Экран телевизора за светился: толстощекий мужик в модных очках, говорить не умеет, сплошное "так сказать" и ни к селу, ни к городу - "народ, народ".

- Очень низка культура, - сказал Алик, напряженно сутулясь под весом телевизора. - А ведь претендует на роль проповедника.

Хоть бы раз написали о деревне, как в свое время сделали это Бунин и Чехов! Честно: рвань, грязь... А то - сопли в квасе, и морда от водки лоснится. Если мне, тысячекратно русскому, это противно, то каково же остальным?!

Волович резко взмахнул рукой:

- Стоп! Это делать нужно иначе, - быстро заговорил он, обращаясь к Алику тоном просителя. - Ты из жалости к себе не можешь смеяться над окружающими. Критика твоя исходит оттого, что ты не прощаешь, а все помнишь. А нужно забыть! В конце ты все забываешь, но начинаешь сначала: углубляешься в расчеты с Парийским. Ребенком ты жил, не зная ничего о жизни, только Парийский подавлял знанием!

Инна усмехнулась. Парийский заметил:

- Перепады настроения. Как это важно! Любой человек живет этими настроениями. Как не может быть всегда хорошо, точно так же не может быть всегда плохо.

- Да поставь ты телевизор! - сказала Инна.

Алик пошел, тяжело переставляя ноги в кедах, в глубину сцены, где стояла солдатская койка, покрытая серым одеялом с двумя широкими белыми полосами в ногах. Алик поставил "Темп" производства 1957 года возле спинки койки, подумал и сел на него, уперев локти в колени.

- Хорошо! - воскликнул Волович. - Мы обрастаем подробностями, в которых вся соль. Быть во власти сюжета - значит галопом проскакать по эпизодам. Идти от эпизодов, не заботясь о сюжете, на мой взгляд, путь более правильный.

Лицо Инны выхватил луч прожектора.

- Фабула: я - есть все, - сказала Инна, вставая со стула. - То есть все во мне, и я могу (могла быть) каждым. Не навязчивая идея, а степень погружения в историю, как в жизнь конкретных людей, точно таких же по природной своей сути, как я. Меня всегда интересовал вопрос, почему сознание "вдувается" в конкретного человека. Почему мое сознание не "вдуто", допустим, в Алика?

Инна держалась гордо, на лице были красные пятна.

Из левой кулисы появился простоватый человек с лестницей-стремянкой. За ним, сильно хромая, с прямой ногой, длинноволосый малый лет двадцати. Было видно, что малый, хромая, наигрывает. Простоватый человек - Поляков, светловолосый, с широким полноватым лицом - остановился в середине сцены, раз-

двинул стремянку и полез вверх. Все заметили, что Поляков был босиком.

Пока он лез по высокой лестнице к колосникам, двадцатилетний малый - Клоун (такое у него было прозвище) - хромал вокруг этой лестницы с видом умалишенного, чем вызвал хохот Воловича, смех Париийского, улыбку Алика и легкое возбуждение Инны.

С сильным грузинским акцентом, шепелявя, Клоун сказал:

- Жизнь идет своим порядком. На Хамовническом плац смотрел верховой упражнений. Мне очень нравилось смотреть на лошадей. Конюхи их чистил. Одну лошадь кузнец подковывал.

Из-за сцены донесся звук удара металла о металл. Голова Полякова исчезла в колосниках. Видны были лишь босые ноги на верхней перекладине лестницы. Послышался голос Полякова:

- Небо оделось в тучи. - Тенорок у него был маленький, но приятный.

Клоун вдруг обратил внимание на глаза Инны и сказал:

- У вас очень умные глаза.

Инна в ответ что-то пробормотала, смущенная таким заявлением.

Поляков почесал ногу о ногу, спустился и сказал:

- Я погасил задолженность за электричество. А так у меня все валится из рук, - он равнодушно толкнул лестницу, и она с грохотом повалилась на подмости. - Я только наружно сохраняю спокойствие,

Волович сел на койку, закурил и задумчиво вымолвил:

- Мне это не нравится.

Инна возразила что-то. Волович повторил тверже:

- Мне это не нравится.

- Я оставляю за собой право иметь свои взгляды и вкусы! - сказала Инна, выходя к рампе. Яркий луч прожектора все еще высвечивал ее лицо с большими голубыми глазами. Как бы что-то вспоминая, она продолжила: - Я стояла у собора, когда он был закрыт. Луч солнца озарял большую главу. Позолота закрашена, но кое-где краска смылась, и солнце играло на позолоте.

- Когда это было? - спросил Алик, продолжая сидеть на телевизоре, экран которого голубо светился.

- 18 августа 1889 года, - сказала Инна. - С тех пор пейзаж бульваров изменился.

- Я согласен, - сказал Алик.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Ты бы ноги помыл, - сказал Парийский, обращаясь к Полякову.

Поляков потрогал челку своих светлых волос, ответил:

- Импортное мыло пахнет не по-нашему.

Клоун продолжал хромать, ходя теперь уже вокруг лежащей лестницы по эллипсу.

- Твое хождение действует на нервы, - заметила Инна.

Клоун скорчил плачущую физиономию, обхватил руками то место, где у человека, согласно Дарвину, был хвост, и сказал:

- У меня гриппозное состояние! А хромание благотворно действует на мою психику.

Парийский осторожно подошел к Инне сзади, взял ее за талию и передвинул, как глиняную статуэтку, в сторону из луча прожектора. Сам встал в этот луч, линзы очков блеснули. Парийский энергично выбросил руку вверх и с пафосом воскликнул:

- Немыслимо примириться с мыслью, что смерть есть уход в Ничто!

Судя по взволнованному лицу Инны, можно было предположить, что она догадывалась, что это не Парийский говорит, а она сама, но догадка была слабой, едва мерцавшей на горизонте сознания и не привносившая в реальность происходящего ровно никакого изменения.

Волович перехватил ее взгляд, сказал:

- Переживай до полного воплощения, перевоплощения в человека конца века, все видеть его глазами... А то у нас так познают тех людей, что получается, что все они до 17-го года были плохие! Какая-то сверхзадача - огадить прежних людей.

- Взаимодействие сна и яви, - тихо сказал Клоун и перестал хромать. - Пошли покурим, - сказал он Полякову.

- Пойдем, - сказал Поляков и волоком потащил лестницу за кулисы.

Алик встал с телевизора и нерешительно подошел к Парийскому, который продолжал стоять в луче прожектора с вскинутой рукой. Синхронно повернули головы, и на белом заднике сцены отпечатались черные профили.

Из кулисы строевым шагом вышел Поляков в армейских кирзовых сапогах. Здоровый деревенский парень с бычьей шеей, широкоскулым лицом, с небольшим вздернутым носом, светлые, почти что белые волосы и брови, и ресницы, на щеках легкий румянец. Поляков шел, сильно стуча каблуками и



высоко выбрасывая ноги, как караульный солдат, но руки при этом были прижаты к бедрам, и казалось, что он сейчас упадет.

Но вместо падения Поляков сильно ударил плечом Алика и заорал голосом старшины:

- Ты, солобон, че стал в дверях, не стеклянный!

- Я с вами коров не пас, - полушутливо бросил Алик и, пройдя к телевизору, опять сел на него.

- Ща-ас как дам! - Поляков грубо замахнулся, поднося кулак к очкам Парийского. Поляков видел, что Парийский пугливо зажмурился и отступил на шаг из луча. В луче остался лишь кулак. Поляков крикнул: - Че менжущешься?!

Волович оживленно потер руки, сказал:

- Точно так шутит Поляков. Это что-то страшное, скотоподобное, держащее в своих руках всех и каждого, это - рота охраны Инны, а не муж. Вот вам и дети природы! Особенно невероятно звучит: "философ Поляков".

- Да ему хоть книжку в руки надо дать, - сказал Парийский.

- Да нет, - возразил Поляков, - зачем мне книжка? Я так буду философствовать. Ну, например: это все от ученья! - Поляков заговорил не своим голосом. - Раньше книжек не читали, вот и порядок был...

- Стоп! Плохо! - крикнул Волович, и его лицо, узкое, с длинным носом, помрачнело. - Снимай сапоги! Эта версия не пойдет. Зачем множить ублюдков...

Поляков развел руки в стороны и, пожимая плечами, ушел в правую кулису. А Волович вслед сказал:

- Даже подлецу дай глоток клубничного сиропа или проще - осветли его. Это придаст жизненность.

Клоун, с папироской в зубах, выглянул из-за кулисы и голосом человека, которого обокрали, заорал:

- Смотришь на людей и видишь, что никто из них не думает ни о смысле жизни, ни о Боге и не работает над собой!

- Цыц! - выдохнул Волович и улыбнулся.

- На взлет! - крикнул Алик, нагнулся и включил звук телевизора под собой.

Перекрывая звучание телевизора, Инна воскликнула:

- Хорошо жить на свете и заниматься любимым делом. Для меня это дело - сцена!

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Парийский подошел к койке, лег поверх одеяла, подбил подушку под головой.

Медленно опустился черный задник с окном, забранным решеткой.

Луч прожектора погас. Стало совсем темно: и в комнате, и за окном. Через некоторое время раздался голос Парийского:

- Алик, включи свет.

- А его нет, - отозвалась Инна, и комната осветилась трехрожковой люстрой.

- Где он? Где Волович, Клоун, Поляков?

- Алик пошел в магазин, а эти уехали.

Парийский поправил тонким пальцем очки на переносице и вздохнул. Затем спросил:

- Значит, ты хочешь, чтобы Волович устроил тебя на телевидение?

- Да.

После некоторого молчания, когда было слышно лишь, как стучал старый будильник, Парийский вздохнул и сказал с насмешкой:

- В гении метишь! Гении по благу... Так, так. - Он шевельнулся на койке. - А как насчет - возлюби отца и мать своих? Пойми, что твоя жизнь столь же величественна, что и жизни других прежде живших гениев. Гений - это тот, кто беззаботно возвышается над авторитетами, отвергнув их. Подавленные магией авторитетов - это всевозможные пушкиноведы (с наганами, как говорил Осип Эмильевич) и прочие веды! Гении - отчаянные личности, без страха идущие на штурм любой мысли, оставаясь при этом в рамках христианских заповедей, то есть этики. Без соблюдения этики это уже злодеи!

- Ты всегда говоришь так сложно, что я не понимаю, - сказала Инна.

- Чего же тут непонятного? Прегрешение пред душой человеческой. Душу гробят. Скоту корыто поставь, он и доволен. Мне стакана воды и черного хлеба достаточно, дай только душу открыть, дай возвыситься душою, дай поговорить, - сказал Парийский и взглянул на часы. - Который час? Не разгляжу. - Он пошевелил очки на переносице.

- Десять минут восьмого.

Инна подошла к шкафу с зеркалом в средней створке и принялась рассматривать себя.

- Я красивая?

- Красивая.

- Так почему же меня никуда не взяли! - воскликнула Инна. - Я понимаю, что комплекс красоты сбивает с толку. Ты сам говорил, что красивые женщины глупы, как правило. Но я стараюсь развиваться, читать... И тем не менее давит на меня эта красота... Институт культуры заканчиваю, а что делать, не знаю. У меня нет никаких целей. Вот Волович хлопочет на телевидении, в дикторы хочет устроить. А что такое диктор? Попугай. Читает чужие бумажки...

- Мы все читаем чужие бумажки, - вздохнул Парийский. - Едва родимся, как начинаем читать чужие бумажки. Зачем, почему? Не знаю. И никто не знает.

- И я не знаю.

Инна оглянулась, положила руки на бедра и погладила их со вздохом. Выражение лица у нее было оживленное. Подумав, она подошла к Парийскому и села на край кровати, сетка которой скрипнула. Парийский лениво обнял Инну за талию и привлек к себе.

Раздался звонок в дверь. Инна пошла открывать и вернулась с Аликом. Тот держал в руках две бутылки вермута.

- Холодно, - сказал Алик. - Надо к лету готовиться.

- Декабрь, а он - к лету, - сказала Инна, поправляя волосы перед зеркалом.

- Цыган шубу продает в декабре, - невозмутимо парировал Алик и черенком вилки сорвал белую пробку с бутылки. Пробка с шумным шлепком ударилась в потолок. Густая бордовая жидкость забулькала в чашки.

- Я не буду, - сказала Инна.

- Мы тебе такой смазки и не предложим, - сказал Алик, поднося чашку Парийскому, который продолжал лежать на койке.

После двух чашек Парийский заснул. Алик включил телевизор и сел на него. Экран светился без звука и без изображения. Инна подошла к двери, ведущей в смежную комнату. Дверь была крестнакрест забита досками.

- Все ушли на фронт, - сказала Инна.

- Зря все-таки он развелся, - сказал Алик и кивнул на спящего Парийского. - Хорошая была женщина. Саша. И дочка хорошая.

- Как скучно Парийский пьет, - сказала Инна.

- Скучно.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Ты будешь смотреть телевизор, когда я буду вести программу "Время"? - спросила Инна, разглядывая себя в зеркало и поглаживая бедра ладонями.

- Без звука, - сказал Алик, встал с телевизора и, подойдя к Инне, обнял ее. - Хорошо заниматься любовью при свете и у зеркала.

В дверь позвонили, Алик с неудовольствием оторвался от Инны и пошел открывать. Шумно вошли Клоун с Поляковым. Клоун принес водки, а Поляков гитару.

Растолкали Парийского. Тот, зевая, поднялся на кровати и привалился спиной к спинке.

После того как выпили, Парийский попросил Клоуна:

- Витек, сделай эту...

Клоун, подбоченясь, сделал шаг вперед, выпятил грудь и тонким громким голосом отчеканил:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Борис Букреев. "На солнечной поляночке"!

И немыслимо высоким тенором азартно запел, пуча глаза:

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь,  
Парнишка на тальяночке  
Играет про любовь.

Играй, играй, рассказывай,  
Тальяночка, сама  
О том, как черноглазая  
Свела с ума!

Парийский улыбался и в такт причмокивал губами. Поляков между тем настраивал гитару, и, когда Клоун закончил и поклонился, Поляков ударил по струнам и хрипловато запел:

Едем, едем в Братиславу.  
Мчит наш БТР.  
Уходи с дороги, дядя.  
Контрреволюционер!  
Едем мы не на гулянку  
И не водку пить  
Уходи с дороги, дядя,  
Можем задавить!

И хором - Алик, Клоун, Инна и даже вполголоса Парийский - грянули припев:

И, траками играя,  
Шумит-поет мотор!  
Машина ты лихая,  
Наш бронетранспортер!

Поляков, как и Клоун, был молод, только что демобилизовался, закончив службу в Чехословакии. Он был ранен в руку, делали операцию, одна рука стала короче другой, но действовала.

- Что моя воля, - сказал он. - Прикажут: квадрат 45! И я еду! Мы воюем не с людьми, а с квадратами! Так легче... Но мне горько было, когда вслед кричали: "Оккупант!"

Алик взял топор из-под кровати Парийского и молча пошел на улицу. Через некоторое время за окном послышался стук топора по дереву.

- Это другая реальность, - сказала Инна. Она выпила водки и немного захмелела. Сидела на стуле, положив ногу на ногу, при этом сильно обнажив их.

- Но это было у Чехова, - вяло проговорил Парийский.

- Мало что было! - воскликнул Клоун. - Что же теперь, Парийский, тебе без света жить! Правильно рубит. Днем, как ночью, в квартире!

Поляков брэнчал на гитаре и поблескивающим взглядом смотрел на Инну.

- У тебя красивые ножки! - сказал он и подмигнул Клоуну.

Тот подошел к Инне сзади и обнял ее за плечи. Поляков резко встал, отложил гитару и подхватил Инну за ноги. Подняв Инну, друзья понесли ее к ванне, которая оказалась из левой кулисы, где была заколоченная дверь. Инна взвизгнула и оказалась в воде.

- Как тепло! - сказала она.

- Который час? - спросил Парийский.

- Начало одиннадцатого, - сказал Поляков, потирая руки.

Парийский шмыгнул носом, снял очки и аккуратно положил их под подушку.

Через минуту он уже спал.

Верхний свет погас. Луч прожектора выхватил Инну, отжимающую платье над ванной. Из кулисы показался Клоун с биноклем в руках. Он поднес бинокль к глазам и навел его на обнаженное тело Инны.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Что ты на меня смотришь? - спросила она, почувствовав на себе острый взгляд. - В чем мне теперь ехать?

- Это мы мигом, - сказал Клоун и развесил белье над газовой плитой на веревке. - Ты не уезжай, Инна! - с придыханием добавил он, смущенно отводя взгляд.

На сцену быстро вышел длинноногий Волович.

- Стоп! С этим стриптизом нас никто не выпустит!

- А с квадратом 45 выпустят? - усмехнулась Инна, прикрываясь пледом. - Нас даже с "Оптимистической трагедией" в вашей тракторке не выпускали.

Она ушла в кулису, из которой тут же появился в черной рясе Поляков - священнослужитель из "Оптимистической трагедии". Низким голосом он зачитал текст по бумажке, которая была у него в руке: "Как угодно. Я хотел вам помочь. Я хотел спасти вам жизнь, а вы предпочитаете смерть. Вы ведь знаете, как это происходит. Разрыв тканей, окоченение. И первый червь проползет сквозь горло в нос. Глаза засыхают. Везде молчание... Так что ж, подумайте. Ведь ни у кого нет другой жизни, только эта единственная, такая крепкая..."

Из-за окна продолжал слышаться стук топора по дереву. Вошла Инна в черной кожанке с кобурой на бедре. За нею, крадучись, показался полуголый Клоун.

Стало тихо.

Инна извлекла бумажку из кармана, взгляделась в текст: - "Это не шутка? Проверяете?"

Клоун прошелестел своим текстом:

- "Н-но... У нас не шутят".

Инна прочитала:

- "У нас тоже". - Прикоснулась к кобуре и сказала: - Пух. Убит.

Затем продолжила чтение: - "Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? Ты? (Другому.) Ты? (Третьему.) Ты? (Стремительно взвешивает, как быть, и, не давая развиваться контрудару, с оружием наступает на парней.) Нет таких? Почему же?.. (Сдерживает себя и после молчания, которое нужно, чтобы еще немного успокоить сердце, говорит.) Вот что. Когда мне понадобится, - я нормальная, здоровая женщина, - я устроюсь. Но для этого вовсе не нужно целого жеребьячьего табуна".

Инна сунула текст в карман кожанки, сняла ее и бросила поднимающемуся с пола Клоуну. Тот ушел с курткой в кулису.

- Спать хочется, - сказала Инна и потянулась.

На койке зашевелился Парийский, пошарил под подушкой, нашел очки и надел их.

- Который час? - спросил он.

В дверях показался Алик с топором, как дровосек. К его одежде налипли щепки.

- Светает, - сказал он, положил топор под кровать и сел на телевизор.

Парийский встал с койки, покачнулся и вытянул руки перед собой. Руки сильно дрожали.

- Фу-у, - вздохнул он и сказал: - Надо снять колотунчик...

Этот "колотунчик" он произнес с заиканием и принялся копаться в ящике стола, шелестя обертками лекарств. Насыпав на ладонь штук семь разноцветных таблеток, Парийский заглотив их все сразу и пошел умываться.

На полу возле койки вповалку спали Клоун и Поляков. Когда Парийский ушел на работу, из кулисы показались Инна с Воловичем. Они быстро разделались и легли на свободную койку. Стемнело. Лишь голубовато светился экран телевизора, и поэтому были видны ноги Алика, продолжавшего сидеть на телевизоре.

Луч прожектора выхватил лицо Клоуна, глаза которого были открыты.

Клоун приложил ладонь к уху и прислушался к шепоту, доносившемуся до него с койки:

- Ты была с ними?

- Нет, не была.

- Какая ты крепкая...

- Какой ты большой...

Клоун сжал зубы, поморщился, как от боли, и зажал уши ладонями. Проснулся Поляков, сел, потер глаза пальцами. Его светлые волосы были всклокочены, а рыхловатое лицо припухло от сна и выпитого накануне.

- Пойдем на Ленивку, - сказал Поляков.

- Пойдем, - сказал Клоун и кисло улыбнулся.

Волович встал с кровати, накинул на узкие плечи пиджак и спустился со сцены в зал. Подойдя к режиссерскому столику, Волович зажег на нем настольную лампу, нащупал в кармане пиджака сигареты и, закурив, сел.

- На сегодня достаточно, - сказал, кашлянул, посмотрел на часы.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

В верхнем фойе поблескивал паркет и стояли кресла в белых чехлах. Парийский сидел в одном из кресел и покуривал. Поляков, держа в руках гитару, подошел к нему, спросил:

- Ты завтра дежуришь?

- Да. А что? - белый тонкий палец прижал мостик очков к переносице.

- Сестру хотел показать.

Парийский в знак согласия кивнул и, увидев выходящего из зала Воловича, встал. Следом за Воловичем вышли Инна, Алик и Клоун.

Алик, почесав в задумчивости крючковатый нос, спросил у Парийского:

- Юраш, ну что, я сегодня заберу телек?

- Давно пора, - сказал Парийский, спускаясь по мраморной лестнице клуба к фойе, где была раздевалка.

Волович шел с Инной и о чем-то шептался. Клоун снял с вешалки шубу Инны и предложил ей одеться. Когда их глаза встретились, Клоун покраснел.

Когда вышли на улицу, шел легкий снежок, было темно, фонари горели тускло. По набережной пробегали редкие машины.

- Мы пройдемся до Балчуга, - сказал Волович, беря Инну под руку.

- Я с вами, - сказал Поляков, держа зачехленную гитару на плече, как полено.

- Привет! - сказал Парийский.

- Привет! - сказал Волович, поднимая воротник демисезонного пальто.

У трамвайной остановки брусчатка мостовой поблескивала, как чешуя свежемороженой рыбы. Парийский поскользнулся, чуть не упал, но его поддержал за локоть Клоун, на котором была короткая куртка, и он зяб в ней. Алик курил и смотрел задумчивым взглядом в сторону метро "Новокузнецкая", откуда ждали трамвая.

Парийский надел кожаные перчатки, которые были великоваты и кончики пальцев которых были загнуты, как воровские отмычки.

Вздохнув, Парийский сказал:

- Волович предложил подхалтурить в одной программе. Он делает какую-то муру в своей редакции. Я отказался. Вернее, принял это сообщение, как говорится, к сведению, не более. Тот пе-



риод, когда я мог халтурить, миновал. Мне сорок лет. Что же из этого следует? То, что актерство - это замыкание на себе. И я замкнулся. Смотрю на окружающих и вижу, что они бегут от себя - вовне. Я же наоборот - извне давно уже иду в себя, пропустив внешний мир через свою душу. Только в этом случае можно чего-то достичь. Другого пути нет. И в этом отношении я превращаюсь в замкнутого, неинтересного для других индивида, живущего от времени до времени в поисках вдохновения.

Белый глаз трамвая вынырнул из-за деревьев, припорошенных снегом.

- Ты прав, - сказал Клоун, ежась в своей осенней куртке. - Прекрасно создавать нечто новое, совершенно свободно, без всякого образца!

Вагон был пуст и ярко освещен лампами дневного света.

- День на колесах в туннеле ночи! - громко сказал Алик.

Парийский опустился на красное сиденье, Алик и Клоун встали рядом, держась за поручни. Кроличья шапка, облепленная снегом, была глубоко надета на глаза Парийского, так что даже очки пришлось снять. Глаза Парийского, бледно-голубые, улыбнулись.

- Покровка еще торгует! - произнес Парийский.

Клоун провел покрасневшей рукой по заснеженным густым волосам (он ходил без шапки) и, вздохнув, сказал:

- Я пустой.

- У меня тридцать три копейки, - тоже с долей грусти сказал Алик и покосился на руку Парийского, которая полезла в карман.

- Сегодня за аборт Зинка полтинник отдала, - сказал Парийский и извлек из бумажника красненькую бумажку.

У Яузских ворот он вышел, а Клоун с Аликом поехали до дежурного магазина у Покровских ворот.

Выйдя из трамвая, Парийский пошел переулком к дому, который располагался в коротком Тессинском переулке, у Яузы.

Через некоторое время по черным строчкам его следов шли Алик и Клоун, достаточно быстро отоварившиеся.

- Купили бы хоть сырок зажевать! - с досадой в голосе сказал Парийский. - У меня ничего нет.

- Картошка есть? - спросил Клоун, выставляя на стол портвейн на четыре бутылки - по 2 р. 20 к. и три бутылки жигулевского пива. - Жалко деньги на закуску тратить. Смотри, отличный портвейн! И пиво на утро!

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Ну, Витек! - усмехнулся Парийский, стаскивая галстук с шеи.  
- Рационалистичный ты человек!

- Просто знаю, что нужно брать больше, - рассудительно ответил Клоун. - Все закрывается, куда бежать. А мы хорошенько посидим, без затей.

- Чего там, конечно, - поддержал Алик.

На кухне стоял большой квадратный стол, покрытый выцветшей клеенкой. Тут же за полиэтиленовой занавеской была ванна. На газовой плите стояла сковорода с застывшим на дне жиром.

- Я никогда не мою, - сказал Парийский, садясь к столу и принимаясь открывать бутылку. - Сразу можно жарить.

Алик и Клоун в две руки быстро начистили картошки, нарезали ее на раскаленную сковороду.

Ни с кем не чокаясь, Парийский медленно выцедил стакан портвейна, облизал губы и сказал:

- Как говорил Пиранделло, жизнь надо или прожить, или в книгу вложить!

Выпили и "кашевары".

Алик улыбнулся, стягивая зубами горячие ломтики жареной картошки с вилки, сказал:

- Вчера бродил в Замоскворечье. Зашел во дворик, где родился Островский, и понял, что все его пьесы про деньги!

- Открытие, достойное дурака, - беззлобно сказал Парийский, откидываясь к спинке стула. - Островский писал не про деньги, а про нас. Это надо понимать! - подумав, Парийский обратился к Клоуну: - Витек, давай, спой!

Клоун не заставил себя долго ждать. Он встал, опустил руки по швам, скосил глаза к переносице и голосом кастрата завопил:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Бориса Александрова Иван Букреев! "На солнечной поляночке"!

Предвкушая удовольствие, Парийский улыбнулся, поправил очки и сложил руки на груди.

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь...

Клоун пел форсированным тенором, точно попадая в тон, который набил оскомину исполнителями армейского ансамбля.

Между столом и ванной стоял телевизор "Темп", который давно не работал и который использовали вместо стула. Алик сидел

на этом телевизоре и похохатывал. Когда Клоун кончил и сел к столу, Алик, смахнув слезы, сказал:

- Прекрасно отражен идиотизм нашего времени. Мне, как и тебе, Юраш, - обратился он к Парийскому, - сорок лет, и ничего, кроме идиотизма, я не видел. Когда учился в архитектурном, были какие-то мечты. А теперь, - он махнул рукой, - одна студия и осталась. И та гибнет на корню. Вернее, наш модернизм будет зарублен на корню. Ты говоришь, что время пишет набело и что играть нужно только экспромты. Может быть, может быть. Но я уже ничего не понимаю. Мой мозг съедает питье. А без питья я совсем опухну в своей архитектурно-планировочной мастерской. Да что говорить, вы все сами видите... Маленькую девочку лаская, от обид в грозящий лифт! - несуразицей закончил Алик, налил, посмотрел на желтоватую жидкость и выпил.

Парийский угрюмо посмотрел на Алика и пошел в комнату, где стояла солдатская койка, покрытая серым одеялом с двумя белыми полосами на нем в ногах. Вдоль стены высился самодельный стеллаж с книгами. На письменном столе стояла пишущая машинка "Эрика" с заряженными чистыми, проложенными копиркой листами бумаги. Парийский снял с полки хорошо переплетенный машинописный том Гумилева, вернулся в кухню, нашел, пошелестев страницами, нужное и, чмокнув губами, прочитал:

Шел я по улице незнакомой  
И вдруг услышал вороний грай,  
И звоны лютни, и дальние громы.  
Передо мною летел трамвай.

Как я вскочил на его подножку,  
Было загадкою для меня.  
В воздухе огненную дорожку  
Он оставлял и при свете дня...

А в переулке забор дощатый,  
Дом в три окна и серый газон...  
Остановите, вагоновожатый,  
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,  
Мне, жениху, ковер ткала.  
Где же теперь твой голос и тело?  
Может ли быть, чтобы ты умерла?

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Как ты стонала в своей светлице.  
Я же напудренною косою  
Шел представляться императрице  
И не увиделся вновь с тобой.

Понял теперь я: наша свобода -  
Только оттуда бьющий свет.  
Люди и тени стоят у входа  
В зоологический сад планет...

- У меня такое впечатление, что мы живем в другой реальности, - сказал Алик.

- Кто-то уже об этом говорил, - сказал Клоун. - Наверно, Иван Букреев. Глубина интеллекта...

- Мы - как река, - сказал Алик. - Нас сковали гранитные берега, но мы течем сами по себе.

- Точно сказано, - воскликнул Парийский, - точно! - вскочил и побежал к машинке "Эрика".

Послышалось ее суховатое щелканье, по бумаге побежал текст:

"Алик сидел на телевизоре.

Алик: Мы - как река. Нас сковали гранитные берега, но мы течем сами по себе.

Парийский: Иногда Алик говорит умные вещи. А ведь он родился в тюрьме. Да, мать-алкоголичка родила его в тюрьме. Отец у Алика тоже был алкоголиком. И мне кажется, если бы не наши ребята, в том числе я, то Алик бы давно уже спился. С детства он ходил ко мне, читал мои книги, играл со мною в шахматы, занимался в кружке изобразительном в доме пионеров. Он шел по моему следу и выстоял. Больше того, окончил архитектурный институт...

Алик: Чтобы проектировать Бескудниковский бульвар. Одно название - Бескудниковский - меня страшит. В этом названии слышится что-то беспардонное, хамское, бандитское... Когда я слышу это название, то вижу желтые бараки, пьяные рожи, поножовщину... Я не виноват в этом! Не виноват!

Парийский: В чем не виноват?

Алик: В том, что напроктировал пятиэтажных барачков! Серость! Иногородние живут! Москвичей нет! Культуры нет! Вся Москва - это Бескудниково!"

- Юраш, кончай стучать! - сказал Алик, поднялся с телевизора и пошел в комнату.

Следом пошел Клоун. Алик заглянул через плечо Парийского в текст.

- "Москва - это Бескудниково!" - прочитал он и усмехнулся. - Неплохо.

- Я же говорю, что пьеса пишется экспромтом и набело. Более того, лучшая пьеса та, которая не имеет текста. Волович, кажется, это начал понимать.

Алик слушал Парийского, глядя в одну точку, серьезно, покачивая головой, глаза его поблескивали, и он изредка бормотал:

- Возможно. Возможно. Возможно...

У пишущей машинки на столе горела яркая лампа. Трехрожковая же люстра горела тускло, и поэтому свет настольной лампы резал глаза. Алик зажмурился, затем сказал:

- Вся эта наша пьеса - лажа! Дурака валяем от нечего делать! А таланту - с гулькин хвост. Вот и пыжимся на уровень гениальности! Кругом серость, и мы - серость, и все люди - серость, потому что живут вслепую! Никто ничего не знает. Отвлекаемся разными химерами: работой, театром, телевизором! Серость, серьезная серость. Главное ведь, посудите, каждый знает, что подохнет, ан нет, нос задирает, мол, вкладывает свою лепту в общее дело! Что это за дело? Никак не пойму! Кто меня спрашивал, чтоб мне родиться на свет? Никто не спрашивал! Легли в постель предки и сотворили меня самым примитивнейшим способом, даже противно! Ну, ладно, родился, въехал, так сказать, в общество человек, и что же я вижу? Серость, серость, серость. Чем тупее, наглее тип, тем он выше продирается и еще ссылается на народ! Что это такое за дубина - народ? Продукт слепого процесса! Не более того. Скотоподобие. Рождаемся зверями, скотами. Путь от скота до человека духовного - огромен. Я хочу проделать этот путь, но серость мешает, среда заедает! Буду говорить штампами, давно известными, потому что это давно известное никому, как выясняется, не известно. Я банален, как продукт слепого процесса! Мне жрать нужно и, чтобы не подохнуть от безликого скотоподобия, пить вино. Открывать себя иным мирам.

- Это в пьесу не пойдет, потому что на самом деле банально! Да, Алик, говоришь ты одними общими местами! - проговорил Парийский тоном человека, вполне уверенного в том, что в этом мире нет необходимости произносить банальности, пусть и правильные, - все равно, мол, толку никакого не будет.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Алик как-то равнодушно махнул рукой, вышел на кухню, налил вина и выпил. Утерев рот рукавом, воскликнул:

- Спой, Витек, ублажи душу банального человека! Клоун встал у плиты, подбоченился, выставил ногу вперед и начал:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Бориса Букреева!

Парийский прервал:

- Что он у тебя то Иван, то Борис!

- Я сам не знаю, - сказал Клоун и запел:

Соловьи, соловьи,  
Не тревожьте солдат...

Он пел тем высоким, пронзительным голосом, каковым, собственно, и поют солисты ансамбля пляски. При этом лицо Клоуна сияло радостью, глаза горели. Он пел и вытягивал шею, как будто собирался взлететь, для пущей убедительности этого намерения помахивал руками.

- Который час? - спросил Парийский, поправляя очки.

- Черт его знает! - отозвался Алик.

Парийский налил вина Клоуну, предложил:

- Выпьем за тебя, здорово веселишь!

- Нет, я больше не буду, - сказал с улыбкой Клоун и, подумав, продолжил: - И тебе, Юраш, не надо. Тебе сорок лет, и ты пьешь почти что каждый день! Ну, ладно, я мальчишка! Я и прикладываюсь за компанию, а так бы и не стал. Когда один - не тянет, понимаешь. Мы теряем время! Давно бы пьесу набабахали. С вином же - тянем ее, тянем, и толку пшик. Алик прав, наша пьеса - лажа, хотя само слово "лажа" мне не нравится. Она не получается потому, что ты механически переносишь нашу жизнь на сцену. А механический перенос не годится, потому что, на мой взгляд, жизнь и сцена - совершенно разные вещи. Ну, кому интересно видеть и знать, что ты уже почти что алкоголик!

- Я алкоголик?! - обиженно воскликнул Парийский и побледнел. - Вот уж от кого не ожидал, так от тебя, Витек! - он покачал головой и отвернулся к окну.

Но Клоун не обратил внимания на это замечание. Судя по взволнованному виду, он и не думал останавливаться.

- Типичный алкоголик, клянящий судьбу! Знаешь, мне противно иногда бывает тебя видеть: маленький, тщедушный, бледный, дро-

жащий, а туда же - философствовать, пьесы с листа играть! Противно. И на тебя, Алик, смотреть противно, - Клоун отошел к раковине, в которой валялась неубранная шелуха от картошки. - Ты, как щенок на поводке, за Парийским ходишь. - Клоун включил воду, подставил под струю руку и затем провел влажной ладонью по лицу и волосам. - Какая-то бессмыслица. Но в банальностях Алика больше проку, чем в твоих оригинальностях. Я сам есть продукт серости и никогда не буду это выносить на сцену, потому что в этой серости не только нет никакой загадки, там нет даже того, что мы привыкли называть народной мудростью. Если мудрость в том, чтобы жрать, бить морды и спать, то увольте меня от этой мудрости. Свернуть шею мыслящим людям - это еще не значит устроить общество совершенно. Я вот сам учусь у тебя, прошу ночлега, потому что я - из самой гущи серой массы. У тебя, - Клоун обратился к Парийскому, - хоть дед был священником, отец учителем, а у меня - неграмотные, страшные, серые люди. Что их образ жизни? И мать и отец из деревни. А что такое деревни их? У отца изба топилась по-черному - дым в потолок. Ходили в онучах. Книг никогда не читали и гордились этим. Ходит на завод, вечером храпит после четвертинки. Мать толстая, как свиноматка, двух слов связать не может. Газету прочитать не может! А соседке волосы вырывает вполне успешно за то, что та существует в коммуналке, рядом. Для чего живут? Мне стыдно, что у меня такие родители. Но что мне делать? Я плоть от их плоти, и никуда мне не деться! Они же в Москву протырились через шахту метрополитена! Значит, доброе дело все-таки сделали, и я родился в Москве. И, знаете, прямо-таки дорвался до книг. С каким-то мщением за всю безграмотную серость предков вгрызаюсь в эти книги, потому что хочу многое знать, обогащаться знанием, быть культурным, с себя положить начало интеллигентности рода!

- Ну и клади, - вяло сказал Парийский, - но зачем же другим в душу плевать? Ну, какой я алкоголик? Я пью от тоски по совершенству, которого не вижу кругом. Алкоголик... Да я простой бытовой пьяница...

- Я тоже не алкоголик! - поддержал Алик, посапывая носом. - Молод еще старших-то поучать! Он из крестьян, видите ли! Ну и что! А я из угольников! В тюрьме же мать меня родила и без моего согласия, повторяю!

- Это он от молодости бунтует, - сказал Парийский. - Посмотрим, как он лет через десять - пятнадцать запоет. - И, оглядев Кло-

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

уна с ног до головы, добавил: - Есть все шансы стать патентованным алкоголиком. Тем более плохая наследственность - в деревнях одни алкоголики и жили!

Клоун молча подошел к столу, сел на стул.

- Давайте говорить только о себе, - сказал он и принялся развивать мысль дальше: - Да, только о себе. Обрыдло слышать эти клише: "Как и весь советский народ, одобряя и поддерживая...". Я, например, не одобряю это и не поддерживаю, когда от моего имени, как от малой части народа, что-то там пытаются оправдать...

Парийский снял очки, протер, сказал:

- Скучно мыслишь. Сам нигде не работаешь, из армии комиссовался... Тунеядец, одним словом.

- Я в ГИТИС поступать буду...

Парийский на это только махнул рукой:

- Кому ты там нужен!

- Спой лучше, Витек, - сказал Алик.

- Не буду.

- Обиделся, - сказал Парийский.

- Ничего я не обиделся.

- Вижу, что обиделся... Спой.

Клоун брезгливо поморщился, о чем-то думая про себя, затем, искусственно оживившись, звонко запел:

На солнечной поляночке...

Алик с Парийским чокнулись стаканами, выпили и заулыбались.

- Нет, ты полностью, - сказал Парийский, - с объявлением.

Преодолевая себя, Клоун воскликнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Бориса Александрова Иван Букреев. "На солнечной поляночке". И с игровым напряжением запел:

На солнечной поляночке,

Дугою выгнув бровь...

- Очень хорошо, очень хорошо! - потер руки Парийский, медленно поднялся и, покачиваясь, побрел в комнату к солдатской койке.

Когда он заснул, Алик тихо сказал Клоуну:



- Зря ты на него напал. Он отличный парень.

Клоун пожал плечами, промолчал.

- Отличны-ый па-рень! - чуть громче повторил Алик. Было видно, что он начал хмелеть. - О-отличны-ый! - повторил он.

На лице у Алика было торжествующее выражение, словно он этим словом "отличный" что-то доказал и словно радовался, что получилось точно так, как он предполагал.

- Частями, - сказал Клоун, глядя на лицо Алика, на котором лежали густые тени под глазами.

- О-отличны-ый.

- Да и черт с вами! - вспыхнул Клоун и выпил целый стакан. - И я такой же отличный!

Алик ухмыльнулся и положил руку на плечо Клоуна.

- Зна-аешь, критиковать дру-угих мы мастаки... А бревна в сво-оем глазу не видим! Во-от! Это тебе автор проекта Бескудникова говорит. Архитектор высшего класса, которого за это Па-аскуд-никово жи-ивьем в землю закапывать мо-ожно!

Клоун вздохнул, принес из темной комнаты матрац и, расстелив его в комнате у стеллажа, лег. Алик погасил в комнате свет, прикрыл дверь. Слышно было, как он гремел стаканами, вздыхал, сидя за кухонным столом. Сквозь щель в комнату бил узкий луч света и падал на пол возле лежащего Клоуна. Клоун не мог сразу заснуть, думал о будущем, улыбался в темноте и представлял, как он, будучи уже знаменитым актером, будет выходить на сцену, играть в какой-нибудь превосходной пьесе, которой еще нет на свете, но непременно она - эта пьеса - будет к тому времени написана: пьеса мудрая, с философской глубиной в каждой фразе, с энергичным действием и трагичным финалом.

Клоун протянул руку к лучу и заснул с улыбкой на лице. Утром его разбудил Алик. Собственно, утра еще не было. Пять часов.

- Голова гудит, - сказал Алик. Чем бы похмелиться?

- Иди ты к черту! - сказал Клоун, поворачиваясь на другой бок.

Скрипнула сетка кровати.

- Алик, дай водички попить, - стонущим голосом попросил Парийский.

К восьми Парийский был одет и дрожащей рукой бросал таблетки в рот.

- Фу, - вздыхал он. - Как алкоголик!

- Ребята, дайте подремать, - сказал Клоун, зевая.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Я на работу не пойду, - сказал Алик. - Совру, что трубу паровую прорвало.

- Я бы тоже соврал, - вздохнул Парийский, надевая шапку. - Но сегодня эксперимент.

- Юраш, оставь червончик, а? - попросил Алик, смущенно отводя глаза в сторону.

- Придешь вчерась, получишь мукой! - с напускным раздражением бросил Парийский, сверкнул на него очками так, как будто впервые видел, и пошел в клинику.

Клоун умывался, расчесывал свои длинные густые волосы. Настроение у него было неважное. Он думал о том, что нужно устраиваться работать, но неинтересная работа пугала его, о том, что нужно показаться дома, но как вспоминал пятнадцатиметровую комнатку в бараке, пьяного отца и тупоумную мать, желание это само по себе отпадало. Клоуну было стыдно за вчерашнюю речь о родителях, потому что, думал он теперь, какими бы они ни были - они все-таки родители, и с ними нужно поддерживать хорошие отношения. Пожалуй, нужно к ним съездить.

Когда Клоун уехал, Алик лег на солдатскую койку и проспал до прихода Парийского. Широко зевая, Алик спросил:

- Принес чего-нибудь?

Парийский хмыкнул неопределенно, нагнулся и достал из-под кровати никелированную ванночку с гинекологическими инструментами, блеснувшими в неярком свете трехрожковой люстры, включаемой Парийским и днем и вечером в связи с тем, что зарешеченное окно было маленькое и дом был старинный, маленький, а перед окнами чернел частокол деревьев, зимой еще более или менее пропускаявших кое-какой свет, а уж летом - тьму зеленую хранивший.

- Прояви выдержку, - наконец с улыбкой сказал Парийский. - Сейчас одна на аборт придет. Давай-ка быстренько подготовимся. Ты мне проассистируешь!

Алик сразу же одним махом вскочил с койки и принялся за дело: налил воды в никелированную ванночку с инструментами и поставил ее на плиту кипятиться. Парийский тем временем готовил "операционную", смежную комнату, в которую дверь вела сразу из прихожей. Ход в ту комнату прежде был и из комнаты Парийского, дверь сохранилась, но теперь там стоял стеллаж, заставленный книгами.

И дверь была забита. Разведенная жена жила у родственницы.

- Еле провел сегодня эксперимент, - сказал Парийский, доставая из портфеля белый халат и надевая его. - Колотун бьет, а мне зонд в сердце больной заталкивать. Ну, хорошо, Тамара грамм пятьдесят спиртику поднесла. Оклемался. Рука не дрогнула.

Алик что-то промычал в ответ из-под холодной воды: он освежил голову.

- Дал бы мне пятьдесят грамм, если есть, - сказал он.

Подумав, Парийский сделал лицо чрезвычайно серьезным, как подобает врачу перед операцией, затем извлек из портфеля бутылку водки, откупорил зубами и, подняв стакан до уровня глаз, нацедил в него ровно пятьдесят граммов.

- Выспался? - спросил он, когда Алик махом выпил.

- Да... Очень, - сказал Алик и зевнул. - На работу не пошел. Сплю не вовремя, питаюсь плохо, каждый день пью... не здорово все это. Прежде все куда-то спешил, горел, носился с проектами... Потом увидел, что никому не нужны мои архитектурные старания. Никому. Нет частной инициативы, все запихнуто в центрифугу тоталитаризма... Нехорошо! Клоун, по-моему, прав, спиваемся мы, Юраша! Вернее, уже спились, возврата назад нет. Я по себе это чувствую. Как чуть трезв, тоска заедает. Все опротивным кажется. Именно опротивным. Буду ваять новые слова! А выпьешь, так все сглаживается, как будто плохонькую картину лаком покрываешь, и - ничего, смотрится.

Вдруг на глазах Алика показались слезы.

- Ладно тебе, - сказал Парийский, вздыхая.

Алик уставился заплаканными глазами в окно, на черный лес деревьев.

- Обидно, Юраш, - продолжил он. - Я ведь до чего дошел, на женщин не смотрю, тебе ассистирую. А никакого чувства не вспыхивает. Вялый я стал. Это в сорок-то лет!

В шкафчике над раковиной Парийский нащупал нашатырный спирт, открыл, понюхал едкий запах.

- Что ж делать, - вздохнул Парийский. - Наследственная патология: мать алкоголичка, отец алкоголик. Родился в тюрьме.

- Да, в тюрьме, - подтвердил Алик.

- В общем, плохи наши с тобой дела, - сказал Парийский, - поэтому грустить нам не следует. Сейчас придет бабенка, абортиру-

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

ем ее и вздрогнем! Ты бы хоть чайку поставил, - сказал он Алику.

- Я искал, не нашел, чаю нет.

- У меня пачка в письменном столе, в углу.

Алик пошел в комнату.

Раздался звонок в дверь. Парийский пошел открывать. Послышался женский голос, усилился у двери в кухню и затих в дальней комнате.

На плите кипели инструменты. Алик, заварив чай, снял инструменты с огня, слил воду в раковину, наполнив кухню туманом, и отправился с ними в "операционную".

Через некоторое время он вернулся, воровато оглянулся и налил себе треть стакана водки. Только поднес к губам, как раздался звонок в дверь. Подумав, Алик все же выпил, спрятал бутылку под стол и пошел открывать.

Оказалось, приехал Клоун. Он ежился в своей короткой куртке, был красен с мороза. Раздевшись, Клоун прошел в кухню и сел к столу.

- От тебя приятно пахнет водкой, - сказал он Алику и, помедлив, вытащил из внутреннего кармана старенького пиджака бутылку. Это тоже была водка. Поставив бутылку на стол, Клоун сказал: - Мать червонец дала. Жалеет она меня. Приехал, вошел в коридор, а она моет пол. Чулки коричневые ниже колен спадают, платье какое-то драное, волосы седые. Вот, говорит, подработала, на тебе, - и достает с груди, из-под лифчика, десяточку, поешь хоть и сигаретки купишь. Так это сказала - "сигаретки", что я чуть не разрыдался. Вошли в комнату, а мне противно и за них, и за себя. Как в тюрьму пришел. Тоска в комнате, хоть вой. Две кровати с никелированными спинками, какие-то допотопные половики над кроватями прибиты вместо ковров, на столе - сковорода с гречневой кашей. Чуть меня не вырвало. Червонец в зубы и - бежать. Взял бутылку, и на душе легче стало. Думаю, сейчас приеду, там Юраша, Алик! Свои, хорошо. Можно философствовать, читать стихи, быть самим собой. Знаешь, я с матерью чужим себя чувствую. Как иностранец, на разных языках говорим: я ее не понимаю, она - меня. Об отце и речи не идет - каждый день пьяный с завода приходит. Обычных слов не знает. Однажды спрашивает: "По чему трамвай ездит?" Забыл он слово "рельсы". Понимаешь? Я ему подсказал, а он говорит "по рейсам". Да не по "рейсам", говорю, а по рельсам. Он - не понимаю, говорит, что еще за "рейсы" такие.

Коверкают слова так, что страшно становится! Ну их к черту, плеебеев!

Проговорив столь длинную речь, Клоун взволнованно встал и заходил из угла в угол. Алик сочувственно смотрел на него, затем вытащил из-под стола початую бутылку, налил Клоуну и себе и сказал:

- Не бунтуй, привыкай, привы-ыкнешь!

- Ну, вот, право...

Выпили без закуски. Клоун поморщился, сказал:

- Алик, сходил бы зажевать чего взял. А то я так намерзся, в Перво-то таскаться. Трамвай двадцать минут ждал.

- Я пустой, - сказал Алик.

Клоун покопался в карманах, сунул Алику трояк, затем, подумав, добавил еще пару рублей.

- Возьми еще красенького, что ли, полакироваться, чтоб уж не бегать больше!

Алик оживленно сунул деньги в брюки и, накинув в прихожей, темной и тесной, свой полушубок, помчался в магазин.

В дверях показался Парийский. Он был бледен.

- Никак кровотечение остановить не могу, - сказал он растерянно и развел руками: - Пойдем, поможешь...

Клоун неопределенно пожал плечами и нехотя пошел с Парийским в "операционную".

На квадратном столе, покрытом выцветшей клетчатой клеенкой, возле бутылки водки появился черный жирный таракан, пошевелил усами, словно принюхиваясь, затем быстро отбежал к краю стола, у окна, круто развернулся, словно призывая кого-то, и посеял хлебные крошки, оставшимся со вчерашнего дня. Следом на столе появились сотоварищи прусака, штук пять упитанных тараканов, гуськом направились к крошкам.

В это время из норы под раковиной выскочила остроногая мышь, принюхалась, ловко взобралась на плиту, а там в незакрытую сковороду, где стлыли остатки вчерашней жареной картошки, и принялась быстро и жадно есть.

Когда послышался голос Парийского: "...транквилизаторов не глотаешься, потом на водку хорошо ложится..." - кухня мигом опустела: тараканы - в щели в полу, мышь - в норку под раковиной.

- Ну, хорошо, остановили, - сказал Парийский, принимаясь мыть руки под краном. - Я даже испугался.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Клоун смущенно посмотрел в окно.

- Противно, - сказал он.- Копаться в этом... А она красивая...

И фигура...

- Полновата... Такие бедра! - сказал с улыбкой Парийский.

- Я люблю такие бедра, - кашлянув и покраснев, сознался Клоун. - Ты меня поражаешь спокойствием, Юраша! А я стоял в каком-то любовном экстазе!

Парийский вытер руки о полу халата, снял очки, протер их другой полый халата, надел на нос и, пристально взглядевшись в лицо Клоуна, сказал:

- Так, влюбился? Вижу - влюбился!

- Ты обедал в клинике? - поспешно сменил тему Клоун.

- Нет, не обедал.

- Так вот кстати и пообедаем. Я Алика послал за закусоном.

- Вообще, надо сказать, я горячего дней десять не ел, - сказал Парийский обиженным тоном. - Да и аппетиту как-то нет.

Внезапно на кухне погас свет. Хотя на улице был день, зимний день, день солнечный, в зарешеченное окно слабо лился серенький свет.

- Всю жизнь со светом живу! - возмутился Парийский. - И какой дурак насажал под окнами деревьев!

- Вырубим! - воскликнул Клоун. - Вон Алик придет, и вырубим с ним!

- У меня топора нет, - сказал Парийский. - Да и соседи со второго этажа завопят. Им что, к ним солнце попадает!

- Пила есть?

- Пила должна быть, в сортире посмотри.

Клоун сходил в уборную и через некоторое время вернулся в кухню с большой двуручной пилой, тупой и ржавой.

- Напильничек бы. Поточить, - сказал он, трогая пальцем крупные зубья пилы.

- Посмотри в нижнем ящике письменного стола, - сказала Парийский, снимая халат.

Когда вернулся Алик, Клоун сидел на телевизоре с зажатой между коленями пилой и водил по зубьям трехгранным личным напильником: взжих-взжих-взжих. Пила гудела.

Алик удовлетворенно потер свой крючковатый красный нос, крякнул от удовольствия и выставил на стол две большие бутылки вермута.

Клоун перестал водить напильником по пиле, удивленно уставился на Алика, спросил с досадой:

- А закусон где?

Алик выдержал паузу с улыбкой на покрасневшем от мороза лице, затем извлек из кармана, сырок, плавленый, в серебристой обертке, за 15 копеек, и торжественно произнес:

- Вот он, закусон!

Парийский рассмеялся, Клоун огорченно вздохнул и продолжил точку пилы: взжих-взжих-взжих.

- Грей картошку! - наконец сказал он.

Алик чиркнул спичкой, включил газ под сковородой с холодной картошкой. Из дальней комнаты послышался женский голос:

- Юрий Владимирович, мне можно уже уходить?

Парийский спросил:

- Который час?

Алик принес громко стучащий будильник из комнаты. Поставил на стол, циферблатом к Парийскому.

- Семь минут четвертого, - проговорил Парийский и, подумав, встал из-за стола и пошел к пациентке.

Клоун поспешно отложил пилу и пошел следом. Алик шевелил алюминиевой ложкой шипящую на сковороде картошку, затем, вглядевшись в угол возле ванны, обнаружил там луковицу, поднял ее, почистил и порезал к картошке. Запахло жареным луком.

Вернулся Парийский с деньгами в руках. Он шелестел, пересчитывая, разноцветными бумажками.

- Пятьдесят? - спросил Алик.

- Семьдесят, - ответил сосредоточенный Парийский. - За сложность. Я ее предупреждал. Как видишь, согласилась.

- Жить всем надо! - усмехнулся Алик, продолжая шевелить картошку.

В кухню влетел Клоун, налил полстакана водки, махом выпил, выхватил у Алика ложку, подцепил жареной картошки и, обжигая рот, закусил.

- Вкусно, - сказал он. - Я провожу Ларису!

Парийский, усмехаясь, засунул деньги в бумажник и сел к столу.

- Надо б лампочку вернуть, - сказал он, щурясь в полумраке кухни.

- Я быстро, провожу и назад! - вскричал Клоун и исчез.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Алик бросил деревянный кружок на стол и поставил на него горячую сковороду.

В прихожей зазвонил телефон. Парийский лениво поднялся, пошел к трубке. Послышалось его односложное:

- Дуй!

- Кто там? - спросил Алик, наливая себе и Парийскому.

- Поляков.

Выпив, друзья навалились на картошку и быстро съели ее. Без хлеба.

- Эх, придется заначку доставать, - сказал Парийский и пошел в прихожую. Вернулся он с банкой баклажанной икры. - Открой-вай, Алик! Аппетит пошел.

За окнами совсем стемнело, когда пришел Поляков. Свет в кухню падал из комнаты, от трехрожковой люстры. Желтая трапеция этого света лежала на столе. Парийский сидел спиной к двери из комнаты, поэтому его лицо было в тени, а лицо Алика с крючкова-тым носом было освещено этим желтым светом и казалось воско-вым, с лиловыми кругами под глазами.

Поляков тут же выкрутил лампочку из настольной лампы и, встав на стул, ввинтил вверх. Кухня осветилась и сразу же умень-шилась в размерах.

- Свет крадет пространство! - тут же заметил Алик.

- И не говори, - сказал Поляков, присаживаясь к столу.

Алик убрал пустую бутылку под стол, открыл вилкой другую, налил Полякову. Выпили. Поляков осторожно развернул сырок и отщипнул пальцами уголок белой массы.

- Как мне все надоело! - вдруг воскликнул Поляков, и на его широком рыхловатом лице выразилась досада. - Юраш, ну ты бы смог жить с недоделанной, а? Ведь договорился, что повезу ее се-годня к тебе, а она вздумала за хлебом пойти. Ну, пошла, курва, и пять часов ходила! Я отпросился с работы, сидел как дурак, ждал ее, а она! Сам знаешь, как она ходит! - Поляков вскочил из-за сто-ла, скорчился, перекасобочился, высунул язык, скосил глаза и сделал два спотыкающихся шага, таких, которые характерны для больных полиомиелитом. - Упала где-то, поскользнулась, не мо-гла подняться, никто не поднимал... В общем, черт ее поймет! При-шла окоченевшая, синяя. Мать в слезы. Я психанул, шапку в руки. Как так жить дальше! Все в одной комнате. Она же больная, а на очередь с трудом поставили, говорят, года через три дадут квар-



тиру. Денег не хватает: мать шестьдесят рублей получает, и я семьдесят!

Парийский вздохнул, сказал:

- Знакомо. Социальный портрет выходцев из деревни.
- А мне хочется сказать вам что-нибудь приятное, веселое!

Поляков достал расческу и принялся причесывать свои белые мягкие волосы. Дунув на расческу и убирая ее в карман, подмигнул Алику и сказал:

- Скинемся?
- Чего скидываться. Полбутылки водки еще осталось да пара бутылок вермута...
- Не, я вермут не буду! - сказал Поляков и выложил на стол мятый рубль.

Парийский поспеел носом, подумал, затем накрыл этот рубль червонцем и сказал:

- Тебе и бежать... Да-с...
- Я не против! - улыбнулся Поляков, завидев красненькую.
- Только возьми чего-нибудь поесть, - сказал Парийский.

Раздался звонок в дверь. Поляков, готовый идти в магазин, столкнулся с Клоуном.

Когда Клоун разделся и сел к столу, Парийский радостно потер руки, уютно привалился к спинке стула и сказал:

- Витек, давай, спой!

Клоун был в хорошем расположении духа, с лица не сходила улыбка. Он быстро выпил, закусил баклажанной икрой, встал, подбоченился, выбросил руку вперед и воскликнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Бориса Александрова Иван Букреев. "На солнечной поляночке"!

Парийский даже причмокнул губами. У Алика заблестели глаза от предвкушения удовольствия.

Клоун грянул:

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь,  
Парнишка на тальяночке  
Играет про любовь.

Про то, как ночи жаркие  
С подружкой проводил,

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Какие полушалки ей  
Красивые дарил...

Парийский с Аликом не выдержали, вскочили из-за стола и выстроились в линию рядом с Клоуном, выпатив по-армейски груди. Все дружно грянули припев:

Играй, играй, рассказывай,  
Тальяночка, сама  
О том, как черноглазая  
Свела с ума!

Хоровое пение прервал звонок в дверь, Парийский впустил Полякова и... Воловича с Инной.

- Знаменитая сцена - не ждали! - входя на кухню, громко и в нос, почти что гнусаво, проговорил долговязый Волович. Он всегда говорил таким голосом: высоким и гнусавым. С рождения.

Инна была в модных очках. Лицо ее было сильно накрашено.

Алик помог снять Инне шубу. Поляков выставил на стол три бутылки сухого и водку.

- А пожевать? - огорченно спросил Парийский.

- Закусывать аморально! - сказал Волович.

Поляков бросил на стол три плавленых сырка, сказал:

- Думал-думал и... чтобы не бегать, взял по полной программе!

Когда выпили, в комнате стало как будто светлее.

- Что такое морально, аморально? - проговорил Алик.

В связи с отсутствием места Инна сидела у Воловича на коленях.

- У нас есть страстное желание жить, - задумчиво заговорил Клоун. - Есть желание продолжать жизнь, и есть страх перед уничтожением этой жизни. Моральное, следовательно, заключается в том, что служит сохранению и развитию жизни. Аморальное же уничтожает жизнь или препятствует ей. Короче, моральное - это добро. Аморальное - зло.

- Умно! - усмехнулся Волович и выпил сухое вино, смешанное с водкой.

Клоун несколько смутился от замечания Воловича, но спиртное действовало растормаживающе на психику, и Клоун спокойно продолжил:

- Фактически можно все, что считается добрым в обычной нравственной оценке отношения человека к человеку, свести к материальному и духовному сохранению и развитию человеческой жизни и к стремлению придать ей высшую ценность.

Поляков вскинул удивленный взгляд на Клоуна, как бы поражаясь, что тот может так рассуждать, и выдохнул:

- Хорошо сказал: высшую ценность! Хорошо...

Клоун продолжил развивать мысль:

- И наоборот, все, что в отношениях людей между собой считается плохим, можно свести в итоге к материальному и духовному уничтожению или торможению человеческой жизни, а также к отсутствию стремления придать жизни высшую ценность. Так что добро и зло - стороны одного и того же процесса: жизни. Поистине нравствен человек только тогда, когда он, следуя душе своей, помогает любой жизни, которой он может помочь, и удерживается от того, чтобы причинить живому какой-либо вред. Для него священна жизнь, как таковая...

Парижский некоторое время был мрачен, затем вдруг рассмеялся и сказал:

- Ладно, непротивленец, сбаци нам что-нибудь для поднятия жизненного тонуса. То есть, говоря твоими словами, помоги живой жизни жить!

Инна, порозовевшая от вина и умных разговоров, захлопала в ладоши.

Клоун медленно вышел на середину кухни, вскинул руку, растянул рот в улыбке и объявил:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра ЦСКА Иоган Букреев. "Давно мы дома не были".

Инна улыбнулась, а Волович легонько поцеловал ее в щеку. Возвышенным тенором армейского солиста Клоун грянул:

Горит свечи огарочек,  
Гремит недалний бой...  
Налей, дружок, по чарочке,  
По нашей фронтовой...

И тут же, не допев куплет, Клоун крикнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александра Иван Букреев. "Дорожная песня".

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Голос Клоуна зазвучал на пронзительно верхних нотах, как голос Робертино Лоретти:

Лучами красит солнышко  
Стальное полотно.  
Без устали, без устали  
Смотрю, смотрю в окно...

И тут же объявление:

- Слова А. Суркова, музыка М. Блантера... Запел:

Для нас открыты солнечные дали.  
Горят огни победы над страной.  
На радость нам живет товарищ Сталин,  
Наш мудрый вождь, учитель дорогой...

Клоун закончил, мрачно сел к столу и после некоторой паузы сказал зло, резко:

- За одну эту песню Суркова с Блантером нужно подвесить за одно место!

Алик посопел носом, возразил:

- А как же насчет способствования сохранению жизни?

Все засмеялись, а Клоун махнул рукой:

- За это место, на которое ты намекнул, не подвешивали блантеров с сурковыми, - сказал Волович. - Это место зажимали во внутренней тюрьме дверями и добивались любого признания! Чего хочешь добивались, ломали людей... Куда там инквизиции! Какие-то станки пыточные, приспособления. А тут ничего не надо: это место защемляют дверью - и готово! Наш директор клуба как-то рассказал. Оказывается, он гэбэшничал в самый разгул... Так-то...

- Как это страшно! - воскликнула Инна. - Как мы все напуганы террором...

- Да не все, не все! - вскричал Клоун. - Этому директору до лампочки, моим предкам - до лампочки, вообще всем, кто не прикоснулся к духовности, - до лампочки. Их никто никогда не трогал! Понятно! Били и бьют мыслящих, духовных людей, то есть интеллигенцию. Она всегда помеха. Потому что совестлива и врать не может! - Клоун замолчал, затем сказал: - Алик, пошли пилить вишневый сад!

- А там, правда, вишни? - спросила Инна.  
- Вишни, - сказал Парийский.  
- А вам уже известно, что ваш вишневый сад продается за долги, на седьмое декабря назначены торги, но вы не беспокойтесь, моя хорошая, спите себе спокойно, выход есть, - проговорил Клоун, поднимая над головой двуручную пилу.

Волович спросил у Клоуна:

- Разрешите бросить реплику?

- Буду рад, - сказал Клоун.

Волович:

- Извините, какая чепуха!

Инна:

- Вырубить? Простите, вы ничего не понимаете. Если по всей Язуе есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только вишневый сад.

Парийский:

- Замечательного в этом саду только то, что он закрывает собою весь свет в окнах. Вишня не родится. Весной лишь хорошо цветет белым, как невеста в фате. Но я во двор лет двадцать не выходил, да и делать там нечего.

Клоун взял пилу за спину, как опытный пильщик, и согнул ее. Алик оделся, перехватил пилу. Оделся и Клоун. Они ушли.

Через некоторое время послышался достаточно отчетливый, пилящий звук из-за окна.

- Скоро Новый год, нужно покупать елку, - мечтательно произнесла Инна.

Волович погладил ее по волосам.

- Мы пойдем в ту комнату? - спросил Волович у Парийского.

Парийский неопределенно подмигнул и склонил голову. Как хотите, так и понимайте: нужно - идите, не нужно - сидите.

Инна потянулась, встала с коленей Воловича, и направилась через прихожую в "ту" комнату. Волович направился следом.

- Дозволено цензурою, - сказал Поляков, проводив их взглядом, насмешливым и едким.

- Отрицать, верить и сомневаться так же свойственно человеку, как лошади бегать, - сказал Парийский, разглядывая розоватую этикетку на бутылке вермута. - Не нужно иметь слишком возвышенной души, чтобы понять, что в этом мире нет вовсе удовлетворения истинного и прочного, что все наши удовольствия толь-

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

ко суета, что наши бедствия бесконечны, что, наконец, смерть, ежеминутно нам угрожающая, должна неминуемо в короткое время довести нас до страшной необходимости, или навек исчезнуть, или нам уготовано вечно быть несчастными. Как бы мы ни храбрились, это - конец, который ожидает и самую прекрасную в мире жизнь. Стоит только подумать об этом, и придется сказать, что благо в этой жизни обусловлено надеждой на другую жизнь - вечную... Там, далеко... Через сто лет люди обретут, может быть, эту надежду, а мы... мы живем на разломе духовности, в сокрушительном безверии, в потере координат мудрости, когда невежество одержало единодержавную победу над плюрализмом интеллекта...

- Где твоя гитара? - спросил Поляков, вставая из-за стола.

- Там, - кивнул грустно расфилософствовавшийся Парийский на свою комнату.

Из-за окон неслось: взжи-взжи-взжи...

- Пилят, - вздохнул Парийский, - вопреки драматургии пилят. Нужно рубить, а они пилят мой вишневый сад. Послышался звон струн, Поляков вышел с гитарой.

Ботиночки дырявые,  
Один хожу-брожу  
И пальцами корявыми  
Подошвы шевелю,  
Ой-ой, ей-ей,  
Да по асфальту...

Голос у Полякова был высокий, тоскливый и чуть-чуть хрипловатый.

Парийский посмотрел в потолок и вновь заговорил:

- Я, умеющий думать, полный идиот, дурак, потому что не знаю, кто меня послал в мир, чтобы узнать мир. Я не знаю, что такое я...

За окнами продолжала звенеть пила. Поляков вполголоса пел:

Ой-ой, ей-ей,  
Да по асфальту...

Парийский говорил:

- Я в ужасном и полнейшем неведении. Я не знаю, что такое мои мысли, что такое мои чувства, что такое моя душа, что такое

эта самая часть моего “я”, которая думает то, что я говорю, которая размышляет обо всем и о самой себе и все-таки знает себя не больше, чем все остальное. Я вижу эти ужасающие пространства вселенной, которые заключают меня в себе, я нахожу себя привязанным к одному уголку этого обширного мира, не зная, почему я брошен именно в этом, а не другом месте, почему то короткое время, которое дано мне жить...

За окнами звенела пила, повизгивала: “знай, знай, знай...”

Поляков хрипловато подпевал:

Ой-ой, ей-ей,  
Да по асфальту...

- Я вижу везде туманные бесконечности, которые поглощают меня в себе, как атом, как тень, которая продолжается только момент и никогда не возвращается... Все неопределенно шатко. Поэтому невежды, опасаясь духовного произвола, все организуют в схему, в план, в сценарий, чтобы спокойно знать, что будет завтра. Они сегодня строят вилами на воде свое планомерное завтра и от этого впадают в ужасную скуку, в тоску, поэтому разрывают себя на две субстанции - одна для схемы-плана, другая для темной комнаты, где грудастые жены или любовницы обвиняют их дряхлые тела, как холодные змеи. Не зная, откуда пришел, я точно так же не знаю, куда иду. Говорят, что живем для будущего. Хорошо. Предположим, это так. Но какими идиотами были те миллиарды моих предков, которые готовили мне это будущее, в котором оказался теперь я. Оптимистом, разумеется, хочется быть, хочется верить, что через сто, двести, тысячу лет люди вкусят бессмертия, откроют для себя завесу, скрывавшую тайну этого бесконечного тиражирования человеческих жизней. Привет вам от алкоголика Парийского из 1969 года! Привет всем интеллигентам-плюралистам от подпольщиков духа...

Ой-ой, ей-ей,  
Да по асфальту...

Донесся хруст дерева, падающего на снег.

Загремели какие-то металлические предметы в соседней комнате.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Перебирая струны гитары, Поляков сказал:

- Наверно, смысл жизни в том, чтобы стать интеллигентом и говорить такие же долгие и умные монологи, как ты, Юраша. Нет, что ли? Конечно, да. Но при этом не забывать, так сказать, о сфере материального производства, а то нас обыватели сгноят, как всегда гноили.

- Не люблю слова "обыватели"... Что это, кто это?

- Обыватели - живущие материально и не по совести. Интеллигенты - живущие мыслью и по совести. Совесть, по-моему, в первом приближении - суть христианские заповеди. Проще не скажешь...

Хрустнуло еще одно дерево и упало.

- Не люблю этих всеобъемлющих разговоров, - задумчиво сказал Парийский. - Как что, так давай - экономические рычаги, свободное время на культуру общества... Бред. Познай себя, не вреди другому, зарабатывай свой хлеб, и точка.

Поляков пригладил светлые волосы, сказал:

- Кто спорит. Конечно, свой хлеб и своя душа.

Зазвенела вновь пила за окном: "знай, знай, знай..." Поляков провел пальцами по струнам, запел:

Каким ты был, таким остался,  
Орел степной, казак лихой!..  
Зачем, зачем ты снова повстречался,  
Зачем нарушил мой покой?

В дверях показался Волович с улыбкой на узком лице. Волович заправлял рубашку в брюки. Подхватив мелодию, гнусаво затянул с Поляковым:

Зачем опять в своих утратах  
Меня хотел ты обвинить?  
В одном, в одном я только виновата,  
Что нету сил тебя забыть...

Инна медленно вошла, поглядывая на себя в маленькое зеркальце и подкрашивая губы. Инна подтянула:

Свою судьбу с твоей судьбою  
Пускай связать я не могла,



Но я жила, жила одним тобою,  
Я всю войну тебя ждала...

Краснолицый Клоун показался с пилой, поддержал с порога:

Ждала, когда наступят сроки,  
Когда вернешься ты домой...  
И горьки мне, горьки твои упреки,  
Горячий мой, упрямый мой!..

Алик вошел следом, от него вкусно пахло морозом. Улыбаясь,  
Алик присоединил свой голос к хоровому пению:

Твоя печаль, твоя обида,  
Твоя тревога ни к чему:  
Смотри, смотри, душа моя открыта,  
Тебе открыта одному...

Клоун, подбоченясь, голосом Букреева перекрыл:

Но ты взглянуть не догадался,  
Умчался вдаль, казак лихой...  
Каким ты был, таким ты и остался,  
Но ты и дорог мне такой.

Волович обхватил рукой подбородок, задумался, затем воскликнул:

- С этого же начинать нужно было... Затем в луче прожектора быстро появляется Парийский... Юраша, появляйся!

Парийский нехотя поднялся со стула, подошел к Воловичу.

- И читаешь что-нибудь... Страстно читаешь, - говорил Волович. - Что бы читать тебе? Надо что-нибудь о гражданской войне... У меня идея композиции созрела...

- Композиции?! - удивился Парийский. - А пьеса набело?

- Набело само собой, - быстро заговорил Волович, - но понимаешь, в доме художественной самодеятельности Аза требует прокат спектакль... Я не могу отказать. Слепим? И компромиссом небольшим отделаемся. Подумаешь, споем этих "Кубанских казаков", затем спляшем что-нибудь в ритмах Суворовой Маргариты, затем из Евтушенко что-нибудь, из Окуджавы, из Аксенова, а?

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Парийский молча сходил к книжному стеллажу, вернулся с Багрицким, полистал, нашел что-то, подумал и вдруг резко сделал шаг вперед, вскинул руку, голову приподнял, лицо сделал романтически напряженным и, не щадя голосовых связок, чеканно проскандировал:

На плацу открытом  
С четырех сторон  
Бубном и копытом  
Дрогнул эскадрон...

- О! То, что надо! - вскричал возбужденный Волович и, ухватив Инну за локоть, подтолкнул к Парийскому и сказал: - Пой, Инна, пой про девушек, а ты, Юраша, бери ее за руку, ноги вперед и - скульптура Мухиной "Рабочий и колхозница".

Инна и Парийский четко исполнили пожелание Воловича: один к одному, как говорится, получилась скульптура Мухиной. Инна запела:

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы!

Клоун выскочил вперед, замахал рукой и, подвывая, как Евтушенко, запричитал:

Бледные дружинники глядят, дрожа,  
Как синенькие джинсики дают дрозда!

Алик сидел у телевизора, подливал спиртного, выпивал и похотывал над балаганчиком. Потом бельевого веревкой обмотал телевизор, поднял его и потащил к выходу.

- Поеду отвезу, - сказал он Парийскому, который возбужденно выкраивал композиционную халтуру для проталкивания на конкурсе художественной самодеятельности с тем, чтобы студия могла жить в клубе на Раушской набережной.

- Куда ты на ночь-то глядя? - крикнул Клоун.

- Обещал, не могу подвести.

- Ну, давай, - сказал Парийский.

Алик оделся и, сгибаясь от тяжелой ноши, ушел.

- В пятницу - прогон! - сказал Волович. - Значит, так, весь монтаж - в одно действие - сорок пять минут, как футбольный тайм. Я подберу музыку. Инна - девушек, два стихотворения Берггольц о блокаде. Клоун - Евтушенко, Парийский - Багрицкий, Поляков - под гитару "казаков" и еще что-нибудь советское, я - какую-нибудь прозу...

- "В круге первом", - достаточно мрачно сказал Парийский, вздыхая протяжно.

- Погляди, Юраша, - прогнусавил Волович, - серьезно надо.

Парийский сходил к стеллажу, принес Катаева, проходного и ловкого советского графомана, как тут же аттестовал его Волович, и сунул книжку в карман. В книжке было "Время, вперед!".

- С отношеньцем все это сыграем! - воскликнул Волович и подмигнул Парийскому.

- Понятно, - проговорил тот.

Когда Волович и Инна ушли, Поляков тоже заторопился, напоследок выпил полстакана водки и, закусывая сырком, сказал:

- К бабе опаздываю...

- К даме, - поправил Парийский.

- К даме, то есть к абрикосам с пушком, - усмехнулся Поляков и расшифровал свою мысль: - Дороги, автомобили, мосты - ждут меня!

Был первый час ночи. Легли спать.

Свет был погашен. Клоун спросил:

- Понравилась тебе идея Воловича?

Парийский шевельнулся на кровати, чиркнул спичкой. Лицо осветилось кумачово-голубоватым светом. Закурил. Красный огонек маячил в темноте. Приятно запахло сигаретным дымком.

- По-моему, чепуха, но...

- Что "но"?

- Живем в эпоху всеобщего вранья. И нам соврать надо, но честно. Мы сделаем композицию с широкими швами, то есть проблемами, где подтекст будет читаться даже глухонемыми!

Клоун лежал в одежде на матрасе, брошенном у стеллажа. Парийский загасил сигарету, отвернулся к стене и, сунув очки под подушку, уснул. Клоуну сразу стало грустно, он почувствовал себя одиноким, не нашедшим своей обители в этом мире. Клоун смотрел в темный потолок и думал о том, что таких, как он, на этом свете много, да что там - на целом свете, таких мно-

го рядом, стоит лишь оглянуться. Вот, например, Парийский. Жизнь свою пустил по инерции, потерял семью, пьет уже не для веселья, а по необходимости, потому что организм требует алкоголя, как автомобиль бензина, иначе не поедет. А Поляков? Сестра - инвалид со страшным, искаженным болезнью лицом. А Алик Петросов? Кто ему мешает придумывать свои оригинальные проекты? Смирился в критике сущего, а своего нет. А сам Клоун? Полуфабрикат человека, заготовка в алкоголики, будущий актер?

Кто придет к ним и расскажет, что такое счастье?

С этими малоприятными мыслями, поворочавшись на жесткой постели, Клоун заснул.

Утром Парийский бродил в трусах по квартире, тяжело кашлял, вздыхал, искал остатков спиртного, чтобы опохмелиться. На работу он идти передумал, потому что дрожали не только руки, но и ноги, и спина, и голова, и волосы на ней. Не обнаружив спиртного, Парийский насыпал на маленькую ладонь таблеток, грустно посмотрел в темное еще окно и высыпал таблетки в рот.

Когда рассвело, проснулся Клоун. Из окна шел ослепительный снежный свет. Клоун радостно вскочил, отряхнулся и выглянул в окно: несколько деревьев лежало на притоптанном снегу.

Парийский спал. Клоун тронул его за плечо. Парийский открыл глаза, воспаленные, с расширенными зрачками, затем нащупал под подушкой очки и надел их.

- Который час? - спросил он хрипло.

- Одиннадцать, - сказал Клоун, заправляя рубашку, мятую и несвежую, в брюки, которых давно не касался утюг.

- Сгоняй в магазин, Витек?

- Я пить не буду!

- Не пей. Притащи мне. А то помру.

- Пошли прогуляемся, - сказал Клоун. - Смотри, день какой и свет какой. Правильно, что с Аликом спилили деревья...

- Сходи. Помираю.

- Да отчего ты помираешь. Я как ни в чем не бывало. Отличное самочувствие.

- Ты молод. Попьешь с мое, тогда вспомнишь.

- Пошли вместе, погуляем, отдышишься. Нужно тебе раскопаться, понимаешь? Что ты все, как старец, на койке лежишь! Вставай, пойдём, лучше станет...

Наконец, минут через сорок, Парийский поднялся и лениво оделся. Когда вышли из полутемного подъезда, в котором сильно пахло хлоркой, солнце ударило в глаза. Искрился снег. Небо было голубое. Воздух был прозрачен.

Клоун весело скатал снежок и бросил его в кирпичную стену. Снежок звонко прилип к кирпичам, как точка в конце фразы.

Парийский мрачно смотрел себе под ноги, шел неуверенной походкой, вздрагивал, руки держал в карманах пальто, и Клоуну было слышно, как он стучал зубами. К счастью для Клоуна, угловой магазин был закрыт на санитарный день. Парийский проскулил от разочарования. Безусловно, он рассчитывал поправить свое здоровье прямо в магазине, где его все знали и давали стакан в подсобке.

Пришлось идти на Солянку. Желтые особняки в солнечном огне плыли по Москве, покачивались, как лодки, в сознании Парийского. Ему было плохо, многочисленные прохожие раздражали, гул машин пугал.

Когда покупали бутылку, Клоун заметил, что у Парийского много денег.

- Жалко все пропить, - сказал он между прочим. - Хотя бы купил что себе!

Парийский молча, по-видимому ему не хотелось говорить или сил на разговор не было, вышел из магазина и направился в первый подвернувшийся двор. Вздрагивая, с необычайным напряжением сорвал зубами пробку рыжего портвейна и, закатив глаза, принялся жадно булькать из горлышка. Отпив треть бутылки, протянул Клоуну.

- Нет, я не буду. Противно, - сказал тот и отвернулся.

Солнце поблескивало в окнах. На карнизах светился снег. Через несколько минут Парийский удовлетворенно, вздохнул и, улыбнувшись, сказал:

- Витек, давай вполголоса Букреева...

Клоун со злостью сплюнул в снег.

- Обрыдло! - вскричал он. - Что я тебе, Клоун, что ли?!

- Конечно, Клоун! А так чего тебя держать...

- Меня держать?! - возмутился Клоун и побледнел. - Да, я свободный человек, я сам по себе, а то, что у тебя, ночую...

Парийский не обратил внимания на возражения, отпил из бутылки, затем заткнул ее пробкой и сунул во внутренний карман.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Свободный тот, - сказал Парийский, - кто у себя живет, никому не мешает, ни к кому не ходит... Впрочем, чушь все это.

Он вышел из двора. Клоун, расстроенный и подавленный, шел сзади.

У галантерейного магазина Клоун окликнул Парийского:

- Вон кофты мужские видно. Пойдем, купишь себе...

Зашли. У Парийского было прекрасное настроение. Он деловито осмотрел серую вязаную кофту, предложенную продавщицей.

- Хорошо, - сказал он. - И карманы по бокам, курево класть.

От кофты приятно пахло шерстью.

Парийский шел с покупкой по Солянке, улыбался и все просил спеть ему "На солнечной поляночке".

- Юраш, одолжи на дорогу, - вдруг сказал Клоун. - Мне к родителям съездить...

Парийский щедрой рукой нащупал в кармане горсть мелочи и протянул Клоуну.

Клоун шумно ссыпал мелочь в карман своей холодной куртки. Клоун неопределенно чему-то заулыбался, как будто вспомнил о чем-то приятном.

- А я бы сейчас еще служил, - сказал он, продолжая улыбаться.

- Эзков своих сторожить?

- Один попал за малолетку. Баскетболист. Читал мне Ахматову. Семь лет получил. А я-то за что, думаю. В красном уголке зоны с ним плакаты рисовали. Я и он - подобие людей на всю зону. Остальные чурки, арканом заловили и в роту охраны. Пару слов связать не могут по-русски. Тоска такая меня одолела, хоть вешайся. На офицеров смотреть не могу. Думаю, я здесь по необходимости, а они-то добровольно свою судьбу определили. Добровольно в тюрьме работают. Лица, словно топором сработаны. Знаешь, Юраш, есть такой тип людей: лицо не освещено ни одной мыслью. Им бы землю пахать, урожаем сеять, а они понацепляли звезд на погоны... Эх! Что там говорить, противно. Низменные интересы: где мяса достать, рыбы, водки, икры. Жрут, пьют, ряхи наедают, и ноль мысли на челе.

Парийский с доброй улыбкой сказал:

- Чтобы идти в тюремщики, в палачи, в стукачи и так далее, нужно одно условие: отсутствие совести, стыда. А так как эти качества не природные, не данные с рождения, их у этих идущих нет. Отсюда вывод: настоящая интеллигенция никогда не пойдет

ни в тюремщики, ни в стукачи, ни в палачи! Это реальность. И ее надо понимать. Мы не идем, а потом удивляемся, откуда там эти физиономии, не озаренные мыслью. Мы же им дорогу даем! И пусть. Потому что нам с ними не по пути, потому что мы живем в параллельной реальности. Ну, как, допустим, Земля вращается сама по себе, а Марс сам по себе. Так и они для нас, как Марс. Пусть вращаются...

Клоун посмотрел на Парийского с любопытством.

- Ты так рассуждаешь, потому что реальность мало тебя задевала. А я там, в зоне, за колючей проволокой, на вышке, с автоматом через день на ремень, в тесной казарме с малопривлекательными людьми. Не с кем словом перемолвиться. Одного баскетболиста и нашел. Ахматову читал и сокрушался, что из-за целки всю жизнь себе переломал. Сама отдалась, чтобы он женился, чтобы с ним за кордон ездить... А он не хотел пока жениться. Мамаша девицы и посадила. Наслушался я его, тоскливо мне стало. Ладно, думаю, не буду я тут за одну присягу отбывать в тюрьме. А действительно получилось, что я не служил, а отбывал. В увольнение ходить было некуда. Ближайший поселок за двадцать километров. Кругом степь голая! Ах, так, думаю! Купил в военоторговской палатке десять пуговиц и стал их глотать. На просвечивание меня повезли, пару месяцев в госпитале кантовался, и признали язву. А я по пуговице перед рентгеном!

Показался трамвай. Клоун сорвался с места, побежал, оглянулся, крикнул:

- До репетиции! - и вскочил в вагон.

Не потому побежал и вскочил в вагон, что ехать ему нужно было куда-то, а потому, что противно стало вдруг ходить в клоунах у Парийского...

На "Кировской", у черного памятника Грибоедову, Клоун вышел из вагона и стал думать, что бы ему предпринять. К родителям он и не собирался ехать. Достал из кармана мелочь, пересчитал: около двух рублей. Неплохо! Взглянул на солнце, зажмурился, пожегил от холода и решил спуститься в метро, погреться.

Доехал одну остановку до "Дзержинки", вышел и направился к "Метрополю", в кино. Сидел в теплом тесном зале, смотрел какую-то дребедень про войну и мучительно соображал, как взять собственную жизнь в руки и куда ее направить.

После кино слонялся по улицам, неприкаянный, никому не нужный, даже родителям, которые его уход восприняли с благо-

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

дарностью, де, мол, места больше будет. Эдак вышвырнули его на волю, как котенка в воду: выплывет - выживет! Папаша пьяный кричал, когда увидел досрочно возвратившегося из армии сына, что не ждал, что он тут не нужен... Пьяный был папаша, спать хотел ложиться отдельно от матери, а теперь нельзя было лечь отдельно: сыну место подавай!

Вдруг Клоун вспомнил Ларису, которую провожал от Парийского, отыскал записанный на клочке бумаги номер ее телефона, позвонил из будки автомата.

- Мне очень грустно, - сказал он в трубку, - мне некуда деться. Я один. И я тебя люблю.

Он услышал в трубке смех.

Пошел сильный снег, крупный, радостный. Потому что его радостно ловил ладонями Клоун, спеша в метро, чтобы ехать на "Сокол" к Ларисе.

Вот ее дом-башня, дом высокий, белый, чистый, как рафинад, как прямоугольник белого пенопласта, которым пользовался Алик, макетируя свое Бескудниково.

На лифте Клоун поднялся на шестой этаж.

Однокомнатная квартира, паркетный пол, уютно. На кухне Лариса усадила Клоуна за белый стол, отделанный пластиком. Клоун ел борщ со сметаной и смущенно опускал глаза. Лариса сидела глубоко в старинном кресле.

- Тебе нужно срочно подыскать работу, - говорила она. - Так же нельзя жить. Что это за философия - не работать?

- Это философия неприкаянных, разочарованных людей, - с долей иронии проговорил Клоун.

В кухню вошла Маша, шестилетняя дочь Ларисы, сказала:

- Дядя меня в садик поведет?

Лариса рассмеялась.

- Дядю самого нужно вести в садик, - сказала она, поглядывая на Клоуна сочувственно.

Маша играла на полу в комнате, а Лариса с Клоуном сидели на диване, смотрели на нее и разговаривали.

- Я развелась из-за того, что не видела в муже интеллекта. Его ничего не интересовало: ни кино, ни литература, ни театр.

- Зачем же нужно было выходить за него?

- О! Учились вместе в школе... Так, по привычке. Три года прожили и разошлись. Он деловой!



Клоун поморщился, сказал:

- Не выношу это слово: "деловой"!

Она засмеялась. Затем встала и подошла к окну, за которым горели огни города. Клоун тоже встал и, преодолевая смущение, вдруг обнял ее и поцеловал...

В пятницу он был в клубе на Раушской набережной. На сцену был дан свет выносных софитов. Поляков сидел на солдатской койке и брэнчал на гитаре. Вскоре появились Волович и Инна. От бархатных черных кулис пахло пылью.

- Где Парийский? - спросил Волович. - Где Алик? Не люблю, когда опаздывают... Театр начинается с дисциплины! Поляков громко ударил по струнам.

Открылась дверь в конце зала, вошел Парийский. Пройдя проходом к сцене, не поднимаясь на нее, он с какою-то странною веселостью воскликнул:

- Алик погиб!

На Парийском была серая новая кофта. Из кармана виднелась пачка сигарет "Ява".

- Не люблю, когда опаздывают! - грозно сказал Волович. - Да еще так глупо шутят.

Парийский поднялся на сцену, пожал руки собравшимся, затем сел на койку возле Полякова. Когда Парийский пожимал руку Клоуну, тот почувствовал винный запах, идущий от него.

- Я не шучу, - все с той же веселостью сказал Парийский. - Алик погиб. И нужно ему было тащить этот телевизор! Повез его куда-то за город, на платформе то ли поскользнулся, то ли телевизор его перевесил, но итог: упал вместе с телевизором под электричку...

- Нет, ты серьезно? - воскликнул Волович, бледнея.

Наконец улыбка сошла с лица Парийского.

- Вполне, - сказал он.

Поляков побледнел и встал. Струны гитары жалобно взвизгнули. Минуту все стояли молча, не глядя друг на друга.

- Не могу понять, - с волнением сказал Клоун, - был Алик, и нету... Не могу понять.

- Ну, что же тут непонятного, - сказал Парийский. - С телевизором упал под электричку, удар, крик, стон и конец.

Парийский сразу как-то постарел, похудел и говорил уже тихо, как больной.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Клоун почувствовал себя слабым, жалким, и ко всему этому еще примешивалось чувство неловкости, стыда за эту нелепую смерть Алика.

После некоторого молчания Волович сказал:

- Смерть в жизни - это одно. Смерть на сцене, в пьесе - это совершенно другое. Нам на сцене нужен живой Алик. А в настоящем виде, то есть со смертью Алика, пьеса более интересна в исходном замысле, нежели в воплощении. Драматичная сама по себе житейская история Алика не может быть так оборвана на сцене. Вообще, я считаю, что обилие ужасов в жизни возможно, но не в произведении искусства. Если у нас Алик будет гибнуть на сцене, то зритель невольно воскликнет классическое: они пугают, а нам не страшно.

- Но Алик мертв, и похороны завтра, - сказал Парийский. - Он мертв, искалечен. Холодные останки его покоятся в морге.

Лицо Воловича выхватил яркий луч прожектора.

- Да, в жизни любой идиотизм проходит. Люди гибнут, умирают. Трупы лежат в моргах. На кладбищах копают могилы. Ломами долбят холодную землю. Ну и что из этого?.. Что, мы должны убивать зрителя смертями и кладбищами? Закон искусства - поднимать душевный настрой людей, а не долбить ему о смерти.

- Не ему, а им, людям-зрителям, - поправила Инна. Было заметно, как на ее глазах блеснули слезы.

Парийский встал с койки, вошел в луч света, несколько потеснив Воловича.

- Так вы хотите не пьесу, а нечто развлекающее, - сказал он. - Единственная вещь, утешающая нас в несчастьях, - это развлечение, а между тем оно является самым большим из наших несчастий.

Волович усмехнулся, спросил:

- Как же так?

- А так, что оно главным образом мешает нам помышлять о себе и незаметно нас губит. Без развлечений мы очутились бы среди тоски, а эта тоска принуждала бы нас искать более действенные средства выйти из нее. Но развлечение забавляет нас и заставляет совершенно незаметно приближаться к смерти. Если бы человек был счастлив, то его счастье было бы тем больше, чем меньше он предавался бы развлечениям...

Клоун нервно заходил вдоль ramпы.

- А ты зачем развлекаешься?! - вскричал он, вскидывая руку в сторону Парийского. - Ты же залез, как мышь, в нору развлечений. Эти вечные просьбы: Витек спой! На тебе:

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь,  
Парнишка на тальяночке...

Высочайшим тенором пропел Клоун и, обхватив лицо руками, убежал в кулисы.

- Ну, то я, а то законы искусства! - бросил вслед Парийский.

- Какие к черту законы. Искусство создается только беззаконием, - сказал Поляков. - Только дерзость способна продвинуть искусство. И я считаю, что Алик должен погибать на сцене, как в жизни! Нечего нам-то лакировать действительность!

- Да бросьте это, - миротворно сказал Парийский. - Я пару бутылочек принес. Все же надо помянуть Алика.

Волович подошел к стоящему на сцене телевизору, долгим взглядом посмотрел на него, затем нагнулся, включил и, когда за светился экран, сел на него.

- Печально, - сказал он.

Все помолчали. Клоун вышел из-за кулисы, засмеялся и, прижимая ко рту ладонь, сказал:

- Все мы тут ради развлечений и собираемся. Чего уж там врать самим себе. В этом смысле я поддерживаю Воловича. Нам скучно, нас одолевает тоска, поэтому мы расходимся по студиям, по кино, по театрам. Нам скучно в одиночестве, нам тоскливо с самими собой. Вот в чем дело. И это характернейшая человеческая черта. Им было скучно, и они пришли на нашу пьесу, а мы им - гибель Алика. Нужно это или нет, я пока не знаю. Что я могу знать, если я себя не знаю. Я лишь знаю одно, что я точно хожу в студию потому, что мне просто пойти некуда, я как нищий прибилась к ночлежке. Но все-таки нужно говорить правду, раз наша пьеса пишется набело!

Волович посмотрел на Клоуна долгим, испытующим взглядом, затем поднялся с телевизора и подошел к Инне:

- Ты тоже от скуки сюда ходишь?

- Пустяки, - махнула носовым платком Инна.

- По сути, Витек прав, - сказал Парийский. - Я уж определенно хожу сюда от нечего делать. Иногда даже затем, чтобы выпить с приятными людьми. Я сейчас принесу вина.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Парийский не спеша пошел в фойе. Волович пожал плечами.

- Конечно, все мы скучаем в жизни. А я, что, не такой? Тоже приходится скучать. Но я не даю скуке покорить меня. Я просто уйду от нее, не говорю о ней. Мало ли что в жизни случается, так что же, мы должны обо всем говорить?..

Клоун резко прервал Воловича:

- Должны! Потому что опасно слишком выставлять на вид человеку, насколько он равен зверям, не показывая ему величия его. Потому что опасно также слишком выставлять ему на вид величие, не указывая на низость. Еще опаснее оставлять его в неведении относительно того и другого. Но очень выгодно выставлять ему на вид и то и другое. Пусть сам человек дает себе настоящую цену. Пусть он любит себя, потому что он способен к добру. Но пусть он и ненавидит себя за все низости, которые в нем есть...

- Да ладно вам митинговать! - крикнул Парийский, появляясь на сцене с портфелем.

Поляков провел расческой по своим светлым волосам, дунул на нее и, выставив вперед, как указку, сказал:

- Пришел бы человек со стороны и подивился нашему модернизму! Я представил себя в роли этого нового человека. Я пришел сюда в студию, смотрю и не понимаю: что здесь вы делаете? Просто все здесь дико с непривычки, - продолжал он, постепенно повышая голос и хмурясь. - Никто ничего не делает, черт знает что! Парийский должен был дать текст экспромтной пьесы, а не дал. Наверно, не написал. Алик должен был явиться на прогон... Мы же этот, для Азы, монтаж должны были прогнать... Но он погиб! Вы как режиссер, - указал расческой Поляков на Воловича, - сами не знаете, чего хотите, и ничего не делаете. Этюды, этюды, этюды... Да сколько можно! Давайте возьмем "Вишневый сад", проку больше будет. А так, я подозреваю, мы для вас всего-навсего материал, на который вы смотрите свысока и из которого вы хотите вылепить нечто такое, что впоследствии даст вам возможность ставить спектакли где-нибудь во МХАТе... Что мне, непонятно, что ли?!

Волович побледнел и застыл в луче прожектора. Парийский копался в портфеле, где под белым халатом лежали бутылки. Когда он извлек первую бутылку, то вместе с ней показалась из портфеля змейка стетоскопа, блеснув никелированными деталями.

- Это ты им сказала, что мне предлагают ставить профессиональный спектакль! - закричал Волович на Инну.

- Зачем мне говорить? - тихо проговорила Инна.

Париийский достал стакан, налил. Поляков буквально выхватил у него стакан и со злобой сказал:

- Больше моей ноги здесь не будет!

Выпив, он схватил гитару и прыгнул со сцены в зал, но Клоун окликнул его:

- погоди, пойдем вместе!

Париийский налил ему, Клоун взял, пригубил, а уж затем сказал:

- Пусть земля будет Алику пухом.

Клоун взглянул на Инну. Она, невысокая, красивая, стройная, показалась теперь ему очень далекой, и он понял, что, как следует не влюбившись в нее, разлюбил.

- Зря вы это, обижаться, - сказал Париийский, выпив. - На самих себя следует обижаться. Осуждать просто. А вы сами зачем здесь? Из одной любви к искусству, что ли? Это только я из любви... А вы? Ладно, Волович на нас практикуется. А что тут плохого? Ведь вы тоже практикуетесь, не так ли? Поляков, ты же на режиссерский летом будешь поступать. Чего тебе-то выступать! Сам натаскиваешься на этюдах будь здоров! Импровизируешь прекрасно. А пришел каким, вспомни? Угловатый, стеснительный, зажатый. Каждую фразу говорил с напряжением. Сам себя на сцене пугался, боялся в зрительный зал заглянуть. А теперь? Ты же овладел органикой. Живешь на сцене запросто, без напряжения, раскрепостился. А Клоун? Только благодаря нашей методике натаскался. Я уже сейчас вижу, что любая студия тебя возьмет. И ГИТИС, и Щукинское, и Щепкинское... Ты свободен в своем "я"... А откуда это? Только от пьесы, которую мы играем на бело, экспромтом. Импровизация - это ключ к актерству. А Инна? Вы взгляните на эту красавицу. Это же в скором времени звезда телеэкрана!

Поляков сел в партере на первом ряду, перебирал струны гитары.

- Кто спорит, - сказал он. - Но...

- Боже мой, отчего мне так тяжело! - вздохнула Инна и заплакала.

- Прощайте! - прошептал Клоун и осторожно, точно боясь нарушить возникшую на сцене тишину, сошел в зал.

Поляков поднялся и пошел за ним в фойе. Там Клоун сказал:

- Пойдем быстрее. Не люблю я этих растянутых прощаний. Все равно сюда возврата нет.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Они быстро сбежали по широкой мраморной лестнице к нижнему фойе, оделись и вышли на улицу. Шел снег, и все вокруг было тихо и чисто.

- Здесь всех нас ждала судьба Алика, - продолжил Клоун. - Обреченность во всем какая-то.

- Это есть, - согласился после паузы Поляков, поднимая воротник пальто.

- Не есть, а прекрасная нам школа. Да я бросил пить лишь из-за Парийского. Он для меня наглядный пример. И вообще - точка. Я зацепился за другую жизнь. Я сам почувствовал пьесу. И могу плыть без них! - Клоун кивнул назад. - Ты знаешь, мне было некуда деться. Вот я и лип к Парийскому. У него приют нашел.

Поляков закурил, держа гитару под мышкой. Затем сказал:

- Разве я не понимаю? Мне теперь нужно зацепиться. Клоун нагнулся, скатал снежок и бросил его через дорогу в замерзшую, желтоватую от фонарей Москву-реку.

- Я не в том смысле. Я женщину себе нашел, - и добавил после паузы, - с ребенком и с квартирой. Это то, что нужно. Иначе у меня безвыходное положение. Теперь вот с понедельника иду на работу...

- Что подыскал? - спросил Поляков, выпуская клуб дыма.

- Что я мог подыскать? Как мышонок... Смотрел все справки под стеклом на улицах. А там одно и то же: токари, слесари, грузчики... Она, женщина моя, нашла. Приезжал в гости при мне бородатый друг ее... Ну, короче, берет к себе в НИИ, он там зав. сектором. Графики буду ему чертить до лета, а там в ГИТИС...

- На актерский?

- Ну его к черту! На режиссерский. Вот с тобой хотел поговорить. Ты уже разработку делаешь?

- Угу, - кивнул после некоторого молчания Поляков.

- А что читать будешь?

- Стихи - Пушкина, прозу - Чехова, басню - Крылова. Стандарт. М-да.

- А я разработку нашей пьесы дам. И Алик в ней погибнет, как в жизни.

- Зачем? Алик ведь, посудите, так и так бы долго не протянул. Законченный алкаш... Но дело не в этом. Дело в том, что приемные комиссии не любят всякого модернизма. Это ты должен запомнить. Они проверяют абитуриентов на классике.

Клоун пожал плечами, помолчал.

- А читать буду Мандельштама...  
- Ты спятил? Он же враг народа, - вполне серьезно сказал Поляков.

- И для тебя враг?  
- Для меня, разумеется, нет, но... Он же не издан... А что ты хочешь читать?

Они перешли на противоположную сторону, к Москве-реке. Было тихо, безветренно. Снег плавно ложился на спящую реку.

Клоун поехал в своей куртке и начал:

Я не увижу знаменитой "Федры",  
В старинном многоярусном театре,  
С прокопченной высокой галереи,  
При свете оплывающих свечей.  
И, равнодушен к суете актеров,  
Сбирающих рукоплесканий жатву,  
Я не услышу обращенный к рампе  
Двойною рифмой оперенный стих:

- Как эти покрывала мне постылы...

Театр Расина! Мощная завеса  
Нас отделяет от другого мира;  
Глубокими морщинами волнует,  
Меж ним и нами занавес лежит.  
Спадают с плеч классические шали.  
Расплавленный страданием, крепнет голос,  
И достигает скорбного закала  
Негодованием раскаленный слог...

Я опоздал на празднество Расина!

Вновь шелестят истлевшие афиши,  
И слабо пахнет апельсиновой коркой,  
И словно из столетней летаргии -  
Очнувшийся сосед мне говорит:  
- Измученный безумством Мельпомены;  
Я в этой жизни жажду только мира:  
Уйдем, покуда зрители-шакалы  
На растерзанье Музы не пришли!

Когда бы грек увидел наши игры...

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Клоун читал нервно, то возвышая, то понижая голос. Последний стих был прочитан с такой безнадежной скорбью в голосе, что у Полякова выступили слезы на глазах.

- Здорово! - сказал Поляков и пробормотал: - "...покуда зрители-шакалы..."

- Вдруг мне это все открылось, - сказал Клоун. - Все эти современные пьесы с кукишами в карманах, все эти шакалы-зрители... А как пахнет апельсиновой коркой! И вот я, кажется, нашел, что искал. Ты представляешь, у нее квартира, такая уютная, чистая. Пахнет домом. Понимаешь. И она мне нравится. И дочка ее. Ах, что за прелесть женщина. Ни о чем не спрашивает, все чувствует. Утром проснулся, боялся сначала глаза открывать, думал - у Парийского на полу, на грязном матрасе. Открываю глаза - чистота. Книжный шкафчик. Дочку Машу повел в детский сад. Шел с ней за ручку и улыбался всему свету и всем встречным-поперечным. Так мне хорошо стало. Все, я женюсь. Надоело шляться. Были бы еще родители приличные. А то ведь как чужие. В чужом пире - похмелье! Только, знаешь, стыд в себе приходится подавлять, давить его, этот стыд поганый.

- А что такое? - спросил оживленно Поляков.

Судя по всему, стихи и рассказ Клоуна его растрогали.

- Да аборт ей Парийский делал! - Клоун даже как-то проскулил, произнеся это. - И Алик ассистировал. И я ее видел...

Поляков оценивающе взглянул на Клоуна, но промолчал.

- Что скажешь? - спросил Клоун.

- Что я скажу. Конечно, приятного мало. Но это твой крест. Все когда-то женились, влюблялись, страдали, изменяли друг другу и покорно тащили свой крест. И мы так же будем...

Поляков не договорил и замолчал. Выражение лица у него было такое, как будто он мысленно решал какую-то очень трудную задачу.

Послышались сзади шаги и тяжелое дыхание: подбежал Парийский, на ходу поправляя указательным пальцем очки на переносице. В линзах мелькали огоньки.

- Алика-то можете хоронить? - спросил он, переводя дух.

Не глядя на него. Клоун сказал:

- Хоронить помогу, но на поминки не пойду. Мне пить противно.

- Тебя никто и не просит, - сказал Парийский, закуривая. - Вообще, ты мне не нравишься в последнее время. Говоришь таким



тоном, как будто я тебя принуждаю пить... Мать Алика просила помочь. Гроб некому поднять.

Поляков шумно вздохнул и спросил:

- Когда и где?

- Завтра к часу, в Мытищах...

Назавтра Клоун, пока ехал в электричке, думал о живом Алике, о его рассуждениях, о проектировании Бескудникова, а когда увидел искалеченный труп на каталке, похолодел и потерял всякую способность мыслить. Парийский, посапывая, протянул санитару десятку и сказал:

- Подгримируй хоть лицо малость, просветли, а то весь фиолетовый, как чернила.

Было дико видеть, как укладывали в гроб сначала туловище, потом ноги...

На Востряковском кладбище, когда открыли крышку, лицо Алика уже не казалось таким страшным, как в морге. Сильно выделялся крючковатый нос, которому санитар придал телесный цвет.

Поляков на похороны почему-то не приехал.

У Клоуна мало-помалу наступило безразличное настроение, в какое впадают обычно люди, спустя некоторое время после перенесенного горя. Когда ехал в морг, мучила неизвестность. Теперь же все встало на свои места, последний ком глины упал на свежий холмик. Клоун думал уже о том, что, слава Богу, теперь все уже позади и нет этой ужасной неизвестности, уже не нужно целую ночь ожидать, томиться, думать все об одном.

Теперь все ясно, кроме одного - нужно ли помещать гибель Алика в пьесу?

Парийский уже раздобыл где-то стакан, звенел им о бутылку за сухими заснеженными кустами у ограды соседней могилы. Клоун взглянул на длинный, красный от мороза нос Воловича и вспомнил, что у Алика нос на сей раз не покраснел.

Мелькнули алые копыта маникюра Инны на белом снегу. Она взяла стакан и выпила с донышка водки, которую символически плеснул ей Парийский.

Мать Алика, тощая старуха в каком-то коротком детском пальто, заплаканная, раскрасневшаяся, держалась желтой, сухой рукой за ограду. Очки с треснутым стеклом, подвязанные резинкой, перекошились на ее лице, и казалось, что старуха кому-то подмигивает. Парийский подошел к ней, налил и протянул стакан. Ста-

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

руха быстро вцепилась в него и жадно, как будто опаздывала на поезд или еще куда, одним махом выпила, затем широким взмахом стряхнула капли из стакана на снег, как заправский купец на масленицу.

- Бывали-и дни-и ве-есе-олые! - завопила она, но ее успокоили.

Сильно пахло еловыми ветками. Парийский подошел, предложил стакан. Клоун отвернулся.

- Хотя бы телефончик списал, куда звонить тебе, - сказал Парийский, убирая бутылку в карман.

Клоун вырвал листок из записной книжки, написал, протянул молча Парийскому.

Вечером Клоуну было грустно, Лариса гладила его по волосам, целовала и говорила:

- Ничего... забудется...

Странно, от нее немножко пахло вином.

Бородатый друг Ларисы, доктор экономических наук, выделил Клоуну отдельную комнату, с широким окном, с видом на Замоскворечье. Режим работы в научном институте был достаточно свободный, часам к трем Клоун бывал уже свободен, ехал в детский сад за Машей, приводил ее домой, читал, писал, готовил ужин и поджидал Ларису. Все текло мирно, но чего-то не хватало.

Он знал чего: студии. Как алкоголик тянется к вину, так Клоун не мог жить без студии. Но он пересиливал себя, отвлекался, все больше и больше привыкал к Ларисе, а в марте они подали заявление в загс.

То утро было веселое, немножко суетливое, но праздничное. Часов в десять Лариса была одета в новое голубое платье (от белого и тем более от фаты она по вполне понятным причинам отказалась), причесанная, с подведенными бровями и ресницами, она прошла по комнате перед сидящим на диване Клоуном и постояла немного у открытого окна, и улыбка у нее была наивная, широкая, как у ребенка. Клоун был тоже в новом костюме, в крахмальной, отливающей синевой сорочке, но без галстука, который никогда не носил и не собирался надевать сегодня. Лариса не настаивала, как Клоун не настаивал на белом платье и фате.

Была суббота. Машу отправили к бабушке Ларисы. К трем собрались гости. Родители Ларисы, родители Клоуна и бородатый доктор экономических наук. Отец Клоуна приехал трезвым, на портером пиджаке поблескивали медали и орден Красной Звезды. После нескольких рюмок отец сказал громко:

- Молодец, Витька! Такую бабу отхватил! С квартирой! С дитем, правда, но...

- А чиво дите, оно нешто выроdkовое како! - одернула его полная мать Клоуна. - Сиди уж, закусывай!

Но чем дальше шла свадьба, тем громче выкрикивал отец:

- Ну, Витька, сволочонок! Увесь у меня уродился! Хват-обрыва-ла! Уцепилси же за таку красотку!

Все смущенно переглядывались. Клоун краснел, но Лариса отвечала с хохотком:

- Неужели я не хороша! Неужели я не красива! Отцу нравился этот подыгрыш, он хохотал во всю глотку и стучал кулаком по столу от радости понимания его душевных порывов. Когда отец уже был хорош, Клоун и Лариса проводили его и мать до такси. Уже из машины раздался голос:

- Ну, баба! Зверь!

И такси исчезло за поворотом,

Когда вернулись, Клоун сказал:

- Вы уж извините за отца. Простой человек.

Клоуна будто не услышали, а доктор экономических наук, шеф Клоуна, продолжал развивать какую-то мысль отцу Ларисы, ответственному работнику минавтопрома.

- ...система свойственна социализму, - говорил он, - но в нормальных условиях она противопоказана ему. Да это ясно, что причина наших трудностей не только и даже не столько в тяжком бремени военных расходов и весьма дорогостоящей глобальной ответственности страны. При разумном расходовании...

Отец Ларисы взмахнул рукой, прервал бородача:

- Да это ясно, как днем! Тут дело в том, что глубоко укоренился административный взгляд на экономические проблемы, почти религиозная вера в номенклатуру, нежелание и неумение видеть, что силой, давлением, призывом и понуканием в экономике никогда ничего путного не сделаешь.

Лариса сидела возле своей мамы, они шептались. Клоун делал вид, что увлечен спором мужчин, а сам прислушивался к женщинам.

Он услышал:

- Он, конечно, красивый, видный мальчик, - шептала мать, - но эти тонкие губы, острый подбородок, - она бросила испытующий взгляд на Клоуна, - говорят о его характере!

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Последнее слово было сказано таким тоном, что не требовало эпитетов типа: “вздорный”, “упрямый”, “своевольный”.

- Он прекрасно читает Мандельштама! - воскликнула Лариса.

Мужчины примолкли и недоуменно посмотрели сначала на Ларису, затем на Клоуна.

- Почитай! - сказала Лариса.

- Просим! - после паузы сказал отец.

Клоун вздрогнул, побледнел, но тут же заставил себя сосредоточиться, и резким, твердым голосом прочитал:

Мы напряженного молчанья не выносим -  
Несовершенство душ обидно, наконец!  
И в замешательстве уж объявился чтец,  
И радостно его приветствовали: просим!

Я так и знал, кто здесь присутствовал незримо;  
Кошмарный человек читает Улялюм.  
Значенье - суета, и слово - только шум,  
Когда фонетика - служанка серафима.

О доме Эшеров Эдгара пела арфа,  
Безумный воду пил, очнулся и умолк.  
Я был на улице. Свистел осенний шелк, -  
Чтоб горло повязать, я не имею шарфа!

С последней фразой Клоун сделал внезапный жест от горла к потолку, и в его глазах показались слезы.

На кухне он сказал Ларисе, что должен, что обязан съездить к Парийскому. Она пожалала плечами, промолчала. Но когда Клоун взял из холодильника бутылку водки и сунул ее в карман пиджака, сказала:

- Не дури! Ему же нельзя пить!

От “Сокола” до “Новокузнецкой”, без предварительного звонка по телефону, сюрпризом. Две остановки на трамвае, через мост. Мелькнули золотом луковки кремлевских соборов, голубая вода в реке, белый теплоход у причала. Мимо синей колокольни на Яузских воротах, переулками, в Тессинский. Звонок в обитую дерматином и крест-накрест посеревшей тесьмой дверь.

Послышался за нею знакомый кашель, затем голос:

- Кто?

- Тень Гамлета! - громко отчеканил Клоун.

Дверь со скрипом отворилась, на пороге стоял Парийский в трусах и в майке, волосы всклокочены, на щеке красная складка от подушки.

- А-а, - без особого удивления протянул он, пропуская Клоуна в квартиру.

Пахло сыростью, перепревшим луком, несвежим бельем, и все это было окутано крепким перегаром и дымом от сигарет. Окна на кухне и в комнате были плотно закрыты. Свет горел и там и тут, потому что в окнах, странно, было темно: сплошная зеленая масса виднелась за стеклами.

Клоун запыхался от быстрой ходьбы, почти бега, поэтому некоторое время молчал, переводя дух. Парийский, босой, прошел в комнату и лег на свою солдатскую койку. Одну ногу, белую, безволосую, он положил на спинку кровати.

- Сил нет не то что ходить, но и говорить, - тяжело проговорил он и, собравшись с силами, добавил хриловато: - Вчера так на- сандалился, что...

Он не договорил, положил ладонь на лоб и вытер холодный пот. Клоун сунул руки в карманы и принялся насвистывать.

- Ой, не свисти, - с мольбой в голосе выдавил Парийский.

В этот момент Клоун сделал изящный жест, как при поклоне, и, выпрямляясь, извлек из внутреннего кармана пиджака водку. Взгляд Парийского оживился. Клоун сходил на кухню, нашел стакан, от которого пахло селедкой, помыл его под краном, вернулся в комнату и налил полстакана. Парийский сел на кровати, торопливо схватился за стакан двумя руками и без промедления выпил.

- Как чувствовал, что ты тут страдаешь, - тоном благополучного человека сказал Клоун.

Парийский закурил, а Клоун поморщился. С улицы в комнате казалось очень душно. Когда в комнате много дыма, курить почему-то совсем не хочется, и Клоун отказался от предложенной сигареты.

- Ну, я пошел, - сказал он.

Парийский бросил на него удивленный взгляд:

- Зачем же приходил?

- Похмелить, - с долей веселости сказал Клоун и после небольшой паузы добавил: - Я женился. Сегодня свадьба.

Парийский тяжело поднялся, пошел к крану напиться.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Я уже женился, - затем сказал он. - На сковороднице. Дурак дураком был. В общем, взял дуньку с трудоднями. Думал, молчливо будет обеда готовить. А она тихая-тихая, пока в общежитии жила, а как прописалась - зверь! Чуть что - на меня с кулаками. В мозгах одна извилина, и та укороченная...

Клоун с сожалением посмотрел на Парийского, как на законченного неудачника, спившегося человека, протяжно вздохнул и пошел к выходу. Парийский не удерживал.

Темнело, и кое-где зажглись окна в домах.

Счастливый, улыбающийся Клоун поднялся на лифте на шестой этаж, открыл ключом дверь, не спеша вошел в комнату и увидел, как Лариса, покрасневшая от стыда, столкнула с себя бородача и села, оправляя юбку, прикрывая заголившиеся полноватые ноги.

Голова у Клоуна закружилась, словно его тошнило, поплыли в глазах зеленые круги.

- Ви-итя! - диким голосом завопила Лариса, вцепляясь в свои волосы руками.

Но Клоун уже сбегал вниз по лестнице. Вздрагивая от ярости и обиды, крепко стуча каблуками по асфальту. Клоун бежал по темной улице, освещенной редкими фонарями, неизвестно куда. У магазина остановился, нащупал в кармане конверт с деньгами - подарок родителей на свадьбу, и купил четыре бутылки водки. Рассовал их по карманам и, скрипя зубами, пошел в метро.

Когда вышел в город на "Новокузнецкой", начался сильный дождь. В ожидании трамвая, которого не было минут десять, промок. По лицу бежали холодные струйки.

- Кто? - спросил Парийский, когда Клоун позвонил в дверь.

- Участковый!

Парийский был в сатиновых широких шароварах, в байковой рубашке нараспашку, с сигаретой в зубах, улыбающийся. Ни о чем не расспрашивая, гостеприимно пригласил Клоуна в квартиру. Тот походкой участкового, сильно стуча каблуками, прошел к столу, выставил бутылки на стол.

- Продолжение свадьбы? - почесывая голову, спросил хозяин.

- Как хочешь, так и понимай, - буркнул Клоун, стаскивая с себя все мокрое.

Парийский бросил ему пижамные штаны и серую кофту, которую когда-то вместе покупали. Повесив пиджак и брюки над плитой сушиться, Клоун воскликнул:

- Наливай!

Парийский весело ударил в ладоши, отвесил поклон и взвизгнул:

- Слушаюсь, сударь-с?

Через некоторое время, когда выпили и покурили, Парийский попросил:

- Витек, спой.

Клоун встал, подбоченился, вскинул голову и, подавляя все мрачные мысли, воскликнул:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александровского централа Иван Букреев. "На солнечной поляночке". Высокий чистый тенор повел:

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь,  
Парнишка на тальяночке  
Играет про любовь...

- Выпьем! - сказал затем он азартно, глядя Парийскому в лицо.  
- Пей, зав. отделением кардиологии, кандидат медицинских наук, пей, Юраша, гений ты наш подзаборный. Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей...

Клоун выпил первый, подышал открытым ртом, зажевал, что подвернулось, и сказал:

- Природа делает нас во всех положениях постоянно несчастными...

Он не договорил, хотя намеревался рассказать о случившемся. Держать в себе - это значит не досаждать другим.

Парийский сказал:

- Между тем наши желания постоянно рисуют нам счастливое состояние, потому что к состоянию, в котором мы находимся, желания присоединяют удовольствия того состояния, в котором мы не находимся. Когда же мы достигаем этих удовольствий, мы не будем от этого счастливы, потому что мы тогда будем иметь другие желания, сообразные с этим новым положением.

Клоун закурил, долго не гасил спичку, глядя на огонь, и подумал, что в трудные минуты лучше всего курить, потому что это отвлекает.

Парийский сходил в комнату, принес старую тетрадку с пожелтевшими, засаленными страницами. Принялся листать.

- Дед тут записывал, - сказал Парийский и, найдя нужное, принялся читать: - "Иисус ищет какого-нибудь утешения, по крайней мере, в своих трех, более любимых друзьях, но они спят. Он просит их побыть немного с ним, а они Его оставляют с полным пренебрежением и столь мало разделяют Его страдания, что не могут удержаться минуты от сна. Таким образом, Иисус был оставлен один на волю Божью.

Иисус не только один на земле чувствует и выносит Свою скорбь, но даже один и знает о ней: Небо и Он были единственными свидетелями ея.

Иисус - в саду, но не в таком саду прелестей, в каком Адам побил себя и весь род человеческий. Он - в саду мучений, где спасает себя и весь род человеческий..."

Клоун представил и увидел: луна сделалась желтой и желтый свет лился в Гефсиманский сад - и на деревья, которые отбрасывали длинные тени, и на землю, по которой шел Иисус, склонив голову и следя за легкой тенью своей... И Клоун слышал тихий шелест листвы, и шум шагов, и дыхание Иисуса...

Парийский между тем продолжал читать:

- "Я думаю, что Иисус никогда не жаловался, кроме этого единственного случая; но в этот раз Он так горько жалуется, как будто бы не мог более сдержать своей чрезмерной горести, ибо душа Его скорбит смертельно.

Иисус ищет соучастия и облегчения со стороны людей. И это, мне кажется, единственный раз во всю Его жизнь. Но Он не получает его, ибо ученики спят.

Иисус удаляется от своих учеников, чтобы предаться предсмертной скорби: станем же удаляться из среды своих близких и интимных друзей, чтобы подражать Ему.

Неужели ты хочешь, чтобы Мне стоило крови спасение человечества, а чтобы ты не пролил и слез?

Врачи тебя не исцеляют: ты все-таки умрешь. Иисус исцеляет и делает тело бессмертным. Терпи цепи и телесное рабство; пока Он освободит тебя лишь от духовного рабства".

Белая фигура скрылась в темноте, луну затянуло облаком, шаги смолкли. Клоун вскинул взгляд на Парийского. Тот снял очки, на глазах были слезы. Отнеся тетрадку на место, он достал из стола и показал фотографию, хорошо сохранившуюся, деда, священника Парийского, учителя Закона Божьего: большеглазый человек, с густой бородой, в рясе, с крестом...



В прихожей зазвонил телефон. Парийский пошел слушать, а Клоун читал на обороте плотного глянцевого картона: “С.-Петербургской императорской Академии художеств фотография класснаго художника”. И крупно, в центре, вязью: “Фр. Опитць”. Далее: “В Москве, Петровка, д. Самариной, против Петровскаго монастыря”.

Слышался голос Парийского:

- Подумаешь, невидаль! У меня телевизора нет... Он еще что-то говорил, а Клоун, рассматривая фотографию, видел не священника Парийского, а Ларису, мучился душевно, но сдерживал себя, чтобы не дойти до отчаяния и не разрыдаться. Клоун понял, что нашел женщину, слабую в том пункте, который называют изменой, слабую, подобно алкоголику, не мыслящему свою жизнь без вина, в любви, то есть нашел своего рода любовную алкоголичку. Настроение у Клоуна сразу переменялось, резко, как будто его ударили палкой по голове. Испытывая стыд, он покраснел, почувствовал унижение человека, которым пренебрегли, затоптали в грязь, но с появлением в кухне Парийского сделал вид, что внимательно рассматривает фотографию.

- Волович звонил, - сказал Парийский, закуривая. - Оказывается, сейчас Инна на экране телевизора... Последние известия на Москву вешает...

Чтобы отвлечься от горестных чувств, Клоун воскликнул:

- Надо посмотреть! Есть у кого-нибудь тут телевизор?

- Да ну ее к черту, смотреть еще на нее! - беззлобно воскликнул Парийский, затем, после паузы, добавил: - Вон, у Лучкина есть...

Пошли к Лучкину, соседу, который смотрел футбол по первой программе. Нехотя он переключил телевизор на московский канал, и все увидели дикторшу, Инну. Клоуну показалось, что она смотрит на него своими большими серыми глазами. Какая Инна красивая! У нее высокий чистый лоб. Только изредка на нем появляется морщинка, это значит, знал Клоун, что Инна волнуется.

Инна читала текст: "...участники совещания единодушно одобрили положения и выводы речи Генерального секретаря ЦК КПСС Л. И. Брежнева. На совещании выступил член Политбюро ЦК КПСС, первый секретарь МГК КПСС В. В. Гришин..."

- Хорош! - сказал Парийский, и Лучкин моментально вернул на экран футбол. - Вот и вся премьера! - усмехнулся Парийский и, выходя из квартиры соседа, добавил с долей издевки: - Митя Кул-

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

даров попал под лошадь и сделался известным - о нем пропечатали в газетах!

Выпили.

- А как Поляков? - спросил Клоун, занюхивая черствым черным хлебом.

Парийский поправил очки указательным пальцем и как-то машинально сказал:

- В тюрьме.

Клоун побледнел и взволнованно, чувствуя себя несчастным, встал и начал ходить из кухни в комнату. В пишущей машинке "Эрика" был зажат лист, на котором Клоун мельком заметил: "Алик: Я еду строить новый город. Пока все неизвестно, но я знаю, что там нужны мои знания и мои руки.

Он поднимает рюкзак и надевает его на плечи".

- Развесели, Витек, спой! - вдруг попросил Парийский.

- А как это случилось с Поляковым? - с дрожью в голосе спросил Клоун.

- Как-как?! - воскликнул Парийский. - Мерзопакостно. Расстегнул ширинку в троллейбусе и бегал за какой-то девицей. В полночном троллейбусе, вскочив в него на ходу, - добавил с усмешкой Парийский.

Клоун протяжно вздохнул, закрыл глаза на мгновение и почувствовал, как похолодели руки.

- Значит, Поляков в нашей пьесе куда-нибудь поднимать целинные земли поедет?

Парийский захохотал, откидываясь на спинку стула. Когда он кончил хохотать, на глазах у него были слезы.

- Ведь Алик едет строить города, - продолжил Клоун и вскричал: - Никогда не думал, что ты на лажу пойдешь!

- Это Волович просил, - равнодушно ответил Парийский. - Ты же знаешь, что он набрал новую студию?

- Нет.

- Да это и неважно, как чувствовал я себя, когда писал про Алика. Там надо что-нибудь пожизненнее, но только не смерть! Это противоречит всей христианской этике. Мы же бессмертны!

Клоун промолчал. Подошел к темному окну и вдруг спросил:

- У этого соседа, Лучкина, топор есть?

Через некоторое время Клоун с соседским топором пошел во двор. Парийский сидел за столом, смотрел остекленным взглядом

дом в одну точку, о чем-то думал и слушал, как вдали стучат топором по дереву.

Парийскому припомнилось, как по этой кухне начинала ходить его дочка, как звонко звала его, когда научилась говорить... И вдруг Парийский начал сознавать, что вот эти стуки топора и есть тот самый конец всего, о котором ему когда-то смутно грезилось и ожидание которого незаметно для него самого проходило через всю его жизнь. И Парийский понял, что прошлое кончилось, а будущее не началось и не сможет начаться, потому что его срубает топором...

Послышались шаги. Клоун вернулся без звонка, потому что дверь была не заперта.

- Что приуныл, Юраша! - весело воскликнул он. - Поднимем бокалы, содвинем их разом!

Парийский улыбнулся.

- Хороший ты парень, - сказал он. - С тобой не соскучишься. Что ж, подыдем стаканы, чтоб кончился разум... Наше воображение настолько раздвигает для нас пределы настоящего времени и настолько уменьшает вечность, что из вечности мы делаем ничто, а из пустяков вечность, - продолжил он. - Воображение вследствие фантастической оценки до такой степени преувеличивает малые предметы, что целиком наполняет ими нашу душу. А великие предметы воображение, по безрассудной заносчивости, уменьшает до своей мерки, как это бывает, когда какой-нибудь узколобый атеист от сохи с двумя извилинами говорит о Боге.

По щеке у Клоуна поползла крупная слеза и капнула в стакан с водкой.

- Ты чего? - спросил Парийский.

- Да так, расчувствовался, - махнул рукой Клоун и, весь как-то подобрившись, воскликнул: - Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александрова Иван Букреев. "На солнечной поляночке"!

Парийский просиял, а Клоун громко затенорил:

На солнечной поляночке,  
Дугою выгнув бровь,  
Парнишка на тальяночке  
Играет про любовь...

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Когда он кончил, то спросил:

- Сколько Полякову дали?

- Год.

- И когда это случилось?

- Еще зимой.

- Не могу поверить! - взволнованно сказал Клоун.

- В жизнь вообще верится с трудом, - сказал Парийский. - Это тебе не пьеса, где все раскладывается по сюжетным полочкам. Да-а, - вздохнул он. И еще раз вздохнул: - Да-а...

Клоун, покачиваясь, раскатал пыльный матрас у стеллажа, подумал и лег не раздеваясь. Парийский погасил свет, сунул очки под подушку и тоже лег. Металлически скрипнула сетка его солдатской койки.

Утром в комнату заглянул солнечный луч.

Клоун встал и долго тряс головой. После вчерашнего возбуждения он был утомлен, вял и говорить ему не хотелось. Пальцы у него дрожали, и по лицу было видно, что у него сильно болела голова. На водку, которая все еще стояла на столе в кухне, у него не было сил смотреть.

Преодолевая болезненное состояние, Клоун подставил голову под кран с холодной водой, затем принялся размахивать руками, приседать, бегать на месте. Взглянув на зарешеченное окно, почувствовал, что в помещении недостает воздуха. Подошел, откинул шпингалеты и рывком открыл сначала внутренние, потом наружные рамы, пыльные, с грязными стеклами.

Свежий воздух с запахами листвы и травы полился в квартиру.

Клоун вскипятил чай, с удовольствием, обжигаясь, выпил, а Парийский все не вставал.

Наконец послышался его слабый голос:

- Ви-итек, на-а-лей.

Клоун спросил:

- Может, не надо?

- Помру, - отозвался Парийский.

Клоун брезгливо взял бутылку и с отвращением налил полстакана. От запаха водки его чуть не стошнило.

Дрожащими руками, с мучительным выражением на лице Парийский выпил, нащупал очки под подушкой, надел их, и вдруг глаза его сделались неподвижными и стали смотреть в одну точку.

- Здесь очень мило - море и все остальное, - сказал он.

Клоун с испугом взгляделся в его лицо: видно было, как вздрогнула на лбу какая-то жилка, подождала-подождала и внезапно замерла.

- Море, - сказал с трудом Парийский, и после этого ему переосило рот.

В ужасе Клоун отступил на два шага. Затем круто развернулся и побежал к телефону, вызывать "скорую помощь".

В ожидании он сидел на кухне и смотрел в открытое окно. Солнечный луч лежал на подоконнике, и в его свете дрожали пылинки. Наконец раздался звонок в дверь. В волнении Клоун ринулся открывать, и, когда открыл, остолбенел: на пороге стояла Лариса.

- Я знала, что ты здесь, - сказала она взволнованно. После того как она это сказала, наступило долгое молчание. Клоун боялся поднимать глаза на ее лицо, белеющее в темноте дверей. Он лишь чувствовал запах пудры и духов, идущий от Ларисы. Клоун знал, что Лариса ждет от него чего-то. Может быть, она думала, что он заговорит, скажет что-нибудь резкое, может, даже ударит или задаст вопрос, чтобы заговорить самой.

Но Клоун молчал, и это гнетуще действовало на Ларису. Наконец он сделал шаг в сторону, как бы предлагая ей войти в квартиру. Она, помедлив, не глядя на Клоуна, вошла и, в страхе замедляя шаги, остановилась на пороге кухни.

- Юраша того, - наконец сказал хрипло Клоун, все еще боясь смотреть на Ларису. - Я "скорую" вызвал.

Лариса сразу же оживилась, посмотрела на него с мольбой блестящими серыми глазами. И вся она показалась Клоуну жалкой, виноватой, готовой на любое унижение, лишь бы он простил ее.

- Где он? - с дрожью в голосе спросила Лариса. И было заметно, как дрожали ее брови и щеки.

- Там, - кивнул на комнату Клоун и почувствовал, что страх по-немногу проходит.

Она быстро пошла в комнату. Эта решительность так подействовала на Клоуна, что он совсем перестал о чем-либо думать. Он просто пошел на голос Ларисы в комнату, когда она его позвала, машинально взял брюки Парийского и стал надевать их на непослушное тело, потом так же машинально надевал при поддержке Ларисы рубашку и серую кофту.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Он лишь чувствовал, что Парийский жив, что он дышит, что по телу все еще бежит кровь, что сердечная мышца совершает свою механическую, не контролируруемую мозгом работу.

- Бедненький, - шептала Лариса, глядя ладонью щеку Парийского.

Тот что-то забормотал, и Клоуну стало еще отчетливее видно, как перекошен рот Парийского.

После этого Лариса привела в порядок кухню, убрала бутылки, помыла посуду и протерла стол влажной тряпкой. Она чувствовала, что любая деятельность сглаживает недомолвки между нею и Клоуном, поэтому боялась просто так остановиться, привлечь к себе внимание, а все что-то делала и делала.

Наконец раздался звонок в дверь. Клоун впустил врачей. Больному что-то впрыснули.

Появились носилки.

- Я поеду с ним, - сказал Клоун Ларисе.

Она вздрогнула, потупила взор и тихо спросила:

- Мне где быть?

- Будь здесь, - подавляя всяческие чувства, холодно сказал Клоун. - Продолжай уборку, помой пол, почисти ванну, постирай белье... Сама знаешь. Не мне тебя учить!

Лариса сосредоточенно и радостно, порозовев, выслушала эти наставления, и по всему было видно: что бы ни приказал, о чем бы ни попросил Клоун в эти минуты, она все безропотно выполнит.

Носилки с больным вдвинули в машину. Клоун сел на откидное сиденье рядом и все время, пока ехали, жалобно смотрел на бледное лицо Парийского, которое иногда освещалось солнцем, и думал о том, что все, быть может, обойдется. В смысл этого слова "обойдется" он вкладывал еще нечто, едва чувствуемое, что касалось непосредственно его самого.

Проехали площадь Маяковского, свернули, а когда въезжали в ворота больницы, Клоун различил на табличке: "Институт нейрохирургии им. Бурденко".

Когда Клоун возвращался назад, то с каким-то щемящим чувством думал о том, что Ларису нужно простить, что нужно забыть все плохое и жить только хорошим, как бы это ни было трудно. Тут он вспомнил почему-то Полякова и его слова о том, что нужно тащить свой крест. Именно тащить, а не бежать в сторону при первой же неудаче.

У метро “Новокузнецкая” продавали цветы. Подумав, Клоун купил у какой-то цыганки букет сирени. Клоун не стал дожидаться трамвая, а пошел пешком, через мост, смотрел на голубую реку и думал о том, что нужно всячески давить в себе зло.

Когда он вошел в подъезд, то негромко засвистел, для храбрости, и заметил, что дверь в квартиру была приоткрыта, а рядом с нею стояло ведро, полное мусора, и веник. Лариса мыла пол на кухне: она часто дышала, руки у нее запачканы, прядь волос прилипла к щеке.

Увидев Клоуна, Лариса выпрямилась, задержала дыхание, топорливо одернула платье и поправила волосы. Глаза ее недоуменно уставились на пышный букет сирени.

- Поставь тут, что ли, в банку, - сказал Клоун. - А то все дымом пропахло.

- Ты хороший, - задрожавшим голосом сказала Лариса, - а я - подлая! Нет мне прощения!

- Есть, - сказал он. - Если б люди друг другу не прощали, то давно бы перебили друг друга.

- Прости меня, Витя! - сквозь слезы закричала Лариса и бросилась ему на шею.

Клоун погладил ее по волосам и протяжно вздохнул.

- Я молод, чтобы слишком понимать жизнь, - сказал он. - Но я чувствую, что нужно стараться меньше досаждать друг другу. Многие говорят: если человек слишком молод, он судит неправильно. Если он слишком стар - то же самое. Если он недостаточно поразмыслил - результат опять тот же. Если он слишком много размышлял-он чересчур вбивает себе в голову и становится упрямым... Где же, спрашивается, истинная точка?

В комнате пол был уже вымыт. Узкая железная койка была аккуратно заправлена.

- У него белья совсем нет, - сказала Лариса.

- Не только белья, - вздохнул Клоун. - У него родственников нет. Никого не осталось. Жаль, что эта квартирка отойдет государству...

- Неужели никого нет? - спросила Лариса, продолжая мыть пол на кухне.

- Если только бывшая жена, - пожал плечами Клоун, затем, помолчав, добавил: - Да дочь семи лет.

- Позвони им, - сказала Лариса.

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

- Пожалуй, надо позвонить. Пусть хоть дочь сюда пропишет, к отцу, пока жив.

Клоун нашел в записной книжке Парийского телефон бывшей жены, направился в прихожую к телефону, который вдруг сам зазвонил. Клоун взял трубку.

- Где там Парийский? - услышал он гнусавый голос Воловича.

- В больнице, - сказал довольно спокойно Клоун.

- Это ты, что ли, Витек? - неуверенно спросил Волович.

- Я.

- А что с Юрашей?

Клоун объяснил.

- Да-а, - протянул Волович и тут же воскликнул: - Спектакль горит! Мы уже тут, в клубе, уже зрители идут, а Парийского все нет и нет. Слушай, Витек, - внезапно вскричал Волович, - выручай! У нас на Парийского нет замены. Выручай, старик! У него же опорное - "На плацу открыто"...

- Я не знаю текста, - хмуро сказал Клоун.

- По бумажке будешь шарашить! Спасай, гони скорее! Будешь?

- Не знаю. Я не один. Потом только что из больницы, расстроился. Рот на моих глазах перекосило. Я чуть от страха не умер...

- Понимаю, - прервал Волович. - Но ты же профессионалом хочешь стать. Должен понимать: в любом настроении надо работать, и работать хорошо. Не раскачивайся, через полчаса начало. Выручай, будь человеком!

После некоторого молчания, подумав, Клоун ответил:

- Ладно, - и положил трубку.

Затем набрал номер бывшей жены Парийского. Она сама взяла трубку. Клоун рассказал, как все случилось. Бывшая жена, Саша, охала-ахала и сказала, что сейчас же мчится в больницу. Горестную весть она восприняла очень искренне, как будто у нее не было никаких обид на Парийского.

Положив трубку. Клоун сказал Ларисе:

- Ты здесь побудешь или со мной?

- С тобой! - ни о чем не спрашивая, сразу же согласилась Лариса.

- Тогда бежим!

У ворот клуба висела афиша: "Театр-студия на Раушской набережной. "Время, вперед!" Литературно-драматическая композиция Ю. Парийского и М. Воловича по мотивам советской литера-



туры. Режиссер - М. Волович". Внизу крупно: "Главный режиссер театра-студии - М. Волович".

В зале уже был погашен свет, бордовый бархатный занавес подсвечен огнями рампы, когда Клоун влетел за кулисы.

- Шестой! - облегченно воскликнул Волович. Большеглазая Инна от волнения чмокнула Клоуна в щеку и шепотом спросила:

- Видел меня вчера?

Клоун кивнул, принимая от Воловича листочки...

Занавес разъехался в стороны, лучи прожекторов выхватили солдатскую койку, зарешеченное окно на черном заднике, телевизор, стоящий на полу. Людей на сцене не было. Вдруг громко понеся из динамиков рок-н-ролл: Бил Хэлли надрывно хрипел рок "Вокруг часов".

На сцену высыпали все шестеро участников спектакля: пять мальчиков и девочка, Инна, и принялись ритмично выделять па рока.

Черноволосый паренек, который был за Полякова, сел на койку с гитарой и, когда рок смолк, ударил по струнам и запел:

Броня крепка, и танки наши быстры,  
И наши люди мужеством полны.  
В строю стоят советские танкисты,  
Своей великой родины сыны...

Клоун пораженно сел на телевизор. Клоун думал, что Волович все-таки оставит в этом месте песенку Полякова:

Едем-едем в Братиславу,  
Мчит наш БТР,  
Уходи с дороги, дядя-  
Контрреволюционер...

Когда композиция дошла до момента, когда в луче света должен был появляться Парийский и декламировать "На плацу открыто", Клоун врзал за Парийского:

День стоял о пяти головах. Сплошные пять суток  
Я, сжимаясь, гордился пространством за то, что росло на дрожжах.  
Сон был старше, чем слух, слух был старше, чем сон, - слитен, чуток...  
А за нами неслись большаки на ямщицких вожжах...  
День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,

## ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ

Ехала конная, пешая, шла черноверхая масса:  
Расширением аорты могущества в белых ночах, - нет, в ножах -  
Глаз превращался в хвойное мясо.  
На вершок бы мне синего моря, на игольное только б ушко,  
Чтобы тройка конвойного времени парусами неслась хорошо.  
Сухомятная русская сказка! Деревянная ложка - ау!  
Где вы, трое славных ребят из железных ворот ГПУ?  
Чтобы Пушкина славный товар не пошел по рукам дармоедов,  
Грамотеет в шинелях с наганами племя пушкинovedов -  
Молодые любители белозубых стишков,  
На вершок бы мне синего моря, на игольное только б ушко!  
Поезд шел на Урал. В открытые рты нам  
Говорящий Чапаев с картины скакал звуковой -  
За бревенчатым тыном, на ленте простынной  
Утонуть и вскочить на коня своего!

На последней фразе Клоун сделал резкий жест от горла вверх.  
Волович невольно схватился за голову, а зрительный зал взорвался  
неимоверными аплодисментами.

- Bravo! - отрывисто бросил бас где-то в глубине партера.

Клоун исчез в кулисе.

- Есть другая реальность: воспоминаний, картин, обобщений,  
духа! - крикнул, встал и заходил долговязый Волович. - Подробно-  
ности...

- Парийский может по этому поводу речь толкнуть, - предложила Инна, укладывая ногу на ногу.

Клоун за Парийского появился в очках, в белой рубашке с короткими рукавами, в сандалиях на босу ногу. Он, подумав, сказал:

- Немыслимо примириться с мыслью, что смерть есть уход в Ничто!

Коренастый малый, который был за Алика, пошел в глубину сцены, где стоял телевизор, и поднял его. Затем подошел к рампе и остановился, как над пропастью.

- Да поставь ты телевизор! - сказала Инна. Она вошла в яркий луч света. - Я сегодня не работаю. Я пришла живьем!

В партере зашевелились, некоторые зрители узнали новую дикторшу телевидения, захлопали.

Внезапно свет на сцене погас, слабо светилось лишь зарешеченное окно на заднике.

Клоун за Парийского:

Юрий КУВАЛДИН

- Всю жизнь живу со светом из-за деревьев, разросшихся за окном.

Коренастый за Алика:

- А мне нравится, что растут деревья. Зелено. Я люблю старую Москву.

Он не спеша отошел к солдатской койке и поставил рядом с ней телевизор.

Черноволосый за Полякова:

- Есть топор?

Щуплый паренек в ковбойке за Клоуна:

- Есть.

Инна:

- Вырубать деревья? Это же вишни. Если по всей Яузе и есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только вишневый сад.

Черноволосый за Полякова и Щуплый за Клоуна, не слушая Инну, уходят с топором в кулису.

- Я архитектор, - сказал Коренастый за Алика, - и мне не предписано сердцем что-то ломать, рубить. Я еду в Сибирь строить новый город, светлый, чистый, просторный!

Наступило молчание. Вдруг среди тишины раздался глухой стук топора по дереву, зазвучавший одиноко и грустно.

Занавес

*В книге "Улица Мандельштама",  
Москва, издательство "Московский рабочий", 1989.*

## ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ЛЮБОВЬ

повесть

Многие подруги выучились, пооканчивали институты, а Катя в свои без малого сорок лет сидит в машбюро и отстукивает, как дятел, на электрической машинке чужие тексты, когда бы могла, если бы жизнь сложилась иначе и она бы закончила институт, сама сочинять научные тексты и давать их на перепечатку в это опустылевшее ей машбюро. А здесь работали, как считала Катя, смирившиеся со своим положением в жизни женщины, брали халтуру по сорок копеек за страницу, вырабатывали вместе с зарплатой до трехсот рублей в месяц и тем были вполне довольны. А Катя не была довольна. Ей все казалось, что жизнь только началась, что не было двух десятилетий замужества, что в этом машбюро она работает временно, что все еще можно исправить, повернуть в другую сторону, поставить точку, начать с новой страницы.

В семнадцать родила Петьку, в двадцать Сашку, в двадцать пять Алешку, и, наконец, в тридцать четыре - Светку. Разумеется, сразу же после Петьки хотелось иметь девочку. Шесть человек в одной комнате! Квартира двухкомнатная: в другой комнате - сестра с мужем и с двумя детьми - девочками. Теперь сестра ходит с брюхом, улыбается беспричинно и думает, да и вслух говорит об этом, что у нее наверняка будет мальчик. Разбежалась, зараза. Палец о палец не ударила, чтобы найти себе жилье на стороне. Нет. Привела своего Сеню к себе.

Хорошо хоть на очередь успела встать, может быть, в ближайшее время ей что-нибудь дадут. Поблизости, здесь же, в Тушине. Один раз уже предлагали квартиру в Чертанове - отказалась. Знает свою выгоду: Катя и за ее детьми присмотрит, а главное - этот идиотский общий котел! Додумались же до общего котла! К чему, мол, варить отдельно. Одну огромную, как ведро, кастрюлю перво-

го наварить - и дня два все сыты! Дети остаются одни, взрослые все работают. Но денег едва от зарплаты до зарплаты хватает, хотя Юра, муж, халтурит, приносит минимум червонец в день, он таксистом работает, но деньги словно сквозь сито пролетают, или сами деньги в какую-то бумагу превратились: ничего на них не купишь.

Конечно, Юра бы мог побольше приносить, но он, прямо можно сказать, труслив и принципиален, принципиален в том смысле, что любит лепить правду в глаза, а начальству это не нравится. В свое время Юра закончил техникум, поработал в энергетическом КБ, разругался там со всеми, да и зарплата была символическая, и, плюнув, ушел в такси, права были, еще в армии получил. Юра был старше Кати на десять лет, познакомился с ней на школьном вечере, когда Катя училась в девятом классе, поддал с ребятами и завалился на школьный вечер.

Теперь Юра частенько вспоминает то время, веселое и бесшабашное, когда в автомате на сорок копеек можно было засадить стакан портвейна "три семерки", а уж о пиве и говорить нечего - на каждом углу, и бутылочное, и бочковое. Водка же вообще шла вне конкурса, почти что бесплатно, а ныне нужно день целый пахать на нее, паразитку. Все эти разговоры мужа о поддачах и бутылках порядком надоели, почти что до раздражения. Все-таки Катя работала в приличном институте, пусть и в машбюро, но все же, и прислушивалась к разговорам в буфете, в столовой, в коридорах: никто из мужчин здесь так прямо не заводил разговор о бутылках и пьянках, здесь были какие-то трудноуловимые настроения, совсем другие: о литературе, о политике, о театрах...

И Кате нравились эти разговоры, и даже она сама изредка принимала в них участие, вставляла какие-нибудь умные слова и целые выражения, так что дивилась сама себе, наблюдая за собой как бы со стороны и не узнавая себя. Но только изредка. В основном же все было обыденно, как дома, как в машбюро. Закипал электрический чайник, машинистки откладывали работу и принимались судачить и пить чай. В дни зарплат Кате поручали получать общие деньги в окошке бухгалтерии, она ходила туда с холщовым мешочком, стояла в очереди - и там шли разговоры обыденные: о тесноте жилья, о маленьких зарплатах, о перебоях с продуктами. Получив деньги, Катя садилась с ведомостью за от-

дельный стол, и к ней шли получатели; деньги она получала и на машбюро, и на пять соседних отделов.

Из редакционно-издательского отдела приходили симпатичные дамочки с наманикюренными пальчиками, и Катя с удовольствием выдавала им зарплату, с некоторой завистью поглядывая на красивые лаковые ногти. Ей всегда хотелось иметь маникюр, но никогда у нее его не было: постучи с длинными ногтями по клавишам! Затем появлялся и сам начальник РИО - Игорь Олегович, в сером плечистом пиджаке, улыбался, произносил всякие любезности и ставил завитушку в ведомости. Начальник, а получал всего 160 р. с вычетами. Но Кате он нравился, и, когда Игорь Олегович входил, она даже слегка вздрагивала, смущенно бросала взгляд на его седину и тут же отводила глаза.

Иногда Кате казалось, что Игорь Олегович симпатизирует ей, он, когда сам приносил материалы на перепечатку, подходил к ней и просил именно ее сделать работу. Катя писала быстро, как автомат, почти что вслепую, и без единой ошибки, а если таковая проскакивала, то Катя с восклицанием "У, зараза!" тут же ее замазывала белой пастой и забивала нужной буквой. Вообще, Катя считалась самой быстрой машинисткой в машбюро, и за это ее все ценили, поэтому сквозь пальцы смотрели на то, что иногда по целому дню Катя не подходила к машинке, а сидела в кресле у окна и читала какую-нибудь книгу. Это была единственная возможность почитать.

В РИО у Игоря Олеговича была своя машинистка, Элочка, студентка полиграфического института, но она так медленно печатала, с таким количеством ошибок, что Игорь Олегович махнул на нее рукой, но не мог уволить, поскольку взял Элочку в свое время по рекомендации директора института. Элочка уже училась на четвертом курсе, и однажды, встретив Катю в коридоре, Игорь Олегович сказал, что через год Элочка уйдет, и тогда он может взять к себе Катю. Если, конечно, Катя того пожелает. А пожелать Кате было трудно, потому что в РИО ставка машинистки ценилась в 80 р. в месяц против 130 р. в машбюро. Игорь Олегович успокоил Катю, сказав, что сам будет регулярно обеспечивать ее халтурой. А текущую отдельскую работу Катя, с ее скоростью, отбабахает дня за два в неделю.

В общем, Кате это предложение пришлось по душе, но о нем она пока ни мужу, ни машинисткам не говорила. Игорь же Олега-

вич при каждой встрече с Катей жаловался на Элочку, которая, по его выражению, совсем села ему на голову. Не приходит на работу, звонит, что заболела, а бюллетеня не несет. Приходит, когда вздумается, уходит точно так же. Однажды сама Катя поговорила вполне любезно с Элочкой, в том смысле, что это она так часто болеет, на что Элочка хладнокровно ответила, что она не собирается выходить, когда у нее месячные. Катя чуть не рассмеялась. Еще бы, если б она себе позволила ежемесячно из-за этих трехдневных женских пустяков не выходить на работу, ее бы в машбюро подняли на смех!

Начался период ожиданий ухода Элочки. Катя даже советовала Игорю Олеговичу подыскать ей работу, но Игорь Олегович, хмуро глядя в пол, говорил, что, оказывается, Элочка метит у него же в РИО на место младшего редактора, которое скоро должна освободить одна старая работница в связи с уходом на пенсию. А этого бы Игорю Олеговичу не хотелось, не хотелось бы видеть перед своими глазами Элочку, эту маленькую гладковолосую хищницу, считающую себя подарком всем людям отдела и института, говорящую ленивым тонким, почти что детским, голоском обо всем свысока, как будто она уже есть нечто такое, чему следует поклоняться. На работу Элочка приходит с таким видом, как будто делает одолжение.

Катя стала тихо ненавидеть эту Элочку, а однажды, столкнувшись с ней в туалете, прицепилась к ней ни с того ни с сего, когда Элочка выставила свои тонкие губы, как для поцелуя, перед зеркалом и принялась их мазать губной помадой, сказав, что рано еще такой соплюшке красить губы, отчего Элочка побледнела и выронила помаду в раковину, а Катя, затягиваясь сигаретой, смотрела на нее уничтожающим взглядом, не выдавая своего волнения ни одним мускулом лица. Сама Катя вообще не красилась, даже глаза не подводила. Ее вполне устраивали природные данные: чистое европейское лицо, светло-русые волосы, голубые глаза. И, надо сказать, Катя выглядела значительно моложе своих сорока лет, возможно, именно благодаря тому, что не истязала своего лица разнообразной косметикой. Опомившись, Элочка стала то-то пицать о собственном достоинстве, а Катя ей еще раз врезала в том смысле, чтобы убиралась она из института подобру-поздорову, пока Катя не предприняла своих более решительных женских мер. Элочка не стала грозить, что будет жаловаться, и этим оказалась умнее, чем предполагала Катя.

Во всяком случае, Игорю Олеговичу Элочка не пожаловалась, иначе бы он сказал Кате, а он в тот день, встретив Катю в буфете, ничего ей не сказал. Катя пила пустой кофе, без еды - бутербродов или булочек, - и Игорь Олегович, подсевший рядом, спросил, что это она ничего не ест. Катя ответила, что вообще мало ест, совсем как наркоманка, только курит и пьет черный кофе. Иначе не выдержит с такой оравой. И Катя принялась рассказывать о детях, о тесноте в квартире, о скучном муже, а Игорь Олегович смотрел на нее погрузневшим взглядом, и, судя по этому взгляду, он от души сочувствовал Кате. Когда шли из буфета, Игорь Олегович расспрашивал Катю о том, что она читает, на что Катя прямодушно выпалила: всякую чепуху - фантастику, детективы. Читает, как в омут ныряет, чтобы отвлечься. Игорь Олегович, сказав "понятно", попросил ее минутку подождать у отдела, а сам сходил к себе и вынес Кате книгу в черном переплете с золотым тиснением. То была книга Сыма Цяня "Исторические записки". Катя удивилась: зачем ей это? Но Игорь Олегович сказал, чтобы она попробовала почитать и такую литературу, может быть, она придется по душе Кате.

В машбюро Катя сразу же плюхнулась в кресло у окна и попросила машинисток ее не беспокоить. Сначала она никак не могла сосредоточиться, войти в текст, но постепенно, перечитывая каждый абзац дважды, перенеслась в древнекитайскую жизнь. Она читала о том, что отец Шуня Гу-Соу был склонен к порокам, мачеха сварлива, а младший брат Сян - заносчив, и все они хотели убить Шуня. А Шунь к двадцати годам прославился своей сыновней почтительностью... Шунь оказался смекалистым, и его не удалось убить. Он стал правителем. Время от времени Катя отрывалась от чтения и смотрела долгим взглядом в окно. Под стук машины думала о бесконечности жизни, ощущая себя причастной к этому бесконечному потоку.

В книге говорилось, что все сущее, все созданное Небом и Землей должно использоваться всеми, поэтому как же можно захватывать это одному? Гнев, вызванный такими действиями, будет весьма велик, и страна не будет готова на случай больших бед. Кто управляет людьми, должен открывать путь к богатствам, но распределять их между верхними и нижними, чтобы все духи, люди и все сущее получали по справедливости. Правитель должен все время находиться в страхе, опасаясь вызвать недовольство...



Люди имеют рты, подобно тому, как на земле есть горы и реки, которые рождают все богатства, подобно тому, как на ней есть возвышенные и низкие места, плодородные и орошаемые земли, которые дают одежду и пищу. Рот человека распространяет слова, которые являются источником хорошего и дурного. Делая добро и остерегаясь плохого, можно производить богатства, одежду и пищу. Ведь чаяния народа лежат в сердце, а высказываются они ртом, складываясь вместе, они проводятся в жизнь. Если же закрыть рты народу, долго ли все это сможет продолжаться?

После работы у Кати еще долго сохранялось хорошее настроение, вызванное чтением этой книги. И какой же хороший человек Игорь Олегович, что дал почитать ее. Стоя в очереди за мясом, Катя не обращала внимания на грубые выкрики женщин из очереди по поводу того, что мясник пьян и всех подряд обвешивает, - Катя думала то о далеком Шуне, то о Поднебесной, то возникал образ Игоря Олеговича, культурного, воспитанного человека, вот бы такого мужа иметь, а не таксиста. После мясного отдела Катя встала за капустой, заодно купила и пару килограммов репчатого лука. Затем взяла четыре батона белого и буханку черного. Все это неслала домой в двух огромных сумках, сутулясь от их веса.

В квартире дым стоял коромыслом: сестра затеяла большую стирку, кипятила белье на плите. Светка, обложенная подушками, сидела на диване с кастрюльной крышкой и "рулила". Старший, Петька, в вечных своих наушниках слушал музыку. Средние играли в настольный хоккей. Юра пришел с работы в девять и, не раздеваясь, прошел в комнату и сразу же стал говорить Кате о задумке: все в парке помешались на покупке домов в деревнях. Вот и договорился с шофером из их колонны в выходной сгонять под Загорск, там, говорят, в одной деревеньке можно купить избу рублей за триста - четыреста. Кате эта идея понравилась, она сразу как-то забыла про Сыма Цяня и весь вечер проговорила с Юрой о будущих летних отпусках в своем доме в деревне. К разговору тут же присоединились дети, даже старший Петька, отслуживший армию и работавший на заводе, сказал, что оборудует себе чердак и будет там спать. Муж сестры, Сенечка, сразу же предложил свои услуги по ремонту будущего дома, но Юра ему довольно грубо заметил, что нужно самому приобретать собственный дом, а не лезть в компаньоны. И так в квартире здесь осточертели друг другу, так еще за городом видеть надоевшие ро-

жи. Сенечка без всякой обиды согласился с рассуждениями Юры. А сестра обиделась: что мы уж как чужие! Катя оборвала ее: да чужие лучше живут, чем мы, что ты все роднишься, родниться нужно раз в месяц: торт купила в магазине и приехала в гости, как люди, а не торчать тут под носом круглые сутки. Поехала бы в свое Чертаново!

Сестра хлопнула дверью, ушла в свою комнату. Когда Катя с Юрой легли за своим шкафом, то долго еще шептались о покупке избы и ждали, когда уснут дети.

Утром, уже на подходе к институту, встретился Игорь Олегович, и Катя, не в силах скрыть радость, рассказала ему о предстоящей покупке избы. Игорь Олегович достаточно сдержанно отнесся к этому сообщению, и Катя, уловив это, смутилась. Они посмотрели друг на друга прямо, не опуская глаз, как будто хотели тут же заговорить о чем-то другом, более существенном, но еще не оформленном в мысли и слова. А Игорь Олегович спросил у раздевалки, любит ли Катя кино, Катя сказала, что любит, но давно уже не была там, поскольку некогда. Игорь Олегович достал билеты и сказал, что это на "Красную пустыню" Антониони, что этот фильм Катя почему-то необходимо посмотреть.

Катя согласилась, понимая, что муж обидится. Она позвонила домой, подошла сестра, Катя ей объяснила. Сестра сказала, чтобы Катя не волновалась, надо же развеяться, а она мужу передаст, что случайно достались билеты на редкий фильм. Разумеется, Катя не стала говорить сестре, что идет в кино с сослуживцем. Катя сказала, что идет с подругами из своего машбюро.

Принесли большую и срочную работу от Когана из отдела металлловедения. И, конечно, сунули ее Кате, потому что только она разбирала почерк Когана. Прежде чем начинать стучать, Катя стрельнула сигарету у Нины Петровны и пошла в туалет курить. Никак не могла себя заставить завязать с курением. Казалось бы, и не покупает сигареты, и дома не курит, а как только приходит в машбюро, то сразу же тянет курить. Черт знает что! Катя с удовольствием затаилась и взглянула на себя в зеркало: а она неплохо выглядит, даже хорошо, даже очень симпатичная. При этом забылся и муж, и изба, и дети, и все забылось, выплыли из памяти "Исторические записки", разумный Шунь, Поднебесная и почему-то под этой Поднебесной красная пустыня, ну совсем красная, как знамя.

К концу рабочего дня Катя совершенно машинально, не вдумываясь в текст, да и вдумываться в него было трудно, поскольку речь шла о каком-то поверхностном упрочнении металлов с применением лазерной установки и текст перемежался формулами, отбарабанила сорок страниц, перекусила бутербродами, прихваченными из дому, и пошла к раздевалке, где ее уже ожидал Игорь Олегович. Пока добирались до клуба, Игорь Олегович говорил о кино, о фильмах Бергмана, Феллини и Тарковского. Потом стояли в фойе и больше молчали, глядя по сторонам и ожидая, когда начнут запускать публику в зал. Игорь Олегович купил в буфете шоколадку для Кати, она и не подумала ее есть, сунула в сумочку для Светки. Места были хорошие, десятый ряд партера.

На просторной сцене перед широким экраном, девственно белым (и какую жизнь он на этом белом высветлит?), стояла массивная напольная ваза с декоративными цветами. Эта ваза напомнила Кате зимнюю ночь, звездную и морозную, когда она с Юрой, будущим мужем, приехала на дачу к его другу Валере. Валера тоже был с девушкой. Свет погас, экран засветился, и... началась другая жизнь, параллельная реальность. Так вот, приехали малой компанией на дачу к Валере. Они занимали половину бревенчатого дома. Этакая громадина на две семьи, то есть в одном огромном доме перегороденном надвое, два хозяина. Но зимой там было пусто и тихо. К огорчению Кати и Юры, Валера забыл (или ему не дали?) ключи, и он вынужден был выдавливать стекло на террасе, и таким воровским способом все должны были забираться в промерзший дом. Мало того, пришлось сидеть без света, при керосиновой лампе. Дров в доме не оказалось. Но была предусмотрительно прихваченная бутылка водки. Выпили, затем уж стали растапливать печь, сокрушив топором старый венский стул, прекрасно сгоревший, потом в топку полетел могучий золотой багет от картины, а прежде, в самый начальный момент растопки, для розжига, Валера выхватил из напольной вазы сухие ветки, такой же сухой камыш и какую-то метельчатую траву, напоминавшую серебряный ковыль.

Валера со своей девушкой в соседней комнате залезли в спальный мешок, а Юра раскалил на печи огромный камень-валун, для декора лежавший на полу возле вазы, и катал его по простыням, согревая любовное ложе.

Утром их разбудил стук в дверь. Валера испуганно оделся, Юра и Катя стучали зубами от холода и страха, девушка Валеры тоже резво облачилась в брюки и свитер. Спустя минут пять, когда все себя привели в более или менее божеский вид, загремел ключ в замке, дверь открылась, на пороге возник коренастый человек в лисьей шапке, волчьей шубе и в лохматых унтах. Бешеным взглядом он полоснул по Валере, и Катя догадалась, что это Валерин отец, полярник. За его спиной показался с красным, обветренным от мороза лицом милиционер в шапке с опущенными наушниками.

Да, пренеприятная сцена выдалась, и Катя почувствовала себя какой-то потаскушкой, и ее тут же с милиционером можно брать и сажать как малолетнюю преступницу. Ей было шестнадцать.

Валера молчал, повинно опустив голову, и все молчали, и милиционер как-то странно быстро догадался, что он тут совсем не нужен, как-то тихо, чтобы не спугнуть тишину, повернулся и пошел, поскрипывая снегом, обильно засыпавшим за ночь ступеньки крыльца. А потом послышался его голос: он разговаривал с соседкой с другой половины дома. Этого Валера не учел, того, что соседка могла быть на даче. Скрипя снегом, пошли к “Волге” отца Валеры, которая стояла на шоссе. Шли, молчали, скрипели снегом. Катя держала Юру под руку и прижималась к нему.

После фильма, когда обменивалась впечатлениями (Кате фильм очень понравился) и прощались в голубоватом свете фонарей, Игорь Олегович сказал, что непременно будет приглашать Катю, когда будет что-нибудь интересное. Катя, вообще-то, была готова к тому, чтобы Игорь Олегович ее проводил, но он довольно-таки быстро откланялся и побежал на троллейбус, а Катя поехала в метро. Какой-то юноша загляделся на нее в вагоне. Он поднимал на Катю глаза и улыбался, а она, не обращая на него внимания, думала о своей юности, вызванной в воспоминаниях “Красной пустыней”.

Муж сидел на кухне с приятелем, и перед ними стояла пустая бутылка. И так теснотища, а он еще приятелей таскает по домам! Муж сразу же с какой-то ехидцей спросил: мол, как там кино? Катя сказала, что кино хорошее, а о пустой бутылке ничего не сказала. Скажешь - Юра сразу заведется. С этим приятелем Юра и собирался ехать подыскивать избу. Они сидели за пустым столом, без тарелок и вилок, ломали руками черный хлеб и так же руками доставали соленые огурцы из трехлитровой банки. Катя засуети-

лась, быстро нажарила картошки, разогрела вчерашнее мясо с соусом, а мужики, переглянувшись, с чувством собственного достоинства вытащили вторую бутылку. Катя поставила и себе маленькую рюмочку. Показался в дверях кухни Сенечка, но Катя со вздохом сказала, что нет никакой возможности спокойно посидеть, и он тут же ушел в свою одиннадцатиметровую комнатку.

Как они там с сестрой и девчонками только существовали! Но сестра была деловая, как выражался, постоянно при этом кому-то подмигивая, Сенечка. Она втиснула между своим диваном маленький диванчик для одной дочки, а в головах еще один диванчик встал, спали ногами к головам или головами к ногам, черт их разберет, но помещались, да еще, предвидя скорое получение новой квартиры, купили трехстворчатый шкаф!

Сенечка работал на заводе каким-то пайщиком или мотальщиком, и, судя по всему, ему паять или мотать сильно надоело, и он все присматривался к Юре, однажды даже закинул удочку в разговоре: а не перейти ли ему в такси, правда, прав у него нет, но теперь это дело быстро можно поправить, уже интересовался насчет учебного комбината, там за полгода права в зубы - и рули! Сестра же по беременности в настоящий момент не работала, хотя работа у нее была неплохая, как казалось Кате, сестра была по финансовой части, окончила финансовый техникум, и до последней беременности работала в сберкассе не простым кассиром, а кем-то вроде начальницы.

За столом пошел хороший, можно даже сказать, задушевный разговор после того, как приятель от души похвалил Катю за отличный характер и пустил несколько горячих слов в адрес своей жены, которая, по его словам, мышей не ловила и все денег требовала, вот все ей мало, стерве, горбатишься на нее круглые сутки, а она ноль внимания, тарелку супа не поднесет! Ладно, тему жены приятеля быстро прокрутили и перешли на избу. И какую следует покупать, и за сколько, и как ее потом ремонтировать. Можно, говорил приятель, крышу ломаную сделать, второй этаж получится, а то у деревенских шарики не варят, живут как при крепостном праве, ничего не делают. Потом, и главным образом, фундамент надо смотреть. Юра понимающе поддакивал насчет фундамента, в том смысле, что был бы фундамент приличный, от него уж можно плясать, как от печки. Катя все больше о грядках и о кустах смородины и крыжовника вставляла, но мужчины проезжали мимо

этого, для них кусты и грядки были бабьим делом, а они по большому счету, по основным, так сказать, фундам!

Юра налил, чокнулись, а Катя, махнув рукой, достала из холодильника баночку красной икры, которую держала на праздник. Жирно мазали искрящейся этой икрой белый хлеб с маслом. Приятель сначала стеснялся есть такие царские бутерброды, но затем уничтожил пару кусков в три прикуса, куски были небольшие, из батончиков, которые Катя любила: длинных и тонких. Как уж они там называются, забыла. Приятель все про избу говорил, да и все про нее говорили, приятель спохватился во втором часу, и его не отпустили, а то еще в “чумовоз” попадет, положили прямо на кухню на раскладушке.

Наконец через неделю Юра с этим приятелем сгоняли в сторону Загорска, но, как оказалось, там ничего подходящего не было, приятель говорил с чьих-то слов. С пустыми же руками возвращаться друзьям не хотелось, и они, вырвавшись на Угличское шоссе, которое начиналось прямо в Загорске, порулили, останавливаясь в каждой деревне и опрашивая местных жителей, не продается ли тут изба. Таким образом, отъехали от Загорска километров на тридцать, там какой-то мужик сказал, что будто бы слышал, что в следующей деревне, которая будет сразу же за охотничьим хозяйством, какой-то дом продается. Проехали это охотничье хозяйство - огороженный глухим забором лес, выехали к деревушке, расположенной на берегу речки. Но и там ничего не продавалось. Зато узнали у женщины, что в соседней деревне, если ехать прямо по шоссе, в Фониномском, точно изба продается, там одна старуха продает, а сама старуха хочет к сыну в город перебраться.

От Загорска до Фониномского оказалось семьдесят километров. Приятель по спидометру своих “Жигулей” замечал. Справа, в центре деревни, вытянувшейся вдоль щебенчатой дороги, и стояла изба в три окна, с пристроенным к ней сараем. Как ни торговались со старухой, менее чем за тысячу она дом не отдавала. Но Юре уж очень изба понравилась, правда, была она не на кирпичном фундаменте, а на сваях, деревянных, глубоко уходящих в песчаную почву.

Обо всем этом, но еще подробнее, рассказал Юра Кате, и при этом глаза его горели. Он говорил, что черт с ней, с тысячей, что он подхалтурит, а может быть, даже водочкой начнет ночами приторговывать. А что?! Ребята рассказывали, что очень выгодно, по

два червонца бутылка идет. Это предложение Катя пропустила мимо ушей и сказала, что у свекрови, то есть у Юриной матери, есть же деньги, чего он к ней не хочет обратиться. Юра сказал, что на избу сам заработает, а к матери так и так придется обращаться. И тут он, вновь вспыхнув глазами, сказал, что надумал и машину покупать. Как в это Фониинское иначе ездить? Короче, к этой избе машина как воздух необходима. Катя тут же воскликнула, что может халтуру брать, страница - 40 копеек! Сто страниц в неделю - вот тебе сороковка, в месяц - 160 р., за год - 1920 рублей! На улице не валяются! Юра еще больше воодушевился: а то едешь в чужих "Жигулях", прямо стыдно: здоровый, руки-ноги есть, а без машины!

После этого разговора Катя и на работу пришла взволнованная. Хотела промолчать, не говорить женщинам о задуманном, но те сами спросили, что это она такая возбужденная, все в туалет курить выходит. Ну, что тут делать, Катя стала рассказывать о поездке мужа за город, о том, что избу уже присмотрел и сторговался на тысячу. Женщины Катю поддержали, а та, у которой был садовый участок, прямо-таки целый день не давала Кате проходу, советуя не думать и покупать, пока цены не подскочили, и без умолку расхваливала свой участок, грядки и кусты и то, как она лихо закручивает банки с огурцами и помидорами.

Когда Катя в очередной раз вышла в туалет покурить, то столкнулась с Элочкой и почти что машинально спросила у нее о том, не подыскала ли себе Элочка места. Элочка, сощурившись, взглянула на Катю и сказала, что она не собирается тут портить себе жизнь, но места пока не подыскала, потому что ей хочется работать с художественными текстами, а не с этой научной белибердой. Настроение у Кати совсем стало прекрасным, и она сказала Элочке, что та хорошо сегодня выглядит, отчего Элочка слегка покраснела. Элочка заговорила о том, что приличное место с художественными текстами найти не так просто, но дядя (директор института) старается и, в общем-то, обнадеживает, у него есть хорошие знакомые в тех сферах, где редактируют художественные тексты, так что остается только ждать, ибо в таких вопросах нужна большая выдержка, и все сразу не делается. Элочка как бы высказывала свои мысли вслух, очень рассудительно и без всякой задней мысли и обиды на Катю. Так, во всяком случае, показало самой Кате.

В буфете, куда Катя заглянула на минутку, взять без очереди и без сдачи стакан кофе, сидел Игорь Олегович, ел колбасу с черным хлебом и пил чай. Катя со своим внеочередным стаканом невольно подседа к нему и почувствовала, что вдохновенное настроение у нее от встречи с Игорем Олеговичем быстро гаснет. Игорь Олегович некоторое время смотрел на Катю молча, затем спросил, читала ли она что-нибудь Гельдерлина. Катя, к своему стыду, впервые слышала это имя, в чем и призналась Игорю Олеговичу, а он, когда Катя допила кофе, а он чай, повел ее к своему РИО и вынес книгу этого самого Гельдерлина. Там были стихи и драмы, и роман, и письма. Такой толстый томик. Катя вернулась в машбюро и вместо того, чтобы делать работу, села в кресло. Очнулась она тогда, когда женщины стали собираться домой. Тут зазвонил телефон, и подозвали Катю. Звонил Юра, прямо с линии, встревоженным голосом. Оказывается, в него въехал "рафик", ну прямо с ходу дал в зад Юриной машине, когда Юра стоял у тротуара, только что высадив пассажира.

Юра встал на ремонт, чертыхался, что бесплатно ходит в парк. Вечерами он был мрачен, ничего по дому не делал и все смотрел телевизор. Вот сядет перед экраном в семь часов и сидит до тех пор, пока не засветится надпись с гудками: "Не забудьте выключить телевизор". В один день, когда он так сидел перед телевизором, Петька пришел под сильной банкой. Сам Юра, приняв хавшись, смолчал, а Кате это очень не понравилось, она стала отчитывать Петю. Тот что-то вяло бросал в ответ, а потом сказал, что выпил с тренером по дзюдо. О каком дзюдо идет речь, Катя не поняла, а Петя сообщил, что теперь он ходит в секцию и скоро будет выступать на каком-то первенстве. Юра похвалил старшего сына, а Катя махнула рукой, потому что не до него было: у Светки поднялась температура, и на другой день она вынуждена была оставить Светку дома и просить сестру присмотреть за ней. Но сестра сказала, что ей не до того, она сама со дня на день должна родить, поэтому Кате пришлось садиться на больничный. Оставить Светку было не с кем.

Сашка пошел в институт (он учился в энергетическом на первом курсе), Алешка в школу, Петька на завод.

Самая сестра пристроилась, лучше не придумаешь: мать Сенечки жила через дорогу, вот сестра и отводила девчонок к свекрови, как в детский сад. Одной девчонке - пять, другой - четыре. Дня че-



рез два сестру отправили в роддом. Схватки начались вечером, когда почти что все были дома. Не было лишь Сашки да Петьки. Но Сашка пришел сразу же после того, как сестру отправили, и с ней Сенечка поехал. А Петька не явился даже ночевать. И не позвонил, скотина. Катя прочла небольшую лекцию Юре о том, что он бы, как отец, должен бы быть с Петькой поостроже, на что Юра ответил, что Петька уже взрослый и что у него своя голова на плечах. Катю это не устроило, она стала развивать мысли в том плане, что Петьке давно пора доказать делом, что у него на плечах голова, а не кочан капусты. Ему давно пора начинать самостоятельную жизнь, то есть жениться. Иначе в смысле жилья ему ничего не светит. Юра с этим согласился. Конечно, хорошо бы было, если бы Петька нашел себе какую-нибудь богатую невесту, молодую, пусть и с родителями, но со своей комнатой и с перспективой отделения от этих родителей. Катя поставила в пример Сашку, который ни капли в рот не берет, и учится, и уже гуляет с приличной девушкой. Как-то в момент откровения Саша рассказал об этом Кате.

Петька явился на третьи сутки и сказал, что малость загуляли с тренером по дзюдо. Катя с отчаянием вlepила сыну пощечину, а он схватил ее за руки и отшвырнул от себя на диван, при этом Катя легонько ударилась о подлокотник. Светка закричала на Петьку, что он бандит. А Петька взял свою сумку и куда-то ушел. В тот день Юра выехал на линию после ремонта и собирался пахать весь день и всю ночь. Когда Саша пришел и спросил, показался ли на горизонте Петька, Светка за Катю ответила, что прибежал и толкнул мамку на диван, а мамка трахнулась головой о деревяшку. Сашка сжал кулаки и сказал, что, как только Петька придет, он ему покорежит челюсть, но Катя взмолилась, чтобы он этого не делал, не хватало еще драк тут!

Светка выздоровела, и Катя отвела ее утром в сад. Пока ехала в метро, дочитывала роман Гельдерлина "Гиперион, или Отшельник в Греции" и на последних строках даже прослезилась, там говорилось о том, что люди падают с древа жизни, как гнилые плоды, и пусть они погибают, но они же возвращаются вновь, преобразенные, к корням древа жизни. Люди вливаются в гармонию природы. Кто же нарушит ее? Кто может разлучить любящих? О душа, душа! Нетленная красота мира, пленительная в своей вечной юности, ты существуешь, и что тогда смерть и все горе людское!

Перед входом в машбюро стоял Коган, поджидал Катю, сказал, что слышал о том, что Кате теперь нужна большая халтура. Она, выплывая на свет как из тумана, согласно кивнула и получила от Когана толстую папку с тесемками. Спросила, как печатать, в смысле через сколько интервалов и в скольких копиях, сколько тут страниц. Коган все объяснил и сказал, что тут 500 страниц, и если Катя хочет, то он может выдать сейчас же аванс в размере 25 процентов, на что Катя тут же согласилась и получила из рук Когана 50 рублей одной хрустящей бумажкой.

Спустя минут десять Катю подозвали к телефону. Звонил из роддома Сенечка (он туда каждый день ездил) и сообщил не очень радостным голосом, что сестра родила девочку. Катя так и думала. Не верила в то, что сестра по заказу родит мальчика. И более радуясь своей правоте, весело поздравила Сенечку с прибавлением семейства и добавила, чтобы он сейчас же бежал в райисполком и требовал квартиру. Невозможно же будет жить с новорожденной; она как начнет кричать, так никто не заснет. Сенечка согласился и сказал, что так и поступит, как советует Катя, то есть сию же минуту идет на прием в райжилотдел.

Катя села за машинку и принялась за "большую халтуру" - рукопись книги Когана для издательства "Машиностроение".

Потом позвонили из профкома, сказали, что привезли заказы, рыбные. Катя подумала и решила взять к празднику. Там и икра красная была. Всего стоимостью 21 рубль весь заказ. В очереди у профкома встретила Игоря Олеговича, который тоже брал заказ. Опять у него оказались билеты, теперь уже на "8 1/2" Феллини. Катя от кого-то что-то слышала об этом фильме, поэтому сразу согласилась пойти. Но сам Игорь Олегович идти в этот раз не собирался, поскольку раза два или три уже смотрел эту картину. Но так как ему не хотелось возиться с билетами, - у него их было три, - то он все их отдал (Катя пыталась всучить ему деньги, но он не взял) Кате и сказал, что, может быть, она в институте кому-нибудь предложит. Когда уже получили свои увесистые свертки, из которых торчали хвосты семги, Игорь Олегович предложил Кате пригласить в кино замдиректора Курочкина, добавив, что тот большой любитель Феллини. Катя, конечно, приняла этот совет к сведению, но не могла понять, почему сам Игорь Олегович не предложит билеты этому Курочкину. Однако спрашивать о причинах Катя не стала.

Проходя по длинному институтскому коридору, мощенному мраморными белыми плитами, Катя любовалась трапециями солнечного света, падавшего в коридор сквозь высокие окна. В белых застекленных дверях, ведущих на широкую лестничную клетку, Катя совершенно случайно столкнулась с Курочкиным, вежливо поздоровалась и сразу же вспомнила о совете Игоря Олеговича. Она достала из кошелька синие бумажки на Феллини и спросила Курочкина, не желает ли он сходить на Феллини. Сухощавое лицо замдиректора оживилось, он протянул руку и с удовольствием взял билеты. Катя спросила, смотрел ли Курочкин что-нибудь Феллини. Тот ответил, что разумеется. Они поднялись по лестнице. Катя уже хотела сворачивать к машбюро, но Курочкин, взяв Катин заказ, чтобы помочь ей, как истинный мужчина, подвел ее к дверям своего кабинета, открыл дверь - солнце ударило в глаза - и ввел Катю в свой огромный кабинет. Пожилая секретарша с некоторым недоверием проводила взглядом из-под модных очков Катю. Курочкин повертел синие бумажки, полез в карман за кошельком. Он протянул Кате трехрублевую бумажку, но Катя не взяла, сказав, что эти билеты достались ей бесплатно. Курочкин поднял на нее удивленный взгляд, пожал плечами и сел возле окна, из которого бил золотой свет, спиной к окну, на мягкий стул. Эти стулья рядами тянулись вдоль окон, стояли вокруг стола для заседаний, вдоль отделанной под дуб стены.

Курочкин спросил у Кати, как у нее идут дела. Спросил, назвав ее по имени, как будто они давно были знакомы. Катя даже побледнела от неожиданности, оттого, что замдиректора помнит ее имя. Надо же! А Кате-то казалось, что Курочкин и не подозревает о ее существовании! Он предложил ей стул. Катя села на выдвинутый из-за стола для заседаний стул, в метре от Курочкина, так что его лицо для взгляда Кати оказалось в тени, свет солнечный бил сзади. Серебрились в легком сиянии от этого контрового света волосы Курочкина, и так же серебрились плечи серого пиджака, словно бы покрытые в местах серебрения лаком.

Как-то мечтательно Курочкин промолвил, что Феллини тонкий художник. Курочкин привалился к спинке, как бы полулежал, скрестив вытянутые ноги. Затем добавил, что Феллини - художник, рассчитанный на понимающего красоту зрителя. Обрадованная этими словами, Катя тоже что-то изрекла о Феллини, а Курочкин в развитие темы заговорил о живописности и привел в пример

фильмы Бергмана, особо остановившись на “Земляничной поляне”, аттестовав его как великий фильм, где часы без стрелок, жизнь без времени, нелинейность времени.

Минуло незаметно полчаса, и вдруг Катя поймала себя на том, что сказал Курочкин. А сказал он о том, что, с кем-то посоветовавшись, решили направить Катю на учебу в полиграфический институт, на редакторское отделение. Разумеется, учиться вечерами. От этих слов Катя вздрогнула, вернее электрический разряд пробежал по спине и заставил Катю вздрогнуть. Вот тебе и новость! Ей - и учиться, это в сорок-то лет! И, чуть-чуть опомнившись, она возразила, что вряд ли сможет учиться, что и так она ничего не успевает делать, что дети, семья отбирают все свободное время и что она, Катя, не двужильная, чтобы еще учиться. Но с другой стороны, ей было лестно услышать из уст замдиректора это предложение. Конечно, Катя сразу догадалась, что тут все не без Игоря Олеговича.

Курочкин не обратил особого внимания на возражения Кати, как будто он предвидел подобные возражения с ее стороны. Он извлек из папки бумагу и протянул Кате: то было направление с гербовой печатью института и за подписями треугольника. Курочкин стал что-то говорить, а Катя как бы стала отлетать в сторону. Она видела серебящиеся виски Курочкина, видела чистый белый подоконник за его спиной, теплый подоконник, это так и чувствовалось, что теплый, поскольку под подоконником за деревянной лакированной решеткой находились батареи, которые еще топили. На подоконнике стоял цветок в горшке, с вытянутыми, колючими сочно-зелеными листьями. За спиной Курочкина - широкое, без переплета окно с сияющими чистотой стеклами, за окном - улица, прямоугольник сквера с подстриженными кустами, еще серые, сухой асфальт, пробегающие по улице машины.

Наконец Катя вновь услышала голос Курочкина. Он говорил, что месяц на подготовку к вступительным экзаменам Кате гарантирован. Да, так и сказал. Катя взяла свой сверток с рыбным заказом в одну руку, направление - в другую и, поблагодарив, пошла к себе в машбюро. Тут же ее подозвали к телефону, звонил Алешка, сказал, что дома нет сахара и, сделав паузу, добавил, что ее вызывают в школу. Катя вскричала, что он еще там натворил. Алешка сказал, что ничего он не натворил, а просто дал в глаз какому-то Степе, потому что тот подставил ему ножку на физкульту-

ре. Там его Алешка бить не стал, а врезал ему в туалете, куда пригласил зайти этого Степу. И как назло в эту минуту в туалет зашел завуч Иосиф Самойлович. Катя обругала Алешку и сказала, что сахар лежит в трехлитровой банке на антресолях со стороны кухни, и бросила трубку. Чтоб сгорели они все!

Принесли официальную работу, и халтуру пришлось отложить. Заказ Катя сунула в холодильник, чтобы полежал сутки, потому что идти с заказом в кино неудобно. Она позвонила сама домой и крикнула Алешке, что немного задержится, придет часов в девяносто. Алешка спросил, куда она собирается идти. Катя брякнула - не твое собачье дело! Села за машинку и принялась так быстро стучать, что к концу смены весь официоз прикончила.

Когда Катя вошла в зал кинотеатра, Курочкин уже сидел на своем месте, а рядом с ним какая-то дама, скорее всего, подумала Катя, жена. Катя смущенно поздоровалась с нею, а Курочкин сказал, кивая на Катю, что это самый добросовестный сотрудник института. Он не сказал - "машинистка", а именно - "добросовестный сотрудник". Катя плюхнулась на свое место и сразу же почувствовала, как она устала. При этом у Кати был какой-то растерянный вид, и она сама понимала, что рядом с пышной женой Курочкина выглядит как больная.

Свет в зале постепенно гас, и белый экран Кате показался похожим на озеро с серебряной гладью воды, потому что в эти минуты экран-озеро отливает ртутью, а вокруг него застыли в тишине деревья, темные и загадочные, глядя на которые кажется, что кто-то там притаился и подстерегает тебя, а ты в томительной грусти трепещешь от прекрасных вечерних видов и сама себя, как ребенок, пугаешь чудящими, благодаря необъятности собственной фантазии рисуешь их какими угодно страшными и вдруг замираешь в испуге от вида собственной тени, скользнувшей на дорожку, когда попадаешь в лунный свет, и поспешно оглядываешься в темень кустов. А там что-то шевелится и хрустит, тогда сердце твое замирает, а потом начинает колотиться так, словно с этой минуты твоя жизнь не принадлежит тебе и висит на волоске, но тут же ты для бодрости начинаешь что-то насвистывать себе под нос и понемногу успокаиваешься, останавливаешься и вскидываешь голову на небо, находя в мелькающих огнях звезд неисчерпаемую пищу для душевных восторгов, на небо, превратившееся в необъятный свод так, что сама для себя ты уменьшаешься, прилипаешь

к земле, вдавливаясь в нее и разеваешь рот от потрясающей тебя картины звездной ночи, божественно ясной, такой, что хочется радостно выть от этой непостижимой красоты, от этих чудных звезд, и ты бы взвыла трепетно, но молчишь, озираешься по сторонам, не видит ли кто твоего упомошательства, не стоит ли кто в тени деревьев и не смеется над тобой, думая, что наконец-то в полной мере узнал повадки такой дуры.

Свет в зале зажегся, и Катя увидела восторженно поблескивающие глаза Курочкина и услышала его тихий голос. Этот голос несколько раз повторил, что фильм великолепен. Вышли на улицу, и Катя уже хотела идти к метро, как Курочкин придержал ее и сказал, что за доставленное удовольствие подбросит Катю до дома на своей машине, и спросил у жены, не возражает ли она. Жена не возражала. А Катя сказала, что ей далеко, в Тушино, но Курочкин на это заметил, что им почти что по пути, они живут на Октябрьском поле. Когда Катя выходила у дома из машины, то столкнулась с Юрой. Надо же такое совпадение: она выходит из “Волги”, и муж Юра подходит к подъезду. Катя любезно сказала Курочкину “до свидания” и увидела Юру, а он слышал это “до свидания”, и когда Катя приблизилась к нему, то увидела его резко побледневшее лицо, нервную улыбку и стиснутые зубы. Машина уехала, а они все стояли у подъезда. Затем Юра с дрожью в голосе спросил, что, мол, все это означает, что это за “Волги”, что это за хахали и вообще, почему Катя себе много позволяет, почему сразу после работы не побежала домой, а ушла куда-то (ах, в кино!) без его разрешения. Катя крикнула грубо, чтобы он не лез в ее частную жизнь. И откуда только эта “частная жизнь” вылезла? Юра побежал к лифту не оглядываясь. Катя молча двинулась следом.

В квартире Юра влепил Кате пощечину. Катя вскрикнула, побежала Светка, а за ней Алешка, из комнаты сестры показался Сенечка, а за ним - девчонки. У Кати из глаз хлынули слезы, она прямо в пальто прошла на кухню и поставила чайник, чтобы что-нибудь делать, чтобы не обращать внимание на примитивизм мужа. И опять она спохватилась, вылавливая в мыслях этот “примитивизм”. Раньше она так о Юре не думала, а теперь сразу как-то вынырнуло это словечко “примитивизм”, выскочило и заострилось в сознании. А ведь действительно он примитивен, с грустью подумала Катя, смахнула слезы и глубоко вздохнула. Она прошла в прихожую, молча разделась. Юра с нею весь вечер не разговари-

вал. Это заметил Сашка, спросил, чего это они поругались, но Катя не ответила. Пришел Петька, трезвый, в хорошем настроении - у него была получка, и он купил торт. После чая с тортом Петька надел наушники и утонул в своем роке.

На другой день выписалась из роддома сестра, Сенечка привез ее на такси. Новорожденную положили в старую коляску, которую вытащили с балкона. В этой коляске катались и Светка, и девчухи сестры. Коляску вкатили в одиннадцатиметровую комнатку сестры, и там совсем стало тесно, пройти негде. Все заходили посмотреть на новорожденную, а Юра зашел тогда, когда сестра вывалила из просторного халата свою грудь с набухшим коричневым соском, из которого сочилось молоко, и принялась кормить Маринку, как называли они дочку с Сенечкой. Катя с усмешкой сказала Юре, что, мол, нечего зариться на чужие груди, что, мол, у нее, Кати, грудь ничуть не хуже. Юра смутился этого женского откровения и поспешно вышел. А Катя подошла к зеркалу, встала в профиль и распрямила спину, как бы проверяя взглядом свою довольно-таки приличную и еще не очень мягкую грудь. Юра в это время был на кухне, Катя вошла туда и сразу села к нему на колени, Юра даже чуть-чуть подпрыгнул от неожиданности, а Катя прошептала ему на ухо, что ее направляют учиться в институт. Юра не понял сразу, о чем идет речь, переспросил. Катя рассказала все подробно, и о кино сказала, и о замдиректоре Курочкине, который из любезности подвез ее до дому на своей машине. Вот будет у нас своя машина, сказала Катя, целуя Юру и не вставая с его колен, будешь меня возить сам на ней.

По случаю рождения Маринки Сенечка выставил на стол пару бутылок водки и бутылку шампанского. Катя, махнув рукой, выставила на стол свой рыбный заказ, и опять по-царски развала красной икрой белый хлеб с маслом. Весь застольный разговор в основном свелся к получению квартиры сестрой и Сенечкой.

И эту квартиру они через месяц все-таки выцарапали, здесь же, в Тушине. Юра, Сашка и Петька помогли их перевозить, а когда комната освободилась, то Сашка с Петькой перебрались туда, и всем квартире показалась сразу же огромной. Ходили из угла в угол и радовались. Катя с Юрой говорили о покупке кое-какой мебели. В конце концов купили еще один диван и тумбочку. На новом диване обосновался Петька, дзюдоист. В общем, в квартире

стало посвободнее, и Катя в выходные дни стала стучать халтуру дома, взяв машинку у подруги на неопределенное время.

Игорь Олегович теперь постоянно спрашивал о том, как готовится Катя к поступлению в институт, но Катя, пожимая плечами, говорила, что еще окончательно не решила, поступать ли ей. Юра, отнесшийся сначала к этой идее, как к шутке, в последнее время, когда Катя заговорила об этом серьезно, стал принимать эту идею в штыки. И может быть, поэтому, из-за этой позиции мужа, Катя постепенно стала склоняться, из чувства противоречия, к осуществлению этой идеи. Достала учебники и держала их пока на работе. Машинистки, от глаз которых ничего нельзя было скрыть, стали расспрашивать, зачем Кате учебники, и она созналась, что собирается поступать в институт. Машинистки, как и Юра, с настороженностью восприняли это решение, но постепенно привыкли.

Не до конца понятно Кате было во всей этой истории поведение самого Игоря Олеговича. Поначалу ей все казалось, что Игорь Олегович за ней приударяет, но потом эта догадка рассеялась. Игорь Олегович, в общем, вел себя достаточно странно и никакого повода к различным подозрениям не давал. Он по-прежнему приносил Кате кое-какие книги, она их с удовольствием читала, и несколько раз вручал ей билеты в кино, в частности, она посмотрела “Мольбу” Абуладзе и “Сталкер” Тарковского. На последнем фильме Катя увидела жену Игоря Олеговича, очень красивую художавую женщину, и окончательно поняла, что не ради ухаживаний Игорь Олегович “шефствует” над Катей. Ради чего?

Как-то ездили в гости к свекрови, та все просила приехать со Светкой. Катя намекала Юре, чтобы он переговорил с нею насчет денег на машину, но Юра в этот раз промолчал. Вообще-то, он не очень любил бывать у матери, считая ее в чем-то провинившейся перед ним. В чем конкретно? Наверное, в том, что она сразу после смерти Юриного отца вышла замуж. Муж у нее был неплохой, даже нравился Кате тем, что много читает. Они со свекровью выпивали толстые журналы. Свекровь в свое время, до пенсии, работала библиотечкашей. Она напекла пирогов и поставила самодельную наливку. Когда немного выпили, Юра взял и ляпнул, что Катя собирается учиться. Свекровь буквально на дыбы встала: мол, что ж это получится - дом на произвол судьбы. Но Юра как-то смиренно успокоил ее тем, что вот Катя поступит, вот поучится месяц-другой и сама бросит. Муж свекрови спрашивал у Светы,



как ее зовут, и Светка отвечала, что ее зовут Швета. Она шепелявила. При прощании свекровь настоятельно просила не забывать ее и почаще приезжать в гости, чтобы это исполнить. Катя взяла почитать несколько журналов: мол, так или иначе, приедут, чтобы отдать журналы.

Вернувшись домой, застали Сашку и Алешку, а Петьки не было. Он не пришел и ночью, и утром не пришел. Отправляясь на работу, Катя оставила для него записку, в которой написала, что так себя не ведут. Сашка один оставался дома, у него был свободный день, как он сказал, или сам не захотел идти в институт по определенной причине. Катя догадывалась, по какой, - к нему наверняка, как дверь за Катей закроется, наведается его девушка. Она дух этой девушки в квартире уже улавливала.

Придя в машбюро. Катя сразу же принялась за халтуру, пока не принесли чего-нибудь, как всегда, срочного. Молотила, превышая собственную бешеную скорость всеми десятью пальцами. На сей раз работа была от Соловьева, из отдела строительных конструкций. Этот Соловьев обещал Катю целый год заваливать халтурой, потому что на полставки работал в МИСИ с аспирантами, которые с редкостным азартом строчили свои диссертации.

В обед Катю подозвали к телефону, звонил из дому Сашка, в его голосе Катя уловила какие-то странные, то ли испуганные, то ли трагические нотки, то есть что-то случилось, а он, Сашка, говорил таким голосом о какой-то чепухе, что-то о супе, который, как ему показалось, прокис. Катя насторожилась. Ладно, черт с ним, с супом, прокис так прокис, пойдя да выплесни его в унитаз. Она, перебивая, спросила, что случилось, и тут возникла долгая пауза, Катя просто-таки закричала: что случилось? И Сашка нанес ей удар: на заводе, прямо во время работы... умер Петька. Катя лишилась голоса на какое-то мгновение. Ей казалось, что она кричит, но на самом деле она, побелев, молчала. К ней подбежали женщины. Что, что, что случилось? Сын? Сын? Не может быть.

Вместо того чтобы что-то делать, куда-то бежать, бить во все колокола, Катя в каком-то бреду села за машинку и яростно отстучала целый абзац, после чего вскочила и побежала к раздевалке, потом вернулась, бросилась к телефону, собираясь кому-то звонить, конечно, Юре в парк, диспетчеру, у Юры машина с рацией, заказная, пусть выловят его с линии. Так и сделала, позвонила и сказала, чтобы ему передали, что она ждет его у своей работы,

пусть прямо на машине за ней подъезжает. Потом позвонила домой Сашке, спросила, что ему сказали насчет Петьки, где он, там ли на заводе или уже отвезли на “скорой”? Сашка и сам не знал. И телефона позвонить на Петькин завод не было. Петька работал в “ящике”, поди разыщи туда телефон по 09!

Потом она побежала вниз, выскочила на улицу, стала жадно ловить глазами приближающиеся такси. Юры все не было. У какого-то парня Катя стрельнула папиросу и теперь, глубоко затягиваясь, во все глаза смотрела в даль улицы. Прошло минут пятнадцать, когда появился Юра. У Кати сразу затряслись поджилки. Юра выскочил из машины, подбежал к ней, она оперлась на его плечо, и он довел ее до машины. Катя тяжело опустилась на сиденье и заплакала с подвываниями. Юра резко стронул машину с места, и все время, пока ехали, повторял одно и то же, что это ужас, ужас, ужас! А Катя опять плакала и говорила, что это судьба казнит их за то, что просмотрели Петьку, не обращали на него родительского внимания, пустили на самотек. Подъехали к заводу, из проходной позвонили в цех, там сказали, что Петьку уже отправили в морг 67-й больницы. Катя срывающимся голосом попросила выйти к проходной кого-нибудь, кто был свидетелем последних минут жизни сына, и вышел пожилой, со впалыми щеками фрезеровщик, и он печальным, хрипловатым голосом сказал, что Петька в курилке, утром еще, жаловался на то, что сильно трещит голова после вчерашнего, видать перебрал, а не похмелился, потом, ближе к обеду, к его станку подошел пацан, из токарей, Петька стал ему какой-то прием борцовский показывать, только сделал захват руки у того пацана, как побледнел и схватился за грудь: мол, плохо мне. Ну, я, стало быть, говорил фрезеровщик, табуретку сунул ему, Петька сел, минуты две посидел, да и упал. Тут уж позвали из санчасти врача, да поздно.

Похоронили Петьку на Митинском кладбище. Катя ночью встала, выходила на кухню, долго смотрела в окно и курила. Она не могла поверить в то, что Петька умер, и в этом неверии возникала в ней какая-то подозрительность к самой жизни: явь ли это или все сон, сон, сон?

Юра, чтобы забыться, пахал с утра до ночи каждый божий день, и через месяц они с Катей набрали тысячу и съездили в деревню, оформили доверенность в присутствии председателя колхоза, их вписали в колхозную книгу. А Катя грызла учебники, решив, из-за

Петьки, во что бы то ни стало поступить учиться. Она все схватывала на лету, делала все то, что приходилось в жизни делать, с каким-то азартом. Вот что в Кате было основное - у нее было какое-то невероятное сопротивление, что ли. Что-то в ней было твердое, какой-то инстинкт самосохранения. Может быть, это Игорь Олегович сразу почувствовал? Иногда, где-нибудь в дверях. Катя останавливалась и плакала, тихо, незаметно. С уходом сына Петьки в душе Кати образовалась пустота. Но прошло какое-то время, и эта пустота стала постепенно и неизбежно заполняться разными заботами. Все же и Сашка, и Алешка, и Светка были живы, и за ними нужен был уход и уход, а тут еще изба, прекрасная деревянная изба, а за нею поле, а за полем - речка, быстрая и холодная. И коровы живые пасутся!

Игорь Олегович попросил Катю выкупить билеты на неделю французского кино. Катя ушла с обеда и поехала в кинотеатр. В помещении касс, как в аквариуме, солнце рассекало толпу. Катя пробралась, как и говорил Игорь Олегович, в коридорчик к приоткрытой двери администратора. Администратором оказалась молоденькая девушка. Она сидела за столом, а над нею нависал пузатый гражданин, распаренный и краснеющий в крике. Он совал в нос девушке надкусанный бутерброд с позеленевшим сыром и кричал, что все тут сговорились и решили перетравить зрителей тухлым сыром. Когда жалобщик удалился, Катя получила свои билеты и поближе познакомилась с администраторшей, чтобы и в дальнейшем иметь возможность беспрепятственно ходить в этот кинотеатр.

Подошло время вступительных экзаменов. Катя очень волновалась, но, ко всеобщему удивлению, сдала все экзамены на пятерки и поступила. Когда увидела себя в списках, голова закружилась от радости, и захотелось идти куда-нибудь просто так, не разбирая дороги. Высокое солнце скользило острыми лучами по булыжной мостовой, поблескивающей, как чешуйчатая, только что выловленная здоровенная рыба. Катя свернула за угол, едва не наткнувшись на плоский капот медленно ехавшей навстречу "Волги" - такси, такой же, как, у Юры. Шофер притормозил, безразлично пропуская светловолосую женщину со спортивной сумкой на плече.

Из какого-то окна неслись звуки электрической гитары, сопровождаемые девическим повизгиванием. Пахло древним жильем.

Катя любила центр, не фасадный, а скрытый, знакомый лишь коренным москвичам, к которым и себя Катя относила. По отцовской линии она была москвичкой с прошлого века, по материнской - с 22-го года. Отец умер, когда Кате было семь лет, а мать - два года спустя, и Катя с сестрой воспитывались у тетки, у нее были и прописаны, жили на Сретенке, потом получили эту двухкомнатную квартиру в Тушине, тетка умерла, когда Кате было уже двадцать и она была замужем.

Высокий тополь выступил на тротуар, взломав асфальт. По зеленовато-желтому стволу струился тополиный сок. Катя обогнула дерево, носом почуяв живую плоть его, зашагала в другой переулок. Она шла бодро, как будто ей было восемнадцать, поглядывала по сторонам. Она студентка! На душе было хорошо. Катя уже не помнила, сколькими переулками прошагала, как обнаружила, что идет неизвестно куда. Задумалась. Но не остановилась, не огорчилась, а пошла прямо, миновала трамвайные пути, дом с ротондой, перешла какую-то площадь, вступила на мост. Облокотившись на решетку моста, Катя посмотрела на воду, на дома, на черные трубы Мосэнерго, на белоснежные, вдаль открывающиеся взору на высоком холме соборы. Зубчатые красные стены окаймляли этот многократно уменьшенный в размерах град благодаря удаленности взгляда. Кате казалось, что даже воздух над соборами был золотым, словно кусочек золотого солнца опустился, там, у голубой - в это мгновение - Москвы-реки. Каменные, белые дуги соборов, женственные дуги, контрастировали с золотом куполов. Белый, пронзительно белый Иван Великий, прямой, высокий, взлетал в небо золотым куполом. А сбоку целый рой золотистых луковок с частоколом православных крестов, казалось, сдвинется сейчас с места и, подобно многозвучным колокольчикам, зазвонит во всю Ивановскую!

В каком-то переулке Катя увидела дом с витыми белыми колоннами, со львами перед подъездом. Сторожевые львы. Львы стерегут город. И сколько столетий спокойно они лежат перед этим подъездом, скрестив передние лапы, гранитные львы! Склонив с возвышения головы, они смотрят, как идут люди, они видят, как годы бегут, как проносятся судьбы безвестные и цветы на фронтонах цветут.

Вдруг подул сильный ветер, поднимая пыль с асфальта. Катя ускорила шаг, зашла в молочный магазин и купила четыре пакета

молока. Молоко домочадцы, особенно Юра и Сашка, хлестали будь здоров! Когда Катя вышла из магазина, небо потемнело, а у нее не было с собой зонтика. Казалось, сами дома зашевелились, заскрипели крышами и дверями, форточками и карнизами. Черные рыхлые тучи столкнулись, высекли чудодейственную искру, и полетели на землю огненные клиновидные молнии, расцвечивая улицу, как сполохи фейерверка на революционный праздник. Дома из желтых превращались в голубые, лица прохожих озарялись. Воздух затрепетал и через мгновение был пронизан ливневыми струями. Капли отчаянно барабанили по стеклам телефонной будки, где укрылась Катя. Дождь стоял стеной. Гром грохотал так, будто сбрасывали с крыши листовое железо. И справа и слева взвивались молнии, выворачивали себе шею, кривились к земле. Пляска огненных драконов над Москвой была великолепна.

Полыхнула еще одна ослепительная молния, разрывая дневной мрак, и было видно, как она всочилась в мостовую, потом грохнуло так, что из окна напротив вылетело из оконной рамы второго этажа стекло и с дребезгом разлетелось на мелкие осколки, ударившись на пути своем к земле о широкий выступ карниза. В этом окне показалась едва различимая тень старушки, накладывавшей на себя торопливо крестные знамена, и Катя подумала, что дождь хорошо польет могилку Петьки и что глиняный холмик зарастет травой. Подумав об этом, Катя вздохнула и, затаив затемдыхание, вслушалась в новый раскат летней грозы.

Элочка отгуляла отпуск, вернулась с курорта с ухажером, усатым молодым инженером по холодильным установкам ресторана "Пекин". Губа не дура! Катя сказала Элочке, что теперь будет с ней в одном институте учиться, на что Элочка заметила, что только какой-то год, и она уже пойдет на пятый курс, да и отсюда скоро уйдет, место подыскано, а где - не сказала. Еще Элочка сказала, что они с ухажером подали заявление в загс и что, как они напишутся, Элочка переедет к нему в Беляево, у него отдельная однокомнатная квартира, а из Беляева ездить сюда замучаешься. О художественных текстах речь уже не шла, поскольку ухажер говорил, что работать нужно там, где есть доход, и неважно, какое у тебя образование: гуманитарное или техническое. Сам он, со слов Элочки, закончил "плешку", самый ходовой институт.

Свекровь "достала" Юре очередь на машину, на "Москвич". Катя не могла понять, во-первых, то, откуда у свекрови разные свя-

зи, и во-вторых - откуда у нее деньги. Юра ничего внятного на этот счет не говорил, но по намекам Катя в конце концов догадалась, что свекровь всю жизнь чем-то спекулировала, благо работа библиотечарши позволяла толкаться по очередям, скупать кофточки и перепродавать их, а может быть, и еще что-нибудь. Но это ее личное дело. Катя не собирается лезть в ее жизнь.

После просмотра одного из французских фильмов Игорь Олегович выслушал сетования Кати на то, что муж совершенно не интересуется ни книгами, ни фильмами. Живет как обыватель какой-то. Игорь Олегович заговорил о том, что обыденные представления всегда относятся к культуре как к чему-то дополнительному, такому, чем можно, грубо говоря, заканчивать. Ну, вот, поговорили, например, о том, что комбайны вышли на поля, что на металлургическом заводе по-прежнему льют сталь, что в магазинах не хватает продуктов, что в больницах недостаточно внимательны к пациентам... - тогда, после всего этого традиционного для нас антиинформационного потока, поскольку в этой информации нет информации, ибо известно априори, что комбайн выйдет в поле, а на металлургическом заводе отольют сталь, вот тогда можно поговорить о культуре под рубрикой "Новости культуры".

Да, как точно Игорь Олегович назвал культуру чем-то дополнительным. Юра так и относится к настоящим фильмам и книгам, как к чему-то необязательному. А Катя - нет. Но дома она не может даже почитать. Как только Юра видит ее с книгой, то восклицает, что она бездельничает, а уже подходит время обеда! Как она будет учиться в институте, ведь Юра не даст ей заниматься. Ладно, время покажет. Скорее бы Элочка освободила место, у Игоря Олеговича в РИО времени для занятий будет достаточно. А здесь, в машбюро, то текучка, то халтура! Да еще два раза в месяц - к окошку бухгалтерии с холщовым мешочком за зарплатой, и вроде неудобно отказать, ведь Катя самая проворная, как говорят машинистки.

В середине августа взяла очередной отпуск, чтобы пожить в деревне. Алешка на третью смену в лагерь не поехал. Вот с ним и со Светкой пожила две недельки в избе, прибралась там хоть немного, на речку ходили купаться, но теплых дней выдалось мало, зарядили дожди, и вечерами было скучновато без телевизора, а к соседям ходить каждый раз неудобно. У соседей в избе гарнитуры, стенка и ковер на полу, по которому пасутся куры! Хозяин в кол-

хозе трактористом, а она - бухгалтерша. У крыльца всегда лежит мохнатый коротконогий пес Шарик, рыжий, как лисица. Алешка подружился с сыном соседей, а у того - мопед, вот и гоняли все время - в дождь и в солнце - по деревне, а то и за грибами раз ездили в дальний лес, но ничего не нашли, так, одни чернушки да свинушки. Воду брали тоже у соседей, у них колодец прямо на огороде, сами когда-то рыли, но вода невкусная, какая-то желтоватая, пахнет болотом. Юра все это время работал, приезжал только на выходные, да и далеко своим ходом ездить, от Загорска всего три автобуса в сутки на Нагорье, а Фониинское как раз и стоит перед этим Нагорьем, редкостным по убогости городком, но хозяйственный магазин там хороший, а в книжном Катя купила свободно двухтомник Карамзина с его повестями и отрывками из его "Истории Государства Российского".

Короче говоря, две недели пролетели одним днем, даже считать было некогда, хотя брала с собою Эдгара По. И вновь - машбюро, долбежка, да еще прибавился институт - четыре раза в неделю. Наконец-то уволилась Элочка, Катя даже не спросила, куда, подала заявление и перешла к Игорю Олеговичу. Он сделал так, что Катя стала сидеть с ним в одной комнате. Элочка занимала стол с машинкой в общей комнате, на что довольно-таки часто жаловались редакторши, поскольку они не переносили стука машинки. У Игоря Олеговича комната была длинная, с двумя окнами. У одного окна стоял его двухтумбовый стол, а у другого поставили стол для Кати. Сначала Катя приходила, как и требовалось по распорядку, к девяти утра, но потом Игорь Олегович разрешил ей являться тогда, когда ей будет удобно, то есть часам к одиннадцати, а то и к двенадцати. Это Кате очень понравилось. Да и работы здесь было гораздо меньше, чем в машбюро.

Сам Игорь Олегович подъезжал часам к двенадцати. У института не было своей типографии, и все заказы РИО выполнялись в типографии министерства, поэтому Игорь Олегович частенько туда навещался по утрам. Получив место в комнате Игоря Олеговича, Катя как бы избежала необходимости общения с редакторшами в процессе работы, что ей очень понравилось. Она раскладывала свои учебники и готовилась к вечерним занятиям. Дома она не могла позволить себе такой роскоши. Муж теперь цеплялся к ней по всякому пустяку, главным образом из-за еды и из-за того, что Светка вечерами без нее не слушается ни Сашку, ни Алешку. Катя

старалась не обращать на это внимания, готовила на несколько дней вперед, все стояло на плите, только разогрей. Но Юра даже этого не делал. Придет и сидит у телевизора до тех пор, пока Катя не придет с учебы, и смотрит на нее так, как будто она перед ним пожизненно виновата. А она подает на стол тарелки, кладет вилки-ложки, только тогда Юра нехотя садится за стол и молча ест, не забывая при этом вставить что-нибудь о Катином рассудке, в том смысле, что она его лишилась на старости лет. Дура дурой!

Приходилось проглатывать эти сентенции и оживать только на работе, когда можно было поговорить о чем-нибудь возвышенном с Игорем Олеговичем. Ни о чем другом Игорь Олегович, кажется, и не мог говорить. Он даже не спрашивал Катю о реакции мужа на ее учебу, так что Кате невольно пришлось заговорить на эту тему. Игорь Олегович выслушал и заговорил о том, что у Эдгара По есть новелла "Низвержение в Мальстрем": человек попадает в гигантский водоворот у берегов Исландии, но спасается, спасается случайно, один, в то время, как остальные уже погибли в этом водовороте. Спасается он благодаря тому, что не сопротивляется. Он следует течению, хотя это очень страшно. Течение увлекает куда-то на дно, на скалы, но он замечает, что многие предметы выплывают из водоворота неповрежденными. Они не плывут против течения. Вот это мальстремическое отношение к культуре, доверие к бесконечно разрастающемуся ее течению - это особенность большинства людей. Но их отношение к сложной культуре бывает иным, сопротивительным, противодейственным. И человек не принимает этого течения быстрых событий. Он старается все вернуть к каким-то простым формам, каким-то предельно обозримым версиям существования. На каком бы убедительном языке вы с ним ни говорили, он будет стремиться придать всему вид простой, обозримый. Эта тенденция просматривается, по всей видимости, и у мужа Кати.

В буфет теперь Катя ходила вместе с Игорем Олеговичем, брали кофе, а Игорь Олегович и что-нибудь пожевать, и продолжали говорить о чем-нибудь интересном. Причем, если кто-нибудь садился к ним за стол, Игорь Олегович не прекращал говорить, а тот, кто садился, прислушивался и потом как-то незаметно сам включался в беседу. Катя заметила, что с Игорем Олеговичем многие желают поговорить, то есть в институте оказалось достаточно интересных собеседников. И когда она по какой-то причине в буфе-



те оказывалась одна, то ее спрашивали, где Игорь Олегович. Все уже привыкли видеть их вместе.

Кате и отпуск на зимнюю сессию не понадобилось брать, поскольку Игорь Олегович разрешил планировать время, как ей самой будет угодно. Сессию Катя сдала на пятерки, а сразу после сессии Игорь Олегович пригласил ее на неделю итальянского кино. Катя сама поехала выкупать билеты к той администраторше, с которой была уже знакома.

Администраторши на месте не оказалось, и пришлось ее дожидаться с тыла бетонного, серо-шершавого кинотеатра. Там была довольно просторная автомобильная стоянка, заставленная машинами, среди которых Катя различила голубой, поблескивающий холодом никеля “Ниссан”. Рядом с Катей покуривал человек с газетой, и в этой газете Катя увидела в жирной траурной рамке портрет генсека Черненко. Вот так новость! Черненко концы отдал. Фамилию генсека Черненко Катя нарочито произносила с сильным смягчением: “Черньненко”. Катю поражало, до какой степени Черненко и присные не владели русской разговорной речью, да и письменной, вероятно, тоже. Кате казалось, что в школе они числились отстающими учениками не только по русскому языку, но и по другим предметам, что тогда, возможно, и зародилась у них естественная мальчишеская неприязнь к более способным сверстникам. С годами она могла перейти в неприязнь вообще к тем, кто подозрительно хорошо владел устной речью и широкими знаниями. Должности и почетные звания они стали охотнее предоставлять тем, кто был близок им по интеллектуальному уровню, вернее, по отсутствию такового.

Улыбнувшись этим размышлениям, Катя стрельнула сигарету у человека с газетой, закурила, голубой дымок от сигареты слился с голубой окраской “Ниссана”, так стояла Катя, что угол зрения как раз сходил на голубом “Ниссане”, и голубой дымок ложился на пересечении взгляда с этим “Ниссаном”. Голубой дымок на фоне голубого автомобиля обрадовал Катю, то есть не то, чтобы сам по себе дымок обрадовал, а эстетический эффект от голубого легкого дымка на фоне красивой машины обрадовал. То есть так: ничего не видит тот, кто ничего и не собирается увидеть. А Катя увидела и обрадовалась. Для кого-то этот дымок на синем автомобиле ничего бы не означил, а для Кати означил многое.

Затем из задних дверей кинотеатра повалил народ. Катя, чтобы ее не толкали, отошла к серой бетонной колонне. Кто-то сел за руль сереньких “Жигулей” и принялся выезжать из тесноты автомобилей. Катя наблюдала за робким водителем, думала об этом водителе: он посмотрел фильм, сел в машину - куда ей до голубого “Ниссана”! - стал выезжать со стоянки. Сероватый дымок пошел из выхлопной трубы. Колесо наехало на кучу слежавшегося серого снега. Вот он обогнул бортовой-камень, и на повороте переднее колесо наехало на ярко-красное безногое пластмассовое нечто, которое - нечто - хрустнуло. Взгляд Кати перешел на помойные баки за сетчатым металлическим ограждением. На горе мусора сидели две крупные вороны и долбили клювами, как топориками, по чему-то съедобному.

Вот внешний мир, открытый для обзора: тыл кинотеатра, стоянка автомобилей, серые помойные баки, вороны, мусор вдоль бортовых камней. Все наблюдение через голубой дымок сигареты заняло три минуты. За это время кто-то успел добежать, ничего не замечая, до троллейбусной остановки, кто-то влетел в местную булочную. кто-то быстро вышагивал по улице, различая лишь встречных прохожих, как некие бессмысленные пятна, с которыми лишь бы не столкнуться, лишь бы не разминуться.

И странно, пока Катя созерцала эту сцену автомобильного разъезда, перед глазами все время возникал образ Игоря Олеговича. Влюбилась, дура! Точно!

Администраторша была уже на месте. Катя получила билеты, поговорила с ней о том о сем и в хорошем настроении вернулась на работу. Игорь Олегович сидел на своем месте, и, взглянув на него, Катя еще раз убедилась, что любит его. Чтобы скрыть эти чувства, она поспешно села за машинку и принялась отстукивать какой-то текст. В эти минуты муж Юра был особенно неприятен ей, и она, как бы смотря вперед, предчувствовала его бормотание насчет того, что жрать нечего, что никто не подаст тарелку супа и т. д. и т. п.

Вместо занятий вечером Катя пошла в кино с Игорем Олеговичем. Она хотела спросить, почему не пошла его жена, но, подумав, не спросила. Свет медленно гас. Катя изредка поглядывала в темноте на Игоря Олеговича. Рот у него был приоткрыт, как у ребенка. В эти минуты он и казался Кате, в сущности, ребенком. Как его поглощала параллельная реальность! Вероятнее всего, Игорь Оле-

гович полностью отождествлял себя с экранными персонажами, вживался в их жизнь. Катя придвинула свою руку совсем близко к его руке, но он взял и как-то поспешно убрал свою руку. После фильма встретилась прямо в зале администраторша, подбежала к Игорю Олеговичу и восторженно заговорила о только что просмотренном фильме, затем сказала, что скоро будет ретроспектива Куросавы, и она обязательно устроит билеты, при этом она, как заметила, Катя, с кокетливой улыбкой заглядывала в глаза Игорю Олеговичу, и Катя приревновала ее к нему. Это уж совсем глупо!

Как только Катя переступила порог дома, Юра устроил ей сцену, почему в доме нет молока. Катя удивилась, с утра она покупала пять литровых пакетов, и уже нет! Муж кричал, что его не интересует, сколько там она пакетов покупала, важно, чтобы для него всегда молоко было. С ума совершенно сошел. Далось ему это молоко! Катя быстренько сварила кастрюлю киселя, но Юра не стал пить. Светка же с удовольствием на ночь выпила две чашки. Да и Алешка с Сашкой не отказались. Юра же в пылу гнева стал обвинять Катю в том, что это она угробила Петьку, потому что никогда не думала о доме, а все замышляла чего-нибудь этакое. При этом Юра покрутил пальцами над своей головой. Катя вгляделась в его лицо. Как Юра сильно постарел: морщины, кожа желтоватая, глаза блеклые, волосы седые. Одним словом - старик. Пятьдесят лет. Раньше Катя к нему так не приглядывалась. А вот теперь, вглядевшись, поняла, что он просто устал. И что-то в нем проявилось бабье: то ли голос, высокий, даже визгливый, то ли прическа сделалась какой-то женской - длинные волосы, а он не стрижется.

Свекровь теперь, как звонит, спрашивает, мол, как, студентка, не надоело еще дурью маяться. Катя вскипала, но старалась не говорить ей резкости, к тому же свекровь уже отвалила Юре 3 тысячи на машину. А он все считал, пересчитывал деньги и говорил, что почти набрал. Теперь он ожидал открытки на покупку. Звонил и Сенечка, интересовался, не купил ли еще Юра машину. Сам Сенечка выучился на шофера в учебном комбинате, но в такси идти передумал. Он устроился на производственную автобазу и говорил, что пока возит молоко, а со временем перейдет на колбасу и сосиски, тогда уж будет что-нибудь и им подкидывать. Хвалил работу и призывал Юру переходить к ним в автобазу, но Юра говорил, что ему и в такси хорошо, а колбасу он воровать не собирается.

Весной Сашка решил жениться. Юра восторгался: нашел же все-таки, балбес, богатую невесту! Катя побывала в гостях у нее. Ее мать встретила Катю достаточно настороженно. На голове у нее было белое полотенце, а лицо покрыто толстым слоем желтоватого крема. Катя и мать невесты обменялись взглядами, словно узнав друг друга, но никак не обрадовавшись. Где-то в глубине квартиры играла музыка. Мать довольно сухо спросила Катю, где она работает и кем, глядя красноватыми после мытья головы глазами. Этим вопросом она как бы неофициально, но достаточно отчетливо дала понять Кате, что она тут пока чужая, лишняя, и в эту минуту без всякой видимой причины Катя вдруг испытала какую-то приниженность, какую еще ни разу не ощущала до этих пор.

Когда они сидели за столом в просторной столовой, где на ковре лежал огромный, как теленок, с отеками глазами пес, белый, с шоколадными пятнами, лохматый, Катя внутренне восхищалась простотой отношений невестки с матерью. Разумеется, мать преобразилась, она была в обтягивающей грудь водолазке и в новых, грубых и негнущихся джинсах с фирменным клеймом на кожаной нашлепке.

Сашка вел себя прилично, как воспитанный молодой человек. И Кате это очень льстило. Ирина Николаевна, так звали мать невестки, Лены, говорила что-то о японской поэзии и переглядывалась то с Сашкой, то с дочерью, которая после каждой точно воспроизведенной цитаты из какого-нибудь средневекового японца, хлопала в ладоши совсем по-детски. Тем не менее Лена следила за тем, чтобы мать не очень-то ударялась в многословие и литературный слог, вежливо перебивала и искусно переводила разговор на другой предмет, более социально значимый, например, пересказывала содержание рассказа (довольно подробно) “Случай на станции Кречетовка” Солженицына, где ей особенно нравился образ актера, которого арестовывает на станции юный “примитивчик”, как назвала его Ирина Николаевна, лейтенант Зотов. Катя чувствовала себя неловко, потому что не читала Солженицына и не понимала, о чем идет речь. Необходимо у Игоря Олеговича попросить что-нибудь Солженицына.

Свадьба Сашки и Лены была чрезвычайно пышной. На улице Грибоедова, во Дворец бракосочетания, ездили на трех “Чайках” в сопровождении черных “Волг”. Юра причмокивал губами и все подмигивал Сашке в знак одобрения. По квартире ходили генера-

лы и простоватые мужички в добротных костюмах, мужички, занимающие руководящие посты в министерствах и главках.

Тесть, замначальника главка, лицом походящий на зажиточного крестьянина, много и громко говорил о достоинствах простой жизни, при этом сильно окал и пил водку фужерами, не обращая внимания на довольно частые замечания Ирины Николаевны, которая внешне ну никак не стыковалась в глазах Кати с этим природным человеком. Ирина Николаевна была довольно-таки изнеженной московской дамочкой, и если бы ее где-нибудь встретила Катя одну, то никогда бы не предположила, что она замужем за выходцем из деревни, хотя и процветающим в Москве человеком. Но Юре он очень понравился, и Юра с удовольствием подливал ему водки и звонко чокался.

Когда Катя в разговоре за столом задела Сталина, тесть генеральским тоном заявил, чтобы не трогали Иосифа Виссарионовича. Катя спросила, какие аргументы тесть может привести в его защиту, тесть, наливаясь краской, встал и прогремел, что может этих аргументов “в защиту” привести хоть тысячу. Юра под столом наступил на ногу Кате. Ирина Николаевна в смущении опустила глаза, а приглашенные мужички и генералы дружно захлопали, и один из них крикнул: “За Сталина!” - и поднял бокал...

Катя рассказывала о свадьбе Игорю Олеговичу и о том эпизоде, где тесть защищал Сталина, и вновь поразились, как Игорь Олегович неспешно говорит, как точно расставляет акценты, как верно находит причины. В эти минуты он был особенно дорог Кате, она как бы преображалась, переходила в иную реальность. А Игорь Олегович продолжал о том, что Сталину даже такие, как Бухарин, довольно-таки средние в интеллектуальном отношении люди, казались уже интеллектуалами высшего пошиба. И Сталин стал подбирать таких, которые бы ему смотрели в рот. То есть Сталин снижал уровень культуры окружения до самого нижнего предела. Можно сказать, что он на самом веру социального положения стремился оформить свою жизнь так, чтобы горизонт его был не шире и не глубже, чем горизонт человека, находящегося в самой непривлекательной позиции в жизни, имеющего самую неблагоприятную точку существования культуры. Своим мундиром без знаков различия Сталин как бы себя приравнял в культурном отношении к самому простому солдату из казармы.

Когда Катя вернулась с работы, Юра сиял: пришла открытка на “Москвич”. Катя тоже забыла все теоретические разговоры и при-

нялась обнимать мужа. Дома никого не было: Светка гуляла во дворе, Алешка ушел на шахматы. Он записался в шахматную секцию в жэке. Катя обнимала мужа и, закрыв глаза, думала, что она обнимает Игоря Олеговича, даже отчетливо видела его лицо. Катя задернула занавески и, пока раздевалась, не смотрела на мужа, чтобы все еще думать, что она сейчас будет близка с Игорем Олеговичем, и когда Юра склонился над нею и прикоснулся к ней, то даже вскрикнула от соприкосновения с Игорем Олеговичем. А Юра удивленно спросил, что это она, как девочка, кричит, спросил неласково, и тут же весь эффект пропал, осталась какая-то нудная необходимость. Спустя пять минут, пришлось быстро приводить себя в порядок: в дверь позвонили. Катя побежала в халате открывать, то была Светка с подружкой. Катя облегченно вздохнула и повела Светку на кухню кормить и подружку тоже покормила, а потом принялась готовить для Юры и Алешки, который со своих шахмат пришел голодный и закричал прямо с порога, что хочет жрать. Так и крикнул: “Жрать!” Катя сделала ему замечание, что нужно говорить повежливее. Алешка огрызнулся, и Катя дала ему подзатыльник. Алешка высунул язык и пошел умываться.

Через день Юра пригнал к подъезду зеленый “Москвич”. Катя с детьми пожелала прокатиться. Машина работала хорошо, покатались по загородному шоссе, потом сделали несколько километров по Кольцевой. Юра все вслушивался в работу двигателя, то прибавлял скорость, то снижал, поглядывал на датчики, проверял тормоза. Кстати говоря, тормоза попались неважные: жесткие и со свистом, но Юра сказал, что это просто подрегулировать. Барахлил еще какой-то датчик, да на обшивке сидений были царапины. А ведь все по техпаспорту предполагало быть сделанным самым наилучшим образом. Кате же все казалось великолепным, она восторженно смотрела по сторонам, и у нее чуть-чуть дрожали пальцы. Игорь Олегович как-то выпал из головы, как будто его совсем в жизни не было, и не было его хороших книжек и умных разговоров. Алешка все время подзадоривал Юру, говоря, чтобы обогнали то “Запорожец”, то “Волгу”, и Юра старался это делать, он ловко выкручивал руль влево, поддавал газу, обходил машины и все делал по правилам, профессионально. А Светка боялась этих обгонов и испуганно восклицала, что не надо так быстро ездить. Юра говорил о какой-то прокладке в двигателе, которая даст возможность пользоваться тем бензином, на котором он работает в

парке, а то денег не наготовишься платить за бензин из своего кармана. Катя то приоткрывала окно, когда ей вдруг становилось душно, то закрывала, потому что на скорости ветер с силой задувал в салон. Потом с Юрой возник разговор, где ставить машину. Юра, оказывается, уже присмотрел стоянку, платную, и на ней вроде бы было место. Требовалось кое-кому поставить бутылку, хотя стоянка располагалась за три остановки автобуса от их дома. Катя одобрила это, потому что без присмотра машину оставлять опасно, говорят, что все с машин воруют: выдавливают стекла, откручивают фонари и снимают колеса. Так что пусть уж лучше на платной стоянке стоит.

Юра от нетерпения сразу же взял отпуск, чтобы поехать в деревню на своей машине. Катя просила его повременить, потому что у нее начиналась сессия, но Юра, рассудив, сказал, что так даже лучше: сначала он побудет с Алешкой и Светкой, а потом его сменит Катя, поэтому у детей получится почти что все лето на воздухе. Катя согласилась и обещала поговорить с Игорем Олеговичем, чтобы он пошел ей навстречу и отпускал с середины недели, чтобы Катя могла приезжать в деревню дня на четыре, если, конечно, расписание экзаменов будет позволять. А то и с Алешкой на какое-то время можно Светку оставлять, все-таки Алешка уже почти что взрослый, девятый класс заканчивает.

Разумеется, Игорь Олегович не возражал против такой постановки вопроса. Юра с детьми уехал в деревню, и Катя осталась одна. Чтобы использовать свободное время с пользой, она набрала халтуры и в первое время довольно-таки много из этой халтуры сделала. Потом обложилась учебниками и зубрила. Изредка позванивал Сашка, а однажды приезжал со своей Леной, и Катя специально для них испекла пирог. Глядя на Лену, Катя вспомнила о Солженицыне и на другой день спросила у Игоря Олеговича, нет ли у него рассказа "Случай на станции Кречетовка". Игорь Олегович сказал, что есть, и старом журнале, а журналы у него на даче. Катя удивилась, узнав, что у Игоря Олеговича есть дача, потому что он ни разу о ней не говорил, даже тогда, когда Катя рассказывала ему о покупке избы. Катя расспросила, где находится дача, часто ли Игорь Олегович там бывает. В общем, ей как-то сразу захотелось побывать там, но Игорь Олегович даже не намекнул на то, что Кате там можно побывать, правда, он обещал, если, конечно, не забудет, привезти ей журнал, хотя, с

другой стороны, он ничего с дачи не увозит, потому что там все хранится надежнее. Тем не менее Катя всевозможными намеками пыталась дать понять Игорю Олеговичу, что существует что-то еще другое, нежели книги, но Игорь Олегович либо не понимал, либо не хотел понимать. А Катя, влюбленно глядя на него, готова была тут же пойти к нему в руки. И в эти мгновения ее начинал колотить озноб. Катя садилась за машинку и, чтобы сбить этот озноб, принималась печатать, а если не было работы, открывала учебники.

Один экзамен у Кати попал на субботу, поэтому она среди недели поехала в деревню. По мере того как электричка приближалась к Загорску, Катя все меньше думала об Игоре Олеговиче. Она предвосхищала встречу с детьми и Юрой. Катя везла полные сумки продуктов, в основном мясных, и кое-какие подарки Светке и Сашке, а также бутылку водки для Юры. Вот уж он обрадуется! В Загорске на вокзале перекусила пирожками и втиснулась в старый автобус, идущий на Нагорье. Через час еще от остановки Катя увидела зеленый “Москвич” у дома, и все мысли Кати обратились на семью. Ее не ждали, поэтому очень обрадовались. Катя сразу же принялась за мытье полов, потом сказала Юре, что полы нужно покрасить. Но Юра, прежде чем красить полы, решил перебрать печь, уже нашел в соседней деревне печника. Катя согласилась с ним. Алешка был очень доволен жизнью в деревне, вечерами ходил на танцы в телогрейке, и все парни вечерами тут ходили в телогрейках. Земли в огороде было мало, председатель не разрешил прирезать Юре ту землю, которая была за огородом и тянулась до самой реки, и на той земле кто-то сажал картошку. Но Юра все же хотел договориться с председателем и поэтому посылал на работу в колхоз Алешку полоть сорняки на свекле. Катя занялась грядками. Несколько раз ездили с Юрой за торфом, грузили в большие полиэтиленовые мешки и укладывали их в багажник и на пол у заднего сиденья. Грядки получались у Кати высокие, как могилы, она их часто поливала, потому что почва была песчаная, и вода быстро уходила. Потом ездили в Нагорье по магазинам, купили краски для пола, белил для дверей и окон. В колхозе Юра собирался купить тесу, чтобы отремонтировать горницу и сарай. Чтобы пилить доски, Юра решил сделать свою циркулярку, уже договорился с колхозным электриком. Да и шифер бы не грех сместить на крыше.



В пятницу вечером Катя уехала в Москву, в субботу сдала экзамен, после которого долго бродила по центру, кое-что купила Светке, в частности сандалии. Домой ехать не хотелось, потому что... потому что думалось об Игоре Олеговиче, хотелось его видеть сейчас же, сию же минуту. Катя долго колебалась, прежде чем сесть в электричку. Вот она приедет и что скажет? А ничего! Пусть все идет так, как идет. Впрочем, скажет, что приехала за журналом. Все приметы дачи Игорь Олегович ей рассказал, так что Катя без труда отыскала в одной из улиц зеленый дом с большой террасой. Игорь Олегович был на даче один. Это Катя почувствовала, просто внутренний голос ей говорил о том, что он там сидит один. Увидев Катю, Игорь Олегович побледнел. А Катя, сама как на иголках, заговорила об экзамене, о волнении, о том, что только вчера приехала из деревни, что очень устала, что так устала, что даже не знает, как доедет назад до Москвы. И тут Игорь Олегович как-то машинально сказал, что Катя может отдохнуть тут. Катя вспыхнула и, не подумав, лягнула что-то насчет жены Игоря Олеговича. Игорь Олегович сказал, что жена в санатории, что ей сделали операцию на почках, и сразу как-то погрустнел. Катя почувствовала всю неловкость своего визита, хотела тут же уходить, но Игорь Олегович удержал ее в буквальном смысле: взял ее за руку и долго не выпускал эту руку. И Катя вдруг воскликнула, что ей весело. Игорю Олеговичу в этом восклицании слышалось удивление самой Кати, что у нее может быть хорошо на душе. Первый раз в жизни он увидел ее такою веселой. Она была в этот момент очень красива, и у нее были прекрасные голубые глаза, бледный, нежный цвет лица и трогательное выражение доброты и печали, и когда говорила, то казалась еще красивее.

На террасе работал телевизор. Игорь Олегович не выключил его, лишь приглушил звук, когда они с Катей сели ужинать и пить чай с вареньем. От смущения, которое все еще не покидало Катю, она заговорила о культуре. Игорь Олегович, как бы воодушевляясь, подхватил тему. Катя сказала, что, как она понимает, культура - это то постоянное, устойчивое, что всегда присутствует в жизни народа. Игорь Олегович с этим согласился и заговорил о том, что вопрос о культуре встает тогда, когда жизнь выходит на какой-то поворотный рубеж, но могучая инерционная сила направляет народную жизнь в сторону от намеченного пути. Это пугает,стораживает. Отчасти именно это происходит в обществе сейчас. На-

ше общество - это общество поворота. И на крутом витке очень многие вдруг почувствовали, что и повернуть так быстро и строго под тем углом, под которым предварительно хотелось бы, и двигаться после поворота туда, где видны давно уже выбранные цели, нельзя, что-то мешает. И тому, что мешает, люди находят разные объяснения. Это и упадок нравов, и потеря идеи. Другие говорят - сталинизм и проклятое недавнее прошлое. Но дело обстоит сложнее. В развитии каждой цивилизации наступает такой момент, когда устойчивого жизненного материала культуры становится очень много. То есть, грубо говоря, существует культура интеллигенции, культура рабочих - нечто среднее между крестьянской и городской культурами... и так далее. Поэтому уже нельзя по своему произволу переставлять фрагменты жизни так и эдак, создавать обычаи, менять общественное положение, в каждом случае делать того, кто был никем - мгновенно, чудообразно - всем.

Катя с любовью смотрела на Игоря Олеговича, который в этот момент говорил, что, на его взгляд, человек рождается зверем, животным и за свою короткую жизнь должен проделать путь от своей животности, то есть от примитивизма природного, до состояния интеллигентности. Других целей быть не может. От бескультурного состояния - к высочайшей культуре. Здесь существует своя табель о рангах, но не из 14 петровских классов, а из гораздо большего числа. Так что культурных вершин достигают единицы, постоянно работающие над собой в духовном смысле. Россия была крестьянской страной. Дореволюционный же рабочий класс, потомственные рабочие очень пострадали, поскольку они экономически были внедрены в общественную жизнь. Парадокс здесь заключается в том, что в стране, где социализм после проведения коллективизации, как нам внушали, победил, победил во многом в результате сильного социального давления на крестьянство, - все-таки именно крестьянство оказалось той социальной силой, которая пришла к очень и очень многим рычагам социального управления. Если дать культурную квалификацию сталинизму, то это культурный радикализм, позиция в культуре, которая проникнута пафосом простоты. В этой-то крестьянской простоте и расцвел сталинизм как культурное явление. Откуда эта болезнь простоты? По-видимому, из биологической неспособности большей части людей воспринимать всю культуру и в ее

объеме, и в ее развитии. И в городском населении преобладает этика крестьянства. Допустим, разделение на “чужих” и “своих”, двойная система оценки, когда поступок “своего” хорош при всей его плохости, а поступок “чужого” плох во всех случаях при всей его хорошестьи.

Катя уже меньше слушала, а больше любовалась Игорем Олеговичем и ждала момента, когда он выговорится и можно будет ложиться спать. И вот этот момент наступил, но Игорь Олегович сказал, что он будет спать на террасе, потому что ночи теперь теплые, а Кате постелет в маленькой комнате, там очень удобная кровать. При этих словах Катя, словно от холода, затряслась, и эта дрожь была ей так приятна, что она улыбнулась Игорю Олеговичу и спросила о журнале. Игорь Олегович провел Катю в большую комнату, где стоял шкаф, забитый старыми журналами. Журнал был тут же найден и вручен Кате, чтобы она на ночь прочитала рассказ. Потом Катя сходила в душ, который Игорь Олегович подтопил, как следует помылась, насухо вытерлась пушистым полотенцем и надела свое летнее платье-сарафан на голое тело. Игорь Олегович сидел за столом на террасе. Катя несколько раз мимо него проходила: то что-то будто бы искала в сумке, то смотрелась в зеркало, которое висело в проеме между широких окон. А пройдя в последний раз перед тем, как лечь, Катя небрежно, позевывая, бросила, что Игорь Олегович может приходить в гости, и слегка прикрыла за собой дверь. Игорь Олегович, наверное, думал, что она закроется на крючок, но Катя оставила дверь незапертой.

Уж кончились телепередачи, а Игорь Олегович все не ложился, то пытался читать, то что-то писал, а сам внутренне разрывался: идти к ней или нет? Стиснув зубы, пересилил себя и не пошел. Разделся, лег и долго лежал с открытыми глазами, глядя в светлый потолок. Утром он в одиночестве выпил кофе, так как Катя не собиралась вставать. Игорь Олегович несколько раз, предварительного постучавшись, заглядывал к ней в комнату. Катя лежала в кровати, покрытая простыней, лежала на животе и смотрела каким-то странным взглядом на Игоря Олеговича, готовая, по всей видимости, вот-вот выпалить: “Ну, иди же ко мне!” Игорь Олегович это читал буквально в ее огромных, подернутых влажной, поблескивающей пленкой глазах, но сдерживал себя. Тем не менее он в последний раз перед тем, как она встала, заглянул в дверь, помедлил и подошел к кровати. Катя лежала все в той же позе, на животе,

лицо на подушке щекою, глаза возбужденно смотрят на Игоря Олеговича. Вероятно, в Кате, думал он, шла та же самая борьба, что и в нем, и она это понимала, поэтому не хотела начинать сама (а как хотелось самой же вцепиться в него!), а все ждала, что он по-простому набросится на нее и съест! А он не набрасывался и не ел! Но в последний момент чуть не произошла развязка, он со словами: “Какие у вас, Катя, роскошные волосы” - протянул руку к ее голове, прикоснулся к волосам, и Катя сразу же закрыла глаза, то есть сделала явный знак, что она желает его, а он лишь провел ладонью по ее волосам и отдернул руку, потому что в эту самую минуту Катя вдруг взяла и перевернулась на спину, простыня съехала и обнажила бедро и часть груди, а он испугался этого и поспешно вышел из комнаты. Причем и сама Катя тут же преобразилась, стала какой-то холодной, как будто Игорь Олегович самим приходом к ней в комнату позволил такое, чего не следовало позволять.

Впрочем, когда за столом на террасе они завтракали. Катя была оживлена и говорила о том, что хорошо бы прогуляться по лесу. Погода благоприятствовала этому. В лес пошли, и Катя несколько раз сказала, собственно, не к Игорю Олеговичу обращаясь, а так, будто в воздух сказала, что под платьем на ней ничего нет, и хлопала ладошкой себя по бедрам. С полдороги Катя вдруг захотела вернуться, закрылась в комнатке, надела на себя все, что нужно надевать под платье, и поспешила в сопровождении Игоря Олеговича на станцию, кляня себя последними словами за любовную навязчивость. И хорошо, хорошо, что Игорь Олегович оказался умницей, не полез на нее. Как это хорошо. Теперь она может смотреть ему прямо в глаза, смело. А что бы было, если бы...

Только Катя приехала домой, как раздался телефонный звонок, звонила свекровь, спрашивала, где это Катя вечером была, на что Катя резковато ответила, что готовилась к экзамену и отключала телефон. Тогда свекровь немного успокоилась и спросила, как там поживают деревенские. Катя сказала, что хорошо, что Юра собирается переключать с печника печь, затем отремонтировать сарай и сам дом, а для этого делает циркулярную пилу. Свекровь была удовлетворена столь подробным ответом и повесила трубку. Потом Катя позвонила сестре и сказала, что через час приедет в гости, потому что ей скучно было сидеть одной в пустой квартире, а халтурить не хотелось. Съездила к сестре, благо рядом. До чего

же просторная у нее кухня: и шкаф поставили, и диван, в общем целая комната. Сенечка сбежал за бутылкой, водки не было, оторвал коньяк за 15 р.! Катя с удовольствием выпила пару рюмочек, повеселела, и поездка к Игорю Олеговичу потихоньку стала выходить из головы. Вот надумала же, дура!

У Кати закончилась сессия, и она взяла отпуск. Игорь Олегович разрешил ей прихватить еще пару неделек, потому что он сам уходил в отпуск. Катя уехала в деревню и еще целую неделю жила с Юрой, пока у него заканчивался отпуск. Когда она ложилась с ним в постель, то в памяти всплывала маленькая комната на даче у Игоря Олеговича, она даже видела самого Игоря Олеговича и чувствовала его дыхание. В эту последнюю неделю своего отпуска Юра привел печника, старика в кирзовых сапогах и телогрейке, и они на пару сломали старую печь, занимавшую половину комнаты. Новую печь, меньших размеров, печник принялся выкладывать еще при Юре, а закончил без него, под присмотром Кати и при помощи Алешки. Печник привез с реки какую-то специальную глину, которую все вынюхивал и тер пальцами. Когда печь была готова и Катя расплатилась с печником, сама покрасила пол в комнате, а спали они в горнице: так называли они пристройку сзади избы, ход в которую был с моста. Мост этот тоже привели в порядок, и он превратился в холл или столовую, где поставили квадратный обеденный стол и газовую плиту, которую Юра привез на "Москвиче" из Москвы, но не новую плиту, а списанную из одного дома, в котором шел капитальный ремонт. Также Юра купил и поставил возле плиты газовые баллоны. На газу готовить было очень удобно. Соседка приходила смотреть и говорила, что ей бы тоже нужно поставить плиту. До Кати в деревне ни у кого газовых плит не было, готовили кто на чем: в печах, на электроплитках, на керосинках.

За лето Катя решила наконец-то как следует прочитать "Войну и мир", но на чтение почти что не оставалось времени, и лишь к концу отпуска она плюнула на все и читала с утра до вечера в течение четырех дней, и по мере чтения Катя замечала, что как бы удаляется из реальной жизни, и живет совсем с иными настроениями и в иной реальности. Когда она откладывала чтение, чтобы накормить детей, то и сама внешняя жизнь казалась ей преображенной, лучшей, чем она есть на самом деле, и Катя улыбалась этой жизни. Юра приехал за ними и отвез в Москву. А так хотелось

еще побыть на природе, почитать! Но все же Катя с удовольствием поехала в Москву, зная, что вскоре она увидится с Игорем Олеговичем, по которому, откровенно говоря, соскучилась.

Когда ехала в Москву, Юра поинтересовался, не собирается ли Катя бросать институт, поинтересовался, как показалось Кате, вполне доброжелательно, без злого подтекста. Катя смотрела в окно на лес охотничьего хозяйства, который они как раз в этот момент проезжали. Вдоль хорошего шоссе то тут, то там стояли красочные щиты, сообщавшие, что останавливаться, выходить из машины, а тем более собирать ягоды или грибы - строго запрещается. Катя и Юра уже знали, что это особое охотничье хозяйство, что сюда приезжают развлекаться с двустволками слуги народа. Однажды Юра попытался заглянуть в этот лесок, но тут же увидел человека в штатском, который отделился от серого бетонного забора и пугнул Юру так, что желание обследовать хозяйство пропало раз и навсегда. А местные жители говорили, что за первым забором, которого с шоссе не видно, есть еще и второй забор. За тем вторым забором - речка, которая и за деревянной протекает, но в хозяйстве кремлевских мужичков она была перегорожена металлическими сетками, чтобы рыба не уходила, и ее ловили сачками.

Юра строил планы большого расширения усадьбы: хотел поставить слева, чтобы отгородиться от соседей, кухню. А для этого нужен материал, а значит, деньги. И он долго говорил об этих деньгах, говорил упоенно, так что Кате стало противно. Она смотрела на Юру и видела, что он совершенно погряз в материальном. Деньги и деньги! - вот его движущая пружина. Несомненно, что для Юры, как и для большинства людей, жизнь - материальный процесс, а так называемое идеальное для него несвойственно. Кате не нужно было быть философом, чтобы из этого сделать вывод, что жизнь большинства протекает только на материальном уровне и таких идеалистов, как Игорь Олегович, - единицы. Вообще, жизнь теперь казалась Кате более сложной, чем прежде, и она хотела вникать в каждую подробность, нередко повторяя при этом, что от грошовой свечи Москва сгорела. Словно спала с глаз какая-то пелена. Ни звания человека, ни состояние не имели теперь в ее глазах никакого значения. Значение приобрел сам человек, такой, как Игорь Олегович. Наверное, можно было сказать, что Катя совершенно потеряла голову, но ведь так она относилась к Игорю Олеговичу с самого начала, изменилась лишь степень этого отно-

шения. Мы живем не для одних себя, но и для ближних наших - вот о чем все больше и больше думала Катя. И уже в этих рассуждениях доходила до совершенных афоризмов - мы должны жить на земле так, как колесо вертится: чуть только одной точкой касается земли, а остальными непременно стремится вверх, а мы как заляжем на землю, так и встать не можем. А чтобы встать, нужно самопознание. Вместо самопознания в преобладающем большинстве людей видна только мишура, наружный блеск, а внутри пустота и скука. Кате вдруг становилось как бы стыдно за саму себя, что прежде она не задумывалась ни о чем, а плыла как бы по течению жизни, плыла до сорока лет. И тут она догадалась, что есть возраст анкетный, наружный, хронологический, но есть и возраст духовный, и этот, последний, у нее очень мал.

Юра вдруг окликнул ее, и она испугалась, а он остановился у магазинчика и сказал ей, чтобы она вышла и купила в Москву молока. На самом интересном перебил, прервал, как ему не стыдно! А ему было не стыдно, он думал, что Катя утомилась и задремала. Он и не предполагает в ней открывшейся духовной жизни, он ловит внешнее, поверхностное.

На работе произошли изменения: уволили директора, и не просто уволили, а исключили из партии. Слухи были разные. Одни говорили, что комиссия обнаружила финансовые злоупотребления, при этом восклицая, что у кого этих злоупотреблений нет, другие говорили, что директор, человек резковатый, пробивной, кому-то не понравился наверху, что будто бы он сам рвался наверх и нарвался! Говорили даже, что какой-то большой начальник "оттуда" порвал его партбилет. Ну, директор пришел к нему, хотел посоветоваться, рассказать, что как было на самом деле, а тот попросил партбилет да на глазах ошеломленного директора порвал его и в урну бросил. Это тот самый, который с двустволкой за двумя бетонными заборами охотился, сачками рыбу ловил да рвал грибы и ягоды?! У самого бы у него партбилет порвать! Казалось, работа в институте прекратилась. Стояли кучками, обсуждали, шептались. Директора многие жалели, другие говорили, что так ему и нужно.

Но увольнение директора повлекло за собой другие события. А именно: через месяц пришел новый директор с фамилией Кулаков. Пришел с какого-то огромного закрытого завода, где был секретарем парткома. У Кулакова лицо было, как кулак, лицо боксера с тя-

желой челюстью и такими же тяжелыми надбровными дугами. Этот Кулаков созвал на собрание (на партхозактив) институт и загремел с трибуны хрипатым голосом, сильно коверкая многие слова, о том, что в институте болотный застой, что по всей стране идет полным ходом перестройка, а тут палец о палец не ударяют и “кумпиривались”, что должно было, по всей видимости, означать “корруппировались”. Коллектив института после этого оказался в шоке. Шептались по углам: неужели в Москве перевелись интеллигенты, что нужно завозить в нее полуграмотных директоров.

Катя до глубины души была возмущена речью, да и всем видом этого директора от сохи. А Игорь Олегович не возмущался, он был по-прежнему спокоен и говорил ровным голосом о том, что бороться с подобными Кулакову можно только расширением круга интеллигентных людей, то есть каждому интеллигентному человеку нужно, грубо говоря, вербовать в интеллигенты хотя бы тех, кто рядом прозябает на биологическом уровне материального жизненного благополучия. Катя вздрогнула и поняла, что и она попала в сети ловца интеллигентов, однако подумала об этом с удовольствием, потому что в последнее время ей очень нравилось постигать ранее неизвестное, но главное в жизни духовного человека. А Игорь Олегович говорил о том, что подобные Кулакову уже были, и не только вчера, но и позавчера, и тысячу, и две тысячи лет назад, хотя бы в Греции, когда такие же Кулаковы, правда еще без партбилетов, завозились “единомышленниками” из провинции и назывались эти Кулаковы охлократией, то есть чернью у власти. Так что тут возмущаться нечем: охлократы всегда были, есть и будут, поскольку человек рождается зверем, развивал уже известные Кате мысли Игорь Олегович, и за короткий отрезок своей жизни должен пройти огромный путь от состояния звериности до интеллигентности. Но кому это нужно? Каким-то единицам. Путь в интеллигенты сложен и тернист, сплошные шишки и ссадины, и никакой материальной выгоды: ни должностей, ни денег. Нрав интеллигента не позволяет ни оскорбить противника, ни ударить его. Интеллигент держится скромно, говорит мягко, считает всех людей Земли братьями, мыслит глубоко и оригинально, а стало быть, непонятно для охлократии и т. д. В последнее время охлократия пытается сама рядиться под интеллигентов, называя себя то технической интеллигенцией, то партийной интеллигенцией, что звучит дико. Нет ни партийной, ни технической, никакой



другой интеллигенции. Есть интеллигенция как нравственная и культурная категория. Но как сделать так, чтобы каждый человек добровольно стремился к интеллигентности? Нужно помочь открыть ему в себе нечто такое, что позволит ему самопостигать себя, работать над собой в нравственном и культурном отношении, стремиться к духовному общению с себе подобными, то есть открыть в них способность, а она заложена в каждом человеке, к трансцендентной любви к ближнему.

Дома Юра уже не доброжелательно, а со всяческим злым подтекстом настаивал на том, чтобы Катя бросала учебу, потому что он в первую смену ничего не захалтуривает, что вся работа вечером, а она четыре дня в неделю ходит учиться и он вынужден сидеть бестолково дома и еще Светке кашу варить, Алешка сидеть со Светкой не желает, вечерами шляется где-то. Катя старалась с мужем не спорить, но в конце его выступлений тихо и твердо говорила, что учебу она не бросит. Юра бесился и кричал, что она с ума сошла, но потом потихоньку успокаивался, поскольку Катя держала себя в руках - не возражала и улыбалась. В выходной сама покупала бутылку, готовила богатый обед и всячески ублажала мужа.

Как-то навещали свекровь, та тоже все бурчала насчет Катиней учебы, а потом перекинулась на журналы, в которых, по ее слезам, такое стали печатать, что даже читать стало некогда. Катя взяла несколько журналов почитать, на что Юра заметил, что пора уж остепеняться, становиться "домовитой" женщиной, а не журнальчики почитать. Катя смолчала. И продолжала читать и журналы и книги. Она теперь знала, что это нужно не только ей самой, чтобы стать интеллигентной женщиной, но и тем, кто стремился расширить круг интеллигентных людей. Когда она урывала минуты для чтения дома, то, прочтя что-нибудь интересное, тут же предлагала это же прочитать Алешке, и тот с удовольствием прочитывал. Кате это очень нравилось, и она уже наметила Алешку к выводу в интеллигентный круг, а потом и на Светку обратила внимание. Стала ей каждый вечер перед сном читать сказки, чего раньше не делала, и Светка настолько привыкла к этому, что, когда Катя была на занятиях, просила Юру почитать ей. Юра с большой неохотой исполнял это требование дочки и читал медленно и запинаясь чуть ли не на каждом слове. А Светка восклицала, что он не умеет читать, а вот мама читает, как по телевизору в детской

передаче, как будто и вовсе не читает, а рассказывает своими словами. Юра после этих замечаний дочка сразу же захлопывал книжку и кричал, что она вся пошла в мать.

На работе начались конфликты директора Кулакова с замдиректора Курочкиным. Как говорили, Курочкин не собирался пересматривать в угоду Кулакову научную направленность деятельности института, а Кулакову во что бы то ни стало нужно было эту направленность повернуть, чтобы наверху сказали о нем, что он сразу же приступил к перестройке. Ему так хотелось этой перестройки, что он все время дергал уважаемых в институте людей. Когана он додергал до того, что тот вынужден был уйти. Вот после ухода Когана и стало ясно, что за перестройку ведет охлократ Кулаков. Как и предсказывал Игорь Олегович в своих рассуждениях о том, что охлократия тащит в центр из провинции себе подобных, Кулаков тут же на место Когана усадил некоего Теплова, майора-отставника, бывшего начальника первого отдела того завода, с которого пришел сам Кулаков. Теплов начал с того, что завел в отделе Когана режимную дисциплину. Все являлись к девяти часам и расписывались в специально заведенной книге. Даже выйти в коридор теперь бывшим коганцам стало трудно: Теплов держал дверь в свой кабинет открытой и зорко наблюдал за отдельцами. Сам Теплов снимал пиджак, вешал его на спинку стула, оставаясь в военной рубашке цвета хаки, сдавленной подтяжками, и что-то все писал, писал, писал, прерываясь лишь на 45 минут в обед.

Начиналась неделя польского кино, и Катя ездила выкупать билеты. На сей раз она взяла абонемент и на Алешку, а Игорь Олегович - на свою жену. Кате очень понравился фильм Вайды о "железном" Валенсе и о "Солидарности". Алешка после фильма серьезно рассуждал о том, что фашизм может существовать не только в фашистском государстве. На другом фильме Кате было очень неловко перед Алешкой, вернее, она смущалась за то, что показывалось на экране, и считала, что сынишке пока это смотреть рано, хотя, с другой стороны, он же десятиклассник и все понимает, но на эти темы она с ним никогда не говорила. А на экране показывалась женщина лет сорока, ведущая довольно-таки распутную жизнь. За этой женщиной регулярно наблюдает в бинокль девятнадцатилетний молодой человек. Женщина не закрывает занавесок, а молодой человек живет напротив и смотрит за ее любовными утехами из своего окна. Ему очень хочется поближе увидеть

эту женщину, увидеть ее лицо, и он пишет записку, чтобы она пришла на почту за корреспонденцией. Сам молодой человек работает почтальоном. Женщина приходит, он разглядывает ее и влюбляется еще больше, нежели через бинокль. Женщина приводит все новых и новых мужчин. Молодой человек продолжает за нею наблюдать. Потом повторяет вызов на почту. Женщина поднимает на почте скандал за ложный вызов. Тогда молодой человек объясняет ей, что это писал он. Женщина набрасывается на него, спрашивает, зачем ему это нужно. И молодой человек сознается, что любит ее. Она ведет его к себе, раздевается и кладет молодого человека в постель. Он ошарашен прозой любви, идет домой и режет себе вены. Его забирают в больницу. Когда “скорая помощь” увозит его, женщина видит это через окно. Она изменяет свое поведение: мужчин больше не приводит, ходит в больницу к молодому человеку и начинает любить его.

После фильма Катя спросила у Алешки, понравилась ли ему картина, тот сказал, что очень. Катя больше ни о чем не стала спрашивать. Жене Игоря Олеговича и самой Кате фильм тоже понравился, а Игорь Олегович на сей счет не высказывался. Когда наступила пауза, Игорь Олегович заговорил об охлократии, которая сжимает кольцо вокруг интеллигенции, и что, по-видимому, скоро уйдет из института Курочкин, потому что Кулаков не даст ему работать, а следом, стало быть, и Игорю Олеговичу придется уходить.

На другой день Катя пыталась убедить Игоря Олеговича в том, что ему не нужно уходить, потому что так они без боя освобождают дорогу Кулакову. Игорь Олегович улыбнулся и сказал, что дорога Кулакову освобождена тогда, когда его без согласия коллектива назначили директором. Теперь Кулаков готовит свое “избрание демократическим путем” и проведет это избрание, когда его охлократия займет все ключевые посты в институте. Для них интеллигенция – прослойка, а они к слоеным пирогам не привыкли, они грызут буханки.

Иногда Катя рассказывала Юре о создавшемся на работе положении. Юра усмехался и говорил, что правильно этот Кулаков делает и что даже очень симпатичен ему Кулаков, простой русский мужик, что так и надо действовать, а то все эти хлюпки-интеллигенты загнали страну в пропасть, и жрать нечего. Катя пыталась доказать, что не интеллигенты тому виной, а именно Кулако-

вы, но Юра и слушать не пожелал, махнул рукой и полез в ванну мыться. Закрывая дверь, крикнул, чтобы минут через десять Катя зашла к нему потерла спину. Катя стала варить кашу Светке, и пока варила - тихонько плакала. Ей жалко было и себя, и детей, и умершего Петьку, и Игоря Олеговича, и Курочкина, и она с ненавистью думала о муже и о Кулакове, и они слились для нее в одно лицо.

К удивлению всего института, на место Курочкина, который ушел завотделом в другой институт, Кулаков поставил не "варяга", а Соловьева. Того, который Катю снабжал халтурой. Теперь Соловьев с трибуны поддерживал Кулакова и ратовал за скорейшую перестройку. Соловьев и вызвал однажды Игоря Олеговича и сказал, что более так не может продолжаться, чтобы беспартийный возглавлял редакционно-издательский отдел. А Катя-то и не знала, что Игорь Олегович беспартийный. Потом уж Игоря Олеговича вызвал Кулаков и спросил, когда Игоря Олеговича исключили из партии. На что Игорь Олегович ответил, что никогда в партию не вступал. Кулаков поднял на него удивленные глаза под боксерскими бровями и спросил, как же он оказался на руководящем посту. Игорь Олегович ответил, что очень просто - умеет работать и знает свое дело. Кулаков спросил еще, почему не вступал в партию. Игорь Олегович ответил, что не считал Соломенцева, Сулова, Кунаева и Брежнева своими единомышленниками, да и его, Кулакова, не считает таковым. Кулаков от этой дерзости побелел и вскричал, чтобы Игорь Олегович сию же минуту убирался.

Но Игорь Олегович не сразу убирался, он как бы мимо ушей пропустил слова нового директора. Не спеша обзванивал знакомых, подыскивая работу. Наконец что-то нашел подходящее и подал заявление. Катя со слезами на глазах смотрела на него и спрашивала, как же она тут без него будет. Игорь Олегович просил не переживать и обещал что-нибудь подыскать для Кати на новом месте, где коллектив достаточно интеллигентный. Затем Игорь Олегович добавил, что временно сдает эту позицию охлократии, чтобы в другой точке собрать интеллигентные силы.

Уходя, он пожал Кате руку, а она порывисто поцеловала его в щеку. На место Игоря Олеговича Кулаков перетащил со своего бывшего оборонного завода Марию Тарасовну Штыкало, мужеподобную бабенку с тонкими и морщинистыми губами. У нее от природы был огромный рот, а чтобы он выглядел маленьким,

она его на людях все время складывала бантиком. Штыкало сразу же выселила Катю в общую комнату и начала бороться за дисциплину. Речь ее, состоящая из украинизмов, и особенно из этих мягких “г”, которые так не нравились Кате, была насыщена запугиваниями и угрозами. С первого же дня к ней в гости стал ходить военизированный Теплов и посоветовал завести книгу “прибытия на работу и убытия с работы”. Штыкало завела эту книгу. Катя зашла к ней и сказала, что не сможет работать на таких условиях за 80 рублей, что теперь ей будет трудно работать и учиться. Штыкало спросила, где Катя учится, и, узнав, что в институте, удивилась до крайности и сказала, назвав Катю “деточкой”, что в ее годы нужно за детьми ухаживать и за мужем. Тогда Катя сказала, что она вырастила четверых детей и живет всю жизнь с одним мужем. На это Штыкало не проронила ни слова.

Что это за человек? Катя часто теперь думала, что каждый человек - это силой обстоятельств, целой цепью причин сделанный субъект, все равно как испеченный пирог. Кто-то дал семян, кто-то сеял, кто-то жал, кто-то молот, кто-то хранил муку, кто-то продавал, кто-то в конце концов сделал пирог. И вот пирог на столе. Не по своей воле он именно такой пирог, а не иной. Так и человек. Катя понимала, что нужно быть святым человеком, мудрецом, чтобы быть пирогом определенного типа, именно пирогом высшего качества! Осуждать легко, тем более такую невыразительную, даже примитивную фигуру, как Штыкало. Может быть, надо даже дать понять Штыкало, что она далека от совершенства. Но философ и святой человек скорее убегут от жизни куда-то в сторону, чем позволят себе судить людей, копаться в их странном, полном дисгармонии душевном мире.

Катя с любовью вспоминала Игоря Олеговича и утешалась довольно простой мыслью - ни к чему не прилепляйся. Но все-таки без людей, которые нам дороги, к которым мы привыкли, которые что-то хорошее говорили нашему уму и сердцу, некоторый период жить грустно. Но есть странная сила в жизни, она берет верх во всех обстоятельствах, и без нее мы, наверно, могли бы сойти с ума, - это забвение. Трудно было бы жить, если бы мы всё помнили. И вот тут-то приходит на помощь время, несущее с собой забвение. Только человек философского склада ничего не забывает и все помнит. Зато он часто и грустит!

Как-то Катя с подружкой, с которой училась, была в Елоховской церкви. Поехала специально, чтобы поставить свечку Петьке и послушать певчих. Но попали они на ирмосы. Зато Катя испытала удовольствие от “Слава в вышних Богу...”. Подруга говорила, что это, по-видимому, сочинение Сартри. Вещь довольно трудная, очень эффектная. Хор справился со своей задачей превосходно. Откуда-то сыскали молодого диакона - очень хороший голос. Катя приглядывалась к молящимся, обратила внимание на молодую девушку - она при пении “Величит душа моя” встала на колени. Несколько мужчин точно так же стояли на коленях при пении “Слава в вышних...”. Катя удивилась.

Потом с подружкой бегали по магазинам. С продуктами в Москве неважно - большие очереди. Можно потерять целый день из-за этих очередей. Для личной жизни у массы людей не остается времени, о работе над собой нечего и думать, - отсюда бесцветность, серость людей, безынтересность. Денег на жизнь не хватает, поэтому матери, едва ребенок вылезет из пеленок, принуждены поступать на работу. Но в Москве хоть что-то из продуктов есть. Отсюда наплыв в Москву жителей пригородных мест. Стоя в очереди за мясом, Катя подумала: как часто в жизни приходится утешаться тем, что бывает хуже! И о себе подумала - жизнь у нее складывается так, что можно удивляться силе инстинкта жизни.

Светка вечером что-то рисовала в альбоме. Спросила Катю, как нарисовать народ в качестве иллюстрации к какой-то букве. Катя ответила, что народ нарисовать нельзя. Юра пришел в полночь, причем под сильной мухой. Говорит, что в парке посидели с ребятами. Наберут водки и сидят в какой-нибудь машине. Приятели нашептывают Юре, что жена выучится и бросит его. Зачем, мол, ей шофер!

Иногда Кате казалось, что она должна ругать свою судьбу, что совсем не преуспела в своей жизни. Ей казалось, что если мысленным взором окинуть ее жизнь, то можно прийти к выводу, что из нее вообще ничего не могло выйти: она, как субъект, не имела надлежащего объекта, то есть среды, и цели. Действительно, жизнь протекает так, что не хочется в ней разбираться. Но Катя понимала, что это трусость. Как раз надо разбираться во всем, как будто это научный материал, достойный внимания и крайне интересный. А ведь Катя уже разменяла пятый десяток! Наверно, поэтому она вдруг стала уделять большое внимание мыслям о крат-

кости жизни. Явления, на которые она раньше не обращала внимания, теперь ее очень интересуют. Что это за явления? Она, например, когда бывает в центре, разглядывает дома-особняки, мысленно рисует их в прошлом и с сожалением видит, что теперь эти дома тоже постарели, выглядят неприглядно, а ведь когда-то в них кипела жизнь! Люди исчезли, дома близки к развалу. Разглядывает вещи, тоже старые смотрит, какой отпечаток на них наложило время. Смотрит на деревья, прислушивается к шуму листьев. Этот шум Кате ужасно нравится. Взирает на небо, на звезды... А в голове одна мысль: большая часть жизни позади, и она, Катя, исчезнет так же, как все исчезает. А между тем жить хочется, и притом как-то по-особенному, вроде как бы хочется начать жизнь сначала. Очень большая жажда знаний - так бы и сидела все время за книгами!

Но каждый день нужно совершать подвиг - к девяти на работу, оттуда в институт. И все это в сопровождении попреков и оскорблений мужа, бессмысленной работы, которой стала заваливать Катю Штыкало, словно проверяя Катю на прочность. И Катя барабанила текст, не вдумываясь в него, барабанила так, как прежде в машбюро, и даже это машинальное печатание доставляло ей какое-то удовольствие: она переключалась на свои мысли, и уже не видела ни текста, ни машинки, ни окружения. Она видела Игоря Олеговича, слышала его мягкий голос и вела с ним беседу.

На днях Катя заходила в книжный магазин за тетрадками для себя и альбомом для Светки, рассматривала открытки и купила себе одну: маленький Христос сидит среди фарисеев и слушает их рассуждения. Известный художник Поленов, на взгляд Кати, весьма хорошо справился с этой темой. Катя не знала, где находится подлинник этой картины, а то бы с удовольствием посмотрела. Жалко, что ни одной картины Поленова в подлиннике Катя не видела. Вероятно, критики в свое время отметили в них только природу и быт. А о главном умолчали, так как послереволюционная интеллигенция была не только безбожна, но просто безграмотна и гордилась тем, что она стоит только за науку, а религия - это удел дураков. Да, собственно, она интеллигентней не была. Сейчас, правда, некоторые знают, что есть такая книжка "Жизнь Иисуса" и написал ее Ренан. Катя с большим удовольствием прочитала ее по совету Игоря Олеговича. Но вот что любопытно - и Ренана превратили в какого-то простака: по Марксу, Ренан - это бел-

летрист, по Толстому - sentimentalный болтун. Даже С. Трубецкой отзывался о нем в своей лекции без всякой симпатии, назвав его эпикурейцем мысли и дилетантом. В результате Ренан не только в наше время, но и в старое был почти неизвестен. Теперь укрепился взгляд, что Христа вообще не было, а если он и был, то такая фигура в общем историческом процессе не более чем эпизод и значения для современного человека не имеет.

Вика Левитина, редакторша, довольно милая женщина, напротив которой теперь сидела Катя со своей машинкой, как-то пожаловалась, что она, как еврейка, чувствует, что в институте усилился антисемитизм. Катя ее уверяла, что этого явления она не наблюдала, а если антисемитизм кое-где и есть, то он рассосется, так что Вике огорчаться не следует. Но что-то, думала Катя, по-видимому, есть, потому что ее однажды спросил Соловьев, когда еще халтуру давал, мол, какой национальности был Христос. Катя ответила: "Еврей". Вопрос этот Кате не понравился. Дело ведь не в том, какой национальности он был, а в понимании роли христианства в деле нравственного развития человечества. А нравственное развитие теперь пустой звук. Нельзя обвинять в этом только нашу эпоху. И в дореволюционное время многие думали так же. Например, Вересаев в своих воспоминаниях о Толстом выражает недоумение, что Толстой всякую тему сворачивает на нравственную точку. Для Вересаева эта точка не в коня корм. Вот почему в воспоминаниях Гольденвейзера "Вблизи Толстого" упоминается только, что в Ясной Поляне был Вересаев, а вместо описания его беседы с Толстым приведены пунктирные строчки. Значит, догадывалась Катя, он произвел неприятное впечатление и писать об этом при жизни Вересаева автор - Гольденвейзер - не счел возможным из чувства такта.

Приближалась сессия, и Катя сказала Штыкало, что она возьмет отпуск, принесет справку. А тут у Штыкало наметилась срочная работа. Это помимо того, что Штыкало и машбюро загрузила. Штыкало уговорила Катю не брать отпуск, а подстраиваться так, чтобы и к экзаменам готовиться, и работу делать. То есть этим Штыкало расписалась в том, что Катя может переходить на свободный режим работы. Это Катю порадовало.

Теперь утром Катя могла готовить завтрак и кормить всех. Как-то за завтраком Светка по обыкновению капризничала, не хотела есть, грубила. Юра ударил ее по голове. Алешка вступился за



Светку и буквально вытащил Юру с кухни. Юра обиделся и сказал, что не придет ночевать. Катя была вне себя от сознания, что у нее испорчен день.

Поэтому, чтобы отвлечься, как только пришла на работу, позвонила Игорю Олеговичу и, услышав его голос, просветлела. Игорь Олегович сказал, что тоже хотел сегодня звонить Кате, потому что у него есть билеты на просмотр “Ностальгии” Тарковского. Катя обрадовалась, и весь день для нее как бы осветился радостью. Но ночью, после фильма, Катя размышляла, что важнее: реальная жизнь и участие в ней или погружение в книги и фильмы и отход от жизни? Ответа не нашла. Однако днем решила, что так нельзя ставить вопрос. Если деятельность удастся, надо действовать, то есть жить реально. Если же деятельность не удастся, то вместо того, чтобы делать “ничто”, лучше отойти в сторону, погрузиться в книги и зажечь особой жизнью.

После работы Катя посидела на скамейке в тихом сквере. Размышляя, она сидела, наверно, свыше часу. То ли нервная система требовала отдыха и наслаждения тишиной и красотой деревьев, то ли душа набиралась сил для дальнейшей жизненной борьбы. Для того чтобы побеседовать с собой, нужна надлежащая обстановка или сфера. Катя глядела на деревья, они еще совсем весенние, ярко-зеленые. А ведь будет осень, а там зима. Странно все устроено на свете! И самое странное существо на свете - это человек со своими идеями, которым в природе ничего не соответствует. И сколько ему в жизни приходится биться, а конец один - смерть или уничтожение, одинаковые с деревом или животным. В этом пункте, думала Катя, идеализм и религия вступают в свои права и заявляют: “Нет, это не так”. Несомненно, природа не могла создать человека, который превыше ее. Возникновение человека на земле - большая загадка.

А между тем реальный человек - это в большинстве своем странный, полный дисгармонии организм, который не ставит себе никаких идеальных целей и столь бестолков, что не соблюдает даже правил уличного движения. А прислушиваясь к разговорам стоящих в очередях, Катя сильно разочаровывается в людях. То же впечатление производят и разговоры на работе “новобранцев”: Кулакова, Теплова, Штыкало. Катя работает с семнадцати лет и не встречала, кроме Игоря Олеговича и еще, может быть, двух-трех человек, таких людей, за которых она бы ухватилась, ко-

тые были бы ей необходимы в духовном отношении. Сколько Катя видела людей! И все они ей, можно сказать, ни к чему. Или она какая-то действительно дура, как говорит муж, в чем, однако, сама Катя сомневается, или волею судьбы она попала в окружение посредственных людей, с которыми, чем меньше видишься, тем лучше.

Но все-таки есть люди, с которыми возможно элементарное общение. Но Кате казалось, что она впадает в ту ошибку, что, зная посредственность большинства, все-таки предъявляет к людям повышенные требования. Почему? Ей хочется все больше и больше развиваться, обогащаться. Сталкиваясь с людьми, она надеется от них получить что-то ценное, чтобы расширить свой душевный мир. А вместо этого она видит людей, поглощенных и завязших в таких интересах, которые ей чужды.

Приходится примириться, что человек - сделанный пирожок, и на этом успокоиться. А это скучно!

На субботу и воскресенье поехали в деревню сажать картошку. Светка всю дорогу спала на заднем сиденье, потому что выехали в субботу в четыре часа утра, чтобы побыстрее добраться. С утра хорошо ездить - шоссе почти что пустое, и Юра давит под 120 км в час! Алешка не поехал, потому что готовился к экзаменам. У Юры настроение было неплохое: набрали с собой хорошей закуски, а также замочили мяса для шашлыка и взяли бутылку с четвертинкой.

Когда приехали, зарядил дождь, мелкий, противный. Юра надел прорезиненный плащ и резиновые сапоги и вышел копать землю под картошку. Катя со Светкой затопили печь. Катя приготовила обед. После того как земля была вскопана, Юра принялся за циркулярку в сарае. А Катя со Светкой, облачившись в дождевики, пошли на край деревни, к тете Поле за семенами свеклы и моркови. У нее были какие-то особенные местные семена, из которых вырастали гигантские плоды. Шли по жуткой грязи, и Катя подумала о том, что недалеко мы ушли от своих предков, грязь в деревне такая же и дороги ничуть, наверное, не лучше, чем при Рюрике. Просто удивительно: десятилетиями живут люди и из года в год ходят по грязи, потому что не могут устроить простой дорожки. В некоторых местах просто не знаешь, как пройти, и Катя не раз попадала в трясины и брала Светку на руки. Находятся и защитники грязи, которые заявляют, что если дорога непроходима и

к дому подойти почти невозможно, то это предохраняет от воров и от излишних прохожих. Получается, что люди не просто живут, а всячески обороняются от себе подобных. Поэтому на домах и сараях можно увидеть поразительные замки. И наконец самая надежная охрана - собаки! Стоит только вам показаться, как тотчас выскакивает злое-презлое четвероногое и начинает так лаять, как будто вы уже что-то стащили.

У магазина ругались пьяные мужики. Светка ускорила шаг и тянула за собой Катю, чтобы шла быстрее. Светка странная девочка: она не любит толпу, ее не тянет к людям. Ей было неприятно идти по деревне, потому что казалось, что на нее все смотрят. Кроме того, она, несмотря на то, что осенью ей в первый класс, не умеет ни здороваться, ни прощаться, ни как следует поблагодарить за подарок или одолжение. А деревенским старухам это не нравится. Между тем Светка очень хорошая и ласковая. Другая отрицательная черта заключается в том, что она любит капризничать, грубить и не соглашаться. Можно подумать, что она - эгоистка, а на самом деле на нее это просто находит и потом вдруг сходит как ни в чем не бывало.

Когда взяли семена у тети Поли и вышли от нее, Светка спросила, зная, что тетя Поля живет одна, может ли она выйти замуж. Катя удивилась этому вопросу, но затем рассмеялась и сказала, что не может, потому что тете Поле очень много лет и в такие годы замуж не выходят. Вообще голова у Светки сидит на плечах правильно, и мозги работают хорошо.

Чтобы не идти по грязи, решили сделать крюк и прогуляться лесочком. Дождь помаленьку затихал, даже изредка проглядывало солнце. Сперва пошли полем. Трактор распахивал пустое пространство. Им управляла чумазая девушка. Катя посмотрела на нее - работает умело, привычно. Катя подумала: а сколько надо было времени и труда, чтобы распахать это пространство сохой! Вошли в лес, далеко не забираясь. Глядели на ели, на березы. Под ногами был мягкий ковер из хвойных веток и игл. Хорошо! В лесу ни души. Нескольким раз свет солнца вспыхивал так ярко, что лес казался нереальным. Светка садилась на пни, а Катя, останавливаясь, размышляла о том, сколько раз человек делает в жизни не то, что надо. То ли она, Катя, делает, что нужно делать? - вот тревожный вопрос. Если б мы его задавали возможно чаще, жизнь была бы умнее и приятнее. Делая не то, что нужно, мы увеличиваем

бедствия мира, а также свои страдания. Жизнь проста, думала Катя, но до чего она сложна, если поверить ей и с головой погрузиться в нее. А конец при всей сложности один - смерть. Так стоит ли суесться?!

Пора было идти домой, и Катя сказала: "Прощай, лес!" - а Светка громко добавила: "Прощайте, деревья!" И так было хорошо в этот момент у Кати на душе, что она невольно подумала: в жизни есть нечто серьезное, благородное, красивое - нужно держаться за это и делать свое дело, не поддаваться среде и работать над собой. И тут же при этой мысли возник перед глазами образ Игоря Олеговича.

Когда вернулись домой, хорошо пообедали и легли отдохнуть. Юра сразу же уснул, а Светка долго ворочалась, но тоже задремала. Катя включила настольную лампу и все время, пока те спали, читала Швейцера "Культура и этика". К вечеру Юра на задах, под навесом развел костер для шашлыка, когда прогорели березовые дрова, он нанизал на шампуры сочное мясо, замоченное в сухом вине, и поставил над углями. Готовые шашлыки в дом таскала Светка. Предчувствуя выпивку, Юра еще больше повеселел и говорил о том, что лучшего места для жизни, чем деревня, подыскать трудно, поэтому нужно сейчас погорбатиться, сколотить капитал и сразу после пенсии жить здесь постоянно. Катя поддакивала, и Юре это очень нравилось. Он раскраснелся и строил планы превращения участка в настоящую усадьбу.

Потом зашел сосед проведать, как он сказал, и Катя увидела высывающуюся из кармана брюк бутылку самогонки. Сосед всю гнал. Катя пробовать самогонку не стала. Пошла на кухню и нажарила картошки на сале, которое брали у того же соседа. Юра с ним прилично выпил. Стали петь песни, и Катя подпевала. Она немного захмелела, и жизнь ей казалась простой и понятной.

Когда сосед ушел, Светка сразу же заснула. Катя прибралась и тоже легла. Юра не давал ей спать до утра. А она видела перед собой Игоря Олеговича. Тело - мужу, душа - ему.

В воскресенье часов в пять выехали в Москву. Сначала, до Загорска, ехали быстро, но затем часто приходилось останавливаться из-за пробок. Юра нервничал, выходил из машины, смотрел вперед и ругал частников за неумение ездить. Видели две аварии: в одном случае "Запорожец" лоб в лоб столкнулся на осевой с "Жигулями", в другом - "Волге" ударил в зад "Москвич". Приеха-

Юрий КУВАЛДИН

ли домой поздно. Юре захотелось есть, и Катя вынуждена была на скорую руку готовить ужин.

Во вторник позвонил Игорь Олегович и сообщил, что место для Кати подыскано. Прости-прощай, тоскливый день в отделе Штыкало. Пальцы у Кати так разогнались над клавиатурой машинки, что, казалось, жили отдельной жизнью. И впервые с начала дня Катя уловила внутри себя слабый привкус удовольствия. Это чувство понемногу росло в ней, и, когда после работы она спускалась по лестнице, на губах ее появилась приветливая и наивная улыбка.

*В книге "Улица Мандельштама",  
Москва, издательство "Московский рабочий", 1989.*

## ЗАПИСКИ КОРРЕКТОРА

повесть

29 октября.

Сегодня много гулял по Суворовскому бульвару. Там книжный базар. Встретил Зарянчикова. Выбился в профессора, а рассудок куриный. Эх, моя б воля - лишил бы всего и - в швейцары. Говорит, что его постоянно тянет в Загорск: там прошли наши юные годы. Под 1 октября (по с/с) он был в академической церкви, но протискаться ввиду давки не мог, никого и ничего не видел и на силу вышел. Строит из себя черт знает кого, а ничего не читает. В молодости немало выпили с ним вина.

30 октября.

Самочувствие плохое: что-то происходит с головой - шум в ушах, давление в темени, неуверенная походка. Боюсь, как бы не сесть на больничный лист. Люди опротивели окончательно. Брал бы их за шкирку, прикнопливал к стене и плевал бы им в рожи с трех шагов!

Гулял по Суворовскому бульвару, хотя сперва намеревался ехать на работу. Размышляю о сущности бытия и сознания. Человек - это тростник, но тростник мыслящий. У Бердяева на этот счет есть кое-какие мыслишки. Купил банку гуталина. Надо начистить ботинки.

У нас была Клава, сестра А. Г. Лужина, пила кофе. Новостей на "Интернационалке" никаких нет. Заглядывал в Гете.

Вечером опять гулял по бульвару часа два. Такие прогулки улучшают мое самочувствие, правда, чуть-чуть. Неужели у меня возрастной склероз? Тогда пахнет выходом на пенсию, а это катастрофа. Весь наш подъезд заплеван и в окурках.

Странно, я иногда получаю удовольствие от пустяка, например, чай с хорошей конфетой. Шел по бульвару и думал, что у меня нет никаких привычек и глагол или фразу “я люблю то-то и то-то” совсем не употребляю. А как много я вижу рож, которые так и сыплют: я люблю, не люблю, мне не нравится и т. д.! Читал Бердяева. Галоши прохудились.

Делаю попытки бросить курение, т. е. сокращаю, но пока что мало. Курю сигареты вместо “Беломора” - 95 к. вместо 2 р. 20 к. Экономия! Но надо треснуть и бросить совсем. Иначе “труба”! Я это чувствую. Да и по возрасту пора, так сказать, я уже откурился. Надо почитать Канта. К вероятностным, проблематическим знаниям и суждениям Кант относился пренебрежительно и даже отрицательно. Умывался обмылком.

31 октября.

Работал с натугой, чувствую какую-то тяжесть в темени. Курил очень мало. Завтра думаю совсем не курить.

Красноглазова проработали на летучке. И что же? Сегодня его хватил инфаркт у Петровских ворот. Прямо с улицы поместили в больницу. Туда ему и дорога! Такая рожа, вы б видели! Остаканивался каждый божий день. У Шопенгауэра прочел: “Всякий замкнут в своем сознании, как в своей коже, и только в нем живет непосредственно: вот почему ему нельзя оказать большой помощи извне...” “Никто не может выйти из своей индивидуальности”. Изложенные соображения Шопенгауэра еще ни в какой мере не раскрывают своеобразие человека. Я думаю, что человек - большая скотина. Надо купить зонтик.

2 ноября.

Никаких существенных перемен в самочувствии нет. Курение значительно сократил. Много гулял по бульвару. Вчера встретил Н. Н. Лебедева, методиста г. Москвы по русскому языку. Очень болтливый. Оказывается, ему звонила Борькина. Заезжал в редакцию (вчера) и получил зарплату. Увы, она быстро расходуется по разным статьям.

3 ноября.

Прогулки по бульвару меня бодрят. Твердо установил, что от курения голове хуже. Но не в курении причина. К доктору не мигновать идти показаться. А вот этого я и пугаюсь. Сегодня хотел курить в последний раз, но ничего не вышло: уж очень тоскливо. Уже свыше недели чувствую себя прескверно. И раньше бывало такое самочувствие, но теперь оно стойкое.

6 ноября.

Вчера после работы была вечеринка - 40-летие Октября. Все разместились в кабинете редакторши. У окон был стол для начальства. Тамара Васильевна пригласила меня, я насилу пробрался. Сидел рядом с Верой Матвеевной и Алексеем Васильевичем. Выпивал очень мало, больше ел, так как не обедал. Настроение у меня в связи с нервной свистопляской было кисло-сладкое. В 10.30 вечера я ушел домой. Многие ушли раньше. Танцы были в коридоре. Некоторые напились изрядно: Черкасов, Ниловский, Мартынова, поэт Оладьин, Мусаэлян.

Сегодня самочувствие неважное, гулял по Суворовскому бульвару, заходил также на Гоголевский. Встретил Фельдфрид - она работает сегодня на сессии. У Н. П. спектакль в школе отсрочен. Я за нее доволен, а то она извелась - плохо спит и пр.

7 ноября.

Много гулял. Чувствую себя немного лучше. Но курил порядочно. Купил Маше "Орфографический словарь". Обедали я и Н. П. - бульон куриный, на второе - курица лет на 45, насилу жевали. Сiju сейчас (вечер, 8.30) один и чувствую себя прилично. Помоему, это неспроста, что я много гуляю - воздух!!! Пересматриваю свое поведение, кое на кого есть обида. Решил на всех махнуть рукой. Обойдусь, было бы здоровье. Довольно всем поддакивать и всех смешить. Пусть узнают меня настоящего!

На бульваре встретил корректора Каплана с дочкой. Немного поговорили - о работе. В ночь на сегодня "Комсомолка" кончила



в 4 ч. ночи. В мое отсутствие звонил Л. М. Сухов, наверно, хотел пригласить меня к себе.

8 ноября.

Гулял по Суворовскому бульвару. Завтра - конец книжному базару. "Мамочка милая, купи мне эту книжечку", - жалобно просила одна девочка свою маму. Я умилился. Два ласкательных слова: "мамочка" и "книжечка".

Звонил Клочкову, поздравлял с праздником, а сам едва сдерживал ненависть: он уже три года должен мне 70 копеек! У меня записано.

Были у Каменских. Пили перцовку. Я с голодухи ел сало и селедку. Интересно, что будет завтра с печенью? После выпивки с головой нехорошо. Приехал домой один. Н. П. и Лужин придут позже меня. У Светланы Александровны один котенок очень красивый - милая мордочка. Лизе я подарил книжку "Ясная Поляна", а Маше - "Орфографический словарь". На полке видел новое издание "Война и мир". Я бы подсократил и кое-где подправил как следует. В уборной опять засор. Улицы полны народу. Главные улицы сильно иллюминированы.

23 ноября - 24 ноября.

Только что вернулся со спектакля "В добрый час" из школы в Староконюшенном пер. Я удивился способности Наденьки, сумевшей в полтора месяца поставить вещь так, что получился спектакль. Юноши и девушки были на высоте, конечно, не все. Я бы поставил несколько иначе, посерьезнее, но для них - сойдет. Нужны аналогии и символы.

По этому случаю послал Сашу Лужина за кагором. Нельзя такой момент пережить всухую! Кагор Наденьку поддержит. Когда она вышла на сцену, то была очень бледная. Сели за стол и стали обсуждать спектакль. Наденька приехала на такси, я выходил за большим горшком цветов - белые астры. Настроение у нас было праздничное.

Спектакль в школе! Это же событие. Наденьку по окончании все очень благодарили.

И вдруг в 11. 20 вечера к нам пришла вся труппа. Наденьке это было очень приятно. Я всех приветствовал и благодарил. Свыше 30 лет я сижу в детской, школьной газете, и все, что происходит в школе, мне радостно и очень важно.

Но приход учеников немного был испорчен. Из своей комнаты, где спал некий Жуков, выскочила мадам Ильинская и давай гроыхать на наших глазах чем попало. Вот так учительница! Я вспылел. "Не помочь ли, - говорю я ребятам, - видите, как старается!" - "Что ж, можно..." Все засмеялись. Ребята сообщили, что у них в школе есть такая же учительница. Через 20 минут, то есть в 11. 40, вся труппа ушла. На прощание я опять благодарил всех ребят. Наша соседка, по-моему, ненормальная.

"Завтра она себя покажет с утра", - сказала Наденька.

Действительно, стоило ей и Жукову проснуться, как пущены были в ход хихиканье, радио и даже попытки что-то петь. Мне было ужасно противно, и я высмеял всю эту затею шалыпинским смехом: "Ха-ха... хи-хи... хе-хе!" Слова уже никакие не действуют. Посмотрим, что будет сегодняшний день. Во всяком случае мне надоело играть "царя Федора" - все молча переносить, умиротворять, а главное - надеяться, что восторжествует разум. Практика показала, что никакого разума нет, а есть пошлость, глупость, мещанская тухлятина, нахальство и квартирное хулиганство, замаскированное приличием. Я решил перейти в наступление, т. е. называть вещи своими именами. У меня есть достоинство, и его надо защищать.

Уже неделя прошла с того момента, как заболел палец. Столетник помогает, но уж очень медленно: ходить нормально я не могу. Подметил еще, чего раньше не замечал: если у меня озябнут руки, то особенно холодеют кончики указательного и большого пальцев.

"Грамматическая копилка" на тему "Русь" что-то не получается. Не знаю, как интересно поставить вопрос - не удастся форма, нет легкости. А главное - надо понравиться Черкасову, затем секретариату, потом редактору. И тогда... попадешь в номер.

В 16. 45 явилась после пробежки магазинов педагогша, стала говорить на полный голос и даже делала попытки петь... Я засмеялся шалыпинским голосом: "Ха-ха... хи-хи... хе-хе..." Мне ясно, что для квартирных дел надо завести особую записную тетрадь, чтобы отмечать все события день за днем.

Вечером был у Калужского А. В. - показывал ему палец. Он посмотрел. По его мнению, у меня ногтевой нарыв, надо делать согревательную ванночку и прикладывать на марле пенициллиновую мазь. Так как он спешил в гости, то я поблагодарил его и ушел. Александр Васильевич - очень любезный человек. Надо будет сходить к нему как-нибудь с Наденькой. Между прочим, к нему я добрался на такси, стоило это всего 2 руб. Пришел домой. Слава Богу! Соседей дома не было. Это прежде всего интеллектуальное удовольствие, затем моральное. Смысл моей жизни состоит еще и в том, чтобы мужественно переносить окружающую меня пошлость и полное отсутствие духовной культуры.

На ночь приложил мази. Палец драло, а вот столетник успокаивает. Посмотрю, что будет дальше.

Соседка Ильинская ведет себя вызывающе. Надо вновь собрать все материалы в одну тетрадь, так как материалы, которые я в свое время представлял участковому надзирателю, у меня не все: по-видимому, выкрали их соседка и ее сожитель. Все материалы представлю в редакцию, где никакого понятия не имеют о частной жизни учительниц. А ведь мы в газете должны всячески их нахвалять. И получается интересная тема: учительница в школе и дома. Вот про дом-то никто ничего не знает. А я последние два года специально уходил из дому, потому что сидеть дома из-за этой учительницы и ее сожителя было невозможно. Все вечера проводил в редакции и приходил поздно домой. То же делала и Наденька. Мы лишены возможности кого-либо к себе приглашать, потому что гости именуется пьяницами, все охаивается и опошляется. Кроме того, я сделал ошибку, что не дал сразу осаже. Она решила, что я только на словах храбр, а на деле - ни с места. Ну и распоясалась и на словах, и на деле, а теперь, увидав, что я могу действовать, решила меня утратить. Чем? Враньем на стороне. Мне сообщили, что соседка решила жаловаться в редакцию. Несчастная! Она пожнет то, что сама посеяла. Отдельные индивиды могут морально разложиться, народ - никогда.

29 ноября.

В типографии новости: читатели звонят и пишут письма, что они получили газету, где две одинаковые полосы. Когда меняли

стереотипы, поставили не ту полосу. Выпускающий снят, ряд лиц получил выговор, некоторые понижены в должности. Ко всему этому нужно отнестись с большой мудростью, ибо разум дан человеку, чтобы он разумно жил.

Позавчера чувствовал себя неважно. Между прочим, в воскресенье обедали у Каменских. Бульон, жареный кролик, чай с “наполеоном”. Привезли с собой бутылку портвейна. Ехали в такси. Я думал о трансцендентальном. В уборной засор. Начал читать “Этика и материалистическое понимание истории” Каутского. До сей поры не читал. А еще в 1910 году на экзамене по нравственному богословию проф. Остроумов (ревизор) спросил меня: “А вы не читали “Этику” Каутского?” Я ответил, что не читал. И вот теперь через 47 лет читаю.

У Каутского прочел: “Отныне нет большей похвалы для старика, чем та, что он еще молод и восприимчив для всего нового”. Пока что я стоял на высоте. Поэтому меня держали и держат на работе.

Настроение неважное - как будто со мной что-то должно случиться. Что это? Невроз или психоз? Данные есть и к тому, и к другому.

Каутский пишет: “Понять отживший способ мышления необычайно трудно”.

С. Е. Крючков доволен моей статейкой “Живая книга”. Он ее показывал учителям и методистам - всем нравится.

Оказывается, значок “За активную работу с пионерами” получили Маршак, Михалков, Барто, Кабалевский и др., в том числе и я - старейший корректор. Провидение меня куда-то ведет. Судьба меня жалеет, поддерживает старика: ему многое придется переносить, да и грустить, но я всегда на что-то надеюсь.

Сегодня закончил просмотр последнего тома “Десять лет спустя”. Прочел и задумался над строками:

“На мгновение он (д.Артаньян) поник, взгляд его затуманился; он предавался раздумью; затем, выпрямившись, он обратился к самому себе:

- Все же надо шагать все вперед и вперед. Когда придет время, Бог мне скажет об этом, как говорит всем другим.

Концами пальцев он коснулся земли, уже влажной от вечерней росы, перекрестился, как перед церковной купелью, и один, навеки один, направился по дороге в Париж”.

То же могу сказать и я: “Да будет воля Твоя...”

Вечером пьяный Жуков пришел с живым гусем. Гусь бегал по квартире, пока Жуков не зарубил его топором.

3 декабря, вторник.

Сегодня с утра - радио. Извольте целый день слушать его. Оказывается, сожитель Софьи Павловны опять не работает, сидит дома и от нечего делать заводит радио. Учительница тоже пришла ни свет ни заря домой - в 12 ч. Воображаю, что они будут выделять целый день. С утра на плите одной конфорки нет. Соседи придумали, будто бы залили конфорку. Сожитель Софьи Павловны советовал ей подать в суд. Можно коротко сказать: в лице соседей мы имеем спутника, в котором сидит собака.

Удивительно, что под радио они могут спать, даже храпят. А потом с раздражением говорят, что мы не даем им спать. А что мы делаем: мы поздно возвращаемся домой и часов в 11 вечера пьем чай и закусываем. Потом Наденька, соблюдая тишину, моет посуду. Разумеется, это происходит после 12 ч. до 1 ч. ночи. И затем укладываемся спать. Никакого нарушения правил о тишине после 12 ч. нет. Дело вот в чем: соседи спят целый день - и днем, и вечером, и ночью. И тем не менее соседка сразу засыпает и частенько храпит, правда несильно. Но ее сожитель уже старик, сон у него слабый, он сразу заснуть не может, поэтому его все раздражает, в том числе и тот факт, что мы ужинаем, моем посуду и укладываемся спать. Вообще, они оба неврастеники, и им надо лечиться у невропатолога. Как неврастеники, они эгоисты и нахалы.

Гений живет во все времена, но люди, являющиеся его носителями, немые, пока необычайные события не воспламеняют их душу. Поймал клопа. Жирного. Макароны ел через силу.

Когда школьники пришли после спектакля к Наденьке, то Софья Павловна всем соседям говорила, что к нам пришла пьяная банда. И это учительница! Я теперь понимаю, что и в школах надлежащего порядка нет, и некоторые безобразия своей причиной имеют плохой состав учителей.

Кстати, у нас в передней есть подпол. Некоторые доски не в порядке. Чтобы они не хлопали при ходьбе, я вбил несколько длинных гвоздей. Пока доски опирались на эти гвозди, хлопанья

не было. Так вот, на днях я обнаружил, что этих гвоздей нет - их присвоили соседи, т. е., попросту говоря, они их украли. До сей поры соседи не возвращают нам примус - уже пошел третий год. Интересно, что за электричество соседи платят столько, сколько хотят, никакой договоренности у нас с ними не было, и в результате я каждый раз переплачиваю и, кроме того, сам хожу в банк, стою в очереди и т. д. И это в 68 лет! Все живое есть результат борьбы.

4 декабря, среда.

В каждом человеке природа всходит либо злаками, либо сорной травой; пусть же он своевременно поливает первое и истребляет вторую. В диетке купил кило наваги.

Как только пришла Софья Павловна, так тотчас включила радио. Часов в 8 вместе с сожителем ушла смотреть телевизор. Слава тебе, Господи! Но радио выключить позабыла. Это не в первый раз. А недавно весь стол у нас на кухне залила водой. Мне попал от Наденьки: будто бы это я. Потом соседка созналась.

6 декабря.

Прочитал книжку Набокова о поездке в Англию в 1-ю империалистическую войну. Удивился фразе "в общем и целом". Я никогда так не говорю, потому что чепухисто.

В редакции провел три занятия о производственном процессе, корректуре, правке гранок. На четвертое занятие наметил о правописании. Читал трудные вопросы правописания - о частице "не". По-моему, в правилах трудно разобраться не только школьнику, но и взрослому. Придется для корректоров сделать выписки.

Едва открыл "Фауста", как напоролся на следующие слова:

Я богословьем овладел,  
Над философией корпел,  
Юриспруденцию долбил  
И медицину изучил.

Однако я при этом всем  
Был и остался дураком.

Здорово сказано. Если б так думали многие и многие, умных людей на свете было бы больше и жить было бы легче.

Звонили из “Пионерской зорьки” - пригласили в понедельник зайти. Хотят повторить мое выступление: “Почему школьники ошибаются, когда пишут”. Но у меня нет текста. Меня смущает и то, что у меня нет зубов, чтобы хорошо читать. В общем, что будет, то и будет.

8 декабря, воскресенье.

Наступили морозы. У меня очень зябнут пальцы, именно кончики. Пожалуй, придется купить шерстяные перчатки. Палец на ноге продолжает “хворать”, но все же ему значительно лучше.

6 декабря были мои именины. 3 декабря - день рождения. Я не справлял и никому ничего не говорил. Так лучше! Стукнуло мне 68. Довольно прилично.

Вчера Лужин уехал на “Интернационалку”. Может быть, надолго.

Сегодня у Наденьки были ее школьные “артисты” - двое мальчиков и две девочки. Девочки - Мила и Таня - принесли Наденьке в подарок великолепных шоколадных конфет.

Когда мы сидели за столом, пили чай и разговаривали, сосед Жуков специально включил радио на полную громкость и стучал по какому-то железу молотком.

Софи под этот аккомпанемент во все горло пела: “Валенки, валенки, не подшиты, стареньки”. Наденька хотела бежать скандалить, но мы ее удержали. Настроение, разумеется, было отвратительное.

В тюрьме, наверно, тише.

Как только гости ушли, соседи немного притихли. Заметка об одушевленности, кажется, попадет в номер в пятницу. Сильно сокращена. Мне все равно.

...Сегодня в 1 ч. 15 м. ночи я сидел как дурак, ожидая, когда мне сделают кровать. Когда я об этом заявил, то Надежда Петровна назвала меня кретином, идиотом и пр. Как жаль, что я ничем не

могу вправить мозги... У нее не в порядке нервная система. Это болезнь - я по себе чувствую, - и с ней надо считаться.

11 декабря, среда.

Вчера по звонку будильника проснулись я и Наденька. Прислушали конец физкультурных занятий. Дальше - "Пионерская зорька". Как обычно, музыкальное вступление. Голос диктора: "Пожалуйста, Александр Иванович". И дальше я: "В начале 19-го столетия историк Карамзин..." Совсем не мой голос. И, я бы сказал, не очень симпатичный. Выступил хорошо. С Наденькой потом смеялись над манерой говорить. Я не умею давать фразу просто. На носках дырки, а Н. хоть бы хны!

Человек не должен жаловаться на времена. Из этого ничего путного не выходит. Время дурное: ну что ж, на то и человек, дабы улучшить его. Величайшее чувственное наслаждение, которое не содержит в себе никакой примеси отвращения, - это, в здоровом состоянии, отдых после работы. Все, что не есть мысль, есть чистое ничто. Мы не можем мыслить ничего, кроме мысли. Целый день сидел голодный. Теперь поел какой-то дряни, и разболелся желудок.

Соседи начали безобразничать особенно активно. Даже после обеда, когда они обычно спят, все равно радио работает. То они его приглушают, то усиливают. А у нас? Тишина. Зачем же заводить радио и в это время разговаривать, выходить из комнаты в уборную и пр.? А главное, что за уши?! Я был бы рад, если соседи напились бы и шумели: это было бы жизненно и, пожалуй, изредка интересно. Но каждый день выдерживать их "атаки" - это надо иметь нервы. А они на исходе.

14 декабря, суббота.

Вчера говорил по телефону с проф. Крючковым. Я чуть было не попал в неприятную историю. Моя заметка о том, что надо писать "запустили спутника Земли", а не "запустили спутник Земли", могла попасть в печать. Получился бы скандал. Эту форму я взял у Р. из последней его книжки. А он в разговоре с Крючковым отрекся от своего взгляда.



Хорошо, что в этом разобрался Крючков - иначе я влип бы: были бы звонки по телефону и письма. Можно сказать, меня спас сам Бог.

Вчера соседи улеглись спать в 11 часов. Днем нас не было.

У Наденьки самочувствие неважное. Дело не только в ногах, но и в душенстроении, по-моему, из-за Лужина.

Погода скверная, снег тает, лужи, грязь. В редакцию не поехал. В столовой давно не был. Иногда хожу в буфет. Надо привыкать к нему. Из санатория вернулся Л. М. Сухов. Мы с ним вспоминали столовую и буфет на "Правде". Никакого сравнения. Вот уж действительно: "Земная жизнь объята снами..."

Сегодня попытаюсь настрять какие-нибудь заметки.

15 декабря, воскресенье.

Сегодня - выходной день. Как и всякий выходной день, это бич для нас. У соседей орет все время радио. Удивительные люди! Что предпринять - не знаю. Ведь чтобы их упорядочить, надо везде ходить, объясняться с людьми, мне неизвестными, доказывать и пр. А что получится из всего этого, мне неизвестно. Вчера ничего не писал. Думаю, набросать сегодня что-нибудь. Наденька все время в раздражении. Порой с ней трудно говорить. От Лужина нет известий.

Вчера перед сном читал, как Анна Каренина бросилась под поезд. Здорово написано, и как это ужасно! Интересно, что испытал Толстой, когда писал эту сцену. Неужели при писании он был в нормальном состоянии? Чтобы написать такой ужас, надо самому быть в ужасном состоянии. Насчет свечки написано гениально:

"И свеча, при которой она читала исполненную тревог, обманов, горя и зла книгу, вспыхнула более ярким, чем когда-нибудь, светом, осветила ей все то, что прежде было во мраке, затрещала, стала меркнуть и навсегда потухла".

16 декабря, понедельник.

Сегодня я проснулся от соседского будильника, т. е. Софьи Павловны и Жукова. Затем, как всегда, в 7 часов заговорило радио. Я спасался от него тем, что пил жидкость Бехтерева, но на сей раз я

ее не принимал, так как она вся вышла. Это радио меня взбесило. Я знаю, что бессонница не только у меня, но и у жены, и притом главным образом. В результате она каждое утро просыпается и затем через час-два должна во что бы то ни стало вновь заставить себя заснуть. Но это не всегда удается. Вне себя от негодования, что по милости непрописанного субъекта заводится радио и мы должны просыпаться, я пошел в уборную и, увидя сожителя соседки, сказал ему, чтобы он прекратил радио, в ответ услышал: "Плевать я на тебя хотел. Пошел к еб... матери. Я тебе дам, контра..." Куда он собирается дать, я не расслышал, но я поразился наглости этого субъекта. Будь я помоложе, с удовольствием его отлупил бы. Но годы ушли, надо беречь себя. Я принял 20 кап. Зеленина и улегся спать. Конечно, заснуть не удалось, билось очень сердце. Встал, подзакусил и в десятом часу поехал на работу. Сидя в троллейбусе, думал: "За что я должен терпеть хамство во всяких его видах?" Поскольку жизнь наша имеет преимущественно практический характер, то и проблемы, которые она ставит перед нами, - это как нам лучше жить. Приехал в редакцию, увидел редакционных работников и сразу понял, что все они тупы, как поросята.

Домой вернулся поздно, около одиннадцати. Ел котлету, немного ветчины. Наденька вернулась домой усталая и мрачная: "Свадьба" идет, по ее мнению, вяло. Поймал таракана.

За целый рабочий день я ни разу не рассмеялся. Получил зарплату с большим вычетом.

Стал сомневаться в христианской морали и учении Толстого, что надо любить всех людей. Как можно любить тех, которые превратились в животных, вернее, не вышли из животного состояния? Человек рождается животным, это ясно. И за короткий отрезок времени должен проделать огромный путь от животности к духовности! Но путь этот проходят единицы. Другие говорят: а зачем?

Надо купить дуст.

17 декабря, вторник.

У меня ангина. Болит горло. Целый день провел в редакции - читал оригиналы. Затем зашел в гастроном № 1 и купил кое-что поесть. Придя домой, застал жену уже дома. Она жаловалась на сильную боль в животе - это очередной припадок. Могла бы по-

мочь соседка - Ильинская, но она, наоборот, завела радио и вообще сильно шумела. Несомненно, что соседи выкинут какой-то номер, надо быть настороже: они на все способны. Бердяев наводит меня на веселенькие размышления.

К 11 ч. вечера прибыл Жуков, и сейчас же оживилась Софи: поднялась возня с мебелью и пр. Ломаю голову, как навсегда покончить с этими субъектами. Если б я был один, то все устроилось бы быстро. Очень трудно иметь дело с милицией - она загружена делами, и копаться в квартирных условиях у нее нет ни сил, ни времени. Я никогда не думал, что мне в 68 лет придется заниматься всякими безобразиями и безобразными субъектами.

К заметкам еще не приступал.

Лев Сухов мне сегодня заявил, что один Александр Иванович все тот же, а прочие с переездом в новое помещение как-то завяли: все то и все те, а в общем что-то нескладно. Я засмеялся.

18 декабря, среда.

В начале пятого явилась с работы Ильинская и тотчас включила радио на полный звук. Наверно, она думала, что жена спит, и поэтому решила ее разбудить. Ну и скотина! Ведь в квартире была полная тишина: у меня ангина, и я лежал на диване. Затем она улеглась спать и радио приглушила. Затем ушла на родительское собрание.

Вскоре пришел Жуков, Конечно, опять завел радио. Жена проснулась. Он что-то хозяйничал на нашей уродливой кухне. Я сидел и писал заметку для газеты. Жена вышла подогреть что-то. Я отчетливо слышал, как она сказала: "На минуточку". Дальше с той и другой стороны крик: Жуков заявил, что плевать я на тебя хотел, тебя надо отдать под суд... Дальше я не слышал. Жена заявила, что это его надо отдать под суд за его безобразия в квартире, в которой он не прописан. Я вышел и заявил, что нельзя так обращаться с женщиной, тем более большой женщиной, и вообще плевать на лиц, которым уже 68 лет и которые уже по старости имеют право жить в тишине. "Кроме того, - сказал я, - разрешите представиться: кто вы - я не знаю. А я б. военный чиновник X класса, газетный работник свыше 30 лет". Жена возмутилась на то, что я сказал, что она лечится у невропатолога и психиатра, и в особенности на мою фразу, что надо с женщинами быть джентльменом и кое в чем ус-

## ЗАПИСКИ КОРРЕКТОРА

тупать и что в конце концов при известной дозе благоразумия возможно мирное сосуществование. Жена, между прочим, сказала Жукову, что под суд надо отдать не ее, а С. П. Ильинскую, которая в присутствии некоторых лиц назвала ее проституткой.

Я принял каплеь Зеленина и принялся за писание заметки. По моему, кое-что получается.

Что дальше будет - не знаю.

19 декабря, четверг.

Несмотря на ангину, все же работал. Приехал домой поздно на редакционной машине. Жена провела весь день и вечер вне дома, так как опасалась дальнейших выходов со стороны С. П. Ильинской и Жукова. За этими лицами надо тщательно следить. Они не останавливаются перед провокациями и писанием пасквилей.

20 декабря, пятница.

Сидел дома - лечился. Как только соседка пришла с работы, конечно, тотчас пустила радио. Я не остался в долгу и тоже включил радио до 11 ч. вечера. Надежда Петровна пришла к 11. 30 из-за соседей. В человеческих делах главное внимание должно быть обращено на мотивы.

21 декабря, суббота.

Сижу дома, лечусь, чем могу. Соседка пришла часов в 5 вечера и тотчас направилась к Ворожейкиной Анне Ивановне. Это она делает попытку формировать общественное мнение против нас. Надо скорей заканчивать выписки из дневников. Вчера на это потратил много времени. Бегает также к Жихаревой.

30 декабря, понедельник.

Все дни был занят служебными делами, поэтому ничего не писал. Купил дуст, морю клопов. Читаю Бердяева. Я бы написал луч-

ше. О соседях писать надоело. Выписки из дневников подходят к концу. Клопы обнаглели. Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь ограничивать себя.

Соседи затевают вот что: сперва подарили пальто Тане Жихаревой и пытались узнать, куда девался Лужин. Все-таки он им не по нутру, так как с нашей стороны является свидетелем всех их безобразий. Предполагая, что жена спит, сегодня утром Софья Ильинская и ее сожитель обсуждали вопрос, что, поскольку Лужин снова появился, зря отдали пальто Жихаревой; во-вторых, они хотели пригласить какую-то знакомую по имени Лида, затем придраться к жене в грубой форме, при этом они надеются, что жена моя что-нибудь ляпнет, тогда у них будет свидетель. Ловко придумано, что и говорить!

В том, что они способны на всякую пакость, я никогда не сомневался. В этом смысле я всегда предупреждал жену, а она по доброте и наивности все-таки пыталась установить хоть какой-нибудь контакт с Софьей Павловной.

Теперь они затевают какой-то ремонт на кухне. Разумеется, шлялись в домоуправление и там досыта чего-то врили.

Придется мне самому побывать в домоуправлении. Я чувствую, что в конце концов мое терпение лопнет. Несомненно, я имею дело с бывальыми людьми, способными на все. Я должен буду предупредить домоуправление и участкового надзирателя, что опасуюсь за здоровье и даже жизнь своей жены, не говоря уже о ее трудоспособности.

За короткий срок она все же успела поставить в школе две пьесы: "В добрый час" (пьеса прошла два раза с большим успехом) и "Свадьбу" Чехова (прошла тоже два раза). Следовательно, с 2-3 часов дня ее не было дома, а я все время находился в редакции. Мы вынуждены все вечера где-то проводить из отвращения и опасения всяких эксцессов со стороны соседей.

Я изучил каждую пядь Суворовского бульвара.

В сущности, мы не имеем комнаты.

Здоровье моей жены столь плохое, что ей нужен покой. Я предупредил об этом соседей. Но все это бессмысленно. Они, наоборот, ломают голову, как бы напакостить. Другими словами, я имею дело с злонамеренными людьми.

Вчера после спектакля сидели у нас за столом четыре наилучших из членов драмкружка. Чем могли, мы угостили ребят. Они

молодцы! Немножко выпили портвейна. Женя очень развитой и интересный малый. И спектакль и сидение за столом мне очень понравились. Что может быть лучше, как наблюдать развитие школьников, слушать их мечты и пр.

Соседка по злобе и тупости, конечно, будет сплетничать, что было пьянство, что не давали им спать, хотя к 12 ч. все разошлись.

Только когда соседи завалятся спать, мы можем жить, т. е. собраться, посидеть за ужином и затем лечь спать. Иначе ожидай всяких безобразий. Хорошо, что приехал Лужин, в противном случае с нами может быть черт знает что. Несомненно, происхождение от обезьяны у некоторых людей дает себя сильно знать. Не только герой Евангелия - Христос, но даже Толстой производят впечатление наивных людей, когда говорят: "Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный", или: "Совершенствуйся!"

Хорош и я: семнадцать лет учился тому, что человек - образ и подобие божества. И вдруг... что-то звероподобное, а я совершенно не подготовлен к такого рода людям.

К 12 ч. ночи приехала жена. У нее сильные боли в животе поднялись во втором часу. Надо ставить грелку.

На днях было партийное собрание. Очень критиковали собко-ров, в том числе Р. Ковалько - мало пишет.

Сейчас 1 ч. 20 м. ночи. Софья Павловна храпит уже свыше часа, т. е., другими словами, нас не слышит. Ее напарник от злости и старости (я думаю, у него старческое слабоумие и раздражительность, признаки склероза мозга и разболтанности нервной системы), наверно, не спит и думает, как бы насолить нам.

6 января, понедельник.

В субботу был у Сухова. Бегло осмотрел квартиру - 58 метров. Превосходно! Закусывали на кухне. Предстоит на днях побывать и у Циновского - тоже отдельная квартира.

Купил книгу Булгакова "Христианская этика" (учение Л. Н. Толстого), а зонтик все еще не купил. Успех и неудача суть первичные категории жизни; достижение блага и избегание зла - ее высшие интересы; надежда и тревога - господствующие качества опыта.

Болит заусенец на мизинце.

Вечером в 11 ч. 20 м. с “Флодов просвещения” пришли драмкружковцы, принесли Надежде Петровне шоколадных конфет. Сидели, пили чай. К счастью, наша соседка С. П. Ильинская уехала в Ригу. Несомненно, она обегала бы все комнаты и изобразила бы, что была пьянка. Я окончательно пришел к мысли, что она ненормальная. Не запросить ли директора школы? Куда-то подевались скрепки.

8 января, среда.

Как я предполагал, так оно и вышло: мы будем меняться комнатами с Ходоровской. Это единственный выход из положения, потому что никакой контакт с соседями не возможен.

Для меня очевидно, что мы имеем в лице С. П. Ильинской ненормальную особу, у которой сдерживающие центры ослабели: она может что угодно сказать и что угодно сделать. Так что дело совсем не в перегородке. При наличии перегородки нам все равно придет конец в кухне, где и будут столкновения. Как мне надоели эти рожи!

Плюнул бы, да слюны жаль!

Я и Наденька уже в таких годах, когда мы должны беречь себя. А это возможно у нас только путем ухода от тех лиц, с которыми не возможен никакой контакт. Тем более, что Ильинскую сожитель не одергивает, а, наоборот, подзуживает.

Характер каждого человека оказывает влияние на счастье других людей, смотря по тому, имеет ли он свойство приносить им вред или пользу. Раскрошился зуб мудрости.

11 января, суббота.

9 января приехал домой в 4 ч. 30 м. ночи после работы. Вчера у нас были Данила и Таня. Она пишет дипломную работу. Мило беседовали, немного выпили и закусили. В 12 ч. они ушли. Коммунальные правила!

А днем была Варвара Николаевна. Ее муж получил лауреатскую медаль - за спутник.

Сегодня из редакции поехал с Циновским к нему на квартиру. 50 метров, кроме кухни, ванной и пр. Хорошо обставлена. Обедали и почти вдвоем раздавили пол-литра. Я сам на себя удивился.

Лужин уехал на “Интернационалку”. Вчера на экзамене по теории литературы получил 5. Я сказал: “Это ляпсус”. Все смеялись.

Как только приехала Ильинская, так тотчас печенег (Жуков) ожил.

Сегодня до 1 часу они разговаривали, пили чай и пр. А где же коммунальные правила? Ильинская что-то хотела болтать про мою жену и зашла к Ходоровской, но та сказала: “Я хорошо знаю Надежду Петровну и вас слушать не желаю”.

Ильинской пришлось уйти.

Про членов драмкружка, т. е. про школьников, она говорит: “Ходят какие-то хулиганы”. Вот так учительница! Один из школьников - сын профессора, другой - сын генерала, третий - сын режиссера... да что говорить!

Все отличные ребята и играют превосходно.

13 января, понедельник.

Соседи встречали старый Новый год. Жуков напился и распоясался. Оказывается, они устроили ловушку: всякими ругательствами они хотели вызвать на крупный разговор жену, а в качестве свидетеля пригласили “Лидочку”. Затем они наводили справку, где работает Лужин. Убедились, что он работает в военной академии, а студентом состоит в ГИТИСе. День выбрали подходящей - понедельник, т. е. когда меня нет дома, так же как и в четверг.

- Ты заяви в милицию, что они пьянствуют, гремят посудой и не дают тебе возможности проверять тетради, а я заявлю в парторганизацию, - орал Жуков. - Я их под суд отдам!

Это рассказала жена.

- Я не знала, что делать, - говорила она. - Надо было позвонить Олсуфьевым, но не догадалась.

Все это я давно предвидел, но мне неизвестны были все их карты. Я считаю, что это еще не все карты. Но и на основании этих карт я перехожу в наступление.



16 января, четверг.

Вчера соседи вернулись в 12. 30 ночи, пили чай и разговаривали. Почему нам нельзя то же самое?

Сегодня Надежда Петровна рассказала, что в школе было получено анонимное письмо, в котором сообщалось, что Надежда Петровна - проститутка и как можно было доверить ей вести драмкружок. Далее сообщалось, что за проституцию в клубе "Интернациональное единство" она была уволена с должности руководителя драмкружка.

Директор школы позвонил в клуб и в партком, где сообщили, что все это неверно и есть следствие травли со стороны соседей, что Надежда Петровна вновь приглашается в клуб на "Интернационалку", но она отказывается. Вместо чая пил какие-то помои! Письмо было написано месяца три назад. Нашел в нем восемь ошибок. Разумеется, оно состряпано Жуковым и Ильинской Софьей.

Такой гадости я не предвидел. Кончился зубной порошок. Для действия требуется главным образом характер, а человек с характером - это рассудительный человек, который как таковой имеет перед собой определенную цель и твердо ее преследует. Талант я угадываю по одному-единственному проявлению, но чтобы угадать характер, требуется продолжительное время и постоянное общение. Нужно нарезать газет в туалет. Соседи этого никогда не делают.

4 февраля, вторник.

Служебные занятия так меня захлестнули, что мне некогда было писать, хотя бы кратко, о коммунальных передерягах. Но я и жена все время начеку: что еще выкинет эта чудесная пара - Жуков и Ильинская? У Канта нашел одну занятную мыслишку: разум есть способность видеть связь общего с частным.

Выкидывает Ильинская следующее. Если Надежда Петровна одна, то непременно Ильинская заводит громко радио. Если мы все втроем: я, жена и Лужин, - то средне. Затем бегают по комнатам и заявляют, что мы не даем им то спать, то вообще жить. Надя не умеет чистить картошку: срезает много шкуры. У меня сильно

болит ухо, ковырялся спичкой, черт!

В субботу 18-го числа в школе был спектакль “В добрый час”. После спектакля к нам пришли поздравить с успехом жену некоторые лица.

Конечно, сели за стол подзакусить и выпить на радостях; спектакль прошел настолько успешно, что у одной артистки я публично поцеловал ручку, хотя ей всего 18 лет. Правда, от нее неприятно пахло потом.

В 12. 40 все разошлись, так как спешили на метро. Конечно. Ильинская все “оплевала”, изобразив, что у нас пьянство. Мало того, она завербовала свидетельницу - старушку Зину. Разумеется, из этого ничего не вышло, так как никакой пьянки не было да и старушка Зина на подлость не пойдет.

Таким образом, получается, что к нам никто не должен ходить. Когда я сообщил это гостям, они были возмущены. Все-таки мы намерены менять комнату. Вряд ли в наше время можно найти квартиру на наших соседей, и чего она будет стоить!

“Удалились от зла и сотвори благо”.

8 февраля, суббота.

Стоят хорошие зимние дни с оттенком весны. Небо совсем голубое. Приятно гулять по бульвару.

На работе никаких новостей. Глава редакции уехала в Польшу. 31 января были выборы в местком. Говорят, я блестяще прочитал доклад ревизионной комиссии. По-моему, это верно. Когда я задал вопрос, почему Малышев не платит членских профсоюзных взносов, и привел ответ - стих Пушкина: “Лишиться я боюсь последних наслаждений”, - раздался взрыв хохота, а затем аплодисменты.

Лужин сдал все зачеты на 5. Это очень хорошо.

Соседи немного притихли, потому что из Риги приехал старший брат Софьи, Серафим Павлович Ильинский. Я избегаю встречи с ним. С Надеждой Петровной он не поздоровался. С меня этого достаточно. Ильинская нахальна, как всегда. Ну и черт с ней.

Зав. школьным отделом Черкасов ничего не говорит о моей “Грамматической копилке”. У меня пропадает охота писать.

У Надежды Петровны дела идут, по ее словам, неплохо. Намежена поставить “Бедность не порок”.

У меня сидела одна тема в голове и портила настроение. Теперь я ее бросил, и стало лучше.

18 февраля, среда.

Наденька усиленно репетирует “Бедность не порок”. Кроме занятий в школе ребята приходят репетировать к нам на дом. Это, конечно, бесит соседей, особенно Ильинскую. В такие моменты она пускает радио на полный звук.

Ученики удивлены. “Давайте мы с ней поговорим, - говорят они. - Ведь мы сидим тихо, не шумим”.

Когда приехал Серафим Павлович, печенег не ночевал. Мы просто отдохнули. Были даже гости: Михаил Александрович Олсуфьев, Антонина Александровна Горецкая и ее сын, Володя, следователь. Сидели до 12 ночи и тихо разошлись.

Полоумная соседка затем спрашивала Серафима Павловича: “Ну как?” Он ответил, что все было нормально. Она была разочарована. Впрочем, ну ее ко всем чертям!

На работе никаких новостей нет. Читаю, правда бегло, Булгакова о Толстом, т. е. изложение его учения. Местами рассуждения могли бы быть короче.

Вчера впервые видел магнитофон. Федя Тарасов спел одну французскую песенку. Запись получилась хорошей. Магнитофон - это превосходная вещь. Цена 1650 руб. Я попробую тоже что-нибудь наговорить с тем, чтобы вновь послушать свой голос.

Женский день, кажется, будем справлять. Мне почему-то неинтересно. Раньше придумывали всякие смешные номера, а теперь будет только сидение за столом. А может быть, что-нибудь придумают. В уборной оторвали ручку унитаза.

Позавчера на площади Пушкина любовался, как снег украсил деревья. На правой перчатке прохудился палец.

30 апреля, среда.

Давно не писал. То дела, то лень. В понимании этики как своеобразной и даже, в известном смысле, высшей гносеологии был зародыш действительно новой, и притом значительной, мысли.

Кант вводит тезис о первенстве практического разума над теоретическим. Ел картошку с огурцами,пил компот.

Всем желаниям следует предъявлять такой вопрос: что со мною будет, если исполнится то, чего я ищущ вследствие желания, и если не исполнится? Невозможного не желаю.

А как обстоит дело с соседями? Общаться с ними невозможно. Я все время начеку. Это меня волнует настолько, что я уйду на целый день из дому и прихожу к 11 - не раньше. Заметил, что тарелки Наденька моет плохо - жирные.

Что же придумали Ильинская и ее сожитель Жуков? Сперва они решили ломать печь. Я опротестовал это намерение и подал заявление в комиссию содействия. Было назначено заседание. Вел его Седов. В заявлении Ильинской было написано, что у нас происходят дебоши, что у нас ночует неизвестная личность - Лужин, что мы не уступаем шкаф, наполненный нами всяким хламом.

Так как доказательств о дебошах никаких не было, то вопрос не рассматривался. О Лужине - тоже. Участковый (да и сама Ильинская) прекрасно знает, что Лужин работает в Академии Генерального штаба им. Ворошилова и состоит студентом ГИТИСа. О шкафе было постановлено: очистить его от барахла и дать возможность пользоваться Ильинской. Я не возражал. Я заявил для характеристики Ильинской, что она назвала мою жену проституткой, хотя ей должно быть известно, что я живу с женой свыше 30 лет, что она потеряла сына на войне.

Далее я заявил, что Ильинская месяцами не платит за электричество, показывает, что у нее горит одна лампочка, когда с улицы в окно видно, что горят 2 лампочки. После этого заявления Ильинская и ее сожитель стали наглухо закрывать окно, так что не видно, сколько горит лампочек.

Кроме того, она заявила, что уважает седины. На это я заметил, что не вижу этого уважения: в продолжение нескольких лет я, за малым исключением, хожу в госбанк платить за газ и электричество. Стою в очередях, теряю время, причем сама Ильинская ничуть не беспокоится.

Председатель Седов заявил, что о дебошах никому ничего не известно. На этом окончилось заседание.

Шкаф пришлось очистить от некоторого хлама. Ильинская воспользовалась обстоятельствами и заняла не одну полку, а почти 2/3 шкафа, причем выбрала место для своих вещей без всякого

согласования со мной, т. е. произвольно распорядилась моими вещами. Ну и субъект!

Через несколько дней приходили к нам два управдома (прежний и новый). Они сказали жене, что Ильинская им надоела, что они вынуждены были рассмотреть ее заявление. “А вообще, не обращайтесь внимания”, - сказали они. Оказывается, выдержки из моего дневника не пропали в домоуправлении, мне их вернули. Любопытно: кто же их читал?

8 сентября.

Из меня выбито всякое желание писать, чувствовать, жить. Коммунальность ампутирует душу.

Кое-что вспомню. В мае я уехал в отпуск. Внезапно заболел Лужин. Я звонил из Звенигорода. В доме все было благополучно. Соседи вели себя прилично. А я, откровенно говоря, ожидал с их стороны всяких безобразий. Но, по-видимому, они стеснялись Лужина как свидетеля.

Все же накануне моего отъезда был инцидент. К жене пришли ученики - члены драмкружка - по окончании спектакля. Вполне понятно, что они не могут сразу успокоиться, тем более, что сыграли такую пьесу, как “Бедность не порок”. Ушли они в 23. 45. Конечно, печенег, сожитель Ильинской, завалился спать. Казалось бы, все хорошо, но на другой день мне вдруг звонит жена в редакцию, говорит, что Ильинская устроила сцену: вызвала участкового и требовала составления протокола, указывая на Ворожейкину как на свидетельницу.

Та сказала, что ребята смеялись - и больше ничего! Участковый ушел.

Я тотчас позвонил Ильинской по поводу этого безобразия и категорически заявил, что буду на нее жаловаться не в домоуправление, а ее начальству, что все ее безобразия у меня записаны и что ей безусловно нагорит.

Кроме того, я посоветовал ей поговорить на этот счет с Жуковым: это такой пройдоха, что вряд ли он одобрит ее затеи. Так оно и вышло.

Обычно она заявляет следующее:

1) Ей якобы мешают проверять тетрадки.

2) Мешают спать после 12 часов.

Хотя философия - и только она одна - может ставить перед собой задачу примирения противоречия между сферой бытия и сферой ценностей, действительное разрешение этой задачи недоступно даже философии. Проверить тетрадки ничего не стоит, - для этого достаточно задержаться в школе. У меня бывают более важные письменные работы по спорным вопросам правописания. Работаю в редакции, так как Ильинская все время заводит радио. Нет хуже худого разума.

Другими словами, она занимается радиоулиганством. Ее сожитель тоже хорош: он заводит радио в 7 ч. утра. По какому праву? Разумеется, мы все просыпаемся. Я часто принимаю снотворное. И вдруг ни с того ни с сего радио! Для чего все делается? Чтобы нас разбудить в отместку, что мы поздно ложимся и якобы нарочно не даем спать. Все это наглая ложь. Говорят, память плохая, а про ум - молчат. Его просто нет!

Что же получается - мы должны ложиться спать, когда у нас никакого сна нет и не может быть?! У моей жены заболевание центральной нервной системы, а у меня склероз. А ведь со стороны могут поверить этой лжи! Участковый надзиратель мне заявил, чтобы я не обращал внимания на все это.

В июне Ильинская уехала. В комнате остался печенег - Жуков. Когда мы все в сборе, он не затевает скандалов, а только включает радио до 12 ч. ночи, когда дают Красную площадь и часы на Спасской башне. Но стоит мне и Лужину уйти из дому, сразу положение жены становится безнадежным: надо избегать встреч с Жуковым, а он не только хозяйничает, но и говорит с женой на "ты", делает замечания в грубой форме, ходит в трусах и тельняшке. Вот мышинный жеребчик!

Однажды жена его спросила, по какому праву он здесь живет и кто он такой. Он ответил: "Я гражданин Советского Союза". Сидевшие в нашей комнате школьники прыснули со смеху. А он сделал замечание, что школьники громко разговаривают и смеются.

Узнав об этом, я посоветовал написать в домоуправление и участковому заявление с описанием наглого поведения Жукова. Школьники написали и расписались. Я показал заявление участковому, он прочитал и сказал: "Оставьте это заявление у себя. А если Ильинская будет безобразничать, то я с ней как следует поговорю".

Жена моя так изнервничалась от создавшейся обстановки, что решила хоть на время уехать на “Интернационалку”, где в клубе занять должность руководителя драмкружка. Я ее долго отговаривал, но другого исхода не было, и я перестал возражать.

1 сентября жена уехала. Я остался один - рак-отшельник. Соседи пока думают, какую пакость причинить мне. Несомненно, надо ожидать всяких неприятностей. Что ж, я готов!

Февраль, 21.

Не писал черт знает сколько! На то были причины. Вошли посетители. Писать невозможно.

7 марта, суббота.

Жена вышла с чайником на кухню. Послышался голос Ильинской: “Для меня, что ли, накружилась, как шлюха?” Слышу - упал чайник. Выскочил на кухню - Наденька лежит на полу. Из щели своей двери печенег прошипел: “Хоть бы сдохла, аристокхлюндия!”

Вызвал неотложку и отправил Наденьку во 2-ю градскую больницу. Есть предположение, что инсульт.

Саша Лужин тотчас же позвонил Светлане Александровне, и они, невзирая на поздний час, поехали в больницу. А Маша, наняв такси, примчалась ко мне на квартиру. Я очень опечалился. В 1 ч. ночи я отправил Машу домой. А сам ждал возвращения Светланы Александровны и Лужина. Они вернулись и сообщили, что в справочном им заявили, что больная в памяти, дар речи сохранился.

Утром туда помчалась Светлана Александровна. Часа через три вернулась в сильно плаксивом состоянии. Больная якобы плохо говорит, вид ужасный, обмочилась. Врач просил приехать меня.

Я поехал с Лужиным. Говорил с врачом относительно болезни ее ног, как она лечилась. Врач ничего страшного не говорил. Затем Лужин был в палате. Больная задавала ему вопросы: “Как вы?”, “Опасно или нет?”, “Что говорят врачи?”, “Обедали ли мы?”, “Пили ли кофе?” Речь ее в большинстве случаев ясная, но иногда непонятная. Правая рука и нога не действуют.

Мне страшно, я боюсь и в палату не пошел.

Лужин сказал, что с помощью няньки она съела котлету с пюре, выпила немного компоту. Просила, чтобы зашел я. Но я уклонился, потому что ночью не спал, ослаб. Отложил посещение до воскресенья.

У соседей пущено радио на самую максимальную громкость. Если не признавать объективной реальности, данной нам в ощущениях, то откуда может взяться мышление, как не из субъекта? Мышление дает нечто такое, чего нет в ощущениях. Клеенка на столе вся протерлась.

Думал о больной. Если она все время в сознании, говорит и все понимает, то это хорошо, т. е. у меня надежда, что все образуется. Сегодня весь день был все-таки в раздумье.

Завтра поеду и сам погляжу. Мне, конечно, будет очень трудно. Надо помыть пол.

8 марта.

В 7 часов проснулся от будильника соседей и от звуков их радио. В голову полезли всякие жалобные мысли. Лужин спал. Потом я задремал и встал в 10 ч. Пил. с Лужиным кофе.

Подъехала во втором часу Маша, и все вместе отправились в больницу. Я боялся расстроиться. Но все обошлось благополучно. Я думал о трансцендентальном.

Накинув халат на плечи, я вошел в палату и увидел у окна кровать, а на ней Н. П. Вид у нее приличный.

Она намазала себе губы. Так сказать, не сдается! Сел на край кровати. Больная говорит по-разному: то ясно, то во рту у нее каша. Ничего не болит. Кривизна рта небольшая. Пока ничего не ест. Что у нее инсульт, она не знает. На кровати облуплена краска.

Я старался, чтобы свидание было короче. Поцеловав ее в лоб, ушел. После меня вошла Маша, заставила бабушку выпить немного виноградного соку и съесть ломтик апельсина.

Я доволен, что повидался с больной. Конечно, Наденька не та. Но что же делать? Никакая болезнь не красит человека. Я ожидал худшего. Если удар не повторится, то дело пойдет на поправку. Между прочим, больная жалуется на лежащих в палате: они люди простые, ругаются, с ними у нее нет контакта.



9 марта.

Спал прилично, потому что принял бромурал. Когда шел на работу, голова была кислая. Работал, как всегда, хорошо, но все время думал о Н. П. Кое-кому рассказал о ее болезни. Ожидал охов и вздохов, но этого не было.

Приехал домой. Печенег в трусах и в тельняшке жарил на кухне рыбу.

- Еще ходишь? - спросил он, не оборачиваясь. Я сдержался и молча прошел, как мимо мебели. Затем позвонил Светлане Александровне. Она была драматически настроена. Резко мне заметила, зачем я привез Н. П. губную помаду, что она вся перемазалась, якобы над ней все смеются и даже ненавидят.

17 марта.

Печенег принялся без моего согласия разбирать печь. Я заметил ему, чтобы он не самоуправничал. На что печенег сказал: "Пошел к еб... матери. Дыши, пока даю дышать, а то крант перекрою!" Что на это ответить? Подумав, возразил:

- Вы же здесь не прописаны...

Жуков кликнул Ильинскую, она вышла в одной нижней рубашке с паспортом сожителя, где стоял лиловый штамп прописки.

Я подумал, что ловко обделано: теперь печенег законный жилец. То-то он рьяно за печь взялся.

Думал под звуки соседского радио о больной. Если она выживет, то полной поправки не будет. Ноги ее и без того очень плохие. Следовательно, будут еще хуже. Рука, может быть, будет действовать. Иначе говоря, она будет лежачий инвалид. Это ничего, лишь бы была жива.

Обмен комнатами вряд ли состоится. Никто не желает слушать через перегордку радио и хамство Ильинской и ее сожителя, т. е. уже мужа.

Они хаят. Я стараюсь держаться. У меня слаб аппетит и плохой сон. Принимаю бромурал. Всем случившимся я выбит из седла. Стараюсь держаться, но когда овладею собой - не знаю. Сам про себя острою. Мне говорят: "Не теряйте духа", - а я отвечаю, что духа мало, а запах есть. Все смеются.

На дворе как будто весна. Боюсь, как бы не развалиться и не выйти на пенсию. Словом, в голову лезут только мрачные мысли. И каждый день я борюсь сам с собой.

30 апреля.

Саша Лужин, которого я устроил к себе в газету корректором, и я проснулись от соседского радио в 6 ч. утра. И то хорошо - надо было спешить в редакцию. Он подъехал к 7, а я - к 8 ч. Кончили работу в 2 ч. дня.

Помчались на такси в больницу. Привезли больную домой. И вот теперь она лежит на диване. Так вроде ничего, но все время покашливает. Это меня смущает.

Странно вот что: температуры вначале не было - и голова и руки были холодные. А в 8. 15. вечера вдруг 37, 3. Что это значит? Я смотрю на философские концепции как на метафоры. Ученому столь же необязательно избегать их, как поэту не следует избегать метафор. Но он должен знать им цену. Они могут быть полезны, давая удовлетворение уму, и они не могут быть вредными, поскольку они остаются безразличными гипотезами. Я люблю спать на подушке с чистой наволочкой. Ворочать Н. П. трудно. Частью сходила на судно, а частью - "опрудилась", в комнате запах. Мне он мешает размышлять.

Картошка в корзинке сгнила. Я бы съел отварной капусты.

17 мая.

С утра в минорном настроении: пропал интерес ко всему, и даже больше - все шатко, все колеблется. Это животное чувство протестует против сложившейся домашней жизни. Такому чувству нельзя давать ходу. Надо жить духовно, а для этого очень много материала: исполнять покорно свои ежедневные будничные обязанности. А там что будет, то и будет.

Вечером больная психовала, плакала. Уже несколько раз со времени переезда из больницы домой назвала меня эгоистом, что я ее не понимаю и пр. Надо иметь большую выдержку, чтобы не образумить больную. Но она ничего не понимает, кроме своих

мыслей. Должно быть, от тяжелобольных и требовать ничего нельзя. Я решил: исполнять свои обязанности, а результат или последствия не в моей власти. Это - дело Божие. Надо купить летние брюки и пару хороших носков.

Как только соседи приходят с работы, то тотчас пускают радио. Мудрость есть дочь опыта. Опыт же говорит, что у 99 из 100 нет ума.

3 июня.

Больная за истекшие дни была в приличном состоянии. Ее мучат боли в ногах, пролежни, сердечная слабость. Достижение одно есть - это аппетит. Больная все-таки стала есть. Через 2 дня ставим клизмы. Без них ничего не получается.

Сегодня Лужин ушел в магазин, чтобы кое-что купить, а больная в это время спала. Проснувшись, она решила, что он на нее не обратил внимания, и стала плакать. Я убедился, что подобного рода больные плачут независимо от своего сознания, - это болезнь или симптом болезни. Больные на первых порах возбуждают жалость, а при частых случаях - раздражение. Нужно большое терпение, чтобы их успокоить и пр.

Прошел месяц, как мы взяли больную из больницы. Мне кажется, что достижения есть. Но нам - Лужину и мне - забот полон рот. На той неделе беру отпуск, займусь больной и собой. А дальше не знаю, что будет. Все дело в деньгах, а их нет. Мне думается, что в конце концов все кончится плохо. Здоровье мое неважное. Почему-то очень красные руки - кисти, к тому же они опухают.

Я живу в двойном напряжении: с одной стороны - больная, с другой - соседи. Слава Богу, что они вчера уехали в отпуск. Впечатление такое, словно могильную плиту с меня сдвинули!

19 июня.

Сегодня погода приличная, дождя не было. У больной настроение удовлетворительное. Была сестра - пролежни начали лечить кварцами.

Лужин целый день в библиотеке. Я дома - кухарю! Настроение паршивое.

Вчера слушали по радио Москвина. Он великолепно сыграл отрывок из "Царя Федора". Ершов и Орлов играли неважно. Наденька, конечно, всплакнула. Давал ей капли Зеленина. Я сам чувствовал себя не по себе, в особенности когда дикторша сообщила, что Станиславский плакал, когда смотрел Москвина.

Задумал для корректоров составить словарик. Но пока плана нет.

Удивительная психология больных людей. Они думают только о себе. Конечно, каждому хочется поскорей поправиться. Но надо подумать и о тех, кто не покладая рук заботится о больном.

Надежда Петровна совершенно не думает обо мне. Она говорит только о Саше Лужине. Несомненно, без него я пропал бы. Да неизвестно, что было бы и с больной. Но все же и я с марта верчусь, как белка в колесе. Причем никаких иллюзий на будущее лучшее я не имею. Я даже не знаю, на чем я в своей душе держусь. Мне кажется, что моя жизнь висит на ниточке. И никто этого не понимает. А ведь это страшно! Вот и живи. Единственная моя отрада - это сон. Когда засыпаешь, кажется, что жить еще можно. Утром - самое плохое настроение. К ночи лучше. Но и то при условии, если больная в порядке. Что-то будет дальше? Безденежье меня гнетет. И странно то, что мне хочется жить: как будто еще возможно что-то хорошее.

Была Маша. Удивительно, никто из них, т. е. Светлана Александровна, Маша, вообще Каменские, не думает, как помочь бабушке и каким путем. Оказывается, всем им летом надо отдыхать и все уедут из Москвы. Другими словами, больная остается на попечении меня и... Лужина, пока у него хватит терпения. Странные люди: сами тормозили меня, чтобы взять больную из больницы. Затем ее привезли домой, и... все в кусты. Посторонние и то помогают (Лужин) и понимают, что значит ухаживать за лежачей больной, и недоумевают, что же будет дальше. А Каменским хоть бы хны: все заняты своими делами. Я это отлично предвидел. Но на все пошел, потому что вижу, что и моей личной жизни пришел конец.

Есть судьба, и от нее не уйдешь. Впрочем, еще некоторое время поборемся. Куплю новый галстук и брючный ремень.

Завтра Троицын день. Видел кое-кого с цветами и березками. Сейчас 11 ч., гроза, дождь. В карточках поймал несколько клопов. С Кантом кое в чем не могу согласиться.

4 августа.

Удар страшной силы: соседи прописали некоего Володю, широкоплечего, под два метра ростом, сына Жукова. Его приняли в Метрострой и дали московскую прописку. Вот так дела!

Больная все в том же положении: вечером температура 37, 2, потом спадает, настроение неважное, сонливость, аппетита никакого. Пытался читать Бердяева, даже кое-что думал о субъектах новой морали, но... Ставили клизму. В этот момент пришел кожник. Прописал мазь. Вчера была врач-терапевт. Она нашла: давление нормальное, для легких как можно чаще рекомендовала ставить горчичники, сердце у больной слабое. С пролежнями дело идет успешно: лимфа перестала идти. Лужин мажет всяческими мазями. Но краснота кожи - новой - меня пугает. Мне хотелось бы, чтобы она скорей бледнела, а этого пока не получается. Больная сознает, что с момента, как ее спалили кварцами, она сильно болеет и предыдущую поправку всю потеряла: сидеть от слабости не может. А ведь совсем недавно читала Чехова и даже курс русской истории Платонова. Все понимает и помнит, но стала простодушна, а когда плачет, ее очень жалко. Правда, смеялась она и веселилась всю жизнь, так что теперь вроде и пострадать нужно. Но своей веселостью она заражала других, и поэтому ее особенно жалко. Она очень любит Лужина и понимает, как идеально он за ней ухаживает. Моих замечаний не терпит и меня частенько ругает. Неужели она не понимает моего состояния?

7 августа.

Печенег ходит в трусах. Сын Володя работает через день. Когда он стоит у плиты, я не могу к ней подобраться. Хоть толкай его. А он молчит и делает вид, что меня не замечает. Больная как бы не слышит громких голосов из-за перегородки. Даже их радио ее не беспокоит.

Странно.

Я в мрачном настроении, мне кажется, что у больной заострился нос. Может быть, это общее исхудание, и может... Целый день возимся с больной. Что из этого получится - неизвестно. В будущее лучше не заглядывать.

На улицу не выходил, сбегал только за квасом. И это при наличии Саши Лужина. А как же без него?

При всей серьезности положения больная красит губы, подмывает глаза, пудрится. Но не умывалась 2-3 дня: не хватает сил, слабость во всем организме и индифферентизм ко всему. Наденька всю жизнь делала только то, что хотела. Когда у меня мать заболела раком, она была совершенно равнодушна. У могилы говорила о какой-то чепухе. А теперь только о себе.

Да и поведение дочери - Светланы Александровны - подозрительно. По-видимому, к своей мамочке она никогда не была расположена. А теперь удивительно равнодушна. Нет даже телефонного звонка: как больная?

Н. П. поглупела. Она не понимает, что ей советуют. Даю ей валлидол на сахаре. Она берет под язык кусочек сахара и тут же запивает чаем. Я делаю замечание - она ноль внимания. Вот и лечи такую больную. Я понимаю ужас положения - лежать в кровати 6-й месяц.

Надо воздать должное больной: лежит она мужественно, с надеждой, что все улучшится. Но в последнее время начала колебаться, сомневаться, у нее параллельно с физической истощаемостью стал ослабевать дух. Она моментами бывает трогательно добродушна, сердечна. Как ей душевно плохо, она, как ребенок, ищет помощи и ласки. Даже сейчас ей нельзя дать 72 лет - так она простодушна и наивна, как будто ей мало лет. Она, конечно, много думает про себя, но ничего не говорит, кроме того, что ей плохо.

20 августа.

Как я предполагал, так оно и получается. Больная в бессознательном состоянии. Приезжала неотложка, вприснули камфару. Я был в редакции и ничего об этом не знал. Пришел в 8. 30 и получил эти сообщения. Больная лежит пластом и ничего не понимает. По-видимому, скоро будет конец. Когда Кроче настаивает на автономности интуиции, он имеет в виду доинтеллектуальную форму познания. Но когда он разъясняет, что интеллектуальное познание может выступать, только будучи выраженным посредством языковых форм, он, по существу, уже отказывает интуиции в полной независимости от интеллекта.

Около больной Лужин и Светлана Александровна. Больную мажут мазью, а она стонет и говорит: “Довольно”, “Не могу”. На ногах пятна. Все попытки Лужина что-нибудь понять у больной, не удались, тем более что больная без зубов-протезов. Все с себя сбрасывает. Однако руки и ноги холодные. “Узнаете меня?” - “Да”. Дышит тяжело. В 12 ч. 30 м. больная все время говорила: “Всего давай”. У меня сильное расстройство желудка. В уборной на полу вода. Думал о трансцендентальном.

21 августа.

Ночь больная тяжело дышала. Утром стала затихать. В начале 10-го часа я и Лужин убедились, что она умерла. Смерть наступила в 9. 30 тихо. Она отмучилась. Жила или старалась жить она весело, полгода пострадала и умерла. Она умерла во сне, так что глаза закрыты. Подгорела кастрюля с манкой.

Приехала Мария Ивановна - сестра - для укола камфарой. Но все уже поздно! Были из редакции Тамара и Катя. Принесли пока 200 руб. Покойную вымыли и надели платье. Мыли Лужин и Светлана Александровна. Вид у покойницы хороший. Приходил Каменский и отправился в загс. Я отвлекался мыслью о том, что нужно купить в конце концов зонтик.

Собираемся пить кофе и чего-то поесть. Покойница лежит, покрытая простыней. Думаем, т. е. мечтаем, похоронить на Ваганьковском кладбище.

Саша Лужин держится хорошо. Пьет бром. Про него больная говорила, что Саша без нее пропадет. Но он будет жить со мной.

22 августа.

Сидим у гроба и молчим. Это, наверно, самое приятное для умершей.

Итак, стоит на стульях гроб. Лежит Наденька. В ногах - металлический венок, в головах - корзина с цветами. В руку я вложил ее “походную” иконку, кажется, подарок Н. Сегодня она переночует последнюю ночь, а дальше - земля, вечность.

18 октября.

Написал статью, как пользоваться словарем. Был у проф. Крючкова, он одобрил. Я у него сидел больше часа. Сдал статью в отдел. А что дальше будет - неизвестно. В редакции поговаривают, что будет новый редактор из ЦК, притом мужчина. Если это так, то надо быть готовым ко всему, точнее - к уходу на пенсию.

Каждый день думаю о Наденьке Петровне. Выяснил, что ей было 73 года 8 мес. В такие годы не жалко умирать, ибо, в сущности, жизнь прожита. Вспоминаю, что она говорила во время болезни. Очень прискорбно, что никто из актеров, хотя бы через Федора Николаевича, не прислал и не передал соболезнования. Получилось, что хотя они и талантливые, но необразованные и невоспитанные люди. Про таких людей я в шутку сказал: "Ты, Господи, сохраниши ны и соблюдеши ны от рода сего и вовек". Крючков засмеялся, при этом указал на своих соседей. Я добавил, что в любой квартире есть печенег.

И вот, прибыв домой, узнаю, что Ильинская, Жуков и Володя получили квартиру.

Что же получается?

18 ноября.

Сломали перегородку, забили одну дверь, и теперь у нас с Лужиным комната в 28 метров! И тишина!

В понедельник ездил в редакцию работать. Дежурил. Вчера - день рождения Светланы Александровны. Мы с Сашей купили ей торт. Сидели до 11. 10 ночи. Вернулись домой и в 12. 15 легли спать.

Пятница, 11 декабря.

Каждая пятница для меня особенный день: в пятницу 21 августа умерла Надежда Петровна. Но я думаю об умершей не только в пятницу, а каждый день!

Работа в редакции идет своим чередом. Вчера редакторша вручила мне Почетную грамоту ЦК ВЛКСМ в связи с 70-летием и 35-летним стажем работы в нашей газете. Мне было приятно.



Все дни в свободные часы читал письма А. П. Чехова. Очень интересно, а главное - много умных мыслей. Замечательные люди уже в юных годах блещут. Чем объясняется даровитость? Откуда она?

Я еще в редакции котируюсь. Хотя - кому нужны старики? Насколько хватит сил дальше держаться - не знаю. Будущее туманно, и лучше о нем не загадывать, надо жить текущим днем. Будущее неизвестно, прошедшее прошло, настоящее - момент, им-то и надо пользоваться, делая только необходимое, а все остальное отбросить. Нужно благодарить всех богов, что у меня отдельная от жильцов комната и я могу ни с кем не общаться. Жильцы, за малым исключением, доставили немало огорчений Наденьке Петровне и мне. Ну и черт с ними. Читал Бердяева. Смотрю на окно - нужно купить занавески.

22 декабря, вторник.

Я формально не отрицаю существования трансцендентального объекта, но настаиваю на том, что такой объект не может непосредственно определять какое-либо знание. Год на исходе. Вчера исполнилось 4 месяца со дня смерти Наденьки Петровны. Как-то я сказал Маше: "Ты не печалься: смерть бабушки - это закон природы. Мы все смертны". На это она решительно сказала: "Не хочу я этих законов природы". В этом-то и состоит наша трагедия. Над нами тяготеют дурацкие законы природы. Душевно мы не принадлежим к видимому, чувственному миру, ибо он обманщик. Отвалилась подметка на левом ботинке.

22 января, пятница.

Вчера был на работе. Ехал на такси, а обратно на редакционную машине. Как будто ничего. Но часов в 5 вечера, наверно, была температура, чувствовал, что мне жарко. Привил оспу. Разговорился с пожилой сестрой о Л. Толстом. Она много читала о нем и жалела, что за ним не записывали, как Эккерман за Гете. Я был удивлен, что она читала эту книгу. Ведь читают обычно только современное, бьющее в нос. И вдруг разговоры Гете с Эккерманом.

Лужин тоже привил оспу в поликлинике на пл. Композиторов (Собачьей площадке). Говорит, что было очень много народу. Оспу, по словам медработника, привез к нам из Индии художник. Он фотографировал похороны умершего от оспы. В самолете почувствовал себя неважно, и его отправили в больницу. Что у больного была черная оспа, удалось выяснить лишь после его смерти.

Говорят, что выезд и въезд в Москву возможен лишь по предъявлении справки о прививке оспы.

Попил, поел, буду заниматься домашними делами.

...Все домашние дела выразились в том, что подмел пол и подстриг цветок. Ничего себе - поработал!

Из шкафа-серванта вытащил маленький портфель и стал его разбирать. Это архив Наденьки Петровны. Уничтожил письма Н. к ней. Н. ничего не понял в Октябрьской революции. Он вдруг убедился, что все летит прахом, в том числе и Государственная дума, и Временное правительство, что все изболтались и что дальше будет - неизвестно. Брат Н. устроился на юге чуть ли не водовозом. Н. по этому поводу пишет, как жаль, что он не знает ни одного ремесла. Да, в этом была трагедия интеллигенции, что она не принимала никогда участия в создании материальных ценностей и не училась этому. То же получилось и теперь, когда окончившие 10-летку ничего не умеют делать.

Любопытно, что Н. подписывает свои письма полностью, а имени и отчества Наденьки Петровны не пишет ни в одном письме. Вероятно между ними было так договорено. Каждое письмо заканчивает: "Целую ручки". Из эпитетов употребляет: "моя милая", "моя хорошая". В период всеобщего развала вспоминает, как ей подносили розы, как пили шампанское, и делает вывод: куда все это делось? При всей аристократичности ни звука о народе. Даже Л. Толстой, замкнувшись в свою нравственную систему, понимал, что будет революция и что все полетит прахом. Как же не понимал этого Н., государственный человек?! Просто непонятно.

Эти письма - страница, и очень яркая, из жизни Наденьки Петровны. Я их уничтожил, ибо кому они нужны и понятны? Пережитое ушло вместе с ними. Наденька за 35 лет нашей совместной жизни никогда их не перечитывала и только имела всегда перед глазами портрет Н. Прошное тяжело вспоминать, и Наденька Петровна обладала редкой способностью - никогда не возвращаться к прошлому.

23 января, суббота.

Звонила Маша, вечером обещалась зайти, сдала экзамен на четверку. Саша уехал на экзамен к 10 ч.

Видел во сне свою мать. Вид у нее был ласковый. Сидела она на какой-то кухне, причем очень коптил примус, и я подумал... что надо следить за старухой: как бы не устроила пожар! Вот и весь сон. Я очень доволен, что "повидался" с матерью. Иногда жаждешь сновидений, но ничего не получается. А то вдруг без всяких причин - сновидение, и притом приятное.

Саша сдал экзамен на 5. Готовил курицу. Затем пили кофе, подзакусили. Обед отложили до прихода Маши. Она явилась в 8 ч. вечера, но ничего не ела. Пила чай с печеньем, и то немного. Купил зубную щетку и аспирин.

Маша рассказала, как она видела по телевизору старых мхатовцев. Ей очень нравится Леонидов. Показывали репетицию "Вишневого сада". "Одни покойники!" - сказала Маша и прибавила, что плакала, вспомнив бабушку. "Она не стала бы смотреть, - сказал я, - ей было бы очень тяжело". Жалею, что не рассказал Маше, как однажды Москвин сказал Наденьке Петровне: "Как мы с Васькой (В. И. Качаловым) умрем, умирай и ты. Чего тебе здесь делать без нас? Да тебя и не поймут". Все-таки она их пережила, была на их похоронах. И лет ей было больше, чем им. Нас всех приобщила к искусству Наденька Петровна. Ел рисовую кашу и разбил тарелку. Жалко очень.

Напрасно Наденька себя иногда бичевала, что жизнь прожила зря. Как раз в последний период жизни она много поработала, и притом творчески. А это не идет ни в какое сравнение с работой в учреждении, где серые люди пишут изо дня в день разные бумажки, от которых можно завянуть душевно.

В 11 ч. Саша уехал сниматься по телевидению. Интересно, когда вернется. Наверно, очень поздно. Поймал клопа.

Пробовал читать этюды по философии Чернова. Ужасно нудно и скучно, неярко и невыразительно. Все дело в том, чтобы наилучшую тему изложить так, чтобы приятно было читать. Мало одной эрудиции - надо иметь талант. И к тому же учиться писать просто. А в этом - все дело. Что за книга, если над ней надо ломать голову! В уборной засор. На ночь читал Бердяева. Затем смазал руки кремом, чтобы кожа была эластичной.

29 января, пятница.

Сегодня празднуется столетие со дня рождения А. П. Чехова. В Большом театре торжественное заседание. Выступили с речами о творчестве Чехова Федин, Катаев, Марков и пр. Говорили неплохо. Но для меня не ново, потому что Наденька Петровна все 35 лет нашей совместной жизни читала Чехова, можно сказать, знала его наизусть; она ставила Чехова выше Л. Толстого, для нее Чехов был гениальный писатель. Как она была бы рада его юбилею! Она была в обиде, что я мало читал Чехова.

Только благодаря Наденьке Петровне я начал понимать Чехова. В своих суждениях о Чехове она была совершенно права. После Чехова трудно читать других писателей.

Вчера читал "Три года" Чехова. Замечательно написано.

Днем был в редакции, но моя лекция не состоялась - все были заняты. Я вроде надулся.

Утром я звонил Ф. Н. Михальскому, поздравил его с юбилеем А. П. Чехова.

Юбилейный вечер в Большом кончился последним актом "Трех сестер" и финалом IV симф. Чайковского. Когда я слушал "Трех сестер", то у меня были глаза на мокром месте. Никуда не годятся нервы. Вспоминал старый МХАТ, Наденьку Петровну, ее безграничную любовь к А. П. Чехову, ее высказывания о театре, о Чехове.

30 января, суббота.

Сегодня вдруг выдали зарплату. Я помчался в редакцию. Получил деньги. Предварительно звонил кассиру Марии Васильевне. "Приезжайте", - ответила она. При выдаче зарплаты она сказала: "А я подумала: какой у него молодой голос!" На это я ответил:

"Я умею притворяться". Почему-то сегодня мне в редакции было как-то приятнее, чем в прошлые дни на этой неделе. В буфете купил 5 котлет.

Читаю "Моя жизнь" Чехова. По-моему, это слабее, чем "Три года". Впрочем, буду перечитывать. Чехова нельзя читать без размышления, у него множество мыслей. Наденька Петровна утверждала, что у Чехова есть ответы на все вопросы жизни. Я согласен.

3 февраля, среда.

В воскресенье днем, когда пили кофе, по радио передавали три музыкальные пьесы под управлением Небольсина. Мне нравится Небольсин. В нем чувствуется барин. Бывало, я встречал его на ул. Горького. Он хорошо шел, выбрасывая высоко тросточку и что-то напевая, вроде “бум-бум, тра-та-та...” Мне казалось, что в такие моменты он дирижирует оркестром. Корректор Левицкая мне говорила, что до 50 лет он жил холостяком - с матерью. Когда мужчина живет с матерью и любит ее, то он не очень нуждается в жене: у него вроде и без того теплый уголок, можно жить и творить. Но вот мать умерла, и в доме стало пусто. Небольсин взял да и женился, конечно, на молодой. Появилось, кажется, двое ребят. Потом Небольсин стал хиреть. Оказывается, у него рак поджелудочной железы. Лечение оттягивало смерть. Он дирижировал до последних дней.

К вечеру Саша Лужин поехал на телевидение: ему надо было играть роль кучера в чеховской вещи “Случай из практики”. Я с интересом смотрел это по телевизору у Олсуфьевых. И когда диктор по окончании, перечисляя фамилии артистов-участников, провозгласил: “Кучер - артист Лужин”, - я засмеялся, радуясь за Сашу. Хотя он, конечно, бездарен.

Вечером были у Каменских. Обедали, раздавили четвертинку. Мне с ними не о чем говорить. Одолжил у них 1 р. 70 коп.

За эти дни много думал о критике рационального познания у Бергсона. В качестве идеального вида познания, или собственно философского познания, Бергсон выдвигает интуицию или созерцание, независимое от какой бы то ни было связи с практическими интересами. Только такое совершенно независимое от практики созерцание может доставить нам адекватное познание реальности. С точки зрения Бергсона, несостоятельны все существующие теории восприятия: материалистические и идеалистические. Истинная цель познания заключается, согласно Бергсону, в отвращении от практики, в чистом созерцании. Что же я созерцаю? У меня три пары обуви, но одна уже никуда не годится, хотя я активно надраиваю ее гуталином. Издали, когда я иду по улице, некоторым может показаться, что я иду в новой обуви. Одни брюки мне коротковаты, и я их припускаю на пояс, потому что люблю, когда брючины наезжают на

обувь. Тут получается слитность и фигура выглядит солиднее. Когда-то у меня была трость, но Н. П. куда-то ее задевала. А не купить ли мне новую трость? Еще мне нравится у Бергсона его раскованность, свобода письма и мысли.

Умели писать люди! Хотя, подумать, я бы все это не хуже написал, но времени нет. Да, надо купить одеколон.

В понедельник - день рождения Наденьки Петровны, ей исполнилось 74 года. Она родилась 19 января 1886 года, в Москве, в собственном доме отца, владельца чугунолитейных заводов, миллионера, на Яузском бульваре, против Солянки. Вчера мы скромно, но сердечно отпраздновали ее день рождения. Были Каменские - все, даже была собака Джери, затем я и Саша. Раздавили четвертинку водки и бутылку (0, 75) портвейна. Думал о созерцании Бергсона. Листал Канта.

Я звонил Федору Николаевичу, но его не было. Звонил ему также около 11 ночи. Он уже лег спать, говорил вяло. Я выразил сожаление, что его не было. Относительно "Чайки" он сказал, что удачно. Как это понимать, расшифровать не удалось. Сколько же пьяных на улице!

Маше я отдал диплом бабушки об окончании гимназии, дневник с отметками. В нем есть интересная пометка: "Во время уроков разговаривает и смеется". Я живо представил Наденьку: она смеялась не только на уроках, а всю жизнь, и главное - терпеть не могла того, что осуждал А. П. Чехов: тупость, мещанство, хамство, рабство, пустоту душевную, наглость и прочее, и прочее. Вот почему она охотно, из последних сил занималась со школьниками, чувствуя, что она делает настоящее дело, при этом и сама училась, все время читая Станиславского, Горчакова и др. Словом, она была молодец, и притом в такие годы, как 70 лет! Ей можно во многом подражать.

Кончились конфеты. А мне без них - "труба". Не могу без хорошей конфеты пить чай. Не могу также засыпать без хорошего чтения: например, Канта, Бердяева, Чехова и др.

6 февраля, суббота.

Саша ушел в библиотеку, а оттуда - на экзамен по русской драматургии. Купил 350 гр. шоколадных конфет "Мишка".

Вчера была Маша, взволнованная. И меня не на шутку разволновала: принесла привезенную из Америки отцом товарища (дипломатом) книжку В. В. Набокова "Приглашение на казнь". И давай рыться в бабушкиных бумагах в поисках писем Н. Меня бросило в жар. Я не своим голосом заявил, что письма уничтожил. И для свидетельства показал страницы этих записок, где говорил о Н.

"Как тебе не совестно, дедушка! - вскричала Маша. - Чего ты боишься! Одной буквой Н. Владимира Дмитриевича называешь!"

И пошло и пошло.

Вдруг в папке, где лежали письма Москвина, Качалова, Тарасовой к Наденьке Петровне, обнаружила визитную карточку: "Владимир Дмитриевич Набоков", а затем и несколько записок и писем. "Я их возьму себе! - сказала Маша. - А то ты все от страха уничтожишь!"

В этот момент я видел перед собой не внучку, а Наденьку Петровну - так Маша походила на нее и лицом, и темпераментом, и жестами.

Было всего два письма, три записки и две визитные карточки. Маша взяла первое письмо и принялась в волнении быстро читать вслух:

- "3 января 1917.

У нас Новый год начался довольно мрачно, 24-го заболел корью Володя..." Это же тот Володя, который будет знаменитым писателем! - вскричала Маша и продолжила: - "...а через несколько дней Сережа и Ольга последовали его примеру. Под Новый год у нас был настоящий лазарет. Обычно, конечно, корь - пустячная болезнь но у Володи, после двух тяжелых воспалений (в 1909-м и 1915-м гг.), легкие не очень надежны, и потому, особенно страшны осложнения с этой стороны. Корь у него протекает гораздо тяжелее чем у других, с бронхитом и "пневмонийными узлами", и мы еще не спокойны, т. к. каждый день температура днем повышается (31-го - 39, 6°). Пока уцелел Кирилл, но вряд ли он уцелеет окончательно. В результате "праздники" (если вообще можно говорить сейчас о праздниках) вышли хуже будней. Когда Володя

поправится, его повезем недели на три в Финляндию. Это будет не раньше конца января.

Ваше письмо я получил вчера, придя на службу. Спасибо за поздравления: у Вас сохранилась эта милая традиция, и я постараюсь вовремя поздравить Вас с 19-м. Если Вам суждено еще приехать в П., надеюсь, что Вы не остановитесь в "Аст.", где мы с Вами видимся точно на большой дороге. С точки зрения разных Ахиллесовых пят это, может быть, и к лучшему, но все-таки гораздо приятнее и уютнее было видеться с Вами в "Европейской" и даже в "Селекте". Правда, это дороже, но, "принимая во внимание"... и т. д., это соображение не должно бы Вас беспокоить.

Вы пишете: "Ради бога не подумайте, что в этом письме есть хоть капелька кокетства..." Милая, где же тут кокетство, когда Вы так решительно заявляете о своих чувствах. И раз они Вас не мучат, а Вам "весело и хорошо", то и слава Богу. Но все-таки - неосторожно "играть с огнем" - и Вам, и мне. А мы в последний раз словно задались целью испытать стойкость наших нервов или вообще "задерживающих центров". Это - такая игра. Ведь "рецидив" ничего бы не принес, кроме унижительного разочарования...

Увы, книжку Репнина давно уже основательно выругал в "Речи" Философов, причем за Нарбута заступился Бенуа, а мне уже поздно заступаться за Репнина. Книжку я получил, совершенно не знал, от кого. Постараюсь ее прочесть. Может быть, она меня очарует.

Между прочим, Гришинская Вас видела и назвала моей сестре, которой очень хотелось Вас рассмотреть, но она стеснялась. До свидания, целую ручки.

Ваш В. Д. Н."

Маша принялась за другое письмо:

- "23 июля 1917.

Мне грустно и обидно, что поездка в Москву расстроилась и что я Вас опять невольно обманул и огорчил. Вы теперь уже знаете, что это независимо от меня, что мне по необходимости пришлось здесь остаться, и что весь съезд перебирается сюда... И мне совестно, что Вы напрасно хлопотали. Пожалуй, я еще и должен Вам за номер: это было бы совсем нелепо... Надеюсь, Вы мне скажете, если это так. Мне очень, очень хотелось Вас видеть после Вашей тяжелой болезни. Теперь - Бог знает, когда мы свидимся. Думаю о Вас с печалью, вспоминаю с нежностью. На днях в дерев-



не целый вечер слушал в граммофон Панину - и так пахло старым, пережитым. Господи, как давно все это было! "Что прошло, то будет мило..." Вспомнились теперь эти беззаботные поездки в Москву, ужин в кабинете "Метрополя", какой-то пальмовый сад, где мы почему-то сидели на 1-й неделе поста и пили шампанское! Ваша квартира в Полуэктовом, такая уютная и славная... Господи, как давно все это было, - и как тогда всем легче и лучше жилось, и как кошмарно все, что сейчас кругом делается.

Для меня прошедшие 10 дней были особенно кошмарны. Начиная со среды, 12 июля, когда Керенский пригласил меня и предложил министерство юстиции, я почувствовал, что на меня обрушилась бесконечная тяжесть. Вы могли подумать, что мне этого хотелось!! И написали мне о моем честолюбии!! Я глазам своим не поверил, когда это прочел. Ведь вы же знаете, что еще в конце апреля, когда был первый министерский кризис, я был единогласно послан Ц. К. в состав Вр. Прав., на новый пост министра призрения, и только после моего категорического отказа избран был Шаховской. И теперь то же самое. Я с ужасом и величайшим отвращением думал об этом назначении, сделал все, что было в моих силах, чтобы отбояриться, и теперь, когда это удалось и комбинация, по-видимому, осуществится без меня, - я на время вздохнул свободно. Конечно, я понимаю, что это только на время и что эту чашу все равно придется рано или поздно испить, но все же чем позже, тем лучше. В особенности ужасно министерство юстиции с этими политическими процессами, Петропавловской крепостью, со всей этой "революционной" юстицией, которая с настоящей не имеет ничего общего. Между прочим, я имел в виду в случае принятия просить Чебышева пойти ко мне в товарищи. Сегодня, когда выяснилось, что Керенский вновь берет себе портфель юстиции, я в первый раз за все дни почувствовал себя легко и даже пошел в концерт, слушать 6-ю симфонию Чайковского!.. Чем может сейчас прельщать министерский пост - не знаю. Власть - призрачная. Возможность поправить и направить дело - самая минимальная. Трудности - огромные. Неприятности и опасности на каждом шагу. При этом, конечно, надо зачеркнуть личную жизнь, забыть всех и все, кипеть с утра до ночи, как в котле, тратить нервы, напрягать ум, волноваться - для чего? Для того, чтобы вас все ругали, вешали бы на вас всех собак, а в тот день, когда вы уйдете, забыли бы вас так, словно вас никогда не было. Кого мо-

жет радовать такая перспектива? И какие могут быть компенсации? Нет, все кто меня любит и мне сочувствует, должны радоваться, что я пока свободен и независим, и пожелать, чтобы подольше протянулось это положение...”

Маша провертела двойной лист письма и, не найдя продолжения, спросила: “Окончание уничтожил?” Я пожал плечами. А Маша принялась читать третье письмо:

- “6 декабря 1917 г. Гаспра.

Милый друг, я благополучно приехал сюда три дня тому назад. застал всех здоровыми, наслаждаюсь дивной погодой и дивной красотой видов, хожу пешком в Ялту (около 12 верст отсюда), часами сижу с Петрункевичами, читаю, пишу письма. В общем - отдыхаю в первый раз за девять месяцев.

Совсем не знаю и не представляю себе, сколько времени я тут пробуду. Это зависит от общего положения.

Устроились мы здесь очень просто и скромно, живем отлично.

Надеюсь, Вы получили мою записку с дороги. На днях напишу Вам еще, моя хорошая.

Ваш В. Н.”

Затем Маша пила чай, подзакусила.

Наша редакция выпустила очень хороший номер на тему “Для чего мы живем”. Ребята хорошо отвечают на этот вопрос. Такого номера за всю историю нашей газеты не было. Этот номер поучителен и для взрослых.

Вчера принял пурген, сегодня меня прослабило. Приходится заниматься и такими делами!

Читал “Палату № 6” Чехова. Наденька Петровна во взглядах на Чехова была куда умнее меня! Я только теперь вижу, что это за писатель. Пытался заштопать носки.

Когда читал “Душечку”, мысленно представлял, как этот рассказ несколько раз перечитывал Л. Толстой. Он всецело стоял за этот тип женщины. Надо почистить чайник. Закоптел.

У меня оспа не привилась. Я думаю, что не стоит вторично прививать и мучиться: ведь температура достигает 39°. Мне, в 70 лет, это просто страшно, у меня такой температуры никогда не было, и я боюсь за сердце. Читал Канта.

7 февраля, воскресенье.

Саша на “отлично” сдал экзамен. Звонила Маша. Были трое учеников Наденьки Петровны по драматическому кружку, затем подошла одна десятиклассница. Они сообщили, что драматический кружок в школе распался. Все держалось на Наденьке Петровне. И так везде: на “Интернационалке”, в Балашихе, в школе. Надо полагать, что след в их душах сохранился. А это - главное. Хорошо бы купить соломенную шляпу на лето!

А так вообще все проходит! Бог помянет.

С утра Н. С. Олсуфьева поместила у нас котенка, так как у них в квартире выводили клопов - сжигали какую-то шашку. Котенок сперва мяукал, затем целый день обходил вдоль и поперек комнаты, все обнюхивал и наконец лег на стуле около письменного стола. Ничего не ел, наверно, от грусти. Поздно вечером его взяли обратно. Зовут его Барсик. А я все время звал его Васькой. Молоко скисло, надо же! Купил ведь только!

В 9 ч. вечера зашел к нам Каменский. Дома у него бедлам. Справляли день рождения Лизы, пришло много школьников. Ну и пришлось уйти, чтобы освободить для ребят место. Интересно вот что: ребята принесли бутылку ликера. Каковы школьники! Молодцы!

Учеников Наденьки Петровны поили чаем; я им много рассказывал про Москвина, Станиславского, Качалова.

Прочитал “Скучную историю” Чехова. Сильное впечатление. А ведь и раньше читал. Не понимаю, почему он при жизни не был так оценен.

10 февраля, среда.

Вчера ездил в редакцию читать оригиналы. Путь был загроможден машинами: хоронили академика Курчатова, и транспортное движение было нарушено.

День рождения Саши. С “Интернационалки” приехала Клава с сыном, мальчиком Сережей. Он только что перенес свинку, вел себя очень тихо. Поили их кофе, было 2 штуки пирожных.

К вечеру зашла Маша.

Все подзакусили и выпили. Пирожки и ватрушки привезла Клава. Водки не было, был портвейн. Сыграли в кинг. Я проиграл 25 к. Иных новостей не было.

Хорошо, что иногда к нам нет-нет да и заглянет кто-нибудь. Гораздо веселей и уютней на людях.

Маша рассказывала, что в день празднования рождения Лизы было много учеников, они шумели. Но ликера, о котором я написал 7 февраля, не было. У них сломался телевизор. Отец (Каменский) его чинил, чинил и окончательно угробил.

На улице очень потеплело - 2°. Сегодня в редакцию не поеду.

Вчера по радио передавали Качалова. А бывало, он сидел в этой комнатке и громко произносил тосты.

13 февраля, суббота.

Идет снег. Немного гулял около ворот. По обыкновению руки посинели. Что это значит? Уже летом фармацевт Наум Владимирович (со второго этажа) говорил мне, что надо обратиться к невропатологу и непременно бросить курить.

Звонила Маша, сидит дома - недомогает. Читает "Приглашение на казнь".

Позавчера вернулся домой выпивши, ехал на такси. Жена Плюща - Валентина Александровна - отмечала 15-летие работы в нашей газете. По этому поводу она устроила после работы в рабочей комнате выпивку, а на закуску были только апельсины. Я выпил четыре рюмки коньяку да рюмки две какого-то вина. Закусил апельсином. В результате опьянел. Разумеется, слегка. Приехав домой, лег на диван и спал 1 час. Ночь тоже хорошо спал. Юбиляршу приветствовали какой-то смешной песенкой. В. А. улыбалась затем преподнесли ей коробку конфет. И все! Я после двух рюмок публично похвалил номер газеты о смысле жизни, причем заявил, что надо иметь большой ум, чтобы понять этот номер. Мне хлопали и даже целовали: редактор Таисия Владимировна, Нина Матвеевна и Зоя Васильевна. Я "эфтого" не ожидал. Был доволен.

Умер Белоконов, моих лет. Когда-то он у меня работал в Марьиной роще на корректуре. В последнее время он был заведующим иллюстрационным отделом в "Советской культуре". Во время болезни Наденьки Петровны я встретил его на ул. Герцена, около консерватории. У него был хороший вид, мы с ним обменялись впечатлениями о своей работе. Он был очень разговорчив и суетлив. Дурак дураком!

Саша за свое выступление на телевидении получил 230 р. Очень хорошо. Пошел на ура в театр. Он попал в Театр Пушкина. Какая же Наденька была неряха: в доме нет иголок!

20 февраля, суббота.

Вчера получил приглашение выступить 6 марта в клубе “Дружба”. Согласился. Сказали, что мне заплатят. Получил “путевку” на свою лекцию. Заплатят мне 125 рублей. Говорить буду час, не больше. В уборной опять засор!

Федор Николаевич у нас не был с 40-го дня, - с поминок Н. П. Сегодня я ему звонил; новостей у него никаких нет, обещал зайти после 1 марта. В этот день он приглашает нас в музей МХАТа - будет прослушивание грамзаписи. Я, конечно, пойду с Сашей, а без него вряд ли. Поймал сразу двух клопов.

Интересны выводы Бергсона, которые он делает из характеристики “кинематографического метода” в отношении интеллектуального познания. Интеллект, утверждает он, характеризуется естественным непониманием жизни.

24 февраля, среда.

Была Маша. Обедала, а потом лежала на диване. Говорит, что часто вспоминает бабушку. Раньше меньше, а теперь все чаще. Видит ее во сне, даже лежащей в гробу. Будто бабушка встала из гроба и шла по комнате, волооча ногу, и будто бы говорила: “Это ничего”. Маша нет-нет да и всплакнет ни с того ни с сего. Вспоминает бабушку.

Саша тоже видел во сне Наденьку Петровну. Я молчал и не сказал, что я о Наденьке Петровне думаю каждый день, словно псих какой.

Сегодня пишу (и пока ничего не выходит) поздравление нашей газете от Кирилла и Мефодия. Это мне заказали в редакции. Вот так темка! Письма Чехова перечитываю. Ужасно интересно.

На улице слякоть.

8 марта, вторник.

В субботу с утра поехал в редакцию. Для "Последних известий" кое-что снимали в редакции, чтобы передать по телевизору. Сняли и меня, разговаривающего с пионерами. Показали это в воскресенье в 11 часов вечера. А мы как раз в это время уехали от Каменских домой. Так что себя я не видал. Другие, кое-кто из сотрудников и у нас на дворе, меня видели. Вечером отпраздновали 35-летие нашей газеты. Все надели белые рубашки и красные галстуки. Выстроились на линейку. Вдоль "фронта" мне пришлось пронести знамя.

Я волновался: боялся, как бы не поскользнуться, не споткнуться и даже упасть. Но все вышло хорошо.

Затем засели за выпивку и закуску. Мы с Сашей немного поели, немного выпили вина и в 10 часов поехали домой. Нам надо было утром в воскресенье рано встать - в 7. 30. Попили кофе и отправились в клуб "Дружба" на Первомайскую ул. Это за Измайловским парком, у черта на куличках.

Я выступил. Говорил о нашей газете, о дисциплине, о галстукке и пр. По путевке Общества по распространению политич. и научных знаний мне назначено за сие происшествие 125 руб. Но могут кое-что и вычесть! В связи с 35-летием получил 400 руб.

На ночь читаю "Степь" Чехова. В восторге. И как я раньше не знал, что это первый писатель на Руси!

Совсем забыл записать, что 1 марта мы с Сашей и курьершей Викой были в музее МХАТа. Слушали пластинки из пьес и рассказов Чехова. Нельзя сказать, что было очень интересно: местами плохой звук.

Вроде постепенно наступает весна. 6 марта была годовщина с момента заболевания Наденьки Петровны. Я горевал, но скрывал это ото всех. Помню, по случаю Женского дня ей в больницу привезли сумку и еще что-то.

Вчера возвращался с работы на редакционной машине. Рассказал шоферу, как едва не умер с горя, потеряв жену. "А сколько ей было лет?" - спросил он. Я говорю: "Семьдесят три с половиной". - "Ну, старуха", - ответил он. Как хочешь, так и понимай эти слова. Он не знал, какая это была "старуха"! И что значит прожить 35 лет совместно.

13 марта, воскресенье.

Новостей никаких. В воскресенье себя по телевизору не видал. Зато меня видели в Ярославле С. М. и В. П. Комиссаровы. Г. З. Лобов написал письмо из Таганрога. Пишет, что рад был видеть меня и слышать мой голос. По его мнению, голос изменился, меньше металлу. Дочитал письма А. П. Чехова. Очень грустно, как он день ото дня таял. Умер в 44 года! Впрочем, это общая судьба. Никто не знает дня и часа смерти.

15 марта, вторник.

Бергсон говорит, что, как и обиходное познание, наука удерживает из вещей только одну сторону: повторение. Поэтому наука по самой своей природе не в состоянии познать новое в развитии. Посылал Сашу в магазин. Он мне купил авторучку, кальсоны, мельницу и мыло. Брился с наслаждением.

Получил письмо из редакции "Юности". Завотделом сообщила, что "Летели дни" и "Причина причин" получены слишком поздно - майский номер уже сдан, а в июньский нужна летняя пионерская тематика. Ну, в пионерской тематике я быка съел!

По прочтении "У Толстого" Булгакова у меня было паршивое настроение - печальная книга. Жалко Толстого! Безрадостная старость, неурядицы в семье. Великий Толстой превратился в какого-то старичка. Чувствуется, вот-вот умрет и превратится в прах. Великий человек - и прах! Приятны только те страницы, когда он катается на лошади, играет в шахматы, смеется. В уборной помыл сиденье ваткой с одеколоном.

Бергсон понимает длительность времени как форму, которую принимает последовательность наших состояний сознания, когда наше "Я" активно работает, когда оно не устанавливает различия между настоящими состояниями и состояниями, им предшествовавшими. На стену повесил еще несколько рамок. Очень красиво. Сажу, пью чай с конфетой и любуюсь картинками.

18 марта, пятница.

В воскресенье, как обычно, были у Каменских. Но предварительно мы пообедали дома, так что есть нам не хотелось. Выпили по стопочке портвейну, затем был чай, а может, кисель - не помню. Дальше телевизор. Тут у меня мелькнула мысль, что Чехов писал коротко и гениально потому, что предвидел появление конкурентов в лице кинематографа и телевидения. Толстой и Достоевский этого не угадали, потому писали так подозрительно длинно. В большей степени Достоевский. А у Толстого даже граммофон был, но он не догадался, что будет дальше.

В этом отношении в пару к Чехову - Пушкин.

Маша по обыкновению куда-то удрала. К Юре? К вечеру она устает. Светлана Александровна водила ее к доктору. Просвещение легких было благоприятным, легкие в порядке.

Я очень люблю Машу, юную, восемнадцатилетнюю. Она вылитая Наденька в юности. И темперамент тот же. А ведь она - баронесса. Страшно и смешно звучит в наше время. Александр Петрович Г., первый муж моей жены, - барон, сын градоначальника С.-Петербурга, кажется, в 80-х годах прошлого столетия. Светлана Александровна - от него. Тоже баронесса. А я вроде так себе, со стороны, бездетный, из поповичей. Но вот что поразительно, Маша для меня как родная, как внучка. Чего не могу сказать о Светлане Александровне. Чужой человек.

В противовес Наденьке Петровне ненавидит театр, читает всякую чушь, типа "Поджигателей" Шпанова, работает прорабом, вообще опростилась и выглядит как дочь прачки. Это, видимо, устраивает Каменского, он сам из Киева, упрямый и простой инженер, одним словом, совслужащий.

Саша пишет зачетную работу "Пушкин как драматург". Мне нравится его работа. Сейчас у него на носу экзамен. Маша тоже учится, второй год в институте.

В газетах сенсационный материал: четверо наших солдат в течение 49 дней плавали в Тихом океане без руля и без ветрил. Над ними поставили крест. Им нечего было есть. Потеряли в весе 15-20 кило. Их спас американский авианосец. Вскоре они, совершенно здоровые, возвращаются в СССР. Воображаю, какая будет встреча.

Действительно герои!



На оформление могилы Наденьки Петровны поднакопил 500 - 600 руб. Надеюсь на Светлану Александровну. Когда могила примет приличный вид, я буду спокоен.

19 марта, суббота.

В 11. 15 звонила Маша. Спрашивала, как мы живем. Сообщила, что Светлана Александровна заболела, жалуется на головную боль. Саша мне сказал, что Светлана Александровна на днях заходила к нам и тоже жаловалась на головные боли, и, кроме того, у нее какая-то опухоль под мышкой, опухоль безболезненная.

Все это меня беспокоит.

Позвонил Маше, чтобы обязательно вызвали врача. Маша обещала. "Не шутите", - сказал я. Если Светлана Александровна заболит, то ведь все развалится.

Читаю книгу Строевой "Чехов и Художественный театр". Наряду с хорошими мыслями бездна водолейства. Удивляюсь, как можно так писать.

20 марта, воскресенье.

Прекрасный солнечный день. Маша позвонила, что у них беда: Светлана Александровна повредила себе ногу - у нее что-то хрустнуло, боль такая, что не может лежать, подскочила температура. Каменский повез ее в больницу. Вот несчастье! Наденька Петровна ужасно расстроилась бы. Но, по-моему, это не опасно. Придет-ся полежать в гипсе.

Ума у нее нет!

21 марта, понедельник.

Нашел еще одну карточку Набокова в шкатулке Наденьки Петровны, на дне. На визитке простым, но красивым шрифтом напечатано: "Владимир Дмитриевич Набоков". А его рукой узкими и ровными высокими буквами черными чернилами написано: "Поздравляя Вас и Александра Петровича с "наступающим", желаю,

чтобы он (т. е. 1911-й год) во всех отношениях заткнул за пояс своего предшественника и принес бы с собою новый запас счастья, - юнаго, светлаго и благоуханного, как эти цветы". Стало быть, эта карточка была вложена в цветы. Повеса! Когда шел домой, то, неизвестно почему, подумал: мне 70 лет и за всю жизнь я, за исключением духовной школы, нигде и ни от кого не слышал разговоров о смысле жизни, о нравственных нормах, об общественном идеале и пр. Если же завести подобный разговор, то наверняка это будет неприятный разговор. Все как-то заминают этот вопрос и живут, потому что все живут, и этого для жизни достаточно. В этом смысле с обыденной точки зрения жизнь можно назвать слепым процессом. Все движется - и мы движемся, претерпевая разные изменения. Купил три коробка спичек.

Таким образом, не изучая философии, все как бы прирожденные скептики: не стоит, мол, ломать головы над тем, чего все равно никак не разрешить, для жизни достаточно интересов живой жизни. Другое дело - вопрос о личном, индивидуальном счастье: здесь каждый понимает, что жить надо хорошо, и на достижение этого каждый тратит свою энергию. В результате - одни достигают приятного существования, а другие умирают с печалью на челе, ибо из их забот и хлопот ничего не вышло.

Наше время замечательно тем, что все усилия обращены на гармоничное переустройство общественно целого, и тогда должно явиться и благоденствие отдельного индивидуума. Так как подобного эксперимента не знала история, то указанный принцип пользуется полным признанием. Это не только наука, но и как бы религия.

Старая религия и этика сданы в архив. Иисус с его Евангелием не вызывает у большинства даже исторического внимания. А ведь недавно церкви были полны народу и многие расшибали лбы, каясь в прегрешениях и умоляя Творца о всяких милостях и щедротах. Поразительно!

Попалась под руку вырезка из "Известий" за 1933 год, когда перебирал бумаги Наденьки Петровны. Статья Ермилова о "Мертвых душах". Помню, многим она нравилась. Я же не согласен был с автором. Он писал, что губернатор представлен МХАТом симпатичным старичком, а на самом деле он мошенник. Вот этим мошенником и надо было его показать. А по-моему, это дело зрителя почувствовать, что губернатор - мошенник. Мошенники и жулики и пр. никогда не выглядят такими, а обычно имеют нормальный

вид, а в некоторых случаях, например, у себя дома, в семье, в обществе друзей и знакомых, выглядят даже симпатичными.

Нужно чутье, чтобы раскусить или понять суть такого субъекта. При этом следует иметь в виду, что в жизни все более или менее благообразно. В том и дело, что ненормальное так прочно осело в жизни, так приукрасилось, что выглядит в большинстве случаев нормальным и даже гармоничным. Мы все врем и все привыкли ко лжи, однако было бы ошибкой изображать нас лжецами, потому что мы всей душой любим и истину.

Так, помню, было и в спектакле “Мертвые души”. Были даны типы, на вид как будто сносные, на самом же деле - и зритель это чувствовал - они ужасны. Если же изобразить их свинными рылами в каждой черте и поступке, устроить эдакий парад свинных рыл, то получился бы неприятный спектакль, чуждый реальности и эстетике. Это было бы верно политически и клинически, но не верно с точки зрения “живой жизни”, где все замаскировано и причесано.

Помню, как у нас проходили мхатовские вечеринки. Однажды, когда уже сидели за столом, прибыл Михальский, сильно навеселе. Налакался он в “Савойе” в компании со своим знакомым с Кавказа. Федор Николаевич очутился героем вечера в том смысле, что, к удивлению присутствующих, ругал стариков и ясно обрисовал - а мы и не знали тогда - картину ненормальных отношений между “стариками” и “середняками” в МХАТе. Впоследствии выяснилось, что Станиславский проектировал всех “середняков” уволить, а труппу пополнить Певцовым, Климовым, Поповой и пр.

Мне и Наденьке этот “скандал” в МХАТе был неприятен. Хотелось, чтобы этот театр был дружной семьей и процветал. Я предположил, что в тот вечер Москвин потому и не приехал к нам, что не желал встречаться с молодежью из-за натянутых отношений. В театре дело доходило до того, что Леонидов не кланялся некоторым актерам, Москвин был озлоблен и не любезен с ними при встречах, Качалов холоден и пр.

Леонидов, играя профессора в “Страхе”, подавал реплику Ершову в том смысле, что ему пора оставить этот дом - театр. А тот отвечал, что не оставит. Таким образом, они, играя, в сущности, ругались между собой, а публика, наверно, думала: “Здорово играют! Прямо как в жизни”.

Из этих примеров видно, насколько серьезен был “раскол”. Правительство, однако, не пошло на деление МХАТа. Все усидели

на своих местах. Станиславскому дали орден Трудового Красного Знамени, Лилиной - звание народной, а "среднякам", за исключением Кедрова, звание заслуженных. Затем предоставили театр Корша. Я передвинул этажерку к окну, стало очень уютно. Подстриг ногти на ногах и на руках.

23 марта, среда.

Вчера я и М. А. Олсуфьев были во МХАТе, в музее, на вечере записи, посвященном памяти О. Л. Книппер-Чеховой. Оба остались довольные. Я поздоровался с Раевским И. М. и Шверубовичем В. В., сыном Качалова. Костюм на мне сидит хорошо.

Еще Тихон-патриарх устраивал духовные концерты с участием виднейших артистов. Книппер-Чеховой надо было читать что-то Иоанна Дамаскина. Сперва она смутилась, для нее был необычен текст, порой непонятен. Богоматерь скорбит, видя сына умершим. Христос, ее сын, говорит, чтобы она не скорбела, ибо он - Бог! Но она мать и как женщина скорбит. В этом соль всего текста. Когда Книппер узнала, что будет патриарх, а она лютеранка, то опасалась, что у нее ничего не выйдет... Не забыть поставить кипятить молоко...

Возник вопрос, как ей одеться. Ваня хотел переговорить с ней на эту тему. Но она сама как артистка угадала: была без серег, в черном платье, а голову повязала косынкой. Читала текст превосходно. Настолько, что сама была рада, она переживала текст, увлеклась. Об этом сказала Ване Москвину и от денег, которые ей полагались - сколько бы она ни запросила, - отказалась. "Я рада, что выступила, а денег мне не надо", - сказала она.

На одном из таких концертов был я. Выступали Москвин (он читал что-то о пасхальной ночи из Чехова), Пашенная, Петров из Большого театра, затем Синодальный хор под управлением Данилина...

Как печально - наше поколение уплывает в вечность.

30 апреля, суббота.

На пасхальной неделе ездил с Сашей Лужиным на кладбище. Могила сильно осела, два венка сняты. Вид такой могилы навел на меня грусть. Ходили в контору. Должны обложить дерном.

Я приглядывался к крестам. Ужасно плохи. Но все же решил поставить крест. Наденька Петровна была продуктом христианской культуры. Крест на ее могиле уместен. Маша в недоумении: почему крест?

Какова будет судьба Маши, не знаю. Когда она по выздоровлении была у меня, я прочитал ей лекцию об устройстве человеческого организма. Маша слушала внимательно. Но какие сделала выводы - не знаю. Я пересказал ей мысли Мечникова о диссонансах нашей природы.

4 мая, среда.

Первого мая я и Саша отправились на “Интернационалку”. Дождя не было, хотя небо пасмурное. Доехали благополучно. В автобусе мне уступили место. Вообще часто стали уступать место. Мне это нравится. Встретились. Нас уже ждали тетя Поля, Клава, ее муж, его брат и Зина. Засели за стол. Мы привезли с собой 1 бутылку кагора, 1 бутылку портвейна, 2 коробки хороших сардин. Кстати, они не всегда бывают.

За столом я рассказал несколько анекдотов. “Публика” смеялась, в особенности Зина. Потом зашел какой-то знакомый мужа Клавы, просидел пять часов и все время говорил про сына, который у него недавно родился. Все наши попытки дать понять ему, что нам не интересно и пр., не увенчались успехом. Знакомый продолжал на все лады рассказывать, как сын глядит, смеется и понимает, что ему говорят.

Все родители удивительны в том отношении, что свое частное событие - рождение ребенка - возводят в нечто такое, чем якобы должны интересоваться их родственники, знакомые и проч. И притом интересоваться в течение нескольких лет: как ребенок начал ходить, говорить, как прорезались зубы, как шалит, кого больше любит и проч.

Увы, все это интересно только родителям и больше никому. Вообще всякая семья - это ячейка, очерченная как бы кругом. Для лиц, сидящих в этом кругу, все, что происходит, очень важно, здесь свои радости, горести, свои принципы, традиции, привычки и пр. Но как только со всем этим багажом вы переступаете за круг, так сразу видите, что все это для других не имеет никакого значе-

ния, что другие люди варятся тоже, но в своем соку, и точек соприкосновения во взглядах, в радостях и горестях немного.

На другой день - 2 мая - с Сашей были в лесу, дошли до дачи Рокоссовского. Я пил мало - боялся сердцебиения, зато все прочие пили основательно. Мне было скучно.

В Москву вернулись поздно, в 11 часов. Я доволен поездкой. Вспоминал Наденьку Петровну, когда проходил мимо клуба. Драматический кружок работает слабо. Совсем не то, что было при Наденьке Петровне. Я поглядел на окна комнат, где она жила. "До пота, бывало, доведет на репетиции, а добьется своего", - сказала мне Зина. Зина произвела на меня хорошее впечатление. Сказала, что продала билет на спектакль в Театре Ермоловой, лишь бы повидаться с нами. Я ее понимаю, со мною и Канту было бы интересно.

Пробыли мы там 11/2 дня, а время пролетело незаметно и весело. Вчера дома было даже скучно. Перелистал всю книгу "Марк Аврелий" Ренана. Написана интересно там, где Ренан рассуждает как верующий, и неинтересно, и даже ошибочно, где он рационалист, ученый и европеец. Заболел живот.

Прочитал "Чайку" Чехова. Мне понятно, почему она провалилась в Александринке. Хлеб зачерствел, еле жевал. Надо вставлять новые зубы.

7 мая, суббота.

После утреннего кофе поехал на кладбище. В сторожке подыскал крест, сговорился с могильщиком, чтобы покрасил заново и поставил. В конторе уплатил за крест 55 руб. Сидел на лавочке в аллее, был обеденный перерыв. Затем вместе пошли к могиле: могильщик с крестом, я с лопатой. Вот и наш участок. Он почти весь заполнен могилами. Наденька Петровна улеглась во втором ряду, кажется, 6-я могила.

Могила совсем осела и расплзлась. Грустно было смотреть. Но вот могильщик принялся за работу. Сперва вырыл яму для креста. Я попросил его укрепить крест, т. е. его основание, кирпичами. Он так и сделал. Потом оформил могилу. Получился холмик. Покрасил крест серебряной краской. И ушел, получив с меня за работу 50 рублей.

Я сел на скамеечку на дорожке, смотрел на могилку с крестом. Вспоминал Наденьку. Теперь хоть к могиле можно подойти. Скоро ее обложат дерном. Будет совсем прилично. А там еще что-нибудь придумаем.

И как-то на душе стало лучше, а то я все дни мучился, что могила совсем без формы. Любопытно, что никто больше не беспокоится. В наше время все заметно умнеют, но сердцем холодеют. Читаю Ренана “Апостол Павел”, умиляюсь, знакомясь с жизнью первых христиан. Смотрел на старушек, которые ухаживают за могилами своих родственников. Как будто наивно, но сколько душевной красоты в том, что они делают.

Чувствовал сердечную слабость, нанял такси и доехал за 10 руб. до дому. Саша волновался, что я пропал: уехал в 12 ч., а приехал в 7 ч. вечера.

Интересно, когда мне надоест записывать мелочи своей жизни? Подумав об этом, решил, что писать буду до последнего, то есть до того момента, когда отойду в вечность. Вот та точка и будет точкой в полном смысле. Точка, означающая, что меня уже нет.

Под окнами нашей комнаты все приведено в порядок. Сирень растет хорошо. Вдоль стены посажены какие-то цветы; они тоже принялись. Сегодня солнечный день. По радио слушал речь т. Хрущева Н. С. об американском самолете. Он нами был сбит. Летчик спустился на парашюте и, конечно, попался, при нем много денег. На самолете - аппаратура для съемки важных объектов. Получился скандал для Америки. Что из этого получится, покажет будущее.

10 мая, вторник.

Никаких звонков. Звонила только вчера Маша. И никаких новостей. Кроме: умер верхний квартирант Белов. Сегодня его хоронили. Играл оркестр. Белов работал в Музее Ленина. Член партии. Всех поучал, рассуждал на все темы. А вообще, невежественный, невоспитанный человек. Наденька Петровна говорила, что он похож на дворника из рассказа А. Чехова. Лет ему 75. Ну что ж, мир его праху. Саша говорит, что никто не плакал, даже жена.

Дело в том, что он всем надоед своими рассуждениями, а положительным образом ничем себя не проявил. Чего ж плакать, да и

зачем? Из его жизни и смерти можно сделать вывод: никого не надо поучать, назидать - у каждого свой ум.

Вообще, мудрец знает истину и молчит.

Кроме того, никто не может понимать вне рамок своего сознания. А когда поучительством занимаются дураки, то это ужасно противно. Учиться надо и работать над собой, с тем чтобы приносить пользу и, следовательно, жить со смыслом. Любопытно, что умерший просил похоронить его на родине и с оркестром. Чудак!

Вчера в редакции Фельдфрид мне рассказала, что Рахманинов не был на похоронах Шаляпина: он не мог, ему было очень тяжело! В самом деле, быть таким человеком, как Шаляпин, и умереть, т. е. превратиться в прах. Во время болезни Рахманинов его навещал, но когда он был при смерти, то заходил только к семейным, а в комнату, где лежал Шаляпин, не вошел. Было слишком тяжело. Нашел в щели в полу пару скрепок.

Какое счастье, что Наденька Петровна легко, я бы сказал, чудесно умерла! Не было криков, стонов. Как будто, после нескольких часов тяжелого дыхания, заснула. Глаза были закрыты. Это очень умирительно. Лицо в гробу было очень-очень хорошее. Страшно умирать! Уборную залило водой. Жду слесаря.

Сегодня чудесный день. Солнце. Но прохладно. С утра у меня было нехорошее самочувствие, но потом рассосалось. По-видимому, из приливов такого настроения мне уже не вылезти. Годики! Наконец-то нужно отважиться и купить портфель!

Дочитал "Ап. Павла" Ренана. Очень интересно. На ночь читаю письма брата Чехова - Александра. Прирожденный комик. Не сумел поймать клопа - он был высоко на стене.

23 мая.

У Плавта вычитал, что мужество в несчастье - половина беды. В Военторге присматривал портфель, а купил кашне.

Как-то заходил Зарянчиков. Угощал его чаем. Он уговаривает меня поехать в Загорск. Он там был, кое-что рассказал. Меня туда не тянет: я боюсь, что буду волноваться - я там был молодой, вся жизнь была впереди, я даже не думал, кем я буду и как потечет жизнь; все было хорошо, я даже ничем не болел, выпивал поря-



дочно, мне нравилась гимназистка Дуся. Ну а теперь с каким я поеду настроением?

Жизнь прошла, товарищи или умерли, или их осталось человек пять, да и мне уже 70 лет. Но когда-нибудь я все-таки соберусь.

Меня удивляют Каменские: никто из них не интересуется кладбищем. Может быть, им очень грустно? Не думаю. Правда, у них много дел. Маша была у нас только один раз - сдает экзамены.

Погода скверная - холодно и сыро. Взял отпуск. Сегодня первый день. Завтра пойду в ЦК комсомола - добывать путевку в Переделкино.

19 июня.

Слушая радио, убедился, что Наденька Петровна была права, когда редко его включала. Сколько передают всякой чепухи! Впрочем, массе все это нравится.

21 июня, вторник.

Вчера приступил к работе. Работал с неохотой. В редакции был встречен приветливо.

Сегодня целый день читаю Цвейга "Марию Стюарт". Убедился, что нельзя много без передышки читать, - заболела голова. Цвейг очень словоохотлив. Можно было написать короче, без развязности - я, мол, все понимаю, все знаю - и самолюбования.

Местами очень интересно.

Звонила Маша. Я рассказал, как в Переделкине любовался яблоней и вишней, когда они были в цвету. Это две белые красавицы. Всмотривался вдаль и слушал целое утро пение иволги.

Маша сказала, что не знает, как поет иволга. Я попытался изобразить, вышло, по-моему, похоже.

28 июня, вторник.

В пятницу я и Саша ездили на кладбище. Могила в полном порядке, т. е. обложена зеленым дерном, посередине могилы - цве-

точки. Саша вооружился лейкой и поливал могилу, на что пошло 10 леек.

Ночью мне приснилась Наденька Петровна, но не в моей, а в какой-то чужой комнате. Она подошла ко мне, и мы очень хорошо, сердечно, поцеловались. Вид у нее был молодой. Прижавшись ко мне, она сообщила, что улучшения в здоровье нет. Прижимая ее и целуясь, я никакого страха не испытал, а, наоборот, был рад встрече, и притом столь теплой, а главное, тому, что Наденька Петровна была очень ласкова. Неизвестно почему, я проснулся и был не рад, что сон оборвался.

На кладбище разговорился с одним могильщиком относительно решетки. Мы договорились, что он поставит железную решетку за 650 руб. Демокрит говаривал, что быть верным долгу в несчастье - значит совершать великое дело.

6 июля, среда.

С решеткой на кладбище пока ни с места. Ницше утверждает, что мир вовсе не адекватен логическим законам, и я с ним согласен. Вроде бы я знал, как гладят брюки, но сам погладить не смог: уют буксовал по мокрой тряпке.

Вчера зашел мой старый товарищ Павел Терентьевич А. Он 20 лет был в заключении. Потом его реабилитировали, дали комнату в Москве. Он пишет какую-то работу, сидит невылазно в Библиотеке имени Ленина. Однажды ему пришлось идти пешком с партией заключенных 175 километров. Я был в ужасе от его рассказа. Три раза он был на грани смерти. И все-таки выжил. Неприятно болтлив и, по-моему, глуп.

Он старше меня. Вроде с виду ничего. Но 20 лет пропали зря. Нужна мудрость, чтобы, как я, сидеть тихо, на тихой работе и работать над собой.

Угостил его чашкой кофе. Мне его было жалко. Знали друг друга по семинарии и академии. Из его рассказа видно, что в Москве он читал лекции в вузах. Дочитался. Читать в наше время можно дома и без свидетелей! Жена его умерла, а мать сошла с ума. На обеих руках у него шишки от тюремного голода. Канта он не читал.

Вопрос о решетке на кладбище меня очень озабочивает, я все время думаю об этом. Часто мой внутренний глаз видит страдаль-

ческое лицо Наденьки Петровны, когда ее временная поправка быстро пошла на убыль, и я чувствовал, что наступают последние дни ее жизни. Как это грустно! Говорят, что смерть - это закон природы. Да, закон природы, но лишь для тела, а личность человека никакой смерти не требует, смерть для человека вовсе не нужна. При чем тут природа? Ведь человек давно вышел из природы, в ней нет ничего нравственного, одна бессмыслица. Каким же образом бессмысленная природа может человеку диктовать какие-то законы? Следовательно, природа - урод! Следовательно, жить можно, лишь веруя в Высшее, что не является природой.

17 июля, воскресенье.

Вчера для меня радостный день: наконец-то на могиле Наденьки Петровны поставлена железная решетка. Она хоть и скромная, а все-таки решетка. Дерн на могиле хорошо принялся, табак тоже. В общем, все прилично. Конечно, я бы хотел лучшего, чего-нибудь монументального, но у меня нет денег. На первых порах и так хорошо. Тот, кто делал решетку, водил меня за нос целых три недели. Признаться, я волновался: вдруг он меня надует? И мой задаток в 350 руб. пропадет!

Мы отправились с Сашей с утра - к 11 ч. От жары я изрядно потел. На нашем участке нет еще деревьев, поэтому мы примостились недалеко на могиле под кленом. Зачем? Могильщик купил 1/2 литра перцовки. Мы и опрыснули решетку. Было поэтично. Я исполнил свой долг и теперь могу быть спокоен. Пил я немножко. Затем вернулись, я - домой, Саша - в редакцию, а могильщик остался на кладбище. Он, между прочим, обещал еще раз покрасить решетку в нежно-голубой цвет.

На днях, просматривая 5-й том А. П. Чехова, в рассказе "Юбилей" нашел следующие строки: "Когда после десерта дамы распрощались и уехали, юбиляр совсем раскис и стал неприлично браниться. Винные бутылки были уже пусты, а потому актеры опять начали с водки. Со всех концов стола посыпались анекдоты, а когда запас анекдотов иссяк, начались воспоминания о пережитом. Эти воспоминания всегда служат лучшим украшением актерских компаний. Русский актер бесконечно симпатичен, когда бывает искренен, и вместо того, что-

бы говорить вздор об интригах, падении искусства, пристрастии печати и пр., повествует о виденном и слышанном... Иногда достаточно бывает выслушать какого-нибудь захудалого, испитого комика, вспоминающего былое, чтобы в нашем воображении вырос один из привлекательнейших, поэтических образов, образ человека легкомысленного до могилы, взбалмошного, часто порочного, но неутомимого в своих исканиях, выносливого, как камень, бурного, беспокойного, верующего и всегда несчастного, своей широкой натурой, беззаботностью и небудничным образом жизни напоминающего былых богатырей... Достаточно послушать воспоминаний, чтобы простить рассказчику все его прегрешения, вольные и невольные, увлечься и позавидовать”.

Эти строки Наденька Петровна обвела карандашом и написала на полях: “Моя характеристика”.

Я ужасно был рад и этим строкам, и надписи, сделанной Наденькой Петровной. Если она так написала, то, значит, почувала в этих строчках нечто про себя. Вот нет ее - и стало и скучно, и грустно. А кругом такая серость! Правда, эти серенькие люди живут, работают, добра наживают, вроде они жизненные люди, но почему они так неоригинальны, так скучны, пошлы, почему в их словах и действиях нет, хоть на момент, вспышки чего-то необычайного?

Есть нравственный мир, и в нем происходят события: каждый раз, когда я ежду на кладбище навещать Наденьку Петровну, я нахожусь в особом настроении, которое - молитва особого рода. Мне приятно, что Саша без всяких громких фраз, а так молча и охотно поливает из лейки дерн и цветы на могиле. Вечером подумал о том, что у меня нет маек.

Достоин замечания тот факт, что из множества людей, которые знали Наденьку Петровну, только мы двое едим на кладбище и только нашими трудами могила имеет тот вид, как она предстоит взору в данный момент. Почему же мы при жизни так дорожим мнениями людей, почему нам кажется, что они дорожат нами, помнят и ценят нас? Это ерунда, это ошибка. И Наденька Петровна была права, когда всех да их мнения посылала к чертям. Читал Бердяева.

19 июля, вторник.

С утра жара, в 12 часов - 33°. К счастью, днем разразилась гроза. Гром так гремел, были такие страшные раскаты, что я закрыл окна. Ливень был столь силен, что под окном погнул многие цветы с длинным стеблем. Говорят, на Трубной вода затопила подвалы. На Арбатской площади провалился павильон с овощами. Смотрел на себя в зеркало - нужно сходить в парикмахерскую. С Бердяевым кое в чем согласен.

Вечером прощальный концерт Вана Клиберна. Я уютно устроился и слушал по радио симфонию Чайковского. Дирижировал Кондрашин. Клиберн блестяще играл, оркестр был на высоте. Нужно купить проигрыватель. Напоследок Клиберн сыграл "Подмосковные вечера" в своей переделке для пианино. В заключение сказал несколько слов по-русски. Благодарил за прием, что он его никогда не забудет, передал привет от американского народа и просил не забывать его - Клиберна.

Когда я слушал, то моментами у меня глаза были на мокром месте - от восторга, от умиления, от радости наслаждения музыкой Чайковского и искусством Клиберна.

В жизни есть высокое и радостное, и этим надо жить.

Ларошфуко говорит, что ни на солнце, ни на смерть нельзя глядеть в упор. Эта мысль шатка и спорна. Конечно, на солнце в упор смотреть нельзя - ослепнешь. Но что значит глядеть в упор на смерть?

Если не решишь вопроса о смерти, то жить правильно, со смыслом невозможно. От мысли о смерти никуда не убежать. Смерть нужно душевно преодолеть, т. е. жить так, как полагается бессмертному существу, - делать только главное, а все остальное отбросить. Со временем тело дряхлеет, а душа не поддается законам природы, не портится, а, наоборот, закаляется, и я знаю, что душа нетелесна, что тот, кто живет душою, тот бессмертен.

Эти мысли я высказываю потому, что смотрю в упор смерти.

11 августа, четверг.

Во вторник была редколлегия. Я был в скверном настроении: опасался нападков на учеников-корректоров, а также увольнения

Левицкой. Дело в том, что на нее поступила жалоба из дома отдыха в Переделкине, якобы она нарушала режим и вступала в пререкания с администрацией. Вышло все наоборот. Редакторша была в прекрасном расположении духа.

Сперва выступил я. Рассказал, что нам стало работать труднее, что типография работает плохо, что дисциплина у типографских корректоров слабая, что ученики стараются, что в газете в отношении корректуры все благополучно. Затем выступили корректоры. О Левицкой совсем не было речи.

Редакторша отметила, что ей нравится, как выступили корректоры, как выступил зав. корректурой - то есть я. Про меня она сказала, что в ЦК комсомола меня называют профессором. И в академии проф. Ожегов тоже отозвался обо мне как о профессоре. Мне было приятно и неприятно это слушать. Это, конечно, неверно, но моя заслуга в том, что я хоть и поздно, но ухватился за грамматику. Вчера узнал, что все ученики зачисляются в штат. Сегодня работал, как и всегда. Приехал домой усталым.

На ночь перечитывал рассказ Чехова "Студент": какое мне дело до отречения Петра, которое было 19 веков назад? Однако мы одни и те же: добро и зло одинаково волнуют нас, независимо от того, когда оно было. Почему? Потому что есть нравственный мир и в нем происходят события.

21 августа, воскресенье.

Сегодня годовщина смерти Наденьки Петровны. В 11 ч. 30 м. я, Саша, Маша и Светлана Александровна поехали на кладбище. Был солнечный день, даже жарко. Дойдя до нашего участка, я издали старался увидеть крест. Мне кажется, я его видел. Подошли к могиле. Она вся заросла травой и цветами - табаком. Решили траву и табак подстричь. Ножницы захватили из дому. Саша принялся за работу, и скоро могила приняла хороший вид.

Затем Светлана Александровна и Маша сходили за песком.

Ведро песку стоит 1 рубль. Взяли два ведра, их вполне хватило. Я сидел на скамеечке у чужой ближайшей могилы и курил папиросу. На участке было немного народу. Сидел без шляпы, но солнце так грело, что я должен был надеть ее снова. Надо беречь себя. Хорошо бы съездить в дом отдыха.

Мы с Машей вспомнили, что в прошлом году в день похорон так же было жарко. Маша сказала, что она все помнит, как будто это было недавно, а не год тому назад. Пока Саша подстригал траву на могиле, Маша и Светлана Александровна осматривали другие могилы. Хотя они и знали, что участок весь заполнен, но когда они воочию увидели это, то удивились. Мрут людишки, как мухи, а Канта не читали!

С уничтожением индивидуального “я” мир тоже разлетается в прах. Поэтому мое индивидуальное “я” неизбежно должно существовать и после моей смерти, раз только с ним не уничтожается весь мир. Сильно потеют ладони. На небе появились тучи, подул ветерок. Мы решили уходить. Идем, и вдруг раздалась траурная музыка. Маша взволновалась: “К чему музыка? И без того грустно”. Чтобы не встречаться с похоронной процессией, мы пошли другим путем. Навстречу нам попались двое рабочих, в руках у них были лопаты и веревка. “Это могильщики”, - сказал я. Красные морды!

Перед домом встретилась бывшая соседка Софья Павловна Ильинская, стала как ни в чем не бывало рассказывать мне, как они хорошо устроились на новой квартире. Я был вне себя, сердце колотилось. По вине этой особы Наденька Петровна раньше времени легла в гроб... Неужели все в жизни так “мирно” успокаивается и уходит в небытие?

И вот тут-то и испортилась погода. Полил дождь. В особенности вечером. Все же собрались к 9 часам. Стол отодвинули от стены, так что все уселись довольно удобно. Я заметил Каменскому, что стол хоть и нескладный, но старинный: за ним я сидел еще мальчиком. Перечислить, сколько вообще народу сидело за этим столом, мне не под силу: надо сильно потрянуть памятью.

Сколько раз Наденька Петровна пыталась избавиться от этого стола, но я его защищал. И вот теперь за этим же столом мы в третий раз поминаем Наденьку Петровну. “Жизнь” этого стола знаю только я. Как умру, так все пойдет прахом.

Налили по стопке, встали в память умершей и выпили не чокаясь. А дальше все пошло по порядку.

Около 12 ч. начали расходиться. Шел дождь.

У меня сильное сердцебиение от “незапланированной” встречи с Софи Ильинской, но я старался держаться. Когда гости ушли, мы быстро все прибрали. Я был рад, что были только родственни-

ки. Не было “только” пьющих и едящих. Саша сделал очень хороший салат, селедка была хорошо отмочена, кроме того, на тарелках лежала колбаса, сыр, ветчина, коробка шпрот, великолепные свежие огурцы и пирог, испеченный Светланой Александровной. Пирог всем понравился. Пили маловато: 1/2 литра столичной, 1 бут. портвейна и 1/4 горилки. Одна бутылка портвейна, которую принес Каменский, осталась непочатой, ее Каменский захватил домой. Должно быть, пожалел ее оставить у нас. “Приедете - разопьем”, - сказал он.

Так прошли поминки в годовщину смерти Наденьки Петровны. Хоть и было ей 73 года с половиной, а жаль бесконечно. Я каждый день вспоминаю ее. И не знаю, чем заглушить стоящие передо мной картины ее болезни и смерти. Но примириться нужно: нельзя роптать на волю Творца неба и земли.

Однажды я ей сказал: “Вот меня не будет, тогда вспомнешь”. На это она ответила: “Я раньше тебя умру”. Часто, отходя ко сну, я думал: вот лежим мы вдвоем, а будет момент, когда кого-то из нас не окажется. Так и случилось. Как-то во время болезни (дома) она сказала: “А что ж не прощаешься? Ты что делаешь?” - “Я раздеваюсь, сейчас приду”. Однажды она мне сказала: “С тобой мне лучше: ты близкий”.

Как она любила смеяться в жизни! Но во время болезни удавалось редко ее рассмешить, улыбка была вялая, но в глазах смех был. Ужасно следила, чтобы или окно, или форточка были открыты. Приходилось обманывать ее на этот счет, но обман не удавался, и она сердилась. Порой я был резок, а потом моментально смягчался. Мне было в такие минуты совестно. Во время болезни Наденька Петровна очень похорошела душевно, и мы с Сашей умилялись. Я никогда не забуду эту душевную красоту.

Иногда ссорились, и теперь думаю: зачем это? Как нехорошо! Во время ее болезни я старался быть спокойным - это мне очень трудно давалось. Кое-что я считал ненужным для лечения. А она мне говорила: “Тебе все равно”. Я возражал: “Как это все равно?” - “Ну расскажи мне что-нибудь”. А мне рассказывать было нечего, так, бывало, расскажешь ей какие-нибудь служебные новости. Она слушала. На момент развлекалась. Когда пришлось выписать ее из больницы, то говорила: “Я буду слушаться вас, смотреть на карточки”.



Когда приносили ей цветы, она указывала, в какую посуду или вазу их поставить и на какое место. О том, что ее редко посещают внучки и Светлана Александровна, ничего не говорила. Но, несомненно, ей было ясно, что весь уход за ней пал на Сашу и меня. Она молчала, ни на кого не обижаясь.

Когда сидели за столом, Саша рассказывал о пушкинских местах. Он высказал мысль, что Пушкин ближе и милее сердцу русского человека, чем Л. Толстой. Я вполне с ним согласился и развил эту мысль поярче, сославшись на то, что уже на школьной парте мы учим замечательные стихи Пушкина, мы любим оперы “Евгений Онегин”, “Пиковая дама”, кроме того, Пушкин был бабник и был смертельно ранен на дуэли, - все это в натуре русского человека. А Л. Толстой как крепкое вино: его чтобы пить, надо быть зрелым.

Прочистил дырочки на солонке отточенной спичкой.

Когда просматриваю Чехова и вижу красную помадку на полях, мне приятно: все-таки это след от Наденьки Петровны, это она читала. Замечательно, что, лежа на кровати больной, она, конечно, многое передумала, но никогда ничего не говорила об этих думах. Однажды сказала: “Мне страшно”. Я ее успокоил: “Почему страшно? Мы же с тобой, и у тебя все благополучно”. Это ее успокаивало. Увидел клопа...

*В книге “Улица Мандельштама”,  
Москва, издательство “Московский рабочий”, 1989.*

# УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА

повесть о стихах

Хотел бы вознестись в холодном, тихом гимне,  
Исчезнуть навсегда, но суждено идти мне  
По снежной улице в вечерний этот час.

Осип Мандельштам

1.

В отличие от воздушных подземные замки существуют наяву. Спускаюсь в подземелье, вернее, лестница опускает туда, в обратную сторону - лица, лица, лица, - выносит посетивших. Эскалатор. Метро. Метрополитен. Почти что музей.

Самый мягкий, самый несовременный современник пел под гитару: "Стойте справа, проходите слева..." Это о метро, разумеется. На двадцатый год самостоятельного пользования подземным дворцом додумался взглянуть на потолок "Маяковской".

Оказывается, там, скрытые нишами, мозаичные сюжеты: планеры по синему, цветы, фрукты.

"Маяковская" - любопытная станция: если встать у одной колонны, аркой замыкающей поперек центральный вестибюль, а приятеля поставить у другой - напротив, можно проделать опыт: прижав пятикопеечную монету к стальному желобу, приложив малое усилие руки, пустить монету вверх и... просвистев над спешащими пассажирами, она опустится, как в копилку, на ладонь приятеля... "Ну, как метро? Молчи, в себе таи..." Была одна поэтическая станция, стало две. Скоро будет "Пушкинская" (эти строки пишу в августе 1975-го). Чья очередь?..

- Ты куда спешишь?

- К "Достоевской"...

В морозный вечер из дверей станций метро, как из жерл печей, валит клубами пар...

Однажды мне пришлось видеть, как в большой печи пылал огонь, а люди, как красные черти, в кожаных фартуках ловко выхватывали докрасна раскаленные куски железа и, бросив на наковальню, били молотом...

Это происходило в кузнице ипподрома. Прежде чем познакомиться с "кухней" подковного производства, увидел на особых полках штабели прутков, разложенных по десяткам отделений. Вынул один наугад. Несколько зарубок, сбоку - имя лошади.

- Это мерки для изготовления подков, - подсказал бригадир кузнецов. - На каждую лошадь - своя. А подковы - что для людей обуви...

Шел бульварами к Яузским воротам. Снег скрипел под ногами. Равнодушный ветер перебирал ветви черных лип. Спешить было некуда. Брел медленно.

На Серебрянической набережной дворники сгребали снег; Яуза, промерзшая до дна, отливала в свете фонарей желтыми пятнами; из-за горбатого моста, как готический собор, вырисовывался высотный дом на Котельниках; бывшая типография, где печатал свою книгу "Иверни" Волошин, превратилась в какую-то швейную мастерскую и сейчас спала; со стороны монастыря Андрея Рублева ползли по скользкой мостовой самосвалы, разворачивались у снятого парапета, вываливали серый снег в Яузу; таксисты, с обязательно погашенными зелеными фонарями, гнали свои машины на предельной скорости, выполняя план... Снег таял, падая на лицо, губы, ресницы. Какой-то человек сидел в одиноком сквере на скамье под фонарем и читал газету. В столь поздний час зрелище странное. Да он и одет был странно - в темной крылатке, без шапки. Снег облепил его свисающие до плеч волосы. Увидев меня, попросил закурить. И спичка серная, и огонечек красненький.

- Однако в поздний час вы гуляете, - сказал дядя, затягиваясь папиросой. - Полночь в Москве!

Удивился, моментально продолжив в сознании: "Полночь в Москве, роскошно буддийское лето..." - однако, зима, и все же - откуда ему это известно, а тот продолжил:

- Занятую статью читаю! А вы любите читать газеты? Вся суэта за день налицо. Конечно, не обо всем сказано, но вот, к приме-

ру, хотя бы это. О лошадях. Ведь что удивительно - у них разнообразные виды хода. И шаг, и галоп, и карьер. Мне более по душе - иноходь. Она сродни человеческому движению. При иноходи лошадь поднимает сразу две ноги одной какой-либо стороны. Иноходь быстрее рыси, спокойнее для верховой езды... Ну, бывайте! - сказал он, поднимаясь. - Пора, - и засеменял к остановке, куда из-за поворота подъезжал трамвай.

Искры, как светлячки, разлетались от трамвайной дуги. Добравшись кое-как до дому, раздевшись и устроившись на кухне с чашкой чая, наугад раскрыл лежавшую на столе книгу: "Какая-то таинственность окружала его судьбу, он казался русским, а носил иностранное имя..."

2.

В Новгороде стоит памятник "Тысячелетие России". В самом верху, со шитом, на котором высечена дата старославянской вязью "Лето 862", давая начало всему расходящемуся по цоколю, фигура Рюрика.

Варяги как основатели Руси...

Споров на эту тему предостаточно.

Но, так или иначе, фигура Рюрика - в изголовье монумента.

Началось с Новгорода. Где-то давно стоял Киев, была Киевская Русь, но корень государства значительно юго-восточнее Новгорода. Земля владимирская лежит в междуречье Оки и Волги, где из Владимиро-Суздальского, затем Московского великого княжества образовалось Московское государство. Москали мы. В Киеве так нас зовут. Видимо, обижаются, что не от Киевской Руси ведем счет! Стало быть, Московское государство, которое развернулось впоследствии в Российскую империю, размерами превзошло все государства мира. Кажется бы, в корне варягов быть не должно. Однако были: Муром, Мера и Весь. Время сохранило названия рек, городов, озер и урочищ: Муром, Суздаль, Нерль, Колокша...

А Гена-философ говорит, что я все путаю. Говорит, при чем здесь Владимир? Угро-финские племена, мол, бродили. Стал даты приводить:

862 год - призвание варягов.

862-879 годы - Рюрик.

865 год - неудачный поход Аскольда и Дира на Константинополь.

882 год - перенесение столицы в Киев.

Он все знает. Гена-крокодил. А у меня сумбур в голове.

1147 год - первое упоминание о Москве.

1157-1174 годы - Андрей Боголюбский.

1169 год - разорение Киева Андреем Боголюбским, перенесение столицы во Владимир-на-Клязьме...

- Ага, - восклицаю, - что я утверждал, Гена! Все одно к Владимиру сдвинулись!

- Через триста лет! - возражает Гена-философ.

"Все перепуталось, и некому сказать, //Что, постепенно холодея, //Все перепуталось, и сладко повторять: //Россия, Лета, Лоре-лея".

Один писатель с удовольствием описывает розовую Купчиху, вращающуюся в хлеву, ее лопушистые уши, навешивающиеся на глаза, ее болезненный вид и упрек в глазах нерадивой свинарке. А у ног ее - сбившихся сосунков, которым, считай, только по месяцу от роду. Некоторые сдохли... Тяжко позевывает старый хряк. Одуванчик за решеткой хлева, сделанной из старой церковной ржавой ограды...

Все перепуталось: варяги и работяги, Онегин и Карамазовы, Некрасов и Тютчев, Чаадаев и Аксаков, Гоголь и Писемский, Соловьев и Бакунин, Толстой и Бердяев, Кропоткин и Распутин, Блок и Есенин...

Выходило, что все это свое, родовое: Голштинские, Чаадаев, Лорис-Меликов, Победоносцев, Соловьев, Аввакум, Карамзин, Блок, Бунин, Достоевский, Джугашвили, разыскиваемый циркуляром департамента полиции от 16 марта 1907 года... и храм Покрова на Нерли... Вольность точек зрения и преломления их.

Я прочитал то, что написал, и улыбнулся. Вольность? Так ли это? Подчас видимая вольность оборачивается сухим расчетом, предначертанным. Было ли вольностью писание Достоевского, хождение Пугачева?... Может быть, это рост, вырастание, перерастание самое себя? Или искомый феномен в форме, облекающей вольность, скрывающей ее, вернее, спрессовывающей? "И не ограблен я, и не надломлен, // Но только что всего переогромлен - //Как Слово о полку, струна моя туга..."

Самодельный стол, за которым расположился, довольно большой квадрат, родившийся на глазах из четырех щитов, окружил

столб в центре. Столб подпирает потолок террасы дачного домика - дощатого, легкого. Терраса расширилась года два как. Она наполовину застеклена - стенами ее стали массивные, из старой городской квартиры балконные двери.

Дождливая погода подкралась неожиданно.

Дождь.

Сквозь запотевшие стекла видно низкое, молочно-серое небо.

Дождь.

Противоречит серому растущий возле окон шиповник с яркими карминно-багровыми, с кулак величиной цветами.

Капли бьют по лепесткам. Лепестки сыплются на темно-зеленую траву. Так плачет шиповник.

Дождь.

Сижу грустный, покуриваю "Беломор".

Место, где расположились участки с нетеплым названием "Севернин", именуется Деулинский переезд, в четырех километрах севернее Загорска. В 1618 году здесь подписано перемирие с Польшей (Деулинское перемирие), по которому Россия уступила Смоленск и Северскую землю. А впрочем, точно не помню.

Хочется писать так, как пишут музыку. Но я в музыке ни бумбум! Люблю слушать, и хорошо делается, когда скрипка заплачет или пожалуется...

В солнечные теплые дни, которых в этой дачной местности мало, люблю забираться на высокую, в возрасте ель со спиленной макушкой и боковыми крепкими ветвями.

Устроившись на спиле, оглядываю окрестности: вон, слева, виднеются остроконечные, голубоватые, сказочные прямо-таки, леса, там, за ними где-то, прячется Углич, славный убиением царевича Дмитрия, чуть правее - корпуса нового микрорайона Загорска с таким же названием Углич, еще правее дымит труба Загорского молокозавода; далее взгляд натывается на колокольню Троице-Сергиевой лавры, звон колоколов, долгий и мелодичный, в безветренную погоду слышен на участке; чуть пониже колокольни отчетливо видны купола Успенского собора: центральный золотой и остальные небесно-голубого цвета с белыми звездами...

Здесь все история, медленно рождался этот образ, впитывался в души людей, видевших эти пейзажи, изменявших их, строивших соборы, города, прокладывавших дороги, составлявших летописи и своды законов... Даже чужое, иноземное: христианство, архитекту-

ра, живопись (иконопись), письменность, язык - становится своим, ассимилируется, многими столетиями закрепляется... Настолько своим, что и помыслить, будто когда-то было греческим, болгарским, флорентийским... трудно. "И в дугах каменных Успенского собора//Мне брови чудятся, высокие, дугой.//И с укрепленного архангелами вала/ /Я город озирал на чудной высоте.// В стенах Акрополя печаль меня снедала//По русском имени и русской красоте..."

### 3.

Фотографические карточки размером 9 на 12 см: серый фон, черные, значительно уменьшенные машинописные строки.

Фотографий было двенадцать.

Имени автора стихов на них не удалось обнаружить.

Я вчитывался: "Заблудился я в небе... Что делать?//Тот, кому оно близко, ответ...//Не разнять меня с жизнью - ей снится//Убивать и сейчас же ласкать,//Чтобы в уши, глаза и глазницы//Флорентийская била тоска.//Не кладите же мне, не кладите//Остроласковый лавр на виски -//Лучше сердце мое расколите//Вы на синего звона куски.//И когда я умру, отслуживши,//Всех живущих прижизненный друг,//Чтоб раздался и шире и выше//Отклик неба во всю мою грудь".

Словно вышел из душной каморки на воздух, легкие, как мехи, вбирая его, жили широко; ветер, такой ветер чувствуешь только впервые, пронзительно возвращал к реалиям стихии земли, весь образ мыслей каким-то чудом перестраивался, душа освобождалась от зажимов...

Свобода игры.

Записал последние два слова, отложил ручку, закурил.

Мне казалось, что эти стихи написаны мною, что только я один имею на них полное право, я мог так написать, я так написал...

Однако же смешно получается. Как же я, когда эти фотографии мне присланы по почте знакомым? Я не изготавливал этих фотографий, не выстукивал на пишущей машинке букву за буквой, не переписывал их от руки, не складывал их в слова, не находил эти слова...

И все же...

Каково же было мое удивление, когда кто-то другой так говорил.

Значит, я не одинок.

“Может быть, то, что мы называем поэзией, является образом нашего личного поведения, освобождающим творческую силу...”

Свобода игры. Разве не на двух этих понятиях построено искусство, думал я.

Когда ученики театрального училища освобождаются от “зажима”, от манеры игры других - освободившихся, получается очень немного. Свободу своего внутреннего Я ощущают немногие...

Конечно, это в ряду с другим, необходимым: движением, голосом, обаянием, природными физическими данными, умом, чувством... Они становятся актерами.

В них собрано то, что порознь - у каждого.

Театр с такими актерами, познавшими свободу игры, вряд ли встретишь: “И словно из столетней летаргии - //Очнувшийся сосед мне говорит:// - Измученный безумством Мельпомены, //Я в этой жизни жажду только мира; //Уйдем, покуда зрители-шакалы //На растерзанье Музы не пришли!”

Этот поэт оказал на меня поразительное действие: я жил его образами, сверял себя с ними.

Влияние было столь сильным, что я ревновал его ко всему и ко всем, не мог позволить говорить в моем присутствии о нем, только я имел на него право, как на самого себя, я не мог слышать его стихи из чужих уст: в них они были мертвы, только я один мог вдохнуть в них душу, это мое дыхание, мои нервы!

Случались курьезы, я ссорился с людьми из-за права читать Мандельштама, я порывал с теми, кто пытался доказать, что лучше меня знает его, я заставлял слушать себя в течение нескольких часов без перерыва - вся речь его была во мне. Я был им, он был мною, он жил новую жизнь во мне. Когда кто-то другой вмешивался, я отчитывал с гневом: “И в замешательстве уж объявился чтец, //И радостно его приветствовали: просим!”

С каждым днем я возводил поэта на такие высоты, недостижимые высоты, что в моих глазах он превратился во всевластного гения, свет его поэзии как свет маяка... Нет, это гладкое, неудачное сравнение. Да и вообще, его я ни с кем и ни с чем не мог сравнить. Это было все. Он был всем. И я был им.

Я уподоблялся, я жил его жизнью, я смотрел его глазами, я слушал его слухом, я пел его голосом: “Есть иволги в лесах, и гласных долгота...”



Я не знал, во что это выльется, если бы я не освобождался. Наше расставание подобно рифме, как расстоянию, взгляду издалика. Не вообще, но со счастливо найденной точки.

От такого расставания-расстояния становилось легче и ему и мне.

Сейчас скажу красиво: я начал постигать свободу игры.

Стихи его приходили ко мне по кусочкам, медленно, с разных сторон, от разных людей; мне казалось, что они (стихи) живут не полной жизнью, а какими-то обрывками-месяцами, листочками-неделями, строками-минутами.

Десять лет собирал его стихи.

И какова же была радость, когда удалось познакомиться с изданием стихов поэта. Но радость длилась недолго. Как выяснилось, в моем собственном собрании его стихотворений оказалось намного больше, нежели в том издании. Встретилось немало разночтений, неточностей, ошибок...

Обида моя нарастала, крепла... сменившись неожиданно прощением.

Мне казалось, что трудно понять поэта через его жизнь, какой бы интересной она ни была, через болезненное внимание к биографическим подробностям (но не к самой биографии, ее обычно не знают!). Возможен только обратный путь: более или менее узнать поэта через его работу...

“Публика смотрит на него как на свою собственность, считает себя вправе требовать от него отчета в малейшем шаге. По ее мнению, он рожден для ее удовольствия и дышит для того только, чтоб подбирать рифмы... требуют непременно от него поэмы на последнюю победу, и газетчики сердятся, почему долго заставляет он себя ждать...”

Это из Пушкина.

Меняются виды собственности на поэта, но не меняется сущность...

“Мне хочется уйти из нашей речи, // За все, чем я обязан ей бессрочно...”

Это из Манделштама.

Дальше все будет из него. Если попадется кто-то другой, скажу.

...Удаленность во времени, расстояние позволяют увидеть то, что ускользает от современников. Отношение к современнику снисходительно. Мол, ему еще жить, чего он там еще изобразит.

“Нет, никогда ничей я не был современник.//Мне не с руки почет такой”.

“Бывает, прочитаешь кому-нибудь написанное, и он спросит:

- Это на какого читателя написано?

- На своего, - отвечаю.

- Понимаю, - говорит он, - а всем это понятно?

- Сначала, - говорю, - свой поймет, а он уж, потом всем скажет... пишу, значит, люблю...”

Это из Пришвина.

Пучок лучей исходит из щедрого сердца. Каждому в достатке света и тепла.

Мастер, говорят, отличается от ремесленника добротой. Он не держит в секрете то, что создает.

Приходи, смотри, учись.

Мастер - в глазах многих - волшебник.

Не фокусник.

В самом слове волшебник слышится детское доверие, открытость.

Фокусы разоблачимы, рассказываемы.

Волшебство бескорыстно и не поддается пересказу.

“Возьми на радость из моих ладоней”.

4.

В ту зиму звезды над Москвой появлялись редко или, может быть, их просто не замечал - голову не запрокидывал, а шел уверенно по переулку, сворачивал на набережную.

Вот и подворотня.

В глубине двора расположился клуб... Речь, впрочем, не о нем.

Написать сценическую композицию надумалось как-то само собой. Но с чего начать?

“И Фауста бес, сухой и моложавый, //Вновь старику кидается в ребро...”?

Кто и когда писал композицию по его стихам? И можно ли вообще подобную композицию составить? Музыка Чайковского? Воспоминание о Павловском вокзале? Или в свете прожектора - чтец? Что он будет, как он будет читать: “С миром державным я был лишь ребячески связан...”?

И отчего возникло желание компоновать?

Чтобы сказать, что есть такой поэт?

Но композицию написали. Даже читали в узком кругу.

Начало: какая-то музыка. Скрипка? Кажется, она. Голос: “Может быть, это точка безумия...” Второй голос: “Я буду метаться по табору улицы темной, // За веткой черемухи, в черной, рессорной карете...” Третий голос: “Я рожден в ночь с второго на третье // Января... ненадежном году...”

Магнитофон “Яуза” заело, музыка оборвалась.

В руках декламаторов шелестели листочки с переписанными от руки стихами. Ялович, худрук самодеятельности, поглаживая свой длинный нос (он играл в Ленкоме милиционера и носил всегда с собой свисток. Ночью на набережной раздавались переливы этого милицейского свистка. Было неясно, то ли настоящий постовой заливаётся, то ли вторит ему наш худрук), охлаждал: “Ничего, ничего... замысел есть, видно, что есть...”

Собравшиеся просили дать переписать. Ялович обещал пристроить в перепечатку знакомой машинистке. Каждый хотел иметь полный набор. В скоросшиватель, в папку, в ящик...

Спустя несколько лет удалось все же сделать композицию. Помог мне в этом Освальд Алексеев. Ося. Переводчик с французского.

Он с удивлением и странностями выслушивал речь поэта, дотоле ему незнакомую. Его импортный магнитофон мог создавать акустику концертного зала на пятиметровой кухоньке, подкладывать музыку или текст на уже записанную дорожку, раздвигать голос записываемого...

По многу раз на день перезванивались по телефону, все вечера просиживали над голосами, отбирали необходимые по замыслу. Останавливаясь на определенной теме, в другой день приходили к новой и все никак не могли решиться окончательно.

В ущерб целостности впихивали порой не относящиеся к сюжету вещи. Это могло продолжаться долго. Но все же мы рискнули и сделали получасовую запись. Я читал стихи, Ося - из Брехта: “Овидий вышел навстречу ему и вполголоса сказал на пороге: “Покуда лучше не садись. Ведь ты еще не умер...” Однако улыбающийся Бо-Дзу-И заметил, глядя сочувственно: “Любой заслуживает строгости, кто хотя бы однажды назвал несправедливость - несправедливостью...” ...Из самого темного угла послышался го-

лос: “А что, и твои стихи знают наизусть? И за это не преследуют?” “Это забытые, - тихо сказал Данте, - уничтожили не только их, их творения - также”. Смех оборвался. Никто не смел даже переглянуться. Пришелец побледнел”.

Освальда хоронили зимой.

Обильный снегопад с ветром.

Вьюговой.

Ступени морга 1-го медицинского института в сугробах. Дверь со скрипом отворилась. Прямо у входа, почти что на улице, - гроб. Он стоял на двух табуретах с прорезями в центре сидений для рук, как мне потом довелось увидеть, когда гроб взяли на руки.

Свист ветра в щели дверей. Снежная пороша на желтом кафеле.

- Ну, прощайтися, - сказал служитель в черном ватнике, валенках и ушанке, подходя к гробу и втискивая поглубже лаковые штиблеты покойника...

Простились.

Я поцеловал Освальда в холодный лоб.

Гроб вынесли и вдвинули сзади в автобус.

Дверца захлопнулась.

5.

“Я должен жить, хотя я дважды умер...”

Поэта звали Осип Эмильевич Мандельштам. Он родился на 55 лет раньше меня, в другом веке, в XIX, в ночь со 2 на 3 января 1891 года...

В датах рождения, жизни, смерти есть своя магия. Глядя на все эти цифры: единицы, девятки, тройки, видимо, можно закономерно объяснить то или иное в судьбе поэта.

Бывают вещи, написанные так, что их не оторвешь от века своего, бывает и иначе...

“Я пришел к тебе с приветом, // Рассказать, что солнце встало...” Это написано моим современником. Разумеется. Кто еще так может сказать о восходе солнца в Кунцево, когда стоишь на балконе и видишь, как оно медленно поднимается из-за новостроек, когда первые фигурки людей одиноко исчезают в утреннем автобусе, а воздух, чуть тронутый теплом, искажает изображение...

Поэзия создает каноны, чтобы разрушить их. Наверно, поэтому она ищет новые пути к их преодолению.

Меньше учится, больше преодолевает ученичество.

Отходит от пушкинской традиции, чтобы найти другие, независимые от него пути.

Через Тютчева и Фета идет к символистам, чтобы потом выйти на Кузмина, Анну Ахматову, Мандельштама...

У них находим родство с классическим Пушкиным, которое Мандельштам со свойственной афористичностью возгласил: "Классическая поэзия - поэзия революции".

Она ломает побочные пути экспериментаторства.

Она отстаивает эксперимент. Точно так же, как Хлебников методично возится со словами, поэзия оживляет, воскрешает, сдувает пыль, расчищает верхние слои последующих наслоений, чтобы впитаться глазами в оригинал, возродить и возродиться самой.

Потом можно искать новые пути, создавать свои каноны. От торжествующего классического камня уйти к булыжникам, по улице - к вокзалам, разрушить сладкозвучие косноязычием, шипением, бормотанием...

Домыслить пейзаж. Домыслить звук. Домыслить музыку.

"...Поэзия не является частью природы - хотя бы самой лучшей, отборной - и еще меньше, - говорил Мандельштам, - является ее отображением... но с потрясающей независимостью водворяется на новом, внепространственном поле действия, не столько рассказывая, сколько разыгрывая природу при помощи орудийных средств, в просторечье именуемых образами..."

б.

Записанные на память строки из Данте. Пометка - 1933. Начиная разговор о поэте, где Данте называется орудийным мастером поэзии, а не изготовителем образов, стратегом превращений и скрещиваний...

И "Вы помните, как бегуны//У Данта Алигьери//Соревновались в честь весны//В своей зеленой вере?//Но всех других опередит//Тот самый, тот - который//Из книги Данта убежит,//Ведя по кругу споры".

О Риме и в Риме писалось немало.

К примеру, один художник, возвращаясь в конце века из Италии в Россию, думал о том, что Россия и Москва не были так ему дороги никогда, как в то время, когда он жил в Италии. Он размышлял о грубости нашего народа, о стихийной его силе, морозах и близости Азии... О том, что пришла пора России, ее расцвета культуры и что теперь о ней заговорят во всем мире.

А лет за 50 приблизительно до этого русский сочинитель, которого критик уличал в отходе от прогрессивных взглядов, писал о римском князе, размышляющем о вечном городе, о его развалинах и особом предназначении, а потом вдруг пришедшем к тому, что не в камнях дело, но в том народе, который жует булки, толпится на базарной площади, сидит в кафе, читает газеты. И что город-то есть всего-навсего место для жизни.

И Мандельштам в четырнадцатом году восклицает, что не Рим живет среди веков и времени, а лишь всего-навсего место во вселенной для человека. Потом, спустя много лет, будет вспоминать о третьем Риме, бормотать о трех свечах и трех встречах...

И может быть, он не был там "И никогда он Рима не любил". Но какое итальянское разнообразие: "И распластался храм Господен, // Как легкий крестовик-паук. // А зодчий не был итальянец, // Но русский в Риме...", "Когда, с дряхлеющей любовью // Мешая в песнях Рим и снег, // Овидий пел арбу воловью // В походе варварских телег", "Поговорим о Риме - дивный град!", "Природа - тот же Рим и отразилась в нем. // Мы видим образы его гражданской мощи..."

Не от этой ли привязанности 1914 года возникла потребность в итальянском языке 1933 года? И он выучил его и читал Петрарку...

Впрочем, имеет ли значение, где, когда и почему: "Быть может, прежде губ уже родился шепот // И в бездревесности кружились листья, // И те, кому мы посвящаем опыт, // До опыта приобрели черты".

С любым словом - накоротке, запросто: Тасса - мясо, лиса - курыса, потопом - укропом, порядке - монатки, вкось - ось, арфы - шарфы, клира - мира, скрипит - обид, еж - найдешь, виноградинами - украденными... Можно и Д. Самойлову дать попрактиковаться в познаниях национальной рифмы (см.: Самойлов Д. Книга о русской рифме. М.: Художественная литература, 1973).

Но дело-то не в рифме самой по себе, а в свободе игры! Поэтому реальнее не увидишь: "О временах простых и грубых // Копыта конские твердят. // И дворники в тяжелых шубах // На деревянных лавках спят. // На стук в железные ворота // Привратник,

царственно-ленив, // Встал, и звериная зевота // Напомнила твой образ, скиф! " И совсем уже разногласно: " Стала б я совсем другою // Жизнью величаться, // Будет зыбка под ногою // Легкою качаться. // Будет муж прямой и дикий // Кротким и послушным... " И далее, далее: " С цвету ли, с размаху ли - бьет воздушно-белыми // В воздух, убиваемый кистенями целыми... "

Тема, сталкиваясь с темой, спорит, путается: " Брызжет в зеркальцах дорога - // Утомленные следы // Поятся еще немного // Без покрова, без слюды. // И уже мое родное // Отлегло, как будто вкось // По нему прошло другое // И на нем отозвалось... "

Я слышу этот голосов прибор: " Словно дьявола поденщик, // Односложен и угрюм... // Он безносой канителью // Правит, душу веселя, // Чтоб крутилась каруселью // Кисло-сладкая земля... "

Хор голосов смолкает.

Наступает тишина, такая, как после залпа орудий, когда еще в ушах гудит, но уже, предчувствуется покой и воздух недвижим. Некоторые раскашливаются - эхо возвращает звук от недосягаемых потолков...

Римская тема повторяется спустя двадцать три года с момента первого прикосновения к ней.

Смотрю на автограф, сделанный Манделъштамом на итальянском языке. Сонет Петрарки.

" Промчались дни мои, как бы оленей косящий бег, // Срок счастья был короче, чем взмах ресницы... "

И вновь о Риме. Жестко: " Город, любящий сильным поддакивать... // Ямы Форума заново вырыты // И раскрыты ворота для Ирода, // И над Римом д и к т а т о р а - в ы р о д к а // Подбородок тяжелый висит... "

Мы живем тихо, потому что живем внутренней жизнью. Это будет в том же 1933-м: " Во всей Италии приятнейший, умнейший, // Любезный Ариост немножечко охрип... " В своей, нашей Италии - в Крыму...

## 7.

Спросите у Манделъштама - он видел это солнце. Он видел киммерийские берега и киммерийские пейзажи Богаевского: " Само солнце представлялось ему слепым глазом, тоскующим над мо-

гильниками земли, заполняя медные сферы неба колючим бременем своих ореолов. Бродячие кометы в безумии останавливались над зелеными стенами покинутых городов”, - писал Максимилиан Волошин, гостеприимный хозяин Коктебеля.

И я потащился туда, в Киммерию, к Одиссеевой земле.

Для греков - север, для нас - юг. Как он выглядит у Гомера, наверняка, читатель, помните: “Солнце тем временем село, и все потемнели дороги...//Там киммериян печальная область, покрытая вечно//Влажным туманом и мглой облаков; никогда не являет//Оку людей там лица лучезарного Гелиос, землю ль//Он покидает, всходя над звездами, обильное небо,//С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обращаясь;//Ночь безотрадная там искони окружает живущих...”

Будничное море с тонущим в нем солнцем выползло из-за отлогого, порывавшего от зноя холма; ветровочки свистели на все лады, мелкие камешки били по днищу кузова, насекомые врезались в лобовое стекло, как капли стекали в стороны. Шофер, из местных, за пять рублей от Феодосии раскручивал дорогу, зная ее почти с закрытыми глазами.

Уставали глаза, чтобы видеть; легкие оказались малы для гнетого воздуха, кожа - северной для полынного загара, ноги - слабыми для карабканья на Кара-Даг...

Перевоспитать в состоянии любого, научить мудрости терпения земли, увидеть то, что именуется Землей, шире, чем землю - увидеть планету, космически малое тело, неимоверно большое при встрече, очистить взор от мишуры достигнутого и достигаемого, освежить слух скрипом вулканических пород и треском опьяняющих цикад...

Кто помнит день извержения Кара-Дага, кто помнит дату прохождения кучевых облаков над орудийным галдежем, кто знает, какая птица во время черноморской грозы укрывалась в долине ручья Куру-Еланчик, какого цвета таинственный цветок, появляющийся раз в десять лет на плато Тепсень, какой путник наблюдал Коктебельскую долину с перевала Узун-Сырт, какой строитель возводил часовню на холме под горой Сюрю-Кая?..

Коктебель!

Здесь я решил прекратить романтический порыв, дабы пригласить вас в дом на берегу залива...

Хозяина звали Максимилиан Александрович Волошин. “Войди, мой гость, //Страхни житейский прах //И плесень дум у моего порога...”



Если бы я мог показать сейчас его фотографию, вы бы непременно уловили некое сходство, конечно, чисто внешнее, с нынешним хранителем музея. Порой было трудно различить - где он, где хозяин. Бороды лопатами. И я, живший в ту пору жизнь Мандельштама, повторил время, утекшее под доброе ворчание Понта Эвксинского...

А я приехал из Гейдельберга года два тому как. Привез стихи: "Не говорите мне о вечности - //Я не могу ее вместить". Или: "И белый, черный, золотой - //Печальнейшие из созвучий - //Отозвалось неминучей//И окончательной зимой..."

Писал Вячеславу Иванову и в конце письма сделал приписку: "Может быть, Вы прочтете эти стихи? С глубоким уважением Осип Мандельштам. P. S. Извините за все дурное, что Вы от меня получили".

Теперь коктейльщики жалуются: в дом их не пускают. Жива была вдова Волошина - Мария Степановна - пускала: на чердак, в музыкальные комнаты, в гостевые. Не просто посмотреть дом, а жить в нем весь отпуск. Бесплатно.

Не пускает - бородатый хранитель музея, внешне напоминающий гостеприимного Макса.

А раньше-то! Полна горница людей!

"Золотистого меда струя из бутылки текла//Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела://Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,//Мы совсем не скучаем - и через плечо поглядела..."

Свет погасили.

В створчатое окно мы видели Кара-Даг: "...он не только прошлое, он и будущее: в нем есть периодичность. Он аладдинова лампа, пронцающая геологический сумрак будущих времен..."

Серебряное блюдо луны висело над Кара-Дагом, высвечивая профиль Макса Волошина, изваянный в скалах ветрами и вечностью.

"Вон там - за профилем прибрежных скал,//Запечатлевшим некое подобье..."

8.

Горной дорогой в Старый Крым, покрывая шаг за шагом 12-километровое расстояние, шли мы в один из дней.

Солнце слепило, воздух был сух и ясен.

Примерно такое же расстояние покрывал в 1929 году переводчик “Потерянного Рая” Аркадий Акимович Штейнберг - Акимыч - из Феодосии в Коктебель, пока не был застигнут одичавшими собаками и окружен ими.

Лежать пришлось (а это единственный способ уберечься) лицом в камни до появления пастухов, разогнавших выстрелами кружащих вокруг него дворняг...

Расстояние в 12 километров - много это или мало?

Эти километры вместили в себя многие жизни - жизнь прожитая просматривается в картинах с невероятной быстротой, и в то же время медленно и отчетливо - здесь все сфокусировано, спрессовано, лаконично.

Будущая жизнь - завтрашняя - растянута до непостижимости; прошлая - монета в кошельке: ее можно достать и увидеть.

Не оттого ли мы так смело принимаем решения за предшественников, боясь сказать верное слово за себя перед таким-то, о себе для себя...

Хочется, чтобы эта монетка была большего достоинства; поэзия не может быть монеткой, не может быть богатством прошлого труда. “...Тот, кто собирает сокровища, не думая о том богатстве и предназначении, которые составляют вечную цель, попустому растрчивает свои силы...”

- Экономьте силы, тогда будете бесстрашными мужами, - вторит Гегелю Гена-философ, улыбаясь. - Но и о внутреннем пифосе не забывайте и трансцендентную сущность поэзии. Это как пояса мысли, коммуникации пронизывают весь наш шарик. Это и есть общечеловеческое, общедуховное общение...

- Однако! - восклицает давешний дядя. - Как там было сказано о прямизне нашей мысли?

- Я и говорю о том, что общее изменение человеческого бытия, - Гена-философ поправил свои квадратные очки, - можно назвать одухотворением... Понимаете, человек ведь больше не замкнут в себе. Он, если говорить проще, находится в неизвестности относительно самого себя, а потом открыт для новых, безграничных возможностей.

- Вы делаете ударение на том, по-моему, - дядя присел на край письменного стола, взял чашку кофе, отхлебнул и внимательно посмотрел на Гену-философа, похожего в зеленоватом свете люстры на крокодила Гену, - что человечество имеет единое происхождение и единый путь развития. Не так ли, коллега?

В свое время я взял на себя смелость представить дядю читателю несколько, если так можно сказать, инкогнито, теперь добавлю, что дядя этот не откуда иначе, как с Гоголевского бульвара. Он, да простит меня взыскательный читатель, обладает своим взглядом, своим отношением, что принято в обиходе называть несколько подзатасканным словом - самобытностью.

Дядя с Гоголевского органически связан с жизнью и способен остро замечать то, мимо чего проходят другие.

Его признание, что Кастальские ключи текут из-под сосны, - не просто красивая фраза, а образное самоосознание. Рад, что не ошибся в оценке дяди, представив вам его в самом начале нашей улицы. Впрочем, я увел внимание ни в чем не повинного читателя в голую описательность, тогда как Гена-философ продолжил начатый диалог:

- Именно! Несмотря на все различия в жизни отдельных народов и культур! - Если дядин кастальский ключ бьет из-под сосны, то Гены-философа или крокодила, что, впрочем, одно и то же, бьет из-под мостовой промышленного города.

- Однако, - дядя прошелся по комнате, - научно доказать этот постулат, по-моему, так же невозможно, как и доказать противоположный тезис.

- Согласен полностью с вами, дружище, - Гена-философ поглядел улыбочиво на брюнетку, присевшую в кресло, закинувшую ногу на ногу, будто демонстрируя качество французских колготок. - Именно там, где Шпенглер в своем стремлении обосновать положение о полной независимости развития отдельных историко-культурных образований претендует на установление закономерности, я бы сказал, которая позволит давать прогнозы так же точно, как их дает, ну, скажем, астрономия...

- А мне думается, что именно там Шпенглер оказывается несостоятельным с методологической точки зрения, - дядя с Гоголевского взял еще одну чашку кофе. - Он применяет метод, квалифицируя его как физиогномический. Вероятно, с его помощью можно в какой-то степени истолковать различные явления духа, различные настроения, но нельзя установить никаких законов.

Тем временем брюнетка, пока витийствовал дядя, перевела внимание Гены-философа на женский вопрос, однако дядя это быстро разглядел и вновь, обращаясь к крокодилу, продолжил:

- Дружище, вы помните, что очаги напряженной, неведомой раньше духовной жизни возникли параллельно в разных, прежде далеких друг от друга культурах?

- Конечно, дружище, - откликнулся крокодил. - С этого периода берет свое начало общая история человечества как духовно единого целого, - он поглаживал по спине брюнетку, отчего та извивалась в щекотливых улыбках...

Я вышел на улицу подышать.

Вспомнил дорогу на Старый Крым, вспомнил и цитату, которую недавно усердно выписывала более убедительного ничего не нашел...

Но вот я отложил ручку, закурил... В голову пришло: а есть ли дело кому, кроме меня, до этих аргументов? Не занимаюсь ли я просто-напросто убеждением себя?

Возможно, именно так и обстоит дело.

Мандельштам, считавший поэзией сознанием собственной правоты, подействовал на меня, как острые шпаги на Тибальда, но (в чем парадокс) не смертельно, а жизнотворно.

9.

Когда маленький морской пароходик "Витя Коробков" на малом ходу проходил в Золотые ворота, которые некогда зарисовал Пушкин, проплывая мимо малоинтересного для него Кара-Дага, направляясь с полуострова Тамань, древнего Тмутараканского княжества в Юрзуф, чайки снялись с кормы и с диким гиканьем ринулись на вертикальную стену горы, где словно для них ветром и временем были выточены углубления и уступы, и, пока пароходик, минуя эти ворота, созданные из базальтовых пород безымянным ваятелем, сделал круг и вышел на морскую гладь, они вновь снялись, но уже со своих временных уступов и углублений, ринулись вниз и в одно мгновение настигли его, но не опускались на корму, а следовали по бортам и за кормой, где из-под работающего винта вскипала пена морской зеленоватой воды, и криками выпрашивали у пассажиров чего-нибудь съедобного, не очень надоедливо, но все же очень усердно и постоянно, а увидев летящий в воздух кусок семикопеечной булки, будто ждали, пока он наберет достаточную высоту, чтобы затем схватить его клювом на излете, опуститься на воду и, как утки, покачаться в люльке горь-

ко-соленой морской воды, слушая мелодии, срываемые ветром с репродукторов пароходика и растворяющиеся в солнце, воздухе, необыкновенно прозрачном в эти дневные часы, и далях горизонта, почти что неразличимого, ибо было не разобрать, где кончается море и начинается небо.

В Феодосию “Витя Коробков” ходил редко, но именно теперь он шел туда, где некогда была обитель Айвазовского, где несколько лет жизни провел Александр Грин, где были Ландсберг, Абельсон и Мандельштам, где по вечерам стоял беспечный треск цикад, где в двадцатые годы писатели, художники, композиторы и просто интересующиеся создали ФЛАК - Феодосийский литературно-артистический кружок, где жили греки, где, как и сейчас, было в достатке солнца, моря, ветра, полыни и винограда. По справедливому замечанию архивиста Вл. Купченко, это бытие достойно быть отмеченным не только в феодосийских летописях.

Когда-то город этот был древнегреческой, а затем римский колонией.

История его так же обширна и обильна фактами, как история культур или цивилизаций.

Здесь рождались археологические анекдоты и поэтические бредни.

Вообще-то, слово “цивилизация” не к лицу Феодосии. При слове “цивилизация” почему-то возникает водопровод и прочая сантехника, к чему феодосийцы до сих пор относятся с иронией.

О сохранении архитектурных ценностей Грин рассказывал, с какой быстротой в двадцатых годах была разобрана жителями феодосийская Бастилия. И как впоследствии в домиках, неуклюже лепящихся друг к другу, можно было узнать ту или иную часть бывшей тюрьмы.

Говаривают, что север в ту пору изрыгнул на юг самых разных чиновников и актрис, революционеров и галантерейщиков, контрабандистов и проходимцев всех мастей без постоянной специальности... “И, дрожа от желтого тумана, // Я спустился в маленький подвал; // Я нигде такого ресторана, // И такого сброда не видал! // Мелкие чиновники, японцы, // Теоретики чужой казны... // За прилавком щупает червонцы // Человек - и все они пьяны...”

И вот она, та Феодосия, какой ее увидел поэт в 1920-м: “На все лады, оплаканное всеми, // С утра до ночи “Яблочко” поется. // Уносит ветер золотое семя - // Оно пропало - больше не вернется. // А в

переулочках, чуть свечерело, // Пиликают, согнувшись, музыканты. // По-двое и по-трое, неумело, // Невероятные свои варьянты...”

И вот эти разнообразные, наводнившие приморский городок:

“О горбоносых странников фигурки! // О средиземный радостный зверинец! // Расхаживают в полотенцах турки, // Как петухи у маленьких гостиниц. // Везут собак в тюрьмоподобной фуре, // Сухая пыль по улицам несется, // И хладнокровен средь базарных фурий // Монументальный повар с броненосца...”

Групповой портрет, сделанный Мандельштамом, позволяет представить послереволюционное время, отголоски гражданской, демократизм портового городка: “Навстречу беженке спешит толпа теней, // Товарку новую встречая причитаньем, // И руки слабые ломают перед ней // С недоумением и робким упованьем. // Кто держит зеркало, кто баночку духов - // Душа ведь женщина, - ей нравятся безделки, // И лес безлиственный прозрачных голосов // Сухие жалобы кропят, как дождик мелкий...”

У картинной галереи Айвазовского продавали шашлыки из свинины.

Возле лотков кружили собаки, вероятно родственные тем, что сжимали кольцо вокруг Акимыча. Все они были очень разные, но их сближало выражение глаз, преданно глядящих на нас. Пришлось делиться.

Из Старого Крыма, где мы были в домике Грина и слушали чтение рассказа “Комендант порта”, возвращались горной дорогой, спускавшейся потом в долину, изрезанную виноградниками.

Мы садились под лозами, и крупные кисти нацеливались в наши рты: “Я сказал, виноград как старинная битва живет, // Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...”

Прозрачные ягоды отливали янтарем на закатном солнце.

Жара спадала.

Виноградное мясо мне освежало язык.

Сколько можно съесть винограда? Ровно столько, сколько можно поглотить воздуха...

Крым хорош тем, что весь отдыхающий народ сбился на пляжном побережье, а здесь в глубине, в горах, в виноградниках, никого не встретишь, разве что кого-нибудь такого же, как ты сам...

Миновав перевал, спустились к заливу. Солнце уползло за Кара-Даг и еще куда-то дальше, туда: куда “Душа моя стремится, // За мыс туманный Меганом”.

Бородатый хранитель Музея Волошина провел нас в дом в виде исключения, где “в комнате белой, как прялка, стоит тишина”. Конторка, сделанная собственноручно Волошиным для А. Н. Толстого, который писал за ней свою первую прозу в 1909 году; мольберт с волошинскими акварелями, книги, книги, книги: “Здесь по ночам беседуют со мной философы, поэты, богословы...”

Когда наступал вечер, собирались в мастерской. Читали стихи.

В тот вечер читал Мандельштам: “Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена - // Не Елена - другая, как долго она вышивала”.

Ну как же не помнить! Конечно, помню, только вчера возвратился с Одиссеем... “И сила страшная ночного возвращения, // Та песня дикая, как черное вино: // Это двойник, пустое привиденье...”

## 10.

Статьи в газетах начинаю читать с конца. Сразу видно, что хотел сказать автор. “...Из тех, которые брал Демосфен в рот, чтобы выработать себе отчетливую дикцию”.

Ну, думаю, статья об актере. И, лишь подняв взгляд, понимаю. Поэтому покупаю газету, усаживаюсь на ближайшую скамью, читаю: “Голос - это самое пленительное и самое неуловимое в человеке. Голос - это внутренний слепок души...”

Впрочем, газету эту я бы купить не смог. “Речь”, № 129 от 4 июня 1917 года. А просто читаю рецензию Волошина на “Камень”.

День выдался жаркий - сижу в тени террасы возле комнаты бородача. В двадцати метрах (могу сказать - вздыхает) море. Под его ритмы читается с удовольствием, и особенно статьи Макса, повсюло себе такое обращение, ибо только вчера добрался до Коктебеля из Александрова.

Статьи Волошина с такими долгими началами! Прежде чем дойдешь до темы, узнаешь об очень многом, войдешь в нужный пласт жизни, подготовишься.

Вот идет размышление о душе, у которой есть свой основной тон, и о голосе, у которого есть своя основная интонация. Потом вспоминаются символисты. Наконец разговор переходит к нашим

поэтам: Блоку, Бальмонту, Северянину... Об их пении, голосе, манере.

Вот и до Мандельштама добираемся...

В тот момент, когда только дошел до него, ко мне приблизилась чернобровая курортница в брюках-трико в обтяжку, лифчике и темных очках от солнца.

- Простите, что отвлекаю, но здесь все некурящие. Может быть, у вас сигарета найдется? - спрашивает она, глядя в волошинскую статью.

- Папироса устроит?

- Все одно! - улыбается она.

- О Мандельштаме читаете? - разглядев строчки, добавляет незнакомка.

- Читаю.

- А Волошин, признаться, ни хрена в нем не понял. И больше того, велел арестовать в феодосийском порту... Мандельштам у него книгу спер...

- Вы ошибаетесь. Это Мандельштам однажды просил пьяного есаула арестовать Волошина.

- Вот как! Я этого не знала. Впрочем, тогда все друг друга арестовывали... Извините, что помешала, - еще раз улыбнувшись, чернобровая художница (как выяснилось позже, она оказалась художницей) удалилась прочь в сторону писательского пляжа...

Вот наконец-то и добрался до Мандельштама.

Волошин утверждает, что смысл лирики заключен в голосе поэта.

И начинает размышлять о мандельштамовском баске, вспоминает высказывания Теофиля Готье и его книгу "Эмали и камеи", переведенную на русский язык в 1914 году Николаем Гумилевым, "Романсы без слов" Верлена...

Пишу, пишу, а еще не оговорился. Вот, пожалуйста: для читающего, который лишь хочет знать: что, почему, как, кто только ждет ответа на сиюминутность, кто желает получить хрестоматийную формулу распределения поэтов на классы и подклассы, - читать написанное в этой улице не интересно, а мучительно. Никак не формулируется экзаменационный ответ, кто выше, кто ниже, кто с краю, кто в центре!

Но - к делу!



Надвигался вечер. Солнце уходило за Кара-Даг, прокатывая свои лучи по полированной морской поверхности Коктебельского залива...

Вспоминается литургийно-торжественный голос с теноровыми возгласаниями Вячеслава Иванова...

И вот юношеский бас Мандельштама, который может на первый взгляд показаться отрочески ломающимся. Волошин видит в нем необычайное богатство оттенков, широкий диапазон. Он пишет, что Мандельштам, когда, допустим, говорит о театре Расина, впадает в патетическую декламацию, где идеал Мандельштама - раскаленный слог.

Увлекаясь темой голоса, Волошин не отказывает Мандельштаму в звучности и богатстве изгибов. Он говорит, что настоящее цветение его еще впереди, а пока еще это тот камень, который клал себе в рот Демосфен, вырабатывая дикцию.

Волошин по горячим следам определяет "Камень" как пробу голоса, его глубину, мощь, интонацию. Он хочет говорить только о голосе, потому что статья входит в задуманную серию "Голоса поэтов".

Прекрасно, с разных позиций показывает нам, что главное в поэте - это его голос. Попав под власть этого тезиса, Волошин восклицает: "Смысл лирики - это голос поэта, а не то, что он говорит".

Теперь я думаю несколько иначе.

Но ведь, как говорили, многое значит удаленность во времени. Расстояние. Оно позволяет увидеть то, что ускользает от современников.

Мандельштам был поставлен в ряд действительно поющих: Бальмонта, Северянина, Надсона...

Но именно тогда он г о в о р и л, а не ворковал: "Когда удар с ударами встречается//И надо мною роковой,//Неутомимый маятник качается//И хочет быть моей судьбой" (стихотворение 1910 года)...

Отношение к современнику бывает более чем снисходительное. Но уже тогда сквозь его "лепет" выговаривалось грядущее: "Посох мой, моя свобода,//Сердцевина бытия - //Скоро ль истинной народа//Станет истина моя?" В 1933-м: "Он опыт из лепета лепит//И лепет из опыта пьет..."

Вижу Мандельштама, размышляющего о привычке людей к грамматическому мышлению, то есть все вещи искусства ставить в именительный падеж.

Маятник подсказывает движение.

И потом о болванчике со свинцовым сердечком, который, как тот же маятник, покачавшись как следует, застывает почему-то в буддийском гимназическом покое, перед этим задавая вопросы: о ком? о чем? кем? чем?

И вот уже восклицающий Мандельштам - произведение искусства не застывает: оно также подчиняется маятнику и живет в движении.

Я думал об этом, сидя на удобной белой скамейке Павловского парка.

Место само по себе мертво до сих пор, пока не обременено пришествием человека.

Поскольку Павловск в моем сознании до некоторых пор был абстракцией, то и воспринимался мною по ассоциациям, вызванным другими местами.

Домыслить место совершенно невозможно даже по самому фотографическому описанию. А я пишу повесть о стихах. Черт знает что! С таким же успехом можно писать повесть о музыке: разлиновать страницы нотными линейками и насажать на них кружочков.

Читайте!

Оркестровка метафор и определений заглушает саму тему, саму мелодию.

Мелодия преследовала меня с первого упоминания о Павловском вокзале. Не железнодорожном. Клавиры с автографами, пожелтевшие, как кленовые листья на потаенной аллее за галереей античных слепков, рассматривают меня из-за стекла аккуратного музея.

Присутствие музыки среди музейной роскоши парка мыслимо так же органично, как сами клены, как патриархи лесов дубы, как резвящиеся, бегающие и прыгающие в поисках лакомого кусочка рыжебокие белки...

И эту музыкальную желтизну разносят на архаических крыльях-пластинках медные стрекозы, покрывая недвижимую поверхность картинно заросшего пруда трассами произвольных маршрутов.

Оранжевый гравий дорожек дополняет скрипами и восклицаниями передвижение по искусственному заповеднику античности.

Быть может, страсть к музейному покою породила искусство?

Какая бы диалектика ни скручивала истца в три погибели, он, как к манне небесной, тянется к музейному покою, отрицая второстепенность происходящего полотнами старых мастеров, позолотой лепных потолков, тиснеными корешками фолиантов, скрипучими паркетными полами, создавая таким образом замкнутый отрывок истории, избранный по собственному вкусу.

Именно замкнутый отрывок, заполняющий первоначальную пустоту.

Архитектура - одно из средств похищения пустоты: залы, комнаты, коридоры - не что иное, как ограниченная стенами пустота!

Мандельштам:

- Настоящий труд - это брюссельское кружево, в нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы...

Магия архитектуры настолько велика, что пропадает первоначальный смысл пустоты, как отрывка.

Воспринимается форма, обрамляющая то главное, ради чего она взгромождалась.

Ни в каком другом виде искусства форма так не довлеет над сущностью, как в архитектуре. "Но чем внимательней, твердыня Нотр-Дам, // Я изучал твои чудовищные ребра, // Тем чаще думал я: из тяжести недоброй // И я когда-нибудь прекрасное создам..."

12.

У каждого свои страхи.

Один вздрагивает от скрипа половицы, другой обыденно смотрит из окопа на трассирующие пули.

Из Павловска я уезжал в душевной электричке с зелененьким автоматическим билетиком в руке: мял его, крутил машинально, пока он не превратился в круглый ватный комочек. Здесь вошли контролеры.

За окнами, как доисторические чудища, проплывали, обгоняя друг друга, спеша куда-то, прямоугольные строения...

"Многие получали телеграммы из разных мест Союза. Один византийский старичок ехал к сыну в Ковно.

Ночью Цекубу запирали как крепость, и я стучал палкой в окно. Всякому порядочному человеку звонили в Цекубу по телефону, и прислуга подавала ему вечером записку, как поминальный листок попу. Там жил писатель Грин, которому прислуга чистила щеткой платье. Я жил в Цекубу, как все, и никто меня не трогал, пока я сам не съехал в середине лета...”

Контролеры замыкали середину вагона, до меня оставалась пара скамеек... “Когда я переезжал на другую квартиру, моя шуба лежала поперек пролетки, как это бывает у покидающих после долгого пребывания больницу или выпущенных из тюрьмы”.

...Коль нету билета, документы есть какие?

“Дошло до того, что в мастерстве словесном я ценю только дикое мясо, только сумасшедший нарост: И до самой кости ранено//Все ущелье стоном сокола - вот что мне надо...”

Я сунул какое-то удостоверение.

Что ж без билета ездешь? - черная фуражка склонялась в мою сторону. - Смотри, больше не попадайся!

“Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и на написанные без разрешения. Первые - это мразь, вторые - ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове... Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как они могут иметь детей? Ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать...

Вот это литературная страничка”.

13.

Электричка прибыла в Ленинград.

На Владимирской площади бродила тень Достоевского, внимательно приглядывалась к золотым куполам православного собора, закидывая голову вверх, как петух в первую зарю.

Коммуналку расселили года два как, и сейчас официально узаконенная тень стала музеем.

Старушка сидела у раскрытых белых дверей, ведущих в кабинет, и клевала носом: посиди-ка смену в тишине!

- Что, здесь и работал Достоевский?

- Вестимо, - старушка поправила седую прядь. - Вон, вишь, и стол с зеленым сукном, вон и стулья венские... Его я, право, в гос-

тиных или редакционных кружках не встречала, но слыхивала о нем и его жизни в Петербурге довольно много.

- Да, да, скромно живали-с, - вдруг неизвестно откуда раздался голос дяди с Гоголевского, а потом и сам он воплотился из-за стенда первого периода творчества. - Когда беда у него стряслась с журналом, мы с ним видались, как же иначе.

- Так вы здесь и были, коллега, - вспомнила старушка.

- Здесь, здесь, а может, и нет, только он не был еще тогда во второй раз женатым, да и квартирка мне показалась тесной. В памяти моей довольно отчетливо тот вечер удержался. Вообще, я на память не жалуюсь! Все помню: и самый кабинетик, и свет лампы, и его лицо, и домашний его костюм. В тот вечер он не произвел на меня впечатления мистика и неврастеника, говорил очень толково, на деловую тему, своим тихим, нутряным и немножко как бы надорванным голосом...

- А я с ним, бывало, столкнусь случайно где-нибудь в магазине Базунова на Невском или в Москве в фойе Малого театра, - старушка задумчиво смотрела в окно. - Помню, к Базунову он заскочил купить какую-то книжку, которая заинтересовала его своим заглавием. А в Малом был уж очень чем-то недоволен - своим местом или чем другим - уже не припомню, но каким-то, видать, вздором. И его раздражение выказывало в нем слишком очевидно совершенно больного человека, который не мог себя сдерживать...

- Это было, кажется, уже после его мытарств за границей, азартной игры в Баден-Бадене и той сцены, которую он сделал там Тургеневу. - Говоря это, дядя с Гоголевского дотошным взглядом обводил фотографии из первого периода творчества.

Я прошел в кабинет, дядя куда-то растворился во второй период творчества, старушка продолжила клевание носом...

"...И вдруг Шатов размахнулся своею длинною, тяжелою рукою и изо всей силы ударил его по щеке... Кажется, раздался мгновенный крик. Я видел, как Лизавета Николаевна вдруг вскрикнула и со всего роста упала на пол в обмороке. До сих пор я как будто слышу, как стукнулась она о ковер за тылком".

- Мрачно вато для кабинета...

- Ага-а-а, - старушка зевнула? - Улица-то какая: серая, узкая, а она все туда... Здесь кухня общая была. Жильцов - пропасть... Скандалы... Как без них. Щами на ногу плеснешь - заскандалишь...

За окнами, громяхая деревянными, стальными, чугунными кузовами, скрипя рессорами и тормозами, проползали грузовики, едва не задевая друг друга бортами.

На противоположной стороне, около какого-то прилавка толпилась неимоверно разросшаяся очередь: что-то давали, женщины артикулировали ртами - текста не было слышно.

Скандалят завтра, сто лет назад, вчера.

Скандал выходит за границы грамматического понимания, как резкое эхо крика вырывается из глухого течения поглощающей воды; здесь трибуны стотысячного стадиона ульем сообщают новость; здесь скрипка отсутствует; здесь сама мелодия устраняется.

“...В семивершковой я метался кутерьме - //Клевещущих козлов не досмотрел я драки - //Как петушок в прозрачной летней тьме - //Харчи да харк, да что-нибудь, да враки - //Стук дятла сбросил с плеч.//Прыжок - и я в уме”.

Серый угол здания наподобие тех, какие любило возводить акционерное общество “Россия”, вросшего на пять ступеней в асфальт, хлопнув парадной дверью, остался за моей спиной.

14.

Словно еще и еще раз убеждая меня в строгой геометрической обреченности города, с металлическим лязгом и стуком бежали по параллельным, никогда не пересекающимся прямым трамваи.

У Михайловского замка лязг и стук особенно возмател: Садовая улица - булыжная и узкая - не позволяла шуму разбежаться в стороны.

В замке придушили Павла I, а в той комнате, где произошел этот инцидент, мигают энтээрзовскими лампочками электронные машины.

Весь внутренний облик замка напоминает муравейник: множество организаций, включая и подвалы, занимают здесь площадь.

Предприятие “Патент” - одно из подвальных обитателей - микрофильмирует наряду с другой продукцией патент на западно-германские гробы...

Знал бы об этом Павел I, в ком текла и немецкая кровь!

Не кто иной, как Достоевский, говоря о России и ее будущем, подметил главное в русском человеке - слабость национального

эгоизма. Но в отличие от многих почитателей народа Достоевский не создал из него кумира, не обольщался, но две черты в народе особо ценил - это необыкновенную способность усваивать дух и идеи чужих народов, перевоплощаться в духовную суть всех наций - черта, которая особенно выразилась в поэзии Пушкина. Второй чертой он считал сознание своего несовершенства и неспособность возведения его в закон и успокоение на нем: отсюда требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига.

Он говорил, что настоящая задача не в том, чтобы перенять, а в том, чтобы понять чужие формы, опознать и усваивать положительную сущность чужого духа.

Об этом размышлял, конечно, не один Достоевский. Можно привести примеры из других, не менее известных писателей, для убедительности даже процитировать. Но стоит ли перегружать улицу цитатами других - что останется для Мандельштама?..

Бывает, идешь по улице, скрипят новые башмаки, а из головы не выходит строка о казни и песне. Пытаешься думать о другом, ускоряешь движение, начинаешь считать шаги - попусту. Залезло в тебя: "Часто пишется казнь, а читается правильно - песнь..." - и не отпускает.

И уже сдаешься на милость победительницы. Видишь другой смысл ее, оттенки и значения. Целую систему строишь, идею новую ощущаешь... И вдруг (действительно вдруг) столкнешься со своим братом-журналистом, а тот пиво пить предлагает, смотрит с высоты, усы подкручивает и бойко рассказывает о прошедшей в сегодняшнем номере "Учительской газеты" статье из города Бийска...

Что ему ответить?

Но он все же, видимо, догадывается и уходит в проулок, не оставив по себе воспоминания.

А строчка и не думала исчезать: держит и держит тебя, и все идешь далее, далее с нею и решетку-то парка по-иному видишь, и горожане словно ватные проплывают навстречу. И уже потом услышишь откуда-то со стороны будто и не свой голос, а другого. И та же строка в другом голосе, и не та.

Со стороны смотришь, с расстояния.

Однако в конце концов, после столь продолжительного звучания она тебя отпускает. И уже услышишь голос Мандельштама, советующий остерегаться частого цитирования, потому как "цитата не есть выписка. Цитата есть цикада. Неумолкаемость ей свойственна".

Теперь можно вздохнуть свободно и на прощание: “Нет, не луна, а светлый циферблат//Сияет мне, и чем я виноват,//Что слабых звезд я осязаю млечность?//И Батюшкова мне противна спесь://”Который час? его спросили здесь,//А он ответил любопытным: “вечность”...

15.

Мы будто бы расставались? Сколько раз в жизни приходится расставаться?..

“...Харчи да харк”...

Я ходил по залам Музея изобразительных искусств. Музей слепков... Вглядываюсь в старинные полотна. На одном из них - Остаде - среди когорты персонажей привлек внимание эпизод: беленькая собачонка, вероятно не кормленная с рождения, жадно вылизывает еще горячую блевотину, брызжущую из пасти стоящего над ней горожанина.

Вряд ли подобное можно причислить к разряду натурализма. Перед глазами альбом Старой мюнхенской пинакотечи. Такого муравейника, как у Альбрехта Альтдорфера, я еще не видал. Трудно вообразить стольких единовременно выписанных всадников, копыеносцев, знамен, штандартов, лошадей, колесниц, шлемов... Художник нашел всеобъемлющий план: бьющаяся земля переходит в небо и солнце, как закрывающееся око божье.

Но картина эта красива для скандала, величественна для бойни... Война - это страдание, а не парад модных мундиров. В пьяных рожах Остаде, в избиении младенцев, в крестьянском танце Брейгеля-старшего, в увертюрах к аду на земле Иеронима Босха чрево жизни с полным основанием соответствует бойне.

Здесь больше скандала, страха, иронии. Посмотрите на “Эзопа” Веласкеса!

Вглядитесь в Мандельштамовы краски, в его летающих слепых человекоптиц, человекоящериц: “Выздоровливай же, излучайся,//Волоокого неба звезда,//И летучая рыба - случайность,//И вода, говорящая “да”... “Играй же, на разрыв аорты,//С кошачьей головой во рту”... “...Ходят рыбы, рдея плавниками. //Раздувая жабры. На, возьми//Их - бесшумно окающих ртами, - //Полухлебом плоти накорми”. “...О город ящериц, в котором нет души! От



ведьмы и судьи таких сынов рожала//Феррара черствая и на цепи держала - //И солнце рыжего ума взошло в глуши!"/"/"...Я, как змеей танцующей, измучен//И перед ней, тоскуя, трепещу...//К чему дышать?//На жестких камнях пляшет//Больной удав, свиваясь и клубясь://Качается и стан свой опояшет//И падает, внезапно утомясь..."

Схлестнулся двадцатый с тринадцатым веком в скандалах: кто кого, и девятнадцатый век на подхвате...

Не конфликт, но скандал возникает в его поэзии. Монетка прошлого слишком спокойна для понимания, как кладбище.

"Не кладите же мне, не кладите//Остроласковый лавр на виски!..."

## 16.

Равенна. Мавзолей Данте. Открытка из альбома Александра Блока, купленная им в память об итальянском путешествии.

Ему удалось побывать там - и в северной (Венеция, Равенна, Милан) и в средней (Флоренция, Пиза, Перуджия)...

А вот и гравюра: Данте с лавровым венком, навевшая "профиль орлиный", на что Мандельштам, осердясь, выскажет позднее упрек поэту в непонимании Алигьери.

Вот книжка стихов с надписью: "От тебя приходила ко мне тревога//И уметь писать стихи. Александру Блоку Анна Ахматова. Весна 1914. Петербург".

Серый высокий дом на Неве, хозяин смотрит ясно и молчаливо. День воскресный. Морозный. А вокруг - город, столица европейской планировки, без привычного центра и устремленных к нему радиусов улиц.

Лучевые города, русские города - от кремлей расходятся и сходятся к ним пути.

"...Язык пространства, сжатого до точки".

Но и в Петербурге можно всем сойтись без лучевых услуг, будто там солнце похоронено. Не оттого ли поэзия до некоторых пор была петербургской?

Может быть, завершал ее именно Блок?

Ведь от Блока намечаются другие пути, других поэтов, вспомянувших о лучеобразии городов, о близости к восходу солнца, о та-

тарских спинах с повязками на плечах, о буддийском покое, о шах-горе и прочих чудесах азиатских...

По северной столице трепетали на ветру расклеенные наспех извещения, где Дом искусств, Дом ученых, Дом литераторов, Государственный большой драмтеатр, издательства Всемирной литературы, "Гржебина" и "Алконост" извещают, что 7 августа 1921 года в 10 часов 30 минут утра скончался Александр Александрович Блок. Вынос тела из квартиры (Офицерская, 57, кв. 23) на Смоленское кладбище состоится в среду 10 августа в 10 часов утра.

Гроб несли на руках, открытый, было очень много цветов.

Как там было сказано о прозрачном циферблате, который запутался в тополиной листве?

Мандельштам начинался оттуда.

Петербург как один из главных героев его поэзии.

Редкий писатель обходился без Петербурга и Москвы. Влияние столиц разнопланово.

Поэзия формировалась в этих центрах, возникнув вдруг посреди XVIII века. Первопрестольная Москва-матушка и европейский Петербург.

С детских лет и до конца дней своих Мандельштам связан с Петербургом. В этом городе воплотилось все, что есть примечательного в западной культуре. Здесь и отголоски Рима, и Эллады, и Германии, и Франции... - не только в архитектуре или планировке, но, что главное, в самом духе его, в воздухе.

Раньше я думал, что Петербург назван в честь Петра I. Оказывается, не в честь его. Он носит имя Петра-апостола.

Город святого Петра, Петрополь... "Мне холодно. Прозрачная весна//В зеленый пух Петрополь одевает". Но и здесь есть цвет, краски. Он никогда не забывает о них. Это позже будет спорить и доказывать, что и Данте ярок, говорить это тем, кто обнаружил его тусклую окрашенность. Укажет на розовый плащ и ярко-голубую одежду Алигьери...

Вглядитесь в краски Мандельштама: "По набережной северной реки//Автомобилей мчатся светляки,//Летят стрекозы и жуки стальные,//Мерцают звезд булавки золотые,//Но никакие звезды не убьют//Морской волны тяжелый изумруд". Это ранний Мандельштам, 1916 года... Нет смысла останавливаться и дальше на подчеркивании разнообразия цветовой палитры поэта, внимательный читатель сам это легко обнаружит...

Акварель Карла Кольмана переносит нас к событиям 14 декабря 1825 года.

Строится Исаакий, огороженный забором, видны строители, мастеровые и каменщики. Войска. Народ в небольшом количестве. Площадь.

А вот другая акварель. На переднем плане бастионы Петропавловской крепости. Далее Нева с многочисленными парусными судами и лодками, Стрелка Васильевского острова, на противоположном берегу Адмиралтейство, Зимний дворец...

Почти все как ныне.

Еще одна акварель. Художника П. Ф. Соколова начала 20-х годов XIX века. Изображен молодой человек с открытым задумчивым лицом анфас, в мундире. Это подполковник лейб-гвардейского Гродненского гусарского полка, участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов Михаил Лунин...

Отбывал наказание в Чите и Петровском заводе. В Сибири вел переписку с верхами, за что повторно арестован и заключен в тюрьму в Акатуе, где и задушен в камере заплечных дел мастерами.

Может быть, о нем пишет Мандельштам: "Честолюбивый сон он променял на сруб//В глухом урочище Сибири,//И вычурный чубук у ядовитых губ,//Сказавших правду в скорбном мире..."?

А ведь Лунин мог нагишом проскакать по городу на коне, ведь мог всю ночь напролет кутить... "Бывало, голубой в стаканах пунш горит,//С широким шумом самовара//Подруга рейнская тихонько говорит, //Вольнолюбивая гитара..." Но это "бывало" - во времена заграничных походов...

Понюхали Европу.

А вот и мнение высочайше утвержденного комитета: "Еще волнуются живые голоса//О сладкой вольности гражданства!", и мнение обывателя: "Но жертвы не хотят слепые небеса://Вернее труд и постоянство..."

И сколько этих мнений, сколько идей и манифестов, сколько проектов и предложений, где каждый решает за всех, а все за каждого, где, собравшись за рюмкой водки, порешат судьбы России, где столько накручено, наворочено: "Все перепуталось, и некому сказать,//Что, постепенно холодея,//Все перепуталось и сладко повторять://Россия, Лета, Лорелея"...

И обязательно взглянуть на Запад - как там у них: "Шумели в первый раз германские дубы,//Европа плакала в тенетах,//Квад-

риги черные вставали на дыбы//На триумфальных поворотах..."  
Но "Он раскурил чубук и запахнул халат,//А рядом в шахматы играют".

"Страшно, когда слушать не хотят, страшно, когда слушать начинают", - говорит нам современный поэт. Я слушал Мандельштама, и мне от этого не было страшно. Я пытался постичь, понять, скажу словами крокодила, его эсхатологические бредни, его инфернальность: "Чудовищный корабль на страшной высоте//Несется, крылья расправляет". Это еще задолго до его встречи с Герционом (Данте. "Ад"), парящим над кругами мук, "Зеленая звезда, в прекрасной нищете//Твой брат, Петрополь, умирает..." Сказано в 1918-м, за двадцать лет до 1938-го.

Случайно, казалось, брошенное слово, фраза зацепляются за воздух, срачиваются, словно на глазах из небольших темных туч зачинается гроза: "Прозрачная весна над черною Невой//Сломалась, воск бессмертья тает,//О если ты, звезда - Петрополь, город твой,//Твой брат, Петрополь, умирает..."

А в 1920-м, словно причитание: "В Петербурге мы сойдемся снова,//Словно солнце мы похоронили в нем..."

И снова музыкальный Павловск, запавший на всю жизнь в душу: "Огромный парк. Вокзала шар стеклянный./Железный мир опять заворужен..."

Какие бы катаклизмы ни сокрушали мир, люди, как к манне небесной, тянутся к музейному покою: к музыке, поэзии, живописи... "И я вхожу в стеклянный лес вокзала,//Скрипичный строй в смятении и слезах..." И каким надорванным и ограбленным кажется людям военный мир расстрелов, пыток, истребления и искоренения. Разве он может сравниться с бурей Бетховена или страстями Баха? "И мнится мне: весь в музыке и пене //Железный мир так нищенски дрожит..."

- Бог ты мой, неужели я заблудился и никак не могу вы братья-ся? Я искал ответа, но не нашел его...

- Дружище, поэзия на вопросы не отвечает и не ставит их - в этом ее чертовщина, - дядя облегченно сплюнул (в урну). - Ученикам она не по зубам! Что это за братья такие у городов и почему они себя записывают в братья? Почему он в одном месте умирает, а в другом веселится, как бес, дурачится?

А сказано было просто и точно: "Поэзия не является частью природы и еще меньше является ее отображением..."

Все переживания и страсти включены в оборот ее.

Неужели с вами не случилось минут, когда жизнь была недорога или когда вы были на вершине блаженства от удач. Я вошел в этот мир младенцем, сказав “да-да”, и уйду из этого мира, не захватив с собой ничего, зная немного больше, чем когда появился. Так или примерно так говорил Петрарка. “И в жаркой комнате, в кибитке и в палатке//Век умирает - а потом//Два сонных яблока на роговой облатке//Сияют перистым огнем”.

А потом будет перевод 319-го сонета Петрарки из цикла “На смерть госпожи Лауры”. Вначале здесь слышится тройная переключка: бега оленей - жизнь вообще, образ одной из од Горация, петрарковское понимание жизни. Но этот сонет мною воспринимается отнюдь не как перевод - он вполне факт нашей отечественной поэзии. И разве не свою жизнь, не мою, не вашу сравнивает Мандельштам с бегом оленей: “Промчались дни мои, как бы оленей//Косящий бег. Срок счастья был короче,//Чем взмах ресницы. Из последней мочи//Я в горсть зажал лишь пепел наслаждений...”!

- Вершина поэзии там, где читающий восклицает: это мог сказать только я! - говорят мне.

- Нет, - отвечаю. - Я этого не мог сказать, потому что не сказал...

Путешествие по улице нашей, однако, затягивается. Период морской волны, который хотел напечатать гуттенберговскую библию, постоянно относит нас в прошлое и возвращает в будущее.

Если все прошлое разложить на отрезки и расставить Мандельштама на них каждодневного, начиная с рождения, - получится целая армия Мандельштама. “То было в сентябре, вертелись флюгера,//И ставни хлопали - но буйная игра//Гигантов и детей пророческой казалась,//И тело нежное - то плавно подымалось,//То грузно падало: средь пестрого двора//Живая карусель без музыки вращалась!”...

В Новгороде, осматривая памятник “Тысячелетие России”, где Рюрик устал держать щит со старославянской вязью, я думал, что Петрополь, в сущности, варяжский город, не по принадлежности, а по месту.

Все мы где-то стояли, никогда не останавливаясь.

Например, во Владимире я никак не мог осознать, что именно отсюда выросло Московское княжество, давшее начало империи.

Вводили в заблуждение: Колокша, Муром, Клязьма... Объяснилось движением, перемещением, скрещиванием, переплетением: "И ласки требовать у них преступно, // И расставаться с ними непосильно. // Сегодня - ангел, завтра - червь могильный, // А послезавтра - только очертанье. // Что было - поступь, - станет недоступно, // Цветы бессмертны, Небо цело купно, // И то, что будет - только обещанье"...

Будущее - обещанье!

Из Новгорода в Ленинград нас доставил интуристовский автобус, в этот день трудившийся не по назначению: возил "советских".

Плавный ход, двигателя не слышно.

За окнами нарастал город. Я возвращаюсь в него: "Ты вернулся сюда - так глотай же скорей // Рыбий жир ленинградских речных фонарей!"

17.

Отрицание гравированных профилей с лавровыми венками, отрицание стилизованных изображений постскриптум - важно понять движение, перемещение в процессе создания вещи, восхождение к ней, отказ от нее в последующем ради восхождения к новой...

Восхождение на колокольню Александровской слободы нелегкое: пока минуешь узенькие проходы и прорехи, пока пересчитаешь высокие ступени, оставляя пролет между ярусами, вступая на следующий, забываешь о предыдущем.

Дыхания не хватает, чтобы сразу одолеть три пролета. Приходится останавливаться у бойниц, набирать воздуха: за стенами монастыря лепятся одна к одной крыши разновысоких строений, почти перед каждым, за каждым, спереди, сбоку - палисадники, их не видно, но они есть, догадываешься - оттуда тянутся за крыши кроны лип и тополей, изредка - вязов: Александров.

Место собирает под свои крылья, как наседка цыплят, посетителей разных эпох, события всевозможных значений, происшествий, встречи, рождения, смерти.

Не верится, будто по этим местам бродили боярские холопы, один из которых Никитка: "На крыльях воздушных Никитка к земле с колокольни летит, летит добровольно - не пытка: душа о по-

летах болит”, - скажу в рифму; что вон в той белой хороmine Иван IV Васильевич прибил посошком собственного сына. Произошло опрощение.

Сближение вплотную с веками минувшими кажется обыденным, самособойным: все уменьшено в размерах - колокольня, собор, палаты, монастырский двор, весь город.

На всем печать повседневности: вон коза накручивает километры вокруг забитого колышка, у архиерейских палат, раздуваемое ветром, сушится белье - белые простыни, пододеяльники, наволочки... У соборного придела валяются остатки дощатой тары, лемеха с плугов, карданный вал от машины, ржавый чайник без дна. Соблюдая приличие, по всему этому вышагивает ворона, выискивая остатки обедов проживающих в монастыре...

С колокольни видно кладбище, вернее, догадываешься, что это оно - зеленый квадрат, составленный кронами берез, одиноко выделяется среди оврагов.

Видно и болото, образовавшееся из тухлого ручейка, протекающего параллельно монастырю. Через эту хлябь проложены деревянные длинные мостки. Какие-то мужики в ватниках ходят по ним с носилками: носят раствор и кирпич, заделывают стену монастыря. Когда они приближаются, слышна речь:

- Пойдем разве еще раз, Петь? - спрашивает один.

- Знамо дело, сам знаешь - до обеда поспеем с этой дырявиной - и баста! - отвечает второй.

- Нонче ж суббота. Глядишь, с обеда - по домам, - говорит третий...

Они удаляются на противоположный край болота. Их теперь не слышать.

Откуда человеческий голос уходит - камни и сама земля не запоминают...

Идем к тому, чтобы все забыть. А эти владимирские просторы помнят прохождение ледников: косогоры, овраги, протянувшиеся на километры с востока на запад...

АН-2 отрывается от земли, на бредущем проходит над александровскими крышами, чтобы через полчаса опуститься во Владимире.

Есть неразгаданная прелесть в провинциальных городах: жить в них не хочется, а посещать приятно.

В Боголюбове на ступенях колокольни ломом добили раненного в келье ножом Андрея-князя...

И мне страшно было слушать эти рассказы - в десятилетнем возрасте воображение строго ограничено привычными рамками. Вечер летнего дня. Идем с Владимиром.

Слушаю о Боголюбском. Монастырь за спиной. Впереди - Новое село. Ночь наступает в девять вечера. Небо на горизонте сходится с землей. Желтые лампы на столбах.

- За что убили Андрея?..

- За власть.

- А что же дружинники его?

- Их тоже убили...

Сворачиваем с проселка, идущего на Новое, к Нерли. Справа - крутой обрыв и черная вода. Я прижимаюсь к Владимиру.

- Боголюбский, что же, без кольчуги был?

- Спать он ложился, да и кольчуга бы не помогла.

- Кто же его убил?

- Свои. От своей смерти страшнее. Ломом добивали, как скотину... Вся лестница колокольни кровью залита была. Он ведь рос в два метра. Ранили в келье. Так, раненный, и сползал по ступеням. Думал, убийца убежал. На воздух полз. А внизу ждали. Крепок изрядно был - ножом не возьмешь. Ломом, как землю мерзлую, добивали. Показалось впереди слабо различимое Ославское село. Из окон домов жидко светили керосиновые лампы. Электричество провели в пятьдесят девятом году.

- Интересно, в Ославском Боголюбский был?

- Как не был. Был, конечно. Село это тысячу лет стоит.

- И церква?

- Нет. Построили в прошлом веке...

Утром страх пропал.

Не страшно было бежать одному к Нерли. Сначала через огород, потом кладбище, потом вниз с холма, потом лугом.

С реки села Ославского видно не было. Холм закрывал его. Высотой своей прятал все то, что было наверху.

Мне чудилось, что этот холм, протянувшийся долгими изгибами, зеленью трав и цветов по течению Нерли, вовсе не то, что я думаю, а древнее земляное укрепление, вал, который насыпали дружинники Андрея Боголюбского от татары.

Только потом узнал, что это следы ледникового периода. "...От монастырских косогоров//Широкий убегает луг,//Мне от Владимирских просторов//Так не хотелось на юг.//И в этой темной де-



ревянной//И юродивой слободе//С такой монашкой туманной//Остаться - значит быть беде..."

"Монашка" - Марина Цветаева.

Теперь из Владимира ходят электрички. Через станцию Петушки. За окнами вагона нарастают, приближаются, а затем исчезают корпуса тракторного завода, исчезает и город Владимир. Владей миром...

Не совладал.

## 18.

Не люблю въезжать в Москву с этой стороны.

Не люблю районов шоссе Энтузиастов, Москвы-Товарной, Таганки, Курского вокзала... Другое дело: Кунцево, Щукино, Сокольники!..

"Москва - опять Москва.//Я говорю ей: "Здравствуй!//Не обессудь, теперь уж не беда.//По старине я уважаю братство//Мороза крепкого и щучьего суда..."

Как ни хорош какой-нибудь новый город - он без родства, без прошлого.

Чтобы заслужить репутацию, надобно изрядно потрудиться - не век, не два... "Трикраты с ужасом потом//Бродил в Москве опустошенной//Среди развалин и могил;//Трикраты прах ее священный//Слезами скорби омочил..."

Что делала бы поэзия национальная без Константина Николаевича? "Просите Пушкина именем Ариоста выслать мне свою поэму, исполненную красот и надежды, если он возлюбит славу паще рассеяния" - это из Италии 1819-го.

Батюшков - первопроходец многих пушкинских маршрутов. По следам Парни Пушкин ходил вослед за ним.

Еще в 1815-м Батюшков разглядел наследника. Правда, почему-то отговаривал его от эпикурейства, внушенного собственными же стихами.

Батюшков собирал сокровища мировой поэзии, отбросив узость национального эгоизма. К Тассу: "Позволь, священна тень, безвестному певцу//Коснуться к твоему бессмертному венцу..."

В Вологде родился, чтобы там же умереть. Делались попытки излечить его, поместив в больницу для душевнобольных в Зоннен-

штейне на четыре года. Не помогло. Потом Москва и вслед за нею - на двадцать лет сумасшедшего молчания - Вологда, в мечтах опричная столица...

Священна тень Батюшкова.

По дружеской простоте в другой раз, другая тень превращается Мандельштамом в ту, которая бьет баклуши...

Само имя Батюшкова, мне кажется, Мандельштам полюбил из-за ласкательности и уменьшительности его.

Батюшки, батюшка, Батюшкин...

- Кто ему дал право тыкать кому ни попадя! - возмущается ведущая-искусствовед. - Державину - ты, Фету - жирный карандаш, Лермонтову - мучитель, Языкову - опять же - ты!

- А чего с ними цацкаться! Небось свои, поймут что к чему, - вежливо возражает ей дядя с Гоголевского бульвара.

- Культурного человека всегда отличает вежливость, - обижается ведущая.

- Тогда считайте его бескультурным! - бросает дядя, выругавшись в сердцах, и исчезает в дверях продовольственного магазина...

Я шел дальше по бульварам. В начале одного по-прежнему тихо стоял Тимирязев, о чем-то размышляя. У стенда с фотографиями ТАСС остановился несовременник, певший когда-то про метро.

Далеко впереди различил горожанина с тростью, шагающего, как видно, в Замоскворечье, по улочкам и переулкам, в отливающем блеском цилиндре. А рядом идет Мандельштам, и они увлеченно перебрасываются остротами. И вновь, как много-много раз, как те самые цикады, вонзились строчки: "Шум стихотворства и колокол братства//И гармонический проливень слез.//И отвечал мне оплакавший Тасса:// - Я к величаньям еще не привык;//Только стихов виноградное мясо//Мне освежило случайно язык".

Чем корни глубже, тем крепче стоит дерево. Как же держится сосна над обрывом с обнаженными корнями?

Лабиринт подземных и надземных артерий, ходов сообщений - переплетаясь, соединяясь, объединяясь - для того, чтобы разъединиться, выводит все к новым и к новым отправным точкам, если таковые вообще есть, ибо до всякого начала, нам говаривают, что-то да было...

"Русская поэзия выросла так, как будто Данте не существовало. Это несчастье нами до сих пор не осознано. Батюшков - записная книжка нерожденного Пушкина - погиб оттого, что вкусил от

тассовых чар, не имея к ним дантовой прививки”, - писал Мандельштам в “Разговоре о Данте”.

19.

Я всегда хочу перечитывать Мандельштама. Например, “Четвертую прозу”: “У меня нет рукописей, нет записных книжек, нет архива. У меня нет почерка, потому что я никогда не пишу. Я один в России работаю с голосу... Какой я к черту писатель!”

Любопытно в этом месте привести пример из совершенно другого автора, Шукшина: “Записная книжка писателя”... Да ты писатель ли?! А уже - “записная книжка писателя”! Вот ведь что губит-то! Ты еще не состоялся как писатель, а уж у тебя записная книжка! Ит-ты, какие ползновения в профессию, а еще профессией не овладел! Вот это злит... Много злит... Слишком я уважаю эту профессию, слишком она для меня святая...” Это к вопросу о честности, о правде.

Я еще и еще раз хочу слышать: “Зашумела, задрожала, // Как смоковницы листва, // До корней затрепетала // С подмосковными Москва...”

Специально записываю стихи в прозаическую строчку: как их ни записывай - они звучат. Я хочу попросить читающего отложить все посторонние дела (и это чтение тоже) и произносить строки вслух, слышать их, говорить их, выговаривать. Умышленно записываю стихи именно так, а не иначе - по правилам.

Я хочу, чтобы у читающего они срывались с губ, хочу проверить звуки, проследить скорость произнесения их.

Для Мандельштама поэзия существует только в исполнении. Это путешествие обязывает нас произносить, исполнять.

Читая глазами, все равно ощущаешь в гортани произносительную работу. Самого произношения нет, но гортань, артикуляционный аппарат не бездействуют - они постоянно участвуют в чтении-произнесении. Стихи в данном случае звучат не вовне, а внутри, каждое слово произносится ровно столько, сколько необходимо для его произнесения времени, голосовые связки находятся в полной боеготовности-деятельности, слышимость произнесения в этом случае ничуть не хуже, чем когда идет работа вовне.

Теперь, когда улыбка двигала стих, когда умно и весело работали губы, можно пробежать глазами строки, где говорится о романес с

Тверского бульвара, с которыми Мандельштаму пришлось написать роман, не снявшийся им. Что это за роман такой?

Не было никакого романа. Была мандельштамовская усмешка, ирония. Он сознается в том, что любит встречать свое имя в официальных бумагах и что звук там весьма новый и интересный для слуха.

Глядя на эти бумажки, искренне удивляется, что это он все не так делает?! Что это за фрукт такой Мандельштам, который обязательно должен что-то сделать и все изворачивается?!

Оттого-то, горько усмехаясь, говорит он - и годы ему впрок не идут. Другие с каждым годом все значимее, солиднее, а он наоборот.

Видимо, для него обратное течение времени стало привычным, закономерным.

Как в одной притче, где у восточного мудреца спросили о стремительном беге времени, на что он ответил: не время бежит - вы проходите.

Перечитывая Мандельштама многократно, каждый раз по-новому, освобождаешься от необходимости заглядывать в тексты: его вещи прописываются в мозгу. Конечно, память иначе строит собрание сочинений, выдвигая на первый план ранее неприметные стихотворения.

Звучали иначе строки о богатой тетушке, у которой на бронзовом рояле стоял бюст работы Мирабо, где горки забиты фарфором и серебром... И сама тетушка вдруг разговорилась, как некая Мать Иванна. И сам Мандельштам нет-нет да ввернет эдакое словечко московское...

Потом и читателя пригласит поучаствовать в сотворчестве, поддержать автора: мол, такого быть не может, чтобы Бетховен бронзовый был Маратом.

А разве можно найти петербургские мотивы там, где он объезжает на трамвае "курву-Москву"? Так можно обратиться лишь к очень близкому человеку, который, что бы ты ни сказал, поймет непременно. И четырёхтрубные думы над городом, улицы в чоботах железных, и вся эпоха Москвошвея - свидетельство верности первой столице.

Отсюда пошла его разговорчивость, балагурство, просторечность. Даже лучшие петербургские вещи его не знают той открытости, какая есть в московских, условно называя, стихотворениях.

Здесь он мечется по табору темной улицы, слышит стук копыт - исчезают извозчики на Москве, здесь он ходит по бульварам, где видит спичечные ножки цыганочки, а во флигеле Дома Герцена сам проживает некоторое время...

Москва может быть им названа извозчицкой, что к Петербургу-Ленинграду при всем желании не приклеишь. И здесь живет Александр Скерцович и колют ресницы. И светоговорильня, уже точно, есть только на Москве-реке...

Не случайно Москва появилась в его говоре в изношенных башмаках с ласточками над головами прохожих...

20.

Часто бывает так: живет существо, не ведая, что ожидает его через день; знают об этом другие, предрешившие, расписавшие сроки, место, процедуры...

Разговор в машине:

Агнесса Васильевна:

- Нашатырем и усыпим. Пять уколов... Шприц, правда, барахлит...

Шофер:

- Клещами подержим... Агнесса Васильевна:

- Вчера в завод ходила, мужнины деньги получать. Собака такая - за месяц 180 рублей пропил. Нечто дело!.. Шофер сплюнул в окно.

На пригорке у подлеска появился хозяин с овчаркой. Агнесса Васильевна:

- Ах, какая симпатичная собачка!

Рыжий автомобиль, скрипя тормозами, остановился. Фельдшерлица, взяв маленькую сумочку с ветпричиндалами, тяжело вывалилась из миниатюрного для нее "Москвича".

Агнесса Васильевна (к хозяину):

- Да что вы, можно ли убирать такую красавицу? Жалко-то как!.. Лечить бы надо. Бром пить... Хозяин:

- Поздно пить...

Овчарка радостно поскуливала, улыбаясь, солнечные пятна скользили по гладкой черной шерсти... Шофер достал из багажника клещи: заржавевшие, огромные, вероятно чугунные, и на-

правился за Агнессой Васильевной, хозяином и собакой в глубь осинника. Дочка - так звали овчарку, - весело визжа, обнюхала свежую глину, внимательно поглядела поочередно на троих, окружавших ее.

Агнесса Васильевна (к хозяину):

- Вы нам не понадобятся.

Дочку взяли на поводок, подвели к хилой осине и привязали коротко под самый корень. Шофер, обхватив шею собаки клещами, что есть мочи прижал ее к влажной земле. Дочка взвизгнула, но глаза ее по-прежнему улыбались: "Наверно игра такая будет..." Агнесса Васильевна открыла пузырек с мутной жидкостью: пустота стеклянной трубочки шприца заполнилась...

Хозяин стоял на проселке у подлеска и глотал одну за другой таблетки валерьянки...

Потом он сунул в нагрудный карман белого халата фельдшерницы красную десятку, молча повернулся и пошел к Дочке. Глаза ее были открыты, намордник сполз в сторону, передние лапы свисали в яму...

21.

Всякая случайность несет с собой последующую закономерность.

Случайно, очень случайно я познакомился с сегодняшним моим собеседником. Впрочем, и не совсем, наверное, случайно...

10 августа 1972-го, душный вечер, напитанный дымом пожаров в окрестностях города. Горят торфяные болота, воспламенившиеся от открытого двухмесячного солнца - своеобразный жест природы, позволяющий более точно и верно представить себе...

А впрочем, стоит ли говорить о человеке, который как бы сам отрекся от всяческих мемуаров, исследований и биографий собственной жизни, говоря о своей памяти, что она враждебна всему личному и как ему хочется говорить не о себе, а следить за веком, за шумом и прорастанием времени.

Мы мало заботимся о фиксировании личной биографии, наша память направлена на другое, как нам кажется, более важное, чем собственная жизнь.

Страсть познания чужих жизней отбивает всяческую охоту следить за собственной.

Силимся воспроизвести наиболее интересные моменты своей жизни, но многое безвозвратно забыто, другое нечетко, размыто, третье приблизительно...

В четырнадцать лет Мандельштам, подготавливаемый своим отцом в равнины, попадает в Германию. Там изучает вместо талмуда - в Берлине он обучался в Высшей талмудической школе - немецкую поэзию, знакомится с трудами философов XVIII века...

В феодосийской семье раввина живет в это время мальчик, который изучает талмуд и желает стать раввином. Пока.

Они встретятся в мае 1920-го...

В Феодосии жил изумительный человек, знавший прекрасно поэзию, философию, читавший наизусть целые книги поэтов. С большими ногами, сгорбленный, но жизнелюб необыкновенный. Звали его Эммануил Ландсберг. По образованию юрист. Впоследствии занимал пост секретаря общества юристов в Ростове-на-Дону.

Квартировал он на Итальянской улице (III Интернационала). Постоянно у него собирались заезжие поэты, музыканты, художники, то есть люди искусства и интеллигенция.

Я тогда очень увлекся математикой и французским языком. Но дома царил атмосфера самовара и вечерних застольных бесед друзей и приятелей моего отца. Так что мне приходилось искать себе место для занятий.

Мой друг, большевик, жил на Карантине: название места, находившегося на отшибе при въезде в Феодосию, где проходили карантин приезжающие из Средней Азии и других мест. Я решил пойти к нему с целью получить разрешение на занятия. Но дома его не оказалось.

Мать, старушка, сказала, что он уехал и долго не вернется. Тогда я спросил у нее разрешение воспользоваться пустующим домиком.

Она мне разрешила.

С этого момента я целыми днями пропадал в этой избушке на Карантине. Перетащил туда книги по математике. Среди которых - книжка стихов Бодлера на французском языке.

Однажды - в мае двадцатого - в гостях у Ландсберга я узнал, что сейчас в Феодосии находится известный поэт Мандельштам.

Ландсберг всем о нем рассказывал и говорил о возможной встрече с ним.

На другой день он условился с поэтом, бродящим бесцельно по городу, о встрече и что тот почитает свои стихи.

Но как назло у Ландсберга заболел отец и нужно было искать место, где можно было бы принять Мандельштама.

Я сказал, что обитаю на Карантине в избушке, и что если поэт согласится, то пусть приходит ко мне.

Вечером того же дня приходит Ландсберг с Мандельштамом ко мне на Карантин. Первый был на костылях, второй в каком-то не по сезону надетом пальто.

На столе горела свеча и грудami валялись книги.

Мандельштам увидел книжку Бодлера, воскликнул: “Вы читаете Бодлера по-французски!” Я ответил, что это мой любимый поэт.

Мандельштам несказанно обрадовался.

Оказалось, что он обожает этого знаменитого француза. Он предложил читать Бодлера вслух.

Для меня, молодого человека, это была высокая честь читать с настоящим поэтом! Хотя мне было тогда 23 года, а Мандельштам был старше меня на 6 лет. Я вообще слабо разбирался в поэзии, кроме Шарля Бодлера, ничего не знал.

Но, увидев Мандельштама, я понял, что такое поэт!

Это человек, живущий стихами, дышащий ими... Для него ничего больше в мире не существует - он есть сам поэзия!

Во всем облике его было что-то нереальное: ходил он как-то плавно, то погружаясь, то выплывая, - как плясун пляшет вприсядку; голова откинута назад, и глаза высматривают будто корабли, уходящие в небо. Черты лица по сравнению с фотографией 1914 года заострены.

Но главное не это - главное стихи.

Как он их читал!

Задержка, пауза - как бы заикание, но нет - это любование словом, остановка на нем, его прояснение - каждое слово на цену золота - его подчеркивание.

Когда в 1922-м я попал в Петроград и остановился у композитора Глазунова, с племянницей которого я был в близких отношениях в Феодосии, он сказал в одном из разговоров, что Мандельштам упоминал феодосийского студента с Карантина, математика, читающего Бодлера на французском.

Ну а тогда Мандельштам был живым воплощением поэзии. Он жаловался, что ему негде жить, и спрашивал, нельзя ли было ему где-нибудь подыскать место для ночлега.



Я с удовольствием предложил ему мой обетованный Карантин. Жил он там три дня.

Днем убегал в город, но ненадолго. Большую часть времени мы проводили вместе.

На второй день он сказал: “Можно мне достать пирожное?” Я удивился - это в то время, когда был голод, когда умирали от недоедания, когда полыхала гражданская...

Но каким-то внутренним чутьем я понял его.

И для меня уже не была странной эта просьба.

Он же поэт, живет в другом мире, для него нет запретов и житейских истин, он дух какой-то...

Достали с большими трудами денег.

Повел я его в кондитерскую.

Он съел желаемое - три-четыре пирожных - и, ободренный, еще радостнее читал: “Сестры - тяжесть и нежность - одинаковы ваши приметы...”

Это стихотворение он написал, будучи у Макса Волошина в Коктебеле в марте...

На третий день Мандельштам не вернулся...

Так закончил свой рассказ Исаак Борисович Абельсон, старик в соломенной шляпе, ковбойке навыпуск, белых парусиновых брюках и сандалиях на босу ногу...

## 22.

Одно поколение накладывается на другое. Кратчайшее расстояние. Условное.

Граждане рождаются и умирают ежедневно, ежечасно, ежеминутно.

Это период морской волны, ритм Гомера. Или, как сказал Мандельштам, что прибор-первопечатник спешил за полчаса издать вручную гуттенберговскую библию под тяжко насупленным небом. Сто двадцатая волна отступает ни с чем, сто двадцать первая выносит на берег камень...

Один ленинградский писатель - А. Битов - в начале своих записок говорит, что небу Армении идет самолет. Возможно, но все-таки облака естественнее, историчнее.

Моим путеводителем по Армении стала строчка: “Орущих камней государство...” - развернувшаяся затем в документальную метафору.

Камень, выросший из камня, повторивший в себе учительскую мудрость труда человека. Больше всего приходится удивляться. Не тому - как можно было поднять эдакую глыбу на такую высоту? Нет. Как заговорил под руками каменотеса безмянный монолит, вырубленный в ущелье речки Агарцинки? Кто придумал солнечную розу часов такой затейливой формы на стене церкви св. Степаноса? Трудно поверить, что предки были искуснее, хитрее, смекалистей - у них не было самолета. Их труд - личный, сердечный, руками сработанный, поэтому единственный.

Удивляюсь Минасу, тому зодчему, который возводил Агарцин, на глазок и вдохновенно, соизмеряя небо с глазом и облако с камнем. Никакой вычурности - крестьянская простота, удобство, точность пропорций...

Вспоминая самолет ленинградского писателя, перефразирую: Третьяковке идет Сарьян. Он принес фруктовый базар в хмурую осеннюю Москву, оживил букетом цветов коммунальную квартиру, вынес душу своей нагорной страны, ее краски и небо, сказав, что в единстве человека-творца с природой следует прежде всего искать ключ к пониманию искусства времени прошлого и настоящего... Оглянитесь вокруг - повсюду каменная земля гор. Сколько сил нужно, чтобы обработать ее!

Приезжая в другой край, ищешь экзотики. Живя постоянно на одном месте, ее не замечаешь.

Со стороны - оно виднее.

Вжиться в музейность - значит потерять вкус к ней. Ценность в большей мере определяется сиюминутностью.

Кому нужен римский Колизей? А вот кинотеатр того же названия понадобился "Современнику". На римский динарий ничего не купишь, зато, обменяв его на расхожую монету, можно сытно отобедать в "Якоре".

Практичность - обратная сторона музейности.

Музейность входит в практику только по любви. То, что запало в твою душу, твое богатство, и пользуй его по усмотрению сердца и ума.

Течение жизни понять куда сложнее, нежели историю, какую-то часть ее, хотя бы самую малую. В чужом краю и смотришь на музейность. Отсюда и у Мандельштама возникали описательные строки. Даже метафоричность истинно мандельштамовская не спасает от банальных выводов: Армения - значит каменная, зна-

чит за горой, окрашена охрою и, если дать послушать вам орущего Манвеляна на футболе, - хрипяла.

Конечно, не упущен и чай, который все южане употребляют в большом количестве...

Впрочем, чай любят и москвичи, особенно зимой.

Странный вид являет собой бородач - Вл. Купченко - в холодной Москве: пальто будто с чужого плеча, вязаная шапочка с козырьком, борода с маленькими сосульками... башмаки на толстом ходу.

В электричке заводим разговор о том о сем. О том - хорошо на юге. О сем... Но, может быть, лучше почитать.

Бородач углубляется в статью о поэзии Вячеслава Иванова. Я открываю академические дантовские чтения. Что удивительно - попадаю на эпизод Уголино. Уголь... Уголек...

Вычитываю, что тонкий и талантливый анализ исповеди Уголино дан О. Э. Мандельштамом в его "Разговоре о Данте", на что уже обратили внимание, прокомментировав, в частности, музыкальные ассоциации и сравнения, к которым прибегает автор названного очерка.

Далее вижу за окнами знакомую станцию, но так как таблички не попадается, названия не припомню. Думаю, хорошо бы сейчас в Армении на камнях погреться... Но электричка бежит по морозным рельсам.

Интересно, что, по замечанию Мандельштама, рассказ Уголино звучит в оболочке виолончельного тембра, густого и тяжелого, как прогорклый, отравленный мед.

Бородач отворачивается от бьющего сквозь стекло солнца. Меняет очки, надевая менее сильные.

Что же общего между этими далековатыми и разноплановыми предметами - медом и виолончелью?

Надо перекурить для ясности. К сожалению, бородач не курит. Иду один в тамбур. А там, глядь, дядя с Гоголевского. Вот так встреча! Спрашиваю, куда, мол, путь-дорога?

- В тупик Льва Толстого, - отвечает. - Литературовед (А. Горловский) небось уж бегаёт по тупику, ждёт, грибочки, можно сказать, расставляет, водочку запотевшую из холодильника достает...

- Где же тупик такой интересный отыскался? - спрашиваю.

- Известное дело - в Загорске. Статью этого из тупика читал "Тютчев и Волошин"... Вот и еду поговорить. Заинтересовался.

Хорошая статья... Одна дама на днях сообщила, что будет писать "Маяковский и Волошин"... Я б сказал, пишите, конечно, все эти "и", но не могу сказать, язык не поворачивается. Все эти парные натяжки не более чем игра в домино: подогнать рыбу! - дядя с Гоголевского смотрел в треснутое стекло автоматических дверей электрички. - Получается, как билет на закрытый просмотр - один на два лица. Одно лицо известное, принимаемое всюду, а другое проводимое, протаскиваемое! А может, так и нужно, не знаю...

Покулив и выслушав дядю, вернулся на место против бородача у окна.

Мед и виолончель. Не произвольно ли такое их сближение?

Оказывается, общее - в их тягучести, медлительности. Во-первых, у Мандельштама сказано, что в мире не существует силы, которая могла бы ускорить движение меда, текущего из наклоненной склянки. Во-вторых, густота виолончельного тембра лучше всего приспособлена для передачи ожидания и мучительного нетерпения. Виолончель задерживает звук, как бы она ни спешила.

Как бы ни спешила электричка, в Загорске будем через полтора часа. Если ранее не сойдем. Бородач говорит о фондах музея, о книгах необходимых, о важных телефонных звонках.

Думаю, Москва ему представляется пчелиным ульем: не пересчитать сот, в которых есть номера телефонов...

Но ведь речь шла не просто о меде, а об отравленном меде! Дальше вычитываю, что этот образ, навеянный прежде всего горечью самого сюжета, вызван еще и некоторыми ассоциациями, характерными для русскоязычного восприятия данного итальянского текста. Сладкий мед, пропахший горьким дымом, - мед поэтому прогорклый, отравленный - не этот ли комплекс представлений навевал Мандельштаму соответствующий образ в связи с монологом Уголино?

Кстати, мне напоминают, что самое имя Уголино в русском языковом сознании кажется созвучным слову уголь: уголь в меде. И вспоминается поговорка сразу "ложка дегтя в бочке меда".

Бородач отвлекает меня, спрашивая, нет ли лишнего журнала со статьями о Вячеславе Иванове. Нет, отвечаю, но обязательно достану для фондов его музея. Потом он предлагает, коль уж по пути, заглянуть в Мураново. Соглашаюсь, с гостями принято соглашаться. Значит, ходим на Ашукинской...

Конечно, сложнее объяснить виолончельность рассказа Уголино. Что интересно, в сегодняшний морозный день колеса электрички звучат куда выразительнее, чем несколько дней назад, когда стояла плюсовая погода, и я куда-то ездил. Апелляция к чьему бы то ни было языковому сознанию здесь уже в значительной мере теряет смысла во всяком случае нельзя свести вопрос к игре тех или иных слов и звуков. Кстати, поясняют мне, автор “Разговора о Данте” (вижу дядю с Гоголевского, предлагающего написать “и” - “Мандельштам и Данте”...) допустил одну ошибку, приведшую к некоторым преувеличениям. Перепутал ледяную яму из девятого круга с обычной тюрьмой, где окошко для борща резонирует, обуславливая речевую работу надзирателя автобиографической виолончелью.

На Ашукинской выходим к остановке автобуса, который ожидается лишь через час. Решаем двигаться пешком. Какой-то молодежавый старик подсказывает направление: шагайте по шоссе...

Прозрачное, мутноватое, как легкий туман, домашнее вино из крыжовника заливается водой, вытекающей медленно из-под ледяного наста, по которому спокойно передвигается бородач.

Миновав липовую аллею, традиционную для барских усадеб, выходим к дому. Дергаем ручки белых застекленных дверей: закрыто. Оказывается, в зимнее время музей открыт будет завтра, но не сегодня. Сегодня четверг, дождя не было. Ясная прозрачность полей, елей, сходящихся на горизонте лесом, подкрашивается тихим негреющим солнцем. Обалдевшая листва лип безосеннего года (опасть было некогда) контрастирует с морозом, солнцем, днем чудесным и так далее.

Бородач огорченно озирается, ища глазами какую-нибудь живую душу. Потом направляется к длинному, конюшенного вида сооружению. Дверь со скрипом открывается. Входим. Дверь слева также подается. Голос оттуда сообщает: музей закрыт. Бородач наступает голосом: мол, что ж, закрыт, ведь, почитай, за тысячу верст ехал. Голос из-за двери воплощается в милостивую молодую женщину, впоследствии назвавшуюся Катей.

Вот уж ключ в замочной скважине, вот и переступаем порог с заднего крыльца. Подвязываем тапочки. Катя в шубке меховой, будто видение Авроры, но, как видно, с русским именем.

В Большой гостиной среди фамильных портретов участников исторических событий XVIII-XIX веков Катя пытается рассказывать, вернее, по-экскурсоводовски доложить: что, как и почему. В конце концов она оставляет нас в одиночестве.

В музее оставила без присмотра. И вот один не относящийся к делу факт: летом Катя приехала в Коктебель, но хранитель Музея Волошина - бородач - не допустил ее в дом! Машинально, наверное, коль уж никого не пускать, то... А она-то нас пустила, в нерабочий день, в мороз, чаем напоила, у печи посадила...

Баратынский строил-строил, да так и не пожил как следует здесь, Тютчев был случайно и всего несколько раз, Гоголь однажды проездом из Абрамцева заночевал в жабе-кресле...

Музей, не бывший домом.

Где бы отыскать место для музея Мандельштама? Хотя Мандельштам и музей - из того же разряда домино, собирающегося превратиться в рыбу.

Как там было сказано о том, что не мучнистой бабочкою серой тело он вернет земле, а мечтает превратиться в улицу, в страну?

Из любого музея возвращаешься к людям: в баню ли, на стадион, на службу, в столовую, в продмаг, в больницу... Музей остается в стороне. Музей для туриста. Так ли? Не так. Ну а, может быть, так, через музей, по-мандельштамовски войти в улицу, к горожанам:

“Грянет ли в двери знакомое - ба!//Ты ли, дружище? Какая издевка!//Долго ль еще нам ходить по гроба,//Как по грибы деревенская девка!..//Были мы люди, а стали людье,//И суждено - по какому разряду...”

Какие-то полуразвалившиеся, выщербленные надгробия неважно какого века, заросшие по колено травой, напоминают о неизменном, одностороннем течении времени, западая в память как осколки иного чуда иного народа, в котором тем не менее узнаешь и свои черты и, наконец, пробиваешь брешь в непонимании всего того, что не сиюминутно, что музейно и жизненно одновременно.

23.

Жизненность писателя еще раз подчеркивает кладбище.

Некоторым так и не удалось добраться до него, а некоторым, как, например, Грибоедову, - с большими трудами.

Случались и грустные похороны. Такие были у Аполлона Григорьева. На них пришли его приятели - Страхов, Аверкиев, Достоевский, композитор Серов.

За несколько дней до смерти Григорьева вызволила из долговой тюрьмы некая генеральша. И вот теперь на похоронах были его сожители по долговому отделению, напоминающие выходцев из царства теней.

По дороге с Митрофаньевского кладбища зашли в кухмистерскую. Выпили водки. Помянули. Говорили о покойном. Произносили более или менее хмельные спичи.

Дружбу с Григорьевым мало кто водил. При встрече предлагалось непременно отдать честь Бахусу...

И все же - таких бедных похорон бывает мало. Хотя... А в литературном мире, в городе похороны Аполлона прошли почти что незамеченными.

Страхов лишь хлопотал об издании его сочинений, очень высоко ценил Григорьева и талант его.

“Басан, басан, басана, // Басана-та, басана-та, // Ты другому отдана // Без возврата, без возврата...”

“Яма” - так называлась долговая тюрьма - продолжала принимать посетителей и была большим пугалом для писателей.

За новгородской Софией похоронен Державин. Аккуратный, не величественный, постамент, плита, даже не мраморная, по-моему. Только что вышел из Софии, где экскурсовод по Новгороду устроила прослушивание “Всенощной” Рахманинова. Где-то в притворе стоит проигрыватель и крутит обычную пластинку. И уже откуда-то сверху, сбоку, сзади - возвышая регистры, проникая в нутро, надо всеми нависло роковое добро. А Державин не слышал Рахманинова... Или нет. Он сейчас и слышал! Вот и книга его на полке стоит. Вот и Мандельштам запросто обращается к нему: “Сядь, Державин, развалился - // Ты у нас хитрее лиса, // И татарского кумыса // Твой початок не прокис...” Все признаки жизни.

Вот и сам Гаврила Романович говорит, что ежели благосклонно приняты будут пиесы, то не замедлится второе издание в двух

частях, лучше размещенное и исправленное, с присовокуплением нарочитаго количества новых пьес; а может быть, ежели искусные граверы найдутся, и с виньетами...

По нашей с Мандельштамом просьбе Державин опустил в вольтеровское кресло, задумчиво взглянул на нас, откашлялся, поправил голубой бант на шее и негромко начал: "Я связь миров, повсюду сущих..."

Лишь коснувшись темы, мелодия исчезает. Я смотрю на свою фотографию у могилы Державина. Кладбище подчеркивает жизненность. Все мы вместе живем, только в разное время. Мне не хочется хронометрировать взаимоотношения поколений. Мы путешествуем по улице, где все живут разом. Можем, конечно, не застать дома, к примеру, Чаадаева, но уж Боборыкин наверняка у себя. Возможно, отлучился в Феодосию Волошин, но уж такой домосед, как Вяземский, верно, никуда не ушел. Что уж говорить о Григорьеве, Помяловском - они точно попадутся нам навстречу.

Вон и Буренин приехал из Москвы, где сошелся с Плещеевым. Только что сообщили, что журнал Достоевского "Время" запрещен за весьма невинную статью Н. Н. Страхова о польском вопросе, а "Современник" и "Русское слово" - вообще за направление.

А вот и Павел Якушкин, после болтовни, смешков и прибауток: "Наши славянофилы-то, коренные, Киреевские и Аксаковы читали книжки. Немецкие! Свою теорию русского народа вычитали у философов-немцев!"

Вот и Салтыков, ругаясь вовсю (слыл матерщинником), режется в карты с Некрасовым. Вот и Писемский, как всегда не бритый, почесывает свою жирную и волосатую грудь, сочиняя "Взбаламученное море".

Вот она - пишущая братия XIX века, а тут и XVIII недалече. Будто об этом: "Изменяется контур горбатых изломов порыжевшей спины между морем и небом//Вулканических гор.//Изменяются краски, тона и оттенки, окруженного садом, знакомого дома//С давних пор.//Изменяется плавность колец винограда, равнодушного к битве за жадную влагу//В этот зной.//Изменяются люди. Иных уже нету, те - в неблизкой дороге, а эти на море...//Разбрелись кто к у д а.// И собрать воедино разобщенные жизни//Невозможно. Почти что".



24.

Державин живет в Новгороде. Так я думал раньше. Оказалось, что там лишь плита с его могилы из-под Новгорода, где он был похоронен в одном из монастырей, взорванном немцами.

На цоколе памятника “Тысячелетие России” в разделе “Писатели и художники”, самом небольшом, включающем всего 16 фигур, рядом с Ломоносовым сидит Гаврила Романович.

Ваяльные изображения памятника представляют шесть главных эпох русской истории. В пяти периодах никто не сомневается, но был ли Рюрик? Бог его знает! Споров на эту тему предостаточно...

Волхов по-прежнему несет свои воды, унесшие некогда тысячи жизней. Летописец свидетельствует, что зима 1570-го выдалась необычайно суровой: одни опричники бросали в Волхов связанных по рукам и ногам женщин и детей, а другие развезжали по реке на лодке и топорами и рогатинами топили тех, кому удавалось всплыть.

Опальных жгли на огне некоею составною мукою огненною. Подвешивали за руки и поджигали у них на челе пламя. Замученных, продолжает летописец, привязывали к саням длинной веревкой, волокли через весь город к Волхову и спускали под лед. Избивали не только подозреваемых в измене, но и членов их семей. С женами расправлялись на Волховском мосту. Связанных женщин и детей бросали в воду и заталкивали под лед палками.

Новгород продолжает жить. И словно к нему Мандельштам обращается: “Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма.//За смолу кругового терпенья, за совестный деготь труда,//Так вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима,//Чтобы в ней к Рождеству отразилась семья плавниками звезда...”

Ивана же Грозного на памятнике нет.

Выброшен из истории.

25.

“А в недорослях кто? Иван Великий - //Великовозрастная колокольня,//Стоит себе еще болван-болваном//Который век. Его бы за границу,//Чтоб доучился. Да куда там!.. Стыдно”.

“А в Угличе играют дети в бабки...” “Григорий://Давно, честной отец,//Хотелось мне тебя спросить о смерти//Димитрия-царевича; в то время//Ты, говорят, был в Угличе...”

Впрочем, стоит ли вспоминать Бориса, когда его знают с младых ногтей?

В Троице-Сергиевой лавре, куда я зашел купить набор открыток в киоске, увидел семейный склеп-усыпальницу Годуновых. До этого я его как-то умудрялся не замечать. А тут и поехал вроде в магазин за хлебом да сахаром на велосипеде и уже на обратном пути решил взять набор видов лавры.

Так вот, стало быть, где лежит царь Борис! Отсюда и до Углича недалече.

Как в сказке о дорогах, куда бы ни поехал - всюду что-то знакомое есть...

Видов в киоске не оказалось.

Вышел из ворот лавры. На площади черные старухи бросали хлеб голубям. Сел на велосипед и всю дорогу, пока ехал полем, потом кладбищем, превратившимся в березовую рощу, перелеском, опять полем, - в голове звучало: цари, цари...

Хлебниковские вещи и раньше приходили на память. Обрывочно, строками, словами. Но тут я разглядел какую-то неуловимую связь с Мандельштамом, ту льнянокудрую разноголосицу магазина, московских улиц... И Борис по-новому представился, и Пимен заговорил иначе. Келья его в Святогорском монастыре вспомнилась не как музейная, но обжитой, с крошками хлеба на столе, с кринкой молока и огарком свечи, с запахами дерева, камня, земли и человеческого дыхания... Быть может, Мандельштам ее увидел такой же? Григорий показался ему давно знакомым, и мысль случайная мелькнула о неких совпадениях косвенных...

“На розвальнях, уложенных соломой, //Едва прикрытые рогожей роковой, //От Воробьевых гор до церковки знакомой //Мы ехали огромною Москвой... //По улицам меня везут без шапки, //И теплятся в касовне три свечи... //Царевича везут, немеет страшно тело - //И рыжую солому подожгли”.

Будто бы он - Григорий и только что Пимен ему сообщил, что Димитрий ему ровесник. Действовать нужно быстро и решительно. Он совсем НЕ ТОТ, кто он есть, он другой - самозванец... “По улице меня везут без шапки...”

Свое самозванство Мандельштам ощущает еще подсознательно. САМОЗВАНСТВО НА ЗВАНИЕ РУССКОГО ПОЭТА.

Оно преследует его всю жизнь, это сомнение в настоящести происходящего, это доказывание: “Пора вам знать, я тоже современник...” - читай - не сторонний, свой, ваш. И тут же: “Чур! Не просить, не жаловаться! Цыц!//Не хныкать! Для того ли разночинцы//Рассохшие топтали сапоги, чтоб я их нынче предал?”

“А в Угличе играют дети в бабки...”

По поводу этого угличского стихотворения один из комментаторов обмолвился даже о неославянофильстве Мандельштама, таинственности и неопределенности этой вещи.

Не в поименовании дело - он ведь не Димитрий убиенный! Он - Гришка Отрепьев... Димитрия связанным никто никуда по Москве не вез. Везут Лжедмитрия I, поэтому: “Ныряли сани в черные ухабы,//И возвращался с гульбища народ...”, “Царевича везут, немеет страшно тело...”. У Пушкина: “Марина://Постой царевич. Наконец//Я слышу речь не мальчика, но мужа...”

Через девяносто один год после этой фразы Мандельштам представил себя самозванцем.

26.

“С приятельской беседы возвращаясь,//Веселых и приятных мыслей полон...”

Ганнибалова вотчина сохраняет свои девственные черты при наличии даже музейности. Здесь все изначально крепко. Век девятнадцатый, моложавый, будто не покидал эти холмы, рощи, озера...

Как невозможно пройти вверх по течению на утлой лодке по горной реке - постоянно сносит назад, - так же невозможно достичь будущего, не оказавшись в прошлом.

Настоящее как бы само собой снимается: мы то на три четверти корпуса в будущем, то на целый корпус лодки в прошлом. Никак не удается попасть в сейчас.

Настоящее бесконечно ничтожно, но, раскладывая себя на будущее и прошлое, - огромно. Поэтому период настоящести растянут до непостижимости.

Современность пространства оспаривать не приходится, оспариваем современность времени.

Отсюда мудрый изобретатель циферблата, безымянный некто, замкнул по кругу настоящее, чтобы оно никуда и никогда не убежало и чтобы его никто и никогда не смог пощупать.

Который час? 12. Но ведь недавно было 12? Эти 12 сегодня, а не вчера. Вчера вы говорили, что тоже “сегодня”. Вы всегда в сегодня, поэтому всегда в завтра и всегда во вчера... “Не говорите мне о вечности, я не могу ее вместить...”

Каждое размышление законно в пределах самого себя, но, будучи выброшенным наружу, из делаемой вещи, как воздух из воздушного шара, смешивается с окружающим, уже не представляя никакого интереса, оставив по себе, как тот же шар, резиновую память, обвисшую на длинной, некогда симпатичной, а теперь отвратительной веревке.

С таким же основанием каждое произведение искусства законно в пределах самого себя. Законно, значит, аргументировано культурно-историческим опытом достигнутого и достигаемого, развитого и развивающегося, ушедшего и непршедшего.

В пределах символизма совершенно законна роза, действующая как солнце, не через метафору, а напрямую. Но и законность иногда, в чем парадокс, бывает незаконна. Идет постоянная оглядка на главное произведение: речь, говор горожанина и его реальный быт, ибо возникает угроза вернуться в добытие, где все есть, кроме речи, звука согласной, мелодии гласной, самой жизни, в искусстве называемой образом.

От этой боязни ухода - акмеистический укор символизму: “...роза - подобие солнца, солнце - подобие розы, и т. д. Образы выпотрошены, как чучела, и набиты чужим содержанием. Получилось крайне неудобно ни пройти, ни встать, ни сесть. На столе нельзя обедать, потому что это не просто стол. Нельзя зажечь огня, потому что это может значить такое, что сам потом не рад будешь...”

Но, с другой стороны, если имя есть символ, а язык состоит из них, то все производные языка - чистойшей воды символизм. И вот здесь - возвращаясь - мы подошли к настоящести. Символ, читай - имя, слово - минуется нами с такой же легкостью, как настоящее, как сейчас, сию минуту.

Я вижу, воспринимаю слово “стол”, но в то же время я не его вижу, и оно (слово) мне не нужно, я вижу не его, а нечто плоское на ножках и, допустим, где можно обедать, то есть образ.

Быстрейшее прохождение через слово-символ к образу, не застревающая на слове, возможно лишь совершенным знанием речевой материи, сплошь сотканной из слов-символов.

Пушкин лишь называет: Минерва, Элизиум, Эпидей, Эос, грации, Менелай, Тантал... убегая дальше, не разъясняя, что же значат эти слова. Мы же запотевшие, как семидесятилетние старцы (слышу упрек переводчика "Потерянного Рая"), тащимся едва-едва, чтобы не упасть. Лезем в словари, идем в библиотеки.

А ведь Мандельштам не менее быстр. Поэтому между ними расстояние минимально, всего каких-нибудь два квартала, где перебежки возможны чуть ли не ежедневно...

"Вскипела кровь. Он мрачен стал//Пред горделивым истуканом//И, зубы стиснув, пальцы сжав,//Как обуянный силой черной,//"Добро, строитель чудотворный! - //Шепнул он, злобно задрожав, - //Ужо тебе!.."

"И за это, отец мой, мой друг и помощник мой грубый,//Я - непризнанный брат, отщепенец в народной семье - //Обещаю построить такие дремучие срубы,// Чтобы в них татарва опускала князей на бадье...//Я за это всю жизнь прохожу хоть в железной рубахе//И для казни петровской в лесу топориче найду".

"И, озарен луною бледной,//Простерши руки в вышине,//За ним несется Всадник Медный...". "И с той поры, когда случилось//Идти той площадью ему,//В его лице изображалось//Смятение. К сердцу своему//Он прижимал поспешно руку,//Как бы его смиряя муку,//Картуз изношенный сымал,//Смущенных глаз не подымал//И шел сторонкой..."

"А над Невой - посольства полумира,//Адмиралтейство, солнце, тишина!//И государства жесткая порфира,//Как власяница грубая, бедна. //Летит в туман моторов веренида;//Самолюбивый, скромный пешеход - //Чудак Евгений - бедности стыдится,//Бензин вдыхает и судьбу клянет!"

Это постоянная переключка, это родство и соседство, это не "проигрыш" (проигрывание, как на патефоне) пушкинских образов, это - для скорейшего и точного понимания. Здесь нет повернутости прошлого в будущее, как нет и обратного хода, здесь есть тот самый Евгений, как тот самый Брунетто Латини есть и всегда будет у Данте - в разлитости настоящего. Никакого фатализма, предрешенности, конца - все в движении: "Вы помните, как бегу-

ны//В окрестностях Вероны//Уже разматывать должны//Кусок сукна зеленый?”

Мы угодили в школу быстрееших ассоциаций.

27.

Вот и я посетил уголок Ганнибаловой вотчины, где река до краев заполняет безграничные границы двух озер - Маленца и Кучане.

Перейдя белый решетчатый мостик, увидел старца в кепочке и с одним болтающимся рукавом зеленой рубахи - другой рукав был подвернут, обнажая загорелую, крепкую еще руку. Он нагнулся к земле и подобрал конфетные фантики, кем-то брошенные на песчаную дорожку...

Михайловское - вычищенная, ухоженная, прибранная этой заботливой рукой прихожая в русскую поэзию. Кто вошел в нее, тот уже в следующий раз вправе повторить: “Вновь я посетил...”

Тот, кто путешествует по улице Мандельштама, может быть, скажет: “Неужели я настоящий//И действительно смерть придет?” Этот младенчески наивный вопрос, заданный Мандельштамом, в свое время был камнем преткновения для философов. И примером тому - шпенглеровский “Закат Европы” с его историей - царством судьбы, отрицанием культурной преемственности, с его цветами-культурами, вырастающими в независимости друг от друга...

В этом: “Неужели я настоящий...”, то есть растянутости настоящести до непостижимости, соприкосновение с “конкретной” вечностью культуры, вхождение в нее, - в этом сомнение поэта, а не в вульгарном - я это или не я; мое это тело или не мое. Но в таком случае почему: “И действительно смерть придет?” Вероятнее всего, в противовес той, другой вечности, абстрактной, которую нельзя вместить.

Возвращение к индивидуальному, жизненно-конкретному, человеческому. Да, он настоящий, и поэтому смерть к нему не пришла, в том понимании, в каком она не пришла к Данте, к Пушкину, в гостях у которого я был, мед-пиво пил, по усам не текло, ибо не терплю растительность на лице, кругом Тригорского ходил и думу свою думал. А теперь вам предложил, не обстрогав.

28.

Очевидцы описывают то, что припомнили, а припомнили они то, что видели... Они не видели и не могли видеть поэта в его рабочем уединении. Они видели его в гастрономе на улице (хотел написать - Горького) Тверской, покупающего ветчину, и отпускали шуточки в его адрес, кто-то его видел в Чердыне, кто-то - в Воронеже...

А сам он все хотел обратиться к Александру Ивановичу Герце-ну, хотел представиться. Сказать, будто в его доме что-то произошло и он, как хозяин, в ответе за это.

Но обратиться было не к кому, поскольку барин отбыл за границу... В одно слово - "заграницу" - как мы говорим: поехал домой.

"...О тосканец, путешествующий живьем по огненному городу и разговаривающий столь красноречиво! Не откажись остановиться на минуту... По говору твоему я опознал в тебе гражданина из твоей благородной области, которой я - увы! - был слишком в тягость..." - собственноручный перевод Мандельштама из 10-й песни "Ада". 1933 г.

Трудно назвать другого поэта, у которого бы столь широко звучала дантовская тема. Данте - проводник его по московским, ленинградским, тифлисским, воронежским... улицам. С ним он путешествует по огненным городам, слышит бойкую речь горожан. Мандельштам помнит жесты, ухмылки, остроты Данте, будто они старые приятели, будто и не расставались никогда.

Почтение, по-моему, не там, где говорят "Вы", но там - где вас пытаются понять, поговорить с вами, услышать вашу речь.

Мандельштам постоянно беседует с великим итальянцем, ведет споры, противоречит, удивляется его смекалке, а потом и нам поведывает о разговорах с ним. Говорит, что Данте бедняк, что он сродни нам, что он внутренний разночинец римской крови.

Во всех этих рассказах Мандельштам сверяет себя с ним. Здесь характерное отсутствие любезности, неумение себя держать, незнание, как сказать, как ступить, как поздороваться.

Словно опасаясь, что ему не поверят, Мандельштам оправдывается: нет, это он не выдумывает, не сочиняет - все это он нашел у самого же Данте, в его признаниях, рассыпанных в "Божественной комедии".

Вспоминаются ранние строки Мандельштама, в которых говорится о скальде, складывающем на свой лад старые песни, о том, что творчество есть в какой-то мере перепев давно сказанного, известного, ибо ничего нового нет под солнцем, но всегда со своим отношением, выстраданным, пропущенным через себя. И все, что создано до тебя, есть блаженное наследство, которое мешает спокойно жить, на которое постоянно оглядываешься...

Возвращения к прошлому так же обычны, как мечты о будущем. Один старичок (Владимир Михайлович Зверин), живший некогда на Садовой, а теперь обитающий в коммунальной квартире четвертого этажа дома на Патриарших, любит вспоминать двадцатые годы.

Он наливает пришельцам чай из коричневого эмалированного чайника, предлагает печенье и сухари.

- Помню, Каверин начинал талантливо, а потом сорок лет переписывал старье. Но я не об этом. Кто-то постоянно крадет у меня книги. Заболоцкого двухтомник увели, - сожалеюще говорит старик, прихлебывая чай. - Помню, когда один мой знакомый собирал "осипиану", встретил его единственный раз в жизни улыбающимся. Ехал в тридцать первом троллейбусе - гляжу, сидит в скверике и улыбается. Вышел я на остановке. Подхожу. Спрашиваю, что, мол, настроение приподнятое. А он говорит - книгу сдал в издательство, вот и веселый. Я-то знаю, как эта книга собиралась. Да и история с тетрадкой. Ведь сжег ее...

Старик не может заснуть до четырех утра: читает. Редко встретишь таких добросовестных читателей. Он иногда, даже не прочитав книгу, не раскрывая, знает наперед, что там написано. Он бытует среди книг. Он в кольце книжных стеллажей, полок, шкафов, тумбочек. Книги на столах, на стульях, под кроватью, на подоконнике. Старик носит видавшие виды очки, одно стекло которых замазано белой краской - болят глаза.

Он много прочитал книг, он многое повидал, он почти все знает, он ходил по двадцатым годам, как я хожу по Бронной, он любит предлагать чай гостям и с удовольствием рассказать что-нибудь...

Точно так же, как он мой современник, он современник Госиздата, "Академии", Сабашниковых, Гершензона... Мандельштама. Он... Впрочем, старик не любит, чтобы его хвалили. Он любит, когда с ним говорят, спорят, рассказывают новые анекдоты и читают собственные стихи.



В стихотворениях Мандельштама Данте присутствует столь же реально, как в моей жизни участвует старик, дядя с Гоголевского, ведущая-искусствовед, чернобровая художница, бородатый хранитель фондов, крокодил Гена, главный редактор толстого журнала. Мандельштам всеми силами старается приблизить к нам Данте, ввести его в круг современных забот: купить билет в кино, из которого, как после хлороформа, выходят зрители, повести его на разлинованные дорожки стадиона, на ипподром, предложить на худой конец стакан газировки.

Данте - современник: его обуревают внутреннее беспокойство, он на каждом шагу не уверен в себе, он не умеет в быту применить свой опыт.

И разве все это говорится не о себе, разве Мандельштам не разночинец: "Для того ли разночинцы рассохшие топтали сапоги, чтоб я их нынче предал?", разве он не бедняк: "Еще не умер я, еще я не один, // Покуда с нищенкой-подругой // Я наслаждаюсь величием равнин // И мглой, и голодом, и вьюгой. // В прекрасной бедности, в роскошной нищете // Живу один - спокоен и утешен... ", разве для него характерна любезность: "...а вокруг густопсовая сволочь пишет. Какой я к черту писатель! Пошли вон дураки!" - и разве он умеет себя вести, знает, как ступать, как поклониться: "Я человек эпохи Московшвея, // Смотрите, как на мне топорщится пиджак, // Как я ступать и говорить умею! // Попробуйте меня от века оторвать! - // Ручаюсь вам, себе свернете шею!"...

Себя не в силах обойти, о ком бы и о чем он ни писал. Только личный опыт, собственное богатство, ум и сердце позволяют так говорить о Данте, как это делает Мандельштам, даже в самые трагические ситуации, возникающие в комедии: "Подобно тому, как голодный с жадностью кидается на хлеб, один из них, навалившись на другого, впился зубами в то самое место, где затылок переходит в шею..." Эпизод Уголино. Уголь, уголек с виолончельным тембром в бочке меда.

Мандельштам, продолжая звучание, добавляет, что все это приплясывает дюреровским скелетом на шарнирах и уводит к немецкой анатомии. Ведь убийца - немножко анатом. Ведь палач для средневековья - чуточку научный работник... Доктор Гильотен в этом смысле также чуточку научный работник. Он интервьюировал парижского палача Самсона. Спрашивал его о неудобствах казни мечом. На что Самсон отвечал: действительно неудобство выхо-

дит. Стоит себе какой-нибудь граф, а голову-то неровно держит. Поди попади точно! Так приходилось по нескольку раз рубать, как котлету. Дошло до того, что осужденные, обнаглев, справлялись о состоянии меча: остр ли? Да и мечи быстро выходили из строя. Наготовься поди! Один стоит 600 ливров. Самсон просит изобретения поддержки для тела казнимого, которая бы предоставила свободу действиям палача. Подумав как следует, доктор изобрел машину. Все неудобства казни с успехом были разрешены: два столба... падающий меч. Гильотина.

“В игольчатых, чумных бокалах//Мы пьем наваждение причин,//Касаемся крючьями малых,//Как легкая смерть, величин.//И там, где сцепились бирюльки,//Ребенок молчанье хранит - //Большая вселенная в люльке//У маленькой вечности спит”.

29.

Отсутствие страха. Нежность и доброта. “Нельзя, чтоб страх повелевал уму,//Иначе мы отходим от свершений,//Как зверь, когда мерещится ему...”

Какие только эпитеты не прилагали к страху: низменный, жалкий, безумный, трусливый, гнусный, животный!.. Но страх самый обычный, обыденный, будничны́й - страх остаться без денег, страх не угодить начальнику, страх перейти улицу перед быстро идущей машиной, страх, нисходящий до испуга, и испуг, восходящий к страху, - не воспринимается нами как что-то действительно низменное, отвратительное. Это вполне законный житейский страх, страхулька, страшок.

Но, в сущности, все это будет называться не страхом, а боязнью.

Страх есть страх.

И только.

Все остальное - страстишки.

Страх велик в своей разрушительной силе. Он противоборствует любви, чести, надежде, гордости, состраданию - старым прописным человеческим истинам.

Без преодоления страха, без его уничтожения произведение писателя обречено на гибель. Постичь бы это и навсегда забыть о страхе.

Мандельштам из тех людей, кто преодолел страх, кто в борьбе с ним, в постоянной схватке одерживал над ним победу.

Из этих битв, борьбы, схваток можно составить целую антологию. Это смертельные схватки, порою с временным, минутным отказом от борьбы для того, чтобы с новой силой идти на приступ его и, побеждая, победить, довести победу до триумфа. “Не говори никому, // Все, что ты видел, забудь, // - Птицу, старуху, тюрьму // Или еще что-нибудь...”, “Куда как страшно нам с тобой, // Товарищ больше ротый мой! // Ох, как крошится наш табак, // Щелкунчик, дружок, дурак! // А мог бы жизнь просвистать скворцом, // Заест ореховым пирогом... // Да, видно, нельзя никак”, “Помоги, Господь, эту ночь прожить: // Я за жизнь боюсь - за Твою рабу - // В Петербурге жить - словно спать в гробу”, “После полуночи сердце ворует // Прямо из рук запрещенную тишь, // Тихо живет, хорошо озорует - // Любишь - не любишь - ни с чем не сравнишь... // Так почему ж как подкидыш дрожишь?”, “Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязи, // Ни кровавых костей в колесе, // Чтоб сияли всю ночь голубые песцы // Мне в своей первобытной красе”...

Это противоборство, эта борьба доходит до кульминации: “Колот ресницы. // В груди прикипела слеза. // Чую без страха, что будет и будет гроза. // Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. - // Душно, и все-таки до смерти хочется жить!”

Одерживая постоянную победу над страхом, Мандельштам всецело завладевает слушателем, потому что говорит не о теле, но о душе, об извечных человеческих страстях, переливая силу духа в присущие только ему одному образы, выверяя их категорией правды.

Исходя из этого:

**ПРАВДА - ПОБЕДА НАД СТРАХОМ.**

К этой победе восхождение началось еще в 1912-м: “Я чувствую непобедимый страх // В присутствии таинственных высот... // И вся моя душа - в колоколах, // Но музыка от бездны не спасет!” Страшно подыматься, подняться до этих высот, но он подымается.

Он достигает высоты, где безраздельно надо всеми властвует страх падения. Падение к страху. Но душа уже освобождается от него. Она на этой высоте не боится его, она в колоколах, то есть уже противоречит ему, вступает в единоборство, принимает вызов.

“Но музыка от бездны не спасет!” - в этом нет полной уверенности в окончательной победе. Здесь намечается проекция в будущую ежедневную смертельную схватку: “Я в лвиный ров и в крепость погружен//И опускаюсь ниже, ниже, ниже...//Неограничена еще моя пора,//И я сопровождал восторг вселенский...”

И эти повторы страшной высоты: “На страшной высоте блуждающий огонь...”, “На страшной высоте земные сны горят...”, “Чудовищный корабль на страшной высоте...”

И это напоминание: “Не превозмочь в дремучей жизни страха”.

Страх - губитель мира - возникает, упоминается, не забывается для слушателя, но давным-давно забыт поэтом.

Формула 1912 года остается верной на всю улицу-жизнь: “Паденье - неизменный спутник страха,//И самый страх есть чувство пустоты”.

30.

Версиков в “Подростке” размышляет о том, что русскому дорога Европа, дороже, чем французу, немцу, англичанину, что Европа так же драгоценна для него, как Россия. И еще более. Версиков никогда не упрекал себя в том, что Париж, Венеция, Рим, их культура, искусство, история милее ему, чем Россия. Он говорит, что русским дороги старые камни, чудеса старого мира, эти “осколки святых чудес”.

И в этом он более русский.

Если эти размышления считать справедливыми вообще, то по отношению к Мандельштаму они не менее справедливы.

Весь Мандельштам состоит из “осколков святых чудес”. Это житница и ломбард итальянского искусства, это полигон немецких романтиков и философов XVIII и XIX веков, это путеводители по античности и возрождению, средневековью и классицизму... Это не констатация приобщенности к чему-либо, это рабочие собратья, необходимые для сотворчества, это родители живых образов, необычайно свежих, воплощаемых в сложные ситуации при обычных человеческих страстях...

Возникновение образа сохранило историю. Безобразная передача фактов лишает их привлекательности и живости, что, несо-

мненно, приводит к довольно быстрому забвению. Поэтому мало-мальски интересный исторический факт всегда обрастает анекдотами, легендами...

История в мозгу человека, таким образом, складывается в разорванную образную цепь с колоссальными черными дырами - теми периодами, в которые образное творчество устранилось за неимением чего-нибудь привлекательного для отображения. Поэтому люди склонны черпать сведения истории не из трудов историков, а из романов, повестей, мемуаров, анекдотов и прочего образно-словесного материала.

Ум устроен так, что не может выносить мертвечину безжизненных понятий и категорий. Не будем приводить в пример Блеза Паскаля, говорившего, что всему владыка геометрия, и между тем написавшего философские трактаты. Ум, конечно, может пользоваться понятиями и категориями, но постоянно оглядываясь на образность.

В пересказе даже самая сухая газетная статья оживает, ибо рассказчик нет-нет да вернет такое словечко, которого как раз не хватало для образности понимания.

“О, в мире много есть такого, друг Горацио, что вашей философии не снилось”.

Только раскованность и свобода игры, о которой я говорил вначале, позволяют Мандельштаму столь ловко оперировать эпохами и государствами, народами и царями... Из этих разнородных столкновений необычайно однородная материя речи его рождается.

Нет ничего смелее, смекалистей, лаконичнее и строже, образнее и горделивее, чем ПОЭЗИЯ... Нет ничего, что бы так не поддавалось логике в обычном понимании, как науки, так было бы неправильно по отношению к правильному в житейском понимании мышлению, как ПОЭЗИЯ... Нет ничего более укоряющего ученых мужей, чем ПОЭЗИЯ; ее ироничность, страсть, завешивание молочных сбитней на клубнике, превращение догматов в ласточек, и правителей в черепах, издевательство над синтаксистами и охранителями норм языка. В таком понимании ПОЭЗИЯ - ненормальность.

И лишь после того, как, ругаясь на нее за сплошные искажения с позиции далековатости так лет в сто, определяют ее как национальную гордость, а поэтов, создавших эту ненормальность, возводят в законодателей русского языка...

“Себя губя, себе противореча, // Как моль летит на огонек пол-ночный, // Мне хочется уйти из нашей речи // За все, чем я обязан ей бессрочно... // Чужая-речь мне будет оболочкой, // И много прежде, чем я смел родиться, // Я буквой был, был виноградной строчкой. // Я книгой был, которая вам снится...”

Не отголоски ли святых чудес слышатся в этих строках из стихотворения “К немецкой речи”?

Родственность немецкой культуре ощущали на себе многие русские поэты. Но так остро, с такой болью мог ощущать только он:

“Россия, Лета, Лорелея...”

Есть у него строки об этом родстве, которые Цветаева в период своего фанатического преклонения перед Германией возносила, говоря, что наше родство, наша родня - наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую, если и любили, никогда не были влюблены, как не бываешь влюблен в себя. Дело не в истории и не в моментах преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, говорит она, о котором русский поэт Осип Мандельштам воскликнет в самый разгар войны: “А я пою вино времен - // Источник речи италийской, // И в колыбели праарийской // Славянский и германский лен”.

Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза, заканчивает Цветаева.

Войны вряд ли изменили взгляд на культуру Германии. Если бы даже сожгли все книги, которые имеются в библиотеках. Не суть само упоминание Германии, важно понять движение речи, общность мышления: “Когда я спал без облика и склада, // Я дружкой был, как выстрелом, разбужен. // Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада // Иль вырви мне язык - он мне не нужен...”

И он получил судьбу Пилада, друга Ореста, готового на любую жертву... Но засомневался вдруг в своих привязанностях, в своей вере италийской поэзии, немецкой речи. Иронично засомневался, полушепотом: “Что, если Ариост и Тассо, обворожающие нас, // Чудовища с лазурным мозгом и чешуей из влажных глаз?” И что, если за эту привязанность и любовь вдруг накажут, в угол поставят, скажут, что это ты, дружище, все не так делаешь, не туда смотришь, не так оцениваешь: “И в наказание за гордыню, не-исправимый звуколюб, // Получишь уксусную губку ты для измен-ческих губ”.

Иногда очень дорого даются "осколки святых чудес"...

" - Пей! - сказал палач, и пропитанная водой губка на конце копья поднялась к губам... Радость сверкнула у того в глазах, он прильнул к губке и с жадностью начал впитывать влагу...

Палач снял губку с копья.

- Славь великодушного игемона! - торжественно шепнул он и тихонько кольнул в сердце. Тот дрогнул, шепнул:

- Игемон...

Кровь побежала по его животу, нижняя челюсть судорожно дрогнула, и голова его повисла". Это из Михаила Булгакова.

31.

"Держу пари, что я еще не умер..." В самую катастрофическую минуту Мандельштам мог воскликнуть эту фразу. В ней слышится и отчаяние, и уверенность в себе, недоверие и боль, ирония. Сколько горя нужно знать, чтобы найти в себе силы преодолеть новое. Как нужно восторгаться и любить жизнь больше, чем смысл ее, чтобы говорить: "Держу в уме, что нынче тридцать первый//Прекрасный год в черемухах цветет..." Каким нужно быть шалуном и задирой, чтобы воскликнуть: "Довольно кукситься! Бумаги в стол засунем!//Я нынче славным бесом обуян, //Как будто в корень голову шампунем//Мне вымыл парикмахер Франсуа..."

С этих строк начиналась моя восторженность, мое восхищение Мандельштамом.

Какие это к черту стихи - это же самая что ни на есть уличная речь, это веселое, надежное, всегда радующее и ободряющее дружеское слово, это та самая дружба, которой, как выстрелом, был разбужен...

Не так ли был разбужен другой поэт - Б. Пастернак - спозаранку, где-то среди Венеции, когда щелкнул шпингалет окна, растворенного на канал?

Жизнь, ставшая сестрою. И нежность с тяжестью - сестры.

Однажды Мандельштам сказал, что стихи этого поэта почитать - прочистить горло, освежить дыхание, почувствовать свежесть мехи легких...

В один из мрачных дней, когда сирень выглядывала из-за заборов, мы шли с приятелем по подмосковному поселку к

кладбищу. Показались поля, засаженные, как выяснилось, клубникой.

- Кто же ее, родимую, соберет-то с таких площадей, - осердясь, кинул проходящий навстречу дядя, обнаружившийся как-то само собой на асфальтированной тропинке. - На корню погниет, - он ускорил шаг на гудок электрички, стуча каблуками с подковками.

На огороженном участке в многочисленных банках разных объемов стояли нарциссы, тюльпаны, незабудки, сирень-сирень-сирень, будто художник изобразил нам ее обморок. А какой художник? Кончаловский? Нет, Врубель.

- Почему Мандельштам его сирень импрессионизмом назвал? - спрашиваю.

- Разве не помнишь, - набивая трубку, приятель присел на широкую деревянную скамью, - он Ахматову приглашал в китайскую часть города. Халды-балды... Нарочитая неправильность - его обычная примета...

Появилась женщина в брюках, с нею трое ребятишек. Сирень, положенную приятелем - Вадимом Перельмутером - на камень, она переместила в одну из банок, стоящих на земле.

- Вы не скажете, - обращаюсь к ней, - что это за цветы? - указываю на белые бутоны, свисающие над пол-литровой банкой.

- Эдельвейсы. Горные, - уже отходя ответила женщина. Следом за нею вприпрыжку устремились малыши...

В электричке говорили с В. Перельмутером о поэтах и стихах. Я вспоминал о своих ранних интересах...

Море печатающихся стихов было для меня мертво. Это было мертвое море. Ни всплеска, ни шороха, ни ветра. Их я мог прочитывать в книгах, газетах, в журналах, в машинописи. Я жил с этим мертвым морем, я спокойно купался в нем, а выйдя на берег, так же спокойно рассуждал о нормальных волнах, о закономерностях или незакономерностях всплесков, делился впечатлениями с друзьями об энергичности дактиля, о скачке хоряя, о просторечии ямба. Было привлекательно углубляться в дебри спора о сущности трансцендентности в поэзии, эсхатологической темы в искусстве.

Но все было неплодотворенным, мертвым.

В 1946 году Анна Ахматова писала, что сейчас вообще нет читателей стихов, а есть переписчики, есть запоминатели наизусть.



И вот раздался этот выстрел: “Довольно кукситься!..” С ним я будто заново увидел, где нахожусь, очнулся от летаргического сна, глаголом зажглось сердце.

32.

Поразительны столкновения Мандельштама. Что может быть общего между тяжестью и нежностью? Но он утверждает, что их заботы одинаковы, что они просто-напросто - сестры,

Для него нежность не есть производное любви. От нежности и любовь возникает.

Выходит, и от тяжести тоже? Да, потому что трудную жизнь можно поделить на двоих: себя и любимого человека, себя и свое дело...

Он безграничен в чувствах. Разве можно так эпитезировать, так мирволить: “Во всей Италии приятнейший, умнейший, //Любезный Ариост немножечко охрип. //Он наслаждается перечисленьем рыб //И перчит все моря нелепицею злейшей...” В этих строках заложено все его почтение, вся нежность к итальянской поэзии, к ее поэтическому языку, поэтам. Через Ариоста его чувство невольно распространяется и на поэтов, к примеру, IV века вполне языческого мироощущения Авзония и Клавдиана, и на христианских поэтов Оптациана Порфирия, Пруденция, Драконтия...

Блоссий Эмилий Драконтий, например, в промежутке между 484-496 годами писал: “Мне ведь в доле моей больше всего от сознанья, //Что меж такими людьми не вспомнил никто о поэте, //Скрытом в мрачной тюрьме...”

Расточительна нежность Мандельштама: “Батюшков нежный со мною живет” и “Все церкви нежные поют на голос свой”, “Я потеряла нежную камею” и “Нежнее нежного //Лицо твое...” Впрочем, последнее мною воспринимается как инородное в его речи. Это раннее стихотворение выдержано действительно в стиле бальмонтовского пения и его “бесплотных” сравнений. И сама нежность здесь похоронена, ее нет. Она названа - подан знак ее, но самой нежности, как движения человеческой души, нет...

Если сказано: “Батюшков нежный”, то это аргументировано всем строем, всем порывом вещи, всем ее движением: “Со мною живет - //По переулкам шагает в Замостье, //Нюхает розу и Зафну

поет...” Так говорят с друзьями (ведь нежность может быть очень разной). Мандельштам видит в самом имени Батюшкова дар русской поэзии, ее культуре говорить обо всем своим языком, в ее чертовщинке: “Я к величаниям еще не привык;//Только стихов виноградное мясо//Мне освежило случайно язык...”

Нежность не есть клеймо или знак, не есть ходульный образ, кочующий из стихотворения в стихотворение. Каждый раз она случается в новом обличье, но всегда - это мандельштамовский пароль: доверьтесь, я не солгу, это в самом деле нежность. Если речь идет о любви к Саломее Андронниковой, то и камея, возникающая в сопричастности, нежная. “Церкви нежные”, потому что “пятиглавые московские соборы//С их итальянскою и русскою душой//Напоминают мне явление Авроры,//Но с русским именем и в шубке меховой...”

Мандельштам зарастает звуками.

Посмотрите, как из звуков, созвучий рождается: “Соломка звонкая, соломинка сухая,//Всю смерть ты выпила и сделалась нежней...” Нежность еще и еще выступает на контрасте: “Нет, не соломинка в торжественном атласе,//В огромной комнате над черного Невою,//Двенадцать месяцев поют о смертном часе...” И трагический конец, в котором нежность выговаривается будто бы бессвязно, сквозь бормотанье, но достигает редкой значимости: “Нет, не Соломинка, - Лигейя, умиранье - //Я научился вам, блаженные слова...”

Это лучи, сходящиеся в одну точку, концентрирующие первоначальную размытость.

Фокусировка не только родственна глазу, она присуща всем чувствам.

У него традиционны разнообразие и резкая смена разнородного материала. У него - особое размещение этого материала. Выбор единственно правильного для него места.

Казалось бы, разрозненные, взятые наудачу слова. Но какое обновление, какое странное вхождение в смысл: блаженные слова. В устах влюбленного каждое слово движется любовью. Изначально бессвязный материал, непригодный для разговорной простой речи, обращается в единый, нерасторжимый звукоряд.

Умирающий Петербург: черная Нева, двенадцать месяцев, поющих о смертном часе, и женский хор - Ленор, Соломинка, Лигейя,

Серафита, - загадочный и реальный: "Ах, я вспоминаю ясно, был тогда декабрь ненастный..." (Эдгар По).

- Сколько теплоты, очарования, свежести в этих образах, - слышу голос ведущей-искусствоведа.

- Бр-р! Опять деревянные слова, призванные заменить эмоции.

- Но разве вы не чувствуете, - продолжает ведущая, - что всех любимых мира он готов соединить соломинкой, Саломеей, соломой. Такая несчастная и такая счастливая любовь!..

- Да-да...

Впрочем, спорить не будем. Деревянные слова тоже нужно уметь произносить...

Эдгар По находит свое место, единственно точное место в поэзии Мандельштама, как Евгений, как Рим, как Тассо... в разлитости настоящего.

"По крайней мере, в этом, - вскричал я, - я никогда - я никогда не ошибусь - это черные, томные, безумные очи - моей потерянной любви - госпожи - ГОСПОЖИ ЛИГЕЙИ"...

В обычной, рядовой петербургской комнате разворачиваются свитки блаженных слов. В этой медитации - юношеский трепет и мужская зоркость.

От разнородных кристаллов, крупниц - к монолиту единого и единственного:

"Я научился вам, б л а ж е н н ы е слова..."!

### 33.

Здесь мы вплотную приблизились к разговору о том, как из НИЧЕГО создается ПОЭЗИЯ.

К примеру, что такое скрипка и как ее изобразить? Мы будем выбирать слова: мелодия, звук, тембр, солист, партитура, скрипач, пикирует, пилит, плывет и проч. Но, увы, скрипки не слышно.

Как это делает Мандельштам?

Одной строфой он добивается полного ощущения, слышания скрипки: "За Паганини длиннопалым//Бегут цыганскою гурьбой - //Кто с чохом чех, кто с польским балом,//А кто с венгерской чем-чурой..." Здесь ритмика скрипки, ее пронзительность и вскрики, ее визжащий смычок.

И дальше: “Девчонка, выскочка, гордячка, //Чей звук широк, как Енисей...” Разве скрипка не девчонка, разве не выскочка и гордячка?

Да. Но не только. Она может быть такой тоскующей, такой пронзительно-нежной: “Утешь меня Шопеном чалым, //Серьезным Брамсом - нет, постой, - //Парижем, мощно одичалым, //Мучным и потным карнавалом //Иль брагой Вены молодой...” Здесь судьба и история этого инструмента, здесь все нюансы, возникающие при касании смычка струн, здесь целый ансамбль скрипачей.

Слышу, как фальшивит в этом ансамбле молодой Бетховен, вкладывая в игру воодушевленный пыл, хотя пальцы, лишенные регулярной практики, не всегда повинуются в трудном пассаже, я вижу его уже оглошим, внимательно смотрящим скрипичную игру, слушающим движение пальцев и смычка, я попадаю под обстрел развернувшихся оркестровых тутти, чередующихся с каденциями скрипки, выходящих в ритмически упругий финал: “Вертлявой, в дирижерских фрачках, //В дунайских фейерверках, скачках, //Иль вальс, из гроба в колыбель //Переливающий, как хмель”.

И когда оркестр смолк, скрипка на высочайше пронзительной ноте: “Играй же, на разрыв аорты, //С кошачьей головой во рту, - //Три черта было, - ты четвертый: //Последний, чудный черт в цвету!”

Что это значит?

Но, услышав, ты побежден этой трагической нотой, в твоём мозгу еще долго будет звучать это НИЧЕГО, эта ПОЭЗИЯ!

34.

Может быть, еще до того, как я подошел к порогу смысла стихов Мандельштама, я был покорен его музыкой, его музыкальностью, мелодичностью. Или нет. Я погружался в дух его в сопровождении симфонического оркестра с блестящими солистами-виртуозами. Конечно, сначала приходит, как к младенцу, просто звук.

Быть может, через музыку проще выразить сам смысл? Нужно полюбить просто музыку, тогда и смысл ее поймешь. Но “Я не знаю, с каких пор //Эта песенка началась - //Не по ней ли шуршит вор, //Комариный звенит князь?”

И потом вдруг открылась ясным бормотанием: “Она еще не родилась, // Она и музыка и слово, // И потому всего живого // Ненарушаемая связь...”

С первого знакомства меня властно держала его музыка. Воспоминания о Павловском вокзале, где он мальчишкой из-за забора, оборвавшись и исцарапавшись, слушал Штрауса, где звучал Чайковский, так надолго оставшийся в его памяти своей музыкой в “Шуме времени”. И сам Ленинград стал для меня мандельштамовским, как для других блоковским и городом Достоевского, и т.д.

Я смотрел не просто на Адмиралтейство: “В столице северной томится пыльный тополь” – вот что я видел, вернее, слышал эту музыку...

Или строгий Вагнер, скупой и рассудочный, совершенно реально представляющий: “Летают Валькирии, поют смычки. // Громоздкая опера к концу идет. // С тяжелыми шубами гайдуки // На мраморных лестницах ждут господ...” За Вагнером так уж повелось: скучный композитор. Сейчас я этого не нахожу. Даже слушая такую “скучную” вещь, как Траурный марш из оперы “Гибель богов” или увертюру к опере “Тангейзер”...

Но все же ближе мне Бах с его страстями и фугами, Гендель с сонатами для скрипок и фортепиано... “Есть иволги в лесах, и гласных долгота...”

А какой искусствовед столь пронизательно и задушевно пишет о Людвиге Ван Бетховене: “С кем можно глубже и полнее // Всю чашу нежности испить, // Кто может, ярче пламенея, // Усилья воли освятить? // Кто по-крестьянски, сын фламандца, // Мир пригласил на ритуфель // И до тех пор не кончил танца, // Пока не вышел буйный хмель...”

Его музыкальность – первородна. Она идет от оркестра, от его многоголосости, и смысл-то появляется благодаря ему.

Трудно понять, почему душу трогают вариации из восьми нот: “...до-ре-ми-фа // И соль-фа-ми-ре-до...”

- Так, может быть, можно понять и те признания поэтов, - говорит старик с Патриарших, - в которых они сообщают о том, что стихи появятся или зреют у них в душе в виде музыки. Я думаю, - продолжает он, - что поэты здесь сделались жертвами неимения точной терминологии. Слова, обозначающего внутреннюю звуко-речь, нет, и когда хочется сказать о ней, то подвертывается слово “музыка” как обозначение каких-то звуков... Подливайте, подли-

вайте чай, - обращается старик ко мне и, увидев, что я начал подливать, продолжил: - И вот, стало быть, как обозначение каких-то звуков, которые не слова, в данном случае еще не слова, так как они, в конце концов, выливаются словообразно. Помните: "Останься пеной, Афродита, // И слово, в музыку вернись..."

35.

Что это за улица такая - идешь, идешь, а конца ей все не видать... Хотя бы прохожий какой подвернулся.

- Осип Эмильевич, долго ли еще? - задаю вопрос наудачу. И уже будто не я, будто кто-то другой, иной голос отвечает:

- Долго-долго, как матушка-Волга, из конца в конец и обратно.

- Тогда же никуда не дойдем?

- Ну, если вы решили куда-нибудь обязательно дойти, то запастись терпением и шагайте. Да и потом, что это вы все представляете как прямую линию? Ничего нет прямого. Поглядите хотя бы на этот замечательный трамвай "аннушка". Он и то никогда по прямой не ездит - кругами, кругами - сядешь и доедешь обязательно куда следует. Или, к примеру, возьмите Садовую - идешь, идешь - конца не видать - одно сплошное начало... Что там говорить - круговорот любви в природе!

- Стало быть, мы умрем - дождик будет за нас жить... Будет движение - будет и жизнь: как же можно было бы тогда объяснить движение галактик или поведение цефеид, например, которые постоянно пульсируют, сжимаются и разжимаются под действием противоборствующих сил... Нас не будет, но будет движение, борьба, а значит, жизнь...

- Ну, вот и приехали к тому, что жизнь - борьба!

- Осип Эмильевич, как, по-вашему, камень живет?

- Смотрю, вы рассеянный ученик. Я же говорил, что камень - аладдинова лампа природы, в нем есть периодичность, он не только прошлое, он и будущее, - Мандельштам закинул ногу на ногу, придвинулся ближе к обшарпанному столу, взял "беломорину". Отгоревшую спичку долго продолжал крутить, пока обугленная часть не отскочила. - Но все-таки жизнь без нас, то есть без граждан, - это несколько не то. Слишком безорудийно, я бы сказал, - он

поднялся с табурета, положил папиросу на край стола, как-то неловко, дергающим движением скинул серый в продольную тонкую черную нитку пиджак и бросил его на диван. Кот, черный с белым фартуком и в белых носках, кот Каданс, лежавший до этого в другом углу дивана, тут же, потягиваясь, неспешно перешел на брошенный пиджак и клубком свернулся на нем.

- Вы уж извиняйте, - глядя на Кадика, сказал я.

- Люблю котов за их человечность и особенно таких франных, как ваш. Ведь в котках есть что-то первобытное, древнее, не правда ли? И потом с котами не чувствуешь себя таким одиноким. Собаки, несомненно, умнее. Но коты интуитивнее, что ли, они больше поэты, чем, допустим, боксеры или фокстерьеры. А главное - коты независимее, самостоятельнее собак - попробуйте погуляйте с ними на поводке...

Каданс тем временем со вкусом вылизывал свою гладкую чернобурку, изредка поглядывая на нас рыжими с черными щелями глазами.

Мандельштам плавно вышагивал по комнате, дымя папиросой, сбивая пепел себе на плечо, затем опустился на диван рядом с Кадиком. Повернувшись ко мне вполоборота, поглаживая кота по холке, продолжил:

- Угодно ли вам познакомиться со словарем итальянских рифм? Возьмите словарь итальянский и листайте его, как хотите... Здесь все рифмуется друг с другом. Чудесно обилие брачующихся окончаний. Итальянский глагол усиливается к концу и только в окончании живет...

- Не потому ли у вас так часто глагол оказывается на рифме или в конце строки? - спрашиваю.

- Только из столкновения с Дантом - вряд ли. Я давно понял: где глагол стоит - важный вопрос. В конце, на рифме, допустим, он как бы просит вас скорее двинуться к следующей строке, он стекает к следующей фразе, передавая эстафетную палочку другому собрату... И ведь очень легко отличить, где он на рифме от бессилия и где - в единственно верном месте, - Мандельштам поднялся с дивана и вновь подошел к столу, сел на табурет, закурил. - Творенье Данта есть прежде всего выход на мировую арену современного ему итальянского языка - как целого, как системы. Последите за его речью...

- Стало быть, прежде чем читать Данте, нужно выучить итальянский язык?

- Учить?.. Был бы подстрочник - будет переводчик... Есть время - учите, - он хитро подмигнул и начал скандировать, чуточку заикаясь и притормаживая слова: - Татары, узбеки и ненцы, //И весь украинский народ, //И даже приволжские немцы //К себе переводчиков ждут. //И может быть, в эту минуту //Меня на турецкий язык //Японец какой переводит //И в самую душу проник!

36.

Все виды искусства покровительствуют Мандельштаму. Его речь пересыпана остротами, скрипкой, графикой, цветом. Он может одновременно восхищаться импрессионистами и Тинторетто (Тин-то-рет-то - какой звук!), развалинами Армении и черепками Трои, Врубелем и Рафаэлем.

Чуждачество и глазомер, приязнь к мастерам других эпох и делают его речь: "Вхожу в вертепы чудные музеев, //Где пучатся кащеевы Рембрандты, //Достигнув блеска кордованской кожи; //Дивлюсь рогатым митрам Тициана //и Тинторетто пестрому дивлюсь //За тысячу крикливых попугаев..." У них переняв меру красок, звука, света, он сознательно вводит их в свои вещи, придав иные сочетания.

Сам цвет, сами краски еще значат очень мало по сравнению с тем диковинным сопряжением, столкновением, скрещиванием всех возможных и известных нам качеств и понятий, из которых возникает нечто новое...

Он мог вместо Персефоны поставить Антигону и, ничуть не смущаясь, когда ему указывали на эту неточность, зачеркивать одно и поверх вписывать другое. Очевидно, что "похорон" рифмуется с "Меганон".

- Но простите. Осип Эмильевич, - говорят ему, - нет такого мыса в Крыму - Меганон. Есть Меганом!

- Правда? Ну - пусть будет Меганом, - тут же зачеркивается и вписывается...

Кто-то подсказывает не получающийся у него конец стихотворения, и он охотно берет его себе...

Внешнее небрежение точностью оказывается оправданием в его собственной системе, становится другой точностью - поэтической.



Звук, сталкиваясь со звуком, образует новую материю, которая, как мы уже узнали, ничего общего с пересказом природы не имеет.

Ведь, как он говорил, само по себе слово, сочетание слов, образ, эпизод - то есть внешняя, рассказанная, а не разыгранная природа - не дают поэтической информации, сами по себе нейтральны, как отдельная нота (звук), музыкальная фраза вне движения и порыва, вне соотношения и перехода, вне ряда, протекающего во времени, вне становящейся темы.

Это и есть, по Мандельштаму, обратимость поэзии.

Поэзия разыгрывает, но не рассказывает.

Беря любой образ из конкретной жизни, она его не просто называет, она его включает в круг своего движения, связывает, сцепляет с другими, чтобы из этого единства возникло то новое, что мы именуем поэтическим образом.

В этом своем виде поэтический образ куда сложнее, лаконичнее, многоплановое того образа, который был взят наудачу из не поэтической материи.

“Слышу, слышу ранний лед, // Шелестящий под мостами, // Вспоминаю, как плывет // Светлый хмель над головами. // С черствых лестниц, с площадей...”

37.

У Мандельштама все движется, он всегда в движении. Он сплошь состоит из порывов, намерений, уходов и возвращений.

- Кочующий поэт, - скажут мне.

- Да, - соглашусь и добавлю: - Не только при жизни! Переезды, смена жительства, привыкание - что толкает человека к движению? Звук копыт, услышанный на какой-то московской улице? Туманный мыс, разгораживающий залив пополам? Цыганка, гадающая под сторублевою?..

Уходы, убегания сопровождаются ссорами, размолвками, непониманием. Они так же обычны для него, как смена времен года...

Кто собирал урожай прошлогодней листвы в березняке? Кто разговаривал со столетним Вяземским? Кому обрадовался девятистолетний Блок?

Кто изготавливал немыслимую молотилку времени? Изменчивость форм: яблоко, пахнущее морозом, на глазах возвращается голою веткой.

- Дети играют в снежки, - говорит сосед, пришедший одолжить соль.

- Значит, осень кончилась?

- Нет, она еще не началась, - улыбается тот и уходит прочь...

Старушка - Надежда Яковлевна Мандельштам, - отворив дверь, скрывается в комнату. В прихожей на полу - ведро, кастрюли, коробка. Одежда лежит на ящике под вешалкой. Слева - вход в комнату, справа - в кухню. Двери открыты. На кухонном столе в банке из-под помидоров - бумажные цветы.

- Откройте форточку, - просит старушка, кашляя долго и нутром.

- Вы не замерзнете?

- Я морозостойкая...

За окном, громяхая и позванивая, пронесся трамвай.

- Сколько бы мог сделать Мандельштам, - вдруг восклицает гостья, чернобровая художница, - если бы еще жил!

- Вы бы его тогда не любили! - отрезает старушка.

- Он же мог еще такое написать! - настаивает художница. - Сильнее, чем прежде, я уверена!

- А как вы относитесь к Фаворскому? - будто не слыша, спрашивает старушка.

- Он везде одинаково силен, - отвечает художница. - Даже на обложке журнала "Коневодство"...

- Почему же лошадей нужно рисовать плохо? - удивляется хозяйка. - У них такие прелестные ресницы...

Обрыва в цепи поколений, сменяющих друг друга, не возникает. Однако нет никакой такой цепи, и сравнения в данном случае неуместны.

- Мы ищем крепкие, как цепи, связи, - словно услышав меня, говорит Надежда Яковлевна. - Но они отсутствуют, а рукописи горят! Никто не знает, а я помню, как меня папа на Адриатике научил плавать в четырехлетнем возрасте: бросил в море - плыви! - она закашлялась, откинув голову на подушку. - Где ж тут связь, когда тебя бросаю, чтобы чему-нибудь научить. Значит, наученные - всегда брошенные?..

По этой улице громяют трамваи. Вот прошел туда, а вон и обратный, проехавший несколько ранее мимо окон, где десять лет писался по-русски Мильтон...

Как там было сказано про жизнь, упавшую, как ресница, в стакан воды?..

Гражданин не помнит, когда научился ходить. Он знает, что в начале жизни. В год, в полтора, в восемь месяцев. Он смотрит на свою первую в жизни обувь - туфельки не более ширины ладони, сохраненные матерью - дивится им.

Людское движение всегда предполагает обувь, или, во всяком случае, то, что надевается на ноги. Босиком далеко не уйдешь, но я знаком с хранителем, вам хорошо известным, который таким образом покрывает солидные расстояния...

Или босая Делия, или на босу ногу день...

В городах ныне босиком бродить не принято. Еще, чего доброго, пальцем укажут. Правда, один рижский художник (Юрис Звирбулис), бывало, прошмыгнет с перекинутыми через плечо ботинками, сверкая белыми пятками на центральной улице за собором, в котором гремит орган.

Бывало...

Бывало, говаривают, когда были помоложе, носили "сапоги рассохшие" от летнего ничегонеделания, в дождь - боты либо га-лоши... Это обувная мастерская или музей?

Нет. Мандельштамовское свидетельство движения. Фасоны, покрои платьев... Сюртуки, пиджаки, резиновые проклеенные пальто, ватники, полушубки, шинели, шляпы, но...

Но помните тот холодок, который щекотал темя, и о скошенном каблуке?

Образ ботинка - сродни возрасту.

Если бы мне показали гражданина, который всю жизнь проходил в одних штиблетах!..

- Обратно! Гляди на Гоголя - всю жизнь в одних башмаках простоит, на бронзовом ходу, - заметил подвыпивший дядя на Гоголевском...

Память сохраняет износ башмаков.

Вглядитесь в Данте, он восклицает, удивляется ему, его пешему ходу, его множеству подошв, стесанных на узких горных тропах... Мандельштам ежеминутно в движении: в трамваях, в яликах, в кибитках, поездах, телегах, автомобилях... Он ищет движение, но там, где его не обнаруживает, - предполагает.

Какая мельница, какая молотилка работает для Александра Герцовича?

Музыка у него не просто звучащая, но наворачивающаяся, накручивающаяся, заигранная наизусть. А вешалка, на которой вскоре можно и самому повисеть, как лопасть мельницы: то поднимающаяся, то падающая, под которой, вижу, стоит пара галош...

Мандельштам дирижирует глагольными выпадами рифм, хотя прекрасно знает о популярном учебнике Аполлоса, где говорится, что нужно остерегаться в рифмах окончания на "ати", например, читати, писати; потому что площадные вирши и легкость писать ими, а также и простонародное употребление привели такое окончание в презрение.

Замечание, верное не для существа поэтической речи, то есть для самой поэзии, а для наборщиков готового смысла. Если с подобной меркой подходить к стихотворениям Мандельштама, то многие из них покажутся несовершенными.

К примеру, Есенин где-то в Госиздате заявил ему: "Вы плохой поэт. Вы плохо владеете формой. У вас глагольные рифмы".

Эх, побеседовать бы ему с Ходасевичем да послушать его "Бедные рифмы", не говоря уж о таких строках Мандельштама: "Пайковые книги ч и т а ю, // Пеньковые речи л о в л ю // И грозное баюшки-баю // Кулацкому паю п о ю..."; "Бог-Нахтигаль, меня еще вербуют // Для новых чум, для семилетних боен. // Звук сузился, слова шипят, бунтуют, // Но ты живешь, и я с тобой спокоен". Шесть глаголов на одну строфу! Какое щедрое движение, какое родство с площадью, улицей! Какие выкрики глагольных времен: вербуют, сузился, шипят, бунтуют... спеша, понимай и завидуй во всех временах и улыбках.

С Мандельштамом так всегда - в перебежках, в ходьбе, в беге.

Не успеваешь опомниться, как он торопит нас далее, далее, далее - по городам и скворешням, по переулкам и дворам... Все его вещи сливаются в одну - неделимую, нерасторжимую - вещь. От родственника к родственнику, от друга к другу.

Его поэзия - из столкновений и скрещиваний. На полном скаку две пары всадников вылетают навстречу друг другу с противоположных углов манежа. Фонтан песка бьет вверх из-под копыт лошадей.

Вдруг у одного наездника с громким хлопком рвется воздушный шар, прикрепленный, как восточный султан, над головой. Шага выпадает из рук, и всадник откидывается на спину лошади, изображая убитого.

- То, что вы сейчас видите, - говорит старший лейтенант кавалерии Ораз Мамралиев, - называется бой "султанчик". Но это не просто игра. Такие бои помогают молодым конникам нашего подразделения выработать правильную посадку, научиться владеть своим телом, почувствовать себя на коне свободно и уверенно...

Парад на Красной площади - стройными шеренгами гарцуют буденновцы в краснозвездных шлемах, катят трехдюймовки на конной тяге, проносятся тачанки...

А вот и "Чапаев" звуковой срывается с белой простыни экрана: черная бурка, папаха, шашка наголо.

Поезд между тем шел на Урал, но Василий Иванович не отстал. Он вряд ли когда может отстать, он теперь всегда с ним.

Мандельштам в курсе научно-технического прогресса кино. Там объявился звук в виде скачущего Чапаева. Все последующие скачущие звуки не имеют значения, хотя Ораз Мамралиев утверждает:

- Где бы ни снимались наши конники, будь то "Война и мир", "Ватерлоо", "Кутузов", везде они качественно ходят в атаки. В "Чапаеве" тоже ведь из нашего подразделения скакали, предшественники наши. А уж о Бабочкине и говорить нечего - частый гость в казармах. Расскажет, вспомнит...

"От сырой простыни говорящая, - //Знать, нашелся на рыб звук - //Надвигалась картина звучащая//На меня, и на всех, и на вас..."

Пехота тоже имеет звук, даже когда хорошо умирает, а над нею будто хор валькирий поет. Стихи о неизвестном солдате пишутся, вернее, слагаются человеком недержавным и не державшим ни разу в руках оружия.

Но разве нужно его держать, чтобы услышать, как поет умирающая пехота, поют хилые, холодные люди, положенные в знаменитую могилу неизвестных.

У ласточки он просит, чтобы она его научила, как совладать с этой воздушною могилой, просит у той, которая для него уже разучилась летать.

Мировая давно закончилась, гражданская чуть позднее, но так же. Нет войны. И уже есть. Он слышит, чувствует, осязает ее.

Он ее никогда не увидит, и он уже увидел ее в крошечке и месиве, где косыми подошвами лучи прожекторов стоят у него в сет-

чатке глаз, где миллионы задешево убитых, где с человеком дружит калека, где стучит деревянная семейка костылей.

Череп растет, развивается для того ли, чтобы видеть и жить среди такого? “И, в кулак зажимая истертый//Год рожденья с гурьбой и гуртом,//Я шепчу обескровленным ртом:// - Я рожден в ночь с второго на третье//Января в девяносто одном//Ненадежном году, и столетья//Окружают меня огнем...”

Сапоги, от которых некуда деться, как пел несовременник, шинель, кожанка, подковы. На манеже по-прежнему играли в “султанчика”.

Когда занятия закончились, подошел к одному из наездников. Это старший сержант Кайрат Хисамутдинов. Уже шесть лет он вместе с товарищами гарцует.

- Занимался в конноспортивных секциях с детства, - рассказывает Кайрат. - У нас люди замечательные, служба интересная. Кстати, своего четырехлетнего сынишку Надыра я тоже привожу сюда. Он уже хорошо сидит в седле.

Вечереет. Скоро откроется шлагбаум у ворот с изображением двух клинков и подковы. Всадники с алыми звездами выйдут на вечернюю прогулку...

“Измеряй меня, край, перекраивай, - //Чуден жар прикрепленной земли! - //Захлестнулась винтовка Чапаева - //Помоги, разважи, раздели!”

38.

Я довольно часто думал, что Мандельштам и Хлебников - общающиеся сосуды. Даже при условии их противоположного отношения к работе.

Если Мандельштам никогда, как он сам неоднократно признавался, не пользовался карандашом и бумагой, работая с голоса, то Велемир Хлебников, как говорит мой приятель Вадим Перельмутер, вписывал новые варианты на готовой типографской корректуре.

Различны их пути и в жизни, и в стихах. Но, быть может, предмет их внимания: темы, мотивы, идеи - сходен.

Мандельштам со свойственным ему витийством сообщает о трагедии рождения среди войн, а стало быть, и убийств, где его окружают огнем.

Хлебников через красные маки кровавых событий рассказывает о рождении своим неизбывным явлением слова.

Наверно, случайность выбора слова Мандельштамом из лепета была для Хлебникова ясной, необходимой работой.

Два поэта: безрукописный и рукописный. Это из области методов работы. Результат же тот, что от того и от другого осталось.

До меня оба они дошли записанными на бумагу.

Кому мы обязаны в записи вещей Мандельштама?

Если он мог огрызнуться, что у него нет рукописей, потому что он никогда не пишет, то Хлебников мог показать наволочки, набитые стихами.

Мандельштам как-то сказал о Хлебникове, что он ищет слова, как крот, роющий свои подземные ходы, и что он заготовил этих ходов на столетия вперед...

Годины развернули так страну, что и поэты развернулись. В прямом и переносном значении. Шло не искание слова как такового, ради самого слова - шло осознание себя нового в новом контексте событий. И то, что Хлебникову делается упрек в заумности языка, по меньшей мере незнание самого термина, за умом, то есть ум и еще нечто...

- Как же, как же - знаем! И более того, может определенно ответственно мысли высказать замечания из некоторого автора, - с неожиданною задушевностью заговорил вдруг дядя с Гоголевского, невесть откуда составившийся в воздухе. - Илаяли - это хорошо. Но, согласитесь, Бранделясы - лучше. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне все более и более кажется, что все литераторы суть Бранделясы. В слове этом, - дядя положил на щуплое плечико скамьи в виде тощих львов свою тяжелую ладонь, - то хорошо, что оно ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству оно особенно и приложимо, - дядя смущенно кашлянул, - к литературе. После эпохи Мервингов настала эпоха Бранделясов, скажет будущий Иловайский, я думаю, это будет хорошо.

- Что ж это вы, уважаемый, обесмыслить язык желаете? - не соглашается ведущая-искусствовед. - Научная общественность всего мира, больше того, все человечество не допустит...

- А я допускаю, - рассердился внезапно (он действительно внезапно рассердился) дядя с Гоголевского, - что слова нужны не только для выражения мысли и не только даже для того, что-

бы словом заменить слово или сделать его именем, приурочив его к какому бы то ни было предмету: людям нужны слова и вне смысла...

- Нет уж, позвольте, - противоречит ему ведущая, - как же будем за вами следить, если вы так все говорить начнете?

- Так, как Сатин, например, которому надоели все человеческие слова, говорит: "Сикамбр" - и вспоминает, что, когда он был машинистом, любил разные слова...

Думается, Хлебников так же ясен, как ясны строки Мандельштама в "Грифельной оде" или восьмистишиях.

Когда за туманом, стелющимся передо мной, я не мог разглядеть горное селение - обвинять само селение было глупо.

Так же, видимо, обстоит дело с прочтением поэтов.

Ждите - туман развеется!

Но есть у двух поэтов существенное различие - у Хлебникова своя могила в Москве на Новоденичьем кладбище, куда в шестьдесят пятом году прах его перевез Май Митурич, сын друга Хлебникова, художника Петра Митурича; а у Мандельштама своей могилы нет.

"Когда умирают солнца - они гаснут, // Когда умирают люди - поют песни".

"Часто пишется - казнь, а читается правильно - песнь..." Родственность их ощутима в столкновении разнородной материи слов, замешивании понятий на дрожжах вымысла. "И по-звериному воет людье..." Кто из них сказал? Литературоведы говорят об опережении времени Хлебниковым. Но, быть может, перед был именно там, вместе с ним? И взрывы кинетики, обнаруженные Мандельштамом у Данте, случились задолго до нас?

Современники наши, то есть живущие сию минуту с нами, похоже, эгоисты. Они всю систему раскручивают вокруг себя. А почему, дозвольте спросить? Или сейчас пуповина мира?

- Пророки сильны задним числом, а мы глядим на них со своих "высоких трибун", как на глупеньких гениев, мучеников и еще бог весть как, - досадовала чернобровая художница.

- Позвольте, - ей возражали, - на то они и пророки, что ПРО говорят, то есть про то, чего не знают. Но говорят смело и умно, что волей-неволей следуют их пути, пока еще более дальновидный ПРО-РОК не объявится. Последующие вероятные совпадения их предсказаний еще более укрепляют позиции предсказателей.



Тот и другой написали по “Зверинцу”.

Но это все частности. Говоря, что они сообщающиеся сосуды, усматриваем их скрытую подчас диалогичность друг с другом и со временем, их, если так можно сказать, разговорчивость.

То, что Хлебникову удавалось зацепить живое слово разговора, сплести его с придуманным и создать необычайно точную картину скандала или рынка, - удавалось и Манделъштаму...

Тогда, когда он сдружился с Москвой-матушкой, когда и птицы запели у него иначе.

39.

Птичья глава начиналась с камня, чтобы впоследствии камень превратился в голубя, дома - в голубятни, среди которых мечется щегол, откинув голову.

Птичья жизнь - жизнь кочевая, даже тех из них не улетающих, в морозе с нами остающихся.

Ласточка, улетающая от морозов, стремится через моря от наших северных краев подальше” к берегам южным, улетающая, словно укоряя, что нет ей мира здесь. Так ли пел Манделъштам, как ласточка, осязая ее в небе, а через нее, будто через приметку: “Я ласточкой доволен в небесах...”?

Право, ему по душе птицы. Любит, что поют они: одно для слуха, другое для разума.

Слышишь сначала имя, звук, но важнее уразуметь, что именем означает.

- Откуда ж такое, где это видывали поющих ласточек? Они, однако, не громче сверчков! - бросает дядя с Гоголевского, наблюдая сидение голубя на макушке Гоголя. - Да и голубь глупее курицы, какая там к чертям мудрость?

- Не в силе голос, не в крепости, - объясняет старик с Патриарших, - а в том, что он в нем есть, в его душе. Ласточка знает два берега: северный и южный. Так и в человеке двое живут. Да что и говорить, - старик огорченно вздыхает. - Голубь ведь, символ, на камне спасся...

- Как же, как же, господин Голядкин, знаем, - оживился дядя. Однак мне лошади милее... Иноходь!..

Ранний Манделъштам не расстается с птицами. Он и сам “чувствует размах крыла”, чтобы спустя двадцать лет оживить зегзицу и ще-

гольнуть печально щеглом. Но нет почти ласточек в тридцатые годы, да и где, в самом деле, в Москве обнаружишь гнездо ее - она ведь птица деревенская, провинциальная. Разве еще на Владимирщине под козырьком какого-нибудь деревянного дома мазанка ее?

Лишь щегол сопутствует ему да редкий жаворонок прозвенит. А язык булыжника делается понятнее голубя.

Выпорхнули птицы.

Вернее, слились с ним.

Он уже не подразумевает в жаворонке нечто скрытое, некий смысл, некий символ.

После того как он будто на собственных ресницах повис, можно и жаворонка всамделишного узреть, и себя со щеглом сравнить, с настоящим.

Какую птицу на московских улицах встретишь, вспугнешь?

Воробьи да голуби, галки да вороны, а по окраинам - сороки... Соседи по корму, кочевью, разлуке. Не унывающие, а стойкие. Как сами горожане, суетящиеся в поисках пищи, крова да щебетания...

40.

“Минувшее, как призрак друга, // Прижать к груди своей хотим”.

В Муранове в старом барском доме как-то по-новому услышал эти строки. Я еще помнил, что “камень Тютчева, с горы скатившийся, лег в долине, сорвавшись сам собой или низвергнут мыслящей рукой - есть слово...”.

Речь Тютчева полновластно владела мыслями моими, точно так же, как речь Мандельштама. И этот тютчевский оборот начальный “Есть некий час...”, “Есть в осени первоначальной...”, “Есть и в моем...”, и эти мандельштамовские повторы: “Есть иволги в лесах...”, “Есть обитаемая духом...”, “Есть ценностей незабываемая...”, “Есть целомудренные чары...”. Подобных параллелей слишком много, чтобы все их приводить.

Читателю предоставляется право открыть книги Тютчева и Мандельштама и провести статистический анализ совпадений...

Тютчев поступил в товарооборот Мандельштама так же естественно, как Данте, Петербург, Ариосто, Рим...

Реминисценции из Тютчева скорее адресуются через него к немецким романтикам и к Шеллингу, с которым, кстати, Тютчев был коротко знаком, и рикошетом - к нам.

В Тютчеве видят, как бы сказала ведущая-искусствовед, прежде всего создателя поэзии мысли, поэзии философской. "...И наша жизнь стоит пред нами, // Как призрак, на краю земли - // И с нашим веком и друзьями // Бледнеет в сумрачной дали..."

Поэзия Тютчева не служанка действительности - она прорица и предсказательница, точно так же, как речь Мандельштама.

Это хлесткий нерв.

Это постоянное размышление в движении, на ходу.

Это неиссякаемая эрудиция и при всем этом - полная самостоятельность, нелогичная логичность.

Впитывая в себя потоки философских концепций, они не являются их воплотителями в стихи... Можно, конечно, зарифмовать и энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, но не проще ли узнавать науки через них самих, а не через рифмованные строки?

Вероятно, не следует искать переложения философских тезисов хотя бы того же Шеллинга в поэзии Мандельштама или Тютчева.

Сюжетов и мыслей Тютчева, обнаруженных в обиходе Мандельштама, недостаточно для того, чтобы проводить параллель между ними.

Мандельштам недоверчиво относится к прогрессу в поэзии. В том понимании, что нельзя прогрессировать Тютчева, то есть начать свое собственное творчество с уровня, если так можно сказать, Тютчева, с вершин, им достигнутых.

Дом строится с фундамента, с нуля, хотя и по известным схемам.

Своя система начинается не от какого-то уровня, а как бы вызывается из небытия предчувствуемого. В ней действуют свои законы - верна она или нет.

Можно переболеть Тютчевым, как прививкой, попытаться впитать его мудрость, но превратить в свою систему, в собственное достояние, иначе - подняться до его именно уровня и шагать дальше - вряд ли.

Главное - это свобода игры, синтезирующее свойство ума, позволяющее камням Рима участвовать с полной очевидностью в

развертывании поэтического действия и, что естественно, свобода ограничения, самоограничения.

И это мандельштамовское блаженство взялось, думается, не откуда иначе, как от Тютчева: “Блажен, кто посетил сей мир, // В его минуты роковые!...”

Парк, дом, корешки золоченые книг по-русски, по-немецки, по-французски, картины, паркетные полы... - все дышит молодостью XIX века.

Сюда легко добрался от Загорска на электричке... В дороге читал книгу одного чудака (Кьеркегора “Наслаждение и долг”. Спб., 1894). И вычитал у него, что есть только один-единственный человек, обладающий предпосылками, которые позволяют подвергнуть настоящей критике его работу, - это он сам...

Ударил гром. Начался ливень. Его долго пришлось пережить в гостиной дома Тютчева.

Молодой человек приятной наружности - служитель музея - занимал нас рассказами о том, что дом сначала посетили Д. Давыдов с Е. Баратынским...

А я слушал стихи. Капли стучали по зеленым стеклам. В полумрачной зале Тютчев стоял у круглого стола, накрытого расшитой тяжелой скатертью, посреди которого в голубой массивной вазе распушился букет полевых ромашек... “Как океан объемлет шар земной, // Земная жизнь кругом объята снами; // Настанет ночь - и звучными волнами // Стихия бьет о берег свой...”

Время, совершая свой постоянный бег, проходило.

Дождь кончился.

41.

Проницательный читатель, конечно, уже понял, что Мандельштам никогда в упомянутом музее не был. И даже после дождя, и притом в четверг. Он, кого при желании можно было в свое время назвать музейным почитателем в связи с упоминанием, допустим, вертепов чудных музеев, не мог понять сути существования музея по случаю жизни такого-то, хотя жизнь такого-то подчас учила обратному.

Музей останавливает движение, что уже само по себе, никак не приемлемо для него, постоянно находящегося в движении.

Вот он идет по улице (опять хотел сказать - Горького) Тверской, нервозно восклицая, жестикулируя, обращаясь к спутнику:

- "В разноголосице девического хора" - вот что вам нужно? - всем видом демонстрируя презрение к почитателям былого, сказанного двадцать лет тому назад.

От него требовали, просили гладкой лирики. А он...

Может быть, причиной стала Москва?

Если Петербург, эта Северная Пальмира, существует как герой в его вещах, то Москва влияет на него, как на своего героя, она его пишет.

Весь Петербург был для него средством для воплощения Эллады, Рима, Трои, всего европейского. Он видит не Петербург, но цезарей, королей, эпохи европейской цивилизации. Символистичность Петербургу к лицу и не только Мандельштамом воспринята.

Трудно поверить в то, что снежный, северный, петербургский Блок умер в августе. Летаргия зимы, снега, мороза, льда, считай, в каждой вещи каждого петербургского литератора. У Достоевского, например, по пальцам можно пересчитать солнечные дни, клейкие листочки, траву, вообще природы упоминание. Камень, метель, лед, снег сопутствуют мерзнувшим Голядкиным, Раскольниковым, Мышкиным...

- А вот уж об Александре Сергеевиче такого не скажешь, - ввертывает дядя с Гоголевского. - Как ни кинь - москвич. Почитай, один на весь XIX век! Дядюшки и тетушки истинно наши, московские. Да и горе наше, как же иначе. И справедливо, что в Москве стоять поставили!..

Василий Андреевич Жуковский в одном из писем, кажется, говорил, что все памятники должны стоять в Москве, а в Петербурге - один. Петру.

Некий поэт седовласой древности представлял место, где расположена нынешняя Молдавия, краем северным, где идет дождь, на ходу превращаясь в ледяные столбы, которые так и стоят на каменной мерзлой земле! Что же тогда он мог увидеть севернее?

Лучеобразие улиц, сходящихся и расходящихся к центру и от центра.

И вот уже возникают татарские спины, буддийский покой бульваров, китайская часть города, в которую непременно нужно заглянуть. А потом признаться, что и сам, по сути, китаец, потому что никто не понимает. Халды-балды! Пригласит съез-

дять в Алма-Ату, где ходят люди с изюмными глазами, где родился Кайрат Хисамутдинов, где ходит перс с глазами, как яичница. Или махнуть в Азербайджан, в Армению к страшному чиновнику, замывшему оплеуху. Потом напомнить, что на гербе города Армавира написано: собака лает, ветер носит...

Уйти от Рима на восток пешком к японцам и китайцам, которые, возможно, переводят его на свои странные языки.

Можно предположить и даже разглядеть этот маршрут у Мандельштама: "Где больше неба мне - там я бродить готов - //И ясная тоска меня не отпускает//От молодых еще воронежских холмов//К всечеловеческим - яснеющим в Тоскане". И неважно, что здесь обратная повернутость от Востока к Западу.

Восток успокаивает, сосредоточивает, где "И тихая работа себрит//Железный плуг и стихотворца голос". Восток шумен, суетлив, разговорчив лишь внешне. Внутренне он спокоен, уверен в правоте своей и смотрит раскосыми глазами золоченых статуй вполне мирно.

- Позвольте возразить, - вмешивается старик с Патриарших. - Покой покоем, только, извольте, дружище, не для Осипа Эмильевича. Он, согласен, мог говорить о покое, даже когда "покой бежит из-под копыт", но сам никогда не был буддийски спокоен. Не нужно преувеличивать...

- Но я сужу лишь по его вещам, ведь поэта можно узнать лишь через его работу.

- Это так и не так, - старик пододвинул мне седьмую чашку чая. - Не создавайте таких теорий, которые нельзя в свободное время игнорировать. Оторвать от века Мандельштама не удастся по той простой причине, что он и в жизни, и в стихах един - очень редкий случай. Я говорю так, потому что знал его в жизни и неплохо знаю стихи.

- Во-во, - с явным удовольствием поддержал дядя с Гоголевского, оказавшийся вдруг против меня и отхлебывающий чай из дюралевой кружки, - я, может, тоже знал его и отчетливо помню, как он читал "Бежит волна - волной волне хребет ломая". Спокойствие! Скажут же такое. Вон Гоголь на бронзовом ходу спокоен...

Да, что нам делать с этой немислимой волной?

Здесь почему-то вспомнилось блоковское "И вечный бой - покой нам только снится!". Разберемся... И неувязка получается. Еще как-то... Впрочем, какой же вечный бой, когда налицо - сон. Спит он и видит покой!

Скажу известное: нет в мире ничего вечного, ни боя, ни покоя, ни даже вечного двигателя.

Может быть, и золоченым статуям покой лишь снится? Глядишь, не отправили бы на переплавку.

В Москве все же граждане быстрые, разговорчивые. Всѣ хотят знать, интересуются.

“И все хотят увидеть всех: //Рожденных, гибельных и смерти не имущих”. И что самое интересное, иногда это получается.

“И вечный бой!” Надо же! Тут и Державин не выдерживает, пробивается сквозь толпу, поправляет голубой бант, залезает на скамейку возле памятника Пушкину, сжимает руки на груди и тихо так, очень тихо говорит, но всем, абсолютно всем слышно:

“Река времен в своем стремленьи//Уносит все дела людей//И топит в пропасти забвенья//Народы, царства и царей.//А если что и остается//Через звуки лиры и трубы,//То вечности жерлом пожрется//И общей не уйдет судьбы”.

Кареты и телеги двинулись, громыгнули колесами, незаметно превратились в автомобили, ускорили движение, приобрели форму самолета, ускорили движение, сделались ракетой, которая сгорела в плотных слоях атмосферы...

Грибоедов в позднее время смотрел куда-то в свете прожекторов, а за его затылком чуть-чуть еще синело небо, темное повсюду. Проскочил по кругу, не остановившись, трамвай, прорезал воздух зигзагообразным звуком. Так вот и кружат целыми днями вокруг Александра Сергеевича, а он, нет-нет да и улыбнется, что-нибудь эдакое скажет всем давным-давно известное, мол, служить бы рад...

Не вспоминал ли Мандельштам Грибоедова, когда слагал шуточное: “Если грустишь, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч, //Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать”... Или:

“Ох, до сибирских мехов охоча была Каранович, //Ах, на Покровку она худого впустила жильца. // - Бабушка, шубе не быть! - вскричал запыхавшийся внучек: //Как на духу, Мандельштам плюет на нашу доху!”

От Грибоедова до Покровки по бульвару через пруды десять минут ходу. Туда и трамваи спешат по первому кольцевому поясу Москвы. Пока шел, вспомнил феодосийскую газеллу: “Почему ты все дуешь в трубу, молодой человек? //Полежал бы ты лучше в гробу, молодой человек...”

С Мандельштамом обычно - не знаешь, плакать или смеяться. В Москве больше смеются, даже сквозь слезы. Такова традиция нашей матушки: "Ванну, хозяин, прими, но принимай и гостей".

Восточные путешествия его начинались отсюда. Вернее, Москва научила его, руководила им во всех этих путешествиях.

Восточный Крым, Киммерия, Таврида, Коктебель, где в доме поэта комплектуются фонды, когда-то хозяин, отлучившийся ненадолго, писал о волах, которые волочат Грибоедова, о разночинцах и о царе, который над гробом Лермонтова: "Собаке - собачья смерть, придворным говорит..."

Вот и Тифлис горбатый, Эривань...

А нити, как лучи, к Москве тянутся и из Москвы исходят...

На Покровке у гастронома, как всегда, блуждали хмельные стайки. В виде исключения, перед праздником, гастроном торговал нынче до одиннадцати. Дальше - к Яузским - бульвары были пусты. Редко проезжал освещенный трамвай с тремя-четырьмя угрюмыми и сосредоточенными над газетами седоками, иногда такси с обязательно погашенными зелеными огнями. Светофоры мигали желтыми глазами, отчего желтели не только дома, но и липы, чугунные решетки, мостовые... Длинные тени ложились под ноги, скрещивались, переплетались, били баклуши.

Шел дальше, дальше и все никак не мог вспомнить, как он еще говорил о тени... Потом где-то на Солянке, у желтого дома с белыми колоннами: "И беден тот, кто, сам полуживой, // У тени милостыни просит..."

42.

Музыка летела со всех сторон, и внимание мое быстро рассеялось. То вдруг возникал перед глазами маленький бухгалтер в рубашке петухами, жалующийся на отсутствие женского пола своему долговязому приятелю, то возникала роскошная - ах, именно роскошная! - блондинка, интересующаяся наличием любовницы, то щеголеватый прораб в очках, с одутловатым лицом и маленькими руками, предлагающий непременно выпить на двоих литруху спирта...

Роскошная блондинка выплывала из белых дверей многочисленных комнат, оставшихся позади, в невероятно короткой мини-



юбке, а быть может, и вовсе без нее, что было, впрочем, не разглядеть ввиду освещения свечами, хотя щиколотки, тревожные икры, гладкие коленки, бисквитные бедра отливали капроновыми бликами...

Ополоумевшая публика вопила "браво!", разбрасывая конфетти, серпантин.

"Я скажу тебе с последней//Прямой://Все лишь бредни, шерри-бренди,//Ангел мой!"

Груды блондинки, едва не выскакивая из положенного им места, напоминали качку морских волн, деформированные воздушные шары и прочие вещи, подходящие в сравнения, которые читатель без особого труда сообразит сам.

Автор не склонен, конечно, валить все на читателя, так сказать, рассчитывать на его фантазию. Но тем не менее именно автор повинен в появлении полуголой блондинки там, где ей быть не приличествует, собственно, вообще делать нечего, с полноватыми икрами и тревожными бедрами. Великодушный читатель поймет и простит, но обескураженный автор, понимая, что блондинку куда-то девать нужно, знакомит: это ведущая-искусствовед представилась ему в какой-то квартире, хотя реально, добавим, совершенно реально, то есть на самом деле выходила из бурной пены Коктебельского залива на писательский пляж и действительно, что уже никак не подлежит сомнению, была прилично оголена. Проходя рядом, она даже поклонилась нам, лежащим на песке, а от ее загорелых ног пахло соленой свежестью...

"Греки сбондили Елену//По волнам,//Ну, а мне соленой пеной//По губам!"

Куда же подевалась Елена? И зачем она понадобилась грекам среди бела дня? Да и греков здесь давным-давно нет, одни писатели...

Но все-таки в греческом доме вышивала другая, не Елена.

В доме, длинном желтом доме на одной из лучевых улиц преспкойной обитают слоны, мамонты, обезьяны, рыбы, плавниками рдея, лемуры, орлы, козы... Конечно, бытуют замертво. В чучелообразном виде. Но тем не менее. Где еще увидишь, кроме как здесь да в зоопарке, столько единовременного зверья. Успокоившегося зверья. Экспонатного. Какой поэтический музей в состоянии соперничать с этим зоомиром! Там фотографии, здесь - в натуральном виде.

Осмотрев, можно было войти в улицу, пройтись вверх до бульваров, поклониться самому спокойному памятнику. Свернуть на аллею, посидеть на парковой скамье, а там и до дома недалеко, где на кухне пахнет сладко керосин.

И вдруг откуда-то из глубины, из самой сердцевины души возникают строки, с которыми расстаться - значит потерять надежду, остаться без нее: "Любишь - не любишь - ни с чем не сравнить.//Любишь - не любишь, поймешь - не поймашь..." Но до этого сердцевинного звучания выбирались на свет строки:

"После полуночи сердце ворует//Прямо из рук запрещенную тишь..."

Помните: мы живем тихо, потому что живем внутренней жизнью. В 1933-м. Когда начинался разговор о Данте, когда он восклицал, что там, где обнаружена связь вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала. Тогда же начались восьмистишия: "И так хорошо мне и тяжело, //Когда приближается миг - //И вдруг дуговая растяжка//Звучит в бормотаньях моих".

То, что называет Мандельштам бормотаньем, и есть его речь, то есть то, что не поддается пересказу. Мне могут возразить, что, мол, пересказать можно все что угодно. Могут и доказательно убеждать. Но поэзия определила себе такую возможность как исполнение. По словам Мандельштама, как мы уже видели, она существует только в исполнении, иначе сказать, совершенно противоположна пересказу, где нужно подыскивать слова, колебаться, припоминать и прочее, тогда как в стихотворении есть все для того, что мы называем исполнением: определенный ритм, который ни ускорить, ни замедлить...

"Люблю появление ткани, //Когда после двух или трех, //А то четырех задыханий //Придет выпрямительный вздох..."

Не так ли ожидал выпрямительного вздоха Данте, блуждая по козьим тропам, спускаясь в города, шлепая сандалиями по брусчатке средневекового поселения. Материя стиха составляется из вздоха и выдоха. Шаг делает свои умозаключения, не позволяя сбиться, привлекая к постоянному мозаичению, преодолению, противоборству с трудно дающей поэтической материей. А потом уже: "Когда, уничтожив набросок, //Ты держишь прилежно в уме //Период без тягостных сносок, //Единый во внутренней тьме..." Тогда идешь дальше до тех пор, пока позволяет свобода ограничения, самоограничения.

Мандельштамовские восьмистишия - пример такого ограничения, самоограничения, основанного на внутреннем движении души...

Мандельштам задает вопрос: "Скажи мне, чертежник пустыни, // Сыпучих песков геометр, // Ужели безудержность линий // Сильнее, чем дующий ветер?" Может ли существовать искусство без ограничений, поэзия? Вернее, самоограничения? Думается, что нет.

Но бледнеют размышления о границах дозволенного, о чувстве и такте, когда слышишь: "И я выхожу из пространства // В запущенный сад величин, // И мнимое рву постоянство // И самосознанные причин..."

Ведущая-искусствовед, искупавшись еще несколько раз, куда-то исчезла, вероятнее всего, обедать под тентом, куда не могло проникнуть очень уж горячее коктейльское солнце.

Музыка продолжала звучать, и, что странно, море вдруг вспенилось и исчезло, обратившись фужером шампанского в руках дяди с Гоголевского. Мы сидели в квартире старика с Патриарших и слушали рассказы дяди о нынешнем состоянии театров.

Признаться, меня это мало занимало, потому как о театрах ныне все бранятся и, вероятно, правильно делают.

- Брука на них теперь нету! - различил последние слова дяди...

В морозном декабре на Патриарших совершенствует свою работу каток. Сверкают традиционные коньки, обычные школьники катят по залитому фонарями льду. Пенсионеры прогуливаются по аллее.

В один из декабрьских дней 1933 года, беседуя с Данте в квартире Фурманова переулка, Мандельштам прочитал великому поэту, как сказала бы ведущая и на сей раз была бы права, такие строки: "Как из одной высокогорной щели // Течет вода, на вкус разноречива, // Полужестка, полусладка, двулична, - // Так, чтобы умереть на самом деле, // Тысячу раз на дню лишусь обычной // Свободы вдоха и сознанья цели".

Тысячу раз на дню! - не в этом ли движение уверенности, переходящее в сомнение, и сомнение, восходящее к уверенности? И цель теряется, чтобы тут же обнаружиться. Порыв души - и все бы к чертовой бабке в печку, но здесь же спустя какой-то час видишь новые оттенки того, что делаешь, убеждаешься, что надо делать. Не успеваешь записывать - уходит из-под рук, и уже не поймать.

Поймаешь другое, поддерживаешь в воздухе, не крепится, оболочка шаткая, гвоздь вколотить некуда, поэтический гвоздь...

- Во дает! - пронизательно глядя в глаза, восклицает дядя с Гоголевского. - Понесло, как иноходца. Иппокрена! Конечно, поживи в халтурных стенах, гвоздь не вколотишь, дрелью не возьмешь, разве что роялем выбьешь, как мне давеча сказывал товарищ из Бескудникова. Поднимали рояль, а он с лестницы поехал и вышиб плиту, вместе с которой летел с пятого этажа. К счастью, обошлось благополучно - прохожих не было.

Тогда же, в 1933-м, нет, через месяц - уже в 1934-м: "Конькобежец и первенец, веком гонимый взащей..." Памяти Андрея Белого.

Старушка, которую учили плавать на Адриатике, вспоминала фотографию, где Мандельштам был изображен с Белым в Коктебеле, на фоне дома Волошина.

Тогда любили фотографироваться и особенно в Коктебеле.

43.

Сколько бы ни уверял себя в том, что поэта можно узнать только через его стихи, все равно где-то внутри, посторонне, казалось бы, зреет любопытство: взглянуть на него, проследить движение губ, выражение глаз, вообще облик. Короче, хочется достать фотографии, рисунки, портреты, дагерротипы и прочее. Что говорить о современниках - самого Гомера хотят увидеть. И это вполне возможно. Вот герма Гомера, находящаяся в Лувре. Вот бюст его бородатый из Сан-Суси...

Мандельштам вполне сознательно сознается, что пойдет к репортерам, в фотографию, где "в пять минут, лопатой из ведерка" получит свое изображение на фоне какой-нибудь Шах-горы.

Да и можно ли представить улицу без фотографии, без ее витрины, предлагающей зафиксироваться на долгую память, где пузатые карапузы восседают на материнских руках, где в овальных, квадратных, прямоугольных рамках разместились лица, позы, взгляды.

Собираются гости, раскрываются семейные альбомы: а это кто, вот здесь, справа? а это когда вы снимались? год не припомните? ах, да, конечно, именно тогда. Что вы, что вы, это вовсе не Ялта!

Смысл фотографии довольно прост - остановить мгновение, то есть остановить себя такого-то и тогда-то. Изменчивость форм прослеживается отчетливо. "У вечности ворует всякий, // А вечность - как морской песок..."

На могиле Петра Чаадаева в Донском монастыре, на могиле Пушкина в Святогорском, на могиле Булгакова и Хлебникова в Новодевичьем, у плиты с могилы Державина, у могил Пастернака, Анны Ахматовой, у могилы раба Божьего Федора Ивановича Тютчева на Новодевичьем в Ленинграде... - щелкают затворы фотоаппаратов.

На горе Волошина у гранитной плиты - щелкают затворы.

Фотоаппарат позволяет вырывать куски истории по собственному вкусу. Создавать систему из этих обрывков истории.

Жизнь каждого человека дробится на фотокадры, судя по всему, много имея общего с орнаментом, ибо, как было сказано, орнамент строфичен, узор строчковат. Фото вырывания из течения жизни достойны равняться строфе, но не строчке. Строчки - сплошной кинопоказ непрерывности. Строфы - рассечение, разграничение, самоограничение.

А вот и на фоне Пушкина семейка снимается, как пел несовременный современник. Щелкает затвор - птичка не вылетает, магний не вспыхивает.

Я отвлекся на минуту, взглянул в окно: воробьи и голуби склеивают крошки на асфальтовой дорожке перед домом. Фотоэтиюд.

А вот и Мандельштам сидит, повесив на палку кепку, глядя прямо в объектив.

Щелкает затвор. Мандельштам встает, надевает кепку. Длиннополое серое пальто, походка... "В подняты головы крылатый // Намек. Но мешковат сюртук..."

Фотографии, портреты - непременные спутники складывания образа.

Открыта толстая, амбарная прямо-таки, тетрадь, вполоборота - поэт пишущий...

Поднят воротник черного пальто, молодое лицо, фотопортрет автора "Досок судьбы".

Черная шляпа, галстук, усталый взгляд Блока.

Белая, спадающая на лоб челка аккуратно расчесанных волос человека с белой бородой, написавшего "За рекой, в тени деревьев".

Рубаха с длинными рукавами и двумя карманами с пуговицами на груди, в диагональную полоску галстук, рука на перилах чело-века, сказавшего: “Любить иных - тяжелый крест...”

Групповая фотография: дядя с Гоголевского, старик с Патри-арших, Гена-философ, хранитель фондов (стоят); старушка с Ад-риатики, чернобровая художница, ведущая-искусствовед, неизве-стная брюнетка (подозреваю, что ее привел Гена-философ) (си-дят на скамье с тощими львами).

Кто фотограф?

В фотографии всегда тайна закадрового исполнителя. Об этом писал в сонете один военнослужащий поэт, проживающий в одной из башен Калининского проспекта в однокомнатной квартире:

“Боюсь фотографов - они напоминают невидимок”.

Мне думается, он излишне боязлив, наверняка сам сниматься любит и, больше того, не боится закадрового исполнителя - фото-графа.

Что бы такое написал Мандельштам о проспекте Калинина? Можно ли представить его там?

“Вот оно, мое небо ночное, //Пред которым как мальчик стою,  
- //Холодеет спина, очи ноют, //Стенобитную твердь я ловлю...”

А вот и фотография несовременного современника (Булата Окуджавы) - белый лоб, черный сюртук, черные усы. Именно он проезжал в полночном троллейбусе у Никитских, когда тихий па-мятник...

Мы пытаемся фотографировать уже по привычке, даже не имея под рукой фотоаппарата. Силимся точно воспроизвести без про-явителя, фиксажа, пленки и бумаги, увеличителя и объектива та-кого-то тогда-то. А объектив - необъективен.

Звук отстает от изображения, губы на полуслове открыты, но тек-ста не слышно, так на месте и стоим. Вроде живой, а вроде нет...

При жизни лишь можно на месте топтаться и фотографией ос-тановиться.

Потом это стояние все далее и далее будет удаляться от тебя, пока не останется в одиночестве без оригинала.

Так осталась фотография Мандельштама с Белым в Коктебеле. “Да не спросят тебя молодые, грядущие - те, - //Каково тебе там - в пустоте, в чистоте, - сироте!”

Фотография - прикладка для глядения, комментарий для гла-за, сноски для буквы, факт для изгибов: “Прямизна нашей мысли

не только пугач для детей://Не бумажные дести, а вести спасают людей”.

Тело, с которым неизвестно, что делать. Фотографировать? “На коленях держали для славных потомков листы - //Рисовали, просили прощенья у каждой черты”. Посмертные маски, портреты в гробу, фотографии перед закрытием крышки гроба, общий вид с покойником перед крематорием, почетные караулы, овальные комбинированные венки, рты прощаний зияют чернотой: “Как стрекозы садятся, не чуя воды, в камыши, //Налетели на мертвого жирные карандаши”.

Январь как будто месяц похорон, месяц, от которого некуда деться. Пар, не отошедший от губ, так и застывает на карточке для потомков. Лица, неизвестно, какое выражение принять: скорбное, умное, величественное. Среди массы лиц некоторые лишь не что-то выражают, не присутствуют, а переживают, чувствуют, что: “Меж тобой и страной ледяная рождается связь, - //Так лежи, молодых и лежи, бесконечно прямась”.

В 1881 году в феврале по Петербургу разлетелись листовки: черная шестнадцатипунктовая рама-прямоугольник, в центре - факсимильная подпись, начинающаяся с буквы фиты. Даты 1821 - 1881. Гляжу на этот листочек, будто только что вышедший из типографского станка, и удивляюсь: всего шестьдесят лет! Его вещи, в моем понимании, ну никак не укладываются в эти сроки... Одни “Братья Карамазовы” лет сто бы писать...

А жизнь-то вся как взмах ресницы!

Каких невидимок-фотографов должен благодарить за снимки Мандельштама? Щёлкает затвор - в Царском Селе, щелкает затвор - в Петербурге, щелкает затвор - в Москве, щелкает затвор - в Коктебеле, щелкает затвор - в Воронеже, щелкает затвор, щелкает, щелкает, щелкает...

“Рядом с готикой жил озоруючи//И плевал на паучьи права...” Щелкает затвор - Мандельштам с бородой, и птичка не вылетает. Откуда ласточки в Москве - голуби да воробьи, галки да вороны.

Хватило бы кадров, раскручивай пленку, бери отпечатки. Москва проявляется, будто картинка переводная в Москве-реке, в воде нефтяной, жилистой, сонной.

Щелкает затвор - речной трамвай, щелкает затвор - Исаич: Александр Солженицын на даче у Чуковского, щелкает затвор - Каменный мост, щелкает затвор - изба на курьих ногах, щелкает

затвор - крест на могиле, щелкает затвор... "Втридорога снегом занесенный, // Высоко занесся санный, сонный // Полугород, полу- берег конный..."

На этой фотографии старушка - Надежда Яковлевна Мандельштам - изображена сидящей на кухне с папиросой в руке, с чуть откинутой назад головой на фоне кастрюль, ложек, чайника. Снимал Эдик Гладков.

Фотограф закупает пленку, проявитель, бумагу, оптику, меняет изредка и сами фотоаппараты. Фотограф отпустил бороду, он ходит всюду с кофром через плечо, снимает - что нравится, печатает - что хочет. Фотограф снимает копии с оригиналов за спасибо живешь, за улыбку на карточке и папиросный дымок для виража. Легкая ретушь при пересъемках - не помеха.

Щелкает затвор!

Снимай, фотограф, не жалея пленки, тебе все хотят позировать, а не хотят - снимай так, не обидятся. Снимай, фотограф, и не думай о том, что ты останешься в тени, как писал поэт с Калининского, твоя тень слишком контрастна, чтобы остаться незамеченной.

Снимай, фотограф!

Да пусть щелкает твой затвор на радость всем будущим музейным работникам, собирателям, любителям и фанатикам!

Щелкает затвор, щелкает, щелкает...

44.

Корабельный лес, мачтовые сосны - призраки, видения, будто музейные экспонаты, входящие в редчайшие минуты в города. Смотрим на город и силится увидеть звенящий ручей, прорезающий березняк, вливающийся в спешащую воду узкой еще реки.

Прислушаюсь.

Вслушаемся в движение облаков.

И город начинает звенеть. И как в такую минуту не сесть в электричку, с ее визжащим гудком не домчатся до Звенигорода?

Сосны выходят навстречу.

Сосны выходят навстречу венецианскими дожами.



Сосны выходят навстречу венецианскими дожами с гордо поднятыми к небу головами в сопровождении пенсионеров-вязов с в три обхвата стволами, испещренными загадочными линиями.

Он на город не похож по причине своего имени.

Зве-ни-го-род!

При одном его упоминании достаточно того, чтобы услышать звук корабельного леса, изгиба воды в его подножии. Увидеть городок, где когда-то “Звенигородский князь... //В один присест съел семьдесят блинов...”.

Но такие поездки нечасты, если вообще случаются. Жизнь русской поэзии протекает в городах, а точнее - в столицах. Можно даже говорить об урбанизме нашей поэзии. Разве что Есенин, пришедший из деревни, чтобы опять-таки же надеть цилиндр, пытаться уяснить городскую речь, побывать за границами? Клюев? Но это особый разговор. В XIX веке - Кольцов...

Мандельштам - поэт столичный, как и вся поэзия, за редкими исключениями, даже когда он пишет о лесе, попадает в Воронеж, Тамбов, плывет по Каме в Чердынь, следует на Урал...

Покинув Петербург - край гипербореев, европейскую столицу, где оживали камни античности, средневековья, Возрождения, поэзия сдвинулась к Азии, Востоку. По сути, одна Анна Ахматова оставалась петербурженкой...

Спешим в провинцию по городам старинным. Гуляют себе спокойно мотыльковые матери, китайчатые платица среди огородов и палисадников в сапогах и ватниках. Ранние поезда на станциях разносят гудки по всей округе, по всему городу слышные: это куда, на Москву? Города слышат вокзалы. Для этих городов вокзал - центр культурной жизни. Все начинается с вокзала. Можно сесть на случайный попутный, а затем вспомнить, как: “Въехал ночью в рукавичный, //Снегом пышущий Тамбов, //Видел Цны - реки обычной - //Белый, белый, бел покров...” И в этом ночном воздухе степей слышна перекличка поездов, гуд вокзальных говоров - украинских и любых. “Где я? //Что со мной дурного? //Степь беззимняя гола: //Это мачеха Кольцова - //Шутишь, родина щегла...” Мандельштам и Кольцова видят столичным поэтом, хотя живет тот на периферии, в Воронеже-отчиме. Жил в Воронеже, в усадьбе, а Мандельштам, залетевший сюда, оторванный от столичной речи, чувствует себя, будто сокол закольцованный, около Кольцова: “И нет ко мне гонца, //И дом мой без крыльца...”

Страна, замкнутая в столицах, разворачивается для него через эти путешествия, расширяется, выступают новые виды, новые образы. Запад как в Лету канул, для него уже не остается места. Восток размерами глушит, расширяет зрение, уводит к голой ветке на чистом листе степей. “Ведь то, что мы открытостью в них мним, // Мы сами видим, засыпая, зрим, - // И все растет вопрос - куда они? откуда?..”

На улицах рождался звук, из них выходил, превратившись в Звенигород. Вся-то речь Мандельштама есть Звенигород. Воронеж не просто город - он город-звук, город-нож, город-ворон. И уже не вернешь - к нему приращено, и не уронишь, и не выронишь, и не проворонишь. Звенит город, звенит улица, звенят шаги по ним.

А в Звенигороде действительно корабельный, мачтовый лес. Фотограф изображает группу под соснами. Люди кажутся удивительно маленькими на общем плане живой древесины. Дерево - живое и мертвое. Не различить - растет ли деревянный ларь, широкая скамья, изба в абрамцевском музее. Не потому ли Мандельштам пел уже не камень, но дерево?

Вижу его размышляющим, раздумывающим о деревьях, некогда шумевших под дождем, а теперь превратившихся в доски, заклепанные и скрепленные в переборки корабля, ставшего другим мореходов.

Слышу, как он смакует слова “трещит и качается”, где весь воздух дрожит у него от сравнений, где все слова хороши, а сама земля гудит метафорой.

Воздух для него, как вода, живой, где плавают рыбы и птицы, крыльями и плавниками расталкивая сферы. Поэтому и воздух замешан у него так же густо, как земля. По деревьям пробегает шорох, как летосчисление, подходящее к концу. Но он, извиняясь, говорит, что сам запутался в счете, перепутал дни и ночи, года и столетия. Благодарит всех за все, что было. Для него эра - Звенигород, звенящая, звуковая. И как когда-то, говорил о цитате-цикаде, которой свойственна неумолкаемость, рассуждает о звуке, причина которого давно исчезла, но он продолжает звенеть.

Звенигород мандельштамовской речи продолжает звенеть, хотя тогда его срезало время, и как каблук, и как монету, и как дерево лесоруб, и, когда ему не хватало самого себя, он мог приурочить речь земле, деревьям-птицам, воде-рыбе, сказав, что за него они говорят.

- Это уже другая проблематика, - вмешивается в текст ре... (хотел сказать - редактор} Геннадий-философ. - Ведь в Европе издавна велись споры между поэтами и художниками об особенностях поэзии и живописи. В Китае же не противопоставляли поэзию живописи, а главным образом, на мой взгляд, выявляли, если хотите, пути единения этих двух видов искусства...

- Приурочивать свою речь земле, птицам, рыбам, - включается в диалог чернобровая художница, - близко народам Востока. Но несколько иначе восточными мыслителями трактуется. Тан Чжи-ци, например, полагал, что живопись - это молчаливая поэзия. А согласно Чжуан-цзы, мысль несоизмерима со словом и слова мешают выражению мысли, ибо сознание - не продукт, а творец природы...

- Я вполне с вами согласен, - Гена внимательно рассматривал художницу. - Вот именно поэтому Мандельштам передает свою речь природе. Можно, к примеру, найти родство поэтической концепции слова у Су Дун-по и Мандельштама, у Басе и Мандельштама...

- Да, да, хотя последний аспект - предмет специального исследования, ибо далеко уводит от собственно философии слова Чжуан-цзы, который предопределил родство поэзии и живописи, - сказав это, художница попросила сигарету у Гены-философа, но так как у него не оказалось, обратилась ко мне...

Я бродил по берегу Москвы-реки и смотрел на крутой берег, где из-за крон корабельного леса выглядывала маковка церкви на Городке. Вода набирала здесь скорость, вырывалась на поворотах брызгами пены, сопротивлялась о берег, падая в указанное некогда кем-то русло. Вода сама себя питает, не иссякая, возвращается вновь. Когда под шум воды звенигородский князь жевал блины, стадо лошадей шло на водопой, освобожденное временно от очередных походов. С ноги какого-то князева коня соскочила подкова, оторвалась вместе с гвоздями. Кто тот счастливцев, нашедший подкову? Города размечались подковами по кратчайшему расстоянию - до князя, обросшего лучами улиц, ибо со всех сторон неслись до него гонцы, конные и пешие, а то просто чернецы шли погулять. "А город так горазд и так уходит в крепь//И в молоджавое, стареющее лето".

На одной из воронежских улиц, кажется, улице Кольцова, встретил белобородого осанистого старика, читавшего прошлым

летом в Звенигороде лекцию о Музее-усадьбе Архангельское. Он добросовестно называл имена владельцев, гостей, крепостных умельцев. Прилежно вставлял пластинки слайдов в аппарат, направленный лучом объектива в маленький раздвижной экран, на котором, до этого совершенно белом, выпрыгивали анфилады комнат, паркетные полы, золотые пудовые багеты, обрамляющие лица, розовый дворец сквозь желтеющую листву кленов... Старик читал стихи собственного производства, прославляющие безымянных крепостных ремесленников...

Век заплетает всех живущих в заумную паутину, где концы с концами не сходятся, но случайно переплетаются, чтобы обрести задним числом закономерность. Век, исчисление, придуманные для облегчения труда безымянным рационализатором, не зарегистрировавшим свое изобретение в соответствующем комитете, век этот будто соседствует с нами, и будто его нет. Век - это то, что нельзя пощупать, и то, что так реально вырывается из Звенигородской речи Осипа Эмильевича Мандельштама.

45.

“Век мой, зверь мой, кто сумеет//Заглянуть в твои зрачки и своюю кровью склеит//Двух столетий позвонки?..” Мандельштамовский век возникает позвоночным животным. Его можно назвать человеком - ведь имеет позвоночник. Однако позвоночник, как известно, присущ всем позвоночным, а не только прямоходящим. Век определяли и как железный, но разве может быть железным то, что нельзя пощупать?! “Мы только с голоса пойдем, //Что там царапалось, боролось, //И черствый грифель подведем //Туда, куда укажет голос...” Голос Мандельштама ведет нас по улице к темени века, к измученному времени, туда, где время ложилось спать, чтобы затем пробудиться. Одно точно знаем - век для Мандельштама живое существо, говорящее (стало быть, не животное), мяукающее (не человек), с глиняным ртом (что же тогда?).

#### ВЕК МАНДЕЛЬШТАМОВСКОЙ РЕЧИ!

“Два сонных яблока у века-властелина...”, “Кто веку поднимал болезненные веки...” Век стареющий, молодеющий, живущий, умирающий. Из болезненных век выпадает ресница и падает в стакан воды. Жизнь как ресница, век - ресница, у которой имеет-

ся взмах. Век - столетие для кого-то, век - жизнь не для кого-то, а своя собственная. И никуда не убежишь от него, как бы ни ускорял движение, ведь жизнь, как бы ни нажимал на акселератор, - не ускорить.

“Я с веком поднимал болезненные веки - // Два сонных яблока больших...” Будто нащупав родство с веком, скрепившись с ним, вродившись в него, ведет голос поэт. Куда бежать от века, когда ты сам век? Тогда можно век назвать порогом, а от порога можно сбежать, по ночным улицам, сквозь московскую полночь, к бульварам, “по переулочкам, скворешням и застрехам, // Недалеко собравшись как-нибудь...”

Совершенствуем учебный процесс времени, ускоряем, опережаем, владеем и прочее, не убеждающее из этого ряда. Век и время - все с тобою, с говорящим, с умершим, с не родившимся еще.

Но он родится и скажет что-нибудь такое о нашем веке. Непременно скажет, потому что сам попадет в свой век и, чтобы его как-то различать на “свой” и “чужой”, отринет от себя и назовет его посторонним, бывшим, будущим,

“Сто лет тому назад подушками белела // Складная легкая постель, // И странно вытянулось глиняное тело, - // Кончался века первый хмель...” Век превращался в легкую постель, удобную, принимающую ко сну, к забвению. Век начинался легко, с молодых усилий голосов, с петербургского Рима, с Петрополя, с Персефоны-Прозерпины, с Антигоны... И пошел век жить по улицам и городам. Зашел век в Москву, заехал в Армению, позагорал в Коктебеле...

Двигался век.

Звучал век, набирая голосу, но кровать еще казалась легкой “Среди скрипучего похода мирового”, среди кочевий, перебранок, размолок...

Загремел век скобяным товаром по улицам Москвы, зашумел век телефонами и телеграфами, застучал пишущими машинками, задымил четырехтрубным дымом, зазвенел трамваями, запыхтел паровозами, заиграл медными трубами, завыл гудками металлургических комбинатов, первенцев индустрии.

“Мы - первая любовь земли!” - кричали на собраниях ячеек. Как будто не было Адама и Евы.

Задвигал век глазами наподобие яблок, вытянул позвоночник во всю страну, оживил ее, призвал всякого к работе обычной и об-

щественной, обеспечил отдыхом, взлетел век аэропланами и дирижаблями посмотреть с высоты, как там идет дело. На площадях, на вокзалах, на рынках, на улицах среди шума и спеха, везде видно перистое, яблочное око века...

“А на деле-то было тихо - //Только шел пароход по реке, //Да за кедром цвела гречиха, //Рыба шла на речном говорке...” Век, идущий к своему концу, стареет, лишь несколько мгновений остается. Памятники на бульварах позеленели, почернели, но их можно почистить - вновь заблестят...

А тогда, в сердцевине, ближе к изголовью, век был крепок на здоровье, брал на глотку, обряжался в блузы и кофты. Наверное, каждый век так начинался - с ожидания чего-то необычного, как в Новый год ждем, когда слышно звяканье шишек стеклянных...

И XXI век начнется. Дай бог дожить. И XXII век начнется - точно не доживем. И XXIII век начнется. И любой век начнется. Убежден, что начнется. Но при одном условии - если будет человек. Пока есть человек - все есть...

Но шел наш век, набирал голосу, раздувались аорты, артикулировали рты, гремели орудия...

Призвал век в путешествие и Мандельштама, мол, чего на одном месте сидеть, поезжай, погляди: есть и Урал, и Кама-река, есть Восток на земле, не один Запад, есть океан, есть Восток - есть и Владивосток. “Вехи дальнего обоза//Сквозь стекло особняка... //От тепла и от мороза//Близкой кажется река. //И какой там лес - еловый?..”

В это время из громкоговорителей на улицу вырывался мятежный вихрь увертюры к опере Глинки “Руслан и Людмила”. Буря звуков накатывалась на волну реки, дробила ее, продвигая по определенному композитором руслу, мажором укоряя сердца.

Век, вросший в тело, осознавшее свою длину, протянулся долгой улицей, по которой звучат шаги.

В каком веке шумел звенигородский князь, наливая пуншу в стаканы дяди с Гоголевского и старика с Патриарших? В какие дни?

Неважно, но “Благословенны дни и ночи те, //И сладкозвучный труд безгрешен...”

В каком веке некоему герою виделись берега итальянские рядом с избами, когда он призывал матушку, жаловался ей, мечтал о тройке быстрых коней, чтобы несли они его далее, далее, а потом

вдруг спрашивал об “алжирском дее”, у которого под самым носом шишка?

В каком веке виолончельным тембром возглашает Уголино?

В каком веке возникло слово, чтобы Чжуан-цзы сказал, что оно мешает выражению мысли?.. Быть может, именно тогда было сказано, что “Прежде губ уже родился шепот, //И в бездревесности кружились листья...”?

Какой век породил образ Благороднейшей, которая вдруг обьявилась “За рекой, в тени деревьев”?

Шагаем по улице века, и, “если нам не выковать другого, //Давайте с веком вековать”, чтобы почувствовать “кремнистый путь из старой песни, //Как в язву, заключая в стык//Кремень с водой, с подковой перстень”.

Звучат шаги, звенят подковы, звенит город, звенигородит Манделштам: “Благословенны дни и ночи те, //И сладкозвучный труд безгрешен...”

Вот он размышляющий о том, что человеческие губы после последнего сказанного слова сохраняют его форму. А вот и нумизматика: одни изображают на монетах человеческую голову, другие льва, третьи птицу - разнообразные лепешки из серебра, золота, меди где-то лежат в земле и ждут своих археологов, самим монетам безразлично, из чего они сделаны, - это будет важно нашедшим. “Века, пробуя их перегрызая, оттиснул на них свои зубы”.

46.

Пятикопеечная монета - пропуск в подземельный музей. Метрополитен, где затерявшийся несовременник пел про правила движения: “Стойте справа, проходите слева...” В учреждении по обработке металла, пытая, ударяли молоты, выпуская готовую продукцию в жизнь ипподрома. Скакуны готовились к очередным бегам. Меченые стальные пруты именами лошадей выгибались в подковы на счастье...

Какие подковы были у века? “Время вспахано плугом, и роза землею была. //В медленном водвороте тяжелые нежные розы, //Розы тяжесть и нежность в двойные венки заплела”.

Заплетаем случайные совпадения, встречи, расставания на уличном ходу, на незнакомстве, на посторонности. Чужие друг

другу граждане ходят по городам, не здороваются при встречах, не прощаются при расставаниях. Спешит каждый по своим заботам, “снует челнок, веретено жужжит...”

Вот и Мандельштам куда-то торопится, не замечает идущих ему навстречу, торопится с бормотанием о скудной основе жизни, о бедности языка радости, о том, что ничему теперь не удивляется, ибо “Все было встарь, все повторится снова, // И сладок нам лишь узнаванья миг”. Торопится, ни о чем не прося, ничего не требуя. Да и что может требовать сладкозвучный речевик, когда всего лишь одна спичка может его согреть, когда зимой его может согреть рогожа... “Тянуться с нежностью бессмысленно к чужому, // И шарить в темноте, и терпеливо ждать...”

Но белый снег на восемь месяцев, и никуда от него не деться.

А потом вдруг, забыв все печали, все горести, восклицает, словно тост поднимая, и за военные астры, и за все, чем его постоянно корили, за Париж, и за бискайские волны, за рыжеволосых и спесивых англичанок...

Вспомнить тихо и о полупочтенном возрасте, когда до патриарха еще очень далеко, поэтому каждый ругает как угодно, но по чему-то за глаза...

“ - Ну что ж, я извиняюсь, // Но в глубине ничуть не изменяюсь...” Мы живем тихо, потому что живем внутренней жизнью. Но все же до чего он хочет разговориться, “выговорить правду, // Послать хандру к туману, к бесу, к ляду, // Взять за руку кого-нибудь: - Будь ласков, - // Сказать ему, - нам по пути с тобой”.

И уже как-то странно после этого звучат петербургские стихи, ибо речь вышла на улицу, зазвенела и зашумела.

Разбрелись улицы в чоботах железных, звучат шаги прохожих, прогарцует подразделение Кайрата Хисамутдинова, улыбнется дядя с Гоголевского и скажет: “Иппокрена!”

Но что там было вместо ключа Иппокрены?

Неважно, потому как запел для него соловей сиротствующий, славящий своих пернатых братьев. И опять вспомнилась Италия, и опять ясная тоска по Тоскане...

Свобода игры есть не что иное, как свобода самоограничения вольной по природе своей, неорганизованной речи.

“И до самой кости ранено // Все ущелье стоном сокола...”!



Вся речь Мандельштама есть пример самоорганизованной и самоограниченной свободы игры звучащего языка.

“Благословенны дни и ночи те, //И сладкозвучный труд безгрешен...”

47.

Это уже потом можно было иронизировать над русской поэзией, когда своя речь стала позволять: “Дайте Тютчеву стрекозу - //Догадайтесь, почему, - //Веневитинову - розу, //Ну а перстень? Никому! //Баратынского подошвы//Раздражают прах веков, //У него без всякой прошвы//Наволочки облаков. //А еще над нами волен//Лермонтов - мучитель наш, //И всегда одышкой болен//Фета жирный карандаш...”

И здесь он не обошелся без подошв. И здесь ему приспичило движение. Быть может, мужики с Киевского вокзала натолкнули на это? Они ведь частые в Москве гости. Да и Осип Эмильевич рад был оказаться на Крещатике, пройтись по улицам Киева-Вия.

Там и красноармейцев, шагающих строем, заметил, и шинель, родственную волжской туче, разглядел. Вот тебе и наволочка из облаков в дальнейшем, но почему-то без прошвы...

Едкий характер. Мало с кем уживался.

А вон и флигель сквозь листву виднеется на Тверском. И все дома. Пьют чай. Тепло, и керосинка не коптит. Изредка за окном мелькнут едва различимые прохожие. “Не Александр ли Иваныч идет?” - “Нет. Ему рано. Тот должен быть в субботу...”

Вот и заселили всех на одну улицу, вот и бродим по ней бесконечно. “Бывало, я, как помоложе, выйду//В проклятом резиновом пальто//В широкую разлапцу бульваров, //Где спичечные ножки цыганочки//В подоле бьются длинным...”

- Эх, эх, где этот подол и где эти спичечные ножки?..

- Да вот же они, я вам их представил.

А все-таки, “Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова! - Как ее ни вывертывай, криво звучит...”. Идем!

1975-1976 гг.

## УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА

Р. С. “Секретарю правления Союза писателей СССР  
г. Рождественскому Р. И.

Уважаемый Роберт Иванович!

В связи с Вашим письмом о судьбе рукописей советского поэта Осипа Эмильевича Мандельштама, изъятых у него при обыске в мае 1934 года, проведена тщательная проверка.

О. Э. Мандельштам дважды, в 1934 и 1938 годах, привлекался к уголовной ответственности. Дело, по которому он был осужден в 1938 году, прекращено Верховным Судом СССР в 1956 году за отсутствием состава преступления.

В процессе дополнительной проверки, проведенной по делу в отношении О. Э. Мандельштама за 1934 год, установлено, что он так же был осужден необоснованно, поэтому по протесту заместителя Генерального прокурора СССР Верховный Суд СССР 28 октября 1987 года дело прекратил.

Таким образом, О. Э. Мандельштам полностью реабилитирован.

К сожалению, принятыми мерами розыска установить место нахождения и содержание текста рукописей О. Э. Мандельштама, изъятых при обыске в 1934 году, не представляется возможным.

С уважением

Старший помощник Генерального прокурора СССР

В. И. Андреев”.

*В книге “Улица Мандельштама”,  
Москва, издательство “Московский рабочий”, 1989.*

## СТИХИ 1963-1973

\*\*\*

Мой современник - колокол Иван.  
К нему я в современники не зван.  
Молчание его четвертый век  
Не могут заглушить ни скрип телег,  
Ни свист плетей, врезающихся в спины,  
Ни возгласы юродивых, калек.  
Ни бит-ансамбли, ни автомашины.  
...А осень вся в подтеках желтизны  
Предощущает запах новизны,  
Бесшумного отныне снегопада...  
Тот колокол у белого фасада  
Безмолвствует...

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

\*\*\*

Возможен горожанин налегке  
Или попутка в ближнее село,  
Возможен лай собачий вдалеке...  
Но невозможна смерть. О ней молчи.

Возможен хлеб, и воздух, и вода,  
И городское эхо словаря,  
И бронзы скрип возможен, как вчера,  
И все возможно. В жизни все не зря.

Возможно, свет звезды издалека,  
Звезды умершей, вижу наяву.  
Возможно все на свете в этот миг.  
Возможно все, покуда я живу.

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

## СТИХИ 1963-1973

### МЕХАНИК

Забвенна жизнь механика колонны.  
Он, почитай, всегда ходил, как сонный,  
Шоферские путевки отмечал,  
На линии машины выпускал.

В гражданскую освоил "Руссобал",  
Возил снаряды - в общем, воевал,  
Оружием отмечен именован,  
Комбриг сфотографировался с ним.

На полустанке повстречал пустом  
Единственную - вечную - жену.  
На М-1 заедет в исполком,  
А на ЗИС-5 исколесит войну.

Он незаметно жизнью дорожил -  
Не потому, что слишком жизнь любил,  
А жил, как воздух, солнце и вода,  
Не иссякающие никогда.

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

### НА СЛОМ

Черная рябина - хмель до сердцевины.  
Бродит, перебродит мутная бутылка.  
Продае-дается - дом на слом - дается:  
Доски, бревна, рейки, дедовский костыль.

Жаль, что так, без спросу время вор-ворует.  
Жаль рябины черной и резной карниз,  
Жаль, что быть бывает, быть быльем пылится,  
Разбиваясь былью, будто бы сервис.

Укrotи, рябина, хмель до половины,  
Не витийствуй более, суповой петух:  
Продае-дается - с топора до щепки  
И за так - до кучи - домового дух!

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

ПОЭМА КРИВОКОЛЕННОМУ ПЕРЕУЛКУ

Крива Москва. От века окривела.  
Кривилась без заботы, как хотела,  
Лепилась по холмам и по низинам...  
Из окон типографии окину  
Кривые переулки...

Люблю у темных окон постоять,  
Пока готовят полосы в печать.  
Вахтер в шинели черной подойдет,  
Короткий разговор произойдет,  
Попросит "Беломору" - угощу,  
И спросит, мол, о чем стою-молчу.  
Отвечу, что на улице тепло,  
А в январе морозу бы хотелось,  
Что вечером от снежных крыш светло,  
Что старая Москва похоросела,  
Что просто так задумался, что вот  
Церковных окон виден переплет,  
Где стекла запотели от дыханий,  
Как странно наблюдать на расстояньи,  
Как странно: если служба там идет.  
- Чего же странно, ежели идет, -  
Вахтер ответит. - Пусть себе идет!

Пойду по криво пляшущим домам,  
По улицам - изогнутым лучам,  
Я сам себе маршрут криволинейный -  
В Москве иного не было и нет,  
Не сыщешь, как на севере, Литейный  
Простреливает города макет.

Здесь улица из улицы вкривую  
Выкручивает поселений сбрую,  
А в самой середине закавыки,  
Никак не обойдется без музыки  
Доски мемориальной на фасаде,  
Прочтения одной поэмы ради.  
Я криво улыбнусь в Кривоколенном.  
Я криво позавидую поэтам,  
Один из них сочтен первостепенным,  
Другой из жизни вышел на рассвете.  
Как барина, все ждут прихода оды,  
Прихода первоклассного поэта -  
Решит, как постовой за пешехода,  
Рассудит, как собранье педсовета.

## СТИХИ 1963-1973

Скривились желтяки-особняки,  
Без подорожной мерят расстоянья.  
Я узнаю туманные зрачки  
И голосов последние сказанья.  
Не в назиданье строилась Москва,  
Но в корчах, как на сносях, распласталась  
И стала потому-то голова,  
Что криво и беззубо улыбалась,  
Кормилицей налево и направо  
Для каждого вошедшего была,  
Для всей России стала переправой.

Кривись, Кривоколенный проводник.  
Я сам себе маршрут криволинейный -  
В Москве иного не было и нет...

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

### ЭЛЕГИЯ

А то, что остается от меня, -  
Ни больше и ни меньше - просто я.  
И не такой, каким хотел бы выйти,  
И не такой, какого захотите  
Увидеть в оправдание мое.  
Есть то, что есть, - ни больше и ни меньше.  
Мечтания ли были, забытье,  
Иль слог косноязычием увенчан -  
Ни больше и ни меньше - все мое.  
Я подпишусь обеими руками  
Под начерно бегущими строками.  
Есть только то, что сказано. О прочем  
Излишне говорить. Уполномочен  
При жизни объяснить неясность строк,  
Как ученик, пока идет урок.  
Пока живу и длится восхождение  
В не пройденное мной стихотворенье,  
Где можно править, комкать, сокращать,  
А после сжечь проклятую тетрадь,  
Исписанную бисером поспешным,  
Краснеть и повод подавать насмешкам.

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

## Юрий КУВАЛДИН

### МЕСТО РОЖДЕНИЯ

...Еще звонарь не влез на колокольню,  
А Тредьяковский, засветло проснувшись,  
Неспешно измеряет двор безлюдный,  
Перелагая еллинские вирши  
На слог доступный,  
Мерою спокойной  
И штилем верным:  
"...Плыви, корабль,  
Беленый, просмоленный..."

И вторю я,  
Коснувшийся науки,  
Видеть  
Поросшее морщинами жильё:  
Плыви, корабль, беленый, просмоленный,  
Плыви, Москва. Я тоже поспешаю  
Вослед тебе... Но где моя ладья?

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

### МЕТЕЛЬ

*Сыпал иней пушисты  
И метели воздымал,  
Налагая цепи льдысты.*

*Г. Р. ДЕРЖАВИН.*

И в бровь, и в глаз, и в спину, и под дых -  
В Москве метель - свистящий ветер хлещет,  
Все яростней, точней, упрямей, резче,  
Пронзая стариков и молодых.  
Дрожишь, спешишь, других опережая,  
Протиснуться в убежище трамвая.  
Не вывихнуть бы что, прижатым к каске,  
И глубоко вздохнуть в согретой массе.  
Трамвай-метро-автобус-твой подъезд:  
И пусть метет - она тебя не съест!  
Москва обороняется, как прежде,  
Одетая в бетонные одежды, -  
Заборами, подъездами, домами,

## СТИХИ 1963-1973

Подземным раем - в качестве метро.  
По транспортеру в общее нутро -  
Лавина лиц, встревоженных делами,  
Покупками, разводами, стихами,  
Театрами, гостями, новостями,  
Вокзалами, хоккеем и т. п. -  
А попросту, в спрессованной толпе -  
Торопится...

По граду-исполину  
Метель метет не хуже, чем в степи,  
Урча, сопротивляются машины,  
Как сбившиеся лошади в степи,  
Буксуют, застывают в переулках...  
А где-то над стеной и в нишах гулких -  
Метель, метель...

На стыках, над мостом  
Метет и эшелон метельный гонит  
По окружной. Гудок по-волчьи стонет  
И прячется в глухой товарный гром.  
Безмолвствует спортивная арена,  
Снег залепил трибуны по колено, -  
Звучит над чашей хор иных страстей:  
Многоголосый баховский Матфей...  
А где-то над стеной и в нишах гулких,  
Сторожевой стеной и башнях гулких,  
Над золотою, снежной колокольной  
Метель метет проворнее, раздольней.  
Снег засыпает мраморные плиты,  
Часовни, стелы, рамки, монолиты -  
Недвижный человеческий квартал,  
В который бы никто спешить не стал  
Сам по себе... Москва звенит, как ларь,  
Пружиной заведенный, леденящий.  
Качается над пропастью фонарь,  
Качается, над бездною летящий...  
А где-то над стеной и в нишах гулких,  
А где-то над рекой в обводах гулких,  
Сторожевой стеной и башнях гулких,  
Береговой квартал в обводах гулких,  
Над куполами колоколен гулких  
Качается, качается фонарь,  
Качается, над бездною летящий...  
И в музыке метели город спящий,  
Свистящий звук скользит по окружной,  
Все сходится в симфонии живой,  
Далекой, близкой, ясной, непонятной,



## Юрий КУВАЛДИН

Кто дирижер космического театра?  
Когда б я знал, что я не одиноко,  
Что я, как тайный знак всего живого,  
Позию метели между строк  
Выуживаю снова, снова, снова!  
Я счастлив, что душа моя полна  
Метельными свирелями бессмертья!  
Но тело леденеющее - к смерти,  
От плюса жизни к минусу волна!..  
Нет!  
Лучше уж вздохнуть в согретой массе,  
Придавленным к торцу билетной кассы,  
Стекать в метро и вспомнить невзначай,  
Что дома ждет тебя индийский чай,  
Что ты живешь бессрочно, не на шаре,  
Не в бездне, а в квартире на бульваре,  
И под тобой стеклянный гастроном -  
За хлебом можно сбегать перед сном...  
Трамвай-метро-автобус-твой подъезд:  
И пусть метет - она тебя не съест!

*Стихотворение публикуется впервые.*

\*\*\*

Вон там, за дальнею горой, мое пристанище - деревня.  
Мое случайное жилье в отрыве от насыщенных дел.  
Там, за амбаром, где растут дореволюционные деревья,  
В земле кладбищенской лежат останки чувствовавших тел.  
Я в жизнь родился в первый раз и понимаю, что в последний.  
Но мне не верится пока, что я из жизни пропаду.  
По деревяшке постучу, благодаря свой возраст средний,  
И новых суток невзначай у русской печки обожду.  
Я сам с собой здесь поживу без жадных помыслов о пользе,  
О том, что нужно что-то мне закончить в срок, чтоб вновь начать.  
За молоком на новый день зайду в избу к старухе возле,  
А может, просто так зайду, чтоб посидеть и помолчать.  
Здесь жизнь сама собой живет, сама себя перемагает.  
В колодце воду достает. В земле готовит провиант.  
Да иногда, в курортный год, неурожаем напугает...  
И напугавшийся уйдет, сказав, что он не арестант.  
Один ушел. Забил избу, сломал сарай, сорвал подкову.  
Что ж, в гастронOME на него еда сама собой идет.  
И в "Детском мире" на детей примерит он в аванс обнову,  
Прочтет газету на диване и купит елку в Новый год.

## СТИХИ 1963-1973

Но, успокоившись на год, на два, - о чем-то затоскует,  
О чем-то вспомнит про себя - не вслух. Но некому пенять.  
Вот это - ЧТО-ТО - не дает житья. Его не запакует,  
И бандеролью не пошлет и не уложит в зыбку спать...  
Да и меня все гложет червь, неуспокоенность торопит.  
Куда, зачем - не знаю сам... В метро, в избе... Не рассказать.  
Наверно, это жизнь сама - пока живу - меня тревожит,  
И мне ее до самой смерти наверняка не переждать.

*Стихотворение публикуется впервые.*

\*\*\*

Укрытая среди лесного края  
Деревня, где стоит мастеровая  
Изба, и в ней работает, как встарь,  
Непризнанный сельчанами кустарь.  
Звенит пила, резец сгоняет стружку -  
Иван Иванович делает "игрушку" -  
Телегу, чтоб доехала сама,  
Как паровоз, до станции Тума...  
Иван Иванович Пушкин - местный житель,  
Мещерский Пушкин - ростом в потолок.  
Столяр и плотник, резчик и строитель, -  
Так почему ж в селе он одинок?  
Наверно, для совхозного начальства -  
За трудодень бы в поле - был хорош?  
А Пушкин мастерил чего-то смальства  
Без пользы для совхоза - это что ж?  
Возьмется за рубанок - не входите!  
Он с глаз долой - закроется в избе,  
А через месяц вытащит - глядите! -  
Не прялка, а искусство по резьбе!  
Винты, болты и гаечка любая -  
Из дерева точил! И вот - собрал...  
Проведали о том в столичном крае,  
В худфонде - и скорее на вокзал.  
А Пушкин им условия, конечно, -  
Заказы будет делать не спеша,  
По совести, в согласии сердечном, -  
Тогда поделка выйдет хороша.  
Условия любые принимают,  
Коль интурист берет втридорога,  
И Пушкин сам и планы составляет:  
Два-три изделия в год - душа строга.  
К нему и журналисты наезжали

## Юрий КУВАЛДИН

И очерки писали для газет.  
Когда на стороне его признали,  
И свой признает, верно, сельсовет?  
Совхозные - увы! - не признавали,  
Бездельником, как прежде, называли,  
Мол, от работы чтобы увильнуть,  
Кустарный, незаконный выбрал путь!  
И сколько бы еще твориться звону...  
Но вдруг - постановление на столе!  
Иван Иванович Пушкин по закону  
Как мастер ныне значится в селе.

*Стихотворение публикуется впервые.*

\*\*\*

Остались от старой усадьбы три липы.  
Три липы остались от бывшей усадьбы.  
Стволы в три обхвата - высокие липы,  
Столетние липы - надгробья усадьбы.  
Прямая аллея сбегала к оврагу,  
От бывшей усадьбы сбегала прямая,  
Пунктиром чернеющих пней до оврага  
Прочерчена бывшей аллеи прямая.  
Прочерчена резким пунктиром былого -  
Остались три липы, живые надгробья.  
К оврагу, к оврагу, к оврагу былого -  
Живые надгробья, надгробья, надгробья...

*Стихотворение публикуется впервые.*

\*\*\*

В Немятово - мещерской деревеньке -  
Дома поизносились, как ступеньки,  
Я вижу заколоченные избы -  
Кривые, пожилые организмы.  
- Бери любую, - говорит пастух мне,  
- За сто рублей старухи отдают,  
А то деревня без жильцов потухнет -  
Коровы вместо сена дожуют...  
К нам подошел немятовский учитель  
И, словно доктор Фауст-оживитель,  
Отрезал, посмотрев на пастуха:

## СТИХИ 1963-1973

- Немятово - не смято, не подмято,  
Ну что распространяешься зазря ты,  
Чтоб вымерла Мещера - чепуха!  
Учитель - Николай Васильич Федин,  
Нахмутив брови, скажет при соседе:  
"Земля - не шар, не глобус, не картина -  
А этот двор, сарай, забор и глина.  
Сменить избу на город стало просто,  
Но разве у души есть "темпы роста"?  
Отсюда убыл, а к себе не прибыл!  
Ты сам с собой останешься, где б ни был"...  
Я посмотрю на Федина с улыбкой,  
Сочувствуя его советам зыбким,  
Я посмотрю на зыбкость нашей речи,  
Я посмотрю на зыбкого себя -  
Качается земля, при нашей встрече,  
И провожает каждого, любя.  
И я ее люблю. Вот эту землю.  
Без логики, какая есть - приемлю.  
Земля - не шар, не глобус, не картина.  
Из глины поднимается рябина,  
Бараны пролезают в щель забора -  
Картофельной ботвы отведают впору,  
Хозяин матерится для порядку,  
Бессмысленно уставясь в огород,  
Бараны принимаются за грядки...  
Визжат в фанерной будке поросята,  
Уныло отвечают им телята,  
Гусята бьют носами по крыльцу -  
Как водится - деревне все к лицу.  
Да, ей к лицу! И мне это понятно -  
Не потому, что тянет к простоте -  
Сама земля душе благоприятна.  
Ее не обвинишь в неправоте.  
Права земля! Все видимое нянчит,  
Невидимое - явью создает.  
Не жалуется - некому! - не кланчит,  
Сама, как может, жизни создает.  
И видимость свободы придает  
Своим живым, растущим и летящим,  
Цветущим, говорящим, уходящим,  
Всему и всем - таков ее удел,  
Быть матерью, казаться не у дел...

*Стихотворение публикуется впервые.*

## Юрий КУВАЛДИН

\*\*\*

Я из детства вышел, как из леса,  
Как идет не ради интереса  
Из-под снега первая трава.  
Пробую, как яблоко, слова.

Я беру ничейные подарки  
В облаке и травах, и в росе.  
Пробую распахнутые арки  
Разместить на лесополосе.

Я в лучеобразную столицу  
Кольцевые годы занесу.  
Соснами над городом кружится  
Время, застывая на весу.

Я сквозь это время слышу голос,  
Зазвучавший вновь из-под иглы -  
Уличное шествие глаголов,  
Столкновений вяжутся узлы.

Речь моя в сохранности пребудет,  
Голоса поэтов не умрут,  
В круговом терпенье выдох труден,  
Но я принимаю этот труд!

Чтобы зазвучали, как бывало,  
В столбики вошедшие слова,  
Чтоб они отныне не теряли  
На произнесение права!

*Журнал "Новый мир", № 8-1979*

Нина Краснова

ПЛАМЕНЕЮЩАЯ РОЗА

У Константина Паустовского есть знаменитая книга о писательском мастерстве “Золотая роза”, которую Юрий Кувалдин сделал с детства своею настольной книгой, наряду с книгой Юрия Олеши “Ни дня без строчки”.

Я бы назвала Кувалдина пламенеющей розой.

- Писатель должен писать каждый день! - говорит он авторам своего журнала “Наша улица”.

Многие думают, что он шутит, когда говорит это. И кое-кто говорит ему: “Да я уже написал один рассказ (одну повесть, одну книгу). И что - я должен еще писать? И еще и еще? И всю жизнь должен писать и писать? Каждый день?!” - “Да, если ты настоящий писатель и если для тебя нет ничего главнее в жизни, чем писать книги”, - отвечает Кувалдин.

Сам он пишет каждый день, при любой погоде, при любых настроениях, при любом самочувствии, при любых условиях и обстоятельствах, в том числе и при тех, которые не располагают к этому. Потому что он, в отличие от повального большинства членов Союза писателей, настоящий писатель и потому что для него в жизни нет ничего главнее, чем писать, заниматься творчеством, литературой, то есть для него нет ничего главнее литературы, главнее Логоса, главнее Слова, которое для него - Бог. Литература - это его Любовь и его Религия, это его Всё. Он весь живет в ней. Реальная бременная жизнь с ее простыми удовольствиями и утехами и с суетой сует для него как бы не существует. Для него существует только мир литературы и творчества, “жизнь - в книге”, “жизнь - в искусстве”, нереальный мир, или мир второй реальности, который для него (как и вообще для Художника) более реален, чем реальный мир, чем реальная жизнь. А реальная жизнь для него - только “повод для творчества”. А главная цель и главный смысл жизни у него - это выполнить свои творческие сверхзадачи и войти в Божественную метафизическую программу, то есть в Бессмертие, в Вечность.

Юрий Александрович Кувалдин родился 19 ноября 1946 года, в Москве, в бывшем

“Славянском базаре”, на улице 25-го Октября (а до революции и ныне - Никольской), учился в бывшей Славяно-греко-латинской академии, вместе с Тредиаковским, Ломоносовым, Кантемиром (только в разное время с ними, они - в XVIII-м веке, а он - в XX-м). И это повлияло на его судьбу и определило ее и помогло ему встать на путь литературы и идти по нему всю жизнь, равняясь на великих.

Он с детства любил читать книги и перечитал еще в детстве всю русскую и зарубежную классику, в которой он ориентируется так же свободно, как в улицах и переулках Москвы, в которых сам черт запутается и сам Бог не разберется. В 15 лет он поступил в театральную студию Владимира Высоцкого и Геннадия Яловича. Воспринял и изучил там систему Станиславского, систему перевоплощения, которую потом стал применять в своем творчестве.

Писать он начал в 17 лет, даже еще раньше. И начал он, как почти все лучшие прозаики, - со стихов. Его стихи печатались в “Литературной учебе” (с предисловием Юнны Морлиц) и в “Новом мире”, и в газетах “Ленинское знамя”, “Московский комсомолец”, “Вечерняя Москва”. Но он быстро охладил к этому жанру, быстро понял, что стихи, как сказал Есенин, “не очень трудные дела”, и что это - слишком легкое для него дело, это все равно, что для штангиста - игрушечная картонная штанга, или для самолета грузоподъемностью сто тонн - сетка картошки весом один килограмм. Да и вообще стихи - это самая первая ступень творчества, так считает Кувалдин. И он перешел на прозу. Ее оценили такие мастера слова, как Фазиль Искандер, Юрий Нагибин, Лев Аннинский, критик Владимир Лакшин. Последний говорил ему: “Твоя проза - гениальна. И поэтому ни один журнал не будет печатать твою прозу (потому что она никому не по зубам)”.

Юрий Кувалдин - писатель “потерянного” поколения. Он никогда не входил ни в какие группы, был всегда сам по себе и шел своей дорогой, один, а не в стаде коллег и не в толпе, подальше от стад и толп. Он мог бы сказать о себе стихами поэта (Юрия Кузнецова): “Меж прошлым и грядущим иду один”.

Он был не похож ни на кого, не вменялся ни в какие привычные рамки и схемы, и поэтому сотрудники редакций не знали, как относиться к нему. И на всякий случай возвращали ему его рукописи, которых прочитать-то как следует не могли по причине своей низкой квалификации и полной профнепригодности. Они даже побаивались его, потому что он лучше их знал литературу. Как-то раз они из приличия спросили его: “Что вы сейчас читаете?” - “Чевенгур”, - ответил он. - “А это что за писатель? Не наш? Иностраный?” - спросили они про “Чевенгур” Платонова. И такие специалисты по литературе, советские ликбезовцы, сидели в советских редакциях и вершили судьбы таких людей, как Кувалдин, образованнейший человек своего времени, библиофил, эрудит, энциклопедист и великий писатель, которому никто в макушку плюнуть не достанет. Где они все теперь, эти - те! - мелкие сошки, мелкие советские чиновники и клерки? Их нет. Ни в литературе, даже где-нибудь на обочине, в какой-нибудь канаве или луже, нигде, и к ним даже претензий никаких не предъявишь задним числом: мол, что же вы, такого писателя зажимали, ходу ему не давали, палки в колеса ему ставили, не печатали его? И уже ничего ни с кого не спросишь. Не с кого.

Большинство советских писателей писали только потому, что их печатали и они получали за это солидные гонорары, хороший куш, они подстраивались под конъюктуру, под официальную политику и идеологию, под вкусы редакторов и писали по принципу “чего

изволите?”. Литература была для них дойной коровой, золотым тельцом, или, если говорить словами Кувалдина, “нефтяной трубой”, источником дохода и материального процветания. Сейчас многие из них бросили писать, потому что их перестали печатать, а если и печатают, то не платят им за это гонораров, да еще таких, как раньше, на которые они могли купить себе квартиры, дачи и машины. А зачем мучиться писать, если тебя не печатают и денег тебе за это не платят? - рассуждают они.

Кувалдина почти всю жизнь не печатали. Но он никогда не переставал писать, писал и писал каждый день, “в стол”, потому что он не мог жить без этого. Он работал фрезеровщиком на заводе, шофером такси, ассистентом кинооператора на ЦТ (на Шаболовке), служил в армии, окончил филологический факультет Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина, работал младшим научным сотрудником в ЦСУ СССР, корреспондентом центральных и московских газет, где выступал с очерками, репортажами, интервью... А в свободное время писал свою прозу для спасения души (бессмертия в Слове), из любви к искусству.

В 80-е - 90-е годы его прозу стали активно, как бы соревнуясь между собой, печатать “толстые” журналы - “Новый мир”, “Знамя”, “Дружба народов”, “Грани”, “Стрелец”, “Континент”, “Время и мы”, альманах “Мир Паустовского” и т.д. Она изумляла всех продвинутых, культурно развитых читателей своей интеллектуальной и эмоциональной насыщенностью, абсолютной раскрепощенностью, незаидеологизированностью, безоглядно-смелой искренностью, высоким мастерством и художественностью, новизной стиля и авангардностью. Критики приклеили к ней ярлык “интеллектуальная проза”, который был точен только отчасти, поскольку она по своим жанровым особенностям шире всяких ярлыков.

В 1989 году вышла его первая книга “Улица Манделштама”, тиражом 100 тысяч экземпляров, которая стала ярким и неординарным событием в литературе и заставила всех заговорить о нем.

В советское время критики все ждали нового писателя, нового Чехова или Достоевского, который пришел бы в литературу с готовым собранием сочинений в десяти томах, которые он написал в “приюте спокойствия, трудов и вдохновения”, но которые до поры до времени держал у себя в столе. Правда, эти критики и сами не верили, что такой писатель существует. Некоторые писатели (в том числе и поэты) кричали о себе, что они пишут в стол, что у них много чего лежит в столе, но что вот их не печатают, зажимают. В период перестройки и реформ у всех появились шансы напечатать то, что они держали в столах. И когда они повытаскивали все это из своих “ящиков”, оказалось, что всего этого не так-то и много, а хорошего среди всего этого - и того меньше. А у тех, которые громче всех кричали, что их зажимают и не печатают, и успели сделать себе на этом имя и попасть на гребень славы и даже в школьные учебники, и вовсе ничего не оказалось, кроме мятой школьной тетрадки в 12 листов, залитой вином, как “скатерть белая”.

В перестроечный период Юрий Кувалдин начал первым в СССР частную издательскую деятельность, создал издательство “Книжный сад”, чтобы не зависеть ни от каких издателей и самому издавать то, что ему хочется, самого себя и тех авторов, которые ему нравятся. А в 1999 году он с этой же целью выпустил пилотный номер журнала “Наша улица”, и за шесть лет выпустил уже семьдесят номеров. И все свои главные вещи теперь печатает там.

Критики еще не поняли, что он и есть тот самый новый писатель, которого они все ждали или делали вид, что ждут, и которому они теперь как бы не очень и рады (потому что



куда теперь девать других, раскрученных ими и средствами массовой информации?). Он - тот самый новый, готовый гений, который всю жизнь писал в стол и написал за сорок лет 10 томов сочинений. Написал-то он намного больше, но далеко не все он включил в свое собрание сочинений. А многое он сжег, как Гоголь свои "Мертвые души", например, 400 страниц повести "Тайна добра" (400 сжег, а 200 оставил). Потому что он требователен к себе, как ни к кому. Пока его коллеги бегали за гонорарами, махали политическими знаменами и становились то под одни, то под другие, в зависимости от того, под какими знаменами они получат больше выгоды для себя, пока они разбивались на лагеря и шли стенка на стенку и били морды друг другу, пока они отдыхали на дачах (некоторые из них - на государственных, но присвоенных себе), пока они торчали в ЦДЛе и трепали там своими языками и пьянствовали и ходили туда каждый день, как на государственную службу, пока они предавались всем соблазнам быстротекущей жизни, занимались разной "хренотой", пока они тусовались на банкетах, на фуршетах, пока крутились под ногами у членов комиссий по Букеровским, Пушкинским, Государственным и другим премиям, пока они мелькали по телевизору и там и сям и шумели и кричали о себе, что они - гении, и пока они просто палкой груши околачивали и били баклуши и плевали в потолок и лежали на печи, вместо того, чтобы сидеть за столом и работать, и мечтали о том, что печь сама повезет их в литературу, на Олимп, Кувалдин сидел за столом и работал, как вол, писал, писал, писал... каждый день, по принципу Олеси "ни дня без строчки". И вот издал 10 томов своих сочинений, воздвиг сам себе памятник "нерукоотворный", ибо писатель, по мнению Кувалдина, пишет не "рукой", а головой и сердцем. И заткнул за пояс всех своих коллег, осыпанных гонорарами, лаврами, премиями, и разными почестями и высокими званиями, как небесной манной, и вошел в литературу, въехал туда на белом коне через Триумфальные ворота и поднялся на Олимп, чтобы встать на одну полку со своими любимыми писателями - Достоевским, Чеховым, Булгаковым, Платоновым, Астафьевым... И подтвердил правильность крылатой фразы одного советского критика: "...Шумели одни (писатели), а в литературу вошли другие".

"Стань кустом пламенеющих роз" - это роман, который по своей архитектонике напоминает большое и сложное сооружение, с эклектикой, со стилями разных времен, в несколько ярусов, с башнями и бойницами, с галереями, навесными мостами и зимними садами, с пиршественными залами и столовыми, с гостиницами, спальнями и кабинетами, с хозяйственными помещениями и туалетом, со своей избой-читальней и со своей библиотекой-Ленинкой, с подвалами и казематами и с подземными ходами и с примыкающей к нему территорией, с парком, лесом, с полицейским участком, с органами советского управления, с тюрьмой и казармой. Он состоит из трех повестей: "Тайна добра", "Который был тебе при жизни ненавистен" и "Стань кустом пламенеющих роз". То есть весь роман состоит из трех частей. Место действия романа: Россия. Время действия: в первой части - эпоха царизма (начало XX века) и первые годы революции; во второй части - эпоха сталинизма (20 - 30-е годы); в третьей части - эпоха развитого социализма, или застоя (60-е годы, после правления Хрущева, при Брежнев). Главные герои романа - представители трех поколений старинного рода Аргуновых: представитель старшего поколения - дед Дмитрий (Николаевич) в молодые годы; представитель среднего - его сын, он же отец своего сына Петр

(Дмитриевич) в молодые годы; и представитель младшего - внук своего деда, он же сын своего отца Александр (Петрович).

Все они - передовые люди, герои своего времени, все - правдолюбцы и правдоискатели, все - люди творческие, с Божьей искрой, интеллектуальные, мыслящие, пишут книги и трактаты, и все находятся в оппозиции к существующему режиму, так сказать, "под углом гражданского протеста", и все являются жертвами существующего режима и будто отрабатывают какую-то тяжелую карму.

...Дмитрий Аргунов за свои вольные взгляды и за участие в политической сходке изгоняется из университета "без права поступления в какое-либо учебное заведение", а через семь лет попадает в ссылку из Петербурга в Архангельск за участие в закрытом властями съезде деятелей по техническому и профессиональному образованию, где он читает на трибуне отрывки из своей книги "Капучиниада", которая арестована и изъята из типографии. О чем эта книга? О тайне добра, которая "велика есть". А в чем она, эта тайна? В том, что добро и зло - это две стороны одной медали, как свет и тьма, и одно невозможно без другого. И то, что одни люди считают добром, то другие считают злом, и наоборот. Природный человек капучин, который собирает травы и грибы в лесу, живет природной жизнью, считает (как Скалозуб Грибоедова), что книги - это зло и что их надо побросать в "огненный поток", в костер, и сжечь. Так же считают и жандармы и околоточный, которые отбирают у Аргунова при обыске "Преступление и наказание", "Обломова", "Войну и мир". Так же считает и жена Дмитрия Аргунова, которая возненавидела мужа за то, что он каждый день сидит чего-то пишет и не занимается "семейной жизнью", то есть занимается бездельем, "бездеятельностью".

"- Это свинство! - кричала в слезах жена. - Свинство - писать о добре и не делать его!

- В том-то и тайна добра, - говорил он, а сам думал: "Как же мне быть? Я ведь хлеб не сею, а... читаю книги, да пишу..."

Ему не дают работать ни жена, ни власти, ни красные, ни белые, никто, ни от кого ему нет покоя. В конце концов белые приняли его за большевика, заподозрили в подготовке убийства царя в Екатеринбурге, уехали в тюрьму и расстреляли "без суда и следствия", как сомнительную личность, за компанию с каким-то инженером и бельгийцем.

"Небо из синего переходило в голубое", пишет автор. Так и добро нередко переходит в зло, а зло в добро, и между ними иногда нельзя увидеть никакой границы.

По Библии, дорога в ад вымощена благими намерениями. Дорога в рай, в "прекрасное будущее", по Кувалдину, идет через ад и во все времена вымощена головами людей, их черепами, как булыжниками, которые история вбивает в землю руками самих же людей с "деревянными бабами".

Неграмотный мужик в романе Кувалдина, потрясающий символ невежества и тупости, сворачивает голову соловью, потому что это "господский соловей", из господского сада. Мужик не понимает, что соловей - художник слова - птица внеклассовая, которая поет для всех.

...Петр Аргунов, сын Дмитрия, вырос ярым ленинцем и ярым антисталинцем. Стал историком партии. Мечтал встретиться со Сталиным и высказать ему все, что он о нем думает. И вот он, "беловолосый" философ, схваченный охраной, попал к Сталину на дачу в Кунцево, сидит с ним за столом в окружении членов правительства, Берии, Суслова, Микояна, Кагановича, Ворошилова, пьет с ними коньяк "чайными стаканами" и режет вождю прав-

ду-матку прямо в глаза:

- ...зачем же из-за слова убивать людей (тысячами и миллионами), - сказал Аргунов. - Получается, что классовая борьба идет в пользу маломыслящих ленивых людей, которых вы звучно именуете народом, считая за народ только свинопасов...

Переживает ли Сталин о людях, которые гибнут по его вине? - думает Аргунов. - Нет, не переживает, точно так же, как хозяйка, которая покупает мясо в магазине. И точно так же, как шашлычник, который режет "белорунного баранчика" на шашлык (Кувалдин в специальном эпизоде показывает, как умеет это делать вождь и отец народов). Сталин обходится с Аргуновым, как с этим самым "белорунным баранчиком", внешне "ласково". И отпускает его домой, с миром, с Богом... И посылает за ним следом своих людей и собаку... И Аргунов погибает в застенках, в лагерях, как все другие жертвы сталинизма.

Кувалдин рисует образы Сталина и всех его приближенных так подробно и убедительно, будто он сам, как Петр Аргунов, сидел и выпивал с ним и с ними за столом или сам был одним из его приближенных и знает Сталина и все его окружение, как пять своих пальцев.

...Александр Аргунов, прототипом которого во многом является сам Кувалдин, как является он в чем-то и прототипом других своих героев и персонажей, "человек незаурядных интеллектуальных способностей", фанатичный любитель книг, без которых он "жить не может", и который сам пробует писать... служит в советской армии, рядовым солдатом, дружит там с оформителем стенных лозунгов, молодым художником-акварелистом Янисом Велдре, внуком латышского стрелка, фигурирующего во второй части романа, - сыном антисоветчика, во время войны сбежавшего к немцам, встает на стороне и читает вслух, с Янисом и другими солдатами, в мастерской, запрещенные книги, стихи Волошина, Мандельштама, Цветаевой, прозу Андрея Платонова, Бабеля, книгу Юрия Домбровского "Хранитель древностей" и опасные вещи Солженицына, "Один день Ивана Денисовича", письмо Солженицына к IV съезду писателей, роман "В круге первом". Янис, напуганный судьбой своей семьи, которая из-за отца была сослана в ссылку, в Сибирь, не хочет заниматься политикой, а хочет заниматься только творчеством, только чистым искусством, рисовать "алые розы на снегу". Он даже стенные лозунги рисует как настоящие картины, а не как халтуру. Причем он не хочет копировать реальность, а хочет создавать "свой мир, не похожий ни на какую природу". И он не хочет, чтобы Аргунов кормил его политикой, и говорит ему время от времени: "Сволочьон, что ты все лезешь в политику, как маньяк?" При этом ему интересно все, что говорит и читает ему Аргунов, и он сам декламирует наизусть стихи Гийома Аполлинера.

Рядовой Тишков наступал командованию гарнизона на культпросветителя Аргунова. И Аргунова таскали на допросы. На одном из допросов он "раскололся": чтобы не выдавать свою подружку Марину, которая дала ему Солженицына, он на вопрос, откуда у него Солженицын, сказал (с подвохом и с издевкой), что Солженицына ему дал один незнакомый человек, профессор, в курилке библиотеки-Ленинки... приметы этого профессора такие: длинные волосы, борода, высокий лоб, шрам на лбу... вылитый портрет Солженицына. Чтобы не подставлять своих товарищей, Аргунов сказал, что он читал с ними не роман "В круге первом", а книжку о домоводстве и о вкусной и здоровой пище "В круге семьи": "Эту книжку мы и читали запоем каждый вечер!", - утверждает он.

Юмора в романе, при всей его серьезности и драматичности, хоть отбавляй. Поэтому читается и усваивается роман - со всеми сложными проблемами, заключенными в нем, -

легко, как хорошая духовная пища, из продуктов высшего качества, без отрицательных побочных эффектов.

В клубе гарнизона состоялась комсомольское собрание, на котором Аргунова клеймили позором как антисоветчика... Кто клеймил? "А судьи кто"? Рядовой Крестников, который не прочитал в своей жизни "ни одной книги", рядовой Тишков - комсорг полка, он же и стукач, и старшие по званию, в том числе подполковник Шлапак, которому "нравилось, когда его называли полковником, а не подполковником". "Под продолжительные аплодисменты" Аргунов был исключен из комсомола. В день демобилизации он получил из Риги телеграмму от Яниса Велдре: "Стань кустом пламенеющих роз!" - то есть не занимайся политикой, а занимайся творчеством, литературой. Это для художника главное, а не политика и не что-то другое, потому что "великое искусство всегда выше политики" и выше всего!

Между первой и второй, между второй и третьей частями романа и внутри этих частей, в самом ходе сюжета, есть большие разрывы во времени, глубокие зияния между эпохами, между которыми нет связующих линий, нет канатной дороги или Крымского моста или перекидной доски, сюжет прыгает через них, как через пропасти, между одной и другой эпохой, по некоему воздушному мосту. И автор нарочно не пытается чем-то заполнить эти зияния, эти пропасти, соединить, стянуть их края между собой, один край с другим, и в результате у него в романе между всеми его частями получается бездонный глубинный подтекст, который чувствуется читателями, и из которого на тебя идет, как циклон, с вихрями и завихрениями, сильная интеллектуальная и эмоциональная энергетика.

Первая фраза романа: "В 1904 году солнце восходило так же, как и ныне..." (а значит и заходило так же, как и ныне) - имеет свой подтекст: все в мире и в России - ныне - так же, как было и раньше. Меняются эпохи, меняются правители и их режимы, а передовые люди своего времени, талантливые художники, при всех эпохах и режимах находятся в конфликте с властями, с существующим режимом, с существующей общественной системой, какой бы она ни была, и в конфликте с существующей средой. К таким людям принадлежит и Кувалдин.

"Пьеса для погибшей студии" - это повесть, герои которой, члены театра-студии (прообраза театра-студии Высоцкого и Яловича), артисты самодеятельности, пробуют поставить в клубе на Раушской набережной спектакль, под руководством своего руководителя, режиссера Воловича, по пьесе, которую сочиняет "экспромтом" на пишущей машинке "Эрика" их коллега Парийский и которую они и сами сочиняют общими усилиями, добавляя в нее подробности и эпизоды из своей собственной жизни.

Жизнь - так называемая первая реальность - наводит на них тоску и скуку своей жесткостью.

- Есть другая реальность!.. - крикнул долговязый Волович.

Другая реальность - это (здесь) театр, мир искусства.

Виссарион Белинский когда-то спрашивал читателей: "Любите ли вы театр?" Герои Кувалдина любят театр, потому что это "другая реальность", которая позволяет им хотя бы на время уйти от тоски и скуки жизни.

И вот они пришли в клуб на репетицию и репетируют спектакль и таким образом про-

будут погрузиться в другую реальность. Но она странным образом перемешивается с первой, от которой они хотят уйти, и вступает во взаимодействие с ней, и получается взаимодействие двух реальностей, как “взаимодействие сна и яви”.

И первая реальность, со всеми репликами и какими-то фразами и движениями и жестикуляциями артистов во время репетиции, не относящимися к спектаклю, с хождением то одного, то другого персонажа за правую и за левую кулису, с возникновением лирических, патетических и комических моментов, с разливанием вермута в стаканы (не по сценарию), неожиданно превращается в часть спектакля, причем кажется еще интереснее, чем сам спектакль. Потом все это продолжается за стенами клуба, в квартире у Парийского на станции метро “Новокузнецкая”...

Что делали герои Чехова в пьесе “Чайка”, когда на них нападала тоска и скука и они хотели избавиться от нее? Учитель Медведенко выходил из дома на улицу и шел в усадьбу Соринных и проходил в день пешком двенадцать верст, туда и обратно. А студент Костя Треплев играл на рояле “меланхолический вальс”. А Нина Заречная играла в домашнем спектакле чайку.

А герои Кувалдина разыгрывают спектакль в театре-студии и в жизни (и на квартире у своего приятеля Парийского). А еще - они пьют горькую, и на сцене, и за кулисами, в перерывах между репетициями, и на улице, и в гостях у Парийского. Все они то и дело бегают в магазин за бутылками. И этих бутылок в повести так много, как на выставке картин художника-нонконформиста, фигуративного экспрессиониста Александра Трифонова “Любовь к бутылке”.

Парийский пьет каждый день.

- Я пью от тоски по совершенству, которого не вижу кругом, - говорит он.

А когда он трезвый, то его “тоска заедает”.

Алкоголь так же, как и театр, помогает ему и его товарищам, партнерам по сцене и собутылщикам, открывать двери из первой реальности в какую-то иную и испытывать радость и эйфорию, которой им не хватает.

Они (как, между прочим, и герои Чехова) говорят о высоких материях, о пути скотоподобного человека “к человеку духовному”, о том, что “добро и зло - стороны одного и того же процесса: жизни”, они философствуют не хуже Канта и Ницше.

- Как не может быть всегда хорошо, точно так же не может быть всегда плохо, - говорит Парийский (кстати сказать, зав. отделением кардиологии, кандидат медицинских наук). И его товарищи по несчастью с умилением говорят ему: “Юраша, гений ты наш подзаборный”.

Они читают стихи Гумилева и Мандельштама и поют песни.

Запевает их, как правило, Витек по прозвищу Клоун. Он подбоченивается, делает шаг вперед, выпячивает грудь “и тонким громким голосом” объявляет сам себя:

- Выступает солист ансамбля песни и пляски имени Александрова Борис Букреев. “На солнечной поляночке”!

И начинает “азартно” петь эту песню на стихи Фатьянова. И делает это в сюжете повести раз десять, причем называет Букреева то Борисом, то Иваном, то Иоганом... И тем самым создает у героев повести и у читателей веселое настроение, по контрасту с внутренней скукой и тоской героев, которую они пытаются разогнать.

Поют они и песню “Каким ты был, таким остался” (причем ее текст в повести приво-

## Пламенеющая роза

дится полностью, как в песеннике, или как в радиопередаче “Разучим новую песню”). Поют они и бодрые, маршеобразные советские песни, которые в контексте повести кажутся пародийными и смешными, а оттого, что еще и как бы не совсем уместными для застолья (по своему характеру и содержанию), еще более пародийными и смешными:

А ну-ка, девушки, а ну, красавицы...

В строю стоят советские танкисты,  
Своей великой родины сыны.

Есть у них в репертуаре и песня солдат, которые едут на БТР в Братиславу:

Едем мы не на гулянку  
И не водку пить,  
Уходи с дороги, дядя,  
Можем задавить!

Музыкальное оформление прозы песнями - яркая особенность стиля Кувалдина, которая присуща и другим его произведениям. Песни в его прозе играют такую же важную роль, как песни в кинофильмах и спектаклях.

За окнами квартиры Парийского растет вишневый сад, который заслоняет свет в окне, и поэтому друг Парийского Поляков, у которого после службы в армии, в Чехословакии, одна рука стала короче другой, берет топор, как дровосек, и идет вместе с Клоуном рубить сад. “В саду раздается топор дровосека”, который переключается с топором Чехова в “Вишневом саде”, как и сама проза Кувалдина переключается с прозой Чехова, и это одно из многих ее достоинств, но оно далеко не единственное...

Повесть пересыпана репликами героев, очень сжатыми, но емкими, которые говорят об их авторах больше, чем если бы рассуждения о них же на нескольких страницах. Клоун идет к Парийскому, стучит к нему в дверь. “Кто?” - спрашивает тот. - “Гамлет”. А в другой раз: “Кто?” - “Участковый”.

Все члены студии - “подпольщики духа”, талантливые люди, склонные к творческому и интеллектуальному развитию. Некоторым из них уже за сорок. Они ищут смысл своей жизни. Они стремятся “придать” ей “высшую ценность”. Они мечтают реализовать себя в искусстве. Когда они прощаются друг с другом до завтра, они говорят друг другу не “до свидания”, а “до репетиции”. Но почти все они - погибшие, конченные люди, которые сами себя пустили под откос, кто понимая, а кто и не понимая это.

В финале повести один из них, Алиқ, сын алкоголика и алкоголички, который родился в тюрьме и который сам стал алкоголиком и в начале повести стоял “на краю сцены, как над пропастью”, и сидел на телевизоре “Темп”, как на стуле, - попал с этим самым телевизором в руках под электричку (и дико было видеть, как в гроб укладывали туловище Алика, отрезанное от ног, и ноги, отрезанные от туловища). Другой герой, Поляков, парень из

деревни, попал в тюрьму за хулиганство в общественном транспорте, в троллейбусе (потому что бегал с расстегнутой ширинкой за какой-то девицей). Третий, Парийский, допилась до чертиков, до того, что его перекосоротило и он загремел в больницу, где и умрет. Витек-Клоун, "полуфабрикат человека", нашел свое счастье в браке, женившись на абортированной Парийским женщине с ребенком, и скорее всего бросит театр, но, может быть, и нет. Волович набрал новую студию, и с нею будет ставить спектакли, которые не смог поставить с "погибшей студией", которая у меня почему-то ассоциируется с погибшим "Варягом", с танкером "Дербентом" и с затонувшим "Титаником" и "Курском". От старой команды осталась у режиссера только выпускница института культуры Инна, у которой "красивые глаза" и "красивые ножки" и которая в течение всей повести периодически укладывала их "нога на ногу" и которую в течение всей повести обнимали все кому не лень и передвигали ее с места на место, "как глиняную статуэтку", а спал с ней только сам режиссер. "Хорошо заниматься любовью при свете и у зеркала", - сказал ей Алик, который никогда не занимался с ней любовью, ни при свете, ни без света, ни у зеркала, ни у окна, ни у двери, ни на полу, ни в постели.

Витек-Клоун мечтал поступить в ГИТИС, стать знаменитым актером, "играть в какой-нибудь превосходной пьесе, которой еще нет на свете", но которая непременно будет написана к тому времени специально для него, "пьеса мудрая, с философской глубиной в каждой фразе, с энергичным действием и трагичным финалом". Именно такой и получилась повесть Кувалдина "Пьеса для погибшей студии". И в ней все герои - не как живые, а живые, как непогибшие, и все играют, самих себя, и, надо сказать, делают это блестяще благодаря мастерскому перу Кувалдина.

Повесть "Трансцендентная любовь" - о трансцендентной любви между мужчиной и женщиной, то есть, по Канту и Кувалдину, об идеалистической любви высшего порядка, недоступной пониманию большинства людей, о любви, выходящей за пределы всякого сознания и понимания, о любви без секса, которая является высшей духовной категорией, основанной на удовлетворении не физических, а духовных потребностей индивида, скрытых в нем.

Героиня повести Катя "в свои без малого сорок лет" работает в машбюро института, отстукивает на электрической машинке чужие научные тексты, когда могла бы сама сочинять их и давать отпечатывать другим машинисткам, если бы она окончила институт и если бы жизнь у нее сложилась иначе, чем сложилась. У Кати есть семья - муж Юра, который в свое время окончил техникум и работает таксистом, и четверо детей, старшему из которых больше 20 лет, все они живут в комнатухе, площадью 11 кв. метров... Кате все кажется, что жизнь у нее только началась и что вот-вот у нее начнется новая жизнь, с новой страницы. Что и происходит по сюжету повести.

На Катю обращает внимание начальник РИО (редакционно-издательского отдела) Игорь Олегович, как на "самого добросовестного сотрудника института". Он дает ей печатать свои бумаги. Потом в один прекрасный день он приносит ей прочитать и она читает книгу Сыма Цзяня "Исторические записки" - о китайском правителе и мудреце Шуне, который говорил, что все в Поднебесной принадлежит всем и что все "должно использоваться всеми", в том числе и духовные ценности. Катя стоит в очереди за мясом и думает о дале-

ком Шуне и о Поднебесной и о культурном и воспитанном человеке Игоре Олеговиче и о том, что вот бы ей “такого мужа иметь, а не таксиста”. Муж стал казаться ей “примитивом”. Он мечтает купить диван и тумбочку (и вскоре покупает все это), он мечтает купить избу в деревне (и впоследствии покупает ее), он мечтает купить машину “Москвич” (и впоследствии покупает ее)... и несколько не интересуется книгами, зато интересуется портвейном “три семерки” и пивом. Она начинает жить двумя жизнями: в одной - муж, материальные заботы и проблемы, а во второй - Игорь Олегович и мировые духовные ценности, параллельная реальность. Он дает ей читать роман Гельдерлина “Гиперион, или Отшельник в Греции” и другие книги, которых она никогда не читала, приглашает ее в кино на фильм Антониони “Красная пустыня”, достает ей билеты на другие фильмы - на “8 1/2” Феллини, на “Земляничную поляну” Бергмана... А через какое-то время берет ее работать в свой отдел и не только советует, но и помогает ей поступить в институт, на заочное отделение, и она учится там и работает у Игоря Олеговича. Она сидит с ним в одном кабинете, она ходит с ним в столовую, в буфет, все видят их все время вместе. Он продолжает давать ей кое-какие книги и билеты в кино, в частности на “Мольбу” Абуладзе и на “Сталкера” Тарковского, потом - билеты на неделю французского, итальянского, польского кино. На первых порах она банально думала, что он “приударяет”, ухаживает за ней, чтобы соблазнить ее, сделать своей любовницей. Но потом поняла, что - нет, он выше этого. Он не позволял себе с ней никаких интимных вольностей, вел себя с нею сдержанно и даже не дотрагивался до нее, а когда она дотрагивалась до его руки, он отдергивал и убирал свою руку. Все, что он позволил себе один раз, - погладил ее по голове, по волосам. А почему тогда он “шефствует” над ней? Ради чего? Чтобы помочь ей встать на путь духовного развития и достичь в этом успехов.

По теории Игоря Олеговича, “человек рождается зверем, животным и за свою короткую жизнь должен преодолеть путь от своей животности, то есть от примитивизма природного, до состояния интеллигентности. От бескультурного состояния - к высочайшей культуре. Здесь существует своя табель о рангах, но не из 14 петровских классов, а из гораздо большего числа. Так что культурных вершин достигают единицы”, которые все время работают над собой в “духовном смысле”.

Игорь Олегович считает, что круг интеллигенции должен расширяться. И каждый интеллигент должен сделать интеллигентом хотя бы одного человека. Вот он избрал для этого не кого-то, а Катю. И в этом проявлялась его любовь к ней, которая вызвала в ней точно такую же любовь к нему, трансцендентную. Муж был для Кати мужем, к которому она испытывала свои земные чувства и с которым она исполняла свои супружеские обязанности, а Игорь Олегович был ее высшей духовной субстанцией, духовным авторитетом, Богом в облике человека. И она научилась получать высшее удовольствие от своих духовных контактов с ним и не претендовать на что-то другое и стремиться к духовному совершенствованию и “работать над собой”.

Автор показывает прекрасные метаморфозы, которые происходят с Катей. На первых страницах повести она может сказать сыну: “Не твое собачье дело” (где я была). А страниц через десять, когда муж велит ей бросить институт, она говорит ему культурным языком и мягким тоном, что она должна учиться, и улыбается ему при этом, и он уже не имеет ничего против института.

Катя - в какой-то степени “прекрасная леди” Бернарда Шоу, но прекрасная леди Бер-



нарда Шоу доросла только до хороших манер, но не до высокого духовного, культурного и интеллектуального развития, как Катя, маленькая прекрасная леди Юрия Кувалдина, которая может и наварить "огромную, как ведро, кастрюлю первого" на всю свою семью, и посадить с мужем картошку в огороде, и восхититься "трапециями солнечного света", падающего в коридор института "сквозь высокие окна", и поговорить с Игорем Олеговичем о Феллини или о Сталине, которому "даже такие люди, как Бухарин, довольно-таки средние в интеллектуальном отношении люди, казались уже интеллектуалами высшего пошиба", потому что он сам по своему уровню был близок к уровню "простого солдата из казармы", потому и носил мундир без знаков различия.

Проза Кувалдина очень емкая. На минимуме площади в ней размещается максимум художественного материала, и в виде философских рассуждений, и в виде афоризмов, и в виде поэтических метафор, и в виде художественных героев и персонажей, но не как в какой-нибудь коммуналке сталинского времени, не как в комнате по уплотнению, где на одном квадратном метре - десять человек и куча всяких вещей и мебели...

"Трансцендентная любовь" Юрий Кувалдина - "чудообразна", если прибегнуть к "чудообразному" авторскому неологизму Юрия Кувалдина.

Повесть "Записки корректора" - это дневник корректора, человека преклонных лет, который родился еще при царе, до Октябрьской революции, и работает - корректором в газете, хотя ему - уже около 70-ти лет. Он живет со своей женой Надеждой Петровной, Наденькой, в Москве конца 50-х годов, около Суворовского бульвара, в коммуналке, где живет еще и учительница Софья Павловна, или мадам Ильинская, как ее называет автор дневника, к которой регулярно приходит ее хахаль по фамилии Жуков, или "печенег", как его называет автор, или сожитель (который потом прописывается у нее). Они включают радио на всю громкость и "безобразничают" в своих стенах. А корректор с женой страдают и мучаются оттого, что радио орет на "максимальной громкости", потому что они не переносят шума и не могут из-за него уснуть. Но когда они просят соседей убавить радио, те начинают им хамить и обзывать их обоих плохими словами. Надежда Петровна ведет в школе драматический кружок, ставит со школьниками спектакли. И участники спектаклей, юные артисты, время от времени ходят к ней домой и репетируют у нее. И при этом, естественно, тоже создают шум, и заглушают своими голосами, своим смехом радио Софьи Павловны. И та ругается на них и жалуется всему дому на свою соседку, и распространяет о ней дурные слухи, и говорит, что к Надежде Петровне приходят пьяницы, а что сама она проститутка (об этом мадам Ильинская даже написала анонимное письмо в ее школу). В общем, между соседями идет "холодная война". По сути дела это - война между "быдлом" и интеллигенцией, между бездуховными животными и духовными людьми, между двумя несовместимыми, антагонистическими системами. В конце концов, мадам Ильинская доводит Надежду Петровну до инсульта, и та через некоторое время умирает. А корректор живет после нее всего один год, ходит к ней на кладбище, носит ей цветы - белые астры, ставит решетку на ее могиле... А потом тоже умирает, судя по тому, что он перестает вести свой дневник...

Дневник - лаконичен по форме, состоит из коротких записей, иногда всего в несколько строк, но он очень богат и разнообразен по своему содержанию и полифоничен по стилю.

В дневнике много тематических линий, они тянутся со страницы на страницу, как провода электропередач и как параллельные гаммы, мажорные с минорными.

Одна линия - это, например, линия взаимоотношений корректора, а также и его жены - со своими соседями, которые (эти взаимоотношения и эти соседи) довели его до того, что люди "опротивели (ему)", что он "брал бы их за шкуру, прихлопывал к стене и плевал бы им в рожи с трех шагов". Это почти по Достоевскому, который говорил о себе, что он любит человечество в целом, но конкретных людей терпеть не может, когда они, например, сопят у него под носом. (А тем более, когда они специально мотают тебе нервы, как мадам Ильинская со своим хахалем.)

А одна линия - это, например, прогулки корректора по Суворовскому бульвару, которые способствуют улучшению самочувствия нашего героя, избавляют его от головной боли, эти прогулки повторяются каждый день, и Суворовский бульвар упоминается в дневнике каждый день и западает в сердце читателя и обретает силу устойчивого символа Москвы.

Одна из самых главных тематических линий "Записок корректора", которая связывает между собой все другие, это - литература, книги, их влияние на человека, на его сущность.

Дневник начинается с того, что корректор шел по Суворовскому бульвару и встретил там своего приятеля, с которым они в молодости выпили немало вина и который теперь "выбил в профессору". Корректор пишет про него в своем дневнике: он "строит из себя черт знает кого, а ничего не читает", была бы моя воля, я бы разжаловал его из профессоров в "швейцары".

Сам автор дневника читает много книг. Он читает их каждый день, в основном перед сном, и не по долгу службы, а потому, что больше всего на свете он любит читать и пребывать в мире своей второй реальности, в литературе. Но от этой реальности его то и дело отвлекает первая реальность, жизнь с ее рутинной, неурядицами и приземленными проблемами, от которых никуда не уйдешь.

Вот он записывает в дневнике: "Читал Бердяева". И тут же: "Галоши прохудились" (не у Бердяева, а у корректора). Или: "Читал Бердяева". И тут же: "Нужно купить занавески". Или: "Читал Шопенгауэра... Надо купить зонтик". Или: "Читал "Палату № 6" Чехова. Пытался заштопать носки. Надо купить чайник". Или: "Купил дуст, морю клопов. Читаю Бердяева". Или: "Надо почтить Канта...", "Нужно нарезать газет в туалет".

Он любит не только читать книги, но и размышлять, думать о трансцендентном. Но, к сожалению, ему приходится думать не только об этом, а и совсем о другом, как каждому человеку. Вот он записывает: "Размышляю о сущности бытия и сознания. ...Купил банку гуталина. Надо начистить ботинки". Или: "Я думаю, что человек - большая скотина. Надо купить зонтик". Или: "В уборной помыл сиденье ваткой с одеколоном... Думаю о трансцендентном". Или: "Н.П. умерла. Нужно купить в конце концов зонтик".

Все время первая реальность сталкивается со второй, внешняя жизнь - с внутренней, наезжает на нее и вступает с ней в противоречие и в конфликт. И не дает человеку воспарить в высокие пространства.

Но на то художник и есть художник, чтобы писать об этом. Вот "корректор" (он же Кувалдин), об этом и пишет, - и пишет так, что зачитаешься и забудешь о том, что тебе надо помыть посуду на кухне или сходить в магазин за хлебом и купить зонтик.

Кувалдин умеет рисовать "веселые картинки" в своей прозе, над которыми просто об-

хочешь. Вот картинка, на которой он нарисовал Жукова, не маршала Жукова, а хахалю учительницы, к которой он похаживает:

“Вечером пьяный Жуков пришел с живым гусем. Гусь бегал по квартире, пока Жуков не зарубил его топором”.

Очень выразительная картинка. И Жуков на ней - хорош гусь, или жук, ничего не скажешь. А речь у него какая?

Он мало слов знает, как людоедка Эллочка из “Тринадцати стульев”, и поэтому всегда вместо “здравствуйте” говорит своему соседу по коммуналке, тому самому корректору, автору “Записок корректора”, одни и те же слова:

- Пошел к еб... матери.

И в этом проявляется весь тип этого типа.

Или вот вот еще одна картинка:

“Красноглазова проработали на летучке”.

Казалось бы, ничего такого веселого в этой картинке нет, а смотришь на нее, и смеяться хочется - над Красноглазовым, от одной только его фамилии. Даже если не знать, что он пьяница (“с глазами кролика”) и что он “остаканивается” каждый день, за что его и проработали на летучке, отчего его потом “хватил инфаркт у Петровских ворот” (то ли от летучки, а то ли от водки) и его увезли в больницу, куда “ему и дорога”.

После таких картинок особенно понятным становится смысл вот такой маловеселой записки корректора:

“Смысл моей жизни состоит... в том, чтобы мужественно переносить окружающую меня пошлость и полное отсутствие духовной культуры”.

Кстати, среди огромного количества тематических линий “Записок...” есть и такая, которую корректор хочет предложить газете: “учительница (имеется в виду мадам Ильинская) в школе и дома (чем она занимается в школе и чем дома)”, “частная жизнь учительницы”.

У Кувалдина очень своеобразное чувство юмора. Оно проявляется у него много в чем, например, в том, как он перевоплощается в своего героя-корректора, старика 70-ти лет, и говорит от его лица:

“Еще в 1910 году на экзамене по нравственному богословию проф. Остроумов (ревизор) спросил меня: “А вы не читали “Этику” Каутского?” Я ответил, что не читал. И вот теперь через 47 лет читаю”. Слава Богу, что дожил до этого.

У Кувалдина все своеобразное. В том числе и взгляд на классиков литературы. В “Записках корректора” он устами корректора говорит, что у Булгакова рассуждения о Толстом длинноваты и “могли ли бы быть покороче”, и что Цвейг - слишком “словоохотлив” и тоже мог бы быть покороче, и Лев Толстой, и Достоевский.

У Кувалдина нет подобострастного отношения к великим. И он передает свое отношение к ним через корректора, который может найти ошибки и недостатки в тексте у всех, в том числе и у великих.

Самым совершенным писателем он считает Чехова и пишет рукой автора “Записок...”:

“Письма Чехова перечитываю. Ужасно интересно.

На ночь читаю “Степь” Чехова. В восторге. И как я раньше не знал, что это первый писатель Руси! Умер (он) в 44 года!”

И дальше:

“Чехов писал коротко и гениально потому, что предвидел появление конкурентов в лице кинематографа и телевидения. Толстой и Достоевский этого не угадали, потому писатели подозрительно длинно. В большей степени Достоевский”.

Кувалдин-корректор считает, что труднее всего “сложнейшую тему изложить так, чтобы приятно было читать”. Чехов это умел. Но это умеет и сам Кувалдин.

“После Чехова трудно читать других писателей”, пишет автор “Записок корректора”.

После такого писателя, как автор “Записок корректора”, то есть после Кувалдина, тоже трудно читать других. И когда Кувалдин пишет: “Со мною и Канту было бы интересно”. - С этими словами нельзя не согласиться. С ними можно было бы не согласиться в том случае, если бы их написал кто-то другой.

Но в данном случае с ними не согласиться нельзя. Потому что Канту (и не только ему) и в самом деле было бы интересно с автором этих “Записок...”. И поговорить, и выпить чашку чая с “хорошей конфетой”, о которой Кувалдин говорит, что он иногда получает удовольствие от “пустяка” в виде хорошей конфеты, без которой он не может пить чай, как не может засыпать без книг Канта, Бердяева, Чехова...

Есть в прозе Кувалдина оригинальные художественные трюки и волшебные фокусы-покусы, которые дают читателю эмоциональную разрядку.

Корректор получил из типографии газету, в которой “две одинаковые полосы”.

Артист Лужин играл кучера, и в афише значились как бы две его профессии: “Кучер-артист Лужин”.

“У меня сидела одна тема в голове и портила (мне) настроение. Теперь я ее бросил, и стало лучше”. (Как будто это какое-то противное, вредное существо.)

Когда сосед Жуков сделал попытки петь, я высмеял его “шалыпинским смехом: “Ха-ха... хи-хи... хе-хе!”

Соседка делала попытки петь, я засмеялся “шалыпинским голосом: “Ха-ха... хи-хи... хе-хе!”

Кувалдин - словотворец. В “Записках корректора” (как и во всех его вещах, если там хорошо покопаться) много слов-неологизмов, образованных им из обычных слов по аналогии с другими обычными словами, но получившихся очень необычными, как штучные бижутерии.

Вошла “педагошка” (по аналогии с “директоршей”).

Я уже “откурлся”, - говорит герой (по аналогии со словами “отпился” или “отмутился”).

Я никогда не говорю фразу “в общем и целом”, потому что это “чепухисто” (по аналогии с “неказисто”).

У Наденьки самочувствие неважное - дело не только в ее ногах, которые у нее ослабели, но и в ее “душенстроении” (по аналогии с “умонастроением”).

Она включает радио на всю громкость, занимается “радиохулиганством” (по аналогии с “радиохулиганями”).

Хоть бы ты сдохла, “аристоклюндия” (по аналогии с “аристократией” и с “мерихлюндией”), - говорит мадам Ильинская аристократам духа и происхождения - корректору и его жене.

“В правилах трудно разобраться не только школьнику, но и взрослому”, - с иронией говорит Кувалдин. И может показаться, что он пишет не по правилам, не соблюдает их. На

самом же деле он пишет по правилам, но только по своим. Как и каждый большой писатель.

Проза Кувалдина - кладезь мудрости и афоризмов на все случаи жизни. Есть у него афоризмы, которые могут стать бегущей строкой журнала "Наша улица" и девизом авто-ров, которые стремятся к чему-то великому:

"Кто хочет достигнуть великого, тот должен уметь ограничивать себя" (во всем, кроме работы).

Прозу Кувалдина критики окрестили термином "интеллектуальная проза". Потому что в ней есть все элементы этого жанра, в ней чувствуется интеллектуальность, философичность, филологичность, образованность, эрудиция и энциклопедичность автора. Но, как говорит сам Кувалдин, писателю "мало одной эрудиции (и всех других качеств, присущих интеллектуальной прозе) - надо (еще) иметь талант. И к тому же учиться писать просто".

В таланте Кувалдину не откажешь, его таланта хватит на всех членов Союза писателей, расколовшегося, как голова старухи-процентщицы под топором Раскольникова. И писать по-классически просто он тоже умеет. И может поучить этому других. Но чтобы читать его прозу, надо *уметь читать* и надо быть хоть в какой-то степени адекватным ему по своему развитию.

Самая трагическая тематическая линия в "Записках корректора" - это жизнь и смерть, смысл жизни и смысл смерти.

Однажды корректор сказал своей жене Надежде Петровне: "Вот меня не будет, тогда вспомнешь (меня)". На что она ответила: "Я раньше тебя умру". Часто, отходя ко сну, он думал: вот мы лежим с ней вдвоем в постели, а будет момент, когда кого-то из нас не окажется... Так и случилось. И она умерла раньше него. Когда-то она говорила ему: "Мне страшно". - "Почему тебе страшно? Ведь мы же с тобой..." (ведь я же с тобой), - успокаивал он ее. А теперь он остался один, и ее нет рядом с ним, и ему страшно оставаться на свете одному, без нее.

И он знает, что и он умрет. И думает, что ему делать. И приходит к мысли, что "если не решить вопроса о смерти, то жить правильно, со смыслом невозможно". И он вдруг перед лицом смерти понимает, что надо делать в жизни: надо *"делать только главное, а все остальное отбросить"*. А главное - это сохранить для вечности свое "индивидуальное "я", чтобы оно существовало и после смерти, а не ушло с тобой в могилу и чтобы ты не умер весь, как умерла *Наденька* Петровна, от которой не осталась никакого "следа", только (ярчайший художественный символ!) губная *"помадка"* на полях книги ее любимого писателя Чехова, которого она читала в течение 35-ти лет своего совместного рая с корректором. А как сохранить свое "индивидуальное "я"? - Надо "работать над собой" и оставить свой след на земле. И лучше всего это сделать через творчество, через литературу, хотя бы через дневник, через "Записки корректора". И тогда весь ты не умрешь, как умрет (вот еще один ярчайший художественный символ! родственник червя и всех "тварей дрожащих") *клоп*, которого увидел корректор в последний момент своей жизни...

"Улица Мандельштама" - это повесть о стихах Мандельштама и вообще о стихах, и даже не повесть, а поэма в прозе, или поэма-верлибр, записанная прозой, как записаны в ней

прозой и все стихи Мандельштама, все цитаты из его стихов, которые являются органической частью этой поэмы, и слиты с ней в одно целое и неделимое, вобраны в нее Кувалдиным, как вобраны они им в свою душу, в свое сердце. Вся эта книга о Мандельштаме рождена страстной, пламенной, иступленной, фанатичной любовью Кувалдина к Мандельштаму, которого он открыл для себя еще в 60-е годы XX века, когда Мандельштам был запрещенным поэтом и его стихов нигде нельзя было достать, кроме как на “черном” рынке или в каком-нибудь подполье, где Кувалдин и доставал их и сам перепечатывал на машинке и давал читать своим друзьям, всячески пропагандируя его поэзию, за что мог получить срок.

“Мне казалось, что эти стихи написаны мною, что только я один имею на них полное право, я мог так написать, я так написал”, - признается Кувалдин. Он “жил” его “образами”, “его жизнью”, смотрел “его глазами”, “слушал его слухом”, “пел его голосом”, он “ревновал его ко всему и ко всем”, считал, что только он имеет на него право, “как на самого себя”. Он “возводил поэта на... недостижимые высоты” и “ни с кем и ни с чем не мог” сравнить его и порывал с теми, кто пытался доказать ему, что знает Мандельштама лучше, чем он.

- “Я был им, он был мною, он жил новую жизнь во мне...”. Мандельштам для меня был “всевластный гений”, Мандельштам для меня - “это было все, он был для меня всем”, - говорит Кувалдин.

Нет, никогда ничей я не был современник...

Заблудился я в небе... Что делать?

Я буду метаться по табору улицы темной

За веткой черемухи, в черной, рессорной карете...

Кувалдин десять лет собирал его стихи, по кусочкам, по клочочкам. И потом сделал из них “сценическую композицию” и поставил ее в театре-студии Высоцкого и Яловича, где он тогда занимался. Что было огромной смелостью в те годы.

В своей повести Кувалдин открывает Осипа Мандельштама для читателей так же, как когда-то открыл его для себя. Он ходит по улицам Москвы, по Солянке, по Покровке, по Серебрянической и Яузской набережной, по Гоголевскому бульвару, едет в Петербург, в Крым, в Коктебель, в Воронеж, и везде читает нам его стихи и как бы вмонтирует их в город, в пейзаж, в атмосферу пространств и в души читателей. И говорит, говорит нам о Мандельштаме, и в связи с ним - о Тютчеве, о Грибоедове, о Хлебникове, о Северяnine, о Бальмонте, о Надсоне, о Волошине, об Ахматовой, о Данте, о Басе и о Су Дун-по... и опять о Мандельштаме...

“Мандельштам - поэт столичный, как и вся поэзия, за редкими исключениями, даже когда он попадает в Воронеж, Тамбов, плывет по Каме в Чердынь, следует на Урал...”. Мандельштам, “залетевший” в Воронеж, “оторванный от столичной речи, чувствует себя (там), будто сокол закольцованный, около Кольцова”.

Мандельштам, “он же поэт, живет в другом мире, для него нет запретов и житейских истин, он дух какой-то”...

Мандельштам говорил: “Неужели я настоящий // И действительно смерть придет?” - “Да, он настоящий, и поэтому смерть к нему не пришла”, как “не пришла она к Данте, к Пушкину...”

Дашенька в пьесе Чехова “Свадьба” говорит об Апломбове, который не прочь поговорить с ней “о всевозможных открытиях в научном смысле” и называет ее по-французски “машер”: “Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном”.

Кувалдин говорит о поэзии Мандельштама не потому, что хочет свою образованность показать, а потому, что хочет открыть ее читателям. Поэзия Мандельштама для многих непонятна. Но поэзия и не должна быть понятна, как дважды два, говорит Кувалдин. Потому что это - высшая материя. Ее нельзя объяснить логически, как теорему, как алгебраическую формулу, ее надо ощущать, чувствовать на подсознательном уровне, а не искать в ней нечто логически объяснимое, понятное. Поэзия - это “нелогичная логичность”, это нечто ирреальное. А то, что считается понятной поэзией, часто вообще поэзией не является, а является плохой рифмованной прозой, которая записана стихами. Но рифмованная проза, записанная стихами, не становится поэзией, как поэзия, записанная прозой (стихи Мандельштама в повести Кувалдина), не перестает быть поэзией.

“То, что называет Мандельштам бормотаньем, и есть его речь, то есть то, что не поддается пересказу”. А то, что поддается пересказу, это не поэзия - там, как говорил Мандельштам, “простыни не смяты, там поэзия не ночевала”. Людям нужны слова не только со смыслом, но и слова “вне смысла”.

В поэзии нужна “свобода и игра слова”. “Вся речь Мандельштама есть пример самоорганизованной и самоограниченной свободы игры звучащего языка”.

От Мандельштама “требовали гладкой лирики”. Но она у него вся негладкая, потому что он весь “в движении”, он “сплошь состоит из порывов, намерений, уходов и возвращений”. А какая у него “музыка” в стихах, какая “музыкальность и мелодичность”. “Может быть, через музыку проще выразить смысл”, чем через слово?

Мандельштам, как и каждый настоящий поэт, создает свою поэзию из НИЧЕГО. Все виды искусств - все Музы - покровительствуют ему. Мандельштам - мастер своего дела. “Мастер - в глазах многих - волшебник. Не фокусник”, - говорит Кувалдин. И показывает своей повестью, какой мастер поэзии и какой волшебник - Мандельштам. Но он показывает этой повестью, какой мастер литературы и он сам.

Повесть Кувалдина о Мандельштаме написана таким поэтическим языком, в таком поэтическом стиле, с таким поэтическим вдохновением, накалом и блеском, что я готова дать свою голову на отсечение, если ее писал не поэт... И так она сильно отличается от научно-образных литературоведческих статей, состряпанных “без божества, без вдохновения”... Ничего подобного “Улице Мандельштама” никто и никогда не писал не только о Мандельштаме, но и вообще о поэтах и о стихах.

А заканчивается повесть - по контрасту со всей художественно-поэтической фактурой повести - официальным письмом старшего помощника Генерального прокурора СССР В. И. Андреева секретарю правления СП СССР Р. И. Рождественскому. В этом письме прокурор Андреев докладывает Рождественскому (а теперь получается, что всем нам, читателям), что Мандельштам “дважды, в 1934 и 1938 годах, привлекался к уголовной ответствен-

ности” и был осужден... Но в 1956 году дело, за которое он был осужден в 1934 году, прекращено Верховным судом СССР “за отсутствием состава преступления”. А в 1987 году было прекращено и дело, за которое он был осужден в 1938 году. Таким образом Мандельштам “полностью реабилитирован”. Но!.. “К сожалению... установить место нахождения и содержание текста рукописей О. Э. Мандельштама, изъятых (у него) при обыске в 1934 году, не представляется возможным”.

Что с воза упало, то пропало. Пропали рукописи Мандельштама, изъятые у него в 1934 году. Увы. И мы читаем только то, что сохранилось от него. Но и это - немало!

...В современной литературной среде у многих сложилось о Кувалдине мнение как о человеке, который не любит поэзию, потому что он почти не печатает стихов современных поэтов в своем журнале “Наша улица”, то есть мало чьи печатает. На самом деле никто не любит поэзию так, как Кувалдин. Но он любит самую высокую поэзию, такую, как у Мандельштама. И его повесть о нем - как раз и говорит об этом. И после поэта такого масштаба он, естественно, не может любить стихи стихотворцев, которые ниже Мандельштама, а тем более “ниже уровня табуретки” (а такой уровень у основной массы авторов). И поэтому Кувалдин и не печатает их стихов, то есть делает это редко, в виде исключения.

Кстати, название журнала Кувалдина “Наша улица” пошло от Мандельштама, от его строк:

Я хочу, чтоб мыслящее тело  
Превратилось в улицу, в страну...

Именно эти строчки подсказали Кувалдину название своего журнала художественной литературы. И, может быть, когда-нибудь “Улица Мандельштама” будет существовать не только в виде повести Кувалдина, но и виде улицы Москвы. Дай Бог!

Стихи (1963-1970). Я всегда, с той поры, как прочитала в 1993 году первую книгу прозы Юрия Кувалдина, а ею оказалась “Философия печали”, которая вся набита поэзией языка автора, как залы Чайковского и ЦДЛ во время вечеров поэзии классиков литературы, подозревала, что он - законспирированный поэт, который если уже и не пишет стихов, то писал их когда-то. Пока не узнала, что он и правда когда-то писал стихи и даже иногда (правда, с большим скрипом) печатал их в газетах и журналах, но потом “завязал” с этим. И перешел с легкой артиллерии на тяжелую, со стихов на прозу. Я никогда не читала его стихов, но мне очень хотелось прочитать их. И вот он включил в свое собрание сочинений свои стихотворения советского времени, 60-х годов (малую часть того, что он написал). И я наконец-то прочитала их. И что я могу сказать? Что талантливый человек талантлив во всем, и талантливый художник талантлив во всех жанрах. Я говорю это кроме шуток и попробую подтвердить свои слова примерами.

И для начала возьму вот это его стихотворение:

Мой современник - колокол Иван.



К нему я в современники не зван.

Первая строка здесь сразу же ассоциируется со строкой Осипа Мандельштама: “Нет, никогда, ничей я не был современник...” Кувалдин как бы отталкивается от нее и говорит: а я знаю, кто мой современник, - колокол Иван, символ русской истории, который дошел до наших дней, пришел в XX век из далекой дали веков, он же и символ русского человека, то есть русского народа по имени Иван, и голос русского народа, или - “глас”.

Кувалдин не был современником колокола Ивана много веков назад и не мог быть “зван” к нему, ни в праздники, ни в будни, ни “во дни “торжеств”, ни во дни “бед” народа, в отличие от других, “званных”, потому что его, Кувалдина, тогда еще на свете не было, когда колокол Иван уже существовал. А теперь они оба современники. Оба живут в XX-м (а теперь уже и в XXI-м) веке.

Кувалдин прибегнул к инверсии и превратил Иван-колокол в колокол Иван. Для чего он сделал это? Для того, чтобы подчеркнуть его имя и превратить Иван-колокол из неодоушевленного предмета в одушевленный предмет.

Изумительна рифма: “Иван - зван”... Чем она изумительна? Не только тем, что она точная и не банальная, не затасканная (к слову Иван поэты чаще всего подставляют рифмы “болван” или “диван”). Она изумительна еще и тем, что в ней слышен звон колокола с эхом от этого звона: “зван - звон - зван - ...ван”... Эхо этого звона летит из глубины истории в современность и из современности в глубину истории. И звон наполняет все пространство стихотворения.

Диву даешься, с каким искусством (на интуитивном уровне) автор использовал в своем стихотворении прием звукоподражания, то есть - ономапоею, для озвучивания своих строф.

Но звон колокола слышится как бы за кадром. А в кадре - только его молчание, - правда, оно не простое, а с оксюморонам, которое не могут заглушить и перекрыть никакие, даже самые громкие звуки и шумы (которые в стихотворении идут по нарастающей линии, с градацией, и передают всю гамму шумов, вплоть до самых сильнейших), оно громче и “скрипов телег”, и “свиста плетей”, и “возгласов юродивых, калек”, и громче всех “бит-ансамблей и автомашин” (громче которых что еще может быть?):

Молчание его четвертый век (читай - как тысячу лет. - Н. К.)  
Не могут заглушить ни скрип телег,  
Ни свист плетей, врезающихся в спины,  
Ни возгласы юродивых, калек,  
Ни бит-ансамбли, ни автомашины.

Молчание колокола Ивана - это невысказанность трагедии народа, трагедии прошлого, настоящего и “светлого будущего”, которое не обещает народу ничего, кроме новых тактизм и потрясений.

В атмосфере предощущается “запах новизны”, смена времен:

## Пламенеющая роза

...А осень вся в подтеках желтизны (*акварельная такая осень, с мокрыми красками.* - Н. К.)

Предошущает запах новизны...

То есть она предошущает зиму. Но народ не ожидает от этой смены времен ничего хорошего для себя, и поэтому колокол-народ "безмолвствует" и ассоциируется с народом в поэме Пушкина "Борис Годунов".

Тот колокол у белого фасада

Безмолвствует...

Слово "безмолвствует" Кувалдин поставил вне строф, в виде "холостой" строки, без рифмы. И оно как бы повисло в воздухе... Оно повисло в воздухе, как молчание с большим резонансом в подтексте... И говорит об очень многом. А само стихотворение говорит о том, какой сильный и оригинальный поэт сидит в Кувалдине. И с каким сильным и оригинальным голосом, со своим тембром, вибрациями и модуляциями. Поэт по всей своей натуре. "Много званных, но мало избранных"... Он - из избранных, которые бывают не званы... И такому поэту редакторы газет и журналов хотели заткнуть глотку, когда не печатали его. Чтобы он замолчал, как колокол Иван.

В одном своем стихотворении Кувалдин пишет о "непризнанном сельчанами (мещерском) кустаре" Иване Ивановиче Пушкине. И как же искусно он строит строфу, подгоняет в ней слово к слову, как мастер, который строит избу и подгоняет доску к доске, бревно к бревну, чтобы она не рассыпалась и была добротной и красивой, а не кривой и кособокой, такой, что того гляди развалится. Строфа держится у него на точных классических рифмах ("края - мастеровая", "как встарь - кустарь") и на анжанбеманах (переносах), которые скрепляют строку со строкой, как венцы:

Укрытая среди лесного края  
Деревня, где стоит мастеровая  
Изба, и в ней работает, как встарь,  
Непризнанный сельчанами кустарь.

Кустарь этот не в чести у "совхозного начальства", потому что он не работает в совхозе за трудовни, не пашет на тракторе, а работает на дому, как бы сам для себя, "без пользы" для общества, делает поделки из дерева, "игрушки", прялки, с резьбой, с узорами, и его все считают "бездельником". А он - художник высшего класса, мастер Золотые руки. И когда столица провела о нем и оценила его и прислала в сельсовет официальную бумагу о том, что он заслуженный мастер своего дела, тогда и своя деревня оценила его и стала гордиться им. Кувалдин - по натуре и сам кустарь-одиночка, который работал на дому, писал

свои вещи как бы сам для себя, и которого официальные люди и свои же близкие долго не считали писателем, потому что у него не было удостоверения о том, что он писатель, член СП... И, нарисовав портрет Ивана Иваныча, типичный для любого вольного художника, он нарисовал как бы и свой портрет. И кинул иронический камень в тех, кто не понимает, что такое вольный художник, который работает для души.

А Бродского тоже считали тунеядцем и “бездельником”, пока он не получил звание лауреата Нобелевской премии.

Поэзия Кувалдина напоминает бездонный волшебный кованный сундук или мастерскую поэта-художника, где есть и готовые стихи, и заготовки к ним, и все, что хочешь, есть и блестящие точные рифмы, например: “молодых - дых”, и потешные монорифмы, например: “поросята - телята - гусята”, и урбанические эпитеты, например: “бетонные одежды” Москвы, и кулинарные эпитеты, например: “суповой петух”, и драматично-комичные фразы, слепленные из разных лексических пластов, например: “не витийствуй более, суповой петух”, и антропоморфические сравнения, например: машины на улицах сбились в стадо, “как лошади в степи”, и культурологические сравнения, например: музыка метели - как баховские “Страсти по Матфею”, и аллитерации с филологическими изысканиями, например: “время вор-ворует” (в слове “время” прячется вор, который ворует у человека жизнь), и экспериментальные расщепления слов: “продает-дается - дом на слом - дается”, и динамические метонимии, например: “свистящий звук скользит по окружной” (машины, которые с большой скоростью едут по окружной дороге), и элегические, песенные инверсии, например: “Остались от старой усадьбы три липы, // Три липы остались от бывшей усадьбы”, и парадно-праздничные метафоры, например: “уличное шествие глаголов”, и образы с расшифровкой топонимики, например: село “Немятово не смято, не подмято”, и интересные психологические наблюдения, например: “хозяин матерится для порядку”, и прозоделтали в роли поэзодеталей, например: “картофельная ботва” (которая смотрится на огороде не менее эстетично, чем букет каких-нибудь гладиолосов в хрустальной вазе), и апокалиптические символы, например: “качается над пропастью фонарь”, и мудрые, оптимистические афоризмы, например: “голоса поэтов не умрут”...

Юрий Кувалдин не придерживается никаких строгих правил стихосложения, никаких норм. Пишет как хочет. То в классическом стиле, а то в авангардном, то даже и не поймешь в каком. Захочет - вставит в одно стихотворение сразу все типы рифм: и перекрестные, и парные, и опоясывающие (кольцевые), и напишет в строфу сразу три или четыре, а то и пять монорифм-эпифор (“в обводах гулких” - “и в нишах гулких” - “и в башнях гулких” и т.д.), как, например, в стихотворении “Метель”... где все это создает атмосферу метели, с вихрем и завихрениями, с ветром, пронзающим “стариков и молодых”, со снежной завесой, в которой ничего разобрать нельзя, и сквозь которую то слышишь симфонию звуков, то видишь машины, буксующие в сугробах, то фонарь над пропастью... то “подземный рай - в качестве метро”, то пустую “спортивную арену”...

В одном из стихотворений ему хочется “сжечь проклятую тетрадь (со своими стихами)”, как Гоголь сжег вторую часть своей поэмы в прозе. И больше никогда не возвращаться к ним.

Есть у Юрия Кувалдина и белые стихи. Например, “Место рождения”. О Третьяковском, который еще до Ломоносова разработал систему стихосложения и который учился в той же школе, что и его младший литпотомок Юрий Кувалдин, но двумя веками раньше, и

## Пламенеющая роза

который ходил по тому же двору, что и он, и сейчас все ходит там и сочиняет свои “*вирши*”, а Юрий Кувалдин смотрит на него из своего окна и сочиняет свои:

...Еще звонарь не влез на колокольню,  
А Тредьяковский, засветло проснувшись,  
Неспешно измеряет двор безлюдный,  
Перелагая еллинские *вирши*  
На слог доступный,  
Мерю спокойной  
И штилем верным:  
“Плыви, корабль,  
Беленый, просмоленный...”

Здесь нет ни одного сравнения, ни одной метафоры, ни одного тропа, даже и ни одной рифмы, а сколько поэзии... В чем она? В романтической фантазии автора, и в словах, которыми он рисует ее так, будто это не фантазия, а самая настоящая реальность, и в точном подборе слов, и в смешении их с архаичными, из лексикона ХУШ века, и в интонации, и в ритме, который соответствует ритму волн, и в “беленом, просмоленном” корабле, который плывет по этим волнам, из античного Средиземного моря по Москве-реке, и за которым лирическому герою Юрию Кувалдину хочется устремиться и плыть на своем корабле... “Но где моя ладья?” - спрашивает он. ...Он построил себе за рамками этого стихотворения - в своем воображении - свою собственную ладью, своими собственными руками, и поплыл на ней... “Куда ж нам плыть?” - спрашивал Пушкин. В большую литературу, куда же еще.

В “Поэме Кривоколенному переулку” Юрий Кувалдин, коренной москвич, который обожает свой город и знает его, как никто из москвичей, обыгрывает название этого переулка с его не прямолинейным, а “криволинейным маршрутом”, который для него и в жизни, и в литературе намного интереснее прямолинейного. И говорит:

Я сам себе маршрут криволинейный.  
В Москве иного не было и нет.

Он говорит правду. В Москве “не было и нет” иного Юрия Кувалдина, второго экземпляра. Он такой один на всю Москву и на весь мир. Как каждый большой талант или гений.

*“Наша улица”, № 9-2005*

Светлана Соложенкина

## “ВСЯ РОССИЯ ДЕЛИТСЯ НА СНЫ...”

Есть у Ивана Алексеевича Бунина стихотворение “Сон епископа Игнатия Ростовского”, с эпиграфом из летописи: “Изрину князя из церкви соборные в полночь...” Всего восемь строк:

Сон лютый снился мне: в полночь, в соборном храме,  
Из древней усыпальницы княжон,  
Шли смерды-мертвецы с дымящими свечами,  
Гранитный гроб несли, тяжелый и большой.

Я поднял жезл, я крикнул: “В доме бога  
Владыка - я! Презренный род, стоять!”  
Они идут... Глаза горят... Их много...  
И ни один не обратился вспять.

Сон воистину вещей...

Есть и рассказы, полностью написанные во сне - это свидетельство Варлама Шаламова, чьи колымские стихи и рассказы хорошо известны читателям. Суровые условия научили его фиксировать свои творческие сны на чем попало - на папиросной коробке, на обрывке газеты...

И сны эти - вопреки всему - уцелели.

Казалось бы, человек, изведавший всю тяжесть репрессий, должен интуитивно отстраняться от пережитого - так, скажем, сломав руку, берегут ее от новой боли, “нянчат” в гипсовой люльке, на весу... Но, по свидетельству Юлия Шрейдера, “больше всего Шаламов боялся забыть лагерную жизнь”. Потому что забвение пережитого - смерть души. А преодоленное страдание, воссозданные сны - это победа над смертью.

“Не надо бояться памяти”, - говорит и другой поэт, тоже сполна хлебнувший лагерного лиха, Анатолий Жигулин. Да и как забыть?! В стихотворении “Сны” каждая строка дышит болью:

Семь лет назад я вышел из тюрьмы.  
А мне побег,  
Все побег снятся...  
Мне шорохи мерещатся из тьмы.  
Вокруг сугробы синие искрятся.

В этом стихотворении (1962-1963 годов) совсем нет глаголов в прошедшем времени - только в настоящем. Все описанное происходит как бы сейчас, на наших глазах: вот ударил с вышки пулемет, полоснул, как ножом, беспощадным светом прожектор...

Овчарки лают где-то в двух шагах.  
Я их клыки оскаленные вижу.  
Я до ареста так любил собак,  
И так теперь собак я ненавижу!

...Интересно и глубоко утверждение поэта и этнографа Нины Гаген-Торн (тоже - узицы Колымы и Мордовии в прошлом...):

“Тот, кто разроет свое сознание до пласта ритма и поплывет в нем, не сойдет с ума... Стих, как шаманский бубен, уводит человека в просторы Седьмого Неба”.

Область подсознательного - в том числе и снов - наименее исследована. Хотя издавна были наивные попытки приблизиться к тайне снов, к разгадке их символики. Вспомним сонники наших прабабушек, переиздаваемые, кстати сказать, сейчас в несметных количествах! (Люди деловые поистине способны “состричь шерсть с яйца” и успешно спекулируют на тяге к таинственному, присущей человеку во все времена...) Что касается науки, то она, конечно, не игнорировала эту область вовсе - пытливые исследователи давно заметили ту важную и особую роль, которую играют сны в художественной литературе. Вспомним хотя бы сон Гринева в пушкинской “Капитанской дочке”! А знаменитый сон Татьяны в “Евгении Онегине”? А сны в романах Достоевского? А сон Анны Карениной? А...

И все-таки - область “сновидения” ютится где-то на задворках официального литературоведения. Если со снами в классике, несомненно, считаются, то по отношению к современной литературе подобное внимание к снам - редкость... А между тем и поэты, и прозаики упорно продолжают видеть сны. И, как мы успели убедиться, - в самых неподходящих для этого местах: в тюремной камере, в лагерях... И в госпиталях.

И под бомбежками. И в изгнании. Да мало ли еще где!

Конечно, было бы наивно полагать, якобы поэты и прозаики что видят - то и записывают. Если бы дело обстояло так просто, то они ничем не отличались бы от акынов, которые “что видят - то и поют”, с той лишь разницей, что это были бы акыны-медиумы.

Очень часто художник не просто “записывает”, а как бы конструирует сон. Сказанное не противоречит признаниям самих поэтов и прозаиков в том, что иные их вещи буквально созданы во сне. Ведь поэтическая работа продолжается и в подсознании! Мастер - ведь он и во сне мастер, а не беспомощный подмастерье-новичок. Он привык мыслить символами и обобщениями, - так сказать, круглосуточно... Элемент художественной обработки “сырого” материала в самых причудливых снах присутствует всегда.

Но кто возьмется разграничить со всей определенностью явь и сон, сознательное и подсознательное? Разве что кто из этих, “не обратившихся вспять”? Попытка безнадежная! Важно одно: в какой мере сны являются свидетельством о времени и раскрывают авторскую неповторимость.

Замечу, что в хаотической вроде бы и пестрой области снов царит вместе с тем, если угодно, - жанровая определенность. Есть сны - точное повторение яви - как, например, в случае с Жигулиным. Их можно, условно говоря, определить как реалистические. А есть стихи-сны ярко романтические. И определенно стилизованные, - скажем, под античность. Любопытный пример тому - стихотворение Елис. Васильевой (она же - Е. Дмитриева, она же - легендарная и мифическая Черубина де Габриак...) “Все летают черные птицы...”:

Все летают черные птицы  
и днем и поутру,  
а по ночам мне снится,  
что скоро я умру.

Даже прислали недавно, -  
сны под пятницу - верные сны, -  
гонца из блаженной страны,  
темноглазого легкого фавна,

Он подошел к постели  
и улыбнулся: "Ну что ж,  
у нас зацвели асфодели,  
а ты все еще здесь живешь?"

Стихотворение написано в 1926 году, но вполне - по своей стилистике, отбору деталей и т. п. - могло быть отнесено и к самому началу века. Какие "черные птицы", какие "асфодели", когда строится "новое общество"!

Стихи подобного рода раздражали не созвучностью эпохе. Не потому ли в 1927 году Е. Дмитриеву арестовали, и - хромая - она была отправлена по этапу на Урал. А затем в Ташкент, где она и скончалась. Черные птицы настигли-таки ее. Можно ли надеяться на то, что она хотя бы застала там свои любимые асфодели?!

Так же поступили и с замечательным украинским лириком Евгеном Плужником. Его - с туберкулезом в тяжелейшей форме! - отправили... на Соловки. Где он вскоре и умер, конечно.

Арестовали поэта в 1934 году. А в книге стихов "Ранняя осень", вышедшей в 1926 году, уже есть такое беспощадное предвидение всего случившегося потом. Своего рода тоже - вещий сон:

Дикий сон мне каждой ночью снится:  
Я - скрипач в пивнушке "Моп аті".  
Выдаю гостям такого Гриця,  
Как никто на свете, черт возьми...

И когда мгновенным пьяным взрывом  
Истина взрывается навзрыд, -  
На руках, что держат кружки с пивом,  
Чья-то кровь парует и кипит!..

Круг убийц и трупов все жесточе.  
Я, скрипач ослепшей ночи,  
Вою так в лицо ослепшей ночи,  
Как никто на свете, черт возьми.

*Перевод Ю. Кузнецова*

Фантазмагория? Или - мгновенная вспышка магия, осветившая всю черную бездну грядущих дней? Это - сон. И это - свидетельство чуткости поэта, через некоторое время наяву очутившегося "в кругу убийц и трупов".

Книга, по которой я цитирую это стихотворение, тоже называется "Ранняя осень" (Воронеж: Подъем, 1992. Составители Евгений Новичихин, Петр Чалый). Что примечательно - перед нами впервые предстает творчество Евгена Плужника на русском языке. До этого выходили сборники Плужника только на украинском. В переводе избранных стихотворений приняли участие как столичные, так и местные переводчики. И что еще интересно - в качестве спонсора издания обозначен совхоз "Кузнецовский" Кантемировского района Воронежской области. Уроженцем этой земли и был Еуген Плужник - и вот даже в такое нелегкое для поэзии время творчество сновидца и "врага народа" оказалось, как хлеб, необходимо народу. Время все расставило по своим местам...

Времени - ему всегда видней, какой сон окажется пустым, а какой - в руку... А нам... нам, как писал поэт, "не дано предугадать" это. Прогнозы здесь рискованны. Хотя случается ошибиться и в лучшую сторону. Вот Владимир Набоков был, например, уверен, что если

“Вся Россия делится на сны...”

романам его уготована долгая жизнь, то поэта В. Сирина (таков был его псевдоним, как вы помните...) забудут скоро и прочно:

Как бледная заря, мой стих негромок,  
и кратко звуковое бытие,  
и вряд ли мой разборчивый потомок  
припомнит птичье прозвище мое...

Но он ошибся. Помимо прозы было издано подряд два сборника стихов (оба - классически строго названных “Стихотворения”, один издан Ленинградским отделением “Художественной литературы” - 1990, другой - “Молодой гвардией” - 1991). И оба давно разошлись.

Между тем, читая стихи В. Набокова, невольно обращаешь внимание на то, что это - сплошные сны. Сны об оставленной родине, о милом сердцу доме-усадебке в Рождествене, о Санкт-Петербурге... Словом - о России. Многие стихи В. Набокова так и озаглавлены: “Сны”, “Сон”, “Видение” и т. п. Впрочем, и в стихах, прямо не отнесенных к снам, все-таки ощутимо некое четвертое измерение, причудливая поэтика сна - когда можно, скажем, встать на лыжи, оттолкнуться, как следует, взлететь в воздух и... перенестись из “прекрасного далека” в места, вечно дорогие сердцу:

Увижу инистый Исакий,  
огни мохнатые на льду  
и, вольно прозвевев во мраке,  
как жаворонок, упаду.

(Вспоминается по ассоциации “живая ласточка” О. Мандельштама, которая “упала на горячие снега”...)

Каждая вещь, каждый предмет имеет здесь свое раз и навсегда данное место, прошедшего времени опять-таки нет, все - в настоящем. Явь и сны смыкаются, неуловимо переходят друг в друга:

И я охвачен темнотою,  
и, сладостно в ушах звеня  
и вздрагивая под рукою,  
проходят звезды сквозь меня.

О стихах В. Набокова слишком мало сказать, что они пластичны. Как говорит он сам - “Дело в том, что исчезла граница между вечностью и веществом”.

Светлые сны перемежаются в лирике Набокова поистине с мрачными видениями:

В снегах полуночной пустыни,  
мне снилась мать всех берез,  
и кто-то - движущийся иней -  
к ней тихо шел и что-то нес.

Нес на плече в тоске высокой,  
мою Россию - детский гроб...

По своей зловещей выразительности это стихотворение, пожалуй, можно поставить рядом с бунинским “Сном епископа Игнатия Ростовского”.

И опять - стихотворение “Сон”:



Есть сон. Он повторяется, как томный  
стук замурованного. В этом сне  
киркой работаю в дыре огромной  
и нахожу обломок в глубине.

И фонарем на нем я освещаю  
след надписи и наготу червя.  
“Читай, читай!” - кричит мне кровь моя:  
Р, О, С... - нет, я букв не различаю.

Эти сны нашептывала ненависть к “смердам”. Но куда уйти было от живой любви, “от слепых” ее “наплываний”, от всего того, что осталось в прошлом - но не прошло?

Сны о родине не отпускают, становятся своеобразным мерилем и завершением всякой яви:

Странствуя, ночуя у чужих,  
я гляжу на спутников моих,  
я ловлю их говор тусклый.  
Роковых я требую примет:  
кто увидит родину, кто - нет,  
кто уснет в земле нерусской.

Ему кажется даже, в своем неустанном визионерстве, что:

Не на области и города,  
не на волости и села -  
вся Россия делится на сны,  
что несметным странникам даны  
на чужбине, ночью долгой.

Что ж, такое деление “на сны” и впрямь характерно для России.

Сны продолжают тревожить современных поэтов и прозаиков. Среди последних - я бы выделила Юрия Кувалдина, автора двух примечательных, на мой взгляд, книг - “Улица Мандельштама” (“Московский рабочий”, 1989) и “Философия печали” (М.: Новелла, 1990). Обидно, что обе эти книги критика, верная себе, как-то “не заметила”, хотя, впрочем, доброе слово Фазиля Искандера о прозе Ю. Кувалдина стоит многих рецензий: “У Кувалдина нет интереса к людям легкой судьбы. Он любит вглядываться в “сложных” героев, говорит о них правду, в большинстве своем тяжелую и печальную, почерпнутую из самой жизни, где положительное и отрицательное ходят рука об руку. Своими повестями Ю. Кувалдин не только сообщает новое, он, сам творя, узнает нечто новое и неожиданное для себя, и стиль его всегда несет отпечаток этого волнения первооткрывателя”. Всецело соглашаясь с такой оценкой, добавлю еще, что Ю. Кувалдину присуще редкое свойство - вживаться не только в чужие жизни, но и в чужие сны, почему, собственно, я и считаю возможным и необходимым упомянуть о его прозе наряду с анализируемой мною сегодня поэзией.

Тем более что “Улица Мандельштама” имеет жанровое определение: повесть о стихах. Точнее и шире - это повесть о поэзии, о ее судьбах - и, конечно же, о ее снах, т. е., говоря иначе, - о провидческой сути. Писалась эта книга пятнадцать лет - и это понятно, ведь на большой скорости не проскочишь мимо Мандельштама и Батюшкова, мимо Тютчева и Хлебникова, мимо Державина и уж тем более мимо Гомера и Данте... Да и зачем бы писать о поэтических мирах, если - мимо?

## “Вся Россия делится на сны...”

Повесть-эссе разворачивается как многомерное, причудливое, захватывающе интересное сновидение.

“Архитектура - одно из средств похищения пустоты: залы, комнаты, коридоры - не что иное, как ограниченная стенами пустота!

Мандельштам:

- Настоящий труд - это брюссельское кружево, в нем главное то, на чем держится узор: воздух, проколы, прогулы...”

Поэзия - это “на страшной высоте блуждающий огонь”, это - “чужих певцов блуждающие сны” - извечное ее “блаженное наследство”... А если мы и спустимся со страшных высот в небольшую, казалось бы, и уютную комнату, где:

Невыразимая печаль  
Открыла два огромных глаза,  
Цветочная проснулась ваза  
И выплеснула свой хрусталь, -

то и здесь мы почувствуем сновидческую основу, “подкладку” бытия:

Вся комната напоена  
Истомой - сладкое лекарство!  
Такое маленькое царство  
Так много поглотило сна.

“Своя система начинается не от какого-то уровня, а как бы вызывается из небытия предчувствуемого”.

Скажите, легко ли анализировать такие неосознаваемые вещи, как “воздух, проколы, прогулы”, “блуждающие сны” - все то, что образует неповторимый мир поэзии? Ю. Кувалдин это делает, не пытаясь, впрочем, “у огня снежинку разобрать”, - он “просто” вживается в этот мир. Думаю, понятно, почему я беру слово “просто” в кавычки.

“С сильным бороться - сам сильным станешь”. Живя столько лет в мире большой поэзии, и прозаик не может не воспринять что-то от ее уроков. Речь не о подражании - следствием подобного механического подражания является иной раз читателю так называемая “поэтическая проза” - нечто весьма расплывчатое и промежуточное, не-поэзия и не-проза. С Юрием Кувалдиным этого не произошло. И, слава Богу. Но его “Философия печали” - проза в чистом виде - нет-нет да и обнаруживает свою метафорическую природу, близкую и поэзии, и перекличка здесь - не на поверхности, а в глубине.

Вот, например, герой его повести “Тайна добра” видит сон: вдоль насыпи тянется колонна новобранцев, и он, этот герой, Аргунов, - человек интеллигентный, привыкший прислушиваться к себе, приглядываться “к собственным галактикам” - вдруг ощущает в своей руке деревянную бабу - ее сунул ему мужик, мостящий дорогу, - и начинает бить новобранцев по щетинистым серым затылкам. Хотя понимает, что “бить нельзя”.

“Бьет! И новый солдат, как гвоздь, вырастает перед глазами Аргунова. Удар - и солдат вонзается в полотно насыпи, как гвоздь в доску по самую шляпку. А шляпка выпуклая, поблескивающая на солнце... Аргунов щурит глаза от зеркального блеска уходящей в неведомые дали чешуйчатой дороги. И снова бьет трехпудровой бабой, и кровь стекает в щели меж затылками.

- Сколько же мостить еще? - истошно вопит Аргунов.

- До самого ада! - отвечает эхо, катящееся от горизонта, как огромный раскаленный шар...”

Бред? Горячее больное сознание? Но какие же еще сны могут сниться человеку в античеловеческом мире? Аргунов-старший - герой этого сна - писал философский труд "Тайна добра" - а его расстреляли без суда и следствия белые "как большевика", хотя он таковым не был. А сын его, Аргунов-младший, ставший историком партии, при Сталине, попадает в бериевские застенки, где его весьма успешно "регулируют". И снова - то ли явь, то ли сон:

"...Из пронзенного бока Христа неподвижно бежал ручеек крови. Голова в терновом венке склонилась на костлявое плечо. Римский воин в панцире протягивал на бамбуковой трости к пересошим губам спасительную губку, смоченную водою и уксусом..."

...Да, поистине - есть вечные сны. И страннейшая разновидность снов - бессонница мыслящей души.

У нас есть фонотеки, пинотеки и т. п. Современная молодежь предпочитает всему дискотеки. А хорошо бы, думаю я иногда, существовали еще гипнотеки, иными словами, - коллекции, собрания снов. Пока что сны существуют только в разрозненном виде - на страницах иных книг, на отдельных полотнах, в музыке, где у матери-Гармонии самый любимый, может быть, но и самый непослушный ребенок - Диссонанс... "Чужих певцов блуждающие сны" ждут своих наследников, которые ощущали бы их как "блаженные".

Дождутся ли?

Нам не может быть безразлично, какие сны будут видеть наши дети...

*"Литературное обозрение", № 5-6, 1994  
(главный редактор Леонард Лавлинский), с. 28-31*

Фазиль Искандер

## “ДАВАЙТЕ С ВЕКОМ ВЕКОВАТЬ...”

Книга Юрия Кувалдина “Улица Мандельштама” (сборник повестей) - именно книга в самом точном смысле этого слова. При внешне разнообразном материале ее мы все время чувствуем ее внутреннее единство. Единство ее в том, что в мире мыслей автор чувствует себя как дома и хочет, чтобы и мы здесь чувствовали себя так же, однако и не слишком при этом распускали пояса, да и автор сам при должном гостеприимстве достаточно подтянут.

Одним словом, это настоящая интеллектуальная, а точнее сказать, интеллигентная проза. Кувалдин не поддается ни волнам скороспелых и скоропреходящих литературных веяний, ни суете “проходных” рассуждений о “положительном герое”. Этим в немалой мере объясняется то доверие, которое при чтении испытываешь к его повестям, ибо в работе каждого настоящего писателя важна не только сама система его нравственных, философских, эстетических ценностей, но и последовательность, упорство, страсть в их отстаивании.

В силу определенных исторических обстоятельств, перечисление каких-либо слишком далеко завело бы, нашей литературе многие и многие годы не хватало именно такой прозы. Склонность мыслить в эпоху Сталина была подозрительна и опасна, и выработалась с годами некая негласная эстетика, с точки зрения которой попытка автора или его героев рассуждать о смысле жизни, о концах и началах воспринималась как род неприличия и даже мировоззренческая неопрятность.

Мыслит, значит, не все решил; не все решил, значит, не все решено. Но как же может быть не все решено, когда “вождь и учитель” уже все определил?! Получается заколдованный круг. К счастью, наши лучшие писатели никогда не признавали этого круга и никогда не кружились в нем. Но их лучшие произведения до самого последнего времени не печатались, а их личные судьбы были трагичны.

На этот счет в повести “Трансцендентная любовь” Игорь Олегович рассуждает: “... Сталину даже такие, как Бухарин, довольно-таки средние в интеллектуальном отношении люди, казались уже интеллектуалами высшего пошиба. И Сталин стал подбирать таких которые бы ему смотрели в рот. То есть Сталин снижал уровень культуры окружения до самого нижнего предела. Можно сказать, что он на самом верху социального положения стремился оформить свою жизнь так, чтобы горизонт его был не шире и не глубже, чем горизонт человека, находящегося в самой непривлекательной позиции в жизни, имеющего самую неблагоприятную для обзора точку существования культуры. Своим мундиром без знаков различия Сталин как бы себя приравнял в культурном отношении к самому простому солдату из казармы”.

Повесть “Пьеса для погибшей студии” - великолепный эскизный набросок - написана о бездуховном времени и о поисках духовности, о невозможности растительного существ-

вованая для мыслящего человека. Для каждого из персонажей студия - это единственное место человеческого общения, островок посреди лжи и мрака, хотя нельзя сказать, что они сами - образец чистоты. Вместе они пишут пьесу, которая вбирает их "трудные" жизни.

У Кувалдина нет интереса к людям легкой судьбы. Он любит вглядываться в "сложных" героев, говорит о них правду, в большинстве своем тяжелую и печальную, почерпнутую из самой жизни, где положительное и отрицательное ходят рука об руку. Своими поведаниями Ю. Кувалдин не только сообщает новое, он, сам творя, узнает нечто новое и неожиданное для себя, и стиль его всегда несет отпечаток этого волнения первооткрывателя.

В силу сказанного эта книга представляется мне в лучшем смысле этого слова актуальной. Она о нашей интеллигенции, увиденной любящим и одновременно беспощадным взглядом. Умышленно аполитичный Велдре из повести "Стань кустом пламенеющих роз" и тишайший, как мышь, герой "Записок корректора" - по сути, одна и та же форма деформации, падения и предательства. "Поэтические" размышления Велдре, мнимая вольница в окружении бюрократии, кончаются предательством именно тогда, когда это понадобилось бюрократии.

Герой "Записок корректора" - как бы сторонний наблюдатель реальной жизни, словно старается не испачкаться о нее, уходит в свою интеллектуальную норку, но этот конформ мнимый и подлый, ибо он куплен у той же бюрократии. Корректор читает Ренана и Бердяева, пишет дневник о хамах соседях, вспоминает, как когда-то, после Духовной академии, служил в Синоде, сидел у дверей генерала Раева и однажды собственноручно держал записку от Распутина. Корректор много знает, он умеет достаточно изящно выражать свои мысли: и устно, и на бумаге, но... Мало проку от его мыслей и познаний, он живет для того, чтобы выжить. Пожалуй, это новый образ в нашей литературе, насколько я помню, такого конформиста в ней не было.

Действие повести "Стань кустом пламенеющих роз" происходит в армии, но не армейским проблемам эта повесть посвящена. Хрущевская "оттепель" кончена, скоро введут войска в Чехословакию, книги Солженицына изымаются из библиотек, номенклатура сжимает кольцо, дышать людям мыслящим становится трудно. В повести противостоят друг другу позиция: аполитичная - Яниса Велдре и активная - Александра Аргунова.

После "высоких" рассуждений Велдре, после упоительных речей его о "смысле искусства" Аргунов, зная о том, что дед Велдре был латышским стрелком, возражает: "... ты - о розах на снегу, а твой дед был в самой настоящей политике, да еще пострелял как следует. Может быть, даже и в самого Николая Александровича... Но тем не менее и на тебе солдатская форма: сапоги, гимнастерка, галифе... И тебя закручивает водоворот политики. Но ты это свое нынешнее состояние как бы всерьез не принимаешь, как будто это и вовсе не ты служишь здесь. Так что, дорогой Янис, это тебе только кажется, что ты вне политики. На самом деле ты в ней".

Такие ребята, как Аргунов, не сдавались на милость застоя: они предвосхищали эпоху гласности и по-своему боролись за нее.

Повесть о стихах "Улицам Мандельштама" - свободный поток импровизации, вызванный радостью общения со стихами этого замечательного поэта. Тут бездна свежих наблюдений, острых, интересных мыслей. Даже такой оригинальный, большой поэт, как Осип Мандельштам, не существует сам по себе, он в потоке великой русской поэзии, и его трагическое изгойство в страшные тридцатые годы есть прямое следствие верности традициям русской культуры.

Юрий Кувалдин ведет нас по "улицам" века, по которым пролегал тернистый путь поэта. "И если нам не выковать другого, //Давайте с веком вековать", - писал Мандельштам. Кувалдин щедрыми красками рисует атмосферу тех лет, показывает окружение поэта, сопоставляет две поэтические школы в истории русской поэзии: петербургскую и москов-

“Давайте с веком вековать...”

скую. Как из-под камня тянется зеленый росток, так поэзия Мандельштама пробивает себе дорогу в наши дни.

Книга Юрия Кувалдина написана точным языком, без сомнительных попыток обогатить его местными речениями. Всеми своими повестями автор подводит нас к ясной и беспощадной мысли - вне борьбы со злом нет и не может быть российского интеллигента.

*Предисловие к книге Юрия Кувалдина “УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА”,  
Москва, издательство “Московский рабочий”, 1989 год, тираж 100 000 экз.*

## АКИМЫЧ

### Фрагмент беседы с Евгением Рейном

- Евгений Борисович, я удалился во времени на 35 лет, вспомнил Шаболовку, замечательного поэта Аркадия Акимовича Штейнберга, переводчика “Потерянного рая” Джона Милтона. Штейнберга мы просто называли Акимычем. У него проходили наши домашние литературные университеты, чтение самиздата, и у вас тогда даже не было книжки.

- Да, моя книжка вышла в 1984 году. Если мы поглядим назад, то увидим, что в начале, скажем, XIX века, человек в 15-16 лет, уже был взрослым, ответственным человеком, и что, например, Грибоедов или Батюшков, не говоря уже о Пушкине, - они в 15 лет писали стихи, которые сейчас печатаются в собраниях сочинений. Кстати сказать, у Маршака были стихи:

Мой друг, зачем о молодости лет  
Ты объявляешь публике читающей?  
Тот, кто еще не начал, - не поэт,  
А кто уж начал, тот не начинающий!

Нужно самому понимать, поэт ты или нет. Надо со всей, не то, чтобы сказать, ответственностью, которая давила бы на тебя, а с некоторой серьезностью к этому отнестись... А Акимыча я знал года с 68-го. Я, кстати, был свидетелем на его свадьбе с Наташей. Мы были такие бедные, что даже не могли пойти в кафе. Пошли в кулинарию, купили там еды какой-то, водки, и пошли к ним на Шаболовку, отметили как-то. Он великий человек. Первоклассный поэт, великолепный переводчик, очень незаурядный человек, с удивительно интересной, сложной жизнью. Он сидел несколько раз. Он был подполковник СМЕРШа, был заместителем коменданта Бухареста во время войны, где его арестовали. Он отсидел несколько лет. Он был непростой человек. Вот жена его ждала живая много лет, но когда он вернулся из лагеря, он не пошел к ней, а женился на Наташе. С ним произошел замечательный случай. У него была библиотека огромная. У него был дом в Тарусе. И библиотека осталась в Тарусе. А он очень ценил эту библиотеку. И, когда жена уехала, он на грузовике подъехал, выбил двери и украл библиотеку. За что его сыновья родные, ныне покойный Борух и Эдик, поймали и так избili отца, поломали ему ребра, что он оказался в больнице. Эдик Штейнберг теперь всемирно известный художник-авангардист, после возвращения из Парижа, где был в эмиграции, живет в переулке у Цветного бульвара... С высоты наших дней виден наш путь, который тогда, 35 лет назад не был виден. Тогда было время стихов, многие писали прекрасные стихи, и читали их за столом у Акимыча. И вы, Юрий Александрович, читали свои рассказы и “Улицу Манделштама”, где и Акимыч был выведен. У него было все просто. Черный хлеб, соленые огурцы, граненые стаканчики. А кто-нибудь из нас притащит и многослойную фанеру, как мы называли тогда самый дешевый вафельный торт “Сюрприз”.

И огромный черный ньюфаундленд Фома всех обнюхивает, и кошки, черные, рыжие, белые, пестрые, полосатые прыгают со стола на подоконник, со шкафа на диван... Да, у Акимыча всегда были кошки и собаки. И полный дом друзей, в основном писателей и поэтов, юных и старых, зрелых и маститых, безвестных и знаменитых... Акимыч читал что-нибудь из нового, то переводы, то оригинальные стихи, а то и показывал свои новые картины. Он был еще и довольно оригинальный художник... У него есть замечательная поэма "К верховьям". Акимыч ее так и не увидел опубликованной при жизни. В 1991 году ее опубликовал наш общий приятель поэт Вадим Перельмутер со своими комментариями. Поэма автобиографична. Но это - автобиографичность особого рода. Поэтическая. Не одного - нескольких персонажей наделил поэт своими чертами, поделил между ними свое пережитое. Это и моторист, вышедший из тюрьмы и заново осваивающий чувство свободы, и крепко сбитый, смуглый, цыганского вида "дядька" (здесь есть и портретное сходство), из жизни которого каторжная судьба вырвала, украдала десяток лет, целую жизнь, и таежный путник, провожающий с берега глазами мимо проплывающую чужую жизнь... Первые строки, наброски обнаруживаются еще в самодельном черновом блокноте, исписанном в лагере Ветлосян, и относятся к концу сороковых годов; есть они и на разрозненных листках, чудом сохранившихся от начала пятидесятых...

- Интересно, а как вы с Акимычем познакомились?

- Недавно скончался поэт Александр Аронов. Всю жизнь он проработал в газете "Московский комсомолец". Да... А тогда шел, наверное, сейчас я подумаю, 66-й год. Я шел по Москве. Был жаркий такой день. И встретил Сашу. Он мне сказал, что его любимая жена, Нина Дубяго, полюбила Бродского, и ушла к нему. И он об этом написал поэму, которая называется "Пути сообщения". Самое забавное, что она сохранилась, эта поэма. И пригласил меня на первое чтение этой поэмы. А чтение проходило у вдовы поэта Георгия Шенгели, Нины Манухиной. Она жила в доме, где был универсам "Дворец для новобрачных", напротив кольцевой станции метро "Проспект Мира". Там на седьмом этаже была ее квартира. Я пришел, и там был Аркадий Акимович Штейнберг, Акимыч. Он тогда прочитал замечательное, врезавшееся в меня навсегда стихотворение:

Аркадий Штейнберг

#### НАПУТСТВИЕ

Пускай на службу человечью  
Идет мой затрапезный стих  
И вровень с обиходной речью  
Простейшим будет из простых.

Пусть он гнушается притворством  
Картонной булки показной.  
И станет откровенно черствым,  
Насущным, как ломоть ржаной.

Пусть будет он подобен хлебу,  
Чье назначение и честь -  
На повседневную потребу  
Тому ложить, кто хочет есть.



Евгений Рейн

И мы познакомились. А он жил на Шаболовке, в этой пятиэтажке. И я его проводил. А потом, что получилось? Я был тогда женат на Наташе. Она училась в одной группе с Наташей Тимофеевой, женой Акимыча, в инъязе. Мы часто и очень подробно говорили с Акимычем о поэзии. Сейчас я об этом вспоминаю, как о “Потерянном рае”...

*Беседовал Юрий Кувалдин  
“Наша улица”, № 6-2003*

Мария Гущина

ПРОГУЛКИ ПО УЛИЦЕ МАНДЕЛЬШТАМА

“Шел я по улице незнакомой...”

Н. Гумилев

Эту улицу автор мастерил 15 лет, а когда был забит последний гвоздь - поставлена последняя точка - он отправился в издательство (это были 70-е)... Книга Юрия Кувалдина “Улица Мандельштама” увидела свет только сегодня (1989. - Примеч. Ю.К.). Тому, кто не знаком с творчеством писателя, подсажу, что это произведение будет интересно всякому, кто способен задуматься над тем, что происходило и происходит с нами, над тем, отчего мы утратили столько и стали вот такими. Автор погружает нас в мир мысли, где он полный хозяин, хозяин, по точному замечанию Фазиля Искандера, гостеприимный. Потому, попадая на неведомую улицу Мандельштама, где вместе с живыми людьми бродят их тени и души, вы чувствуете себя уверенно и понятно. Полагаю, вы пожелаете и новой встречи - она реальна, к выпуску готовится новая книга Ю. Кувалдина “Философия печали”.

“Был первый час ночи. Легли спать. Свет был погашен. Клоун спросил:

- Понравилась тебе идея Воловича?

Парижский шевельнулся на кровати, чиркнув спичкой. Лицо осветилось кумачово-голубоватом светом. Закурил. Красный огонек маячил в темноте. Приятно пахло сигаретным дымком.

- По-моему, чепуха, но...

- Что “но”?

- Живем в эпоху всеобщего вранья. И нам соврать надо, но честно. Мы сделаем композицию с широкими швами, то есть пробелами, где подтекст будет читаться даже глухонемыми!

Клоун лежал в одежде на матрасе, брошенном у стеллажа. Парижский загасил сигарету, отвернулся к стене и, сунув очки под подушку, уснул. Клоуну сразу стало грустно, он почувствовал себя одиноким, не нашедшим своей обители в этом мире. Клоун смотрел в темный потолок и думал о том, что таких, как он, на этом свете много, да что там - на целом свете, таких много рядом, стоит лишь оглянуться. Вот, например, Парижский. Жизнь свою пустил по инерции, потерял семью, пьет уже не для веселья, а по необходимости, потому что организм требует алкоголя, как автомобиль - бензина, иначе не поедет. А Поляков? Сестра - инвалид со страшным, искаженным болезнью лицом. А Алик Петросов? Кто ему мешает придумывать свои оригинальные проекты? Смирился в критике сущего, а своего нет. А сам клоун? Полуфабрикат человека, заготовка в алкоголики, будущий актер?

Кто придет к ним и расскажет, что такое счастье?”

(Это - маленький фрагментик “Пьесы для погибшей студии”, одной из повестей, составляющих “Улицу Мандельштама”). Р.З. Зайдите в магазин “Книжный мир”, что на Кирова, полистайте “Улицу Мандельштама” - думаю, вы уйдете с покупкой...

*“Московские ведомости”, июль-август 1990, № 2*

Юнна Мориц

## КРИВОЛИНЕЙНЫЙ МАРШРУТ

На ярлыке промтоварной вещи зачастую стоят две цены, вторая цена - за отделку, которая, естественно, удорожает стоимость товара в целом. Спору нет, высокое качество отделки самым благоприятным образом влияет на качество промтоваров. Но с поэзией дела обстоят иначе. Не наоборот, но иначе. В последние годы качество стиховой отделки у молодых неимоверно повысилось. Это радует малодушных редакторов, которым теперь не надо молодую рукопись дотягивать до уровня ремесленной безупречности, неуязвимости. Но ведь эти как раз безупречность и неуязвимость стали униформой поэзии, которая лишилась своей вековой сокровенности, страстной силы и глубины. И теперь мы скорбим по тем временам, когда рифмы не были столь прекрасны, а стихи не были столь бесстрастны. Не считая самых талантливых, многочисленные подборки молодых поэтов удручают душу унылым сочетанием поддельной хрестоматийности и подлинной душевной безработицы.

Вдруг оказалось, что на богатое пособие прежних поэтических поколений можно безбедно жить, позволяя “душе лениться”. Но душа русской поэзии нетерпима к праздности, к дармовщине, к неуязвимости безликого прозябания. Вот почему в стихах некоторых молодых поэтов уже начинают зреть мотивы неприятия того комфортабельного уровня стиховой жизни, который гарантирует безупречность и неуязвимость. Поэты эти переживают сейчас самый тяжкий период, переходя от благочинной стабильности к поискам утраченных тревог.

Юрий Кувалдин обуян духом противоречия, его стихи откровенно корявы, неповоротливы, шероховаты, редко блещут захватывающими дух метафорами, не напрягаются для выжимания афоризмов и не стремятся к конкретной законченности. Нет в этих стихах и намек на совершенство. Что же в них есть? Прорыв к естественности, хождение по путям, где нет столбовых указателей, пренебрежение к стиховой косметике и тяга к натуральности.

Церковных окон виден переплет,  
Где стекла запотели от дыханий,  
Как странно наблюдать на расстояньи,  
Как странно: если служба там идет.  
- Чего же странно, ежели идет, -  
Вахтер ответит. - Пусть себе идет!

В этом отрывке из “Поэмы Кривоколенному переулку”, где автор смотрит на город из типографского окна, “пока готовят полосы в печать”, есть то высокое чувство человеческого достоинства, которое спасает от напыщенности и голословности и дает право на жизнь таким строчкам:

Не в назиданье строилась Москва.  
.....  
Кормилицей налево и направо  
Для каждого вошедшего была,  
Для всей России стала переправой.

Образ Москвы мучит поэта своей исторической нестерпимостью, требующей точно такой

## Криволинейный маршрут

же нестертости от поэтического голоса и лица. Минувшее - всюду, и его миновать невозможно, оно молчаливо пытается: "А ты кто такой и что вообще можешь?" Таковы взаимоотношения Ю. Кувалдина с этой темой, больной для него и острой.

Пльви, корабль, беленый, просмоленный,  
Пльви, Москва. Я тоже поспешаю  
Вослед тебе...  
Но где моя ладья?  
.....  
Мой современник - колокол Иван.  
К нему я в современники не зван.  
Молчание его четвертый век  
Не могут заглушить ни скрип телег,  
Ни свист плетей, врезающихся в спины,  
Ни возгласы юродивых, калек,  
Ни бит-ансамбли, ни автомашины.

Есть у Ю. Кувалдина и декларации, но они идут не от парадности, не от бравурного комплекса сверхполноценности, а от желания во что бы то ни стало избежать иждивенчества и заемности, пусть даже и наивными способами: "Я сам себе маршрут криволинейный - в Москве иного не было и нет".

"Криволинейный маршрут" - это лобовой антипрямолинейный, это перевертыш антипоиска, это абсолютное отвращение к симуляции поэтической зрелости прямолинейными, хрестоматийноподобными средствами. Это честное и естественное нежелание облегчить и ускорить свой поэтический рост, добывая для этого гормоны из чужих поэтических организмов, а не вырабатывая собственные. Ведь далеко не все достижения научно-технического прогресса достойны влиять на поэзию, и что хорошо для кур, то для поэтов смертельно: например, искусственная стимуляция роста и зрелости.

"Криволинейный маршрут" Ю. Кувалдина привлекает меня отвагой, риском опоздать и не попасть в число лидеров своего поэтического поколения, но зато стать самобытным, тревожным поэтом. Сейчас мне не нравятся у него такие, например, строки, хотя именно они написаны на том "высоком техническом уровне", который характерен для многих первых сборников молодых:

Я каждой улице приятель,  
Мне жизнь без города чужая,  
И как последний обыватель  
Грущу, на время уезжая.

Я уверена, что многие любители "теплой поэзии" прижали бы эту строфу к сердцу, прочтя ее в первой книге стихов Ю. Кувалдина. Более того, если бы все стихи Ю. Кувалдина были бы написаны на таком уровне, его книга вскоре бы, несомненно, увидела свет.

Но, к счастью, у этого поэта не все так гладко!

Не видно зарева заката -  
Сосна, и только, виновата,  
Стоит, что мачта, до небес!  
Но как, допустим, без сосны?

.....  
Продае-дается - дом на слом - дается:  
Доски, бревна, рейки, дедовский костыль.

## Юнна Мориц

.....  
Продае-дается - с топора до щепки  
И за так до кучи - домового дух.

В этих выдернутых из двух разных стихотворений строчках слышится живой, непоставленный голос внимательной и чувствующей (по-своему!) души, которой, к счастью, с трудом, а не без труда открываются кое-какие месторождения поэтических ископаемых.

Пока еще Ю. Кувалдин находится в том возрасте, когда мысли о смерти кажутся неактуальными, а собственная жизнь - бесконечностью, таящей огромные возможности:

Возможен горожанин налегке  
Или попутка в ближнее село,  
Возможен лай собачий вдалеке...  
Но невозможна смерть. О ней молчи.

.....  
Возможно, свет звезды издалека,  
Звезды умершей, вижу наяву.  
Возможно все, покуда я живу.

Хотя и навеяны были эти стихи мимолетными мыслями о смерти, все же мимолетность подчинилась непроходящему чувству, что возможности еще не исчерпаны и что время еще есть. Это чувство имеет порой благотворную силу, оно спасает от мук безвестности, хранит от безверия в свою удачу и потрясает нас иногда дивными "поздними" лириками. В конечном счете все ведь упирается в проблему таланта, которому (если он есть!) противопоставлена обкатанность, но не "криволинейный маршрут".

*Журнал "Литературная учеба", № 3-1978*

Книги, изданные Юрием Кувалдиным  
с 1988 года по настоящее время

- Лев Аннинский. "Серебро и чернь". Поэты Серебряного века.  
Михаил Арцыбашев. "Ужас".  
Антон Антонов-Овсеенко. "Сталин без маски".  
Сергей Антонов. "Рельеф Кандинского". Рассказы.  
"Азь". Альманах. Два выпуска.  
Владлен Бахнов. "Опасные связи". Повести и рассказы.  
Евгений Бачурин. "Я ваша тень". Стихи и песни.  
Андрей Белый. "Начало века".  
Евгений Блажеевский. "Лицом к погоне". Стихи.  
Владимир Буйначев. "Новое прочтение "Слова о полку Игореве"".  
Михаил Бутов. "Изваяние пана". Рассказы и повесть.  
Андрей Бычков. "Черная талантливая музыка для глухонемых".  
"Вежи". Сборник статей о русской интеллигенции.  
Мария Голованивская. "Двадцать писем Господу Богу". Роман.  
Дон-Аминадо. "Парадоксы жизни". Стихи и проза.  
Фазиль Искандер. "Детство Чика". Рассказы.  
Фазиль Искандер. "Сандро из Чегема". Первая полная редакция.  
Геннадий Калашников. "С железной дорогой в окне". Стихи.  
Анатолий Капустин. "Куровское-Лобня". Рассказы.  
Н. М. Карамзин. "История Государства Российского". В 6-ти книгах.  
Эдуард Клыгуль. "Столичная". Повести и рассказы.  
Кирилл Ковальджи. "Лирика".  
Кирилл Ковальджи. "Невидимый порог".  
Кирилл Ковальджи. "Обратный отсчет". Проза и стихи.  
Лев Копелев. "Хранить вечно".  
Сергей Костырко. "Шлягеры прошлого лета". Повести и рассказы.  
"Краеведы Москвы". Выпуск 1.  
"Краеведы Москвы". Выпуск 2.  
Нина Краснова. "Цветы запоздалые". Проза и стихи.  
Юрий Крохин. "Профили на серебре". Поэт Леонид Губанов. и СМОГ.  
Юрий Кувалдин. "Так говорил Заратустра". Роман.  
Юрий Кувалдин. "Кувалдин-критик". Выступления в периодике.  
Юрий Кувалдин. "Родина". Повести и роман.  
Юрий Кувалдин. СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ в 10 томах.  
Л. Лазарев. "Шестой этаж". Мемуары.  
Семен Липкин. "Квадрига". Повесть, мемуары.  
Юрий Малецкий. "Убежище". Роман, повести и рассказы.  
Всеволод Мальцев. "Парализованная кукла". Повести и рассказы  
Мандельштамовский сборник "Сохрани мою речь". Два выпуска.  
Игорь Меламед. "В черном раю". Стихотворения, переводы, статьи.  
Сергей Михайлин-Плавский. "Гармошка". Рассказы и повести.  
А. Н. Михайлов. "Культурология в текстах и комментариях".  
Юрий Нагибин. "Дневник".

"Наша улица". Ежемесячный журнал современной русской литературы  
(Основан Юрием Кувалдиным в 1999 году. К ноябрю 2006 года -  
60-летию Юрия Кувалдина - выпущено 84 номера)

Ольга Новикова. "Женский роман".  
Вл. Новиков. "Заскок". Пародии, эссе, размышления критика.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.  
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ  
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 1. 2003 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.  
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ  
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 2. 2004 год.

НОВЫЕ ПИСАТЕЛИ. Форум молодых писателей России.  
Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ  
(Фонд С. А. Филатова). Выпуск 3. 2005 год.

Сергей Овчинников. "Танюша". Повести и рассказы.  
Димитрий Панин. "Лубянка-Экибастуз: Лагерные записки".  
Димитрий Панин. "В человеках благоволение".  
Вадим Перельмутер. "Стихо-Творения".  
Вадим Перельмутер. "Звезда разрозненной плеяды". О Вяземском.  
Петроний Арбитр. "Сатирикон".  
Валерий Поздеев. "Наполеон Федя Пряшкин". Повести и рассказы.  
Франсуа Рабле. "Гаргантюа и Пантагрюэль".  
Лев Разгон. "Плен в своем отечестве".  
Станислав Рассадин. "Очень простой Мандельштам".  
Станислав Рассадин. "Русские, или из дворян в интеллигенты".  
Эрнест Ренан. "Жизнь Иисуса".  
Ирина Роднянская. "Литературное семилетие". Статьи.  
Русские сказки.  
Алексей Саладин. "Прогулки по кладбищам Москвы".  
Андрей Сахаров. "Конституционные идеи".  
Джонатан Свифт. "Путешествия Лемюэля Гулливера".  
Павел Сиркес. "Горечь померанца".  
Словарь американского сленга.  
А. и Б. Стругацкие. "Понедельник начинается в субботу". Полная редакция.  
Ирина Сурат. "Жизнь и лира". О Пушкине.  
Игорь Тарасевич. "Сквозь стекло". Повести и рассказы.  
Александр Тимофеевский. "Песня скорбных душ".  
М. Н. Тихомиров. "Средневековая Москва".

Александр Трифонов. "Художник Александр Трифонов"  
(Альбом. Новый русский авангард. Фигуративный экспрессионизм)

Александр Трофимов. "Записки сумасшедшего". Рассказы и повести.  
Михаил Холмогоров. "Авелева печать". Роман, повести.  
А. В. Храповицкий. "Памятные записки".  
В. М. Фридкин. "Чемодан Клода Дантеса". Рассказы.  
Л. А. Чарская. "Княжна Джаваха".  
Лидия Чуковская. "Процесс исключения".  
"Эквинокс" (Равноденствие). Литературно-философский сборник.

ТОМ 1  
СОДЕРЖАНИЕ

Эмиль Сокольский "Запредельная проза". Предисловие .....	3
СТАНЬ КУСТОМ ПЛАМЕНЕЮЩИХ РОЗ. Роман .....	22
Глава 1. Тайна добра .....	22
Глава 2. Который был тебе при жизни ненавистен .....	51
Глава 3. Стань кустом пламенеющих роз .....	99
ПЬЕСА ДЛЯ ПОГИБШЕЙ СТУДИИ. Повесть .....	148
ТРАНСЦЕНДЕНТНАЯ ЛЮБОВЬ. Повесть .....	219
ЗАПИСКИ КОРРЕКТОРА. Повесть .....	277
УЛИЦА МАНДЕЛЬШТАМА. Повесть о стихах .....	345
СТИХИ 1963-1973 .....	458
Комментарии .....	469
Нина Краснова "Пламенеющая роза". Послесловие .....	469
Светлана Соложенкина ""Вся Россия делится на сны..." .....	492
Фазиль Искандер ""Давайте с веком вековать..." .....	499
Евгений Рейн "Акимыч" .....	502
Мария Гущина "Прогулки по улице Мандельштама" .....	505
Юнна Мориц "Криволинейный маршрут" .....	506
Книги, изданные Юрием Кувалдиным с 1988 года по настоящее время .....	509



*Юрий Александрович Кувалдин*  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Том 1

Редактор Юрий Кувалдин  
Художник Александр Трифонов

ЛР № 061544 от 08.09.99.  
Сдано в набор 07.01.06. Подписано к печати 09.03.06. Формат 60х88 1/16.  
Бумага офсетная. Гарнитура "Newton". Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 32,0. Усл. кр.-отт. 32,0. Уч.-изд. л. (авторских листов) 27,15.  
Тираж 2000 экз.

Издательство "Книжный сад", Москва, Складочная ул. 1, стр. 5.  
Для писем: 125167, Москва, а/я 40.  
Отпечатано на Фабрике Печатной Рекламы.